

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17).  
Николай I – император всероссийский, третий сын императора Павла I и императрицы Марии Феодоровны, родился 25 июня 1796 г., учиться начал с 1802 г., причём главный надзор за его воспитанием был поручен генералу М. И. Ламсдорфу. Человек суровый, жестокий и до крайности вспыльчивый, Ламсдорф не обладал ни одной из способностей, необходимых для воспитателя; все старания его направлены были к тому, чтобы сломить волю своего воспитанника и идти наперекор всем его наклонностям; телесные наказания практиковались им в широких размерах. В числе преподавателей великого князя были такие лица, как Аделунг, Балугьянский, Шторх, но ходу учебных занятий мешало расположение его к военным упражнениям, которое императрица Мария Феодоровна тщетно старалась ослабить. Вступив в 1817 г. в брак с дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III Александрой Феодоровной, великий князь жил счастливою семейною жизнью, не принимая участия в государственных делах; до вступления своего на престол он командовал лишь гвардейской дивизией и исполнял (с 1817 г.) обязанности генерал-инспектора по инженерной части. Уже в этом звании он обнаруживал большую заботливость о военно-учебных заведениях: по его почину заведены были в инженерных войсках ротные и батальонные школы, а в 1819 г. учреждено главное инженерное училище (ныне Николаевская инженерная академия); его же инициативе обязана своим возникновением школа гвардейских подпрапорщиков (ныне Николаевское кавалерийское училище).

После бездетного императора Александра престол, в силу законов о престолонаследии, должен был перейти к брату его, Константину Павловичу, который и носил титул цесаревича. Но ещё в 1819 г. император Александр I в интимном разговоре сообщил Николаю Павловичу, что ему предстоит вскоре вступить на престол, так как он решил отречься от престола и удалиться от мира, а брат Константин также отказывается от своих прав на престол (см. записки императрицы Александры Феодоровны в «Русск. Старине», 1896, № 10). Имеются указания, что после этого разговора великий князь Николай Павлович усердно стал заботиться о восполнении своего образования путём чтения. Не имея, однако, официального удостоверения об отречении великого князя Константина от прав на престолонаследие, Николай Павлович, по получении в Петербурге известия о кончине Александра I, первый принёс присягу императору Константину. Вслед за тем, в чрезвычайном собрании Государственного совета, был вскрыт запечатанный пакет, положенный там императором Александром I ещё в 1823 г., с собственноручной надписью: «хранить до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия, в чрезвычайном собрании». Такие же запечатанные пакеты хранились ещё в синоде, сенате и московском Успенском соборе; содержание их никому не было известно. В этих пакетах оказались: 1) письмо цесаревича Константина Павловича к покойному государю от 14 января 1822 г. о добровольном отречении от престола, с просьбой утвердить такое намерение его императорским словом и согласием вдовствующей государыни Марии Феодоровны; 2) ответ Александра I от 2 февраля того же года о согласии на просьбу Константина Павловича как с его стороны, так и со стороны императрицы-матери; 3) манифест от 18 августа 1823 г., утверждающий право на престол, по случаю добровольного отречения цесаревича, за великим князем Николаем Павловичем. По вскрытии этих документов великий князь Николай Павлович всё же отказался провозгласить себя императором до окончательного выражения воли старшего брата. Подтверждение последним своего отречения было получено в Петербурге 12 декабря, и в тот же день последовал манифест о восшествии на престол Николая I. В день обнародования манифеста, 14 декабря, когда гвардия должна была принести присягу, в Петербурге вспыхнул мятеж, явившийся результатом заговора декабристов. На Петровской площади собрались отказавшиеся присягнуть Николаю Павловичу две роты лейб-гвардии Московского полка, часть лейб-гренадерского полка и гвардейского экипажа. Император собрал вокруг Зимнего дворца остальную часть гвардии и лично принял над ней начальство. Сначала он старался образумить мятежников мерами увещания, для чего отправил к ним двух митрополитов и петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. Увещания не подействовали; Милорадович был убит выстрелом из пистолета; тогда император приказал полкам конногвардейскому и кавалергардскому идти в атаку; атака кавалерии была отбита, но после трёх картечных выстрелов мятежники рассеялись. Через три дня издан был манифест, возвещавший, что в злодеяниях 14 декабря «ни делом, ни намерением не участвовали впавшие в заблуждение роты нижних чинов»; последние невиновны, но «преступников правосудие запрещает щадить».

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org 22 августа 1826 г. император Николай I короновался в Москве, а в 1829 г. в Варшаве возложил на себя и польскую корону. Царствование императора Николая I началось попытками реформ, которые всего более выразились в деятельности «секретного комитета шестого декабря 1826 г.», учреждённого, с одной стороны, для рассмотрения бумаг, оставшихся в кабинете императора Александра I, а с другой – для пересмотра государственного устройства и управления. Председательствовал в этом комитете председатель Государственного совета граф В. П. Кочубей, а деятельнейшим членом его был М. М. Сперанский. К началу 1830 г. комитет выработал ряд проектов преобразования как центральных, так и губернских учреждений; предполагалось, между прочим, внести в организацию министерств хорошие стороны коллегияльного устройства, но без восстановления самих коллегий, а также осуществить принцип отделения судебной власти от административной. В этом же комитете был подготовлен проект «дополнительного закона о состояниях», которым предполагалось отменить производство в гражданские чины, ограничить доступ в дворянство, установить институт заповедных имуществ, преобразовать почётное гражданство. Особенно существенные изменения предполагалось внести в положение крепостных крестьян. Все эти работы комитета «шестого декабря» были одобрены императором и должны были поступить на рассмотрение Государственного совета, но в действительности обсуждению его подвергся один только проект закона о состояниях, который и был принят; обнародованию его помешали, однако, возражения великого князя Константина Павловича, нашедшие себе неожиданное подкрепление в западноевропейских революционных событиях 1830 г. Некоторые из предложенных комитета «шестого декабря» были впоследствии осуществлены порознь, но лишь наименее существенные, частью подвергшиеся притом коренным изменениям (закон 1831 г. о дворянских собраниях, правила 1845 г. о заповедных имуществах, закон 1846 г. о затруднении способов приобретения дворянства, учреждение в 1832 г. почётного гражданства, несколько частных мер, благоприятных крепостным крестьянам). В царствование Николая I господствовала деятельность охранительная, направленная к ограждению России от западноевропейских революционных влияний путём опеки и детальной регламентации всех проявлений народной и общественной жизни. К двум прежним устоям русской государственности – православию и самодержавию – официально прибавлен в формуле, возвешённой министром народного просвещения Уваровым, ещё один: народность. Сущность официального представления о народности сводилась к тому, что Россия есть совершенно особое государство и особая национальность и потому отличается и «должна» отличаться от Европы всеми основными чертами национального и государственного быта; к ней совершенно неприменимы требования и стремления европейской жизни; в ней одной господствует истинный порядок вещей, согласный с требованиями религии и истинной политической мудрости. В этой системе были и неясности, всего рельефнее сказывавшиеся в крестьянском вопросе. Общественный строй России признавался идиллически-патриархальным, но в основе его лежало крепостное право, а последнее, «в нынешнем положении» его, сам Николай I признавал злом, устранение которого, по словам императора, было бы, однако, «злом ещё более губительным». Отсюда стремление к «переходным» мероприятиям, какими явились закон 1842 г. об обязанных крестьянах и учреждение в 1837 г. министерства государственных имуществ, имевшего главной своей задачей попечительство над казёнными крестьянами. Учреждением этого министерства осуществлялась одобренная ещё комитетом «шестого декабря 1826 г.» мысль М. М. Сперанского, что «одним из первых и надёжнейших средств для улучшения состояния помещичьих крестьян должно быть учреждение лучшего хозяйственного управления для крестьян казённых, которое могло бы послужить образцом для частных владельцев». Более решительные меры к ограничению крепостного права в виде «инвентарных правил» приняты были при императоре Николае I в Западном крае, что обуславливалось соображениями политического свойства. Дальше этого император, шесть раз учреждавший специальные секретные комитеты для рассмотрения крестьянского вопроса, идти не решался. Другим предметом заботливости Николая I служило улучшение судостроительства и судопроизводства. Многие ожидалось в этом отношении от обширных кодификационных работ, предпринятых императором Николаем I уже через полтора месяца по вступлении на престол. Благодаря неутомимой деятельности Сперанского вновь учреждённое II отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии в 1832 г. изготовило Свод законов[1], которому предшествовало Полное собрание законов. По приведении в известность отечественного законодательства поставлен был вопрос об его усовершенствовании. Николай I повелел начать пересмотр с уголовных законов, что и привело к изданию в 1845 г. Уложения о наказаниях исправительных и уголовных. При издании Уложения между прочим проведена была отмена кнута, в принципе решённая ещё при Александре I, но

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

наряду с этим двухвостая плеть была заменена трехвостой. Главные недостатки судебного и административного строя – многочисленность инстанций, бумажное производство, продажность многочисленного и малообеспеченного чиновничества, полное отсутствие гласности – остались неустранёнными.

В первый же год своего царствования Николай I учредил III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, органом которого являлся корпус жандармов; в лице последнего имелось в виду «создать, наряду с полицией карательную, полицию покровительственную». Известен рассказ, может быть не безусловно достоверный, но весьма характерный, об ответе, данном императором шефу жандармов Бенкендорфу на его неоднократную просьбу об инструкции; подавая ему платок, император сказал: «Вот тебе моя инструкция; чем больше слёз ты утрёшь, тем точнее исполнишь мою волю». Результаты деятельности нового учреждения вовсе не соответствовали надеждам, которые на него возлагал император. Столь же малопродуктивным оказалось усиление военного элемента в делах управления. Многие чисто гражданские отрасли администрации, вместе с соответствующими учебными заведениями (ведомства межевое, лесное, путей сообщения, горное, инженерное), получили военную организацию, поглощавшую массу сил без малейшей пользы для сущности дела. Уголовное судопроизводство по многим родам дел также переходило в ведение военных судов. В устройстве самой армии, в которой видели залог внешнего политического могущества и внутреннего спокойствия, главнейшую роль играла парадная выправка, а в критическую минуту Крымской войны выяснилось, что из-за этого были упущены из виду существенные потребности армии в военное время, между прочим – вооружение, оказавшееся совершенно неудовлетворительным в сравнении с вооружением неприятельских войск. Вся тяжесть содержания армии, как и податное бремя вообще, ложилась на наименее имущие классы. В систему налогов никаких существенных изменений внесено не было. Рекрутская повинность была упорядочена изданием рекрутского устава (1832 г.), но лучшие молодые силы народа по-прежнему поглощались армией безвозвратно вследствие крайне продолжительного срока службы. В период времени с 1825 по 1854 г. численность армии и флота возросла почти на 40 процентов, а ежегодные расходы на их содержание увеличились на 70 процентов. Из общего бюджета обыкновенных государственных доходов вооружённые силы поглощали в среднем свыше 40 процентов. За этот же период времени государственные расходы увеличились со 115 до 313 миллионов рублей в год, а доходы – со 110 до 260 миллионов рублей. Для покрытия постоянных дефицитов заключались внешние займы. В области финансовой наиболее крупным мероприятием явилась замена в 1843 г. ассигнаций кредитными билетами.

В области экономической полнейшая отсталость России была совершенно очевидна. Она считалась «житницей Европы», но Европе она поставляла только сырьё, да и то через посредство иностранных купцов, а обратно получала своё же сырьё в виде готовых фабрикатов. Русская промышленность ограничивалась простейшими производствами; все изделия сколько-нибудь тонкие или сложные или поставлялись иностранной торговлей, или готовились в России у иностранных заводчиков и иностранными мастерами, у которых русские ничему не могли научиться, так как при господстве крепостного права и духа правительственной регламентации не оставалось места частной предприимчивости. По той же причине не могли принести пользы и заботы о распространении технического образования. Шаг вперёд представляло только проведение Николаевской железной дороги, осуществившееся, вопреки мнению Канкрин, по личному настоянию императора Николая I.

В сфере церковной система опеки и регламентации приводила ко взгляду на раскол как на вопиющее нарушение дисциплины. Раскол искоренялся на бумаге, а на деле вовсе не уменьшался; преследование порождало даже новые секты. Крупнейшим событием в сфере церковной является воссоединение в 1839 г. униатов. В сфере образования особое внимание государя привлекали военно-учебные заведения. Учреждены академии военная и морская; вновь открыто одиннадцать кадетских корпусов. В корпусах господствовала система внешней военной дрессировки с малолетства, пренебрегавшая общим образованием и мало подготовлявшая к самостоятельному и сознательному действию на военном поприще.

Из гражданских учебных заведений при Николае I открыты: в Санкт-Петербурге – технологический институт (1828 г.), училище правоведения (1835 г.) и строительное училище (1842 г. – ныне институт гражданских инженеров императора Николая I), в Москве – школа технического рисования (1826 г.), ремесленное учебное заведение при воспитательном доме (1830 г., – ныне техническое училище) и Константиновский межевой институт (1844 г.); затем ещё Горыгорецкий земледельческий институт (1840 г.), практическое учебное заведение близ Дерпта (1834 г.) и ветеринарный институт в Дерпте (1848 г.). Особый комитет, учреждённый в 1826 г. под председательством Шишкова, имел

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org) задачей установление единства в уставах общих учебных заведений. Уже в 1827 г. состоялся указ, через десять лет подтверждённый, чтобы в университеты и другие высшие учебные заведения принимались только лица свободных состояний. Целым рядом мер правительство стремилось оградить гимназии и университеты от возрастающего наплыва молодых людей, происходивших из низших слоёв общества; высшее образование признавалось для них бесполезным, «ибо, составляя лишнюю роскошь, оно выводит их из круга первобытного состояния без выгоды для них и государства». По уставу гимназий и училищ уездных и приходских 8 декабря 1828 г., приходские и уездные училища утратили характер пригособственных заведений для гимназий и каждый из этих трёх разрядов училищ получил свой законченный круг учебных предметов. В 1828 г. возобновлён главный педагогический институт; по закрытии Виленского университета (1832 г.) учреждён был университет в Киеве, в 1835 г. издан общий университетский устав и положение об учебных округах. Университетам предоставлена известная доля самоуправления (выбор ректора и профессоров), за ними упрочена собственная цензура, увеличено число кафедр (между прочим, русская история получила право на самостоятельное преподавание, учреждена кафедра истории и литературы славянских наречий). Учреждена астрономическая обсерватория в Пулкове, снаряжена археологическая экспедиция, и открыты археографические комиссии, учреждён профессорский институт в Дерпте, и введена посылка за границу молодых учёных для подготовки к профессорской кафедре. Цензура, для которой в 1828 г. впервые издан был общий устав, продолжала быть весьма суровой, что отражалось и на литературной производительности: в пятилетие 1833 – 1837 гг. издано было 51 828 сочинений, в 1838 – 1842 гг. – 44 609 сочинений, в 1843 – 1847 гг. – 45 795 сочинений; в частности, уменьшалось число сочинений по теории словесности и искусств, по философии и по отечественной истории. Циркуляр графа Уварова от 1 октября 1836 г. по цензурному ведомству запрещал входить с представлениями о разрешении новых периодических изданий. Западноевропейские революционные события 1848 г., не находившие никакого отклика в России, тем не менее отозвались у нас усилением реакции. Цензурные стеснения были доведены до крайнего предела в так называемом комитете 2 апреля (1848 г.), или «негласном комитете». За университетами установлен исключительный надзор; в 1850 г. прекращено преподавание философии. Ряд мер, между прочим увеличение платы за слушание лекций, привёл к уменьшению числа студентов: в 1836 г. в 5 русских университетах (с включением дерптского) насчитывалось 2 002 студента, в 1848 г. – 3 998, в 1850 г. – 3 018; такие же колебания замечаются и в числе учащихся в гимназиях, да и самих гимназий. Прекращена посылка молодых учёных за границу. Выдача загранпаспортов, сильно затруднённая законом 18 февраля 1831 г., была фактически почти прекращена законом 25 июня 1851 г., сократившим дозволенный срок отлучки до одного года (для дворян – до двух лет) и установившим с каждого лица обоёго пола, означенного в загранпаспорте, особую пошлину в размере 250 рублей за каждое полугодие (в случае болезни – 50 рублей).

При вступлении на престол императора Николая I между Россией и Персией происходили пограничные споры. В 1826 г. Персия, без объявления войны, открыла военные действия. Генерал Мадатов разбил персидский авангард у р. Шамхоры (2 сентября); Паскевич, хотя и располагал вдесятеро слабейшими силами, под Елизаветополем (13 сентября) обратил в бегство главные персидские силы. В марте 1827 г. Паскевич перенёс войну на персидскую территорию, 1 октября взял Эривань и 10 февраля 1828 г. заключил Туркманчайский мирный договор, по которому Россия приобрела области Эриванскую и Нахичеванскую. Турция, вопреки Бухарестскому трактату, уничтожила автономию дунайских княжеств и грозила Сербии. Ультиматум, посланный императором Николаем I в марте 1826 г., послужил основанием Аккерманской конвенции, заключённой между Россией и Турцией 25 сентября 1826 г. и обеспечившей автономию дунайских княжеств и Сербии. В греческом вопросе Николай I вступил в соглашение с Англией, выразившееся в «Петербургском протоколе» от 4 апреля 1826 г.; за ним последовал «Лондонский трактат» от 6 июля 1827 г., подписанный от имени России, Англии и Франции. 8 (20) октября 1827 г. Наваринская битва уничтожила турецко-египетский флот и повлекла за собою русско-турецкую войну 1828–1829 гг. Война эта, в которой император Николай I принимал личное участие, не исполняя, однако, обязанностей главнокомандующего, закончилась Адрианопольским мирным трактатом, заключённым 2 (14) сентября 1829 г. По этому трактату Россия удержала за собою Георгиевское гирло Дуная, с обязательством не строить на острове укреплений, а в Азии присоединила к своим владениям часть Ахалцихского ханства с крепостями Ахалцихом и Ахалкалаки и кавказский берег Чёрного моря в Анапой. Результатом Адрианопольского мира было, наконец, провозглашение независимости Греции.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Несмотря на военные успехи, со стороны России, по словам С. С. Татищева, «не было сделано ни малейшей попытки связать нравственные и материальные интересы христианских народов Балканского полуострова с нашими, развить и упрочить те задатки общения, которые заключались в единстве веры, отчасти в племенном родстве, наконец, в исторических преданиях». Не поощряя стремлений христианского населения Турции освободиться из-под её власти, русское правительство поддерживало Порту против мятежного египетского паши. Заключённая при этом Гункьяр-Скелиссийская конвенция (1833) обязала Турцию закрыть для военных судов всех наций проход через Дарданелльский пролив. По убеждению императора Николая I, это постановление, предохраняя русские берега Чёрного моря от неприятельского нашествия, стоило двух союзных армий. Крымская война доказала, что даже по превращении этой статьи в международный акт, гарантированный всеми державами (в 1841 г.), закрытие проливов зависит фактически от отношений Порты к России. Под конец своего царствования император Николай I изменил своё отношение к Порте и предложил Англии произвести раздел Турции, хотя именно Англия всеми мерами противодействовала в Турции русскому влиянию.

Признавая химерами все проекты завоевания Индии, Николай I выдвинул теорию о странах-«буферах», которые разделяли бы в Средней Азии владения России и Англии и тем самым предупреждали бы возможность столкновения между ними. Убеждённый, что в недрах громадного Азиатского материка довольно места для мирного проживания русских и англичан, император Николай I неуклонно продолжал поступательное движение России в Средней Азии. Упрочение за Россией киргизской степи создало необходимость охранения киргизов от насилиев и хищничества хивинцев, кокандцев и поддерживаемых ими туркмен, господствовавших по течению Сыр-Дарьи. Военные действия с хивинцами начались в 1839 г. неудачным походом генерала Перовского и возобновились в 1847 г., с укреплением русских на низовьях Сыр-Дарьи. В 1860 г. последовал целый ряд столкновений с кокандцами, имевших результатом занятие русскими Заилийского края и кокандской крепости Ак-Мечеть (ныне Перовск). На Дальнем Востоке заняты были графом Муравьевым-Амурским левый берег и устье Амура. На Кавказе во всё царствование Николая I велась, без решительных результатов, неустанная борьба с горцами.

По отношению к Западной Европе основным принципом политики Николая I была борьба с революционным духом, заставлявшая Россию, по словам графа Нессельроде, «поддерживать власть везде, где она существует, подкреплять её там, где она слабеет, и защищать её там, где открыто на неё нападают». Вопреки представлениям графа Нессельроде, находившего, что России нет основания впутываться в бельгийские дела, готовился поход русских войск в Западную Европу для восстановления порядка, нарушенного во Франции и Бельгии революцией 1830 г., но этому помешало польское восстание 1830-1831 гг., подавленное после девятимесячной кровопролитной борьбы. За свою попытку Польша заплатила потерей конституции, заменённой Органическим статутом. Около этого времени (1831 г.) Николай I возымел мысль отдать Австрии и Пруссии часть только что усмирённой польской территории за Вислой и Наревом. Проект этот подробно мотивирован в собственноручной записке императора Николая I, напечатанной в восьмом томе «Собрания трактатов и конвенций, заключённых Россией с иностранными державами», изданного Ф. Ф. Мартенсом (СПб., 1888). Из немецких источников известно, что проект этот не встретил сочувствия в Берлине или к нему не отнеслись там серьёзно. После усмирения Польши император Николай I желал принять общие и положительные меры прежде всего против поляков, а затем против либералов и революционеров вообще. В этом смысле между Россией, Австрией и Пруссией состоялось соглашение 1833 г., которым признаны «истинные начала права вмешательства» – право и обязанность союзных государей оказывать друг другу помощь в политических кризисах. По личной инициативе императора Николая I состоялось в 1846 г. присоединение Кракова к Австрии. В течение всего царствования императора Николая I русская дипломатия постоянно отдавала предпочтение австрийским интересам перед прусскими, несмотря на услуги, оказываемые Пруссией России. Русский посланник в Берлине занимал исключительное положение: он имел надзор за немецкой печатью, требовал для неё цензурных стеснений, вообще заботился о внутреннем благоустройстве страны. Прежде чем дать своей стране сословное представительство (1847 г.), прусский король Фридрих-Вильгельм IV должен был выдержать трудную дипломатическую борьбу; но все представления, сделанные им императору Николаю I, не спасли его от гнева русского императора. В возникшем затем между Пруссией и Австрией споре о гегемонии в Германии Россия открыто приняла сторону Австрии. Император Николай I принудил Пруссию отказаться от военных действий против Дании и от национально-патриотических попыток, закончившихся вследствие того «ольмюцким позором». В 1847 г., во время конституционного движения в Италии, Николай I приказал отпустить заимообразно австрийскому

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org) правительству 6 миллионов рублей из русского государственного казначейства и обещал в случае надобности направить все находящиеся в распоряжении его силы на защиту австрийского владения в Ломбардии против Пьемонта и Франции. Высшей точки своего напряжения политика эта достигла в 1849 г., когда русские войска усмирили Венгрию, восставшую против Австрии. В конечном результате Россия возбудила к себе всеобщее нерасположение Европы, что и было основной причиной восточной войны. Война эта раскрыла, что во внутренней жизни России, при внешнем благоустройстве, царила полнейшая безурядица. Непригодность вооружения, отсутствие дорог, неустройство интендантской части дали себя почувствовать на первых же порах войны; везде обнаружилось казнокрадство и взяточничество.

Могучая натура императора Николая I не выдержала жестоких испытаний Крымской кампании; нравственное потрясение сломило железное здоровье императора, надорванный организм не вынес простуды, и император Николай I скончался 18 февраля 1855 г. Как монарх, он любил окружать себя царской пышностью, как человек – отличался умеренностью и беспритязательностью. В критические минуты он выказывал большое самообладание и мужество; так, например, в холерном 1831 г. он без всякой охраны появился на Сенной площади среди бушующей толпы и одним своим словом привёл её в повиновение. Дети императора Николая I: император Александр II; великая княгиня Мария Николаевна, в замужестве герцогиня Лейхтенбергская; великая княгиня Ольга Николаевна, в замужестве королева Вюртембергская; великая княгиня Александра Николаевна, супруга принца Фридриха Гессен-Каесельского; великий князь Константин Николаевич; великий князь Николай Николаевич; великий князь Михаил Николаевич.

Ср. Lacroix, «Histoire de la vie et du regne de Nicolas I» (Paris, 1864-75; труд неоконченный; автор пользовался материалами барона Корфа); Thouvenel, «Nicolas I et Napoleon III» (Paris, 1891); Th.v. Bernhardt, «Unter Nicolaus I u. Friedrich-Wilhelm IV» (Leip., 1893); бар. М.А.Корф, «Восшествие на престол императора Николая I» (СПб., 1877); гр. Блюдов, «Последние часы жизни императора Николая I» (СПб., 1855); «Сборник Русск. Истор. Общ.», т. 74 и 90 (бумаги секретного комитета 6 декабря 1826 г.) и 98 (материалы бар. Корфа и др.); труды С. С. Татищева; Ярош, «Император Николай I» (Харьков, 1890); Лалаев, «Император Николай I, зиждитель русской школы» (СПб., 1896); «Император Николай I и 2-я французская революция» («Рус. Вестн.», 1896, № 12 и 1897); Коргуев, «Русский флот при Николае I» («Морск. Сборн.», 1896); Савельев, «Исторический очерк инженерного управления при Николае I» (1897); Цыпин, «Характеристика литературных мнений с 20-х по 50-е гг.» (СПб., 1890).

Энциклопедический словарь

Изд. Брокгауза и Ефрона

т. XXI А

СПб., 1897

Д. С. Мережковский ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ РОМАН

книга первая 14 декабря

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Любить землю – грех, надо любить небесное. А я не могу – больше всего на свете люблю Черёмушки. Пока в них жила, и не знала, что так люблю. А вот уехала – и залюбила, затосковала до смерти...

– Вы землю вашу как живую любите, Марья Павловна?

– Ну конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу – молодые берёзки – тоненькие, как восковые свечечки, кожа у них такая мягкая, тёплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую миленькая, родненькая, сестричка моя!

В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивавшемся сквозь обледенелое оконце кибитки, князь Валериан Михайлович Голицын, вглядываясь в милое лицо девушки, думал: «Сама как та берёзка весенняя».

Марья Павловна Толчѣва с виду была обыкновенная уездная барышня из тех, о которых сказано:

Разделены её досуги

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Между роялем и канвой.

Одета по модной картинке из «Телеграфа»: меховой палантин[2] добротного бабушкина гродетур[3] тёмно-зелёного, клетчатый капор с розовыми лентами; густая чёрная коса заплетена в виде корзиночки, с висячими вдоль щёк лёгкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьги в ушах, верно, тоже подарок бабушкин. Хорошо воспитана, говорит по-французски. А у самой лицо как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке, в жёлтом с красными горошинами платочке, смеётся с парнями и грызёт семечки.

Может быть, никого ещё не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая сирень свежестью росною. И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные инвалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямщики краснорожие, – все, глядя на Марью Павловну, думают: «Ах, хороша девка!»

По дороге из Василькова в Петербург Голицын остановился в Москве, чтобы повидаться с членом Тайного общества Иваном Ивановичем Пуциным. Пуцин, служивший в Уголовном департаменте Московского надворного суда, жил у тётки, старосветской барыни, в захолустном особняке, в приходе Пятницы Божедомской, на Старой Конюшенной. Здесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пуциных, серпуховская помещица Нина Львовна Толычёва, с девятнадцатилетнею дочкою, Марьей Павловной. Голицын согласился сопровождать их по просьбе Пуцина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс – низкий, длинный возок, обтянутый кожей, с двумя оконцами, сзади и спереди. Лежать в нём было невозможно: четыре человека, разделённые перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели – двое вперёд, двое назад – по дороге; а так как прежняя зимняя кибитка означала лежанье, то ямщики прозвали это новое изобретение нележанцами. Голицын с обеими дамами и состоявшей при них горничной девкою, Палашкою, отправился в таком нележанце.

Госпожа Толычёва, родом из семьи зажиточной, привыкла ездить не иначе как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнюю, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслыханного новшества и рада была надёжному спутнику.

Тотчас рассказала ему всю свою историю. Воспитывалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павел Павлович Толычёв служил в армии; за Итальянский поход произведён Суворовым в подпоручики; в двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковника. Был большого ума человек и даже сочинитель – в «Сионском вестнике» статья его напечатана; с господином Лабзиным был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихоимцев чиновников и тиранов помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния – ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном[4] объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна-одинешенька с малолетнею дочкою. Трёх детей при муже схоронила; Маринька – последняя. Дела по имени расстроились; видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики – отродье хамово – избаловались так, что никакого с ними сладу нет; половина – в бегах, половина – пьяницы; ни оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы прозвали её белоручкою за то, что не бивала людей: боится-де замарать свою ладонь о холопыи щёки. А управляющий – плут. Имение в опекуновом совете заложено – долг 25 000, а процентов нечем платить, – продадут с молотка, и ступай по миру.

Но сам Господь над ними, сиротами, сжалился – послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Серпухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов – в департаменте внешней торговли служит, – на балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чаёт. «Если, – говорит, – согласьём осчастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черёмушках и дела ваши поправлю». Маринька не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери: сама понимает, дело молодое – любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара – в отцы годится. Так-то год прошёл, всё думала, и наконец письмо получили от господина Аквилонова: почтительнейше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги.

Есть у них ещё надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива: как заладила, чтобы имение продали и к ней на житьё в Петербург переехали, – так и стоит на своём. «А то, – говорит, – ломаного гроша от меня не получите». А Маринька об этом слышать не хочет. «Лучше, – говорит, – выйду за Аквилонова, а не уеду из Черёмушек. Здесь родилась, здесь и умру».

Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала: как ни хвалила жениха, а жаль было дочери.

Голицын сидел в своём отделении ночью с Палашкою, а днём с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у неё голова, и, чтобы отдохнуть ей полужёла, Палашку усадили к ямщику на козлы, а Марья Павловна пересела к Голицыну.

Нележанец полз черепахой. Санный путь ещё не стал как следует; снегу было мало, полозья визжали по голым камням; возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замёрзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон незапамятно давний, много раз виденный.

– А мне всё кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить когда, – сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки.

– А ведь и мне... – начала она и не кончила.

– Ну что?

– Нет, ничего. Глупости, – отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо, во всю щёку, как маленькая девочка, и тогда становилась ещё милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкой, пристально, и лицо его странно менялось в глазах её, как будто двоилось: то сухое, жёсткое, жёлчное, с недоброй морщинкой около губ, вечно насмешливой, с пронзительно умным и тяжёлым взором из-под слепо поблёскивавших стёкол очков – она их вообще не любила, только старики да учёные немцы, казалось ей, носят очки, – чуждое, почти страшное; а то вдруг – простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у неё сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная. Но всё это темно и смутно, как сквозь вещий сон.

– Я ведь вас боюсь немножко, – проговорила, всё так же вглядываясь в него украдкой, пристально. – Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович.

– Пушин предобрый, его бояться нечего. Да и меня тоже.

– Вы тоже добрый?

– А вы как думаете, Маринька... Марья Павловна?

– Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны, – заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась; он – тоже. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущую близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга.

Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку, – может быть, не к нему, а всё равно к кому, – ко всем: так солнечный луч равно ласкает всё,



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
на что ни упадёт.

– Уж вы меня извините, князь, – проговорила, всё ещё не подымая глаз. – Я ужасно дикая. Всё одна да одна в своих Черёмушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

– Не стоит людей бояться, Маринька: бояться людей – значит их баловать.

– Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В черёмушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала, такое вдруг всё чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задёрнет на кровати занавеску и говорит: «Спи, – говорит, – дитяtko, спи с Богом! У кота ли воркота колыбелька хороша. Да глазок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмёт Хо – вон оно под кроватькой лежит». А потом я часто думала, что не только под кроватькой, а везде – Хо. Вся жизнь – Хо..

– А вы от него отчурайтесь, оно вас и не тронет.

– Да как отчураться?

– Будто не знаете?

– Не знаю... Нет, право, не знаю, – медленно, как бы в раздумье покачала она головой, и длинные локоны вдоль щёк, как лёгкие гроздьи, тоже качнулись. Возок на замёрзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжёт поцелуем.

– А вы знаете? Ну так скажите.

– Нельзя сказать.

– Почему нельзя?

– Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.

– Когда же?

– Когда полюбите.

– Ах, вот что, любовь! – опять покачала головой сомнительно. – А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?

– Кто говорит?

– Все.

*Le plus charmant amour*

*Est celui commence et finit en un jour[5].*

Это мне Пущин наемдни сказал. И тётенька тоже: «Ах, – говорит, – Маринька, ты ещё не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенька..

– Сколько их у вас, тётенок да бабенок!

– Ох, много, страсть!

– И вы им всем верите?

– Ну, конечно!

У неё была привычка повторять эти два слова: «ну, конечно!» – и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

– Как же не верить? Надо верить старшим. Сама-то ведь глупенькая, так вот умным людям и верю. Я вся из чужих слов, как одеяльце из лоскутков пёстреньких.

– А под одеяльцем кто-то прячется? – улыбнулся он.

– А вот узнайте кто, – прищурилась она, глядя на него исподлобья и тоже улыбаясь лукаво-дразнящей улыбкой. И опять блеснул тот солнечный луч,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
который ласкает всё, на что ни упадёт.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью недетскою.

– Так-то, князь. Любовь улетает, а Хо остаётся: оно ведь без крыльев, как червяк, ползучее или вот как большой, большой паук, ужасный, отвратительный...

Оба замолчали и опять почувствовали, что молчание сближает их неудержимо растущей близостью.

– Ну, хорошо, – сказал Голицын, – пусть бабеньки да тётеньки, как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

– Ну, конечно, нет! Я люблю любить крепко – не умею любить немножко. Надо, чтоб епанча не спадала с одного плеча, а держалась на обоих твёрдо.

– Так, Маринька, так! – посмотрел на неё Голицын, как будто наконец вспомнил, узнал: «Так вот ты кто!» – Какая вы хорошая! – проговорил уже другим, тихим голосом.

– Ну вот, нашли хорошую! Вы меня ещё не знаете. Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая несносная девчонка, злая, упрямая.

– Послушайте, Маринька, можно с вами говорить просто?

– Ну, конечно. Я сама люблю – просто. Этих церемоний терпеть не могу!

– Так вот что, Марья Павловна, – начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покраснел и потупился. Она посмотрела на него с любопытством.

– Не выходите замуж за господина Аквилонова, – проговорил он с внезапной решимостью.

– Это ещё что? Почему?

– Потому что вы его не любите.

– Как не люблю? Жених – значит, люблю.

– Нет, не любите. Он для вас – Хо.

– Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушке. Это все говорят – и маменька, и тётенька, и бабенька...

– А всё-таки не выходите.

– Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мне бы рассердиться надо, а я не умею, дура...

– Ну, простите. Не буду. Не сердитесь, хорошая моя, милая, милая девушка...

Он вдруг замолчал. Взглянул на неё украдкой. Опять, как давеча, наклонилась к замёрзшему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то выводить пальчиком на кружке оттаявшем.

– В. Видите? В. Ведь имя вашей невесты с В?

– Какой невесты?

– Вот те на! Хорош жених – невесту забыл! Ай-ай-ай, разве так можно? И чего вы от меня таитесь? Я же знаю, мне Пущин сказывал: у вас в Петербурге – невеста красавица: имя – с В... Василиса, что ли? Валериан да Василиса. Вот как ладно, – с одной буквы оба имени! – рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустные.

«Почему с В? Ах да, «Вольность», – догадался Голицын и вспомнил:

Мы ждём, в томленьи упованья,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Минуты вольности святой,  
Как ждёт любовник молодой  
Минуты сладкого свиданья.  
А знаете, князь, ведь это, может быть, и не так? – вдруг перестала смеяться  
и посмотрела на него строго, почти сурово.

– Что не так?

– Да вот насчёт любви. Но любовь спасёт от Хо.

– А что?

– Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки – покойный папенька их очень любил:

В смиренье сердца надо верить  
И терпеливо ждать конца, –  
сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на  
неё с удивлением: только что была дитя, и вот – женщина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не  
опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья,  
положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал её и наклонился  
близко к самому лицу её. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но  
он не пустил.

– Marie, – послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как  
дети, которые шалят.

– А у вас над бровью мушка, – прошептал он смеющимся шёпотом.

– Не мушка, а родинка, – ответила она таким же весёлым шёпотом. – Когда я  
была маленькой, дети дразнили меня: «У Мариньки родинка – Маринька  
уродинка!»

Он склонился к ней ещё ближе, и она ещё дальше откинулась.

– Родная, родная, милая! – прошептал он так тихо, что она могла бы не  
слышать, если б не хотела.

– Marie, oh es tu done, mon enfant?[6] – позвала Нина Львовна уже внятным,  
проснувшимся голосом.

– Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!

Возок остановился. Красные огни и чёрные тени в оконце забегали. Маринька  
встала.

– Не уходите, – шепнул Голицын.

– Нельзя. Маменька будет сердиться.

Он всё ещё держал её за руку. Вдруг поднёс руку к губам и поцеловал, куда  
никто не целует, – в ладонь, тёплую, свежую, нежную, как чашечка цветка,  
солнцем нагретая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днём – Маринька.  
Госпожа Тольчёва перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним  
сколько угодно.

Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому, что  
Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, – разговор  
был неловок и незначителен. Она рассказывала о своём житье в Черёмушках. В  
рассказе всё было просто и буднично, но стариной незапамятной веяло от  
него, как милою сказкою.

В конце липовой аллеи с грачиными гнёздами, на самом обрыве, над тихой  
речкою Каширкою – дедушкина беседка с полустёртою на фронтоне надписью:  
«Найти здесь спокойство». В этой беседке Маринька читала «Удольфския

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Таинства» госпожи Радклиф и «Страдания Ортенберговой фамилии» госпожина Коцебу. Вообще любила читать «ужасное и чувствительное». А зимою, в сумерки, когда в полутёмной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампадки из маменькиной спальни, кухня Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие нежные:

Звук унылый фортепьяно,

Выражай тоску мою.

Или ещё:

Уж пробил час, и нам расстаться,  
Быть может, должно навсегда!  
Ах, лъзя ль не плакать, не терзаться?  
Бог весть, увидимся ль когда.  
И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещие, которым научила её старая няня Петровна: если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки – ни за что не переступит. Знала, что, когда топится печка и летят искры, – будут гости; а когда петух поёт в необычное время, – надобно снять его с насеста и пощупать ноги: тёплые – к вестям, холодные – к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У них, в Серпухове, дёшево всё: мясо – пять копеек за фунт, пара цыплят – пятьдесят, огурцы – сорок за четверик. Умела их солить, как никто во всём уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек – что у овец на груди и под шеей, – вымыли и привезли. А Пелагея у них славно прядёт, – вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что ж бы вы думали? Сама выкрасила, и очень недурно; прекрасный коврик вышила.

– Вы это нарочно, Маринька? – рассмеялся наконец Голицын, не выдержал.

– Что нарочно?

– Я вам о любви, а вы об огурцах солёных и о душках!

Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чём бы ни говорили, в каждом слове было иное значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что хотят не хотят, а сближаются неудержимо растущей близостью. Всё ещё боялась его, не верила, но, когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

«Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?» – иногда опоминался он, а потом опять всё забывал, опьянённый благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росной.

«Вот бы вам, Голицын, жениться на Мариньке», – вспоминал слова Пущина; принял их тогда за шутку. «Мы голову несём на плаху, а вы о женитьбе, Пущин!» – «Ну что ж, и на плаху идти веселее женатому: всё-таки поплачет кто-нибудь. Нет, право, женились бы, избавили бы девушку от старого плута и выжиги, госпожина Аквилонова».

Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж за Аквилонова. Когда в паутине бьётся мотылёк, хочется спасти его от паука. Но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой?

Что же такое встреча их – случай или судьба? Если только случай, то почему это узнавание, вспоминание вестее, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить её, но никогда не полюбит, что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодезь, повис на суку,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
рвёт ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Глядя на её лицо, такое живое, вспоминал другое лицо, мёртвое, в тёмном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая, – шестнадцатилетняя девочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склонила,  
В какой предел из мира перешла.  
О друг, я всё земное совершила:  
Я на земле любила и жила.  
Нашла ли их, сбылись ли ожидания?  
Без страха верь: обмана сердцу нет;  
Сбылось всё: я в стороне свиданья  
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.  
Друг! На земле великое не тщетно:  
Будь твёрд, а здесь тебе не изменят...  
Не изменит она – не изменит и он. Та первая любовь – последняя. И если бы  
даже даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софье. Обе – вместе, земная и  
небесная. Как в последнем пределе земля и небо – одно, так Софья с  
Маринькой.

На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали  
последнюю станцию Пулковую, потянуло со взморья теплом; замёрзшее оконце  
оттаяло, заплакало, и сквозь слёзы забелела равнина, унылая, снежная, с  
болотными кочками, как будто могилами исполинского кладбища. А на самом  
краю белой равнины чёрные точки – дома Петербурга.

– Ну, прощайте, князь, – сказала Маринька. – Сейчас приедем. Я к жениху, а  
вы к невесте... Вспоминать обо мне будете?

Он молча поцеловал руку её, опять, как давеча, в ладонь, тёплую, свежую,  
нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

– Придёте к нам в Петербурге? – спросила она шёпотом.

– Приду.

– А если невеста не пустит?

– Никакой у меня невесты нет.

– Правда?

– Правда.

– Честное слово?

– Честное слово. А у вас, Маринька, нет жениха?

– Не знаю. Может быть, и нет.

И опять улыбнулись друг другу, молча, – узнали, вспомнили. «Я мог бы тебя  
полюбить», – сказал глубокий взор его. «И я могла бы», – ответила она таким  
же взором.

– Marie, что же ты? Собираться пора. Палашка, где подорожная? Куда опять  
запропастила? Ах, девка несносная! – послышался ворчливый голос маменьки.

Потянулись длинные заборы, огороды, лачуги, лавки, постоянные двory. Наконец  
возок остановился у низенького домика с жёлтыми стенами, забрызганными ещё  
летнею грязью, с полосатыми будками по обоим концам шлагбаума.

Дверца возка открылась, и заглянуло в неё усатое лицо инвалида. Караульный  
офицер прописал подорожные, скомандовал часовому: «Подвысь!» Шлагбаум  
поднялся, и нележанец въехал в Петербург.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С 27 ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге  
наступила тишина необычайна. Всё умолкло и замерло, как бы затаило дыхание.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиды, трезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.

Россия присягнула Константину I. Указы подписывались именем его; на Монетном дворе чеканили рубли с его изображением; в церквах возглашалось ему многолетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходили слухи. Одни говорили, что отрёкся от престола, другие – что согласился, а правда была неизвестна.

Для успокоения столицы объявили, что государыня мать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом что великий князь Михаил Павлович к нему навстречу выехал. Но оба известия оказались ложными.

Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.

– Пора бы кончать эти любезности, – ворчали сановники.

– Когда же наконец мы узнаем, кто у нас государь? – выходила из терпения императрица Мария Фёдоровна.

– На троне лежит у нас гроб, – шептались верноподданные в тихом ужасе.

На другой день, после присяги, в окна магазинов на Невском выставлены были портреты нового императора. Прохожие толпились перед окнами. На портрете он был дурень, а в действительности – ещё хуже. Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навывкате; насупленные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице; в минуту гнева вздымались они, щетинились; руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императрица Екатерина Великая, на бесчинное и бесчестное поведение внука: «Везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют. Не понимаю, откуда в нём вселился такой подлый санкюлотизм, пред всеми унижающий».

Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: «L'ane Constantin»[7]. Но был не глуп, а только нарочно валял дурака, чтобы оставили его в покое, не лезли с короною. «Деспотический вихрь» – называли его приближённые. Однажды на смотре лошадь его испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил её так, что она едва не издохла. Лошадью будет Россия, а Константин – бешеным всадником. Надеялись, впрочем, что не захочет царствовать, по «отвращению природному».

– Меня задушат, как задушили отца, – говаривал. – Знаю вас, каналы, знаю! – злобно усмехался. – Теперь кричите «ура», а если потащат меня на Лобное место и спросят: «Любо ли?» – вы так же закричите: «Любо! Любо!»

Рассказывали, что, когда прочёл манифест о вступлении своём на престол, с ним сделалось дурно, велел пустить себе кровь.

– Что они, дурачье, вербовать, что ли, вздумали в цари! – кричал в бешенстве. – Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлёбывайте!

Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились.

– Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью, – говорили одни.

– Почему нельзя? – возражали другие. – В России всё можно. Мы трусы. Погрози нам только гауптвахтою – и смиримся.

– Кому бараны достанутся? – держали заклад шутники.

– какие бараны?

– Мы. Разве нас не гонят от одной присяги к другой, как стадо баранов?

Решали, кто лучше – Константин или Николай?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии Конного полка в чине генерал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьём. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф [8], бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. «Бог ему судья за бедное образование, нами полученное», – говаривал впоследствии сам Николай.

Никогда не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и всё его знакомство с светом было в дворцовых передних и в секретарской комнате. «Бешен, как Павел, и злопамятен, как Александр». Правда, умён; но ума-то его и боялись пуще всего: чем умнее, тем злее.

В совершенстве усвоил прусский военный устав и вообще был немец. Предсказывали, что со вступлением его на престол немцы наводнят Россию, которая и без того уже кажется «почти завоёванной».

Константин – зверь, а Николай – машина. Что лучше, машина или зверь?

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В зале Государственного совета, в Зимнем дворце, между генерал-адъютантской комнатой и временными покоеми великого князя Николая Павловича, в восемь часов утра всё ещё было темно, как ночью. Высокие окна, выходящие на двор, зияли чернотой непроницаемой. Чёрно-жёлтый туман, казалось, проникал, как дым удушливо-едкий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжёлых канделябрах на длинном, крытом зелёным сукном столе, тускло горевшие, освещали только середину залы, а углы тонули во мраке; и там два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто Внушек и Бабушка переглядывались и перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой.

Старые сановники, в пудре, в шёлковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, блуждали, как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом тёмном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника, – семидесятилетний министр внутренних дел Ланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во дворце.

«Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную», – говорили о нём.

Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открывалась дверь, оглядывались: не он ли?

Высокого роста, благообразный, милый и важный старик с полуседыми волосами, зачёсанными наверх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта – в них меланхолия и чувствительность, – весь тихий, тишайший, осенний, вечерний, Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. «Нервы мои в сильном трепетании. Слабею, как младенец, от всего», – жаловался. Поражён был смертью государя, как смертью друга, брата любимого; и ещё больше – равнодушием всех к этой смерти. «Все думают только о себе, а о России – никто». Всё оскорбляло его, мучило, ранило; хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою бедною лизою.

Николай поручил ему составить манифест о своём восшествии на престол. Составил, но не угодил. «Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскою и спокойствием сердец невинных» – эти слова не понравились; велели переделать. Переделал – опять не понравилось. Манифест поручили Сперанскому.

Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага отечества.

Никто не слушал его, и он замолчал, отошёл. «Кончена, кончена жизнь!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Умирать пора», – плакал и смеялся над старую Бедною Лизою.

Стоя теперь у камина, поглядывал издали на всё с грустью задумчивой. «Гляжу на всё как на бегущую тень», – говаривал.

Рядом шептались два старичка сановника.

– Надеюсь, мы вас не лишимся? – спрашивал один.

– Бог знает что с нами будет! – пожимал плечами другой. – Намедни, за ужином, Пётр Петрович шампанским угашивал: «Выпьем, – говорит, – неизвестно, будем ли завтра живы».

– Всё грустить изволите, ваше превосходительство? – сказал, подойдя к Карамзину, обер-камергер Александр Львович Нарышкин[9], весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож екатерининских. Весельчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток.

– Не я один, а вся Россия... – начал было Карамзин.

– Ну Россию лучше оставим, – усмехнулся Нарышкин тонкою усмешкою. – Давеча, во время панихиды, на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять, стыдно-де смеяться, когда все плачут о покойнике. «А чего, – говорят, – о нём плакать? Пора и честь знать, вишь, сколько процарствовал!» Вот вам и Россия!

Бледноелицо Карамзина вспыхнуло:

– Смее думать, ваше превосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности...

– Ну полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одре смерти скажу: *C'est la première dette, que je paye a la nature*[10], – рассмеялся Нарышкин.

– Разве так дела делают? Все бумаги перепутали! У вас, сударь, нет царя в голове! – кричал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря, старую седую крысу, Оленина.

– Что это он говорит: нет царя? – не понял князь Лопухин, председатель Государственного совета и Комитета министров, кавалер Большого Мальтийского Креста, старик высокий, стройный и представительный, набелённый, нарумяненный, с вставной челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни от расстройств мысли глухота усилилась.

– Говорит, что нет царя в голове у Оленина, – прокричал ему Нарышкин на ухо  
– А вы думали что?

– Я думал, нет царя в России.

– Да, пожалуй, и в России, – опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкой. – И вот ведь что, господа, удивительно: уже почти месяц, как мы без царя, а всё идёт так же ладно или так же неладно, как прежде.

– Всё вздор делают! В мячик играют! – продолжал кричать Лобанов.

– Какой мячик? – опять не понял Лопухин[11].

– Ну об этом нельзя кричать на ухо, – отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзину: –А вы о мячике слышали?

– Нет, не слышал.

– «*Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie; au ballon en se la renvoyant mutuellement*»[12] – это Лафероннэ[13], французский посол, намедни пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдёт в историю государства Российского!

Лопухин подставил ухо и, должно быть услышав имя Лафероннэ, понял, в чём



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные, белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника.

– Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? – проговорил приятно-сиповатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звёздами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подёрнутыми влажностью, – «глаза умирающего телёнка», – сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Сперанский. – А меня геморроиды замучили, – прибавил, не дождавсь ответа, и, вынув из табакерки щепоточку лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утёрся шёлковым красным платком сомнительной чистоты – на тонкое бельё был скупенек – и проговорил с самодовольной улыбкой: – Эх, был бы я молодец, если бы табаку не нюхал!

– Ну, что, ваше превосходительство, готов манифест? – спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует.

Сперанский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах:

– Ох уж не говорите! Этот манифест мне вот где! – указал на шею. – Как объяснить необъяснимое, растолковать народу эти сделки домашние? Николай отрёкся для Константина, а Константин – для Николая. Ни в кузов, ни из кузова.

– Так что же было делать?

– Не открывать завещания, каши не заваривать.

– Презреть волю покойного?

– Мёртвые воли не имеют.

– Жестокие слова, ваше превосходительство!

– Лучше слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью. Если покойный государь хоть сколько-нибудь любил своё отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности, то как он мог подвергнуть Россию... Ну, да что говорить! Последние десять лет превосходят всё, что мы когда-либо о железном веке слышали... А впрочем, может быть, «всё к лучшему», как ваше превосходительство говорить изволите.

Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукой.

– Нездоровится, ваше превосходительство? – спросил Сперанский.

– Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетанье...

– Это нынче у всех. От погоды, – заметил Сперанский. – А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю – холодный отвар миллефолия[14] с горькой ромашкой.

– Миллефолий, миллефолий... – повторил Карамзин с улыбкой болезненной; что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Сперанский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подёрнутыми влажностью, «глазами умирающего телёнка», – весь как миллефолий.

Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз.

– Да, всё к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света, – улыбнулся тихой улыбкой. – Есть Бог – будем спокойны.

– Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны, – улыбнулся Сперанский.  
– Я всегда говорил: Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Как? Как вы сказали?

– Божеским промыслом и человеческой глупостью Россия водится.

Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе.

«Хороши мы оба, – думал он, – в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк – ничего, кроме слёз. Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!»

Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семена ножками, маленький, толстенный, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын.

– Ну что, готов манифест? – обступили его все.

– Какой манифест? – притворился он непонимающим.

– Э, полноте, ваше сиятельство, весь город знает!

– Ради Бога, господа, секрет государственный!

– Да уж ладно, не выдадим. Только скажите: готов?

– Готов. Сейчас к подписи.

– Ну, слава Богу! – вздохнули все с облегчением.

И в тёмном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился.

А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и Генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал, весь лёгкий, летящий, порхающий; казалось, что на руках и ногах его – крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новой чеканки монета: молодой среди старых, живой среди мёртвых. И, глядя на него, все поняли, что – старое кончено, начинается новое.

Рассветало. Вставал первый день нового царствования – страшный, тёмный, ночной день. Чёрные окна серели, серели и лица трупной серостью. Казалось, вот-вот рассыплется, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые и ничего от них не останется.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

«Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов Третий – чмок!» – так, шутя, подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате.

В тёмное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие:

– Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтение вашему здоровью – чмок!

И хотел прибавить: «Молодчина!» Но не прибавил – подумал: «Вон как похудел, побледнел. Бедный никс! Бедный малый! *Pauvre diable! Je deviens transparent!*»[15]

Вообще был доволен своею наружностью. «Аполлон Бельведерский» называли его дамы. Несмотря на двадцать семь лет, всё ещё худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, всё в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается», – сказал о нём кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые тёмные

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно  
срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть.

Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится или  
болят зубы. «Аполлон, страдающий зубной болью», – вспомнил шуточку  
императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на своё угрюмое лицо в зеркале;  
вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь, потрогал  
пальцем – ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдёт на престол с  
флюсом? Ещё больше огорчился, разозлился.

– Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтобы взбивать мыло как следует! –  
закричал на генерал-адъютанта Владимира Фёдоровича Адлерберга[16], или  
попросту Фёдорыча, который служил ему камердинером. – И вода простыла!  
Бритва тупая! – отодвинул чашку и отшвырнул бритву.

Фёдорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался  
увальнем, но был расторопен и ловок.

– Ну, что, как Сашка спал? – спросил Николай, немного успокоившись.

– Государь наследник почивать отменно изволили, – ответил Адлерберг. – А с  
утра всё плачут об Аничкином доме и о лошадках.

– О каких лошадках?

– О деревянных: забыли в Аничкином.

«Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду  
предчувствует», – подумал Николай.

– Где сегодня обедать изволите, ваше высочество? – спросил Адлерберг.

– В Аничкином, Фёдорыч, в последний раз в Аничкином! – вздохнул Николай.

Вспомнил, как мечтал «поступить в партикулярную жизнь» и предаться в  
уединении семейным радостям. «Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке  
мира обитает истинное счастье, то сделай одолжение, пошли его в Аничкин  
рай», – говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным,  
который получил в наследство от матери, императрицы Марии Фёдоровны.

После кончины брата Александра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил  
здесь в строгом заключении, как под арестом, считая «неприличным  
показываться публике». Устроил себе кабинет-спальню в библиотеке бывшей  
половины короля прусского, комнате, ближайшей к зале Государственного  
совета, с которым соединялась она тёмным коридором.

Расположился, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая  
походная кровать неудобно поставлена рядом со стеклянным книжным шкафом;  
кожаный матрац набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его  
бабушка. На полу – открытый чемодан с бельём и платьем неразобранном.

Единственный предмет роскоши – большое трюмо из красного дерева. У зеркала  
на полочках – щётки, гребёнки и склянка духов «Parfum de la Court»[17];  
тут же на особой подставке – ружья, пистолеты, сабли, шпаги и  
корнет-а-пистон.

Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел  
генеральский мундир Измайловского полка, тёмно-зелёный, с красным подбоем и  
золотистым шитьём из дубовых листиков.

Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая  
красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку; с помощью  
Адлерберга затягивался, застёгивался на все крючочки, петлички, пуговики. В  
мундире сделался ещё длиннее, стройнее, тоньше, с выпяченной грудью, с  
талией в рюмочку, как молоденький прусский капрал – хоть сейчас на  
потсдамский развод.

Кончив одевание, Фёдорыч вышел из комнаты, и Николай опустил на колени  
перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стучая  
лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел ещё прибавить что-нибудь от себя  
на предстоящий трудный день. Но ничего не придумал – своих слов не было.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org Верил в Бога, но когда думал о Нём, представлялась чёрная дыра, «где строго и жучковато», как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови – никто из дыры не откликнется.

Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь; скверный сон приснился: будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущей розгой ловит его – вот-вот поймает и высечет. И вдруг Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайон, и просит, чтоб она его высекла; знает, что розог всё равно не миновать, а она не так больно сечёт. И вдруг няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно.

«А ведь сон в руку», – подумал. Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает; недаром тот издевался над ним ещё во чреве матернем. «Никогда я такого брюха не видывал, тут место для четверых!» – шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его Мирликийским царевичем. «Ни за что, – говорил, – не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мирликийский, разве не боишься? Ведь революция – та же гроза». И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. «Я трус и знаю, что трус, а ты храбришься, но хуже моего трусишь». Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается: «Посмотрим, как-то ты из этой глупой истории выпутаешься, император-высочка, un empereur parvenu!»

Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался: «Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжался над несчастным!» И в то же время думал с зубовым скрежетом: «О, подлый шут! О, санкюлот проклятый! Что он со мною делает! За это убить мало!»

Каждое утро, после молитвы, имел обыкновение играть военную зорю на корнет-а-пистоне. Считал себя музыкантом; любил сочинять военные марши. На потсдамских манёврах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, прусского наследного принца, производила учение на площади.

Взял корнет-а-пистон, приставил к губам, надул щёки, но извлёк только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул, и опять стало жалко себя: «Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!»

– Фёдорыч, чаю!

– Сию минуту, ваше высочество!

Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего: аппетита не было. Бенкендорф доложил о Голицыне.

– С манифестом?

– Так точно, ваше высочество.

– Проси.

Вошёл Голицын с Лопухиным и Сперанским.

– Готов?

– Готов, государь.

Голицын подал ему манифест, переписанный набело.

– Прошу садиться, господа, – сказал Николай и стал читать вслух.

– «Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего...»

Не глядя на Сперанского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и проницательным.

Считал Сперанского якобинцем отъявленным.

Недаром покойный император сослал его и едва не казнил как государственного изменника. «Пальца ему в рот не клади», – думал о нём Николай, и, как бы ни был тот подобострастно-почтителен, всё казалось ему, что он смеётся над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при нём назвал Сперанского великим философом; Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете. А всё-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал: «Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу! Я всех философов в чахотку вгону!»

– «Кончиною в Бозе почившего государя императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, – продолжал читать, – мы лишились отца и государя, двадцать пять лет России и нам благотворившего. Когда известие о сём плачевном событии, в 27 день ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского...»

далее «объяснялось необъяснимое»: тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина – все эти «домашние сделки», «игра законным наследием престола, как частною собственностью».

– «Мы видели отречение его высочества, при жизни государя императора учинённое и согласиём его величества утверждённое; но не желали и не имели права сие отречение, в своё время всенародно не объявленное и в закон не обращённое, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верным присяге, нами данной, мы настояли, чтобы и всё государство последовало нашему примеру, и сие учинили мы не в пререкание действительности воли, изъявленной его высочеством, и ещё менее в преслушание воли покойного государя императора, общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших...»

– Невразумительно. О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно, – сказал Николай и почувствовал, что на воре шапка горит.

– Изменить прикажете, ваше величество?

Легко сказать: изменить – надо знать как. А этого-то он и не знал.

– Нет, пусть уж так, – махнул рукой и надулся.

– «С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему; время вступления нашего на престол считать с 19 ноября 1825 года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами тёплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлёт нам силы к понесению бремени, святым Промыслом Его на нас возложенного...»

– Не «возложенного», а «возложенному», – поправил Николай.

Сперанский молча взял карандаш.

– Постойте, как же правильней?

– Родительный падеж, ваше величество: «возложенного» – «бремени возложенного».

– Ах да, родительный... Ну, так и поправлять нечего, – покраснел Николай. Никогда не был твёрд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеётся над ним, как над маленьким мальчиком.

– «Да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится всё, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду, стяжать благословение Божие и любовь народов наших».

Манифест ему нравился. Но он и виду не подал; дочитав до конца, ещё больше надулся.

Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыв глаза, перекрестился; но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только чёрная дыра, где «строго и жучковато»; сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется. Подписал, уже ни о чём не думая. Только спросил:

– Тринадцатое?

– Так точно, государь, – ответил Сперанский.

«А завтра понедельник», – вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым.

– Счастье имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол или, вернее, сошествием, – потянулся к нему Лопухин, и поцеловал его в плечико.

– Почему сошествием? – удивился Николай.

– А потому, что фамилия вашего императорского величества так высоко поднялась в общем мнении публики, что члены оной как бы уже не восходят, а, скорей, нисходят на престол, – осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленом пахло изо рта его, как от покойника.

– Ангел-то, ангел наш с небес взирает! – всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико.

– Не с чем меня поздравлять, господа, – обо мне сожалеть должно, – проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти не скрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись: – Ну а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?

– «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его», никогда я себе этих слов не прощу, ваше величество, – поднял на него Сперанский медленные глаза свои.

– Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?

– Не того ждёт Россия от вашего величества.

– А чего же?

– Нового Петра.

Лесть была грубая и тонкая вместе. «I] u a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand»[18], – сказал однажды Сперанский о великом князе Николае Павловиче и мог бы то же сказать об императоре.

Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать, но тот поспешно отёрнул её, обнял его и поцеловал в лысину.

– Ну, полно, ваше превосходительство, льстить изволите, – усмехнулся недоверчиво, а сердце всё-таки сладко дрогнуло: «второй Пётр» был его мечтой давней.

Помолчал и прибавил:

– Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного. Но надеюсь быть достойным своего звания: надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все оный предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на своё место. Философия не моё дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
жить – значит служить; и если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия!

Взглянул на Сперанского. Тот молчал, зажмурил глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку.

– А за сим, – продолжал Николай, возвышая голос, – не допускаю и мысли, чтобы во всём касающемся дел вверенной мне Богом империи кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути.

Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился; входил во вкус; покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но ещё не умеет кричать как следует.

– И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин, – кончил и встал.

– Государственный совет, ваше сиятельство, – обратился к Лопухину, – извольте собрать сегодня к восьми часам вечера для объявления манифеста и учинения присяги. И прошу вас, господа, чтоб никто не знал... Сегодня прошу, а завтра буду приказывать, – опять не удержался, кончил окриком.

Лопухин, Голицын и Сперанский вышли из комнаты. В одну дверь вышли, а в другую вошёл Бенкендорф.

Бедный остзейский дворянин, будущий великий сыщик, шеф жандармов, начальник III отделения, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф имел наружность приятную, даже благородную, только лицо слегка помятое, – видно было, человек пожил; улыбка неподвижно-любезная, взор обманчиво добрый, как у людей равнодушно-уклончивых. Не глуп, не зол, но рассеян и лёгок на всё. «Скользьте, смертные, – не напирайте. *Glissez, mortels, n'arrivez pas*», – говаривал.

Когда он вошёл, в лице Николая сразу, без всякого перехода, одно выражение заменилось другим, – угрюмо-надутое умиленно-чувствительным. Вообще выражение лица его менялось мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски. «Множество масок, но нет лица», – сказал о нём кто-то.

Схватил Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча.

– Подписать изволили, ваше величество?

– Подписал, – тяжело вздохнул Николай и поднял глаза к небу. – Я долг свой исполнил: наш ангел должен быть мною доволен. Всё будет в порядке, конечно, или я жив не останусь. Воля Божья и приговор братний надо мною совершаются. Я, может быть, иду на гибель, но нельзя иначе. Жертвую собою для брата; счастлив, если, как подданный, исполню волю его. Но что будет с Россией?..

Долго ещё говорил. Привычку к болтовне слезливой получил тоже в наследство от матери.

Бенкендорф ждал с нетерпеливою скукою, когда он кончит.

– Ну, что, как в городе? – проговорил Николай уже другим, деловым голосом, утирая платком сухие глаза, и опять так же мгновенно, как давеча, одна маска упала, другая наделась.

– Всё тихо, ваше величество. Но, может быть, тишина перед бурей.

– А всё-таки бури ждешь?

– Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует.

– А с Ростовцевым-то [19], кажется, я вчерась оплошал, – вдруг вспомнил Николай. – Так и не узнал имён. Никогда себе не прощу. Узнать бы имена да арестовать...

– Ни-ни, ваше величество, никаких арестов! А то вся шайка разбежится. Да и первый день царствования омрачать не следует.

– А если начнут действовать?

– Пусть, тогда и аресты никого не удивят. Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас и без того довольно.

– Зато друг один! – воскликнул Николай и крепко пожал ему руку.

Подошёл к столу, отпер ящик и вытянул пакет с надписью: «О самонужнейшем. Его Императорскому Величеству в собственные руки». Это был привезённый накануне Фредериксом из Таганрога донос генерала Дибича.

– На, прочти. Тут ещё целый заговор.

– Во второй армии? Тайное общество подполковника Пестеля? – спросил Бенкендорф, не раскрывая пакета.

– А ты уже знаешь? – удивился, почти испугался Николай. «Вот он какой! На аршин под землёй видит!»

– Знаю, ваше величество. Ещё в двадцать первом году имел счастье представить о сём донесение покойному государю императору.

– Ну, и что ж?

– Изволили оставить без внимания. Четыре года пролежала записка в столе.

– Хорошенькое наследство оставил нам покойник, – усмехнулся Николай злобно.

– Никому о сём деле говорить не изволили, ваше величество? – посмотрел на него Бенкендорф пронизательно.

– Никому, – солгал Николай: стыдно было признаться, что и тут «сгруппил» – сообщил о доносе Милорадовичу[20].

– Ну, слава Богу. Главное, чтоб не узнал Милорадович, – как будто угадал Бенкендорф мысль Николая. – Я тогда же осмелился доложить его величеству, что дела сего нельзя поручать Милорадовичу.

– Почему?

– Потому что он сам окружён злодеями.

– Милорадович? И он с ними? – побледнел Николай.

– С ними ли, нет ли, а только он, может быть, хуже всех заговорщиков. Страшно подумать, ваше величество, – судьба отечества в руках этого паяца бездушного! Я о нём такое слышал намедни, что ушам не поверил.

– Что же?

– Увольте, государь. Повторять гнусно.

– Нет, говори.

– Когда 27 ноября, по открытии завещания покойного государя императора, Милорадович с неслыханной дерзостью воспротивился вступлению на престол вашего величества, кто-то ему говорит: «Вы, – говорит, – очень смело действуете, граф!» А он: «Когда, – говорит, – шестьдесят тысяч штыков имеешь в кармане, можно быть смелым!» – засмеялся и похлопал себя по карману.

– Мерзавец! – прошептал Николай, ещё больше бледнея.

– А давеча мне самому говорит, – продолжал Бенкендорф. – «Сомневаюсь, – говорит, – в успехе присяги. Гвардия не любит его», то есть вашего императорского величества. «О каком, – говорю, – успехе вы говорите? И при чём тут гвардия? Какой голос она может иметь?» – «Совершенно, – говорит, – справедливо: им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру».



– Мерзавец! – опять прошептал Николай.

– «Воля, – говорит, – покойного государя, изустно произнесённая, была бы священна для гвардии; но объявление по смерти его духовного завещания непременно будет сочтено подлогом».

– Подлогом? – вздрогнул Николай, и лицо его вспыхнуло, как от пощёчины. – Что же это, что же это значит? Самозванец я, что ли?

– Граф Милорадович, ваше величество, – доложил Адлерберг, тихонько приотворяя дверь и просовывая голову.

«Не принимать!» – хотел было крикнуть Николай, но не успел: дверь открылась настежь, и молодцеватой походкой, позвякивая шпорами, вошёл петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович.

Выходя из комнаты, Бенкендорф столкнулся с ним в дверях и, низко поклонившись, уступил ему дорогу с особенной любезностью.

Сподвижник Суворова, герой двенадцатого года, Милорадович, несмотря на шестой десяток, всё ещё сохранил осанку бравую, тот вид победительный, с каким, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами раскуривал трубку и поправлял складки на своём плаще амарантовом[21]. Рыцарем Баярдом называли его одни, а другие – хвастунишкой, фанфаронишкой. У него были крашенные волосы, большой крючковатый нос, пухлые губы и масляные глазки старого дамского угодника.

Взглянув на Милорадовича, Николай вдруг вспомнил конец своего сна о кривом зубе: когда, убегая от Ламсдорфа – Константина, бросился он к старой няне, англичанке мисс Лайон, – всё-таки не так больно высечет, – то оказалось, что няня уже не няня, а Милорадович с большущей розгой, которой он и высек бедного никса пребольно – ещё больнее, чем Ламсдорф – Константин.

Милорадович вошёл, поклонился, хотел что-то сказать, но взглянул на Николая и онемел – такая лютая ненависть была в искривлённом лице его и глазах сверкающих. Но это промелькнуло, как молния, – маска переменилась: глаза потухли, и лицо сделалось недвижимым, точно каменным; один только мускул в щеке дрожал непрерывною дрожью.

– А я давно вас поджидаю, ваше сиятельство. Прошу садиться, – сказал он спокойно и вежливо.

Перемена была так внезапна, что Милорадович подумал, не померещилось ли ему то, другое лицо, искажённое.

– Ну, что, как дела? Арестовали кого-нибудь? – спросил Николай.

– Никак нет, ваше высочество. Из лиц, поименованных в донесении генерала Дибича, никого нет в городе, все в отпуску. А насчёт подполковника Пестеля приказ об аресте послан.

– Ну а здесь, в Петербурге, спокойно?

– Спокойно. Порядок примерный по всем частям. Можно сказать, такого порядка никогда ещё не бывало. Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь вовсе нет.

– Почти уверены?

– Мнение моё известно вашему высочеству: для совершенной уверенности надлежало бы государю цесаревичу поспешить приездом в Петербург, прочесть духовную покойного государя в общем собрании Сената и, провозгласив ваше высочество государем императором, тут же первому преступить к присяге.

– Ну а если этого не будет, что тогда? В успехе присяги сомневаетесь? Гвардия не любит меня? И хотя им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру? Так, что ли? – посмотрел на него Николай пристально, и мускул в щеке задрожал сильнее.

«Должно быть, подлец Бенкендорф донёс», – подумал Милорадович, но не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org опустил глаз, начал вдруг сердиться.

– Извините, ваше высочество...

– Не высочество, а величество, – перебил Николай грозно. – Манифест уже подписан...

– Счастье имею поздравить, ваше величество, – поклонился Милорадович. – Но я всё-таки должен исполнить свой долг. Я никогда не утаивал правды от вашего высочества... вашего величества и теперь не утаю: да, нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол...

– А-га, договорились! Подлогом сочтут манифест, а меня самозванцем? Так, что ли? – усмехнулся Николай, и опять что-то сверкнуло в лице его, как молния.

– Не понимаю, ваше величество...

– Не понимаете, граф? Собственных слов не понимаете?

– Не знаю, какой подлец передал слова мои в столь извращённом виде. И охота вашему высочеству слушать доносчиков, – побледнел Милорадович, и в старом хвастунишке, фанфаронишке вдруг промелькнул старый солдат, сподвижник Суворова. Он глядел прямо в глаза Николаю с тем видом победительным, с которым, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами раскуривал трубку и поправлял складки на своём плаще амарантовом.

Николай молча встал, подошёл к столу, отпер ящик, тот самый, из которого давеча вынул донос Дибича, достал бумагу – это было письмо-донос Ростовцева – и вернулся к Милорадовичу.

– Известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?

– Какой заговор? Никакого заговора нет и быть не может, – пожал плечами Милорадович.

– А это что? – сунул ему письмо Николай и, указывая на подчёркнутые строки, прочёл:

– «Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России».

Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая.

– Подпоручик Ростовцев. Знаю. Собрания «Полярной Звезды» у Рылеева...

Об этих собраниях доносила ему тайная полиция. «Всё вздор! Оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки», – отмахивался он с беспечностью.

И теперь отмахнулся:

– Всё вздор! Мальчишки, писачки, альманашники...

– Как вы, сударь, смеете! – закричал Николай и вскочил в бешенстве; всё тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый ивовый прут. – Ничего вы не знаете! Ни за чем не смотрите! Вы мне за это головой ответите!

Милорадович тоже встал, весь трясаясь от злобы, но, сдержав себя, проговорил с достоинством:

– Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность...

– Молчать!

– Позвольте узнать, ваше высочество...

– Молчать!

Несмотря на бешенство, Николай всё сознавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел; точно огненный напиток, разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением.

– Вон! Вон! Вон! – кричал, сжимая кулаки, топя ногами и наступая на Милорадовича.

«Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный», – подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери, как большой добрый пёс, весь ощетинившись, с глухим рычанием, пятится перед маленьким злым насекомым – пауком или сороконожкой.

Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты. Но опять, как давеча, столкнулся в дверях с Бенкендорфом. Разминулись уже без всякой любезности.

Бенкендорф подбежал к Николаю и обнял его, делая вид, что поддерживает.

– Мерзавец! Мерзавец! Что он со мною делает! И он, и брат Константин, и все, все!.. – упал к нему на грудь Николай, всхлипывая.

– Courage, sire, courage! [22] – повторял Бенкендорф. – Бог не оставит вас...

– Да, Бог... и тот, кого всю жизнь оплакивать будем, ангел наш на небеси, – поднял Николай глаза. – Я им дышу, им действую, – пусть же он мне предводительствует! Да будет воля Божья, я на всё готов. Умрём вместе, мой друг! Если мне суждено погибнуть, то у меня шпага с темляком – вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках и предстану на суд Божий с чистою совестью. Завтра, четырнадцатого, я – или государь, или мёртв!

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

13 декабря, утром, Голицын с Оболенским поехали к Рылееву.

Подъезжая к дому Российско-американской компании, у Синего моста, на Мойке, Голицын узнал ещё издали окна в нижнем этаже, с чугунной выпуклой решёткой.

Знакомый казачок филька отпер им дверь и пропустил их без доклада, как, должно быть, пропускал всех. В последние дни у Рылеева с утра до ночи толпились гости, приходили и уходили уже без всякой осторожности. Тут было сборное место, как бы главный штаб заговорщиков.

В маленькой столовой всё по-прежнему и по-иному: белые кисейные занавески на окнах потемнели от пыли и копоти; бальзамины и бархатцы в горшках позасохли; половички повытерлись; невощёный пол потускнел; канареечная клетка опустела; лампы перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где ютились в тесноте жена Рылеева с дочкою, была закрыта наглухо. Как будто от всего отлегло то весёлое, невинное, именное и новобрачное, что было здесь некогда.

Хозяина не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели беседу вполголоса.

– Дома Рылеев? – спросил Оболенский [23], здороваясь.

– У себя в кабинете. Кажется, спит. Да ничего, войдите. Велел разбудить, когда приедете.

Оболенский постучал в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошёл вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, книжным шкафом и сваленными пачками «Полярной Звезды», альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылеевым. Окна выходили на задний двор с грязно-жёлтой стеной соседнего дома.

Было жарко натоплено. Пахло лекарствами. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами.

На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мёртвого. Похудел, осунулся так, что Голицын

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат; заболел жабою[24]; поправлялся, но всё ещё был нездоров.

Голицын остановился у двери. Оболенский подошёл к дивану. Половица скрипнула. Спящий открыл глаза и уставился на вошедших мутным взором, неузнавающим, невидящим.

– Что это? Что это? – тихо вскрикнул, приподнялся и обеими руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал срывать с шеи платок. Но от неловких движений узел затягивался.

– Погоди, дай развяжу, – наклонился к нему Оболенский, распутал узел и снял платок. – Разбудили мы тебя, напутали, Рылеюшка бедненький, – сказал, присев на диван и глядя его рукой по голове с тихой ласкою. – Дурной сон приснился?

– Да, опять эта гадость. Который раз уже снится!

– Да что такое?

– Не знаю, не помню... Что же вы стоите, Голицын? Садитесь... Кажется, всё насчёт этой самой верёвки...

– Какой верёвки?

Рылеев ничего не ответил, только улыбался странной улыбкой; в ней был остаток бреда. И Оболенский тоже замолчал, вспомнил, как во время жабы ставили Рылееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно задели за рану; Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев рассмеялся: «Как тебе не стыдно кричать от таких пустяков! Забыл, к чему шею готовишь?»

– А у тебя опять лихорадка. Вон голова горячая. Не надо было сегодня выходить, – сказал Оболенский, положив ему руку на лоб.

– Не сегодня – так завтра. Ведь уж завтра-то выйду наверное, – опять улыбнулся Рылеев той же странной, сонной улыбкой.

– А завтра что?

– Э, чёрт! О пустяках говорим, а главного-то вы и не знаете, – начал он уже другим голосом: только теперь проснулся как следует. – Окончательно курьер из Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в семь часов утра собирается Сенат и в войсках будет присяга Николаю Павловичу.

Со дня на день ждали этой вести, а всё-таки весть была неожиданной. Поняли: завтра восстание. Замолчали, задумались.

– Будем ли готовы? – сказал наконец Оболенский.

Рылеев пожал плечами.

– Да, глупый вопрос! Никогда не будем готовы. Ну что ж, завтра так завтра. С Богом! – решил Оболенский и, опять помолчав, прибавил: – А что же делать с Ростовцевым?

Ростовцев, хотя и не член тайного общества, но приятель многих членов, кое-что знал о делах заговорщиков. Своё свидание с великим князем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием «Прекраснейший день в моей жизни», которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав: «Делайте со мною что хотите, – я не могу поступить иначе».

– Моё мнение ты знаешь, – ответил Рылеев.

– Знаю. Но ведь убить подлеца – значит на себя донести. И стоит ли руки марать?

– Стоит, – произнёс Рылеев тихо. – А вы, Голицын, что скажете?

– Скажу, что Ростовцев ставит свечку Богу и дьяволу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утаить всё что угодно.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

– Итак, вы думаете, что мы уже заявлены? – спросил Рылеев.

– Непременно, и будем взяты, если не сейчас, так после присяги, – ответил Голицын.

– Что же делать?

– Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли!

– А ты, Оболенский, как думаешь? – опять спросил Рылеев.

– Ну, конечно, так же.

Рылеев одной рукой взял руку Голицына, другой – Оболенского.

– Спасибо, друзья. Я знал, что вы это скажете. Итак, с Богом! Мы начнём. И пусть ничего сами не сделаем, зато научим других. Пусть погибнем, – и самая гибель наша пробудит чувства уснувших сынов отечества!

Говорил, как всегда, книжно, непросто; но просты были глаза, на исхудалом лице огромные, тёмные и ясные, горевшие таким огнём, что становилось жутко; просто было лицо, на котором выражалось прежде слов всё, что он чувствовал. «Так выступают изваяния на прозрачных стенках алебастровой вазы, когда внутри зажжён огонь», – вспомнились Голицыну слова Мура[25] о Байроне.

Вспомнились также стихи Рылеева:

Известно мне: гибель ждёт  
Того, кто первый восстаёт  
На утеснителей народа;  
Судьба меня уж обрекла.  
Но где, скажи, когда была  
Без жертв искуплена свобода?

– Да, наконец-то мы можем сказать: завтра начнём, – продолжал Рылеев. – Как я ждал этой минуты, как радовался! И вот наступила минута. Отчего же нет радости? Отчего душа моя прискорбна даже до смерти?

Облокотился на колени, положил голову на руки и ссутулился, сгорбился, как будто весь поник под навалившейся тяжестью. Слёзы задрожали в голосе.

– Простите, друзья! Не надо об этом...

– Нет, надо, Рылеев! Говори всё, легче будет, – сказал Оболенский.

– Планщиком назвал меня Пушкин. «Не поэт, а планщик». Да, планщик и есть, – усмехнулся Рылеев. – Умозритель свободы, а не делатель. Планы чёрчу, а не строю.

– Не вы один, Рылеев, мы все такие же, – возразил Голицын.

– Да, все. Намедни, ночью, когда ходил по улицам, где-то в глухом переулочке, между казармами, собралась кучка солдат, слушают: о новой присяге всё понимают: «Грудью, – говорят, – встанем за царя Константина, не выдадим!» Ну, я и разошёлся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеётся солдатик пьяненький да ласково так, будто жалеючи: «Эх, барин, барин, хороший барин, да bestолковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймёшь!» Только всего и сказал, а я вдруг понял. Да, в России – нерусские, своим – чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаём за вольность, – говорим: за царя Константина. Лжём. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашею собственною гибелью. Но всё-таки думал, что увидим страну обетованную хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьём голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся... О, тяжело, братья, тяжело, сверх сил!

Не кончил и закрыл лицо руками.

Оболенский опять подсел к нему и начал гладить его по голове с тихой ласкою. Как всегда в минуты нежности, называл его «Коньком» – от «Коня», Кондратий.

– Устал ты, измучился, конёк мой бедненький!

– Устал, Оболенский, ох как устал! Вот, говорят, другая жизнь. А с меня и этой довольно. Так устал, что, кажется, мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть...

– А знаете, о чём я всё думаю? – продолжал, помолчав. – Что это значит: «да идёт чаша сия мимо Меня»? Как мог Он это сказать? Для того и пришёл, чтобы чашу испить, – и вот не захотел, ослабел, ужаснулся. Это Он-то, Он – Бог! Совсем как человек... А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите: есть?

– Есть, Рылеев, – ответил Голицын и улыбнулся.

– Да, вот как просто сказали, – улыбнулся Рылеев. – Ну, не знаю, может, и есть. А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите?

– А разве нет свободы с Богом?

– Нет. С Богом – рабство.

– Было рабство, а будет свобода.

– Будет ли? И когда ещё будет? А сейчас... Нет, холодно, Голицын, холодно!

– Что холодно, Рылеев?

– Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не любит земли.

– А разве нельзя вместе?

– Научите – как?

– Он уже научил: да будет воля Твоя на земле, как на небе. Тут уж вместе.

– Планщик!

– Ну что ж, пусть. За этот «план» умереть стоит!

Рылеев ничего не ответил, закрыл глаза, опустил голову, и слёзы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их не чувствовал.

Оболенский наклонился к нему и обнимал, целовал, как больного ребёнка, с тихой ласкою.

– Ничего, ничего, конёк! Небось, всё будет ладно. Христос с тобой!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой, генерал-адъютанта Бистрома[26], был одним из главных учредителей Северного тайного общества.

В Москве, под Новинским, в приходе Покрова, в старинном, как бы деревенском, помещичьем доме, с флигелями и службами, среди густого, дремучего сада, жила семья Оболенских, без вельможных затей, просто и весело. Старый князь Пётр Николаевич, рано овдовев, вёл в миру иноческую жизнь, в посте и молитве. По наружности казался печальным и суровым. Но недаром маленькие внучки любили его без памяти и за лёгкие, как пух, седые волосы прозвали Одуванчиком: таким он и был – весь лёгкий, светлый и нежный, – с детьми сам как дитя.

Князь Евгений был первенец от второго брака князя Петра Николаевича Оболенского на Анне Евгеньевне Кашкиной, дочери генерал-аншефа, тульского наместника[27] при императрице Екатерине II. После смерти княгини Анны

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
родная сестра её Александра Евгеньевна, фрейлина императрицы Марии  
Фёдоровны, заменила детям покойную мать.

Когда молодой Оболенский поступил в гвардейский Павловский полк и переехал на житьё в Петербург, тётка его, Анна Гавриловна Кашкина, поручила ему, как старшему, надзор за своим единственным сыном Серёжей, совсем ещё молоденьким мальчиком, шалуном и повесою, служившим в том же полку. Язычок у Серёжи был острый, как бритва. Однажды пошутил он над полковым товарищем, поручиком Свиным, и тот вызвал его на дуэль. Оболенский, узнав об этом, поехал к обиженному и объявил, что дуэли не бывать, Сергей – мальчишка, на которого сердиться не стоит, а уж если Свинин хочет непременно драться, то пусть дерётся с ним, Оболенским. Свинин принял вызов, дрался и был убит.

Человек добрый, не способен мухи обидеть – нравом весь в отца, в Одуванчика, – князь Евгений был так потрясён этим убийством, что заболел; но виноватым себя не считал и никаких угрызений совести не чувствовал: думал, что убийство на дуэли – не преступление, а несчастие; к тому же дрался не за себя, а за брата, единственного сына матери, почти ребёнка, которого нельзя было спасти иначе. Мысли эти так успокоили его, что когда он выздоровел и вернулся к прежней, рассеянной жизни, то забыл обо всём. Но вспомнил. Опять забыл, опять вспомнил – и так много раз, пока наконец не почувствовал, что никогда не забудет, и чем дальше, тем воспоминание живее, острее, невыносимее. И хуже всего было то, что он сам не понимал, что с ним; продолжал считать себя невинным, а между тем мучился так, что бывали минуты, когда ему казалось, что он сойдёт с ума или наложит на себя руки.

В одну из таких минут начал молиться, почти бессознательно повторяя слова детских молитв – «Отче наш», «Богородицу», – и стало легче. С тех пор часто молился и мало-помалу оживал, как человек полузадохшийся, который начинает дышать.

Наконец понял, что ему становится легче только тогда, когда он перестаёт себя извинять, принимает всю тяжесть вины и считает себя самым обыкновенным убийцею, несколько не лучше, а, может быть, хуже тех, что режут людей на больших дорогах; понял, что нельзя оправдать, а можно только искупить вину. Но ещё не знал как. Думал бросить всё и уйти в монастырь, но чувствовал, что этого мало: легче уйти, чем остаться в миру. Надо было деваться куда-нибудь, и он поступил сначала в ложу «каменщиков», а оттуда – в Северное тайное общество. И скоро почувствовал, что здесь найдёт то, что искал, – свой испупительный подвиг.

Внутренне изменился до неузнаваемости, а наружно оставался тем же блестящим гвардейским поручиком с довольно приятным, но обыкновенным лицом, здоровым, гладким, белым и румяным, круглым, безусым и безбородым; моложе своих лет – ему было двадцать девять.

По приезде Голицына из Василькова Оболенский часто видался с ним и с жадностью слушал рассказы его о Южном обществе, о славянах, о Сергее Муравьёве и его «Катехизисе». Главную мысль Муравьёва о свободе с Богом он сразу понял.

Утром 13 декабря от Рылеева Оболенский с Голицыным пошли к Трубецкому.

На Английскую набережную, где жил Трубецкой, можно было пройти от Синего моста прямо по Вознесенскому. Но после душной рылеевской комнаты им захотелось подышать свежим воздухом, и, решив сделать крюк, пошли по набережной Мойки, к Поцелуеву мосту, чтобы, завернув направо за угол Морских казарм, выйти на Галерную.

В середине города было мало ещё снега, но здесь – на пустынной Мойке – всё уже бело, тихо, сонно и мягко. Между белым пуховиком земли и серым пологом неба жёлтенькие низенькие домики спали непробудным сном. И в этой уютной, как будто деревенской, тихости, серости, сонности казался невозможным завтрашний бунт, как в зимнем небе – молния.

Прохожих – ни души: можно было говорить, как у себя в комнате.

– Трубецкой знает, что завтра? – спросил Голицын.

– Нет. Мы ему скажем.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– А правда, говорят, будто он охладел к Обществу?

– Может быть, и правда.

– Трусит, что ли?

– Не думаю. На Шевардинском редуте, под ядрами, четырнадцать часов простоял так спокойно, как будто играл в шахматы. Но храбрость солдата – не храбрость заговорщика. Под Луценом, когда французы из сорока орудий громили нашу гвардию, Трубецкой вздумал пошутить над поручиком фон Боком; подошёл к нему сзади и бросил ком земли, а тот свалился без чувств. Так и сам он, может быть, завтра свалится. Для такого дела, как наше, нет человека менее пригодного. Нерешителен и вежлив – вежлив до сумасшествия. Себя и других готов погубить, только бы не сделать какого невежества. И революции хочет вежливой – революции на розовой воде. Это одно; а другое – слишком благополучен: молод, богат, знатен, женат на прелестной женщине. Евангельский юноша, который отошёл с печалью от Господа, потому что у него было большое имение...

– В такую минуту отойти – подлость! – воскликнул Голицын.

Оболенский посмотрел на него немного исподлобья, пристальным взором умных и добрых глаз, слегка прищуренных, как будто улыбающихся, а на самом деле без всякой улыбки, серьёзных, даже печальных.

– Нет, тут не подлость.

– А что же?

– Да вот, пожалуй, то самое, о чём говорил давеча Рылеев: не делатели, а умозрители. Планщики, теоретики, лунатики. Ходим по крыше, по самому краю, а назови любого по имени – упадёт и разобьётся оземь. Всё наше восстание – Мария без Марфы, душа без тела. И не мы одни – все русские люди такие же; чудесные люди в мыслях, а в деле – квашни, размазни, точно без костей, мягкие. Должно быть, от рабства. Слишком долго были рабами.

– Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рылеев?

– Ну, где же Рылееву? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а отчего – не знает.

– А вы знаете?

– Кажется, знаю.

– Отчего же?

– От крови, – произнёс Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом.

– От какой крови?

– Кровь надо пролить, убить, – продолжал он ещё тише. – Всё обдумал, решил, расчёл, как по пальцам. Помните Пестелев счёт: сколько будет жертв? Тогда Рылеев не захотел, ужаснулся, а теперь сам считает: одного государя убить мало – надо всех членов царской фамилии. Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели Общества: разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междуусобную. С истреблением же всех все поневоле примирятся и новое правление установится. Да, обдумал, решил, расчёл, как по пальцам, а что-то мешает. И сам не знает что, оттого и мучается.

– А вы и это знаете?

– Знаю, – ответил Оболенский и замолчал. Голицын – тоже, и обоим стало вдруг неловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть навалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть.

Завернули с Мойки на Крюков канал. Здесь было ещё пустынее, глуше, только снег хрустел под ногами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
ними идёт и подслушивает.

– Я знаю, что нельзя убить, – проговорил наконец Оболенский так странно внезапно, что Голицын посмотрел на него с удивлением.

– Почему нельзя? Грех?

– Не грех, а просто нельзя, невозможно.

– Как невозможно? Убивают же люди друг друга.

– Убивают в безумии, в беспамятстве, нечаянно, а нарочно, в полном рассудке – нельзя. Решить: убью – и убить, этого человек не может.

– Ну, нет, может.

– Скажите пример.

– Да вот хоть война или смертная казнь.

– Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит – один закон для всех. И на войне тоже все убивают всех, а кто кого – неизвестно, лица не видно. А тут лицо, лицо – главное. Увидеть человека в лицо и убить – вот что невозможно. Не понимаете?

– Не понимаю, – вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил своё согласие с Пестелем – «всех до корня истребить», – и оно показалось ему лёгким по сравнению с этой тяжестью, которая теперь навалилась на них. – Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете, – заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос; так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться.

– Да, знаю, – проговорил Оболенский с усилием и вдруг начал бледнеть, бледнеть и побледнел, побелел как полотно. – А вы, может быть, не знаете, Голицын, что я человека убил, – прошептал почти беззвучным шёпотом, и побелевшие губы улыбнулись так, что у Голицына сердце упало.

– Простите, Евгений Петрович, ради Бога! Вы меня не так поняли... Ну, какое же. Это убийство – на дуэли?

– Всё равно какое. Убил – и знаю.

Опять оба замолчали, и тяжесть навалилась ещё невыносимее.

– А у меня Трубецкой всё из головы не выходит. Ведь этот, пожалуй, хуже Ростовцева, – хотел было Голицын переменить разговор, сбросить тяжесть, но вышло неестественно, и он сам это почувствовал. Опять рассердился. Жалел Оболенского, но чем сильнее жалел, тем больше сердился.

– А знаете что, Оболенский, – заговорил сухо, почти грубо, – волков бояться – в лес не ходить: если нельзя убивать, так и бунтовать не надо.

– Нет, надо, – возразил Оболенский опять так же тихо, как давеча: по мере того как один горячился, другой утихал.

– Какой же бунт без крови? На розовой воде, по Трубецкому, что ли?

– Не бойтесь, Голицын, будет кровь. Нельзя убить нарочно, а ненарочных убийств всегда было сколько угодно, и у нас будет.

– А, вот что! Ну, кажется, я наконец начинаю понимать. Дураки убивать будут, а умные станут в сторонке, чтоб не запачкаться?

– Зачем вы так говорите? – взглянул на него Оболенский с укором. – Вы же знаете, что мы идём на муку крестную – вместе, все вместе. Больше этой муки нет на земле.

– Какая мука? Какая мука? Говорите прямо, надо убивать или не надо?

– Надо.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– И можно?

– Нет, нельзя.

– Нельзя и надо вместе?

– Да, вместе.

– Да ведь это, значит, рассудка лишиться? – остановился Голицын и затопал ногами в бешенстве. – Чёрт бы нас всех побрал! Что мы делаем! Что мы делаем! Рылеев мучается, Трубецкой изменяет, Ростовцев доносит, а мы с вами рассудка лишаемся. Квашни, размазни, точно без костей мягкие, русские люди, подлые, подлые! Святое дело в подлых руках!

– Ну что ж, Голицын, какие есть, – улыбнулся Оболенский, и от этой улыбки лицо его вдруг изменилось, просветлело неузнаваемо. – А всё-таки надо, всё-таки надо начать. Пусть мягкие – окрепнем; пусть подлые – очистимся. И пусть ничего не сделаем – другие сделают. «Да будет один царь на земле и на небе – Иисус Христос» – это вся Россия когда-нибудь скажет – и сделает. Господь не покинет России. Только бы с Ним, только бы с Ним – и такая будет революция, какой мир не видал!

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Диктатор» заговорщиков, князь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лавалю [28], на Английской набережной, около Сената.

Полуниций француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионщице, наследнице семнадцати тысяч душ и богатейших медных заводов на Урале, Лаваль вышел в люди, сделался русским графом, камергером, тайным советником, директором департамента в министерстве иностранных дел. На балах и раутах его собиралось всё высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зинаида, была замужем за графом Лебцелльтерном, австрийским посланником, другая, Екатерина, – за князем Трубецким.

На верхней лестничной площадке, выложенной древними мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского почтительно-ласково старичок камердинер, седенький, в чёрном атласном фраке, в чёрных шёлковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепных, точно дворцовых, покоев провёл их на половину князеву, в его кабинет. Это была огромная, заставленная книжными шкапами комната с окнами на Неву, очень светлая, уютно затенённая тёмными коврами, тёмной дубовой облицовкой стен и тёмно-зелёною сафьянною [29] мебелью.

Хозяин встретил гостей со своей обычной, тихой и ровной, несветскою любезностью.

– Мы к вам на минутку, князь, – начал Оболенский, не садясь, несмотря на приглашение хозяина. – Рылеев очень просит вас пожаловать...

– Ах, Боже мой! – схватился Трубецкой за голову. – Я так виноват перед ним! Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые. Но непременно, непременно, на днях... завтра же...

– Не завтра, а сегодня, сейчас. Мы за вами приехали, князь, и без вас не уедем, – произнёс Оболенский с твёрдостью.

– Сейчас? Я, право, господа, не знаю... Да что же вы стоите, садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли позавтракать?

От завтрака отказались решительно, но должны были усесться в глубокие, колыбельно-мягкие кресла, у камина, уютно пылавшего в белесоватых полуденных сумерках. Заметив, что огонь может беспокоить Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко, и только тогда уселся против них, спиной к свету – невольная уловка людей застенчивых.

– Дайте, господа, хоть с мыслями собраться.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Голицын оглянулся на дверь. Трубецкой встал, подошёл к ней и запер на ключ.

– А та – на половину княгинину, там сейчас никого, – указал на другую дверь. – Позвольте, господа, говорить откровенно.

– Откровенность лучше всего, – подтвердил Голицын, вглядываясь в Трубецкого пристально.

Одет по-домашнему, во фраке. Не очень молод – лет за тридцать. Высок, сутул, худ, со впалую грудью, как у чахоточных, рябоват, рыжеват, с растрёпанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинным, узким лицом, большим загнутым носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинами по углам рта. Немного похож на жида, как дразнили его в детстве товарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детски простых, печальных и добрых, такое благородство, что Голицын подумал: «Уж полно, не ошиблись ли мы с Оболенским?»

И вспомнились ему слова из сочинённой Трубецким конституции[30] – «Устава Славяно-Русской Империи»: «Рабство отменяется, разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поелику оно противно христианской вере, по которой все люди – братья, все рождены на благо и все просто люди, ибо все пред Богом слабы». Весь он был в этих словах: не Брут, не Робеспьер и Марат, а вельможный «либералист», добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. «Дон Кишот революции».

– Моё положение в Обществе весьма тягостно. Я чувствую, что не имею духу действовать к гибели, но боюсь, что власти не имею уже остановить, – заговорил глухим, сиповатым, но приятно мягким голосом. «Слушаешь, точно рукой проводишь по бархату», – казалось Голицыну.

– Им нужно одно моё имя. Рылеев распоряжается всем, а я ничего не знаю. Не знаю даже, как попал в диктаторы...

Голицын чувствовал лёгкий запах чайной розы и всё не понимал откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевной платок. Взял и понюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покраснел, замолчал. Голицын, тоже молча, подал ему платок; он сунул его в боковой карман и продолжал говорить.

– У Рылеева решимость действовать почти без всякой надежды. Но, судя по средствам и по намерениям, сие есть верх безумия, верх безумия – вот...

Имел привычку повторять последние слова, немного запинаясь, растягивая и пришепётывая; в этом косноязычии было что-то вельможного-расслабленного и детски простодушное.

– Войска, кои могут быть употреблены для целей Общества, недостаточно. Никто из важных лиц в сём предприятии не участвует. Набрали пустой молодёжи, которая только болтает. Но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что три-четыре прапорщика, без весу, без имени, мыслят поколебать столетиями основанную империю... Столетиями основанную империю – вот...

– Serge, вы здесь? – раздался молодой женский голос, и Голицын, оглянувшись, увидел на пороге незапертой двери, той, что вела на половину княгинину, незнакомую даму.

Она хотела войти, но, заметив гостей, остановилась в нерешимости.

– Здравствуйте, князь, – узнала Оболенского и подошла к нему. – Извините, господа, кажется, я помешала?

– Позвольте, мой друг, представить вам князя Голицына, – сказал Трубецкой.

Целуя руку её, Голицын почувствовал запах чайной розы. Вся в чёрном – в трауре по покойному императоре, – с чёрными гладкими начёсами волос на висках, она сама напоминала желтоватую, ровную и свежую бледностью лица чайную розу. Catache – от Catherine – звали её по-французски, а по-русски немного смешно – Катюшей, но верно: маленькая, кругленькая, красненькая, с быстрыми движениями, катающаяся, как точёный из слоновой кости шарик.

Все замолчали. Княгиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старою парочкой, а другим всё ещё казались молодыми. Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья.

Улыбнулись и теперь, но в глазах у обоих была тревога вещая.

«Знает ли она, кто мы и зачем пришли? Если и не знает, то чувствует», – подумал Голицын и почему-то вдруг вспомнил Мариньку.

После нескольких любезных слов княгиня простилась.

– Ещё раз, господа, извините. Не забудьте, мой друг, у Белосельских в четыре часа. Я за вами карету пришлю, – выходя, обернулась к мужу, и опять в глазах была тревога вещая.

– Ради Бога, господа, извините! Я, право, не знал... Мне сказали, что княгиня уехала, – пролепетал Трубецкой в смущении.

– Полно, князь, – остановил его Голицын. – Если бы даже княгиня знала всё, невелика беда. Неприятие женщин в Общество я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга...

– Да ведь вы её не знаете.

– Довольно увидел, чтобы узнать.

Трубецкой весь просиял, покраснел и улыбнулся опять, как давеча, виновато-счастливой улыбкой.

– Ну и ладно, и будет об этом, – заключил Голицын. – Время, господа, уходить. Будем же кончать скорее. Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверх сил?

– Да, Голицын, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела, всю невозможность – вот... Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия...

– Вот именно, до сумасшествия, – поддакнул Голицын. Всё время поддакивал, ловил его, испытывал. А Оболенский, видимо страдая, молчал.

– Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо: я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами Общества как бы в виде начальника, я успею отвратить зло и сохранить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас Бог весть что затеяли: они хотят всех, хотят всех – вот... – прошептал Трубецкой испуганным шёпотом, не смея выговорить страшных слов: «хотят истребить всех членов царской фамилии».

– А вы всех не хотите? Никого не хотите?

– Нет, не хочу, не могу, Голицын. Я не рождён убийцею...

– Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а пожалуй, и совсем выйти из Общества? – посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой.

Трубецкой замолчал: должно быть, вдруг западню почувствовал.

– Ну, так как же, князь? А? Как честному человеку, вам надобно ответить прямо – да или нет, остаётесь с нами или уходите? – проговорил Голицын с вызовом уже нескрываемым.

– Я, право, не знаю. Я ещё подумаю...

– Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думать-то некогда: мы ведь завтра начинаем...

– Завтра? Как завтра? – пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Ах да, ведь вы ещё не знаете, – посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно, и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. – Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина; завтра в семь часов утра по всем войскам присяга; мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание...

– Восста... восста... – хотел Трубецкой выговорить и не мог; голос пресёкся, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался ещё более похож на жида.

«Ожидовел от страха», – подумал Голицын с отвращением.

– Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать!

– Перестаньте, Голицын, не смейте! – вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому. – Как вам не стыдно! Разве не видите?

Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки.

– Воды! Воды!

Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец выпил, опять откинул голову и передохнул.

Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как давеча Рылеева.

– Ну, ничего, ничего, Трубецкой! Не слушайте Голицына: он вас не знает. Ужо поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Всё будет ладно, всё будет ладно!

– Да я ничего, пустяки, пройдёт. У меня сердце.. Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть, от этого. Ну, и сразу.. Я не могу, когда так сразу.. Извините, господа, ради Бога, извините..

Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы всё ещё дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски простое, жалкое: Дон Кихот, от бреда очнувшийся; лунатик, упавший с крыши и разбившийся.

Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел ребёнка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости: чувствовал, что, если только начнёт жалеть, – всё простит, оправдает «изменника».

– Послушайте, князь, – начал, не глядя на Трубецкого.

– Послушайте, Голицын, – перебил Оболенский спокойно и твёрдо, – я имею поручение от Рылеева привезти к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не мешайте, прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас.

– Я только хотел сказать...

– Ступайте же, Голицын, ступайте! Делайте что вам говорят!

– Это что ж, приказание?

– Да, приказание.

– Слушаю-с, – неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел.

«Все умные люди – дураки ужасные», – вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту.

«Да, Трубецкой отошёл с печалью, как тот богач евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдём ли и мы с печалью?» – подумал Голицын.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фрак, хотя и домашний, но щёгольский, тёмно-коричневый, «пюсовый»[31], с модным, из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстуком. Выйдя в залу, он в разговоре с гостями, как всегда, оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым.

Утрешнего Рылеева Голицын не узнал – зато узнал давнишнего: лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское; глаза под густыми чёрными бровями, огромные, ясно-тёмные; женственно-тёмные губы с прелестною улыбкою; вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начёсаны, а на затылке упрямый хохолок мальчишеский.

И весь он – лёгкий, как бы летящий, стремительный подобно развеваемому ветром пламени.

Через час вслед за Голицыным приехал Оболенский с Трубецким. Рылеев увёл их в кабинет, затворил дверь в залу, где собралось уже много народу, и прямо начал о восстании.

– Все мы полагаемся на вас, Трубецкой, в принятии мер в теперешних обстоятельствах, ибо случай такой, какого упускать нельзя.

– Неужели, Рылеев, вы думаете действовать?

– Действовать, непременно действовать! Сами обстоятельства призывают к начатию действий. Теперь или никогда! Случай единственный, и если мы ничего не сделаем, то заслужим во всей силе имя подлецов, – сказал Рылеев, глядя на него в упор. – А вы что думаете, князь?

– Думаю, что надобно прежде узнать, какой дух в войсках и какие средства Общество имеет.

– Какие бы ни были средства, отступать уже нельзя, слишком далеко зашли. Может быть, нам уже изменили и всё уже открыто. Вот, извольте прочесть, – подал он письмо Ростовцева.

Трубецкой едва заглянул в него: не мог читать от волнения.

– Это что же, донос?

– Как видите. Ножны изломаны, и сабель спрятать нельзя. Мы обречены на гибель.

– Да ведь не только сами погибнем, но и других погубим. А мы не имеем права никого губить, никого губить, вот... – начал Трубецкой и подумал: «Теперь надо всё сказать, объявить, что желаю отойти от Общества». С этим и ехал к Рылееву. Но язык не поворачивался: так невозможно было это сказать, как оскорбить, ударить по лицу человека невинного.

Звонок за звонком раздавался в передней.

– Что так много наезжают? – спросил Трубецкой.

– О курьере услышали, – ответил Рылеев и, помолчав, спросил: – Какую же силу, князь, вы полагаете достаточной?

– Несколько полков. По крайней мере, тысяч шесть человек или хотя бы один старый гвардейский полк, потому что к младшим не пристанут.

– Так нечего и хлопотать: за – два полка, Московский и лейб-гренадерский, я отвечаю наверное! – воскликнул Рылеев.

– Это только слова, – проговорил Оболенский. – Напрасно ты берёшься отвечать так твёрдо: мы не можем поручиться ни за одного человека.

Рылеев взглянул на Оболенского и ничего не ответил, только пожал плечами и заговорил о плане восстания.

То лёгкое, летящее, стремительное, подобное развеваемому ветром пламени, что было в нём самом, передавалось и всем окружающим. Как будто он приказывал – и нельзя было противиться.

Трубецкой, слушая Рылеева, сам мало-помалу увлёкся – так струна, смычком не задетая, отвечает рядом звенящей струне, – и начал развивать свой план:

– Мой план таков. Как скоро собраны будут полки для новой присяги и солдаты окажут сопротивление, то офицерам вывести их к ближнему полку, а когда тот пристанет, – к следующему, и так далее. Когда же полки почти всей или большей части гвардии будут собраны вместе, – требовать прибытия государя цесаревича. Так будет соблюден весь вид законности и упорство полков сочтено верностью, но цель Общества уже потеряна. Если же известие к цесаревичу не будет послано, то идти к Сенату и требовать издания манифеста, в коем объявить, что назначаются выборные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях. Между тем Сенат должен утвердить Временное Правление, пока не будет учреждена Великим Собором народных представителей новая конституция российская. По объявлении же сего манифеста войскам непременно выступить из города и расположиться близ лагерем, дабы сохранить и посреди самого бунта совершенную тишину и спокойствие, тишину и спокойствие – вот...

«Революция на розовой воде», – вспомнилось Голицыну.

– Прекрасный план, Трубецкой, – сказал Рылеев. – Только боюсь, не долго ли будет от полка к полку ходить? И разве это непременно нужно?

– Непременно. Как же иначе?

– А так – прямо на площадь. Я полагаю, что довольно одной роте взбунтоваться, чтоб совершился переворот. Хоть пятьдесят человек придёт, я становлюсь в ряды с ними! – воскликнул Рылеев, и глаза его загорелись таким огнём, что Трубецкому стало жутко. Он вдруг замолчал и почувствовал, что говорил совсем не то, что надо.

За дверью стоял гул голосов. Говорили все вместе, кричали, спорили. Слов не было слышно, но крик был такой, что казалось, вот-вот подерутся.

Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежал лейб-гвардии Московского полка штабс-капитан князь Щепин-Ростовский[32], весь красный, потный, растрёпанный, взъерошенный, неистовый, похожий на пьяного или сумасшедшего.

– Ну и к чёрту вас всех, подлецы, трусы, изменники! – вопил он, потрясая кулаками. – Делайте что знаете, а я...

– Чего вы, сударь, кричите? Мы не глухие, – остановил его Рылеев спокойно, и тот на мгновение опешил.

– Послушайте, Рылеев, не могу я больше с ними! С этими филантропами ничего не поделаешь! Тут просто надобно резать, резать, да и только! А если не хотят, я первым пойду и на себя донесу.

– Да замолчите же, чёрт вас побери! – вскочил Рылеев и затопал ногами. – Взбесились вы, что ли? И чего лезете? Разве не видите, мы делом заняты. Ступайте, ступайте вон! – схватил он его за плечи и, хотя казался маленьким, слабеньким перед огромным Щепиным, так ловко повернул и вытолкал из комнаты, что Оболенский с Голицыным не успели опомниться, как всё уже было кончено.

Рассмеялись. Но Трубецкому было не до смеху.

– Ну вот, слышали? Это что же такое, Рылеев? А? – пролепетал он, бледнея.

– Ничего, Трубецкой, не беспокойтесь. Он только так говорит. Я его уйму. Он у меня в руках. Крикун, буян, а сердце доброе.

– Сердце доброе, а резать хочет, – продолжал Трубецкой. – И не он один, а все. Только о крови, об убийствах и думают. Нет, господа, я не могу... Бог видит душу мою: я не был никогда ни злодеем, ни извергом и произвольным убийцей быть не могу, не могу – вот...

«Я желаю отойти от Общества», – хотел сказать и не сказал: опять язык не повернулся. Чем больше хотел, тем меньше мог.

– Ну, я пойду, – вдруг поднялся и подал руку Рылееву со странно внезапной поспешностью.

– Куда вы? Пойдите. Как же так? Ведь мы ещё не решили...

– Да что же решать? Всё равно не решим.

– А ведь, пожалуй что так: не решим. А может, и решать не надо. Обстоятельства покажут... Ну, ладно, с Богом! Значит, до завтра? – положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание. – А вы, Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик, ради Бога! – улыбнулся детски нежной улыбкой. – Уж виноват, сам знаю, что виноват! Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну, да уж этого больше не будет, конечно. Завтра вы диктатор, а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикни только кто против вас – своими руками убью! Ну, Христос с вами! – хотел его обнять, но тот отшатнулся и побледнел ещё больше. – И обнять не хотите? Так, значит, сердитесь? – заглянул ему прямо в глаза Рылеев.

Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей: боялся, чтобы опять дурно не сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылеева. «Целованием ли предаёшь Сына Человеческого?» – подумал и выбежал из комнаты.

Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять что, наконец понял:

– А всё-таки будете завтра на площади?

Сделал над собой усилие.

– Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть? Кажется, всё тихо пройдёт, – ответил почти спокойно.

– А всё-таки будете? – не отставал Оболенский, держал его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил, вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру: «Домой!» – захлопнул дверцу и забился в угол ни жив ни мёртв.

В карете пахло чайною розою – милым Катюшиным запахом.

«Ещё не знает! А ведь узнает когда-нибудь», – подумал с новым ужасом.

«А всё-таки будете завтра на площади?» – опять прозвучало в ушах.

Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру: «Назад, к Рылееву!» Но ослабел, изнемог, упал на подушки – как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Голицын решил, едуци в Петербург, остановиться в гостинице Демута<sup>[33]</sup> на Мойке, у Полицейского моста. К себе на квартиру, в доме Бауера, у Прачешного моста, не заезжал, потому что она стояла всё лето неубранная, а единственный слуга его, старый камердинер, уехал на побывку в деревню; да и сыщиков боялся, – знал от Рылеева, что за ним следят. Но когда привёз в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутниц своих, госпожу Толычёву с дочерью, к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их с рук на руки и стал прощаться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела.

– Что ты, батюшка, помилуй! Слыхано ли дело, из честного дома гостя в трактир отпускать! Мало тебе горниц, что ли? Весь дом пустёхонек. Живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек.

Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдалённейшим.

Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось, что в доме её он будет в большей безопасности, и ещё потому, что не хотелось расставаться с Маринькой.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Дом Ржевской был на фонтанке, у Аларчина моста. Место глухое. Кругом пустырь, только на окраине его виднелись низенькие домики. Иногда, по ночам, в темноте, с пустыря слышались вопли: «Караул! Грабят!» Испуганные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно внушительней: «Идём!» – но не шли, а снова забивались в тёплые постели и с головой под одеяла прятались.

Окружённый старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож был на загородный дворец вельмож екатерининских.

В больших сенях, с колоннами и мраморной лестницей, седые слуги дремали, вязали чулки или читали Псалтырь вполголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и выцвели. Хрустальные подвески на люстрах, прозрачно-тёмные, как дымчатые топазы, тускло мерцали, дрожа и звеня, когда кто-нибудь шёл по комнате. Огромные голландские печи из голубых изразцов были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкою, и тишина мёртвая.

Бабушкина комната – угольная. Стены боскетом[34] расписаны. Здесь, как в лавке старьёвщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкафчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медной решёткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией – всё напоминало о веке ином. На окнах – низенькие ширмочки с малиновыми стёклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон – клетка и подставка с шестом для белого, с жёлтым хохолком попугая, Потапа Потапыча.

Бабушка была маленькая, сухонькая старушка с очень бледным, точно восковым, лицом, как у покойника: казалось, пролежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете – шёлковом платье стального цвета, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом, с широким рюшем, чепце, в глянцеvitых мелких фальшивых букольках – en grappes de raisin[35]; меховая кацавейка на плечах: старушка вечно зябла. За полчаса перед тем, как ей выйти из спальни, особая немка-приживалка, жирная, как купеческая лошадь, садилась в кресло и нагревала место.

Бабушка в кресле сидела прямо, несмотря на множество подушечек, шерстяных, шёлковых и бисерных. Рядом с нею, на столике, стояла коробочка с пудрой: старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря, домодельною. На круглой скамеечке, у ног её, лежала, свернувшись, белая болонка фиделька, презлая.

– Скажи, зачем ты так трясешь подносом? – спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай.

– Фиделька больно ноги кусает.

– Должно ли из-за этого трясти подносом? – удивлялась Наталья Кирилловна.

Была очень мнительна; при малейшем нездоровье ложилась в постель и привязывала к «пульсам» укусовые тряпочки. Не любила слышать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер, придёт к ней в спальню и шепнёт на ухо.

– Молчи, что я знаю. Ты мне не говорила, слышишь! – строго скажет ей бабушка.

Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной спальней, умерла другая приживалка, – в доме их было множество.

– Умерла, – шепнула Захаровна бабушке, указывая пальцем наверх.

– Ну и молчи.

Вынесли покойницу украдкою, схоронили, а бабушка так и не помянула о ней, как будто никогда её на свете не было.

Много видела на своём веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, «как легко фортуна изменяется».

– Вся наша жизнь не что иное, как азартная игра!

После двух лёгких ударов часто впадала в полубеспамятство; тогда целыми

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org днями сидела молча, не двигаясь, и тусклым взором следила, как попугай качается на кольшке, пронзительно выкрикивая: «Потап Потапыч Потапов!» А потом вдруг оживлялась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таинственным шёпотом, как о последней новости, что князь Платон Зубов, «ce charmant vaurien»[36], сумел убедить её величество в своём «приятном умоначертании». Вспоминала с умилением о любезности императрицы-матушки.

– Бывало, заметит, что солнце кого беспокоит, – тотчас к окну подойдёт и шторку опустит собственными ручками. Но зато и спуску не давала предезостным; обер-секретарю Тайной Экспедиции, Шешковскому[37], велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожину, слегка на теле наказать и обратно туда же доставить со всякою благопристойностью.

Любила также рассказывать о господине Фонтенеле[38], с которым видалась в Париже ещё до революции.

– Настоящий был философ: никогда не возвышал голоса, не сердился, не плакал и не смеялся. «Господин Фонтенель, – говорю, – вы никогда не смеялись?» – «Нет, – говорит, – я никогда не делал: «ха! ха! ха!» Никакого чувства не знал, никого не любил – люди ему только нравились. «Господин Фонтенель, – говорю, – вы меня уважаете?» – «Je vous trouve fort aimable, madame»[39]. – «А если бы вам сказали, что я кого-нибудь убила, вы бы поверили?» – «Я бы подождал, сударыня», – говорит, а сам усмехается. Крепкий был старичок, больше ста лет прожил. Умница. Нынче таких не сыскать!

А люди нового века, с их куцыми мыслями, куцыми фраками, не нравились бабушке.

– Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани. Модники, мышинные жеребчики!

Не могла привыкнуть к новым широким панталонам навыпуск, которые заменили старинные, короткие штаны с чулками и башмаками.

– От санкюлотов пошла эта мода, от срамников, голоштанников, прости Господи! – ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяин подбежал к щёголю, который явился первый в длинных штанах: «Что ты, – говорит, – за шутку выдумал? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты нарядился матросом!»

– С двенадцатого года Москва деженерировала, – вздыхала Наталья Кирилловна, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости. – Поднял бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву, – ахнули бы, на что она стала похожа. Ни сосьете[40], ни вельможества. Да, обмелела Москва! Так всё идёт, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала про то, что делается!

Единственным гостем Натальи Кирилловны был старичок фрындин Фома Фомич, отставной бригадир времён суворовских. Малого роста, приятной наружности, с бледно-голубыми как выцветшие незабудочки, детскими глазками, с детской улыбочкой, с тихим и ласковым голосом. Одет всегда с чрезвычайной опрятностью: в длиннополом коричневом кафтане французского покроя, со стальными пуговицами, в брызжах и манжетах, при шпаге, в пудреной косичке с лентою. Должно быть, когда-то влюблён был в бабушку и до конца жизни остался верен ей. Всегда чрезмерно почтителен; только играя в мушку или ломбер и входя в азарт, позволял себе шуточки: скажет, бывало, «семь в сердцах», вместо «семь в червях».

– Ну, ну, перестань, батюшка, что за прибаутки! – ворчала старушка.

– И, матушка Наталья Кирилловна, отчего и не побаловать себя; коротка-то ведь жизнь! – улыбался старичок своей тихой улыбкой.

Когда бабушке хотелось подремать, он читал ей «Утехи любословия» или «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца», а когда она скучала, старался её позабавить какой-нибудь новостью.

– Вот, матушка, в «Северной Пчеле» пишут, будто китайцы учат обезьян щипать листья с чайных деревьев, потому что-де лучше людей по сучьям лазают.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Да ты всё врешь? – сомневалась бабушка. – Этак я и чаю пить не стану из обезьяньих-то лап!

– Ничего, матушка, в трёх водах у них лапы моют чистёхонько, – утешал её старичок.

А иногда любил пофилософствовать:

– Не бывает удовольственных для человека времён, кои бы не растворялись горестями следующих в большей пропорции. Тихое же сердце к радостям всегда отверсто. Вот я и радуюсь. Желаний никаких, именно никаких, в сём мире уже не имею, и нет человека на свете меня счастливее, – говорил, приюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и надписью: «По Боге он один, я им и существую». И такая тишина была в его улыбке ясной, что можно было поверить тому, что он говорил.

Любил сравнивать прошлый век с нынешним:

– Предки наши с меньшим просвещением, но с большим удовольствием жили. Роскоши такой, как мы, не имели, но и страха и беспокойства тоже. Удивительно, что не хотят люди спокойно жить и по стопам своих предков следовать. А что ещё узрят внуки наши и правнуки, о том и подумать страшно!

После буйных сходов заговорщиков, где раздавались речи о мятеже, о крови, о России, в пожаре восстания пылающей, возвращался Голицын в тихий старый дом, как в сновидение, царство призраков. Сновиденье рассеется, призраки исчезнут – и жалеть их нечего: всё разметать, разрушить в старом доме так, чтобы не осталось камня на камне, – для этого и шёл на восстание. Не хотел жалеть, а всё-таки жалел. Как будто проходили перед ним в последний раз и заглядывали в глаза его с тихую жалобую тихие тени прошлого.

Когда в тот день, 13 декабря, вернувшись от Рылеева, вошёл он в бабушкину комнату, старушка, по обыкновению, сидела в низеньких креслах, у столика с двумя восковыми свечами, и раскладывала гранпасьянс нескончаемый. Старичок Фрындин читал прошлогодние ведомости. Нина Львовна вязала шарф, а Маринька метила бельё.

В комнате было жарко натоплено, накурено смолкою, так что Голицын немного задохся со свежего воздуха. Он наклонился поцеловать ручку у бабушки. Фиделька залаяла и едва не укусила его за ногу. Попугай, дремавший в клетке, зашевелился, приоткрыл один глаз, поглядел на него и пробормотал сердитым голосом:

– Потап Потапыч Потапов!

Всё как всегда: уютно, тихо, сонно, недвижно, неизменно, как в вечности.

– Где опять пропадал? Что это, батюшка, на месте не посидишь, с утра до ночи по людям шляешься? – проворчала бабушка ласково.

– У дядюшки был, у князя Александра Николаевича. От вас поклон ему свёз, – солгал Голицын, чтобы от расспросов отделаться.

– Да ты всё врешь! Старик меня, чай, и не помнит.

– Помнит, бабушка. Кланяться велел и целовать ручку, – опять наклонился он, и Фиделька залаяла.

На минуту все замолчали, и стало ещё тише, уютней, усыпительней.

– Marie, полно глаза слепить. При свечах метить нельзя, – сказала Нина Львовна.

Маринька сделала ещё несколько стежков, закрепила нитку, откусила кончик и отложила работу.

– Поди-ка сюда, внучка, – позвала её бабушка. – Что это ты нынче какая невесёлая? Вот и личико бледное. Аль нездорова? – поцеловала её и по щеке погладила. – Хотя и бледна, а очень, очень при своём авантаже сегодня!

И, обратившись к Нине Львовне, прибавила:

– Помилела-то как у нас Маринька. Женишка бы ей хорошего, – да не вашего старого хрыча Аквилонова. Брось-ка ты свои Черёмушки, мать моя, переезжай ко мне на житьё, не поскучай старухой, – будешь довольна. И жениха найду настоящего.

Нина Львовна молча потупилась и проворнее зашевелила спицами.

– А когда же вы обещание ваше исполните, Марья Павловна? – сказал Голицын. Он увидел, что ей тяжело, и хотел помочь отделаться от бабушки.

– Какое обещание, князь?

– Показать сувенирчики.

– Ах да! Я с удовольствием, если бабушка позволит.

– Я бы тебе сама показала, батюшка, да что-то ноги ломит, встать не могу. Покажи ему, Маринька.

Старушка любила показывать гостям свои сувенирчики и хвастать ими, как ребёнок.

Марья Павловна подошла с Голицыным к стеклянному шкафчику, отперла его и начала показывать старинные вещицы – табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, коробочки для мушек и пудры, саксонского фарфора куколки и чашечки.

– А это что? – спросил Голицын, указывая на маленькую вещицу из слоновой кости и золота.

– Блошная ловушечка. Видите, трубочка со множеством дырочек, снизу – глухие, а сверху – открытые. Стволик, намазанный мёдом, ввёртывается в трубочку; блошки попадают в дырочки, прилипают к мёду и ловятся, – объяснила Маринька. – Бабушка рассказывает, что эти ловушечки носились на груди у модниц на шёлковой ленточке.

– Надо же такое выдумать, – рассмеялся Голицын.

Маринька посмотрела на него молча, с тихой строгостью, и он понял, что не надо смеяться: эти бедные памятки старого века ей милы и дороги. Она ведь и сама немного похожа на них; в её собственной прелести – благоухание прошлого. Да, не надо смеяться над прошлым: мы посмеёмся над нашими дедами, а наши внуки – над нами; каждому свой черёд, и своя блошная ловушечка у каждого.

– Маринька, как бы с вами поговорить наедине? – быстро шепнул он ей на ухо.

– Приходите уже в голубую диванную, – ответила она таким же быстрым шёпотом, заперла шкафчик и вернулась к бабушке. Голицын потихоньку вышел из комнаты.

Бабушкин гранпасьянс кончался. Все следили за ним с любопытством.

– Бубны-то, матушка, бубны к червям! – волновался Фома Фомич.

– Отстань, батюшка! Чего суёшься без толку, – сердилась Наталья Кирилловна.

– Письмо и дорога! Письмо и дорога! – не унимался Фома Фомич, то садился, то вскакивал, заглядывая в карты через плечо старушки.

– И вовсе не дорога, а смерть и марьяж, – возражала Нина Львовна, тоже вся в волнении.

– Ожидаемого получение и фортуна неизменная! – выложив последнюю карту, объявила бабушка торжественно.

– Фома Фомич, будьте добреньким, помогите мне пальцы перетянуть, – сказала Маринька.

– Что это тебе на ночь глядя вздумалось, – удивилась Нина Львовна.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Да я хочу завтра с утра начать. А то нынче дни такие короткие: как сядешь за работу, так и стемнеет, – покраснела Маринька до самых ушей – лгать не умела – и, наклонившись к матери, обняла её, чтобы спрятать лицо. – Позвольте, маменька, голубушка, миленькая!

– Ну, ладно, ступай.

Миновав несколько тёмных комнат, где только ночники да лампадки теплились, Маринька с Фомой Фомичом вошли в голубую диванную. Здесь, у окна, за пядьцами с начатой вышивкой – белым попугаем на зелёном поле, должно быть портретом Потапа Потапыча, – сидел Голицын.

– Ах, это вы, князь, – притворно удивилась Маринька и опять покраснела. – Фома Фомич, ради Бога, извините за беспокойство! Князь поможет мне пядьцы перетянуть. Я и забыла, что он обещал мне давеча...

– Что за беспокойство, сударыня, помилуйте! Так вы уж тут побудьте с князем, а я пойду отдохну в креслицах, что-то дрёма долит. Да сон-то у меня чуткий, – небось, если пройдёт аль склечет кто, услышу и доложу немедленно. Tout a vos ordres, mademoiselle[41], – шаркнул ножкой старичок с любезностью.

Понял, в чём дело. Мариньку любил, как родную, терпеть не мог Аквилонова, а Голицына считал таким женихом, что лучше не надо.

Когда Фома Фомич вышел, Маринька села за пядьцы и наклонилась, тщательно рассматривая вышивку. Голицын сел рядом. Оба молчали.

– Ну, что же, князь, говорите, я слушаю, – улыбнулась она невольно. Он – тоже. И опять, как тогда, в дилижансе, по пути из Москвы в Петербург, оба смотрели друг на друга, улыбаясь молча и чувствуя, что это молчание сближает их неудержимо растущей близостью. Как будто после долгой разлуки увиделись и вспоминали, узнавали друг друга с удивлением радостным.

– Помните, Маринька, вы мне наемни сказали, что, может быть, у вас нет жениха. Ну, так как же, есть или нет? – спросил Голицын.

– А вам на что? – опять наклонилась она к вышивке и потрогала пальчиком жёлтый хохолок Потапа Потапыча.

– Маринька, милая, ведь вы же знаете на что, – взял он её за руку, и она не отняла руки, только ещё ниже опустила голову, так что лицо её почти закрыли висевшие вдоль щёк длинные локоны. Знала, что в эту минуту судьба её решается. Хотела скрыть волнение и не могла. Сердце билось так, что казалось, он услышит.

– Что с вами? Что с вами, Маринька? Отчего вы не хотите говорить со мной, как прежде? Отчего вы такая?

– Какая? Нет, я ничего... Нельзя же всё шалить да ребячиться. Ведь уже не маленькая. Пора и за ум взяться. Жизнь не шутка.

«Жизнь – Хо».

В смиренье сердца надо верить  
И терпеливо ждать конца, –  
вспомнилось Голицыну.

– Ну, что ж, не хотите говорить – и не надо. А только верьте, что бы ни случилось, Маринька, верьте, что есть у вас друг. Верите? Этому-то верите, да?

– Ну, конечно... – хотела она улыбнуться прежней улыбкой, но не смогла. – Почти верю, – кончила уже с иною улыбкою, бледною-бледною, слабою.

– Почти? Разве можно верить почти? А впрочем, что же делать, значит, не заслужил, – горько усмехнулся он и отпустил её руку.

Опять замолчали, и обоим стало тяжело; оба чувствовали, что говорят не то, что надо; слова разделяли, как будто после краткого свиданья наступала вновь разлука вечная.

– Это всё, князь, что вы хотели сказать?

– Нет, не всё. Ещё самое главное: когда будете решать с господином Аквилоновым, то помните, что вы свободны: долг за имение уплачен, и теперь уже никто у вас не отнимет Черёмушек. Как хотите, так и решайте: вы свободны, Маринька.

Радость мгновенно блеснула в глазах её и так же мгновенно потухла.

– Что вы говорите, князь? Долг заплачен? кем?

– Всё равно кем.

– Как всё равно? Судьбу мою решают, а я не знаю кто...

– Ах, Боже мой, не в этом дело! Ну, если непременно хотите знать кто... – залепетал Голицын и вдруг покраснел, растерялся, как маленький мальчик. – Ну, Фома Фомич заплатил, вот кто...

– Фома Фомич? Откуда же он деньги взял? Ведь он ещё беднее нашего.

– А, право, не знаю, откуда. Должно быть, у бабушки...

– У бабушки? Да ведь маменька ещё сегодня утром говорила с бабушкой, просила хоть часть заплатить, и бабушка ей наотрез отказала. Зачем вы говорите неправду, князь? Что у вас на уме? – посмотрела на него Маринька долго, пристально. – Валериан Михайлович, сейчас же, сейчас же говорите, кто заплатил, а если не скажете, я Бог знает что подумаю...

Он молчал, и она вдруг поняла. Побледнела и встала, не сводя с него глаз.

– Так это вы?.. Ну, спасибо, князь! Вы очень добры. Сжалились над бедною девушкой, облагодетельствовали... Но как же вы не подумали, что мы хоть и бедные, а, может быть, не захотим принять вашего подарка... милостыни? Если бы у вас была хоть капля не дружбы, а уважения ко мне и к маменьке, вы бы этого не сделали. А впрочем, я сама виновата, сама позволила... глупая девчонка... глупая... глупая...

Закрыла лицо руками, опустила на стул и заплакала. Худенькие плечики вздрагивали. Из-под сбившейся косынки обнажилась тоненькая шея и полудетская грудь; на этой груди, то поднимавшейся, то опускавшейся от слёз, выступали под смуглой кожей тонкие ключицы, тоже полудетские.

«Дурак! Дурак! Что я наделал!» – схватился Голицын за голову. Не знал, что для него в эту минуту важнее – освобождение России, восстание, революция или эта плачущая девочка.

Маринька встала и, не отнимая рук от лица, пошла к двери. Голицын бросился к ней.

– Маринька... Марья Петровна, постойте, постойте, не уходите, дайте сказать, выслушайте, ради Бога, выслушайте!

– Пустите! Пустите!

Но он не пускал, держал её за руки.

– Ну, дайте же, дайте сказать! Не могу я так, Маринька! Ведь вот сейчас уйдёте, и, может быть, никогда не увидимся...

Она остановилась, прислушалась.

– Только минутку... Я только хочу... Да сядьте же, сядьте, – умолял он, тащил её за руку.

И она покорилась, пошла за ним, села на прежнее место.

– Дурак! Дурак! Все умные люди дураки ужасные, это обо мне сказано, – торопился он, сбивался и путался. – Ну и пусть дурак! Но если б я знал, что так выйдет... Неужели вы меня таким подлецом считаете? Я хотел – просто... Вы

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
сами намедни сказали, что можно – просто... Ведь вы не знаете, Маринька, в каких я сейчас обстоятельствах. Помните сказку: странник и верблюд в пустыне; верблюд взбесился, странник в колодец бросился, а там куст малины... Ах, не то, не то! Я всё не то говорю. Я с ума схожу, Маринька... Не могу я вынести, что вы себя губите, потому что Аквилонов – гибель, хуже всякой гибели... Вы давеча сказали, что почти верите, что я ваш друг... Как это скучно, как страшно, что всё в жизни – п о ч т и, ничего – с о в с е м не бывает... Ах, не то, опять не то... Погодите, что я хотел?... Да, если бы ваш друг, почти друг, шёл на смерть, на поединок, из которого, может быть, жив не вернётся, и пожелал вам сделать добро – заплатить этот проклятый долг за Черёмушки, чтобы спасти вас от гибели, – неужели вы не приняли бы, отказали бы в последней воле умирающему?

Она перестала плакать, отняла руки от лица и, ещё не понимая слов, вслушивалась в голос его, вглядывалась в лицо, простое, милое, детское и такое жалкое, что опять, как тогда, в первые минуты сближения, сердце её сжималось от страха, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда – и надо помочь ему, остеречь, спасти.

– Я так и знала! Я так и знала! – всплеснула она руками. – Говорите, сейчас же говорите! Что это значит? Какая смерть? Какой поединок?

– Не спрашивайте, Маринька. Я не могу сказать.

– Невеста?

– Какая невеста?

– Опять забыли? Невеста у вас...

– Никакой невесты нет. Ведь я же вам говорил...

– Говорили, что нет, а может быть, есть?

– Зачем вы мне не верите, Маринька? Разве не видите, что я говорю правду?

– Так что же, что? Да говорите же! Зачем вы меня мучаете? Что вы со мною делаете?

– Не могу сказать, – повторил Голицын.

От Фомы Фомича Маринька слышала, что «время теперь такое страшное», – император Константин Павлович отказался от престола, и войска должны присягнуть Николаю, а если не присягнут, то может быть бунт. «Уж не это ли?» – подумала с вещим ужасом.

– Я вам давеча неправду сказала, что почти верю вам. Не почти, а совсем. И что бы ни случилось, буду верить всегда. А только страшно, как страшно – знать и не знать. И что со мною будет, Господи!.. Валериан Михайлович, милый, а нельзя, чтоб этого не было?

– Нет, Маринька, нельзя.

– А когда?

– Не знаю. Скоро. Может быть, завтра.

– Завтра? Так, значит, уйдёте – и, может быть, никогда не увидимся?

Побледнела, наклонилась и положила ему руки на плечи. Он опустил на колени и руками обвил её стан.

– Родная, родная, любимая, единственная!

Вдруг вспомнил Софью. Не изменяет ли небесной для земной? Но нет, измены не было. Любил в обеих – земной и небесной – одну-Единственную.

– Уйдёте – и никогда, никогда, никогда не увидимся! – повторяла она и плакала; но это уже были не прежние, горькие, а новые, сладкие слёзы любви.

– Нет, Маринька, увидимся. А если увидимся, вы меня не покинете?

Она наклонилась к нему ещё ниже, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал её дыхание. Они смотрели друг на друга, улыбаясь, молча, и опять вспоминали, узнавали друг друга, как сквозь вещей сон незапамятно давний, много раз виденный. Улыбки сближались, сближались – и наконец слились в поцелуй.

– Родная! Родная! Родная! – повторял он, как будто в одном этом слове было всё, что он чувствовал. – Перекрестите меня, Маринька. Я ведь и за вас, может быть, на смерть иду.

– Почему за меня?

– Потом узнаете.

– Тоже нельзя сказать?

– Да, нельзя. Перекрестите же.

– Ну, Христос с вами! Сохрани, помоги, спаси, Мать Пречистая! – благословила она его теми же словами, как некогда Софья, и поцеловала уже с материнской нежностью.

«Да, Мать, Мать Пречистая! – подумал он. – Родная мать-земля. Мать и Невеста вместе. На муку крестную, на смерть за неё, за Россию, Мать Пречистую!»

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ночь с 13 на 14 декабря в маленьких комнатах Рылеева в последний раз собрались заговорщики. Здесь ночью, так же как днём, толпились они, приходили и уходили. Но уже не кричали, не спорили, как давеча; речи были тихи, лица торжественны: все чувствовали, что наступила минута решительная.

Пожилой человек, в потёртом зелёном фраке, высоком белом галстуке и черепаховых очках, с лицом как будто сухим и жёстким, а на самом деле восторженно-мечтательным, отставной чиновник канцелярии московского генерал-губернатора, барон Владимир Иванович Штейнгель [42], один из старейших членов Северного общества, читал невнятно и сбивчиво, по черновой измаранной:

– В манифесте от Сената объявляется:

«Уничтожение бывшего правления.

Учреждение Временного – до установления постоянного.

Свободное тиснение и уничтожение цензуры.

Свободное исповедание всех вер.

Равенство всех сословий перед законом.

Уничтожение крепостного состояния.

Гласность судов.

Введение присяжных.

Уничтожение постоянной армии».

– Ну а как же мы всё это сделаем? – спросил кто-то.

– Очень просто, – ответил Штейнгель. – Заставим Синод и Сенат объявить Верховную Думу Тайного общества Временным правительством, облечённым властью неограниченной; раздадим министерства, армии, корпуса и прочие начальства членам Общества и приступим к избранию народных представителей, кои должны утвердить новый порядок правления по всему государству Российскому...

Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки, сразу пьянел, точно крепкое



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
вино бросалось ему в голову; дух захватывало от чувства могущества: что захотят, то и сделают; как решат, так и будет.

«Ничего не будет, – думал Голицын. – А может быть, и будет? Безумцы, лунатики, планщики, а может быть, и пророки? Может быть, всё это – не исполнение, а знамение; зарница, а не молния? Но где была зарница, там будет и молния».

– Город Нижний Новгород, под именем С л а в я н с к, будет новой столицей России, – объявил Штейнгель.

Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, Града Грядущего, Сиона русской вольности.

Инженерный подполковник Батенков, сутулый, костлявый, неповоротливый, медлительный, говорил с трудом, точно тяжёлые камни ворочал; курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из неё высасывал. Герой двенадцатого года, потерявший в сраженьи при Монмирале команду с пушками «от чрезмерной храбрости», – был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по канве. И теперь тоже по канве вышивал – мечтал о своём участии во Временном правительстве, вместе со Сперанским, генералом Ермоловым, архиепископом Филаретом и Пестелем.

Предлагал «обратить военные поселения Аракчеева в национальную гвардию – *garde nationale* и передать Петропавловскую крепость муниципалитету, поместив в оной городской совет с городской стражей».

– У нас в России ничего не стоит сделать революцию: только объявить Сенату да послать печатные указы, то присягнут без затруднения. Или взять немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку, – и можно бы произвести славных дел множество!

– По крайней мере, о нас будет страничка в истории! – воскликнул драгунский штабс-капитан Александр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувствительно: – Боже мой, неужели отечество не усыновит нас?..

– Ну, уж это лучше оставьте, – проговорил Оболенский сухо и поморщился.

Лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, тоненький, беленький, похожий на фарфоровую куколку с голубыми удивлёнными глазами, с удивлённым и как будто немного полоумным личиком, слушал всех с одинаковым вниманием, словно хотел что-то понять и не мог.

– Одно только скажу вам, друзья мои: если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты, а может быть, и превзойдут тех революционистов, – вдруг начал и не кончил, сконфузился.

– Какой же план восстания? – спросил Голицын.

– Наш план такой, – ответил Рылеев. – Говорить против присяги, кричать по полкам, что Константина принудили и что отказ по письму недостаточен, пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь.

– А много ли будет полков? – полюбопытствовал Батенков.

– А вот считайте: Измайловский весь, Финляндского батальон, московцев две роты, лейб-гренадеров тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также артиллерии.

– Не надо артиллерии, холодным оружием справимся! – опять выскочил Булатов.

– Успех несомнителен! Успех несомнителен! – закричали все.

– Ну а что же мы будем делать на площади? – спросил Оболенский.

– Представим Сенату манифест о конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию.

– Легко сказать: арестуем. Ну а если убегут? Дворец велик, и выходов в нём

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org множество.

– Недурно бы достать план, – посоветовал Батенков.

– Царская фамилия не иголка: когда дело дойдёт до ареста, не спрячется, – рассмеялся Бестужев.

– Да ведь мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить всё, – продолжал Рылеев. – Но если государь бежит со всею фамилиею, довольно и этого: тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанести первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию. Помните, друзья, успех революции в одном слове: дерзай! – воскликнул он и, подобно развеваемому ветром пламени, весь трепетно-стремительный, лёгкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда.

– Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете, а я его знаю вдоль и поперёк, – заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с чёрной повязкой на голове простреленной, «кавказский герой». – Кабаки разбить – вот с чего надо начать, а когда перепьются как следует, – солдаты в штыки, мужики в топоры, – пусть пограбят маленько; да красного петуха пустить, поджечь город с четырёх концов, чтоб и праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви да крестным ходом во дворец, захватить царя, огласить республику – и дело с концом!

– любо! любо! Вот это по-нашему! К чёрту всех филантропишек! – закричал, забушевал князь Щепин. – Скорее! Скорее! Утра ждать нечего! Сию же минуту, немедленно!

Вскочил – и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем.

– Что вы, господа, помилуйте! Куда же теперь, ночью! До объявления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит?

– Нет, не шучу. А впрочем, если вам угодно за шутку принять... – усмехнулся Якубович двусмысленно.

– Нет, друзья, подвизаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. Да не осквернится же святое пламя вольности! – заговорил опять Рылеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опоминались.

В уголку, у печки, за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер[43] и Пущин.

Коллежский ассессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, издатель журнала «Мнемозина», молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется караморой, – по собственному признанию, «ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершенствовании рода человеческого»; не был даже членом Тайного общества, зато участвовал в ином тайном обществе – Московских Любомудров, поклонников Шеллинга.

Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, «ветренный мудрец», по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил маленьким чиновником в уголовный департамент Московского надворного суда, чтобы доказать примером, что можно принести пользу отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. «Маремьяна-старица», «Мать-Софья-о-всех-сохнет» – эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочниц у Иверской о мотке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности.

Кюхельбекер с Пущиным вели беседу о натурфилософии.

– Абсолют есть Божественный Нуль, в коем успокаиваются плюс и минус, идеальное и вещественное. Понимаете, Пущин?

– Ничего не понимаю, Кюхля. Нельзя ли попроще?

– А проще – так. Натура есть гиероглиф, начертанный Высочайшею Премудростью, отражение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлечённому; вещественное есть тоже отвлечённое, но только разрозненное и конечное. Понимаете?

Пуцин глядел на него глазами слегка осоловелыми – выпил лишнее – и слушал с таким же вниманием, как тех двух лавочниц у Иверской.

Отставной армейский поручик Каховский, с голодным, тощим лицом, тяжёлым-тяжёлым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребёнка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, всё по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, однообразно-утомительно, как маятник.

– Будет вам шляться, Каховский, – окликнул его Пуцин.

Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить.

– Вещественное и отвлечённое – одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть Абсолют. Искомое условие всех условий – Безуслов. Ну, теперь поняли? – заключил Кюхельбекер.

– Ничего не понял. И какой же ты, право, Кюхля, удивительный! В эту минуту думаешь о чём! Ну а завтра на площадь пойдёшь?

Каховский вдруг остановился и прислушался.

– Пойду.

– И стрелять будешь?

– Буду.

– А как же твой Абсолют?

– Мой Абсолют совершенно с этим согласен. Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познание и добродетель – одно и то же. Познание есть жизнь, и жизнь есть познание. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить! – воскликнул Кюхля и, неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлённый светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.

– Ах ты, мой Абсолютик, Безусловик миленький! Цапля ты моя долговязая! – рассмеялся Пуцин и полез к нему целоваться.

– Напрасно смеяться изволите, – вдруг вмешался Каховский. – Он говорит самое нужное. Всё пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь! – наклонившись к Пуцину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим, потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.

Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жёсткой выпуклой крышке платяного ящика в прихожей, под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора.

– А ведь мы, господа, так и не решили главного, – сказал Якубович.

– Что же главное? – спросил Рылеев.

– Будто не знаете? Что делать с царём и царской фамилией – вот главное, – посмотрел на него Якубович пристально.

Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут.

– Захватить и задержать их под стражею до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях, – ответил он наконец.

– Под стражею? – покачал головою Якубович сомнительно. – А кто устережёт царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не оробеют от

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
одного взгляда его? Нет, Рылеев, арестование государя произвело бы  
неминуемую гибель, нашу или гибель России – войну междуусобную.

– Ну а вы-то сами, Якубович, как думаете? – вдруг заговорил всё время  
молчавший Голицын. Давно уж злил его насмешливый вид Якубовича. «Дразнит,  
хвастает, а сам, должно быть, трусит!»

– Да я что ж? Я как все, – увильнул Якубович.

– Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос, вы и отвечайте, – всё больше  
злился Голицын.

– Извольте. Ну, вот, господа, если нет других средств, нас тут шесть  
человек...

Каховский, продолжая расхаживать, вошёл в кабинет и, дойдя до окна,  
повернулся, чтобы идти назад, но вдруг опять остановился и прислушался.

– Нет, семь, – продолжал Якубович, взглянув на Каховского, – Метнёмте  
жребий: кому достанется – должен убить царя или сам будет убит.

«А может быть, и не хвастает», – подумал Голицын, и вспомнились ему слова  
Рылеева: «Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового  
ею жертвовать во всяком случае».

– Ну что же, господа, согласны? – обвёл Якубович всех глазами с усмешкой.

Все молчали.

– А вы думаете, что так легко рука может подняться на государя? –  
проговорил наконец Батенков.

– Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не то, что на жизнь простого  
человека...

– На священную особу государя императора, – разозлился Голицын. Но Якубович  
не понял.

– Вот, вот, оно самое! – продолжал он. – Священная Особа, Помазанник Божий!  
Это у нас у всех в крови. Революционисты, безбожники, а всё-таки русские  
люди, крещёные. Не подлецы же, не трусы, – все умрём за благо отечества. Ну  
а как до царя дойдёт, рука не подымется, сердце откажет. В сердце-то царя  
убить трудней, чем на площади...

– Цыц! Молчать! – вдруг закричал Каховский так неожиданно, что все  
оглянулись на него с удивлением.

– Что с вами, Каховский? – удивился Якубович так, что даже не обиделся. –  
На кого вы кричите?

– На тебя, на тебя! Молчать! Не смей говорить об этом! Смотри у меня! –  
погрозил он ему кулаком и хотел ещё что-то прибавить, но только рукой  
махнул и проворчал себе под нос: – О, болтуны проклятые! – повернулся и как  
ни в чём не бывало пошёл назад всё по тому же пути, из кабинета в залу.  
Опять зашагал, зашатался, как маятник, с лицом как у сонного.

«Лунатик», – подумал Голицын.

– Да что он, рехнулся, что ли? – вскочил Якубович в бешенстве.

Рылеев удержал его за руку:

– Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает, что говорит.

В эту минуту Каховский опять вошёл в кабинет. Якубович взгляделся в него и  
плюнул:

– Тьфу! Сумасшедший! Берегись, Рылеев, он вам беды наделает!

– Ошибаетесь, Якубович, – проговорил Голицын спокойно. – Каховский в полном  
рассудке. А сказал он то, что надо было сказать.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

- Что надо? Что надо? Да говорите толком, чёрт бы вас побрал!
- Довольно говорили. Много скажешь – мало сделаешь.
- Да уж и вы, Голицын, не рехнулись ли?
- Послушайте, сударь, я не охотник до ссор. Но если вы непременно желаете...
- Да будет вам! Нашли время ссориться. Эх, господа, как вам не стыдно! – проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опомнились.
- Ваша правда, Рылеев, – сказал Голицын. – Утро вечера мудренее. Завтрашний день всех нас рассудит. Ну а теперь пора по домам!

Он встал, и все – за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую. Здесь, по русскому обычаю, уже стоя в шинелях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Фильку растолкали и выслали в кухню, чтоб не мешал.

Такое чувство было у всех, что после давешнего разговора о цареубийстве всё снова смешалось и спуталось, – ничего не решили и никогда не решат.

- Принятые меры весьма неточны и неопределительны, – начал Батенков.
- Да ведь нельзя же делать репетицию, – заметил Бестужев.
- Войска выйдут на площадь, а потом – что удастся. Будем действовать по обстоятельствам, – заключил Рылеев.
- Теперь рассуждать нечего, наше дело слушаться приказов начальника, – подтвердил Бестужев. – А кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он всё прячется?
- Трубецкой сегодня не очень здоров, – объяснил Рылеев.
- А завтра... всё-таки будет завтра на площади?

Страх пробежал по лицам у всех.

- Что вы, Бестужев, помилуйте! – возмутился Рылеев так искренно, что все успокоились.
- Ну, господа, теперь Бог управит всё остальное. С Богом! С Богом! – сказал Оболенский.

Якубович, Бестужев и Батенков вышли вместе. Голицын и Оболенский стояли в прихожей, прощаясь с Рылеевым.

Каховский, всё ещё ходивший по зале, увидев наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было такое же сонное – лицо лунатика.

Рылеев подошёл к нему.

- Что с тобой, Каховский? Нездоровится?
- Нет, здоров. Прощай.

Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям.

- Постой, мне надо тебе два слова сказать, – остановил его Рылеев.

Каховский поморщился.

- Ох, ещё говорить! Зачем?
- Ну, можно и без слов.

Рылеев отвёл его в сторону, вынул что-то из бокового кармана и потихоньку сунул ему в руку.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Что это? – удивился Каховский и поднял руку. В ней был кинжал.

– Забыл? – спросил Рылеев.

– Нет, помню, – ответил Каховский. – Ну, что ж, спасибо за честь!

Это был знак, давно между ними условленный: получивший кинжал избирается Верховною Думою Тайного общества в цареубийцы.

Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил торжественно; видно было, что слова заранее обдуманы, сочинены, может быть, для потомства: «Будет и о нас страничка в истории», как давеча сказал Бестужев.

– Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твоё самоотвержение. Ты можешь быть полезней, чем на площади: убей царя.

Рылеев хотел его обнять, но Каховский отстранился.

– Как же это сделать? – спросил он спокойно, как будто задумчиво.

– Надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площади, когда выедет, – сказал Рылеев.

Что-то медленно-медленно открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может проснуться; наконец открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он понял, с кем и о чём говорит. Лунатик проснулся.

– Ну, ладно, – проговорил, бледнея, но всё так же спокойно-задумчиво. – Я – его, а ты – всех? Ты-то всех – решил?

– Зачем же всех? – прошептал Рылеев, тоже бледнея.

– Как зачем? Да ведь ты сам говорил: одного мало, надо всех!

Рылеев этого никогда не говорил, даже думать об этом боялся.

Он молчал. А Каховский всё больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором.

– Ну, что же ты молчишь? Говори. Аль и сказать нельзя? Сказать нельзя, а сделать можно?

Вдруг лицо его исказилось, рот скривился в усмешку, надменно оттопыренная нижняя губа запырнула.

– Ну, спасибо за честь! Лучше меня никого не нашлось, так и я пригодился? А вы-то все что же? Аль в крови неохота пачкаться? Ну, ещё бы! Честные люди, благородные! А я – меня только свистни! Злодей обречённый! Отверженное лицо! Низкое орудие убийства! Кинжал в руках твоих!

– Что ты, что ты, Каховский! Никто не принуждает тебя. Ты же сам хотел...

– Да, сам. Как сам захочу, так и сделаю! Пожертвую собой для отечества, но не для тебя, не для Общества. Ступенькой никому не лягу под ноги. О, низость, низость! Готовил меня быть кинжалом в руках твоих, потерял рассудок, склоняя меня. Думал, что очень тонок, а так был груб, что я не знаю, какой бы дурак не понял тебя! Наточил кинжал, но берегись – уколешься!

– Петя, голубчик, что ты говоришь! – сложил и протянул к нему руки Рылеев с мольбою. – Да разве мы не все вместе? Разве ты не с нами?

– Не с вами, не с вами! Никогда я не был и не буду с вами! Один! Один! Один!

Больше не мог говорить – задыхался. Весь дрожал, как в припадке. Лицо потемнело и сделалось страшным, как у одержимого.

– Вот тебе кинжал твой! И если ты ещё когда-нибудь осмелишься, – я тебя!..  
– одной рукой занёс кинжал над головой Рылеева, другой – схватил его за

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
ворот. Оболенский и Голицын хотели кинуться на помощь к Рылееву. Но Каховский отбросил кинжал, – ударившись об пол, клинок зазвенел, – оттолкнул Рылеева с такою силою, что он едва не упал, и выбежал на лестницу.

Одно мгновение Рылеев стоял, ошеломлённый. Потом выбежал за ним и, нагнувшись через перила лестницы, позвал его с мольбой отчаянной:

– Каховский! Каховский! Каховский!

Но ответа не было. Только где-то далеко, должно быть из ворот на улицу, тяжёлая калитка с гулом захлопнулась.

Рылеев постоял ещё минуту, как будто ожидая чего-то; потом вернулся в прихожую.

Все трое молчали, потупившись и стараясь не смотреть друг другу в лицо.

– Сумасшедший! – произнёс наконец Рылеев. – Правду говорит Якубович: беды ещё наделает, погубит нас всех.

– Вздор! Никого не погубит, кроме себя, – возразил Оболенский. – Несчастный. Все мы несчастные, а он пуще всех. В такую минуту – один. Один за всех на муку идёт – больше этой муки нет на земле... И за что ты его обидел, Рылеев?

– Я его обидел?

– Да, ты. Разве можно сказать человеку: убей?

– «Сказать нельзя, а сделать можно?» – повторил Рылеев слова Каховского с горькой усмешкой.

Оболенский вздрогнул и побледнел, покраснел, так же как давеча, в разговоре с Голицыным.

– Не знаю, можно ли сделать. Но лучше самому убить, чем другому сказать: убей, – проговорил он тихо, со страшным усилием.

И опять все трое замолчали. Рылеев опустил на сундук под вешалкой, филькино ложе, упёрся локтями в колени и склонил голову на руки.

Оболенский присел рядом с ним и гладил его по голове, как больного ребёнка, с тихой ласкою.

Молчание длилось долго.

Наконец Рылеев поднял голову.

Так же, как сегодня утром, он казался тяжелобольным; сразу побледнел, осунулся, как будто весь поник, потух: был огонь – стал пепел.

– Тяжко, братья, тяжко! Сверх сил! – простонал с глухим рыданием.

– А помнишь, Рылеев, – заговорил Оболенский, продолжая гладить его по голове всё с тою же тихой ласкою, – «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир».

– Какие слова! – удивился Рылеев. – Кто это сказал?

– Забыл? Ну, ничего, когда-нибудь вспомнишь. И ещё, слушай: «Вы теперь имеете печаль, но я вижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Так-то, Рылеюшка: будет скорбь, будет и радость, и радости нашей никто не отнимет у нас!

На глазах Рылеева блестели слёзы, и он улыбался сквозь слёзы. Встал и положил руку на плечо Голицына.

– Помните, Голицын, как вы однажды сказали мне: «Хоть вы и не верите в Бога, а помощи вам Бог»?

– Помню, Рылеев.

– Ну, вот и теперь скажите так, – начал Рылеев и не кончил, вдруг покраснел, застыдился.

Но Голицын понял, перекрестил его и сказал:

– Помогите вам Бог, Рылеев! Христос с вами! С нами со всеми Христос!

Рылеев обнял одной рукой Голицына, другой – Оболенского, привлёк обоих к себе, и уста их слились в тройной поцелуй.

Сквозь страх, сквозь боль, сквозь муку крестную была великая радость, и они уже знали, что радости этой никто не отнимет у них.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

«С Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня», – вспомнил Голицын слова Пушкина, сказанные Пестелю, когда утром 14 декабря вышел на Сенатскую площадь и взглянул на памятник Петру.

Пасмурное утро, туманное, тихое, как будто задумалось, на что повернуть, на мороз или оттепель. Адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату. Мостки через Неву уходили в белую стену, и казалось, там, за Невой, нет ничего – только белая мгла, пустота – конец земли и неба, край света. И Медный Всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную.

Поглядывая на пустую площадь, Голицын ходил взад и вперёд по набережной. Увидел издали Ивана Ивановича Пущина и подошёл к нему.

– Кажется, в восемь? – спросил Голицын.

– Да, в восемь, – ответил Пущин.

– А уж скоро девять? И никого?

– Никого.

– Куда же все девались?

– Не знаю.

– А что Рылеев?

– Должно быть, спит. Любит долго спать.

– Ох, как бы нам не проспять российской вольности!

Помолчали, походили, ожидая, не подойдёт ли кто. Нет, никого.

– Ну, я пойду, – сказал Пущин.

– Куда вы? – спросил Голицын.

– Домой.

Пущин ушёл, а Голицын продолжал расхаживать взад и вперёд по набережной.

Баба, в обмёрзшем платье, с посиневшим лицом, полоскала бельё в проруби. Старичок фонарщик, опустив на блоке фонарь с деревянного столба, забрызганного ещё летнею грязью, наливал конопляное масло в жестяную лампочку. Разносчик на ларе раскладывал мятные жамки[44] в виде рыбок, белых и розовых, леденцы в виде петушков прозрачных, жёлтеньких и красненьких.

Мальчишка из мелочной лавки, в грязном переднике, с пустой корзиной на голове, остановился у панели и, грызя семечки, с любопытством разглядывал Голицына; может быть, знал по опыту, что если барин ждёт, то будет и



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
барышня. И Голицыну тоже казалось, что он ждёт,

Как ждёт любовник молодой  
Минуты сладкого свиданья.

Мальчишка надоел ему. Он перешёл с набережной на Адмиралтейский бульвар и начал расхаживать по одной стороне, а по другой – господин в тёмных очках, в гороховой шинели: пройдёт туда и поглядит, как будто спросит: «Ну, что ж, будет ли что?» – пройдёт оттуда и как будто ответит: «Что-нибудь да будет, посмотрим!»

«Сыщик», – подумал Голицын и, зайдя за угол, сел на скамью, притаился.

– Бывало, как недалеко времена, копеечного калачика и на сегодня, и на завтра хватает, а тут вдруг с девятью копейками и к лотку не подходи, – торговалась старушка салопница[45] с бабой-калачницей и глазами искала сочувствие у Голицына. А над головой его, на голом суку, ворона, разевая чёрный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала.

«Ничего не будет! Ничего не будет!» – подумал Голицын.

И вдруг ему сделалось скучно, тошно, холодно. Встал и, перейдя Адмиралтейскую площадь, вошёл в кофейную Лоредра, на углу Невского, рядом с домом Главного штаба.

Здесь горели лампы – дневной свет едва проникал в подвальные окна; было жарко натоплено; пахло горячим хлебом и кофеем. Стук бильярдных шаров доносился из соседней комнаты.

Голицын присел к столику и велел подать себе чаю. Рядом двое молоденьких чиновников читали вслух манифест о восшествии на престол императора Николая I.

– «Объявляем всем верным нашим подданным... В сокрушении сердца, смиряясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, мы принесли присягу на верность старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского...»

Когда дело дошло до отречения Константина и второй присяги, читавший остановился.

– Понимаете? – спросил он громким шёпотом, так что Голицын не мог не слышать.

– Понимаю, – ответил слушавший. – Сколько же будет присяг? Сегодня – одному, завтра – другому, а там, пожалуй, и третьему...

– «Призываем всех верных наших подданных соединить тёплые мольбы их к Всевышнему, да укрепит благие намерения наши, следовать примеру оплакиваемого нами государя, да будет царствование наше токмо продолжением царствования его...» Понимаете?

– Понимаю: на колу мочала, начинай сначала!

«Тоже, верно, сыщики», – подумал Голицын, отвернулся, взял со стола истрёпанную книжку «Благонамеренного» и сделал вид, что читает.

Гремя саблею, вошёл конногвардейский корнет и заказал продавщице-француженке фунт конфет, «лимонных, кисленьких».

Голицын узнал князя Александра Ивановича Одоевского, поздоровался и отвёл его в сторону.

– Откуда ты?

– Из дворца. На карауле всю ночь простоял.

– Ну, что?

– Да ничего. Только что граф Милорадович у государя был с рапортом: из всех полков знамёна возвращаются; все войска присягнули уже, да и весь город,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
можно сказать, потому что с утра нельзя пробиться к церквам. Граф такой весёлый, точно именинник; приглашает всех на пирог к директору театров Майкову, а оттуда к Телешовой, танцовщице.

– И ты думаешь, Саша?..

– Ничего я не думаю. Уж если военный губернатор на пироге у балетной танцовщицы, значит, всё благополучно в городе.

Француженка подала Одоевскому фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

– Куда ты? – спросил Голицын.

– Домой.

– Зачем?

– На канаве лежать да конфетки сосать. Умнее ничего не придумаешь! – рассмеялся Одоевский, пожал ему руку и вышел.

А Голицын опять присел к столику. Устал, глаза отяжелели, веки слипались. «Как бы не заснуть», – подумал.

Белая душная вата наполнила комнату. Где-то близко была Маринька, и он звал её. Но вата заглушала голос. А над самым ухом его ворона, разевая чёрный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала: «Ничего не будет! Ничего не будет!»

Проснулся от внезапного шума. Все повскакали, подбежали к окнам и смотрели на улицу. Но в низеньких, почти в уровень с тротуаром, окнах мелькали только ноги бегущих людей.

– Куда они?

– Раздавили!

– Ограбили!

– Пожар!

– Бунт!

Голицын тоже вскочил и, едва не сбив кого-то с ног, как сумасшедший, кинулся на улицу.

– Бунт! Бунт! – услышал крики в бегущей толпе и побежал вместе с нею за угол Невского, по Адмиралтейской площади к Гороховой.

– Ах, беда, беда!

– Да что такое?

– Гвардия бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу!

– Кто с Николаем, тех колят и рубят, а кто с Константином, тащат с собой.

– А кто же государь, скажите на милость?

– Николай Павлович!

– Константин Павлович!

– Нет государя!

– Ах, беда, беда!

Добежав до Гороховой, Голицын услышал вдали барабанную дробь и глухой гул голосов, подобный гулу бури налетающей. Всё ближе, ближе, ближе, – и вдруг земля загудела от тысяченого топота, воздух потрясся от криков оглушающих:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Ура! Ура! Ура, Константин!

Наклоняясь низко, точно падая, со штыками наперевес, с развевающимся знаменем, батальон лейб-гвардии Московского полка бежал стремительно, как в атаку или на штурм невидимой крепости.

– Ура! Ура! Ура! – кричали солдаты неистово, и рты были разинуты, глаза выпучены, шеи вытянуты, жилы напряжены с таким усилием, как будто этим криком подымали они какую-то тяжесть неимоверную. И грязно-жёлтые низенькие домики Гороховой глядели на невиданное зрелище как старые петербургские чиновники – светопреставление.

Толпа бежала рядом с солдатами. Уличные мальчишки свистели, свиристели и прыгали, как маленькие чёртики. А три больших чёрта, три штабс-капитана, неслись впереди батальона: Александр и Михаил Бестужевы подняли на концах обнажённых шпаг треугольные шляпы с перьями, а князь Щепин-Ростовский махал окровавленную саблю – только что зарубил трёх человек до смерти.

Спотыкаясь и путаясь в полах шинели, держа в руке спавшие с носа очки, Голицын бежал и кричал вместе со всеми восторженно-неистово:

– Ура, Константин!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

С Гороховой повернули налево, мимо дома Лобанова и забора Исаакия, на Сенатскую площадь. Здесь, у памятника Петру, остановились и построились в боевую колонну, лицом к Адмиралтейству, тылом к Сенату. Выставили цепь стрелков-разведчиков. А внутри колонны поставили знамя и собрались члены Тайного общества.

Тут, за стальной оградой штыков, было надёжно, как в крепости, и уютно, тепло, теплотой дыханий человеческих надышано. От солдат пахло казармой – ржаным хлебом, тютюном[46] и сермягой, а от «маменькина сынка», Одоевского, – тонкими духами, пармскою фиалкою. И вещим казалось Голицыну это соединение двух запахов.

Члены Тайного общества обнимались, целовались трижды, как будто христосуясь. Все лица вдруг изменились, сделались новыми. Узнавали и не узнавали друг друга, как будто на том свете увиделись. Говорили спеша, перебивая друг друга, бессвязно, как в бреду или пьяные.

– Ну, что, Сашка, хорошо ведь, хорошо, а? – спрашивал Голицын Одоевского, который, не доехав из кофейни до дому, узнал о бунте и прибежал на площадь.

– Хорошо, Голицын, ужасно хорошо! Я и не думал, что так хорошо! – отвечал Одоевский и, поправляя спавшую с плеча шинель, выронил фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

– А-га, лимонные, кисленькие! – рассмеялся Голицын, – Ну, что, будешь, подлец, на канаве лежать да конфетки сосать?

Смеялся, чтобы не заплакать от радости. «Женюсь на Мариньке, непременно женюсь! – вдруг подумал и сам удивился: – Что это я? Ведь умру сейчас... Ну, всё равно, если не умру, то женюсь!»

Подожёл Пуцин, и с ним тоже поцеловались трижды, похристосовались.

– Началось-таки, Пуцин?

– Началось, Голицын.

– А помните, вы говорили, что раньше десяти лет и подумать нельзя?

– Да вот, не подумавши начали.

– И вышло неладно?

– Нет, ладно.

– Всё будет ладно! Всё будет ладно! – твердил Оболенский, тоже как в

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
беспамятстве, но с такой светлой улыбкой, что, глядя на него, у всех становилось светло на душе.

А Вильгельм Кюхельбекер, неуклюжий, долговязый, похожий на подстреленную цаплю, рассказывал, как его по дороге на площадь извозчик из саней вывалил.

– Ушибся?

– Нет, прямо в снег, мягко. Как бы только пистолет не вымок.

– Да ты стрелять-то умеешь?

– Метил в ворону, а попал в корову!

– Что это, Кюхля, какие с тобой всегда приключения!

«Смеются тоже, чтоб не заплакать от радости», – подумал Голицын.

Похоже было на игру исполинов: огромно, страшно, как смерть, и смешно, невинно, как детская шалость.

Забравшись за решётку памятника, Александр Бестужев склонился к подножию и проводил взад и вперёд лезвием шпаги по гранитному выступу.

– Что ты делаешь? – крикнул ему Одоевский.

Я о гранит скалы Петровой  
Оружье вольности точу! –  
ответил Бестужев стихами, торжественно.

– А ты, Голицын, чего морщишься? – заметил Одоевский. – Бестужев молодец: полк взбунтовал. А что поактёрствовать любит, так ведь мы и все не без этого, а вот, все молодцы!

Князь Щепин после давешнего бешенства вдруг ослабел, отяжелел, присел на панельную тумбу и внимательно рассматривал свои руки в белых перчатках, запачканных кровью; хотел снять – не снимались, прилипли; разорвал, стащил, бросил и начал тереть руки снегом, чтобы смыть кровь.

– «Всё будет ладно», – повторил Одоевский слова Оболенского и указал Голицыну на Щепина: – И это тоже ладно?

– Да, и это. Нельзя без этого, – ответил Голицын и почему-то, заговорив об этом, взглянул на Каховского.

В нагольном тулупе, с красным кушаком, за который заткнуты были кинжал и два пистолета, Каховский стоял поодаль от всех, один, как всегда. Никто не подходил к нему, не заговаривал. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Голицына, он тоже взглянул на него – и в голодном, тощем лице его, тяжёлом-тяжёлом, точно каменном, с надменно оттопыренною нижнею губою и жалобными глазами, как у больного ребёнка или собаки, потерявшей хозяина, – что-то дрогнуло, как будто хотело открыться и не могло. И тотчас опять отвернулся, угрюмо потупился. «Не с вами, не с вами, никогда я не был и не буду с вами!» – вспомнились Голицыну вчерашние слова Каховского, и вдруг стало жаль его нестерпимой жалостью.

– А вот и Рылеюшка! Умаялся, бедненький? – подошёл Голицын к Рылееву и обнял его с особенной нежностью.

Чувствовал, что виноват перед ним: думал, что он проспит, а он всё утро метался как угорелый по всем казармам и караулам, чтобы набрать войска, но ничего не набрал, вернулся с пустыми руками.

– Мало нас, Голицын, ох как мало!

– Пусть мало, а всё-таки надо, всё-таки надо было начать! – напомнил ему Голицын его же слова.

– Да, всё-таки надо! Хоть одну минуту, а были свободны! – воскликнул Рылеев. – А где же Трубецкой? – вдруг спохватился.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Чёрт его знает! Пропал – как сквозь землю провалился!

– Испугался, должно быть, и спрятался.

– Как же так, господи? Разве можно без диктатора? Что он с нами делает! – начал Рылеев и не кончил, только рукой махнул и побежал опять как угорелый метаться по городу, искать Трубецкого.

– Никаких распоряжений не сделали, согнали на площадь, как баранов, а сами спрятались, – проворчал Каховский.

И все притихли, как будто вдруг очнулись, опомнились; жуткий холодок пробежал у всех по сердцу.

Не знали, что делать; стояли и ждали. Собрались на площади около одиннадцати. На Адмиралтейской башне пробило двенадцать, час, а противника всё ещё не было, ни даже полиции, как будто всё начальство вымерло.

Думали было захватить сенаторов, но оказалось, что уже в восемь утра они присягнули и уехали в Зимний дворец на молебствие.

Солдаты, в одних мундирах, зябли и грелись горячим сбитнем[47], переминались с ноги на ногу и колотили рука об руку. Стояли так спокойно, что прохожие думали, что это парад.

Голицын ходил вдоль фронта, прислушиваясь к разговорам солдат.

– Константин Павлович сам едет сюда из Варшавы!

– За четыре станции до Нарвы стоит с первою армиею и Польским корпусом, для истребления тех, кто будет присягать николаю Павловичу!

– И прочие полки непременно откажутся!

– А если не будет сюда, пойдём за ним, на руках принесём!

– Ура, Константин! – Этим криком всё кончалось.

А когда их спрашивали: «Отчего не присягаете?» – отвечали: «По совести».

Между правым флангом каре и забором Исаакия теснилась толпа. Голицын вошёл в неё и здесь тоже прислушался.

В толпе были мужики, мастеровые, мещане, купцы, дворовые, чиновники и люди неизвестного звания, в странных платьях, напоминавшие ряженых: шинели господские с мужицкими шапками; полушубки с круглыми высокими шляпами; чёрные фраки с белыми полотенцами и красными шарфами вместо кушаков. У одного – всё лицо в саже, как у трубочиста.

– Кумовьёв, значит, много в полиции, так вот, чтоб не признали, рожу вымазал, – объяснили Голицыну.

– Рожа черна, а совесть бела. Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит, – подмигнул ему сам чернорожий, скаля белые зубы, как негр.

У них было оружие: старинные ржавые сабли, ножи, топоры, кирки и те железные ломы, которыми дворники скалывают лёд на улицах, и даже простые дубинки, как, бывало, во дни пугачёвщины. А те, кто с голыми руками пришёл, разбирали поленницы дров у забора Исаакия и выламывали камни из мостовой, вооружаясь кто поленом, кто булыжником.

– И, видя такое неустроенное, варварское на всё российское простонародье самовластье и тяжкое притеснение, государь император Константин Павлович вознамерился уничтожить оное, – говорил мастеровой с испитым, злым и умным лицом, в засаленном картузе и полосатом тиковом халате, ремешком подпоясанном.

– По две skóry с нас дерут, анафемы! – злобно шипел беззубый старичок дворовый, в лакейской фризовой[48] шинели со множеством воротников.

– Народу жить похужело, всему царству потяжелело! Томно так, что ой-ой-ой!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org – вздыхала баба с красным лицом и веником под мышкой, должно быть прямо из бани. А лупоглазая девчонка, в длинной кацавейке мамкиной, разинув рот, жадно слушала, как будто всё понимала.

– И, видя оное притеснение лютое, – продолжал мастеровой, – государь Константин Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить российскую чернь от благородных господ...

– Господа благородные – первейшие в свете подлецы! – слышались голоса в толпе.

– Отжили они свои красные дни! Вот он потребует их, варваров!

– Недолго им царствовать – не сегодня, так завтра будет с них кровь речками литься!

– Воля, ребята, воля! – крикнул кто-то, и вся толпа, как один человек, скинула шапки и перекрестилась.

– Сам сюда идёт расправу творить, уж он у Пулкова!

– Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли!

– Ах ты, сердечный, болезный наш!

– Ничего, братцы, небось, отобьём!

– Ура, Константин!

– Идут! Идут! – услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара, из-за забора Исаакия, появилась конная гвардия. Всадники, в медных касках и панцирях, приближались гуськом, по три человека в ряд, осторожно-медленно, как будто крадучись.

– Ишь, как мухи сонные ползут. Не любо, чай, бедненьким! – смеялись в толпе.

А солдаты в мятежном каре, заряжая ружья, крестились:

– Ну, слава Богу, начинается!

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Генерал-губернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой Андреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перьями, он сидел молодцом на гарцующей лошади.

Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телешовой. На помятом лице его с жидкими височками крашенных волос, пухлыми губками и масляными глазками было такое выражение, как будто он всё это дело кругом пальца обернёт.

– Стой! Назад поворачивай! – закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось.

«Русский Баярд, сподвижник Суворова[49], в тридцати боях не ранен – и этих шалунов испугаюсь!» – подумал Милорадович.

– Полно, ребята, шалить! Пропусти! – крикнул и поднял лошадь в галоп на штыки с такою же лихостью, с какою, бывало, на полях сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своём щёгольском плаще амарантовом. «Бог мой, пуля на меня не вылита!» – вспоминал свою поговорку.

А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились: «Ах ты, шут гороховый, хвастунишка, фанфаронишка!»

– Куда вы, куда вы, граф! Убьют! – подбежал к нему Оболенский.

– Не убьют, небось! Не злодеи, не изверги, а шалуны, дурачки несчастные. Их

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
пожалеть, вразумить надо, – ответил Милорадович, выпятив мягкие, пухлые  
губы чувствительно.

По угрюмой злобе на лицах солдат Оболенский видел, что ещё минута – и  
примут на штыки фанфаронишку.

– Смирна-а! Ружья к ноге! – скомандовал и схватил под уздцы лошадь  
Милорадовича. – Извольте отъехать, ваше сиятельство, и оставить в покое  
солдат!

Лошадь мотала головой, бесилась, пятилась. Узда острым краем ремня резала  
пальцы Оболенского, но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук.

Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башуцкий, с перекошенным от  
страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью.

– Да скажите же ему хоть вы, господин поручик, – убьют! – крикнул ему  
Оболенский.

Но Башуцкий только махнул рукой с безнадёжностью.

А Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренная лошадь  
рванулась вперёд. Оболенский едва не упал и выпустил узду из рук. Цепь  
стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту мятежников.

– Ребята! – начал он, видимо, заранее подготовленную речь с самонадеянной  
развязностью старого отца-командира. – Вот эту самую шпагу, видите, с  
надписью: «Другу моему Милорадовичу», – подарил мне в знак дружбы государь  
цесаревич Константин Павлович. Неужели же я изменю другу моему и вас  
обману, друзья?

Неловко, бочком протискиваясь сквозь шеренгу солдат, подошёл Каховский и  
остановился в двух-трёх шагах от Милорадовича. Левую руку положил на  
рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак, – Оболенский заметил, что из  
двух пистолетов за кушаком остался только один, – а правую – неуклюже,  
неестественно, точно вывихнутую, засунул под распахнутый тулуп, за пазуху.

– Разве нет между вами старых служивых суворовских? Разве тут одни  
мальчишки-каналы, фрачники? – продолжал Милорадович, взглянув на  
Каховского.

А тот, как будто внимательно прислушиваясь, смотрел в лицо его прямо,  
недвижно, неотступно пристально. И от этого взгляда вдруг страшно стало  
Оболенскому. Почти не сознавая, что делает, он выхватил ружьё у стоявшего  
рядом солдата и начал колоть штыком в бок лошадь Милорадовича. Каховский  
оглянулся, и Оболенскому почудилась в лице его усмешка едва уловимая.

Лошадь взвилась на дыбы. Знакомый звук послышался Милорадовичу, как будто  
выскочила пробка из бутылки шампанского. «Вот оно!» – подумал он, но уже не  
успел прибавить: «Бог мой, пуля на меня не вылита!»

В белом облачке дыма проплыла белая юбочка балетной танцовщицы; две розовые  
ножки торчали из юбочки, как две тычинки из чашечки цветка опрокинутой.  
Выпятились пухлые губы старчески-младенчески, как, бывало, в последнем акте  
балета, когда он, хлопая в ладоши, покрикивал: «Фора, Телешова, фора!»  
Последний поцелуй воздушный послала ему Катенька, и опустилась чёрная  
занавесь.

Вдруг вскинул руки вверх и замотался, задёргался, как пляшущий на нитке  
паяц. С головы свалилась шляпа, оголяя жидкие височки крашенных волос, и по  
голубому шёлку Андреевской ленты заструилась струйка алая.

Оболенский почувствовал, как острое железо штыка вонзается во что-то живое,  
мягкое, хотел выдернуть и не мог – зацепилось. А когда облачко дыма  
рассеялось, увидел, что Милорадович, падая с лошади, наткнулся на штык, и  
острие вонзилось ему в спину, между рёбрами.

Наконец, со страшным усилием, Оболенский выдернул штык.

«Какая гадость!» – подумал, так же как тогда, во время дуэли со Свиныным,  
и лицо его болезненно сморщилось. Ружейный залп грянул из каре, и «ура,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org Константин!» прокатилось над площадью, радостное. Радовались, потому что чувствовали, что только теперь началось как следует: переступили кровь.

Каховский, возвращаясь в каре, так же как давеча, пробирался неловко, бочком. Лицо его было спокойно, как будто задумчиво. Когда послышались крики и выстрелы, он с удивлением поднял голову, но тотчас опять опустил, как будто ещё глубже задумался.

«Да, этот ни перед чем не остановится. Если только подъедет государь, несдобровать ему», – подумал Голицын.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

– Представь себе, Комаровский[50], есть люди, которые, к несчастью, носят один с нами мундир и называют меня... – начал государь, усмехаясь криво, одним углом рта, как у человека, у которого сильно болят зубы, и кончил с усилием: – Называют меня самозванцем!

«Самозванец» – в устах самодержца российского – это слово так поразило генерала Комаровского, что он не сразу нашёлся что ответить.

– Мерзавцы! – проговорил наконец и, чувствуя, что этого мало, выругался по-русски, непристойным ругательством.

Государь, в одном мундире Измайловского полка, в голубой Андреевской ленте, как был одет к молебствию, сидел верхом на белой лошади, окружённый свитой генералов и флигель-адъютантов, впереди батальона лейб-гвардии Преображенского полка, построенного в колонну на Адмиралтейской площади, против Невского.

Тишина зимнего дня углублялась тем, что на занятых войсками площадях и улицах езда прекратилась. Близкие голоса раздавались, как в комнате, а издали, со стороны Сената, доносился протяжный гул, несмолкаемый, подобный гулу морского прибоя, с отдельными возгласами, как будто скрежетами подводных камней, уносимых волной отливающей: «Ура-ра-ра!» Вдруг затрещали ружейные выстрелы, гул голосов усилился, как будто приблизился, и опять: «Ура-ра-ра!»

Генерал Комаровский поглядывал на государя украдкой, искоса. Под низко надвинутой треугольной чёрною шляпою с чёрными перьями лицо Николая побледнело прозрачно-синеватой бледностью, и впалые, тёмные глаза расширились. «У страха глаза велики», – подумал Комаровский внезапно-нечаянно.

– Слышишь эти крики и выстрелы? – обернулся к нему государь. – Я покажу им, что не трушу!

– Все удивляются мужеству вашего императорского величества, но вы обязаны хранить драгоценную жизнь вашу для блага отечества, – ответил Комаровский.

А государь почувствовал, что не надо было говорить о трусости. Всё время фальшивил, как певец, спавший с голоса, или актёр, не выучивший роли.

«Рыцарь без страха и упрёка» – вот роль, которую надо было сыграть. Начал хорошо. «Может быть, сегодня вечером нас обоих не будет на свете, но мы умрём, исполнив наш долг», – одеваясь поутру, сказал Бенкендорфу, и потом – командирам гвардейского корпуса: «Вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы, а что до меня, – если буду императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин!»

Но когда услышал: «Бунт!» – вдруг сердце упало, потемнело в глазах, и всё замелькало, закружилось, как в вихре.

Для чего-то кинулся на дворцовую гауптвахту, – должно быть, думал, что вот-вот бунтовщики вломятся во дворец, и хотел поставить караулы у дверей; потом выбежал под главные ворота дворца и столкнулся с полковником Хвощинским[51], приехавшим прямо из казарм Московского полка, израненным, с повязкой на голове. Государь, увидев на повязке кровь, замахал руками, закричал: «Уберите, уберите! Спрячьте же! Чтобы видом крови не разжечь толпы», – хотя никакой толпы ещё не было.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Потом один, без свиты, очутился на Дворцовой площади, в столпившейся кучке прохожих: что-то говорил им, доказывал, читал, и толковал манифест, и просил убедительно: «Наденьте шапки, наденьте шапки – простудитесь!» А те кричали: «Ура!» – становились на колени, хватили его за фалды мундира, за руки, за ноги: «Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на клочья разорвём, не выдадим!» И краснорожий в лисьей шубе лез целоваться; изо рта его пахло водкою, луком и ещё каким-то отвратительным запахом, точно сырой говядины. А в задних рядах бушевал пьяный; его унимали, били, но он успел-таки выкрикнуть:

– Ура, Константин!

Государь немного отдохнул, ободрился только тогда, когда увидел, что батальон лейб-гвардии Преображенского полка строится перед дворцом в колонну.

Собралась наконец свита, подали лошадь.

– Ребята! Московские шалят. Не перенимать у них и делать своё дело молодцами! Готовы ли вы идти за мной, куда велю? – закричал, проезжая по фронту, уже привычным, начальническим голосом.

– Рады стараться, ваше императорское величество! – ответили солдаты нетвёрдо, недружно, но слава Богу, что хоть так.

– Дивизион, вперёд! Вполоборота, левым плечом, марш-марш! – скомандовал государь и повёл их на Адмиралтейскую площадь.

Но, дойдя до Невского, остановился, не зная, что делать. Решил подождать посланного для разведок генерала Сухозанета, начальника гвардейской артиллерии.

Всё это мелькнуло перед ним как видение бреда, когда он закрыл глаза и забылся на миг: такие миги забвения находили на него, подобные обморокам.

Очнулся от голоса генерал-адъютанта Левашова[52], подскакавшего к нему после давешних криков и выстрелов на Сенатской площади.

– Ваше величество, граф Милорадович ранен.

– Жив?

– Рана тяжёлая – едва ли выживет.

– Ну что ж, сам виноват, своё получил, – пожал плечами государь, и тонкие губы его искривились такою усмешкою, что всем вдруг стало жутко.

«Да, это не Александр Павлович! Погодите, ужо задаст вам конституцию!» – подумал Комаровский.

– Ну что, как, Иван Онуфрич? – обратился государь к подскакавшему генералу Сухозанету.

– *Cela va mal, sire*[53], – начал тот. – Бунт разрастается; бунтовщики никаких увещаний не слушают; присягнувшие войска ненадёжны, каждую минуту могут перейти на сторону мятежников, и тогда следует ожидать величайших ужасов. Извольте, ваше величество, послать за артиллерией, – кончил Сухозанет своё донесение.

– Да ведь, сам говоришь, ненадёжна?

– Что же делать, другого способа нет. Не обойтись без артиллерии..

Но государь уже не слушал. Чувствовал, что по спине его ползут мурашки и нижняя челюсть прыгает. «От холода», – утешал себя, но знал, что не только от холода. Вспомнилось, как в детстве, во время грозы, убежал в спальню, ложился в постель и прятал под подушку голову, а дядька Ламсдорф вытаскивал его за ухо: «За ушко да на солнышко». Жалел себя. Ну, за что они все на него? Что он им сделал? «Братниной воли жертва невинная! *Pauvre diable!* Бедный малый! Бедный Никс!»

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Когда очнулся, то увидел, что с ним говорит уже не генерал Сухозанет, а генерал Воинов[54], начальник гвардейского корпуса.

- Ваше величество, в Измайловском полку беспокойство и нерешительность...
- Что вы говорите? Что вы говорите? Как вы смеее? – Вдруг закричал на него государь так внезапно неистово, что тот остолбенел и выпучил глаза от удивления. – Место ваше, сударь, не здесь, а там, где вверенные вам войска вышли из повиновения!
- Осмелюсь доложить, ваше величество...
- Молчать!
- Государь...
- Молчать!

И каждый раз, как раскрывал он рот, раздавался этот крик неистовый.

Государь знал, что сердиться не за что, но не мог удержаться. Точно огненный напиток разлился по жилам, согревающий, укрепляющий. Ни подлых мурашек, ни дрожания челюсти. Опять – рыцарь без страха и упрёка; самодержец, а не самозванец. Понял, что спасён, только бы рассердиться как следует.

Незнакомый штабс-капитан драгунского полка, высокого роста, с жёлто-смуглым лицом, чёрными глазами, чёрными усами и чёрной повязкой на лбу, подошёл и уставился на него почтительно, но чересчур спокойно; что-то было в этом спокойствии, что уничтожало расстояние между государем и подданным.

- Что вам угодно? – невольно обернувшись к нему, спросил государь.
- Я был с ними, но оставил их и решил явиться с повинной головой к вашему величеству, – ответил офицер всё так же спокойно.
- Как ваше имя?
- Якубович.
- Спасибо вам, вы ваш долг знаете, – подал ему руку государь, и Якубович пожал её с той усмешкой, которую дамы, в него влюблённые, называли демонской.
- Ступайте же к ним, господин Якубовский...
- Якубович, – поправил тот внушительно.
- И скажите им от моего имени, что, если они сложат оружие, я их прощаю.
- Исполню, государь, но жив не вернусь.
- Ну, если боитесь...
- Вот доказательство, что я не из трусов. Мне честь моя дороже головы израненной! – снял Якубович шляпу и указал на свою повязанную голову. Потом вынул из ножен саблю, надел на неё белый платок – знак перемирия – и пошёл на Сенатскую площадь к мятежникам.
- Молодец! – сказал кто-то из свиты.

Государь промолчал и нахмурился.

Долго не возвращался посланный. Наконец вдали замелькал белый платок. Государь не вытерпел – подъехал к нему.

- Ну, что же, господин Якубовский?
- Якубович, – опять поправил тот ещё внушительней. – Толпа буйная, государь. Ничего не слушает.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Так чего же они хотят?

– Позвольте, ваше величество, сказать на ухо.

– Берегитесь, рожа разбойничья, – шепнул государю Бенкендорф.

Но тот уже наклонился с лошади и подставил ухо.

«Вот теперь его можно убить», – подумал Якубович. Не был трусом; если бы решил убить, не побоялся бы. Но не знал, зачем и за что убивать. Покойного Александра Павловича – за то, что чином обошёл, а этого за что? К тому же царевича, казалось ему, должен быть весь в чёрном платье, на чёрном коне и непременно чтобы парад, и солнце, и музыка. А так, просто убить, что за удовольствие?

– Просят, чтобы ваше величество сами подъехать изволили. С вами говорить хотят, и больше ни с кем, – шепнул ему на ухо.

– Со мной? О чём?

– О конституции.

Лгал: никаких переговоров с бунтовщиками не вёл. Когда подходил к ним, они закричали ему издали: «Подлец!» – и прицелились. Он успел только шепнуть два слова Михаилу Бестужеву, повернулся и ушёл.

– А ты как думаешь? – спросил государь Бенкендорфа, пересказав ему на ухо слова Якубовича.

– Картечи бы им надо, вот что я думаю, ваше величество! – воскликнул Бенкендорф с негодованием.

«Картечи или конституции?» – подумал государь, и бледное лицо его ещё больше побледнело; опять мурашки по спине заползали, нижняя челюсть запрыгала.

Якубович взглянул на него и понял, что был прав, когда сказал давеча Михаилу Бестужеву: «Держитесь, – трусят!»

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

– Отсюда виднее, влезайте-ка, – пригласил Оболенский Голицына и помог ему вскарабкаться на груды гранитных глыб, сваленных для стройки Исаакия у подножия памятника Петру I.

Голицын окинул глазами площадь.

От Сената до Адмиралтейства, от собора до набережной и далее, по всему пространству Невы до Васильевского острова, кишела толпа многотысячная – одинаково чёрные, малые, сжатые, как зёрна паюсной икры, головы, головы, головы. Люди висели на деревьях бульвара, на фонарных столбах, на водосточных желобах; теснились на крышах домов, на фронте Сената, на галереях Адмиралтейской башни, – как в исполинском амфитеатре с восходящими рядами зрителей.

Иногда внизу, на площади, в однообразной зыби голов, завивались водовороты.

– Что это? – спросил Голицын, указывая на один из них.

– Шпиона, должно быть, поймали, – ответил Оболенский.

Голицын увидел человека, бегущего без шапки, в шитом золотом флигель-адъютантском мундире с оторванной фалдой, в белых лосинах с кровавыми пятнами.

Иногда слышались выстрелы, и толпа шарахалась в сторону, но тотчас опять возвращалась на прежнее место: сильнее страха было любопытство жадное.

Войска, присягнувшие императору Николаю, окружали кольцом каре мятежников: прямо против них – преображенцы, слева – измайловцы, справа – конногвардейцы, и далее, по набережной, тылом к Неве, – кавалергарды,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
финляндцы, коннопионеры; на Галерной улице – павловцы, у Адмиралтейского  
канала – семёновцы.

Войска передвигались, а за ними – волны толпы; и во всём этом движении,  
кружении, как неподвижная ось в колесе вертящемся, – стальной  
четырёхугольник штыков.

Долго смотрел Голицын на две ровные линии чёрных палочек и белых крестиков:  
палочки-султаны киверов, крестики – ремни от ранцев; а между двумя –  
третья, такая же ровная, но разнообразная линия человеческих лиц. И на них  
на всех одна и та же мысль – тот вопрос и ответ, который давеча слышал он:  
«Отчего не присягаете?» – «По совести».

Да, неколебимая крепость этого стального четырёхугольника – святая крепость  
человеческой совести. На скалу Петрову опирается – и сам как скала эта  
несокрушимая.

В середине каре – члены Тайного общества, военные и штатские, «люди  
гносного вида во фраках», как потом доносили квартальные; тут же – полковое  
знамя с полинялыми ветхими складками золотисто-зелёного шёлка, истрёпанное,  
простреленное на полях Бородина, Кульма и Лейпцига – ныне святое знамя  
российской вольности; столик, забрызганный чернилами, принесённый из  
сенатской гауптвахты, с какими-то бумагами, – может быть манифестом  
недописанным, – с караваем хлеба и бутылкой вина – святая трапеза  
российской вольности.

Промелькнуло бледное на бледном небе привидение солнца – и стальная щетина  
тонких изломанных игл бледно заискрилась на серой глыбе гранита, подножия  
Медного Всадника. Зазеленела тёмная бронза тускло-зелёною ржавчиною – и  
страшную жизнь ожил лик нечеловеческий.

«С Ним или против Него?» – подумал Голицын опять, как тогда, во время  
наводнения. Что значит это мановение десницы, простёртой над пучиной волн  
человеческих, как над пучиной потопа бушующей? Тогда укротил потоп –  
укротит ли и ныне? Или в пучину низвергнется бешеный конь вместе с бешеным  
Всадником?

Вернувшись в каре, Голицын узнал, что готовится атака конной гвардии; а  
Рылеев пропал, Трубецкой не являлся, и команды всё ещё нет.

– Надо выбрать другого диктатора, – говорили одни.

– Да некого. С маленькими эполетами и без имени никто не решится, –  
возражали другие.

– Оболенский, вы старше, выручайте же!

– Нет, господа, увольте. Всё что угодно, а этого я на себя не возьму.

– Как же быть? Смотрите, вот уже в атаку идут!

Два эскадрона конной гвардии вынеслись на рысях из-за дощатого забора  
Исаакя и построились в колонну тылом к дому Лобанова.

Коллежский ассессор Иван Иванович Пущин, в длиннополой шинели, в высокой  
чёрной шляпе, похаживал перед фасом каре и покуривал трубочку так же  
спокойно, как у себя в кабинете или в Михайловском, в домике Пушкина, под  
уютный шелест вязальных спиц Арины Родионовны.

– Ребята, будете моей команды слушать? – спросил он солдат.

– Рады стараться, ваше благородие!

Высвободив из рукава шинели правую руку в зелёной лайковой перчатке, он  
поднял её вверх, как бы взмахнув невидимой саблей, и скомандовал:

– Смирна-а! Ружья к ноге! В каре против кавалерии стройся!

Один залп мог положить на месте всю конницу. Чтобы даром не перебить и не  
озлобить людей, Пущин велел стрелять лошадям в ноги или вверх через головы  
всадников.

Конница уже неслась с тяжёлым топотом. Грянул залп, но пули просвистели над головами людей.

Когда пороховой дым рассеялся, увидели, что первая атака не удалась. Мешала теснота, выдававшийся угол забора – надо было его огибать, – а пуце всего гололедица. Неподкованные лошади скользили на все четыре ноги по обледенелым бульжникам и падали. Да и люди шли в атаку нехотя: понимали, что нельзя атаковать, когда ружейный огонь лошадям в морды.

– И чего, анафемы, лезете? – ругались москвичи, помогая встать упавшим всадникам.

– Полезешь, коли гонят. А вам, братцы, спасибо, что мимо стреляли, а то и живы быть не чаяли! – благодарили конногвардейцы.

– Переходи к нам, ребята!

– А вот погоди, ужо как стемнеет, все перейдём.

– Назад, равняйсь! – скомандовал командир, генерал Орлов, и начал строить взводы для второй атаки.

Но и вторая удалась не лучше первой. Так же плавно склонялись штыки, и, натываясь на стальную щетину их, так же опрокидывались кони, увлекая всадников. А толпа из-за забора швыряла камнями, кирпичами, поленьями. Генерала Воинова едва не зашибли до смерти; герцога Евгения Виртембергского закидали снежками, как маленького мальчика.

Атака за атакой, как волна за волной, разбивалась о четырёхугольник, неколебимый, недвижимый, и с каждым новым натиском он как будто твердел, каменел. Опирался о скалу Петрову и сам был как эта скала несокрушимая.

Вдруг, под весёлый гром военной музыки, послышалось издали: «Ура, Константин!» – и три с половиною роты лейб-гвардии флотского экипажа, под командою лейтенанта Михаила Кюхельбекера и штабс-капитана Николая Бестужева[55], выбежали из Галерной улицы.

Обнажились, целовались с москвичами:

– Голубчики, братцы, миленькие! Спасибо вам, не выдали!

– Соединились армии с флотами!

– Наша взяла и на море, и на суше!

– Слава Богу, вся Россия в поход пошла!

Экипаж построился в новое каре, справа от москвичей, на мосту Адмиралтейского канала, лицом к Исаакию. И опять, уже с другой стороны, с Дворцовой площади:

– Ура, Константин!

По бульвару бежали отдельными кучками, в расстёгнутых шинелях, в заваленных фуражках, в сумках с боевыми патронами, с ружьями наперевес лейб-гренадеры.

Уже добежали до площади, перелезли через камни, сваленные на углу Адмиралтейского бульвара и набережной, но тут произошло смятение.

Полковой командир Стюрлер, всё время бежавший рядом с солдатами, убеждал, умолял их вернуться в казармы.

– Не выдавай, ребята, не слушай подлеца! – кричал полковой адъютант, поручик Панов[56], член Тайного общества, тоже бежавший рядом.

– Вы за кого? – спросил Каховский, подбегая к Стюрлеру с пистолетом в руках.

– За Николая! – ответил тот.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукою за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками – за ним.

– Бей, коли немца проклятого!

Штыки вонзились в спину его, и он упал.

Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятия, поцелуи братские.

Третье каре построилось слева от первого, лицом к набережной, тылом к Исаакию.

Теперь уже было на площади около трёх тысяч войска и десятки тысяч народа, готовых на всё по первому знаку начальника. А начальника всё ещё не было.

Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты, в одних мундирах, по-прежнему зябли и переминались с ноги на ногу, колотили рука об руку.

– Чего мы стоим? – недоумевали. – Точно к мостовой примёрзли. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим.

– Ваше благородие, извольте в атаку вести, – говорил ефрейтор Любимов штабс-капитану Михаилу Бестужеву.

– В какую атаку? На что?

– На войска, на дворец, на крепость, – куда воля ваша будет.

– Погодить надо будет, братец, команды дожждаться.

– Эх, ваше благородие, годить – всё дело губить!

– Да, что другое, а годить и стоять мы умеем, – усмехнулся Каховский язвительно. – Вся наша революция – стоячая!

«Стоячая революция», – повторил про себя Голицын с вещим ужасом.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

– Да что такое происходит? Какого мы ждём неприятеля?

– Ничего не понимаю, убей меня Бог! Кавардак какой-то анафемский! – подслушал великий князь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже ничего не понимал.

Вызванный братом Николаем из городка Ненналя, где остановился по дороге в Варшаву, – только что прискакал в Петербург, усталый, голодный, продрогший, и попал прямо на площадь, в революцию, по собственному выражению, «как кур во щи».

Когда, после неудачных конных атак, начальство поняло, что силой ничего не возьмёшь, и решило приступить к увещаниям, Михаил Павлович попросил у государя позволение поговорить с бунтовщиками. Николай сначала отказал, а потом, уныло махнув рукой, согласился:

– Делай что знаешь!

Великий князь подъехал к фронту мятежников.

– Здорово, ребята! – крикнул зычно и весело, как на параде.

– Здравья желаем вашему императорскому высочеству! – ответили солдаты так же весело.

«Косолапый Мишка», «благодетельный бука, le bourru bienfaisant», Михаил Павлович наружность имел жёсткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь, не вставая, и он простил его: «Пьян, да умён». Так и теперь готов был простить бунтовщиков за это весёлое: «Здравья желаем!»

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое затеяли? – начал, как всегда, по-домашнему. – Государь цесаревич Константин Павлович от престола отрёкся, я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем его приказываю вам присягнуть законному...

- Нет такого закона, чтоб двум присягать, – поднялся гул голосов.
- Смирна-а! – скомандовал великий князь, но его уже не слушали.
- Мы ничего худого не делаем, а присягать николаю не будем!
- Где Константин?
- Подай Константина!
- Пусть сам придёт, тогда поверим!
- Не упрямитесь-ка лучше, ребята, а то худо будет, – попробовал вступиться кто-то из генералов.
- Поди к чёртовой матери! Вам, генералам, изменникам, нужды нет всякий день присягать, а мы присягой не шутим! – закричали на него с такою злобою, что Михаил Павлович наконец понял, что происходит, слегка побледнел. И лошадь его тоже как будто поняла – дрогнула, попятилась.

В узеньком проулке между двумя каре – флотским экипажем и москвичами – Вильгельм Карлович Кюхельбекер нелепо суетился, метался из стороны в сторону, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в снег и вымок; то натягивал, то откидывал шинель и наконец скинул совсем, остался в одном фраке, длинновязый, кривобокий, тонконогий, похожий на подстреленную цаплю.

– Voulez vous faire descendre michel?[57] – произнёс рядом с ним чей-то знакомый, но странно изменившийся голос, и вдруг почудилось ему, что всё это уже когда-то было.

– Je le veux bien, mais ouest-il done?[58]

– А вон, видите, чёрный султан.

Щуря близорукие голубые глаза навывкате, такие же грустные и нежные, как, бывало, в беседах с лицейским товарищем Пушкиным «о Шиллере, о славе, о любви», – он прицелился.

Вдруг почувствовал, что кто-то трогает его за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат. Ничего не сказали, только один подмигнул, другой покачал головой. Но он понял: «Не надо! Ну его!»

– погоди, ребята, маленько; скорее дело кончим, – произнёс тот же знакомый голос, – и опять всё это уже когда-то было.

Кюхельбекер поднёс пистолет к самому носу и рассматривал его как будто с удивлением.

– А ведь, кажется, и вправду смок, – пробормотал сконфуженно.

– Эх ты, чудак, Абсолют Абсолютович! Сам, видно, смок! – рассмеялся Пуцин и потрепал его по плечу ласково. Голицын подошёл и прислушался.

– Да ведь мы и все, господа, не очень сухи, – опять усмехнулся Каховский язвительно.

– А вы-то сами что же? Вы лучше нас всех стреляете, – проговорил Пуцин.

– Довольно с меня! Уже двое на душе, а будет и третий, – ответил Каховский.

Голицын понял, что третий – Николай Павлович.

На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ каре мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета, на высоких рессорах, с раззолоченными козлами вроде колымаг старинных. Из кареты

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org вылезли два старичка с испуганными лицами, в церковных облачениях: митрополит Серафим – Петербургский и Евгений – Киевский[59].

Какой-то генерал схватил обоих владык в дворцовой церкви, где готовились они служить молебствие по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя иподиаконами и привёз на площадь.

Старички, стоя в толпе, перед цепью стрелков, и не зная, что делать, шептались беспомощно.

– Не ходите, убьют! – кричали одни.

– Ступайте с Богом! Это ваше дело духовное. Не басурмане, чай, а свои люди, крещёные, – убеждали другие.

У митрополита Евгения, хватая за полы, чтоб удержать, оторвали палицу[60] и затёрли его в толпе. А Серафим, оставшись один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остолбенел, не понимал, что с ним делается, – как будто летел с горы вниз головой; только крестился, шептал молитвы, быстро мигая подслеповатыми глазками и озираясь во все стороны.

Вдруг увидел над собой удивлённое, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта лейб-гвардии флотского экипажа Михаила Карловича Кюхельбекера, Вильгельмова брата, такого же, как тот, неуклюжего, длинноногого и пучеглазого.

– Что вам угодно, батюшка? – спросил Кюхельбекер вежливо, делая под козырёк. Русский немец, лютеранин, – не знал, как обращаться к митрополиту, и решил, что если поп, так «батюшка».

Серафим ничего не ответил, только пуще замигал, зашептал, закрестился.

Некогда светские барыни прозвали его за приятную наружность серафимчиком. Теперь ему было уже за семьдесят. Одутловатое, старушечье лицо, узенькие щёлки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой, жиденькая борода клинышком. Он весь трясся, и бородака тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика.

– Что вам угодно, батюшка? – повторил он ещё вежливей.

– Мне бы туда, к воинам... Поговорить с воинами, – пролепетал наконец Серафим, боязливо указывая пухлую ручкою на каре мятежников.

– Уж не знаю, право, – пожал Кюхельбекер плечами в недоумении. – Тут пропускать не велено. А впрочем, погодите, батюшка, я сию минуту.

И побежал. А Серафим робко поднял глаза и взглянул на лица солдат. Думал, – не люди, а звери. Но увидел обыкновенные человеческие лица, вовсе не страшные.

Немного отдохнул и вдруг, с той храбростью, которая иногда овладевает трусами, снял митру, отдал иподиакону, положил на голову крест и пошёл вперёд. Солдаты расступились, взяли ружья на молитву и начали креститься.

Он сделал ещё несколько шагов и очутился перед самым фронтом каре. Здесь тоже люди крестились, но, крестясь, кричали:

– Ура, Константин!

– Воины православные! – заговорил Серафим, и все умолкли, прислушивались. Он говорил так невнятно, что только отдельные слова долетали до них. – Воины, утиштите. Умаливаю вас... Присягните... Константин Павлович трикраты отрётся... вот вам Бог свидетель...

– Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыко, – произнёс чей-то голос, такой тихий и твёрдый, что все оглянулись. Это говорил князь Валериан Михайлович Голицын.

– А ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христа-то Господа веруешь ли? – залепетал Серафим и вдруг побледнел, затрясся уже не от страха, а от злобы.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Верую, – ответил Голицын так же тихо и твёрдо.

Серафим подал ему крест.

– А ну-ка, ну-ка, целуй, если веруешь!

– Только не из ваших рук, – сказал Голицын и хотел взять у него крест.

Но Серафим отдёрнул его, уже в ином, нездешнем страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся, – в лице бунтовщика лицо самого дьявола.

– Ну что ж, давайте, не бойтесь, отдам. Он ваш до времени, уж отыщем! – произнёс Голицын, и глаза его из-под очков сверкнули так грозно, что Серафим опять замигал, зашептал, закрестился и отдал крест.

Голицын взял его и поцеловал с благоговением.

– Дайте и мне, – сказал Каховский.

– И мне! И мне! – потянулись другие.

Крест обошёл всех по очереди, а когда опять вернулся к Голицыну, он отдал его Серафиму.

– Ну а теперь ступайте, владыко, и помните, что не по вашей воле свободу российскую осенили вы крестным знаменьем.

И опять, как тогда, в начале восстания, закричал восторженно-неистово:

– Ура, Константин!

– Ура, Константин! – подхватили солдаты.

– Поди-ка на своё место, батька, знай свою церковь!

– Какой ты митрополит, когда двум присягал!

– Обманщик, изменник, дезертир николаевский!

Штыки и шпаги скрестились над головой Серафима. Подбежали иподиаконы, подхватили его под руки и увели.

– А вот и пушки, – указал кто-то на подъезжавшую артиллерию.

– Ну что ж, всё как следует, – усмехнулся Голицын. – За крестом – картечь, за Богом – зверь!

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

– Я ещё не уверен в артиллерии, – отвечал государь каждый раз, когда убеждали его послать за артиллерией.

Не только в ней, но и в остальных войсках не был уверен. Семёновцы передавали бунтовщикам через народ о своём желании соединиться с ними; измайловцы на троекратное: «Здорово, ребята!» – ответили государю молчанием; а финляндцы как встали на Исаакиевском мосту, так и не двигались.

«Что, если все они перейдут на сторону мятежников? – думал государь, – тогда и артиллерия не поможет: пушки на меня самого обратятся».

– Bonjour, Карл Фёдорович. Посмотрите, что здесь происходит. Вот прекрасное начало царствования – престол, обогранный кровью! – сказал он подъехавшему генералу Толю, опять усмехаясь давешнею, как сквозь зубную боль, кривой усмешкой.

– Государь, одно только средство положить сему конец: расстрелять картечью эту сволочь! – ответил Толь[61].

Государь молча нахмурился; чувствовал, что надо что-то сказать, но не знал что. Опять забыл роль, боялся сфальшивить.

– Не нужно крови, – подсказал Бенкендорф.

– Да, крови, – вспомнил государь. – Не нужно крови. Неужели вы хотите, чтобы в первый день царствования я пролил кровь моих подданных?

Замолчал и надул губы ребячески. Опять стало жалко себя, захотелось плакать от жалости: «Pauvre diable! Бедный малый! Бедный никс!»

Взяв Бенкендорфа под руку, Толь отъехал с ним в сторону и, указывая на государя глазами, спросил шёпотом:

– Что с ним?

– А что? – притворился Бенкендорф непонимающим и посмотрел на солдатское, простоватое лицо Толя с лукавой придворной усмешкой.

– Да неужели этих каналий миловать? – удивился Толь.

– Ну, об этом не нам с вами судить. Царская милость неизреченна. Государь полагает прибегнуть к огню только в самом крайнем случае. Наш план – окружить и стеснить их так, чтобы принудить к сдаче без кровопролития.

Толь ничего не ответил. Боевой генерал, сподвижник Суворова, любимец Кутузова, знаток наполеоновской тактики, он понимал, что Бенкендорф говорит с той невежественной лёгкостью, которая свойственна людям, никогда не нюхавшим пороха; что каре мятежников стоит твёрдо: можно его расстрелять, раздавить, уничтожить, но сдвинуть нельзя; и что если бунт перекинется в чернь, то в тесноте, в толпе многотысячной, произойдёт не бой, а свалка, и Бог знает чем это кончится. В войсках, верных Николаю, было колебание, а среди начальников – то, что всегда бывает перед боем проигранным: все теряли голову, суетились, метались без толку, давали и принимали советы нелепые: подождать до утра, в той надежде, что к ночи мятежники сами разойдутся; или послать за пожарными трубами и облить каре водою, «направляя струю против глаз, что, при бывшем маленьком морозце, привело бы солдат в невозможность действовать». Появилась наконец артиллерия: после долгих уговоров государь согласился послать за нею. С Гороховой выехали на больших рысях четыре орудия с пустыми передками, без зарядов, под командой полковника Нестеровского.

– Господин полковник, имеете ли вы картечи с собою? – спросил Толь.

– Никак нет, ваше превосходительство, не было приказано.

– Извольте же послать за ними немедленно, ибо в них скорая надобность будет, – приказал Толь.

Он знал, что делает: самовольным приказом спасал государя и, может быть, государство Российское.

От угла Невского к дому Лобанова, от дома Лобанова к забору Исаакия и вдоль по забору, к тому последнему углу, который заслонял от фронта мятежников, государь двигался медленно-медленно, шаг за шагом, в течение долгих часов, казавшихся вечностью.

Остановившись у этого угла, почувствовал, что и дальше, за угол, туда, откуда пули посвистывают, влечёт его сила неодолимая, затягивает, засасывает, как водоворот щепку. Смотрел на гладкие серые доски и не мог оторвать от них глаз: там, на страшном углу, эти страшные доски напоминали плаху, дыбу проклятую.

Он знал, что влечёт его туда, за угол. «Я покажу им; что не трушу», – вспоминал слова свои и слова Якубовича: «Хотят, чтобы ваше величество сами подъехать изволили». Почему других посылает, а сам не едет?

Пули из-за угла посвистывали, перелетая через головы: бунтовщики, должно быть, нарочно целили вверх.

Угол забора защищал государя от пуль, а всё-таки казалось, что они свистят над самой головой.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Что ты говоришь? – спросил он генерала Бенкендорфа, который, выехав за угол, что-то приказывал стоявшему впереди батальону преображенцев.

– Я говорю, ваше величество, чтобы дураки пулям не кланялись, – ответил тот и, не успев отвернуться, увидел, что государь наклонил голову.

На бледных щеках Николая проступили два розовых пятнышка. Пришпоренная лошадь вынесла всадника за угол. Он увидел мятежников, и они его увидели. Закричали: «Ура, Константин!» – и сделали залп. Но опять, должно быть, целили вверх – щадили. Пули свистели над ним, как хлысты, не бьющие, только грозящие, и в этом свисте был смех: «Штабс-капитан Романов, уж не трусишь ли?»

Опять пришпорил – лошадь взвилась на дыбы и вынесла бы всадника к самому фронту мятежников, если бы генерал-адъютант Васильчиков не схватил её под уздцы.

– Извольте отъехать, ваше величество!

– Пусти! – кричал государь в бешенстве. Но тот держал крепко и не отпустил бы, если бы ему это стоило жизни: был верный раб.

Вдруг пальцы государя, державшие повод, ослабели, разжались. Васильчиков повернул лошадь, и она поскакала назад.

Государь почти не сознавал, что делает, но испытывал то же, что в детстве, во время грозы, когда прятал под подушку голову.

Доскакав до Дворцовой площади, опомнился. Надо было объяснить себе и другим, почему отъехал так внезапно от страшного места. Подозвав дворцового коменданта Башуцкого[62], спросил, исполнено ли приказание усилить караул во дворце двумя сапёрными ротами.

– Исполнено, ваше величество.

– Экипажи готовы? – спросил адъютанта Адлерберга.

– Так точно, ваше величество.

Велел приготовить загородные экипажи, чтобы в крайнем случае перевезти тайком, под конвоем кавалергардов, обеих императриц и наследника в Царское.

– А что императрица, как? – продолжал государь.

– Очень беспокоиться изволят. Умоляют ваше величество ехать с ними, – ответил Адлерберг.

Государь понял: уехать с ними – бежать.

– А ты как думаешь? – взглянул на Адлерберга исподлобья, украдкой.

– Я думаю, что жизнь вашего императорского величества...

– Дурак! – крикнул государь и, повернув лошадь, опять поскакал на Сенатскую площадь.

На Адмиралтейской башне пробило три. Смеркалось. Шёл снег. Белые мухи кружились в темнеющем воздухе.

Вдоль Адмиралтейского бульвара стояла рота пешей артиллерии с четырьмя орудиями и зарядные ящики с картечью.

Генерал Сухозанет подскакал к государю.

– Ваше величество... – начал второпях докладывать.

Государь посмотрел на него так, что он готов был сквозь землю провалиться. Но «бедный мальчик» вспомнил, как сам давеча скомандовал: «Рота его величества остаётся при мне». Где уж спрашивать с других, когда сам себя не чувствовал «величеством».

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Ваше императорское в е л и ч е с т в о, – поправился Сухозанет, – сумерки близки, а темнота в этом положении опасна. Извольте повелеть очистить площадь пушками.

Государь ничего не ответил и вернулся на прежнее место, к забору Исаакия. Опять гладкие серые доски и тот страшный угол – плаха, дыба проклятая; опять свист пуль – свист хлыстов, не бьющих, только грозящих и смеющихся.

Прежде было две толпы: одна – на стороне царя, другая – на стороне мятежников, теперь обе слились в одну. Всё больше темнело, и в темноте толпа напирала, теснила государеву лошадь.

– Народ ломит дуром. Извольте отъехать, ваше величество! – сказал кто-то из свиты.

– Сделайте одолжение, ребята, ступайте все по домам. Государь вас просит, – убеждал Бенкендорф.

– По мне стрелять будут, могут и в вас попасть, – сказал государь.

– Вишь, какой мякенький стал! – слышались голоса в толпе.

– Теперь, как вам приспичило, то вы и лисите, а потом нашего же брата в бараний рог согнёте!

– Не пойдём, умрём с ними!

Лица вдруг сделались злыми, и стоявшие без шапок начали их надевать.

– Шапки долой! – закричал государь, и опять, как давеча, восторг бешенства разлился по жилам огнём; опять понял, что спасён, только бы рассердиться как следует.

Вдруг из-за забора начали швырять камнями, кирпичами, поленьями.

– Подальше от забора, ваше величество! – крикнул генерал-адъютант Васильчиков.

Черноволосый курносый мужик, в полушубке распахнутом, в красной рубаше, сидел верхом на заборе, там, на страшном углу, как палач на дыбе.

– Вот-ста наш Пугачёв! – смеялся он, глядя прямо в лицо государя. – Ваше величество, чего за забор прячешься? Поди-ка сюда!

И вся толпа закричала, загоготала:

– Пугачёв! Пугачёв! Гришка Отрепьев! Самозванец! Анафема!

«А что если камнем или поленом в висок убьют, как собаку?» – подумал государь с отвращением и вдруг вспомнил, как у того краснорожего, который давеча утром лез к нему целоваться, изо рта пахло сырой говядиной. Затоснило, засосало под ложечкой. Потемнело в глазах. Руки, ноги сделались как ватные. Боялся, что упадёт с лошади.

– Ура, Константин! – раздался крик; в темноте огнями вспыхнули выстрелы и грянул залп. Испуганная лошадь под государем шарахнулась.

– Ваше величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна картечь, – сказал Толь.

Государь хотел ему ответить и не мог – язык отнялся. И как, бывало, молния сверкала в глаза, когда дядька Ламсдорф во время грозы из-под подушки вытаскивал голову его, – сверкнула мысль:

«Всё пропало – конец!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Стоячая революция», – вспоминал Голицын слова Каховского.

Стоят и ничего не делают. В одних мундирах зябнут по-прежнему и, чтобы

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org согреться, переминаются с ноги на ногу, колотят рукой об руку. Ждут, сами не зная чего.

Более четырёх часов прождали так, не сделав ни одного движения, пока не собрали всех полков, чтобы их раздавить. Как будто зачарованы чарой неподвижности. Пока стоят – сила, крепость неколебимая, скала Петрова; но только что пробуют сдвинуться – слабеют, изнемогают, шагу не могут ступить. Как в страшном сне: ногами двигают, хотят бежать – и стоят.

И противник тоже стоит. Как будто этим только и борются: кто кого перестоит.

«Неужели прав Каховский? – думал Голицын. – Неужели вся наша революция – стоячая?»

Победа сама даётся в руки, а они не берут, как будто нарочно упускают случай за случаем, делают глупость за глупостью.

Когда Московский полк взбунтовался, ему надо было идти к другим полкам, чтобы присоединить их к себе; но он пошёл на площадь, думая, что все уже там, и, только прибежав туда, увидел, что никого ещё нет.

Когда флотский экипаж выступил, он мог взять с собой артиллерию: пушки против пушек решили бы участь восстания; мог взять – и не взял.

А лейб-гренадеры могли занять крепость, которая господствовала над дворцом и над городом; могли захватить дворец, где находился тогда Сенат, Совет, обе императрицы с наследником, – могли это сделать – и не сделали.

Но и после всех этих промахов силы мятежников были огромные: три тысячи войска и вдесятеро больше народа, готовых на всё по мановению начальника.

– Дайте нам только оружие, мы вам в полчаса весь город перевернём! – говорили в толпе.

– Стрелять будут. Нечего вам на смерть лезть, – отгоняли толпу солдаты.

– Пусть стреляют! Умрём с вами! – отвечала толпа.

Решимость действовать была у народа, у войска, у младших членов Общества, но не у старших: у них было одно желание – страдать, умереть, но не действовать.

– В поддавки играть умеете? – спросил Каховский Голицына.

– Какие поддавки? – удивился тот.

– А такая игра в шашки: кто больше поддал, тот и выиграл.

– Что это значит?

– Это значит, что в поддавки играем. Поддаём друг другу, мы им, а они нам. Глупим взапуски, кто кого переглупит.

– Нет, тут не глупость.

– А что же?

– Не знаю. Может быть, мы не только с ними боремся; может быть, и в нас самих... Нет, не знаю, не умею сказать...

– Не умеете? Эх, Голицын, и вы туда же!.. А впрочем, пожалуй, и так – не глупость, а что-то другое. Видели, давеча шпиона поймали, адъютанта Бибикова смяли, оборвали, избили до полусмерти; а Михайло Кюхельбекер заступился, вывел из толпы, проводил за цепь застрельщиков с любезностью да ещё шинель с себя снял и надел на него, потеплее закутал, – как бы не простудился, бедненький! Упражняемся в христианской добродетели: бьют по левой щеке, подставляем правую. Сами как порченые – и людей перепортили: вон стреляют вверх, щадят врага. Человеколюбивая революция, филантропический бунт! Душу спасаем. Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь – только напрасная и падёт на нашу голову! Расстреляют, как

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org дураков, – так нам и надо! Холопы, холопы вечные! Подлая страна, подлый народ! Никогда в России не будет революции!..

Вдруг замолчал, отвернулся, ухватился обеими руками за чугунные прутья решётки – разговор шёл у памятника Петру – и начал биться о них головой.

– Ну, полно, Каховский! Дело ещё не проиграно, успех возможен...

– Возможен? В том-то и подлость, что возможен, возможен успех! Но нельзя терять ни минуты – поздно будет! Ради Бога, помогите, Голицын, скажите им... что они делают! Что они делают!.. Да нет, и вы, и вы с ними! Вы все вместе, а я...

Губы его задрожали, лицо сморщилось, как у маленьких детей, готовых расплакаться. Он опустил на каменный выступ решётки, согнулся, упёрся локтями в колени и стиснул голову руками с глухим рыданием:

– Один! Один! Один!

И, глядя на него, Голицын понял, что если есть между ними человек, готовый погубить душу свою за общее дело, то это – он, Каховский; понял также, что помочь ему, утешить его нельзя никакими словами. Молча наклонился, обнял его и поцеловал.

– Господа, ступайте скорее! Оболенский выбран диктатором; сейчас военный совет, – объявил Пущин так спокойно, как будто они были не на площади, а за чайным столом у Рылеева.

Оболенскому навязали диктаторство почти насильно. Старший адъютант гвардейской пехоты, один из трёх членов Верховной Думы Тайного общества, он больше, чем кто-либо, имел право быть диктатором. Но если никто не хотел начальствовать, то он – меньше всех. Долго отказывался, но, видя, что решительный отказ может погубить всё дело, наконец согласился и решил собрать «военный совет».

Совет собирали и всё не могли собрать. Шли и по дороге останавливались, как будто о чём-то задумавшись, всё в той же чаре неподвижности.

– Почему мы стоим, Оболенский? Чего ждём? – спросил Голицын, подойдя к столу, в середине каре, под знаменем.

– А что же нам делать? – ответил Оболенский вяло и нехотя, как будто о другом думая.

– Как что? В атаку идти.

– Нет, воля ваша, Голицын, я в атаку не пойду. Всё дело испортим: вынудим благоприятные полки к действию против себя. Только о том ведь и просят, чтобы подождали до ночи. «Продержитесь, – говорят, – до ночи, и мы все поодиночке перейдём на вашу сторону». Да у нас и войск мало – силы слишком неравные.

– А народ? Весь народ с нами, дайте ему только оружие.

– Избави Бог! дай им оружие – сами будем не рады: свалка пойдёт, резня, грабёж; прольётся кровь неповинная.

– «Должно избегать кровопролития всячески и следовать самыми законными средствами», – напомнил кто-то слова Трубецкого, диктатора.

– Ну а если расстреляют до ночи? – сказал Голицын.

– Не расстреляют: у них сейчас и зарядов нет – возразил Оболенский всё так же вяло и нехотя.

– Заряды подвезти недолго.

– Всё равно не посмеют: духу не хватит.

– А если хватит?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Оболенский ничего не ответил, и Голицын понял что говорить бесполезно.

– Смотрите, смотрите, – закричал Михаил Бестужев, – батарею двинули!

Батальон лейб-гвардии Преображенского полка, стоявший впереди остальных полков, расступился на обе стороны: в пустое пространство выкатились три орудия и, снявшись с передков, обратились дулами прямо на мятежников.

Бестужев вскочил на стол, чтобы лучше видеть.

– А вот и заряды! Сейчас заряжать будут! – опять закричал он и соскочил со стола, размахивая саблей. – Вот когда надо в атаку идти и захватить орудия!

Орудия стояли менее чем в ста шагах, под прикрытием взвода кавалергардов, с командиром подполковником Анненковым[63], членом Тайного общества. Только добежать и захватить.

Все обернулись к Оболенскому, ожидая команды. Но он стоял всё так же молча, не двигаясь, потупив глаза, как будто ничего не видел и не слышал.

Голицын схватил его за руку.

– Оболенский, что же вы?

– А что?

– Да разве не видите? Пушки под носом, сейчас стрелять будут.

– Не будут. Я же вам говорю: не посмеют.

Злость взяла Голицына.

– Сумасшедший! Сумасшедший! Что вы делаете!

– Успокойтесь, Голицын. Я знаю, что делаю. Пусть начинают, а мы – потом. Так надо.

– Почему надо? Да говорите же! Что вы мямлите, чёрт бы вас побрал! – закричал Голицын в бешенстве.

– Послушайте, Голицын, – проговорил Оболенский, всё ещё не поднимая глаз. – Сейчас вместе умрём. Не сердитесь же, голубчик, что не умею сказать. Я ведь и сам не знаю, а только так надо, иначе нельзя, если мы с ним...

– С кем?

– Е г о забыли? – поднял глаза Оболенский с тихой улыбкой, а Голицын глаза опустил.

Внезапная боль, как острый нож, пронзила сердце его. Всё та же боль, тот же вопрос, но уже обращённый к Другому: «С ним или против Него?» Всю жизнь только и думал о том, чтобы в такую минуту, как эта, быть с ним; и вот наступила минута, а он и забыл о нём.

– Ничего, Голицын, всё будет ладно, всё будет ладно, – проговорил Оболенский. – Христос с вами! Христос с нами со всеми! Может быть, мы и не с ним, да уж Он-то, наверное, с нами! А насчёт атаки, – прибавил, помолчал, – небось, уж пойдём в штыки, не струсим, ещё посмотрим, чья возьмёт!.. Ну а теперь пора и на фронт: ведь какой ни есть, а всё же диктатор! – рассмеялся он весело и побежал, махая саблей. И все – за ним.

Добежав до фронта, увидели скачущего со стороны батареи генерала Сухозанета. Подскакав к цепи стрелков, он крикнул им что-то, указывая туда, где стоял государь, и они пропустили его.

– Ребята! – заговорил Сухозанет, подъехав к самому фронту московцев. – Пушки перед вами. Но государь милостив, жалеет вас, и если вы сейчас положите оружие...

– Сухозанет, где же конституция? – закричали ему из каре.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Я прислан с пощадою, а не для переговоров...

– Так убирайся к чёрту!

– И пришли кого-нибудь почище твоего!

– Коли его, ребята, бей!

– Не троньте подлеца, он пули не стоит!

– В последний раз говорю: положите ружья, а то палить будем!

– Пали! – закричали все с непристойным ругательством.

Сухозанет, дав шпоры лошади, повернул её, поднял в галоп – толпа отшатнулась – он выскочил. По нём сделали залп, но он уже мчался назад, к батарее, – только белые перья с шляпного султана посыпались.

И Голицын увидел с восторгом, что Оболенский тоже выстрелил.

Вдруг на левом фланге батареи появился всадник на белом коне – государь. Он подскочил к Сухозанету, наклонился к нему и сказал что-то на ухо.

Наступила тишина, и слышно было, как Сухозанет скомандовал:

– Батарея, орудья заряжай! С зарядом-жай!

– Ура, Константин! – закричали мятежники неистово.

В белесоватых сумерках затеплились рядом с медными жерловами пушек красные звёздочки фитилей курящихся. Голицын смотрел прямо на них – прямо в глаза смерти, – и старые слова звучали для него по-новому:

«С нами Бог! С нами Бог! Нет, Каховский не прав: будет революция в России, да ещё такая, какой мир не видывал!»

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

– Ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять, – сказал государь, посылая Сухозанета к бунтовщикам.

– Ну, что, как? – спросил его, когда тот вернулся.

– Ваше величество, сумасбродные кричат: конституция! Картечи бы им надо, – повторил Сухозанет слова Бенкендорфа.

«Картечи или конституции?» – опять подумал государь, как давеча.

Сухозанет ждал приказаний. Но государь молчал, как будто забыл о нём.

– Орудия заряжены? – спросил наконец, выговаривая слова медленно, с трудом.

– Так точно, ваше величество, но без боевых зарядов. Приказать изволите – картечами?

– Ну да. Ступай, – ответил государь всё так же трудно-медленно. – Стой, погоди, – вдруг остановил его. – Первый выстрел вверх.

– Слушаю-с, ваше величество.

Сухозанет отъехал к орудиям, и государь увидел, что их заряжают картечами.

Прежний страх исчез, и был новый, неведомый. Он уже за себя не боялся – понял, что ничего ему не сделают, пощадят до конца, – но боялся того, что сделает сам.

Увидев Бенкендорфа, подъехал к нему.

– Что же делать, что же делать, Бенкендорф? – зашептал ему на ухо.

– Как что? Стрелять немедленно, ваше величество! Сейчас в атаку пойдут,



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
пушки отнимут...

– Не могу! Не могу! Как же ты не понимаешь, что не могу!

– Чувствительность сердца делает честь вашему величеству, но теперь не до того! Надо решиться на что-нибудь: или пролить кровь некоторых, чтобы спасти всё; или государством пожертвовать...

Государь слушал, не понимая.

– Не могу! Не могу! Не могу! – продолжал шептать, как в беспамятстве. И что-то было в этом шёпоте такое новое, странное, что Бенкендорф испугался.

– Успокойтесь, ради Бога, успокойтесь, ваше величество. Извольте только скомандовать, – я всё беру на себя.

– Ну, ладно, ступай. Сейчас... – махнул рукой государь и отъехал в сторону.

Закрыв на мгновение глаза – и так ясно-отчётливо, как будто сейчас перед глазами, увидел маленькое голенькое Сашино тело. Это было давно, лет пять назад, в грозовую душную ночь, в Петергофском дворце, в голубой Сашиной спальне. Зубки прорезались у мальчика; он по ночам не спал, плакал, метался в жару, а в эту ночь спокойно уснул. Alexandrine подвела мужа к Сашиной кровати и тихонько раздвинула полог. Мальчик спал, разметавшись; скинул одеяльце, лежал голенький – всё розовое тельце в ямочках – и улыбался во сне. «Regarde, regarde le done! Oh, qu'il est joli, le petit ange!»[64] – шептала Alexandrine с улыбкой. И штабс-капитан Романов тоже улыбался.

«Что это я? Брежу? С ума схожу?» – опомнился. Открыл глаза и увидел генерала Сухозанета, который уже в третий раз докладывал:

– Орудья заряжены, ваше величество.

Государь молча кивнул головой, и тот опять, не получив приказаний, отъехал к батарее, в недоумении.

«Господи, спаси! Господи, помоги!» – попробовал государь молиться, но не мог.

– Пальба орудьями по порядку! Правый фланг, начинай! Первое! – вдруг закричал с таким чувством, с каким боязливый убийца заносит нож, не для того, чтоб ударить, а чтобы только попробовать.

– Начинай! Первое! Первое! Первое! – прокатилась команда от начальника к начальнику.

– Первое! – повторил младший – ротный командир Бакунин.

– Отставь! – крикнул государь. Не смог ударить – нож выпал из рук.

И через несколько секунд опять:

– Начинай! Первое!

И опять:

– Отставь!

И в третий раз:

– Начинай! Первое!

как будто исполинский маятник качался от безумия к безумию, от ужаса к ужасу.

Вдруг вспомнил, что первый выстрел – вверх, через головы. Попробовать в последний раз – не испугаются ли, не разбегутся ли?

– Первое! Первое! – опять прокатилась команда.

– Первое! Пли! – крикнул Бакунин.

Но фейерверкер замялся – не наложил пальника на трубку.

– Что ты, сукин сын, команды не слушаешь? – подскочил к нему Бакунин.

– Ваше благородье, свои, – тихо ответил тот и взглянул на государя. Глаза их встретились, и как будто расстояние между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на человека.

«Да, свои! Сашино, Сашино тело!»

– Отставь! – хотел крикнуть Николай, но чья-то страшная рука сдавила ему горло.

Бакунин выхватил из рук фейерверкера пальник и сам нанёс его на трубку с порохом.

Загрохотало, загудело оглушающим гулом и грохотом. Но картечь пронеслась над толпой, через головы. Нож не вонзился в тело – мимо скользнул.

Каре не шелохнулось: опираясь на скалу Петрову, стояло, недвижимое, непоколебимое, как эта скала. Только в ответ на выстрел затрещал беглый ружейный огонь и раздался крик торжествующий:

– Ура! Ура! Ура, Константин!

И как вода превращается в пар от прикосновения железа, раскалённого добела, ужас государя превратился в бешенство.

– Второе! Пли! – закричал он – и вторая пушка грянула.

Облако дыма застилало толпу, но по раздирающим воплям, крикам, визгам и ещё каким-то страшным звукам, похожим на мокрое шлёпанье, брызганье, он понял, что картечь ударила прямо в толпу. Нож вонзился в тело.

А когда облако рассеялось, увидел, что каре всё ещё стоит; только маленькая кучка отделилась от него и побежала в атаку стремительно.

Но грянула третья, четвёртая, пятая – и сквозь клубящийся дым, прорезаемый огнями выстрелов, видно было, как сыпалась градом картечь в сплошную стену человеческих тел.

Мешала скала Петрова, но и в неё палили: казалось, что расстреливают Медного Всадника.

А когда уже вся площадь опустела, выкатили пушки вперёд и, преследуя бегущих, продолжали палить вдоль по Галерной, Исаакиевской, по Английской набережной, по Неве и даже по Васильевскому острову.

– Заряжай-жай! Пли! Жай-пли! – кричал Сухозанет уже осипшим голосом.

– Жай-пли! Жай-пли! – вторил ему государь.

Удар за ударом, выстрел за выстрелом, – нож вонзался, вонзался, вонзался, а ему всё было мало, – как будто утолял жажду неутолимую, – и огненный напиток разливался по жилам так упоительно, как ещё никогда.

Генерал Комаровский взглянул на государя и подумал, так же как давеча, внезапно-нечаянно:

«Не человек, а дьявол!»

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Голицын стоял у чугунной решётки памятника, обернувшись лицом к батарее, когда раздался первый выстрел, и картечь, пронёсшись с визгом над головами, ударилась вверх, в стены, окна и крышу Сената. Разбитые стёкла зазвенели, посыпались. Два человека, взобравшиеся в чаши весов, которые держала в руке богиня Правосудия на фронте Сената, упали к её подножию, и несколько убитых, свалившись с крыши, стукнулись о мостовую глухо, как мучные кули.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Но толпа на площади не дрогнула.

– Ура, Константин! – закричала с торжествующим вызовом.

– За мной, ребята! Стройся в колонну к атаке! – командовал Оболенский, размахивая саблей.

«Неужели он прав? – подумал Голицын. – Не посмеют стрелять, духу не хватит? Победили, перестояли? Сейчас пойдём в штыки и овладеем пушками!»

Но вторая грянула, и первый ряд москвичей лёг как подкошенный. Задние ряды ещё держались. А толпа уже разбежалась, кишела, как муравейник, ногой человека раздавленный. Часть отхлынула в Галерную; другая – к набережной, и здесь, кидаясь через ограду Невы, люди падали в снег; третья – к Конногвардейскому манежу. Но пальба началась и оттуда, из батареи великого князя Михаила Павловича.

Бегущие махали платками и шапками, но их продолжали расстреливать с обеих сторон. Люди металась, давили друг друга. Тела убитых ложились рядами, громоздились куча на кучу. И не зная, куда бежать, толпа завертелась, как в водовороте, в свалке неистовой. А картечь, врезаясь в неё с железным визгом и скрежетом, разрывала, четвертовала тела, так что взлетали окровавленные клочья мяса, оторванные руки, ноги, головы. Всё смешалось в дико ревущем, вопящем и воющем хаосе.

Голицын стоял не двигаясь. Когда москвичи дрогнули и побежали, он увидел, как вдали заколебалось уносимое знамя полка – поруганное знамя российской вольности.

– Стой, ребята! – кричал Оболенский, но его уже не слушали.

– Куда бежишь? – с матерной бранью схватил Михаил Бестужев одного из бегущих за шиворот.

– Ваше благородье, сила солому ломит, – ответил тот, вырвался и побежал дальше.

Пули свистели мимо ушей Голицына; сорвали с него шляпу, пробили шинель. Он закрыл глаза и ждал смерти.

– Ну, кажется, всё кончено, – слышался ему спокойный голос Пущина.

«Нет, не всё, – подумал Голицын, – что-то ещё надо сделать. Но что?»

Между двумя выстрелами наступила тишина мгновенная, и он услышал, как над самым ухом его слабо щёлкнуло. Открыл глаза и увидел Каховского. Взобравшись на каменный выступ решётки, он ухватился одной рукой за перила, а другой держал пистолет и взводил курок.

Голицын оглянулся, чтобы увидеть, в кого он целит. Там, у левого фланга батареи, за клубами порохового дыма, сидел на белой лошади всадник. Голицын узнал Николая.

Каховский выстрелил и промахнулся. Соскочил с решётки, вынул другой пистолет из-за пазухи и побежал.

Голицын – за ним. На бегу тоже вынул из бокового кармана шинели пистолет и взвёл курок. Теперь знал, что надо делать: убить Зверя.

Но десяти шагов не сделали, как валившая навстречу толпа окружила их, сдавила, стиснула и потащила назад.

Голицын споткнулся, упал, и кто-то навалился ему на спину; кто-то ударил сапогом в висок так больно, что он лишился чувств.

Когда очнулся, толпа рассеялась, Каховский исчез. Голицын долго шарил рукой по земле, искал пистолет: должно быть, потерял его давеча в свалке. Наконец бросил искать, встал и пошёл, сам не зная куда, шатаясь как пьяный.

Пальба затихла. Выдвигали орудия, чтобы стрелять вдоль по Галерной и набережной.

Он пробирался по опустевшей площади, между телами убитых. Сам как мёртвый между мёртвыми. Всё было тихо – ни движения, ни стоны – только по земле струилась кровь неостывшая, растопляя снег, и потом сама замёрзла.

Он вспомнил, что москвичи побежали в Галерную, и пошёл туда, к товарищам, чтобы вместе с ними умереть. По дороге на что-то наткнулся ногой в темноте; наклонился, нащупал рукой пистолет; поднял, осмотрел – он был заряжен – и для чего-то сунул его в карман шинели.

Когда он вошёл в Галерную, опять началась пальба – здесь, в тесноте, между домов, ещё убийственней. Пронсясь по узкой, длинной улице, картечь догоняла и косила людей. Они забегали в дома, прятались за каждым углом и выступом, стучались в ворота, но всё было наглухо заперто и не отпиралось ни на какие вопли. А пули, ударяясь об стены, отскакивали, прыгали и не щадили ни одного угла.

– Истолкут нас всех в этой чёртовой ступе! – ворчал седой усач гренадер и по привычке вынул из-за голенища тавлинку, но тотчас спрятал опять, – должно быть, решил, что нюхать табак перед смертью грешно.

– Кровопийцы, злодеи, анафемы! Будьте вы прокляты! – кричал в исступлении, грозя кулаком, тот самый мастеровой с испытанным лицом, в тиковом[65] халате, который проповедовал давеча о вольности, – и вдруг упал, пронзённый пулей.

Чиновник, старенький, лысенький, без шубы, во фраке, с Анной на шее, прижался к стене, распластался на ней, как будто расплющился, и визжал тоненьким голосом, однообразно-пронзительным, – нельзя было понять, от боли или от страха.

Толстая барыня в буклях, в чёрной шляпе с розаном присела на корточки и крестилась, и плакала, точно кудахтала.

Мальчишка из лавочки, в засаленном фартуке, с пустой корзинкой на голове, – может быть, тот самый, что следил за Голицыным давеча утром, когда он ждал «минуты сладкого свиданья», – лежал навзничь, убитый, в луже крови.

Рядом с Голицыным кому-то размозжило голову. «Звук такой, как мокрым полотенцем бросить об стену», – подумал он с удивлением бесчувственным.

И опять закрыл глаза. «Да ну же, ну, скорее!» – звал смерть, но смерть не приходила. Ему казалось, что все его товарищи убиты и только он один жив. Тоска на него напала пуще смерти. «Убить себя», – подумал, вынул пистолет, взвёл курок и приложил к виску. Но вспомнил Мариньку и отнял руку.

В это время Михайло Бестужев, собрав на Неве остаток солдат, строил их в колонну, чтобы идти по льду в атаку на крепость. Заняв её и обратив пушки на Зимний дворец, думал начать восстание сызнова.

Три взвода уже построились, когда завизжало ядро и ударило в лёд. Батарея с Исаакиевского моста палила вдоль по Неве. Ядро за ядром валило ряды. Но солдаты продолжали строиться.

Вдруг раздался крик:

– Тонем!

Разбиваемый ядрами лёд провалился. В огромной полынье тонущие люди барахтались. Остальные кинулись к берегу.

– Сюда, ребята! – указал Бестужев на ворота Академии художеств.

Но прежде чем успели вбежать, ворота захлопнулись. Вынули бревно из днища сломанной барки и начали сбивать ворота с петель. Они уже трещали под ударами, когда солдаты увидели эскадрон кавалергардов, мчавшийся прямо на них.

– Спасайся, ребята, кто может! – крикнул Бестужев, и все разбежались. Остался только знаменщик. Бестужев обнял его, поцеловал, велел отдать знамя скакавшему впереди эскадрона поручику и сам побежал.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Оглянувшись на бегу, увидел, что знаменщик подошёл к офицеру, отдал знамя и упал, зарубленный ударом сабли сплеча, а офицер поскакал с отбитым знаменем.

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

– Ваше величество, всё кончено, – доложил Бенкендорф.

Государь молчал, потупившись. «Что это было? что это было?» – вспоминал, как будто очнувшись от бреда, и чувствовал, что произошло ужасное, непоправимое.

– Всё кончено, бунт усмирён, ваше величество, – повторял Бенкендорф, и что-то было в его голосе такое новое, что государь удивился, но ещё не понял, не поверил.

Робко поднял глаза и тотчас опять опустил; потом смелее, – и вдруг понял: ничего ужасного, всё как следует: усмирил бунт и казнил бунтовщиков. «Если буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин!» И показал. Только теперь воцарился воистину: не самозванец, а самодержец.

На бледных щеках его проступили два розовых пятнышка; искусанные до крови губы заалели, как будто напились крови. И всё лицо ожило.

– Да, Бенкендорф, кончено – я император, но какую цену, Боже мой! – вздохнул и поднял глаза к небу: – Да будет воля Господня!

Опять вошёл в роль и знал, что уже не собьётся; опять пристала личина к лицу – и уже не спадёт.

– Ура! Ура! Ура, Николай! – начавшись от Сенатской площади, докатилось, тысячеголосое, до внутренних покоев Зимнего дворца, – и там тоже поняли, что бунт усмирён.

В маленьком круглом кабинете-фонарике, выходившем окнами на Дворцовую площадь, молодая императрица Александра Фёдоровна сидела на подоконнике, молча, бледная, помертвевшая, и смотрела в окно, откуда видна была часть площади, покрытая войсками.

Императрица Мария Фёдоровна, по обыкновению, болтала и суетилась без толку. Совала всем в руки маленький портретик покойного императора Александра Павловича, умоляя отнести его к мятежникам:

– Покажите, покажите им этого ангела – может быть, они опомнятся!

Тут же были Николай Михайлович Карамзин и князь Александр Николаевич Голицын.

Карамзин выходил на площадь.

«Какие лица я видел! Какие слова слышал! – вспоминал впоследствии. – Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Умрём, однако ж, за Святую Русь! Камней пять-шесть упало к моим ногам... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж».

– А знаете, Николай Михайлович, ведь то, что здесь происходит, есть критика вооружённой рукою на вашу «Историю Государства Российского», – шепнул ему на ухо один из «безумных либералистов», ещё там, на площади, и он потом часто вспоминал эти слова непонятные.

Когда загремели пушки, Мария Фёдоровна всплеснула руками:

– Боже мой, вот до чего мы дожили! Мой сын всходит на престол с пушками! Льётся кровь, русская кровь!

– Испорченная кровь, ваше величество, – утешал её Голицын. Но она повторяла, неутешная:

– Что скажет Европа! Что скажет Европа! Что скажет Европа!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
А молодая императрица как упала на колени, закрыв лицо руками, при первых пушечных выстрелах, так и не вставала, замерла, не двигаясь; только голова дрожала дрожью непрерывной. «Как лилея под бурей», – думал Карамзин.

И потом, когда всё уже кончилось, не прекращалось это дрожание, качание головы, как цветка на стебле надломленном. Сама его не чувствовала, но все заметили. Думали, пройдёт. Но не прошло – осталось на всю жизнь.

В соседней комнате, за круглым столиком, сидел и кушал котлетку, под наблюдением англичанки Мими, маленький мальчик, круглолицый, голубоглазый, в красной, шитой золотом курточке, вроде гусарского ментика, государь наследник Александр Николаевич.

Он первый услышал «ура» на площади, подбежал к окну и закричал, захлопал в ладоши:

– Папенька! Папенька!

В парадных залах дворца, сиявших огненными гроздьями люстр, золотой жужжащий улей смолк, когда вошёл государь.

«Не узнать – совсем другой человек: такая перемена на лице, в поступи, в голосе», – тотчас заметили все.

«Tout de suite il a pris de l'aplomb[66], – подумал князь Александр Николаевич Голицын. – Пошёл не тем, чем вернулся; пошёл самозванцем, вернулся самодержцем».

– Благословен грядый во имя Господне, – встретил государя, входившего в церковь, митрополит Серафим торжественным возгласом.

– Благочестивейшему, самодержавнейшему государю императору всея России, Николаю Павловичу многая лета! Да подаст ему Господь благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и на враги победу и одоление! – загудел в конце молебствия громоподобный голос диакона.

«Да, Божьей милостью император самодержец Всероссийский! Что дал мне Бог, ни один человек у меня не отнимет», – подумал государь и поверил окончательно, что всё как следует.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь, только напрасная», – вспоминались Голицыну слова Каховского. «Напрасная! Напрасная! Напрасная!» – стучало в больной голове его, как бред, однозвучно-томительно.

Лёжа на софе, глядел он сквозь прищуренные, лихорадочно горящие веки на светлый круг от лампы под зелёным абажуром в полутёмной комнате, на библиотечные полки с книгами, выцветшие нежные постели бабушек и дедушек – всё такое уютное, мирное, тихое, что сегодняшней день на площади казался страшным сном.

Поздно ночью, когда всё уже кончилось, унтер-офицер Московского полка, спасаясь от погони конных разъездов и пробираясь по глухим, занесённым снежными сугробами задворкам, у Крюкова канала наткнулся в темноте на Голицына, уснувшего между поленицами дров, окоченевшего и полузамёрзшего; подумал, что мёртвый, хотел пройти мимо, но услышал слабый стон, наклонился, заглянул в лицо, при тусклом свете фонаря узнал одного из бывших на площади начальников и доложил о нём Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру, который находился поблизости с кучкой бежавших солдат.

Голицына привели в чувство, усадили на извозчика, и Кюхельбекер отвёз его к Одоевскому, с которым жил вместе у Большого театра. Хозяина не было дома – ещё не вернулся с площади.

Узнав, что все товарищи целы, Голицын сразу ожил и, вспомнив обещание, данное Мариньке, – увидеться с нею в последний раз, может быть, перед вечной разлукой, – хотел тотчас ехать домой. Но Кюхельбекер не пустил его, уложил, укутал, обвязал голову полотенцем с уксусом, напоил чаем, пуншем и ещё каким-то декотом собственного изобретения.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Голицыну спать не хотелось; он только прилёг отдохнуть, но закрыл глаза и мгновенно глубоко заснул, как будто провалился в яму.

Когда проснулся, Кюхельбекера уже не было в комнате. Позвал – никто не откликнулся. Взглянул на часы и глазам не поверил: семь утра. Пять часов проспал, а казалось, пять минут.

Встал, обошёл комнаты – никого. Только в людской храпел денщик. Голицын разбудил его и узнал, что барин не возвращался, а Кюхельбекер со старым камердинером князя уехал искать его по городу.

Голицын был очень слаб; голова кружилась, и висок болел мучительно, должно быть, от удара сапогом во время свалки на площади. Но он всё-таки оделся – только теперь заметил, что шляпа на нём чужая, а очки каким-то чудом уцелели, – вышел на улицу, сел на извозчика и велел ехать на Сенатскую площадь. Решил – сначала туда, а домой – уж потом.

Ещё не рассвело, только небо начало сереть, и снег на крышах белел.

Чем ближе к Сенатской площади, тем больше напоминали улицы военный лагерь; всюду войска, патрули, кордонные цепи, коновязи, кучи соломы и сена, пики и ружья в козлах, караульные окрики, треск горящих костров; блестящие жерла пушек то показывались, то скрывались в дыму и мерцании пламени.

На Английской набережной Голицын слез с саней – проезда дальше не было – и пошёл пешком, пробираясь сквозь толпу. Но, сделав несколько шагов, должен был остановиться: на площадь не пропускали; её окружали войска шпалерами, и между ними стояли орудия, обращённые жерлами во все главные улицы.

По набережной ехал воз, крытый рогожами. Завидев его, толпа расступилась, стала снимать шапки и креститься.

– Что это? – спросил Голицын.

– Покойники, – ответил ему кто-то боязливым шёпотом. – Царство им небесное! Тоже ведь люди крещёные, а пихают под лёд, как собак.

Зашептались и другие, рядом с Голицыным, и, прислушиваясь к этим шёпотам, он узнал, что полиция всю ночь подбирала тела и свозила их на реку; там было сделано множество прорубей, и туда, под лёд, спускали их всех, без разбора, не только мёртвых, но и живых, раненых: разбирать было некогда – к утру велено очистить площадь. Второпях, кое-как пропихивали тела в узкие проруби, так что иные застревали и примерзали ко льду.

Вороньё, чуя добычу, носилось над Невой чёрными стаями, в белесоватых сумерках утра, со зловещим карканьем. И карканье это сливалось с каким-то другим, ещё более зловещим звуком, подобным железному скрежету.

– А это что? Слышите? – опять спросил Голицын.

– А это – мытьё да катанье, – ответили ему всё тем же боязливым шёпотом.

– Какое мытьё да катанье?

– Ступай, сам погляди.

Голицын ещё немного протискался, приподнялся на цыпочки и заглянул туда, откуда доносился непонятный звук. Там, на площади, люди железными скребками скребли мостовую, соскабливали красный, смешанный с кровью снег, посыпали чистым, белым и катками укатывали; а на ступенях сенатского крыльца отмывали замёрзшие лужи крови кипятком из дымящихся шаек и тёрли мочалками, швабрами. Вставляли стёкла в разбитые оконницы; штукатурили, закрашивали, замазывали жёлтые стены и белые колонны Сената, забрызганные кровью, испещрённые пулями. И вверху, на крыше, чинили весы в руках богини Правосудия.

А пасмурное утро, туманное, тихое, так же как вчера, задумалось, на что повернуть – на мороз или на оттепель; так же адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату; так же мостки через Неву уходили в белую стену, и казалось, там, за Невой, нет ничего – только белая мгла, пустота, конец земли и неба, край света. И так же Медный Всадник на медном коне

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
скачал в эту белую тьму кромешную.

И всё скребли, скребли скребки, скрежеща железным скрежетом.

«Не отскребут, – подумал Голицын. – Кровь из земли выступит, и возопиёт к Богу, и победит Зверья!»

Книга вторая ПОСЛЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Революция – на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в неё, пока Божьей милостью я – император... Что ты на меня так смотришь?

Бенкендорф тарашил глаза, думая только об одном, как бы не заснуть. Но трудно было застигнуть его врасплох, даже сонного.

– Любуюсь вами, государь. Недаром уподобляют ваше величество Аполлону Бельведерскому. Сей победил Пифона[67], змия лютого; вы же – революцию всесветную.

Разговор шёл в приёмной, между временным кабинетом-спальней государя и флигель-адъютантскою комнатою, в Зимнем дворце в ночь с 14 декабря на 15-е.

Восемь часов провёл государь на площади; устал, оголодал, озяб. Вернувшись во дворец и поужинав наскоро, после молебна, – тотчас принялся за допрос арестованных. В мундире Преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застёгнутый на все крючки и пуговицы, даже не прилёг ни разу, а только иногда задрёмывал, сидя на кожаном диване с неудобной, выпуклой спинкой, за столом, заваленным бумагами.

Камер-лакей, неслышно крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу, на яшмовом столике, канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило четыре. Бенкендорф поглядел на них с тоской: тоже вторую ночь не спал. Но продолжал говорить, чтоб не заснуть.

– Иногда прекрасный день начинается бурей; да будет так и в царствование вашего величества. Сам Бог защитил нас от такого бедствия, которое если бы не разрушило, то, конечно, истерзало бы Россию. Это стоит французского нашествия: в обоих случаях вижу блеск как бы луча неземного, – повторил он слышанные давеча слова Карамзина.

– Да, счастливо отделались, – сказал государь, чувствуя, что всё ещё сердце у него замирает, как у человека, только что перебежавшего по утлой дощечке над пропастью, и взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успокоит ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сетью страха, как паук муху паутиною.

– Всё на волоске висело, ваше величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех. Но, видно, Бог милосердный погрузил действовавших в какую-то странную нерешительность. Сколько часов простояли на площади в совершенном бездействии, пока мы всех нужных мер не приняли! А ведь опоздай сапёры только на одну минуту, когда лейб-гренадеры уже во двор ворвались, – и в руках злодеев был бы дворец со всей августейшей фамилией. Ужасно подучать, что бы наделала сия адская шайка из вергов, отрёкшихся от Бога, царя и отечества! Ужасно! Волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах!

– Перерезали бы всех?

– Всех, ваше величество.

– А правда, что меня ещё там, на площади, убить хотели?

– Да, ещё там. Может быть, та самая пуля, коей пронзён Милорадович, предназначалась вашему величеству.

– А что, он ещё жив?



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Кончается, едва ли до утра выживет. Антонов огонь в кишках.

Помолчали.

– Ну а как теперь, спокойно? – спросил государь и подумал, что слишком часто об этом спрашивает.

– Слава Богу, пока что спокойно.

– Много арестовано?

– Сотен семь человек нижних чинов, офицеров с десятков да несколько каналов фрачников. Но это не главные начальники, а только застрельщики.

– И Трубецкой – не главный?

– Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше...

– Как выше? Что ты разумеешь?

– Ещё не знаю наверное, но опасаясь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного совета в этом деле замешаны.

– Кто же именно?

– Имён я бы не хотел называть.

– Имена, имена – я требую!

– Мордвинов, Сперанский...

– Быть не может! – прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса: через одну пропасть перебежал, а впереди зияет новая; думал, всё уже кончено, – и вот, только начинается.

– Да, ваше величество, всё может начаться сызнава, – угадал Бенкендорф, как будто подслушал.

– Сперанский, Мордвинов! Не может быть, – повторил государь; всё ещё пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться. – Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься.

– Дай-то Бог, чтобы ошибся, государь!

Великий сыщик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на аршин под землёю, как тогда, накануне Четырнадцатого, и по тонким губам его скользила улыбка, едва уловимая. Вдруг стало весело – даже сон прошёл. Понял, что дело сделано: из паутины муха не выбьется. Аракчеев был – Бенкендорф будет.

Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги, мелко исписанной.

– Извольте прочесть. Прелюбопытно.

– Что это?

– Проект конституции Трубецкого, ихнего диктатора.

– Арестован?

– Нет ещё. У шурина своего, австрийского посланника, Лебцельтерна спрятался. Должно быть, сейчас привезут... А кстати, насчёт конституции, – усмехнулся Бенкендорф, как будто вдруг вспомнил что-то весёлое, а может быть, и сжалился – захотел государя побаловать. – Когда пьяная сволочь сия кричала на площади: «Ура, конституция!» – кто-то спросил их: «Да знаете ли вы, дурачье, что такое конституция?» – «Ну, как же не знать, – говорят, – муж – Константин, а жена – Конституция».

– Недурно, – усмехнулся Николай своею всегдашнею, как сквозь зубную боль, кривой усмешкой, а губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика.

Бенкендорф знал, чего государю нужно: знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать; неутолимо жаждет презрения. «Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Анекдот о конституции и был концом перста омоченного – прохлаждающим, но не утоляющим.

За дверью послышался шум. Из соседней залы Казачьего пикета во флигель-адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генерал-адъютанты Левашов и Толь.

Бенкендорф подошёл к дверям и приоткрыл их.

– Ишь их сколько собралось, Пугачёвых! – поморщился с брезгливостью.

Дворцовый комендант Башуцкий что-то шепнул ему на ухо.

– Кто? – спросил государь.

– Ещё одна каналья фрачник, сочинитель Рылеев. Допросить угодно вашему величеству?

– Нет, потом. Сначала – ты. Ну, ступай. О Трубецком доложи.

Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко: голова скользила по гладкой спинке, а прилечь боялся, чтоб не заснуть. Подобрал ноги, сел в угол, съёжился, хотел было расстегнуть на узко стянутой талии две нижние пуговицы, но подумал, что неприлично: имел отвращение к расстёгнутым пуговицам. Склонил голову, опёрся щекою о жёсткую ручку и, хотя тоже было неудобно – резьба резала щёку, – опять начал дремать.

Вошёл флигель-адъютант Адлерберг, высоко держа на трёх пальцах, с лакейской ловкостью, поднос с кофейником. Государь всю ночь пил чёрный кофе, чтобы разогнать сон.

Вздрогнул, очнулся.

– Прилечь бы изволили, ваше величество.

– Нет, Фёдорыч, не до сна.

– Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно.

– Ну, что ж, заболею – свалюсь. А пока ещё ноги таскают, держаться надо.

Налил кофею, отпил и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нём без зубовного скрежета, но писал с обычной родственной нежностью.

«Дорогой, дорогой Константин, верьте мне, что следовать вашей воле и примеру нашего ангела, покойного императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты идут хорошо, и я надеюсь, в скором времени, сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую трудную задачу вы задали вашему несчастному брату и какого сожаления достоин ваш бедный малый, *votre pauvre diable, votre каторжный du palais d'niver*[68]».

Генерал Толь вошёл с бумагами.

– Садись, Карл Фёдорович, читай.

Толь прочёл показание Оболенского, арестованного вместе с Рылеевым.

– Как ты думаешь, можно простить нижних чинов и сих несчастных молодых людей? – спросил государь.

Уже не в первый раз об этом спрашивал. Толь ничего не ответил.

– Ах, бедные, несчастные! – тяжело вздохнул Николай. – Может быть, прекрасные люди. Ну, за что их казнить? Мы все за них дадим ответ Богу. Их

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
зablуждение – zablуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палач я, злодей, что ли? Нет, не могу, не могу, Толь. Разве ты не видишь, сердце моё раздирается...

«Расплачется!» – подумал Толь с отвращением, не зная, куда девать глаза. Слушал с терпеливой скукой на грубоватом, жёстком и плоском, но честном, открытом лице старого прусского унтера. А государь долго ещё говорил, болтал той болтовнёй чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом.

– Ну, так как же, мой друг, как ты думаешь, можно простить, а?

– Ваше величество, – не выдержал наконец Толь, даже крикнул и так повернулся, что стул под ним затрещал, – простить их вы всегда успеете, но доколе не открыты главные возбудители и подстрекатели сего злодеяния, – не только офицеров, но и нижних чинов предать должно всей строгости законов без замедления... Какой номер повелеть изволите Оболенскому?

Государь помолчал, надулся, нахмурился: понял, что собеседник не желает быть зеркалом. Ещё тяжелее вздохнул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости, с рядами клеток, казематов, – каждая клетка под номером, – отметил одну из них красным крестиком, поставил номер в записке крепостному коменданту, генералу Сукину, и отдал молча Толю. Толь, так же молча, взял, поклонился и вышел.

А государь опять откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза, задремал; опять голова начала соскальзывать с гладкой спинки на жёсткую ручку.

Вошёл генерал Башуцкий, дворцовый комендант. В одной руке у него была шпага, а в другой – серебряное блюдо с чем-то маленьким, кругленьким.

Николай вздрогнул, очнулся и посмотрел на него с удивлением:

– Что ты?

– Граф Милорадович, ваше величество... – начал он и не кончил, всхлипнул.

– Умер?

– Так точно.

– Царствие небесное! – перекрестился государь и подумал, что надо бы что-то почувствовать.

– Последние слова его были: «Умираю, как жил, с чистой совестью; счастлив, что жизнь за государя жертвую». Крестьян на волю отпустить велел. А вашему величеству вот это – шпагу и пулю, коей пронзён...

Башуцкий положил на стол шпагу и поставил блюдо с пулей.

– Не могу... простите, ваше величество, – опять всхлипнул, поцеловал государя в плечо, отвернулся, закрыл лицо платком и выбежал.

Николай взял пулю осторожно, двумя пальцами, и рассматривал долго, с любопытством. Новая, маленькая, пистолетная, не солдатская, – должно быть, стрелял один из тех каналов фрачников. «Предназначалась вашему величеству», – вспомнил слова Бенкендорфа.

Отложил пулю и взял тот листок из бумаг Трубецкого, который давеча Бенкендорф передал ему. Прочёл:

«Опыт всех народов и всех времён доказал, что власть самодержавная равно губительна для правителей и для общества; что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека: невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности – на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае – вне законов, вне человечества; что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идёт о других, и не признавать их бытие, когда дело идёт о них самих. Одно из двух: или они

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
справедливы – тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным? Или  
несправедливы – тогда зачем хотят подчинять им других? Все народы  
европейские достигают законов свобод. Более всех их народ русский  
заслуживает и то и другое. Русский народ, свободный и независимый, не есть  
и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.  
Источник верховной власти есть народ...»

«Quelle infamie![69] – подумал государь. – Да, гнусно, но не глупо».

Опять хотел презирать и не мог: чувствовал, что это уже не «Конституция – жена Константина». Расстрелять бунтовщиков на площади, но как расстрелять это? Страшен этот листок – страшнее пули, неотразимее.

– Трубецкой, ваше величество, – доложил Бенкендорф.

Государь подумал и сказал:

– Пусть войдёт.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В сражении под Кульмом две роты семёновцев, не имевшие в сумках ни одного патрона, посланы были с холодным оружием прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Ротный командир, князь Сергей Петрович Трубецкой, пошёл впереди солдат, размахивая саблей над головой, так спокойно и весело, что все за ним кинулись, ударили в штыки и выбили французов из лесу.

А под Люценом, когда принц Евгений из сорока орудий громил гвардейские полки, Трубецкой пошутил над поручиком фон Боком, известным в полку своею трусостью: подошёл сзади, бросил в него ком земли, и тот свалился, как сноп.

Так сам Трубецкой свалился четырнадцатого.

Только что проснулся утром – вспомнил вчерашние слова Пушина: «А всё-таки будете на площади?» – и опять, как вчера, ослабел, изнемог, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

Боялся, что за ним придут; вышел из дому, взял извозчика и поехал в канцелярию Главного штаба, чтобы там спросить, когда и где будут присягать: хотел присягнуть новому императору тотчас, надеясь, что, если что будет, успешность присяги ему во что-нибудь вменится. Узнал, что присяга – завтра утром, в одиннадцать. Из штаба пошёл пешком к сестре, на Большую Миллионную. Оттуда – к приятелю, флигель-адъютанту полковнику Бибикову[70], на угол Фонтанки и Невского; не застал его дома, посидел с его женою и братом, позавтракал и, увидев, что уже первый час, ободрился, подумал, что полки присягнули и всё прошло тихо. Отправился домой переодеться, чтобы ехать во дворец на молебен.

Выезжая с Невского на Адмиралтейскую площадь, увидел толпу, услышал крики: «Ура, Константин!» – остановился, спросил, что такое, узнал, что бунт, и едва не лишился чувств тут же, на улице.

Что было потом, едва помнил. Для чего-то опять зашёл во двор штаба. Стоял в раздумье, не зная, куда идти; наконец поднялся по лестнице в канцелярию. Здесь бегали какие-то люди с испуганными лицами.

Кто-то сказал:

– Господа, вы в мундирах; ступайте на площадь, там государь император.

Все вышли, и он со всеми. Но потихоньку отстал и прошёл двором штаба на Миллионную. В тоске, не зная, куда деваться, метался, как затравленный заяц.

У ворот штаба увидел знакомого чиновника. Тот зазвал его с собою опять в канцелярию.

– Ах, беда, беда! – всё повторял чиновник.

– Милорадовича убили! – крикнул кто-то над самым ухом Трубецкого. Ноги у

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
него подкосились.

– Вам дурно, князь?

Кто-то дал ему понюхать соли. И вдруг опять он очутился на улице с какими-то незнакомыми людьми. Понял, что его ведут на Сенатскую площадь.

– Я нездоров, господа, я очень нездоров! – едва не плакал.

И опять – канцелярия. «О Господи, в который раз!» – подумал с отчаянием. Пришёл в самую дальнюю комнату, курьерскую. Здесь никого не было, все разбежались. Долго сидел один, радуясь, что наконец оставили его в покое.

Когда стемнело, послышались пушечные выстрелы, такие громкие, что стёкла в окнах задребезжали. Вскочил, хотел бежать, но свалился на стул и слушал в оцепенении выстрел за выстрелом.

Рядом с курьерской был тёмный чулан; там зашивали и печатали казённые пакеты; пахло сургучом, рогожей и холстиною; тускло горела на стене висячая масляная лампочка; клубки бечёвок лежали на столе, а на потолке торчал большой крюк, тоже для лампы. Он поглядывал на этот крюк, как будто ни о чём не думая, и только потом вспомнил, что задумал: «Хорошо бы повеситься».

Выстрелы затихли. В комнату начали входить курьеры, сторожа, экзекуторы; низко кланялись и смотрели на него с удивлением. Он встал и вышел.

Всё ещё не знал, куда деваться. Наконец решил переночевать у своего шурина, австрийского посла Лебцельтерна. Знал, что и там схватят, но как перетрусивший шалун, зная, что не миновать розги, всё-таки под стол прячется, – так и он.

У Лебцельтернов была Катюша. Увидев её, понял, как тосковал о ней всё время, сам того не сознавая; больше всего мучился тем, что она ещё ничего не знает. Хотел ей сказать тотчас, но отложил и много раз потом откладывал. Так и не сказал, хотя знал, что это – величайшая из всех его подлостей.

Устал, лёг рано. Заснул крепко. Снилось что-то необыкновенно приятное: какие-то горы не горы, волны не волны, тёмно-лиловые, прозрачные, как аметисты, и он будто летает над ними туда и сюда, как на качелях качается, и вдруг – такая радость, что проснулся.

Долго лежал в темноте с открытыми глазами, улыбался и чувствовал, что сердце всё ещё бьётся от радости. Хотел вспомнить и не мог – слишком ни на что не похоже; только знал наверное, что это больше чем сон. Вдруг вспомнил свой давешний страх и сразу почувствовал, что его уже нет и никогда не будет; даже не было стыдно, а только удивительно казалось, что тогда был не он, а другой. Вспомнил также свой любимый псалом; читал его всегда по-латински, как выучил в детстве, в иезуитском пансионе, у старого польского ксёндза Алонзия.

«Когда я в страхе, на тебя уповаю. В Боге восхваляю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе; из этого я узнаю, что Бог за меня. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»

Опять закрыл глаза, успел только подумать: «А ведь так спят осуждённые... Ну что ж, пусть!» – и заснул ещё крепче, слаще, но уже без всяких снов.

Проснулся внезапно, как часто бывает во сне, не от стука, а оттого, что заранее знал, что будет стук. И действительно, через минуту раздался стук в дверь.

– Ваше сиятельство, а ваше сиятельство! – послышался испуганный голос камердинера.

– Что такое?

– Из дворца приехали.

Он понял, что его арестуют.

Четверо конвойных с саблями наголо ввели арестанта в государеву приёмную. За ним вошли генерал-адъютанты Левашов, Толь, Бенкендорф, дворцовый комендант Башуцкий и обер-полицеймейстер Шульгин[71].

Николай встал, подошёл к Трубецкому, остановился и посмотрел на него молча, долго: рябоват, рыжеват; растрёпанные жидкие бачки, оттопыренные уши, большой загнутый нос, толстые губы, по углам две морщинки болезненные.

«Так вот он каков, ихний диктатор! Трясётся, ожидовел от страха», – подумал государь опять с неутолимой жадой презрения.

Подошёл ближе и поднял указательный палец правой руки против лба его.

– Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой, как вам не стыдно быть с этой сволочью?

Казался себе самому в эту минуту Аполлоном Бельведерским, разящим Пифона. Но одна маска упала, другая наделась; вместо грозной – чувствительная, та самая, которую примеривал давеча перед Толем.

– Какая милая жена! Есть у вас дети?

– Нет, государь.

– Счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная, ужасная!

Несмотря на видимый гнев, был спокоен: всё было заранее обдуманно.

– Отчего вы дрожите?

– Озяб, ваше величество. В одном мундире ехал.

– Почему в мундире?

– Шубу украли.

– Кто?

– Не знаю. Должно быть, в суматохе, когда арестовали; много было народу, – ответил Трубецкой с улыбкой и поднял глаза: никакого страха не было в этих больших серых глазах, простых, печальных и добрых. Стоял, неуклюже сгорбившись, закинув руки за спину.

– Извольте стоять как следует! Руки по швам!

– Sire...

– Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь отвечать на другом языке!

– Виноват, ваше величество, руки связаны...

– Развязать!

Шульгин подошёл и начал развязывать. Государь отвернулся и, увидев бумагу в руках Толя, сказал:

– Читай.

Толь прочёл показания одного из арестованных – чьё не назвал, – что бывшее Четырнадцатого происшествие есть дело Тайного общества, которое, кроме членов в Петербурге, имеет большую отрасль в 4-м корпусе, и что князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер корпуса, может дать полные сведения.

Трубецкой слушал и радовался: понял, что показатель навёл на ложный след, чтобы скрыть Южное общество.

– Это Пущина? – спросил Николай.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Пушина, ваше величество, – ответил Толь.

Трубецкой заметил, что перемигнулись.

– Ну, что вы скажете? – опять обернулся к нему государь.

– Пущин ошибается, ваше величество, – ответил Трубецкой, напрягая все силы ума, чтобы понять, что значит перемигивание.

– А-а, вы думаете, Пушина? – накинулся на него Толь.

Но Трубецкой не потерялся – уже понял, в чём дело: через него ловили Пушина.

– Ваше превосходительство сами изволили сказать, что Пушина.

– А где Пущин живёт?

– Не знаю.

– Не у отца?

– Не знаю.

– Я всегда говорил, что 4-й корпус – гнездо заговорщиков, – сказал Толь.

– Ваше превосходительство имеет очень неверные сведения. В 4-м корпусе нет Тайного общества, я за это отвечаю, – посмотрел на него Трубецкой с торжеством почти нескрываемым.

Толь замолчал с чувством охотника, у которого убежала дичь из-под носу. И государь нахмурился, тоже понял, что дело испорчено.

– Да сами-то вы, сами что? О себе говорите, принадлежали к Тайному обществу?

– Принадлежал, ваше величество, – ответил Трубецкой спокойно: знал, что теперь уже не собьётся.

– Диктатором были?

– Так точно.

– Хорош! Взводом небось командовать не умеет, а судьбами народов управлять хотел! Отчего же не были на площади?

– Видя, что им нужно одно моё имя, я отошёл от них. Надеялся, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении как бы в виде начальника, успею отвратить их от сего нелепого замысла.

– Какого? Цареубийства? – опять обрадовался, накинулся на него Толь.

«О цареубийстве никто не помышлял», – хотел ответить Трубецкой, но подумал, что это неправда, и сказал:

– В политических намерениях Общества цареубийства не было. Я хотел отвратить их от возмущения войск, от кровопролития ненужного.

– О возмущении знали? – спросил государь.

– Знал.

– И не донесли?

– Я и мысли не мог допустить, ваше величество, дать кому-либо право назвать меня подлецом.

– А теперь как вас назовут?

Трубецкой ничего не ответил, но посмотрел на государя так, что ему стало неловко.

– Да что вы, сударь, финтите? Говорите всё, что знаете! – крикнул Николай грозно, начиная сердиться.

– Я больше ничего не знаю.

– Не знаете? А это что?

Быстро подошёл к столу, взял четвертушку бумаги, проект конституции, – на письме лежала пуля, нарочно положил её давеча, чтобы найти сразу.

– Этого тоже не знаете? Кто писал? Чья рука?

– Моя.

– А знаете, что я могу вас за это расстрелять тут же, на месте?

– Расстреливайте, государь, вы имеете право, – сказал Трубецкой и опять поднял глаза. Вспомнил: «На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»

«Не надо сердиться! Не надо сердиться!» – подумал государь, но было уже поздно: знакомый восторг бешенства разлился по жилам огнём.

– А-а, вы думаете, вас расстреляют и вы интересны будете? – прошептал задыхающимся шёпотом, приближая лицо к лицу его и наступая на него так, что он попятился. – Так нет же, не расстреляю, а в крепости сгною! В кандалы! В кандалы! На аршин под землю! Участь ваша будет ужасная, ужасная, ужасная!

Чем больше повторял это слово, тем больше чувствовал своё бессилье: вот он стоит перед ним и ничего не боится. Заточить, заковать, запытать, убить его может, а всё-таки ничего с ним не сделает.

– Мерзавец! – закричал Николай, бросился на Трубецкого и схватил его за ворот. – Мундир замарал! Погоны долой! Погоны долой! Вот так! Вот так! Вот так!

Рвал, толкал, давил, тряс и, наконец, повалил его на пол.

– Ваше величество, – тихо сказал Трубецкой, стоя перед ним на коленях и глядя ему прямо в глаза. Государь понял: «Как вам не стыдно?» Опомился. Оставил его, отошёл, упал в кресло и закрыл лицо руками.

Все молча ждали, чем это кончится. Трубецкой встал и посмотрел на Николая с давешней тихой улыбкой. Если бы теперь тот увидел её, то понял бы, что в этой улыбке – жалость.

Дверь из кабинета-спальни приотворилась. Великий князь Михаил Павлович осторожно высунул голову, заглянул и так же осторожно отёрнул её, закрыл дверь.

Молчанье длилось долго. Наконец государь отнял руки от лица. Оно было неподвижно и непроницаемо.

Встал и указал Трубецкому на кресло у стола:

– Садитесь. Пишите жене, – сказал, не глядя на него.

Трубецкой сел, взял перо и посмотрел на государя.

– Что прикажете писать, ваше величество?

– Что хотите.

Николай смотрел через плечо его на то, что он пишет. «Друг мой, будь спокойна и молись Богу...»

– Что тут много писать, напишите только: «Я буду жив и здоров», – сказал государь.

Трубецкой написал:



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

«Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров».

– «Буду жив и здоров». Припишите сверху: «буду».

Он приписал. Государь взял письмо и отдал Шульгину.

– Извольте доставить княгине Трубецкой.

Шульгин вышел. Трубецкой встал. Опять наступило молчание. Государь стоял перед ним, всё не глядя на него, опустил глаза, как будто не смел их поднять.

Сел за стол и написал коменданту Сукину:

«Трубецкого в Алексеевский равелин, в номер 7».

Отдал записку Толю.

– Ну, ступайте, – проговорил и поднял глаза на Трубецкого. – Прошу не прогневаться, князь. Моё положение тоже незавидно, как сами изволите видеть, – усмехнулся криво и опять покраснел, почувствовал, что ничего не выходит, надулся, нахмурился. – Ступайте, ступайте все! – махнул рукою.

Когда вышли, сел на диван, на прежнее место. Замер, не двигаясь, но уже не дремал, а широко открытыми глазами глядел прямо перед собой, в зеркало. На стене, над диваном, висел большой, во весь рост, портрет императора Павла I. Пламя свечей, догоравших в углу, на яшмовом столике, колебалось, мигало, и в этом мигающем свете портрет в зеркале ожил, как будто зашевелился – вот-вот из рамы выступит: в облачении Гроссмейстера Мальтийского ордена, в пурпурной мантии, подобии архиерейского саккоса, – маленький человек с курносым лицом, глазами сумасшедшего и улыбкой мёртвого черепа.

Сын смотрел на отца, отец – на сына, как будто хотели друг другу что-то сказать.

11 Марта – 14 декабря. Тогда началось – теперь продолжается. «Меня задушат, как задушили отца», – вспомнил Николай слова братнины. Мог бы сказать себе самому, как Трубецкому давеча: «Участь твоя будет ужасная, ужасная!»

Встал, подошёл к зеркалу. Внизу, у ног отца, отразилось лицо сына. Бледное, с воспалёнными красными веками, с губами надутыми, как у мальчика, поставленного в угол, с волосами взъерошенными, как будто вставшими дыбом. Казалось, что это не он, а кто-то другой – двойник его, «самозванец», «император-высочка».

Приблизил лицо своё к зеркалу. Губы искривились в усмешку, зашептали беззвучным шёпотом:

– Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

Отшатнулся в ужасе: казалось, что это не он, а тот, другой, в зеркале, смеётся и шепчет:

– Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

– Маринька! – сказал Голицын, открывая глаза.

В первый раз очнулся после беспамятства. Ещё давеча, в бреду, не видя её, чувствовал, что она тут, рядом, и мучился, что не может её позвать.

– Что, Валерьян Михайлович, миленький? – наклонилась она и заглянула в глаза его испуганно-радостно. – Ну, что? Что? – старалась понять, чего он хочет.

Он хотел спросить, что с ним и где он, но был так слаб, что не мог говорить; боялся опять провалиться в ту чёрную дыру беспамятства, из которой только что вылез.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Сам хотел вспомнить; вспоминал и тотчас опять забывал. Мысли обрывались, как истлевшие нитки. Развлекали мелочи: множество склянок с рецептами на ночном столике, пламя восковой свечи под шёлковым зелёным зонтиком, однообразное тихое тиканье карманных часиков, должно быть, его же собственных, лежащих на столике. – Который час? – проговорил наконец с осторожным усилием.

– Половина седьмого, – ответила Маринька.

«Утра или вечера?» – хотел спросить и забыл – подумал о другом: сколько времени болен? Помолчал, отдохнул и спросил:

– Какой день?

– Четверг.

«А число?» – опять забыл спросить.

Вдруг, в тишине, послышался глухой гул, подобный гулу далёкого выстрела.

«Неужели всё ещё стреляют?» – удивился и вспомнил, что такие же гулы слышались ему сквозь бред, и каждый раз хотелось бежать туда, где стреляют, – двигал ногами, бежал – и стоял. «Стоя-стоя-стоячая!» – однообразно тикали часики. И он понимал, что это значит: «революция стоячая».

– Вспотел, – сказала Маринька, положив ему руку на лоб.

– Ну, слава Богу! – ответил радостно Фома Фомич. Голицын узнал его по голосу. – Лекарь намедни сказывал: только бы вспотел – и будет здоров.

Она вытирала платком пот с лица его. Он смотрел на неё, как будто вспоминал, как сквозь вещей сон, незапамятно давний, много раз виденный: милая, милая девушка; окружена благоуханием любви, как цветущая сирень свежестью росной. На ней был старенький домашний капот, гроденаплевый[72], дымчатый, и ночной блондовый[73] чепчик; из-под него висели, качаясь, как лёгкие гроздья, вдоль щёк длинные чёрные локоны. Лицо немного похудело, побледнело, и большие тёмные глаза казались ещё больше, темнее.

– Родная, родная, милая! – прошептал он и потянулся к ней.

Глаза их встретились; она улыбнулась. Поняла, чего он хочет. Приложила к его губам ладонь, тёплую и светлую, как чашечка цветка, солнцем нагретого.

– Надо бы лекарства, Марья Павловна, – сказал Фома Фомич.

Маринька налила в ложку лекарства и подала Голицыну. Оно было вкусное, с миндально-анисовым запахом.

– Ещё, – попросил он с детской жадностью.

– Больше нельзя. Пить хотите?

– Нет, спать.

– Погодите, голова низко.

Одной рукой обняла его за плечи и приподняла голову с неожиданной силой и ловкостью, другой – начала поправлять подушки. Пока приподнимала, он чувствовал прижатой щекой сквозь платье упругую нежность девичьей груди.

– Так хорошо? – спросила, положив голову.

– Хорошо, Маринька... маменька...

Сам не знал, нарочно или нечаянно сказал «маменька». Опять глаза их встретились; она улыбнулась ему, и он повторил умиленно-восторженно:

– Маменька, Маринька...

Хотел ещё что-то сказать, но тёмные мягкие волны нахлынули; только слышал, что она целует его в лоб, крестит и шепчет:

– Спи, родной, спи с Богом!

Закрыв глаза с улыбкой; казалось, что она берёт его на руки и качает, баюкает.

Проспал до одиннадцати утра. Кошка Маркиза, белошёрстная, голубоглазая, настоящая маркиза по жеманно-медлительной важности, всю ночь проспала, свернувшись клубочком, на крышке клавесина. К утру выпалась, встала на все четыре лапки, выгнула спину, замурлыкала и спрыгнула на клавиши, – они зазвенели и разбудили Голицына.

– Брысь, негодная! Ну, вот и разбудила! – затопала на неё Маринька.

– Потап Потапыч Потапов! – послышался вдали крик попугая, и Голицын сразу понял, что он в старом бабушкином доме. Но комната была не его, а жёлтая чайная, рядом с голубой диванной. Потом объяснили ему, что из маленькой спальни на антресолях, где было душно и тесно, перевели его в эту комнату.

Пахло дымом берестовых растопок. Гудя, и потрескивая, и похлопывая заслонкой, топилась печка и освещала одну половину комнаты уютным светом, золотисто-розовым, а другую половину – голубовато-белое зимнее утро. Окна выходили в сад с опущенными инеем старыми липами. По стенам, обитым штофом, жёлто-лимонным, выцветшим, кверху, под потолком, шёл лепной белый фриз – хоровод амуров пляшущих. Голые тела их от света печки порозовели – ожили.

«Какая весёлая комната!» – подумал Голицын, и ему самому вдруг стало весело.

Кошка не очень боялась Мариньки: шмыгнув мимо ног её, вскочила на постель и начала тереться мордой об ноги Голицына с громким мурлыканьем.

– Да брысь же, брысь, несносная!

– Ничего, Маринька, я уже выпался.

– Доброго утра, ваше сиятельство. Как почивать изволили? – спросил Фома Фомич, выходя из-за ширм. Паричок у него сбился на сторону, пудренная косичка растрепалась, длиннополый кафтан был измят; должно быть, всю ночь не ложился, а только прикорнул на канаве или в кресле, за ширмами.

– Отменно спал. Да что вы так беспокоитесь? Мне гораздо лучше, – сказал Голицын.

Маринька взгляделась в него и удивилась, обрадовалась: такая перемена в лице и в голосе.

– Ну и слава Тебе, слава Тебе, Господи! – перекрестился Фома Фомич, и детские глазки его, детская улыбка засветились такой добротой, что Голицыну стало ещё веселее.

– А закусить не угодно ли? Кофейку, яичек, бульонцу?

– Всего, всего, Фома Фомич. Ужасно есть хочется!

Вдруг насторожился, прислушался: глухой гул, подобный гулу далёкого пушечного выстрела, донёсся до него, так же как давеча ночью, в бреду. Но теперь он уже знал, что это не бред.

– Что это? Слышите?

– Нет, не слышу, – ответил Фома Фомич: был туг на ухо.

– Ну, вот, опять! Стреляют! Стреляют! Неужто не слышите? – вскрикнул Голицын, и глаза его загорелись надеждой. Приподнялся на постели, как будто готов был вскочить и бежать.

– Валерьян Михайлович, голубчик, ради Бога, лежите смирно. Фома Фомич, сбегайте, узнайте, что такое, – сказала Маринька.

Старичок выбежал в соседнюю комнату. Окна её выходили на двор. Здесь гул

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
раздавался так явственно, что и он услышал. Подошёл к окну, подставил стул, влез на подоконник, открыл форточку, высунул голову и сразу понял. Вернулся к Голицыну.

– Ахти! Ахти! Вот так пальба артиллерийская! – замотал головой, засмеялся, младенчески всхлипывая. – Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, пальба неопасная: калитка в воротах дубовая, на чугунном блоке отпирается, а ворота со сводами, гулкие; дворник Ефим дрова носит на кухню: как хлопнет, так и загудит, точно из пушки выпалит.

Помолчал и прибавил с философическим вздохом, приняв медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и с надписью: «По Боге он один, я им и существую».

– Так-то, государь мой милостивый! Из примера сего видеть можно, сколь несовершенны и оболъщению подвержены человеческие чувствования, сии наружные двери нашего истукана механического. Уж ежели хлопанье калитки от пушечной пальбы отличить не умеем, то много ли стоят все наши гаданья высокоумные о природе вещей и о законах естества сокровеннейших?

– А ведь о фрыштыке-то [74] мы и забыли, – спохватился Фома Фомич. – Сию минуту на кухню сбегая. Кофейку, яичек, бульонцу, а может, и каши рисовой?

Маринька только махнула рукою, и старичок выбежал. Голицын долго лежал с закрытыми глазами. Маринька, присев на край постели, молча гладила рукою руку его.

– Какое число? – наконец спросил он.

– Восемнадцатое.

– Значит, три дня. Заболел утром, во вторник?

– Да, во вторник. Камердинер с чаем вошёл и увидел, что вы лежите на постели, нераздетый, в жару и в беспамятстве.

– Бредил?

– Да.

– О чём?

– Да вот всё об этих выстрелах. И ещё о звере. Что какого-то зверя надо убить.

– А помните, Маринька, я вам говорил, что мы с вами увидимся? Ну, вот и увиделись...

Посмотрел на неё долго, пристально. Хотел спросить, знает ли она о том, что было Четырнадцатого, но почему-то не спросил, побоялся.

– Я всё знаю, – сама догадалась она. – Бабушкин дворецкий, Ананий Васильевич, был на Сенатской площади. Прибежал к нам вечером и рассказал. Он и вас видел...

Вдруг замолчала, наклонилась, обняла его, прижалась щекою к щеке его, спрятала лицо в подушку и заплакала.

– Ну, полно, Маринька, милая, девочка моя хорошая! Ведь вот, я с вами, и мы уже никогда...

Хотел сказать: «никогда не расстанемся», но почувствовал, что не обманет: она всё уже знает не только о прошлом, но и о будущем; оттого и плачет над ним, как живая над мёртвым, – навеки прощается.

Где, невеста, где твой милый?

Где венчальный твой венец?

Дом твой – гроб, жених – мертвец, –  
вспомнилось, как читал Софье Нарышкиной.

– А вот и фрыштык, – сказал Фома Фомич, входя в комнату с подносом в руках.

Маринька вскочила и убежала. Старичок посмотрел ей вслед, покачал головой, вздохнул, взглянул на Голицына, но ничего не сказал: должно быть, тоже почувствовал, что нельзя его обмануть и утешить ничем.

Во время завтрака, чтобы развлечь больного, говорил о делах посторонних – о выкупе Черёмушек, об искусстве доктора, который лечил Голицына, о болезни бабушки: узнав о бунте, старушка перепугалась так, что слегла в постель, едва удар не сделался; никого из дворовых пускать к себе не велела – боялась, что зарежут: помнила бунт Пугачёва. «Шутка сказать, в одном Петербурге – сорок тысяч холопов; только и смотрят, как бы за ножи взяться. А всё м а р т ы ш к и наделали...»

– Какие мартышки? – удивился Голицын.

– А у Державина помните:

Мартышки в воздухе летают.

Так вот, они самые, – объяснил Фома Фомич, – мартинисты, масоны и прочие вольнодумцы безбожные. «Прыгали, – говорит, – мартышки, прыгали, – ну, вот и допрыгались. Будет и у нас то же, что во Франции!»

Голицын улыбнулся, а старичку только того и надо было. Вынул из кармана газетный листок, прибавление к «Санкт-Петербургским Ведомостям», с правительственным извещением о бунте Четырнадцатого. Голицын хотел прочесть, но Фома Фомич не позволил; опять полез в карман, достал кожаный футляр, вынул из него очки с большими, круглыми стёклами, тщательно протёр их платком, неторопливо надел, откашлялся и стал читать.

– «Вчерашний день будет, без сомнения, эпохой в истории России, – читал он своим тихим, слабым, как бы далёким голосом. – В оный день жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков. Но Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать для нас и печальным происшествием...»

Далее описывался бунт, как маленькое замешательство войск на параде.

– «Две возмущившиеся роты построились в батальон-каре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках».

– А ведь это я! – усмехнулся Голицын, и Фома Фомич ответил ему из-под очков такой же усмешкой.

– «Небольшие толпы окружали их и кричали: ура! Войска просили дозволения одним ударом уничтожить бунт. Но государь император щадил безумцев и лишь при наступлении ночи наконец решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Таковы были происшествия вчерашнего дня. Они, без сомнения, горестны. Но всяк, кто размыслит, что мятежники, пробыв четыре часа на площади, не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных; и что из всех гвардейских полков лишь две роты могли быть обольщены пагубным примером буйства, – конечно, с благодарностью к Промыслу признает, что в сём случае много и утешительного; что оный есть не иное что, как минутное испытание непоколебимой верности войска и общей преданности русских к августейшему их законному монарху. Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками беспорядков. Помощью Неба, твёрдостью правительства они прекращены совершенно: ничто не нарушает спокойствия столицы...»

– Правда, Фома Фомич, всё тихо в городе? – спросил Голицын.

– Тихо-то тихо, да от этакой тихости не поздоровится, – покачал старичок головой сомнительно. – Ведь город точно вымер; только повозки с арестантами под конвоем жандармов скачут; всё новых да новых везут, и, кажется, конца этому не будет: одной половине рода человеческого придётся сторожить другую... А что, князь, пожалуй, сон-то в руку? – прошептал, наклонившись к уху его, с таинственным видом.

– Какой сон?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org – А вот что опять из пушек палат. Южная армия, говорят, не присягнула, идёт на Москву и Петербург, дабы провозгласить конституцию, и генерал Ермолов тоже; а сила у него большая, все войска Кавказского корпуса, который предан ему неограниченно. Я ведь его превосходительство Алексея Петровича знаю: орёл! Из наших, суворовских. Чем чёрт не шутит, будет, говорят, династия Ермоловых вместо Романовых. Так вот, князь, какие дела: того и гляди, всё начнётся сызнова...

Голицын слушал, и опять загоралась в глазах его надежда. Но он потушил её.

– Если и начнётся, то не скоро, – проговорил, как будто про себя, тихо.

Но Фома Фомич услышал.

– Не скоро? Ну а всё-таки как?

– Да вам-то что? Ведь вы за царя?

– Мне, батюшка, ваше сиятельство, осьмой десяток идёт. По старинке живу, по старинке и думаю: коренной россиянин всех благ жизни и всей славы отчизны ожидает единственно от престола монаршего.

– Ну вот, вы за царя, а я за республику. Так вам со мной и зняться нечего!

– И-и, полно, князька! Не так-то много на свете хороших людей, чтоб ими брезговать. Да и что мне с вами делать прикажете? Донести в полицию, что ли?.. Тьфу, неладный какой! Я-то за ним хожу, нянчусь, а он шпынять изволит! – хотел старичок рассердиться и не мог: детская улыбка, детские глазки тихой добротой продолжали светиться.

– Фома Фомич, пожалуйста к бабушке, – сказала Маринька, входя в комнату.

– А что? Что такое?

– Ничего, соскучилась по вас, сердится, что вы её забыли, ревнует к князю.

– Сию минуту! Сию минуту! – весь всполошился Фома Фомич, вскочил и выбежал, семеня проворно старыми ножками.

«А ведь он всё ещё любит её, как сорок лет назад», – подумал Голицын.

Сквозь старые деревья, опушённые инеем, заголубело, зазеленело, как бирюза поблёкшая или как детские глазки старичка влюблённого, зимнее небо; зимнее солнце заглянуло в окна. Прозрачные цветы мороза, как драгоценные камни, заискрились, и янтарный свет наполнил комнату. На жёлто-лимонном, выцветшем штофе заиграли зайчики, и на белом фризе позлатились голые тела амуров.

«Какая весёлая комната! – опять подумал Голицын. – Это от солнца... нет, от неё», – решил он, взглянув на Мариньку.

Переделалась: была уже не в утреннем капоте и чепчике, а в своём всегдашнем простеньком платице, креповом, белом, с розовыми цветочками; умылась, причесалась, заплела косу корзиночкой; чёрные длинные локоны висели, качаясь, как лёгкие гроздьи, вдоль щёк. И, несмотря на бессонную ночь, лицо было свежее – «свежее розы утренней», как Фома Фомич говаривал, – и спокойное, весёлое: от давешних слёз ни следа.

Прибирала комнату, сметала крылышком пыль, расставляла в порядке склянки с лекарствами; столовую посуду вынесла, чайную – вымыла; помешала кочергой в печке, чтобы головёшек не было.

Голицын следил за нею молча: все её движения, молодые, сильные, лёгкие, были стройны, как музыка, и казалось, всё, к чему ни прикасалась, даже самое будничное, вдруг становилось праздничным, таким же весёлым, как она сама.

Должно быть, почувствовала взгляд его – обернулась, улыбнулась, подошла к нему, присела на край постели и наклонилась.

– Ну, что?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Солнечный луч разделял их, как полотнище ткани, туго натянутой, и в голубовато-дымной мгле его светлые пылинки кружились, как будто плясали в пляске нескончаемой. Когда она склонилась, голова её вошла в этот луч, и Голицын увидел, что чёрные волосы пронизанного солнцем локона отливают рыжеватого-огненным, почти красным отливом, как сквозь агат – рубин.

– Ну да, рыжая! – засмеялась, глядя на локон и как будто сама удивляясь.

Он приподнялся, потянулся к ней, – луч разделяющий соединил их. Она ещё ниже склонилась, и, поймав рукой локон, он прижал его к губам. Запах волос, действительно-страстный, опьяняющий, как вино, кинулся ему в голову.

– Не надо. Что вы? Разве можно – волосы? – вдруг застыдилась, покраснела, потупилась и, отняв локон, откинула голову.

Голицын опустил на подушку, побледнел и полузакрыв глаза в изнеможении. Голова его кружилась, и ему казалось, что сам он кружится, как те пылинки в луче солнца, – пляшет в пляске нескончаемой.

– Как хорошо, Маринька, солнышко моё? – шептал, глядя на неё сквозь солнце, с блаженной улыбкой.

– Что хорошо? – спросила она с такой же улыбкой.

– Всё хорошо... жить хорошо.

«Да, жить, жить, только бы жить!» – подумал он с такой жаждой жизни, какой ещё никогда не испытывал.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Верховный Следственный Комитет по делу Четырнадцатого открыл заседания сначала в Зимнем дворце, а потом в Петропавловской крепости. Всё дело вёл сам государь, работая без отдыха часов по пятнадцати в сутки, так что приближённые опасались за его здоровье.

– Point de relache![75] что бы ни случилось, я дойду с Божьей помощью до самого дна этого омута! – говорил Николай Бенкендорфу.

– Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Силой ничего не возьмёшь – надо лаской да хитростью...

– Не учи, сам знаю, – отвечал государь и хмурился, краснел, вспоминая о Трубецком, но утешался тем, что эта неудача произошла от немоги телесной, усталости, бессонницы; было раз и больше не будет. Отдохнул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на площади, почувствовал, что «всё как следует».

Рылеева допрашивали в Комитете 21 декабря, а на следующий день привезли во дворец на допрос к государю.

«Только бы сразу конец!» – думал Рылеев, но скоро понял, что будет не сразу, запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертную.

На другой день после ареста государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответила, что у неё осталась тысяча рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя две тысячи, а 22 декабря, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева, – ещё тысячу от императрицы Александры Фёдоровны. И обещал простить его, если он во всём признается. «Милосердие государя потрясло мою душу», – писала она мужу в крепость.

Больше всего удивило Рылеева, что подарок послан ко дню Настенькина ангела: значит, об имени справились. «Какие нежности! Знает, чем взять, подлец! Ну а что, если...» – начал думать Рылеев и не кончил: стало страшно.

Однажды поблагодарил коменданта Сукина за свидание с женой. Тот удивился, потому что не разрешал свидания: подумал, не вошла ли без пропуска. Допросил сторожей, но все подтвердили в один голос, что не входила.

– Должно быть, вам приснилось, – сказал он Рылееву.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

– Нет, видел её, вот как вас вижу. Сказала мне, чего я и знать не мог, – о подарке государевом.

– Да ведь вы об этом в Комитете узнали.

– В Комитете потом, а сначала от неё.

– Может быть, забыли?

– Нет, помню. Я ещё с ума не сходил.

– Ну, так это была с т е н ь .

– Какая стена?

– А когда наяву мерещится. Вы больны. Лечиться надо.

«Да, болен», – подумал Рылеев с отвращением.

Вечером 22-го привезли его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но рук не связывали; отвели под конвоем во флигель-адъютантскую комнату, посадили в углу, за ширмами, и велели ждать.

Он старался думать о том, что скажет сейчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда пришли его арестовать, Наташа бросилась к нему, обвила его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот которым кричала в родах.

– Не пуцу! Не пуцу!

И обнимала, сжимала всё крепче. О, крепче всех цепей эти слабые, нежные руки – цепи любви! Со страшным усилием он освободился. Поднял её, почти бездыханную, понёс, положил на постель и, выбегая из комнаты, ещё раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него: то был её последний взгляд.

«Я-то хоть знаю, за что распнут; а она будет стоять у креста, и ей самой оружие пройдёт душу, а за что – никогда не узнает».

Так думал он, сидя в углу, за ширмами, во флигель-адъютантской комнате.

А иногда уже не думал ни о чём, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза; туман заволакивал комнату, и казалось – он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь и, как тогда, перед «стенью», ждёт, что дверь откроется – войдёт Наташа.

Дверь открылась – вошёл Бенкендорф.

– Пожалуйте, – указал ему на дверь и пропустил вперёд.

Рылеев вошёл.

Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев поклонился ему и хотел подойти.

– Стой! – сказал государь, сам подошёл и положил ему руки на плечи. – Назад! Назад! Назад! – отодвигал его к столу, пока свечи не прились прямо против глаз его. – Прямо в глаза смотри! Вот так! – повернул его лицом к свету. – Ступай, никого не принимать, – сказал Бенкендорфу.

Тот вышел.

Государь молча, долго смотрел в глаза Рылееву.

– Честные, честные! Такие не лгут! – проговорил, как будто про себя, опять помолчал и спросил: – Как звать?

– Рылеев.

– По имени?



– Кондратий.

– По батюшке?

– Фёдоров.

– Ну, Кондратий Фёдорович, веришь, что могу тебя простить?

Рылеев молчал. Государь приблизил лицо к лицу его, заглянул в глаза ещё пристальнее и вдруг улыбнулся. «Что это? Что это?» – всё больше удивлялся Рылеев: что-то молящее, жалкое почудилось ему в улыбке государя.

– Бедные мы оба! – тяжело вздохнул государь. – Ненавидим, боимся друг друга. Палач и жертва. А где палач, где жертва – не разберёшь. И кто виноват? Все, а я больше всех. Ну, прости. Не хочешь, чтобы я – тебя, так ты меня прости! – потянулся к нему губами. Рылеев побледнел, зашатался.

– Сядь, – поддержал его государь и усадил в кресло. – На, выпей, – налил воды и подал стакан. – Ну, что, легче? Можешь говорить?

– Могу.

Рылеев хотел встать. Но государь удержал его за руку:

– Нет, сиди. – Придвинул кресло и сел против него. – Слушай, Кондратий Фёдорович. Суди меня как знаешь, верь или не верь, а я тебе всю правду скажу. Тяжкое бремя возложено на меня Провидением. Одному не вынести. А я один, без совета, без помощи, бригадный командир – и больше ничего. Ну, что я смыслю в делах? Клянусь Богом, никогда не желал я царствовать и не думал о том – и вот! Если бы ты только знал, Рылеев, – да нет, никогда не узнаешь, никто никогда не узнает, что я чувствую и чувствовать буду всю жизнь, вспоминая об этом ужасном дне – четырнадцатом! Кровь, кровь, – весь в крови, – не смыть, не искупить ничем! Ведь я же не зверь, не изверг – я человек, Рылеев, я тоже отец. У тебя – Настенька, у меня – Сашка. Царь – отец, народ – дитя. В дитя своё нож – в Сашку! В Сашку! В Сашку!

Закрыв лицо руками. Долго не отнимал их; наконец отнял и опять положил их на плечи его, заглянул в глаза с улыбкою, как будто молящую.

– Видишь, я с тобой как друг, как брат. Будь же и ты мне братом. Пожалей, помоги!

«Лжёт – не лжёт? Лжёт – не лжёт? Искушаешь, дьявол? Ну, погоди же, и я тебя искушу!» – вдруг разозлился Рылеев.

– Правду хотите знать, ваше величество? Так знайте же: свобода обольстительна, и я, распалённый ею, увлёл и других. И не раскаиваюсь. Неужели тем виноват я пред человеками, что пламенно желал им блага? Но не о себе хочу говорить, а об отечестве, которое, пока не остановится биение сердца моего, будет мне дороже всех благ мира и самого неба!

Говорил, как всегда, книжно, не просто, а теперь особенно, потому что заранее обдумал всю эту речь. Вдруг вскочил, поднял руки; бледные щёки зарделись, глаза засверкали, лицо преобразилось. Сделался похож на прежнего Рылеева, бунтовщика неукротимого – весь лёгкий, летящий, стремительный, подобный развеваемому ветром пламени.

– Знайте, государь: пока будут люди, будет и желание свободы. Чтобы истребить в России корень свободомыслия, надо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в прошлое царствование. Смело говорю: из тысячи не найдётся и ста не пылающих страстью к свободе. И не только в России – нет, все народы Европы одушевляет чувство единое, и сколь ни утеснено оно, убить его невозможно. Где, – укажите страну, откройте историю, – где и когда были счастливы народы под властью самодержавною, без закона, без права, без чести, без совести? Злодеи вам – не мы, а те, кто унижает в ваших глазах человечество. Спросите себя самого: что бы вы на нашем месте сделали, когда бы подобный вам человек мог играть вами, как вещь бездушную?

Государь сидел молча, не двигаясь, облокотившись на ручку кресла, опустив

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
голову на руку, и слушал спокойно, внимательно. А Рылеев кричал, как будто грозил, руками размахивал, то садился, то вскакивал.

– В манифесте сказано, что царствование ваше будет продолжением Александрова. Да неужели же, неужели вы не знаете, что царствование сие было для России убийственно? Он-то и есть главный виновник Четырнадцатого. Не им ли исполински двинуты умы к священным правам человечества и потом остановлены, обращены вспять? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и потом так жестоко свобода удушена? Обманул Россию, обманул Европу. Сняты золотые цепи, увитые лаврами, и голые, ржавые – гнетут человечество. Вступил на престол «Благословенный» – сошёл в могилу проклятый!

– Ты всё о нём, ну а обо мне что скажешь? – спросил государь всё так же спокойно.

– Что о вас? А вот что! Когда вы ещё великим князем были, вас уже никто не любил, да и любить было не за что: единственные занятия – фронт и солдаты; ничего знать не хотели, кроме устава военного, и мы это видели и страшились иметь на престоле российском прусского полковника или, хуже того, второго Аракчеева, злейшего. И не ошиблись: вы плохо начали, ваше величество! Как сами изволили давеча выразиться, взошли на престол через кровь своих подданных; в народ, в дитя своё, вонзили нож... И вот плачете, каетесь, прощения молитесь. Если правду говорите, дайте России свободу, – и мы все – ваши слуги вернейшие. А если лжете, берегитесь: мы начали – другие кончат. Кровь за кровь на вашу голову или вашего сына, внука, правнука! И тогда-то увидят народы, что ни один из них так не способен к восстанию, как наш. Не мечта сие, но взор мой проникает завесу времён! Я зрю сквозь целое столетие! Будет революция в России, будет! Ну а теперь казните, убейте...

Упал на кресло в изнеможении.

– Выпей, выпей, – опять налил государь воды в стакан. – Хочешь каплей?

Сбегал за каплями, отсчитал в рюмку. Совал ему английской соли и спирта под нос. Рылеев хотел вытереть пот с лица, искал платка, не нашёл. Государь дал ему свой. Хлопотал, суетился, ухаживал. В движениях тонкого, длинного, гибкого тела была змеиная ласковость. «Стень, стень! Оборотень!» – думал Рылеев с ужасом.

– Ах, Боже мой! Ну, разве можно так? Ну, полно же, полно! Приляг, отдохни. Хочешь вина, чаю? Закусить, поужинать?

– Ничего не надо! – простонал Рылеев и подумал с тоскою: «Когда же это кончится, Господи!»

– Можешь выслушать? – спросил государь, опять придвинул кресло, уселся и начал:

– Ну, спасибо за правду, мой друг, – взял обе руки его и пожал крепко. – Ведь нам, государям, все лгут, в кои-то веки правду услышишь. Да, всё правда, кроме одного: немцем на престоле российском не буду. Если и был, так больше не буду. Бабка моя, императрица Екатерина, тоже немка была, а взошла на престол и сделалась русскою. Так вот и я. *Personne n'est plus russe de soeur que je ne le suis* [76], – сказал по-французски, но тотчас поправился: – Мы оба с тобою русские – и я, Государь, и ты, бунтовщик. Ну, скажи на милость, разве могли бы говорить так, как мы с тобой, нерусские?

Что-то подобное бледной улыбке промелькнуло в лице Рылеева.

– Ну, что? – заметил её государь и тоже улыбнулся. – Говори, не бойся, – сам видишь, правды со мной бояться нечего.

– Вы очень умны, государь.

– А-а, дураком считал! Ну вот, видишь, значит, хоть в этом ошибся. Нет, не дурак. Понимаю, что плохо в России. Я сам есмь первый гражданин отечества. Никогда не имел другого желания, как видеть Россию свободною, счастливою. Да знаешь ли ты, что я, ещё великим князем, либералом был не хуже вашего? Только молчал и таил про себя. С волками жить – по-волчьи выть. Вот и выл с Аракчеевым. Чем хуже, тем лучше. Вам помогал. Ну, говори же, только правду,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
всю правду, чего вы хотели – конституции? Республики?

«Ну, конечно, лжёт! Стень, стень, оборотень!» – опять подумал Рылеев с ужасом. Но сильнее ужаса было любопытство жадное: «А ну-ка, попробоваться, – не поверить, а только сделать вид, что верю?»

– Что ж ты молчишь? Не веришь! Боишься?

– Нет, не боюсь. Я хотел республики, – ответил Рылеев.

– Ну, слава Богу, значит, умён! – опять крепко пожал ему обе руки государь. – Я понимаю самодержавие, понимаю республику, но конституцию не понимаю. Это образ правления лживый, лукавый, развратный. И я предпочёл бы отступить до стен Китая, нежели принять оный. Видишь, как я с тобой откровенен, – плати и ты мне тем же!

Помолчал, посмотрел на него и вдруг схватился за голову.

– Что ж это было? Что ж это было? Господи! Зачем? Своего не узнали? Всех обманул – и вас. На друга своего восстали, на сообщника. Пришли бы прямо, сказали бы: вот чего мы хотим. А теперь... Послушай, Рылеев, может, и теперь ещё не поздно? Вместе согрешили, вместе и покаемся. Бабушка моя говаривала: «Я не люблю самодержавия, я в душе республиканка, но не родился тот портной, который скроил бы кафтан для России». Будем же вместе кроить. Вы – лучшие люди в России: я без вас ничего не могу. Заключим союз, вступим в новый заговор. Самодержавная власть – сила великая. Возьмите же её у меня. Зачем вам революция? Я сам – революция!

Как скользящий в пропасть ещё цепляется, но уже знает, что сорвётся и полетит, так Рылеев ещё ужасался, но уже радовался.

И глаза государя блеснули радостью.

– Погоди, не решай, подумай сначала. Так говорить, как я, можно только раз в жизни. Помни же: не моя, не твоя судьба решается, а судьба России. Как скажешь, так и будет. Ну, говори, хочешь, вместе? Хочешь? Да или нет?

Протянул руку. Рылеев взял её, хотел что-то сказать и не мог: горло сжала судорога. Слёзы поднимались, поднимались и вдруг хлынули. Сорвался – полетел, поверил.

– Как я... Что я сделал! Что я сделал! Как мы все... нет, я, я один... Всех погубил! Пусть же на мне всё и кончится! Сейчас же, сейчас же, тут же на месте, казните, убейте меня! А тех, невинных, помилуйте...

– Всех, всех, и тебя и всех! Да и миловать нечего: ведь я ж тебе говорю – вместе! – сказал государь, обнял его и заплакал, или так показалось Рылееву.

– Плачете? Над кем? Над убийцею? – воскликнул Рылеев и упал на колени; слёзы текли всё неутолимее, всё сладостней; говорил как в бреду; похож был на пьяного или безумного. – Именины Настенькины вспомнили! Знали, чем растерзать! Вот вы какой! Чувствую биение ангельского сердца вашего! Ваш, ваш навсегда! Но что я, – пятьдесят миллионов ждут вашей благости. Можно ли думать, чтобы государь, оказывающий милости убийцам своим, не захотел любви народной и блага отечеству? Отец! Отец! Мы все, как дети, на руках твоих! Я в Бога не веровал, а вот оно, чудо Божье – помазанник Божий! Родимый царь батюшка, красное солнышко...

– А нас всех зарезать хотел? – вдруг спросил государь шёпотом.

– Хотел, – ответил Рылеев тоже шёпотом, и опять давешний ужас сверкнул, как молния, – сверкнул и потух.

– А кто ещё?

– Больше никого. Я один.

– А Каховского не подговаривал?

– Нет, нет, не я, – он сам.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

– А-а, сам. Ну а Пестель, Муравьев, Бестужев? Во второй армии тоже заговор? Знаешь о нём?

– Знаю.

– Ну, говори, говори всё, не бойся – всех называй. Надо всех спасти, чтобы не погибли новые жертвы напрасные. Скажешь?

– Скажу. Зачем сыну скрывать от отца? Я мог быть вашим врагом, но подлецом быть не могу. Верю! Верю! Сейчас ещё не верил, а теперь... видит Бог, верю! Всё скажу! Спрашивайте!

Он стоял на коленях. Государь наклонился к нему, и они зашептались, как духовник с кающимся, как любовник с любовницей.

Рылеев всё выдавал, всех называл – имя за именем, тайну за тайной.

Иногда казалось ему, что рядом, на двери, шевелится занавес. Вздрагивал, оглядывался. Раз, когда оглянулся, государь подошёл к двери, как будто сам испугался, не подслушал бы кто.

– Нет, никого. Видишь? – раздвинул занавес так, что Рылеев почти увидел – почти, но не совсем.

– Ну что, устал? – заглянул в лицо его и понял, что пора кончать. – Будет. Ступай отдохни. Если что забыл, вспомни к завтраму. Да хорошо ли тебе в каземате, не темно ли, не сыро ли? Не надо ли чего?

– Ничего не надо, ваше величество. Если бы только с женой...

– Увидитесь. Вот уже кончим допрос, и увидите. О жене и о Настеньке не беспокойся. Они – мои. Всё для них сделаю.

Вдруг посмотрел на него и покачал головой с грустной улыбкой.

– И как вы могли?.. Что я вам сделал? – отвернулся, всхлипнул уже почти непритворно, над самим собою сжалился: «*rauvre diable*», «бедный малый», «бедный Никс».

– Простите, простите, ваше величество! – припал к его ногам Рылеев и застонал, как насмерть раненный. – Нет, не прощайте! Казните! Убейте! Не могу я этого вынести!

– Бог простит. Ну, полно же, полно, – обнимал, целовал его государь, гладил рукой по голове, вытирал слёзы то ему, то себе общим платком. – Ну, с Богом, до завтраго. Спи спокойно. Помолись за меня, а я – за тебя. Дай перекрещу. Вот так. Христос с тобой!

Помог ему встать и, подойдя к двери во флигель-адъютантскую, крикнул:

– Левашов, проводи!

– Платок, ваше величество, – подал ему Рылеев.

– Оставь себе на память, – сказал государь и поднял глаза к небу. – Видит Бог, я хотел бы утереть сим платком слёзы не только тебе, но и всем угнетённым, скорбящим и плачущим!

Уходя, Рылеев не заметил, как из-за тяжёлых складок той занавески, которая шевелилась давеча, появился Бенкендорф.

– Записал? – спросил государь.

– Кое-чего не расслышал. Ну, да теперь кончено, – все имена, все нити заговора. Поздравляю, ваше величество!

– Не с чем, мой друг. Вот до чего довели, сыщиком сделался!

– Не сыщиком, а исповедником. В сердцах читать изволите. Как у апостола о слове Божьем сказано: «Острее меча обоюдоострого проникает до разделения

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org души и духа, составов и мозгов...»

«Присылаемого Рылеева содержать на мой счёт, – писал государь крепостному коменданту Сукину. – Давать кофий, чай и прочее, а также для письма бумагу, и что напишет, ко мне приносить ежедневно. Дозволить ему писать, лгать и врать по воле его».

– А платочек-то, платочек на память! – всхлипнул Бенкендорф и поцеловал государя в плечо. Тот взглянул на него молча и не выдержал – рассмеялся тихим смехом торжествующим. Чувствовал, что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого.

Всё ещё боялся и ненавидел, не утолил жажды презрения, но уже надеялся, что утолит.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

Голицын выздоравливал так быстро, что все удивлялись и приписывали это чудесному искусству доктора. Но сам больной знал, что не доктор лечит его, а Маринька. Глядя на неё, как будто пил живую воду, и, казалось, если б умирал, воскрес бы из мёртвых.

Дней через пять после того утра, когда в первый раз очнулся, начал уже вставать и бродить по комнате.

Однажды бабушкин дворецкий, Ананий Васильич, доложил фома Фомичу, что какой-то «малый» хочет видеть князя, а фамилии не сказывает.

– С виду какой? – спросил фома Фомич.

– Бог его знает, мужик не мужик, барин не барин, а будто ряженный.

«Шпион!» – подумал фома Фомич и решил:

– Гони его в шею!

– Гнал, – не идёт. «Непременно, – говорит, – нужно по делу, для самого его сиятельства важнейшему».

фома Фомич сошёл в сени и увидел молодого человека, высокого, худого, бледного, с чёрной бородою, в нагольном тулупе, в засаленном картузе и тёплых валенках, не то лавочного сидельца, не то мелкого подрядчика.

– Князь болен, мой милый, принять тебя не может, – сказал старичок неуверенно: тоже не мог догадаться, с кем говорит, с мужиком или барином. – Да ты... вы кто такой будете?

– Очень нужно, очень, – повторял молодой человек, но фамилии своей не называл.

– Ну, ступай, брат, ступай с Богом! – рассердился наконец фома Фомич и начал его выпроваживать. Но тот упирался, не шёл.

– Вот, передайте князю, я подожду, – сунул ему записку. – Да вы, сударь, не извольте беспокоиться: я не то, что вы думаете, а даже совсем напротив, – улыбнулся так, что фома Фомич вдруг поверил, взял записку и отнёс к Голицыну.

На клочке бумаги нацарапано было карандашом по-французски, неразборчиво:

«Очень нужно вас видеть, Голицын. Извольте принять. Не уйду. Уничтожьте записку».

Подписи не было, и почерк был незнакомый. Голицын велел принять.

Когда молодой человек вошёл в комнату, он сначала не узнал его; но, взглядевшись в бледно-голубые, навывкате, глаза, грустные и нежные, бросился к нему на шею:

– Кюхля!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– А что, не узнали, Голицын?

– Да скиньте бороду! Скиньте бороду! Настоящий жид!

– Нельзя, приклеена.

Когда Фома Фомич, успокоенный, вышел, Голицын усадил гостя и запер дверь.

– Ну, рассказывайте.

И Кюхельбекер начал рассказывать. Почти все заговорщики схвачены, а кого не успели схватить, те сами являются. Назначена Верховная Следственная Комиссия, но государь сам ведёт дело. Пощады не будет: одних казнят, других сошлют или в тюрьмах сгноят.

– Все живы? – спросил Голицын.

– Все. Никто даже не ранен.

– Чудеса. А под каким огнём стояли!

«Может быть, это недаром? – подумал он. – Может быть, судьба хранит нас для подвига большего, чем смерть?»

– Ну а как насчёт Южной армии и Кавказского корпуса?

– Всё вздор. Нет, Голицын, нам больше надеяться не на что, – кончено.. Ну а теперь главное: хотите со мной бежать?

– С вами, Кюхля? Ну, ещё бы! С кем и бежать, как не с вами! Вы человек ловкий, никогда никаких приключений.. Полно, мой друг: вас первый же будочник сцапает.

– Не смейтесь, Голицын. Дело серьёзное. Всё уже готово: пачпорт, деньги и люди верные. Знаете актёра Пустошкина, в Александрийском театре, в водевилях играет? Бороду достанет вам не хуже моей, и парик, и мужицкое платье. Только бы через заставу пробраться, а там, с хлебным обозом, в Архангельск. До открытия навигации будем скрываться на островах, у лоцманов, а потом на аглицком аль на французском судне – за море. А то можно и в Варшаву: жидки-контрабандисты через границу переправляют за две беленьких. Сначала – в Париж, а оттуда хорошо бы и в Венецию..

– В Венецию! – рассмеялся Голицын. – А знаете, что одна московская барыня говорила о Венеции: «Конечно, – говорит, – климат здесь хорош, но жаль, что не с кем сразиться в преферансик». Так и вы соскучитесь. Нет, Кюхля, без России не проживёте!

– Проживу. Мы и в России чужие. Не отечество оплакиваем, а по отечеству плачем; носим траур не по умершему, а по нерождённому. Не знаю, как для вас, Голицын, а для меня вся Россия сейчас опоганена, окровавлена. Чёрные дни наступили, и уж это надолго – на пятьдесят, а может, и на сто лет. Успеем умереть в глухой пустыне, вдали от Святой земли, от Сиона, где можно жить и петь песни высокие.

Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песен не поют.  
Ну, так как же, мой друг, не хотите?

– Нет, Кюхля, что-то не хочется. Да и куда больному зимой по морозу тащиться!

– Ну, как знаете. А всё-таки подумайте, – может быть, и решите? Я ещё зайду.

– Заходите, подумаю, – сказал Голицын, чтобы только отделаться, и злая мысль мелькнула у него: «Немец – оттого и бежит». Но он тотчас устыдился, и они простились так же нежно, как встретились.

Когда гость ушёл, Голицын задумался – не о бегстве, а о том, что будет, когда его схватят. Ещё ни разу не думал об этом как следует. Не заглядывал в будущее, жил со дня на день, как в колыбели убаюканный, в своей весёлой,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org жёлтой комнате, и казалось, весь мир для него кончается деревьями старого сада, опушёнными инеем. Иногда ловил себя на глупой надежде: может быть, и не схватят; старый дом – убежище верное: как на дне морском, не сыщут. Притаится, переждёт, а потом уедет с Маринькой в Черёмушки или ещё дальше куда-нибудь, на край света; женится на ней, пойдёт к чёрту политику и будет просто счастлив.

Но вот, когда Кюхля ушёл, понял вдруг, что схватят наверное; и тогда что будет с Маринькой?

Вспомнился вчерашний разговор с Ниной Львовной.

Сорокалетняя институтка, воспитанная на чувствительных романах Сюза и Жанлис, в делах житейских госпожа Толычёва была, как дитя малое. Узнав от Фрындина о выкупе Черёмушек и видя, что Голицын ухаживает за Маринькой, несказанно обрадовалась. Но не понимала, почему он не говорит о своих чувствах к дочери с ней, с матерью; считала это неприличным. А когда узнала об его участии в бунте, испугалась. Долго таилась, молчала и ждала, не заговорит ли он сам; наконец не выдержала.

Начала издали – о своём беспомощном вдовстве и сиротстве Мариньки, о доверии к Голицыну и к чистоте его намерений, а в заключение спросила неожиданно прямо, в упор:

– Как вы думаете, князь, благополучно ли кончится для вас это дело?

– Какое дело? – сразу понял он, но притворился непонимающим: было стыдно и страшно: «Как будто соблазнил дочь, и мать это знает».

– Да вот это ужасное происшествие четырнадцатого. Простите, что я так прямо. Но ведь я – мать. А вы – человек благородный, чувствительный: вы должны понять сердце матери. Говорите же, говорите, Валерьян Михайлович, решайте нашу судьбу!

– Извольте, Нина Львовна. Вы прямо спросили, и я прямо отвечаю. Нет, дело это для меня благополучно не кончится: разыщут, схватят, будут судить и присудят если не к плахе, то к тюрьме или каторге.

Она побледнела так, что он испугался, как бы ей не сделалось дурно.

– А как же Маринька? – всплеснула руками и заплакала. – Что же делать? Что же делать? Помогите, князь, посоветуйте.

В лице её промелькнуло сходство с плачущей Маринькой. Голицын взял её руки и поцеловал их с почтительной нежностью.

– Я очень виноват перед вами, Нина Львовна. Но даю вам слово: я сделаю всё, что могу, чтобы Марья Павловна забыла обо мне, а вы поскорее уезжайте с нею в Черёмушки.

На этом разговор их кончился. И вот теперь, вспомнив о нём, понял он, что взял на себя непосильную тяжесть. «Сделаю, чтобы забыла обо мне», – легко сказать. Чем больше думал, тем больше чувствовал себя виноватым какою-то виною неискупимую. Ничего не знающую девочку, почти ребёнка, влечёт за собою на муку, которой, может быть, и сам не вынесет. Ухватился за неё, как утопающий, и тащит ко дну. Или как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, бросился в колодец, повис на суку, рвёт ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Сидел у окна в жёлтой комнате. Был двенадцатый час, но ещё не рассвело как следует. Вьюга залепила окна снегом. Старые деревья сада качались, шумели. Ветер выл в трубе заунывно-жалобно. И вспомнилось ему, как тогда, после расстрела на площади, он пошёл на Галерную и, стоя под огнём картечи, в узкой, тёмной улице, звал смерть: «Да ну же, ну, скорее!» – и тоска напала на него пуще смерти. «Убить себя!» – подумал, вынул пистолет из кармана, приложил дуло к виску и взвёл курок, но вспомнил о Мариньке и отнял руку. Зачем отнял?

– О чём задумались? – услышал голос Мариньки и дрогнул. Она вошла так тихо, что он не слышал. Улыбнулся ей, как всегда улыбался, когда она входила в комнату, но ничего не ответил.

У стены висела шинель, та самая, в которой он был на площади. Маринька сняла шинель, присела к рабочему столику и принялась штопать маленькие круглые дырочки, пробитые пулями.

- Должно быть, гость расстроил? Кто такой? – спросила, не подымая глаз.
- Старый приятель, Вильгельм Карлович Кюхельбекер.
- Тоже был с вами на площади?
- Да.
- О чём же говорили, не секрет?
- Предлагал бежать.
- Ну, а вы?
- Я не хочу.
- Почему?
- Я без России не могу... и без вас.
- Почему без меня? Я с вами.
- А Нина Львовна?
- И маминька с нами. А если не захочет, всё равно, без неё. Куда вы, туда и я. Видите, иголка и нитка? Куда иголка, туда и нитка.

Он молча следил, как быстро мелькает иголка в тонких пальцах. Спокойно и весело штопала круглые дырочки.

- Я всё думаю, Маринька, что с вами будет, когда меня схватят?
- Может, ещё и не схватят?
- Нет, схватят наверное.
- Ну что ж, и со мной будет, что с вами, – ответила она спокойно, как будто всё уже давно решила.

Опять помолчали.

- Маринька, сделайте, о чём я вас попрошу.
- Что?
- Обещайте.
- Зачем? Вы и так знаете, что сделаю.
- Всё?
- Ну, конечно, – улыбнулась она своей милой улыбкой, которую он так любил.

Подождал, собрался с духом.

- Уезжайте поскорее в Черёмушки, – сказал наконец решительно.

Она остановила руку с иголкой, подняла глаза и посмотрела на него долго, внимательно, но всё так же спокойно, как будто не понимала и старалась понять.

- А как же вы без меня?
- Мне легче так.
- Одному легче?



Он молча кивнул головой.

– Неправда. Зачем вы говорите неправду?

– Нет, правда.

Посмотрела на него ещё внимательнее, спокойнее и вдруг поняла.

– Ну, хорошо. Только и вы сделайте, о чём попрошу. Скажите, что не любите меня... н е т а к любите.

– Как – не так?

– А вот как; если сжать руку – больно, а если задеть за рану – нестерпимо. Я так люблю, а вы не так? Только скажите «не так» – и уеду.

Спокойная решимость была в её лице и голосе. Он понял, что она говорит правду: если скажет сейчас эти два слова: «не так», – она уедет, и всё будет кончено.

Помолчала, подождала; потом вдруг встала, подошла к нему, наклонилась, обняла голову его и поцеловала в лоб.

– Глупенький! Господи, какой вы у меня глупенький! – улыбнулась, как тогда, во время болезни; и опять показалось ему, что он в самом деле глупенький, маленький, а она – большая: вот возьмёт его на руки и понесёт, как мать носит ребёнка.

Вернулась к рабочему столику и снова принялась штопать.

– Ну а теперь извольте рассказывать, что вы такое наделали. Я хочу знать всё.

– Да что же рассказывать, Маринька? Ведь это политика, прескучная материя...

– Не моего ума дело? Ну, ничего, – может, и пойму.

«Говорить о политике с восемнадцатилетнею барышней, вот наказание!» – подумал он и начал нехотя, чтобы только поскорее отделаться: был уверен, что она ничего не поймёт. И, пока был в этом уверен, она в самом деле не понимала; задавала вопросы такие детские, что он становился в тупик, не знал, что ответить.

– Вот видите, дура какая! – смеялась. – Раз кавалер на балу спросил уездную барышню, что она читает. «Я, – говорит, – читаю розовенькую книжку, а сестра моя – голубенькую». Вот и я такая же!

Но когда он начал рассказывать о Софье Нарышкиной, она вся насторожилась и глаза её блеснули так, что он подумал: «Ревнует».

– А ведь вы её и сейчас, как живую, любите?

– Как живую.

– Её и меня вместе?

– Вместе.

Немного подумала и спросила:

– Портрет есть?

– Есть.

– Покажите.

Он снял с шеи медальон с портретом Софьи. Она взяла его и долго смотрела на него молча, потом вдруг поцеловала и заплакала.

– Какая я злая девчонка, скверная! – улыбнулась сквозь слёзы. – Ну,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org конечно, вместе... вместе любить вас будем!

– А знаете, Маринька, розовенькую-то книжку, кажется, не вы читали, а я... Все умные люди – дураки ужасные! – улыбнулся он тоже сквозь слёзы. Теперь уже знал, что она всё понимает, видит всё изнутри, как будто входит сердцем в сердце.

О том, что замышлял убить отца Софьи, императора Александра Павловича, всё-таки страшно было сказать. Хотел утаить, но не мог – сказал и об этом. Сначала не поверила; допытывалась, как будто не понимала:

– Её отца убить хотели? И она это знала?

– Знала.

– Быть не может! – всплеснула руками горестно. – Ох, не надо об этом! Не говорите. Я сейчас не пойму – лучше потом...

Иногда входили в комнату и мешали им; но только что они оставались одни, она торопила его:

– Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что же дальше?

Когда стемнело и зажгли свечи – перешли в голубую диванную, ту самую, где виделись в последний раз перед четырнадцатым. Здесь уже никто не мешал.

Маринька села на то же место, как тогда, у окна, где стояли пядьцы с начатой вышивкой, белым попугаем на зелёном поле – Потапом Потапычем; жёлтый хохолок его так и остался неоконченным. В углу тускло горела карселевая [77] лампа в матовом шаре, а от окон падали на пол косые четырёхугольники лунного света. К вечеру вьюга затихла. Разорванные тучи, то тёмные, то светлые, с отливом перламутровым, неслись по небу как привидения; и прозрачные цветы мороза на окнах искрились голубыми сапфирами.

Голицын рассказывал о Южном тайном обществе, о Сергее Муравьёве и его Катехизисе. И по тому, как Маринька слушала, чувствовал, что она понимает, что это для него главное.

– «Цари прокляты суть Богом, яко притеснители народа, – читал наизусть слова Катехизиса. – Для освобождения родины должно ополчиться всем вместе против тиранства и восстановить веру и свободу в России. Раскаемся в долгом раболепствии нашем и поклянёмся: да будет один царь на небеси и на земли – Иисус Христос».

– Да ведь Христос на небе? – простодушно удивилась она.

– И на земле, Маринька.

– Где же на земле? Что-то не видно, – удивилась ещё простодушнее.

– Оттого и не видно, что вместо царя Христа царь Зверь. Надо Зверя убить.

– Для Христа, убивать разве можно?

Давеча боялся, что она не поймёт; и вот теперь было страшно, что слишком хорошо понимает. Восемнадцатилетняя девочка, почти ребёнок, обличала последнюю тайну, последнюю муку его.

Вдруг встала, наклонилась, положила ему руки на плечи и заглянула в глаза.

– Валерьян Михайлович, во Христа-то вы веруете?

– Что вы, Маринька...

– Веруете? да?

– Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рождённого прежде всех век, – произнёс Голицын торжественно.

– Ну, слава Богу! – вздохнула она с облегчением и перекрестилась. – А то

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
все говорят: бунтовщики – безбожники. Вот я и подумала... Уж вы на меня не сердитесь, сама знаю, что дура! Папенька, бывало, сказывал: «Не всему верь, что люди говорят; своим умом живи». Да своего ума-то нет, вот горе!

Замолчала, задумалась, как будто стараясь что-то вспомнить.

– Ах, вот на кого похоже! – вдруг вспомнила радостно. – Погодите-ка, что я вам покажу...

Выбежала и вернулась с маленькой книжкой в чёрной коже, тиснённой золотом, – одним из тех альбомов, в которых уездные барышни записывали стихи на память. На первой странице – Амур в виде пастушка, сидящий над речкой, а внизу стихи:

Теперь уж всё изменой дышит,  
Теперь нет верности нигде:  
Амур, смеясь, клятвы пишет  
Стрелю на воде.

И тут же комплимент: «Ваши чёрные глаза, Marie, носят траур по тем, кого белого света лишили».

Отыскала страницу и указала. Он прочёл поплёкшие строки, написанные крупным и круглым старинным почерком:

«Дочери моей возлюбленной Мариньке. Да пошлёт тебе Господь спутника жизни, не богатого и не знатного, но доблестью сердца украшенного, по сему изречению Российского автора преизящнейшего, Александра Николаевича Радищева.

Если бы закон, или государь, или какая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в одной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою, – и поживёшь на памяти благородных душ до скончания веков.

Павел Тольчѳв».

– Господин Радищев папенькин друг был, – похвастала она и перевернула страницу. – А вот ещё.

Он прочёл:

Помни, Мария,  
Слова преблагая  
С е м я Ж е н ы с о т р ѳ т г л а в у З м и я .  
Александр Лабзин

– Тоже приятель папенькин, – опять похвастала.

– Так вот вы чья крестница – Лабзина и Радищева! – улыбнулся ей Голицын радостно. Ему казалось, что они породнились новым родством таинственным.

– А вы думали что! – засмеялась она и зарделась. – Ну, рассказывайте, рассказывайте! Что же дальше?

Когда он рассказал о том, как четырнадцатого на площади Николай расстрелял толпу безоружную, – она прошептала, бледнея:

– Да, убить зверя!

«А разве можно убивать для Христа?» – теперь уже не спросила. И он почувствовал, что не только поняла, но и приняла всё до конца, – и в этой последней тайне, последней муке уже никогда не покинет его ни перед судом человеческим, ни перед Божьим судом.

Когда он окончил, Маринька под села к нему на ручку кресла и, как тогда, во время болезни, прижалась щекой к щеке. Оба молчали, глядя, как разорванные тучи несутся по небу, луна то выходит, то прячется, и цветы мороза на окнах то потухают, то искрятся голубыми сапфирами.

– А помните, Маринька, вы говорили, что любить землю – грех, надо любить небесное?

– Нет, что-то не помню. Постойте-ка... Ах да, ночью, в возке, когда из Москвы ехали. Как это вы вспомнили? Ну, так что же?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

– Да ведь отечество – тоже земля. А разве любовь к отечеству – грех?

– Ну, что вы! Должно быть, глупость сказала?

– Нет, не глупость, а только не всё. Ну, да всего-то, пожалуй, никто об этом не знает...

Он говорил спокойно. Но Маринька почувствовала опять, как давеча, что это для него главное. Подняла голову и заглянула в глаза его.

– Никто не знает о чём? – спросила шёпотом.

– О земле и о небе. Как землю и небо вместе любить, – ответил он тоже шёпотом.

– Вместе? – повторила и помолчала, подумала. – Да ведь вы же меня и Софью вместе любите?

Опять помолчала, ещё глубже задумалась. Потом заговорила с таким выражением лица, какого он никогда не видел у неё.

– Раз, давно-давно, как во сне помню, – я совсем была маленькой, – мы с папенькой в лодке катались. Мельница у нас, в Черёмушках, под самой усадьбой; речка плотиной запружена; вода тихая, гладкая, как зеркало. Долго катались, до вечера; уж и солнце зашло, и ночь скоро. А вода ещё тише, будто и нет её вовсе, один только воздух, – по воздуху плаваем. Облака на небе большие, круглые, белые, и сквозь них – звёзды. И внизу, под нами, тоже облака и звёзды. Будто два неба – одно вверху, другое внизу, а мы – посередине. Страшно и хорошо. Так хорошо, вот как сейчас с вами... Ведь это – то с а м о е? Ну, скажи, скажи, что не то?

– То, Маринька, то!

И оба замолчали: слов больше не было – кончились, как узкая тропинка над пропастью. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча. Улыбки сближались, сближались – и наконец слились в поцелуй.

Когда он опомнился, она уже стояла у окна и что-то говорила ему; он долго не мог понять что. Наконец понял.

– Помнишь, накануне Четырнадцатого, ты говорил, что и за меня идёшь на смерть? Почему и за меня? Я тебя тогда спросила, а ты не сказал.

– Потому что за Россию. А ведь и ты тоже... Маринька, знаешь, кто ты?

– Ну, кто?

Он ничего не ответил и взглянул на неё: вся белая, в белом свете луны, на голубизне сапфировой лунно-морозных цветов, она – не она, близкая и далёкая, земная и небесная.

– Ну, кто же я? – взглянула на него украдкой и тотчас снова потупилась: жутко стало, как будто он смотрел не на неё, а сквозь неё на другую.

Что-то пронзило сердце его, как молния. Он опустил на колени.

– Родная! Родная! Родная! – повторял, как будто в одном этом слове было всё, что он чувствовал, и целовал её ноги.

Как в последнем пределе земля и небо – одно, так Софья с Маринькой; обе вместе – земная и небесная; и в обеих – Одна-Единственная.

Он уже ничего не боялся – ни цепи, ни пытки, ни плахи. Знал, что Она оградит от всего – Стена Нерушимая. Заступница Вечная, Радость Нечаянная. И если пошлют в ад, Она сойдёт к нему и туда, во тьму кромешную, – и тьма будет светом. И Семя Жены сотрёт главу Змия.

7 января, в первый день, когда можно было венчаться после Рождественского поста, Голицын повенчался на Мариньке, а в следующую ночь был арестован.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Хорошо, всё хорошо!» – думал Голицын, глядя на зелёную, закоптелую и запачканную стену. Длинная, узкая, тёмная, без окон, вроде чулана, с нависшими сводами, караульная гауптвахта, в нижнем этаже Зимнего дворца, освещалась через стеклянную дверь из коридора. У двери стоял часовой и заглядывал; все проходившие – тоже. Чтобы избавиться от взглядов, Голицын сел спиной к двери и уставился глазами в стену.

Вторую ночь проводил на жёстком, шатком соломенном стуле, кутаясь в шинель от холода. Ноги затекли, спина болела. Хотел лечь на старый кожаный диван, но клопы одолели. Пробовал лечь на пол, подостлав шинель, но из-под двери и от поленницы неоттаявших дров, сваленных тут же, в углу, у нетопленной печки, несло таким холодом, что боялся простуды: всё ещё был не очень здоров. Опять пересел на стул, покорился: «Хорошо и так, всё хорошо!»

Вспомнил, как давеча, когда вели на гауптвахту и он замедлил шаг на тёмной лестнице, один из конвойных ударил его по плечу ружейным прикладом; он оглянулся: солдат, молодой парень с курносым, безусым и безбровым лицом, тоже посмотрел на него подслеповатыми глазками, исподлобья, угрюмо, но незлобиво: «Ну, ну, чего зеваешь, сукин сын, пошевеливайся!» «И это хорошо», – вспомнив, подумал Голицын.

А когда ввели в караульную, дежурный фельдфебель, пропахший насквозь тютюном и водкою, начал обыскивать. Жирные пальцы, с рыжими волосами и веснушками, ползали по телу, шарили, щупали. Отнял медальон с портретом Софьи. Руки связал верёвкой за спину так туго, что верёвка врезалась в тело. Поутру кто-то из караульных офицеров сжалился, велел развязать. Но руки и теперь ещё болели. Голицын поднял их и посмотрел на следы от верёвок – запястья красные. «И это хорошо!» – подумал.

«А ведь Маринька уже не Маринька, а княгиня Марья Павловна Голицына», – вдруг вспомнил и удивился радостно. Всё ещё не понимал, как это случилось. «Завтра венчаемся», – объявила ему накануне. Он возражал, удивлялся, зачем так скоро, просил подождать. Но ничего и слышать не хотела; решила: завтра – и кончено. Всё уже давно обдумала, устроила вместе с фомой Фомичом, тайком от маменьки и от самого жениха. Никто ничего в доме не знал, даже из слуг, кроме старого дворецкого, Анания Васильевича. Бабушка лежала больная, а Нина Львовна уехала с утра на целый день в гости к старой подруге по Смольному на другой конец города. Старенький священник инвалидного дома, что у Семёновских казарм, полковой однокашник Фомы Фомича, о. Стахий, «мастер крутить свадьбы на фельдъегерских», повенчал их в домово́й церкви, тут же, в бабушкином доме.

Голицын покорялся, но ничего не понимал. Во время венчания «столбом стоял», как пошутил Фома Фомич. В крошечной церковке вроде часовни было душно от свечей и ладана; голова кружилась; боялся, как бы не сделалось дурно.

Устал, лёг рано. Ночью, когда уже спал, Маринька потихоньку, на цыпочках, вошла к нему в комнату, присела на край постели, наклонилась, обняла и разбудила поцелуем; никогда ещё не целовала так; он чувствовал, что в этом поцелуе отдала ему душу. «Теперь хорошо, всё хорошо! Не понимаешь?» – шепнула на ухо и, прежде чем он успел опомниться, освободилась из его объятий, убежала в спальню к маменьке. А он опять заснул крепко, сладко и глупо; засыпая, так и подумал, что спать в такую ночь – глупо.

А на следующую ночь его арестовали. Когда обер-полицеймейстер Шульгин с фельдъегерем и четырьмя конвойными вывели арестанта в сени, Маринька выбежала к нему полуодетая; едва успела обнять его, перекрестить, шепнуть на ухо: «За меня не бойся, думай только о себе. Храни тебя Матерь Пречистая!» А когда он уже сходил по лестнице – нагнулась через перила, посмотрела на него в последний раз: ни страха, ни скорби в глазах её не было, а только сила любви бесконечная. На кого похожи были эти глаза, он всё хотел вспомнить и не мог.

Надоело глядеть на стену, облокотился на стол, закрыл глаза и начал думать. Как тогда, во время болезни, шептал умиленно-восторженно: «Маринька... маменька!» – и казалось, что она берёт его на руки, качает, баюкает.

Проснулся от стука ружей и звяканья шпор. Думал, что много проспал, а всего

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
минут десять. Был девятый час вечера.

– Арестанта к государю императору! – сказал чей-то голос.

Окружили конвойные и повели по бесконечным коридорам и лестницам. Вошли в ряд зал, увешанных картинами. Он узнал Эрмитаж. В большой зале горело такое множество свечей, что он подумал: «Бал тут, что ли?» Потом сообразил, что свет нужен для того, чтобы следить за малейшими изменениями лиц во время допроса арестованных. Внизу светло, а вверху – зияющее сквозь стеклянный потолок ночное небо, бездонно-чёрное.

В углу, у стены, под «Святым Семейством» Доминикино, за раскрытым ломберным столиком с бумагами, чернильницей и перьями, сидел молодой человек в мундире лейб-гвардии гусарского полка, узком, красном, с густыми золотыми нашивками, генерал-адъютант Левашов.

Конвойные подвели Голицына к столику; двое стали у дверей, с саблями наголо.

– Прошу садиться, князь, – сказал Левашов, привстал, поклонился с любезностью – руки, однако, не подал – и указал на кресло. – Кажется, у князя Александра Николаевича, дядюшки вашего, встречались, – заговорил по-французски, с таким видом, как будто они были не арестант и сыщик, а два гостя, которые в чужом доме встретились и болтали в ожидании хозяина.

– Служить изволили?

– Служил.

– В каком полку?

– В Преображенском.

– Давно в отставку вышли?

– Года два.

Голицын вглядывался в Левашова: лицо не злое, не доброе, а только равнодушное; глаза не глупые, не умные, а только чуть-чуть плутоватые. Светский, ловкий молодой человек, лихой гусар, должно быть, отличный танцор и наездник; «добрый малый», из тех, которые сами живут и другим жить не мешают.

Голицын поднял руки и показал ему следы от верёвок. Левашов поморщился:

– Опять перестарались. Сколько раз им сказывал!

– У вас тут всем руки связывают?

– Почти всем. Такой уж порядок. Что прикажете – караульный дом.

– Съезжая?

– Вроде того.

– Вольно же вам из дворца делать съезжую!

Левашов ничего не ответил.

– Ну-с, приступим, – начал и любезное выражение лица переменил на деловое, не строгое, а только скучающее и немного брезгливое, как будто понимал, что работа не совсем чистая. Взял лист бумаги, очинил перо и обмакнул в чернильницу.

– Государю императору Николаю Павловичу присягать изволили?

– Нет, не присягал.

– Почему же-с?

– Потому что присяга происходит с такими обрядами и с такою клятвою, что я

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org считал её для себя неприличною.

- И никому присягать не будете?
- Никому.
- Как же без присяги-с? Ведь в Бога веруете?
- Верую.
- А присяга от Бога?
- Нет, не от Бога.
- Ну, спорить не будем. Так и записать прикажете?
- Так и запишите.

Лицо Левашова сделалось ещё равнодушнее.

- Вы очень себе вредите, князь, очень-с. Подумайте.
- Я всю жизнь, ваше превосходительство, только и думал об этом.
- И вот что придумали?
- Да, вот что.

Левашов усмехнулся, пожал плечами, привычно ловким движением закрутил свой тонкий ус, записал и продолжал с видом ещё более скучающим:

- Принадлежали к Тайному обществу?
- Принадлежал.
- Какие же вам известны действия оного?
- Никаких.

Левашов помолчал, посмотрел на кончик пера, снял соринку и поднял глаза на Голицына.

- Не думайте, князь, чтобы правительству ничего не было известно. Мы имеем точные сведения, что происшествие четырнадцатого – только преждевременная вспышка, и что вы должны были ещё в прошлом году нанести удар покойному государю императору. Если угодно, я вам сообщу подробности намереваемого вами цареубийства. В начале мая месяца прошлого года на квартире здешнего сочинителя, господина Рылеева, происходило собрание, на коем председатель Тульчинской управы Южного тайного общества, подполковник Пестель, предлагал истребление всех членов царствующего дома. Об этом знать изволите?
- Нет, не знаю.
- И кто ответил Пестелю: «Согласен с вами до корня», – тоже не знаете?
- Тоже не знаю.
- А может быть, припомните?
- Нет, не припомню.
- Плохая же память у вашего сиятельства, – опять усмехнулся Левашов и закрутил свой ус. – Ну, так я вам напомним: это ваши слова. А теперь не угодно ли назвать тех из ваших товарищей, кои были на этом собрании.
- Извините, ваше превосходительство, этого я никак не могу сделать.
- Отчего же-с?
- Оттого, что, вступая в Общество, я дал клятву никого не называть.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Левашов отложил перо и откинулся на спинку кресла.

– Послушайте, Голицын. Чем долее вы будете заператься, тем хуже для вас. Вы хотите спасти ваших товарищей, но никого не спасёте, а себя погубите. Говорю вам: правительству всё уже известно, и признание ваше нужно для вас же самих: чистосердечное раскаяние – единственный путь к милосердию государя, – повторял он, видимо, слова заученные. – Ну, что ж вы молчите? Ничего говорить не хотите?

– Не хочу.

– Так вас заставят говорить, милостивый государь, – чуть-чуть возвысил голос Левашов, упирая на каждое слово раздельно-медленно. – Я приступаю к обязанности судии и скажу вам, что в России есть пытка.

– Очень благодарен вашему превосходительству за сию доверенность, но должен сказать, что теперь ещё более чувствую свою обязанность никого не называть, – сказал Голицын, посмотрел ему прямо в глаза и подумал: «Добрый малый, а если начальство прикажет, будет пятки поджаривать».

– Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal[78], – начал Левашов с прежнюю любезностью. – Не понимаю, князь, какая охота быть мучеником за людей, которые вас предали.

– Не понимаете, ваше превосходительство, какая охота не быть подлецом?

Левашова слегка передёрнуло, но «добрый малый» не обиделся: рассудил, что арестанту не до любезностей.

– Будьте добры, князь, прочесть и подписать, – сказал и подал ему записку.

Голицын взглянул, увидел, что генерал пишет по-русски как сапожник, и подписал, не читая. Левашов встал, расправил члены, – узкий мундир ещё уже обтянул, облил тело, – не корпеть бы, казалось, такому молодцу над бумагами, а танцевать мазурку с прекрасными дамами или скакать на коне в бранном пламени; дёрнул за шнурок звонка, когда вбежал фельдъегерь, – указал Голицыну на стоявшие рядом со столиком зелёные шёлковые ширмы:

– Потрудитесь обождать.

И вышел с фельдъегерем. Голицын сел за ширмы. На другом конце залы открылась дверь и кто-то вошёл; из-за ширм не видно было кто, но, судя по голосам, двое. На ходу разговаривая, подошли к столу и остановились. Им тоже не видно было Голицына. Он прислушался.

– Я делал открытия, не соображаясь с рассудком, по движению сердца благодарного к его величеству и, может быть, то сказал, чего другие не открыли бы...

Далее Голицын не расслышал, а потом опять:

– Легко погибнуть самому, ваше превосходительство, но быть причиной гибели других – мука нестерпимая...

Голицын узнавал и не узнавал, чей это голос. Привстал, подошёл на цыпочках к ширмам и выглянул. Те двое стояли к нему спиной, и он не видел лиц. Но одного узнал: Бенкендорф. А другого всё ещё узнавал и не узнавал – глазам своим не верил.

– Будьте покойны, мой друг: всех помилует, – заговорил Бенкендорф и, взяв собеседника под руку, повёл его мимо ширм. Голицын увидел лицом к лицу того неузнанного-неузнаваемого: это был Рылеев. Они посмотрели друг другу в глаза.

Голицын упал в кресло. Свет потух в глазах его, как будто сквозь стеклянный потолок зияющее, бездонно-чёрное небо на него обрушилось.

– Пожалуйте, – сказал Левашов, заглянув за ширмы.

Голицын очнулся, встал и вышел. С другого конца залы подходил государь. Неподвижное, бледное, как из мрамора высеченное лицо приближалось к нему, и



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
вдруг вспомнил он, как тогда, Четырнадцатого, под картечью, на Сенатской площади, бежал с пистолетом в руках, чтобы убить Зверя. Подойдя к столу, государь остановился в двух шагах от арестанта, смерил его глазами с головы до ног и указал пальцем на записку Левашова, которую держал в руке.

– Это что? Чего вы тут нагородили, а? Вас о деле спрашивают, а вы вздор отвечаете: «Присяга не от Бога»? Знаете ли вы, сударь, наши законы? Знаете ли, что за это?.. – провёл рукою по шее.

Голицын усмехнулся: что мог ему сделать этот человек после давешнего ужаса?

– Что вы смеётесь? – спросил государь и нахмурился.

– Удивляюсь, ваше величество: уж если грозить, то надобно сначала смертью, а потом – пыткой: ведь пытка страшнее, чем смерть.

– Кто вам грозил пыткой?

– Его превосходительство.

Николай взглянул на Левашова, Левашов – на Николая, а Голицын – на обоих.

– Вот какой храбрый! – начал опять государь. – Здесь ничего не боитесь, а там? Что вас ожидает на том свете? Проклятие вечное... И над этим смеётесь? Да вы не христианин, что ли?

– Христианин, ваше величество, оттого и восстал на самодержавие.

– Самодержавие от Бога. Царь – помазанник Божий. На Бога восстал?

– Нет, на Зверя.

– Какой зверь?.. Что вы бредите?

– Зверь – человек, который себя Богом делает, – произнёс Голицын тихо и торжественно, как слова заклинания, и побледнел; дух у него захватило от радости: казалось, что убивает Зверя.

– Ах, несчастный! – покачал государь головой с сокрушением. – Ум за разум зашёл! Вот до чего доводят сии адские мысли, плоды самолюбия и гордости. Мне вас жаль. Зачем вы себя губите? Разве не видите, что я вам добра желаю? – заговорил, немного помолчав, уже другим, ласковым, голосом. – Что же вы мне ничего не отвечаете? – взял его за руку и продолжал ещё ласковей: – Вы знаете, я всё могу – могу вас простить...

Голицын вспомнил Рылеева и вздрогнул.

– В том-то и беда, ваше величество, что вы всё можете, – Бог на небе, а вы на земле. Это и значит: человека Богом сделали...

Государь давно уже понял, что ничего не добьётся от Голицына. Допрашивал нехотя, только для очистки совести. Не сердился: за месяц сыска довёл себя до того, что во время допросов ни на кого и ни за что не сердился. Но надоело. Пора было кончать.

– Ну, ладно, будет вздор молоть, – оборвал с внезапной грубостью. – Извольте отвечать на вопросы как следует.

– Я уже сказал его превосходительству, что дал слово...

– Что вы мне с его превосходительством и вашим мерзким словом!

«Тот как сапожник пишет, а этот как сапожник ругается», – подумал Голицын.

– Так не хотите говорить? Не хотите? В последний раз спрашиваю, не хотите?

Голицын молчал. Лицо государя изменилось мгновенно: одна маска упала, другая наделась – грозная, гневная, бледная, как из мрамора высеченная: Аполлон Бельведерский, Пифона сражающий. Отступил на шаг, протянул руку и закричал:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог!

В эту минуту вошёл Бенкендорф. Государь обернулся к нему, и опять одна маска упала, другая наделась: «Бедный малый, бедный никс, votre каторжный du Palais d'hiver»[79]. Бенкендорф подошёл к Николаю и что-то сказал ему на ухо. Не глядя на Голицына, как будто сразу забыв о нём, государь вышел.

– Потрудитесь обождать, – опять указал Левашов Голицыну на кресло за ширмами и тоже вышел с Бенкендорфом.

Голицын сел на прежнее место. Утих, успокоился. «Ну, вот и хорошо, опять всё хорошо, – подумал, как давеча. – Охота быть мучеником за тех, кто вас предал? Ну, конечно, охота!»

Эти два слова: «ну, конечно», – прошептал с той же детской улыбкой, как Маринька.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ширмы стояли у двери. За дверью слышались шаги и голоса. Другая дверь, та, в которую вышел государь, отворилась, кто-то из неё выбежал, и голос Левашова закричал:

– Да позовите фельдшера, кровь пустить!

«В России есть пытка», – вспомнилось Голицыну, и он прислушался к тому, что происходило за дверью. Звуки заглушала тяжёлая занавесь. Он высунул голову из-за ширм. В зале никого не было, кроме двух часовых, стоявших у двери, на другом конце зала, как два истукана.

Раздвинув занавесь, Голицын увидел, что дверь за нею чуть-чуть приотворена. Заглянул в щель – темно: дверь двойная. Открыл её и вошёл в тёмное пространство между дверями. Наткнулся на стул: должно быть, во время допросов тут кто-нибудь сидел и подслушивал; вторая дверь тоже чуть-чуть приотворена и с той стороны занавешена. Приотворил побольше, тихонько раздвинул вторую занавесь и выглянул.

Маленькая зала, увешанная картинами, большею частью копиями старинной итальянской живописи, школы Перуджино и Рафаэля, освещалась таким же множеством свечей, как большая. Прямо против него кто-то лежал на диване. В креслах спиной к Голицыну сидел Бенкендорф, заслоня лежавшего; видны были только ноги, покрытые шалью, да угол белой подушки. Тут же сидело и стояло ещё несколько человек: Левашов, дворцовый комендант Башуцкий, обер-полицеймейстер Шульгин и какой-то штатский в чёрном фраке, в парике и в очках, похожий лицом на еврея, должно быть, доктор. Потом вошёл ещё один штатский, толстенький, рыженький, в засаленном коричневом фраке, с медным циркульничьим тазом, какие употреблялись для кровопусканий.

– Как вы себя чувствуете, мой друг? – спросил Бенкендорф.

– Хорошо, хорошо, удивительно, – ответил лежавший на диване, – я никогда себя так хорошо не чувствовал!

– Голова не болит?

– Нет, прошла. Всё прошло. Дух бодр, ум свеж, душа спокойна. Сердце, как прежде, невинно и молодо. О, никогда, никогда я не был так счастлив! Ещё там, в каземате, бывали такие минуты блаженства, что я с ума сходил, – всё говорил, говорил, говорил, – глухим стенам рассказывал чувства мои: не люди, так камни услышат, камни возопиют! Кричал, пел, плясал, скакал, как зверь в клетке, как пьяный, как бешеный! Комендант Сукин – прекрасный человек, но какая фамилия – если у него сын, то и назвать неприлично, – так вот этот Сукин, бедняжка, перепугался, думая, что я и впрямь взбесился, послал за доктором, хотел связать. Ничего не понимал. Никто ничего не понимает. А ведь вот вы же понимаете, ваше превосходительство? Мне ужасно глаза ваши нравятся! Умные, добрые. Только один – добренький, а другой – чуть-чуть хитренький...

– Хэ-хэ, вот вы какой наблюдательный! – рассмеялся Бенкендорф.

– Не сердитесь? Ради Бога, не сердитесь... Я всё не то... Но сначала не то, а

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
потом то. Ужасно говорить хочется. Позвольте говорить, ваше  
превосходительство!

– Говорите, только не волнуйтесь, а то опять нехорошо будет.

– Нет, хорошо, теперь всё хорошо! Я всё скажу. Я прежде думал: надо беречь лица. А теперь думаю: от кого беречь? От ангела? Ведь государь – ангел, а не человек, сам теперь вижу. И вы тоже, – перед такими людьми что беречь лица? Кроме добра, ожидать нечего. Всё узнаете. Всё скажу. Наведу на корень. Дело закипит. Я теперь – с убеждением... Это мне приятно. Я уж постараюсь, ваше превосходительство! Вот увидите. Донесу систематически. Разберу по полкам. Ни одного не утаю. Даже таких назову, о которых никогда не узнали бы. Ну а где же он? Отчего его нет? Я хочу ему самому...

– Сначала нам, а потом ему, – сказал Бенкендорф.

– Нет, ему, ему первому, ангелу! Я хочу к нему... Зачем вы меня не пускаете? Вы должны пустить. Я требую!

Он вдруг привстал на диване, как будто хотел вскочить и бежать. Голицын, увидев лицо его, как давеча лицо Рылеева, неузнанное, незнаемое, – это был князь Александр Иванович Одоевский, – отшатнулся, упал на стул, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго: снова любопытство потянуло жадное. Встал, опять раздвинул занавесь и выглянул.

Одоевский полулежал на диване, так что теперь лицо его было видно Голицыну. Оно казалось почти здоровым, может быть, потому, что лихорадочный румянец рдел на щеках. Всё тот же «милый Саша», – «тихий мальчик»; всё та же прелесть полудетская, полудевичья:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца...  
До четырнадцатого я был совершенно непорочен, – говорил он так доверчиво, спокойно и весело, как будто с лучшими друзьями беседовал. – Воспитывался дома. *Maman m'a donne une education exemplaire*[80]. По самую кончину свою не спускала с меня глаз. Я ведь маменьку... Ну, да что говорить, – когда умерла, едва выжил. Поступил в полк. В двадцать лет – совсем ещё дитя. Я от природы беспечен, ветрен и ленив. Никогда никакого не имел неудовольствия в жизни. Слишком счастлив. Жизнь моя цвела. Писал стихи, мечтал о златом веке Астреином. Как все молодые люди, кричал о вольности на ветер, без всякого намерения. Рылеев – тоже. Вот и сошлись.

– Рылеев принял вас в Тайное общество? – спросил Бенкендорф.

– Нет, не он. Не помню кто. Да и принятия никакого не было. Всё только шалость, глупость, ребячество, испарение разгорячённого мозга Рылеева. Ибо что могут сделать тридцать-сорок человек ребят, мечтателей, романтиков, «лунатиков», – как говорит Голицын?

– Какой Голицын? Князь Валерьян Михайлович? – спросил Левашов.

– Ну, да. А что?

– Не он ли ответил на предложение Пестеля истребить всех членов царствующего дома: «Согласен с вами до корня»?

– Может быть. Не помню.

– Постарайтесь вспомнить.

– А вам на что?

– Очень важно.

– Совсем не важно. Вздор! Ваше превосходительство, зачем он так спрашивает? Не велите ему. Мы ведь тут не шпионы, не сыщики.

Бенкендорф мигнул Левашову.

– Не сердитесь, мой друг, он больше не будет. Вы хотели рассказать нам, как провели день четырнадцатого.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Да, хотел. Только всё как во сне, – сна не расскажешь. Ночь простоял во дворце, на карауле; глаз не смыкал, устал как собака. Кровь бросилась в голову – это у меня часто бывает от бессонницы. Утром поехал в кофейню Лореда, купил конфет, лимонных, кисленьких. Очень люблю. Потом домой, спать. А потом вдруг – на площади. Заташили в каре. Двадцать раз уходил; обнимали, целовали – остался, сам не знаю зачем...

– Вы держали пистолет в руке? – спросил Бенкендорф.

– Пистолет? Может быть. Кто-нибудь сунул...

Левашов начал что-то записывать карандашом на бумажке.

– Ваше превосходительство, зачем он записывает? Пистолет – вздор. Да и не помню. Может быть, не было.

– А как стреляли в графа Милорадовича, видели?

– Видел.

– Кто стрелял?

– Этого не видел.

– Жаль. Могли бы спасти невинного.

– Эх, господа, вы всё не то... Непременно нужно?

– Непременно.

– Ну, дайте на ушко...

Бенкендорф наклонился, и Одоевский шепнул ему на ухо.

– А потом, когда расстреляли, – заговорил опять громко, всё так же спокойно и весело, – пошёл через Неву на Васильевский, а оттуда на Мойку, к сочинителю жандру[81]. Старуха Жандриха, – очень любит меня, – увидела, завывала: «Бегите!» Кинула денег. Я пуще потерял голову. Пошёл куда глаза глядят. Хотел скрыться под землю, под лёд. Люди заглядывали в глаза, как вороны в глаза умирающего. Ночевал на Канаве под мостом. В прорубь попал, тонул, замерзал. Смерть уже чувствовал. Вылез, умалишённый. Утром опять пошёл. Два дня ходил Бог знает где. В Катерингофе был, в Красном. Тулуп купил, шапку; мужиком оделся. Вернулся в Петербург. К дяде Васе Ланскому, министру. Обещал спрятать, а сам поехал донести в полицию. Ну, думаю, плохо. Вот к вам и явился...

– Вы не сами явились, вас привезли, – поправил Башуцкий.

– Привезли? Не помню. Сам хотел. В России не уйдёшь. Я на себе испытал. Русский человек храбр, как шпага, твёрд, как кремь, пока в душе Бог и царь, а без них – тряпка, подлец. Вот как я сейчас. Ведь я подлец, ваше превосходительство, а? – вдруг обернулся к Бенкендорфу и посмотрел ему прямо в лицо.

– Почему же? Напротив, благородный человек: заблуждались и раскаялись.

– Неправда! По глазам вижу, что неправда. Говорите: «благородный», а думаете: «подлец». Ну, да ведь и вы, господа, – медленно обвёл всех глазами, и лицо его побледнело, искажилось, – подлеца слушаете! Хороши тоже! Я с ума схожу, а вы слушаете, пользуетесь! Господи! Господи! Что вы со мною делаете! Палачи! Палачи! Мучители! Будьте вы прокляты!

Голицын опять отшатнулся, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго, снова любопытство потянуло жадное: раздвинул занавесь и выглянул, прислушался.

Одоевский лежал молча, не двигаясь, с закрытыми глазами, как в беспамятстве. Потом открыл их и опять заговорил быстро-быстро и невнятно, как в бреду:

– Ну что ж, пусть! Все подлецы, и все благородные. Невинные, несчастные.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Звери и ангелы вместе. Падшие ангелы, восстающие. Надо только понять.  
«Премудрая благодсть над миром царствует. Es herrscht eine allweise Gute  
uber die welt[82]». Это по-немецки, у Шеллинга, а по-русски: «Пречистой  
Матери Покров...» А вот и Она, видите?..

Прямо против него, на стене, висела копия «Сикстинской мадонны» Рафаэля.  
Голицын взглянул на неё и вдруг вспомнил, на кого похожи были глаза  
Мариньки, когда, арестованный, сходил он по лестнице и, нагнувшись через  
перила, она посмотрела на него в последний раз.

– Какие глаза! – продолжал Одоевский, глядя на Мадонну с умилением  
восторженным. – Как это в русских песнях поётся: «Мать сыра земля»? Россия  
– Мать. Всех скорбящих Матерь. Но об этом нельзя.. Ваше превосходительство,  
уж вы на меня не сердитесь. Я всё скажу. Всё узнаете. Вот только отдохну –  
и опять. Каховский стрелял; Оболенский штыком лошадь колот. А Кюхельбекер в  
великого князя целился, да пистолет не выстрелил. Ну, ничего, ничего,  
запишите, а то забудете. Ну, что ещё?.. А впрочем, вздор! Опять не то.. А  
вот, когда замерзал на Канаве, под мостом, – то самое было, то самое:  
чашечки золотые, зелёные; детьми молоко из них пили в деревне, летом, у  
маменьки, на антресолях с полукруглыми окнами, прямо в рощу берёзовую;  
золотые, зелёные, как солнце сквозь лист весенний, берёзовый. И так хорошо!  
Вот и сейчас... Только не сердитесь, милые, милые, хорошие. Не надо  
сердиться, и всё хорошо будет. Простим друг друга, возлюбим друг друга!  
Возьмёмтесь за руки и будем петь, плясать, как дети, как ангелы Божьи в  
раю, в златом веке Астреином..

Говорил всё тише, тише и наконец совсем затих, закрыл глаза, как будто  
заснул или впал в забытё. Улыбался во сне, и слёзы по лицу струились,  
тихие. Бенкендорф поцеловал его в голову, может быть, с непритворной  
нежностью.

А на другом конце залы такая же тяжёлая, штофная занавесь, как та, за  
которой Голицын подслушивал, вдруг заколебалась, раздвинулась, и вошёл  
государь.

Все окружили его, заговорили вполголоса, чтобы не разбудить больного.  
Только отдельные слова долетали до Голицына.

- Как бы горячка не сделалась...
- Кровь пустить, лёд на голову...
- Показания важные...
- Да ведь бред, слова умалишённого, – не оговорил бы кого понапрасну...
- Ничего, разберём...

Голицын не помнил, как вернулся на прежнее место, в большой зале, за  
ширмами. Долго сидел в оцепенении бесчувственном.

Вдруг увидел Левашова. Сидя за ломберным столиком, он разбирал бумаги.  
Голицын вскочил и бросился к нему так внезапно, что Левашов вздрогнул,  
обернулся и тоже вскочил.

- Что такое? Что с вами, Голицын?
- Ведите меня к государю!
- Государь занят. Если что сказать имеете, можете мне.
- Нет, к государю! Сейчас же, сейчас же, немедленно!
- Да что вы, сударь, кричите? С ума вы сошли?
- С ума сошёл! С ума сошёл! Одного уже свели с ума, а вот и другой! В  
России есть пытка! Одного запытали – ну, так и другого! Вместе обоих! Жилы  
выматывайте, пятки поджаривайте! О, подлецы, подлецы, палачи, истязатели! –  
закричал Голицын в бешенстве, затопал ногами и поднял кулаки.

Левашов схватил его за руки, но он вырвался, оттолкнул его и побежал, сам

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org не зная куда и зачем. Мелькала мысль: убить Зверя, а если не убить, то обругать, избить, плюнуть в лицо.

– Держи! – крикнул Левашов двум часовым, всё ещё стоявшим у двери, на другом конце залы, как два истукана.

Те встрепенулись, ожили, поняли, бросились ловить Голицына.

– Микулин! Микулин! – кричал Левашов с таким испуганным видом, как будто трёх человек было мало, чтобы справиться с одним.

– Здесь, ваше превосходительство! – вырос как из-под земли дежурный по караулу полковник Микулин с пятью молодцами ражими, кавалергардами в медных касках и панцирях: на одного безоружного – целое воинство. Где-то вдали промелькнуло лицо государя, но тотчас же спряталось.

Окружили, стеснили, поймали. Кто-то, обняв Голицына сзади, сдавил его так, что он почти задохся; кто-то схватил за горло; кто-то бил по лицу. Но он всё ещё не сдавался, боролся отчаянно, с тою удесятёрённой силой, которую даёт бешенство.

Вдруг откуда-то издали послышался крик. Голицын узнал голос Одоевского. Ни тогда, ни потом не мог понять, что это было: очнулся ли больной от беспомощности и, услышав шум свалки, перепугался; или делали ему кровопускание, а он вообразил, что пытаются, режут, – но крик был ужасный. И Голицын ответил на него таким же криком. Если бы кто-нибудь со стороны услышал, то подумал бы, что здесь и вправду застенки или дом сумасшедших.

– Верёвок! Верёвок! Вяжите! Да чего он орёт, каналья! Заткните ему глотку!

Голицын почувствовал, что ему затыкают рот платком, вяжут руки, ноги, поднимают, несут.

Покорился, затих, закрыл глаза. «Ну, теперь ладно. Хорошо, всё хорошо», – сказал чей-то голос.

Медленно проплыло белое в красном тумане лицо Зверя, и он лишился чувств.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Пытать будут. Помогите, Господи, вынести!» – было первой мыслью Голицына, когда он очнулся на свежем воздухе; обер-полицеймейстер Шульгин, чтобы привести его в чувство, поднял окно кареты во время переезда из дворца в крепость.

«Какие пытки выносили христианские мученики... Да ведь то мученики, а я... Ну, ничего, может, и я...» – ободрял себя Голицын, но бодрости не было, а был животный ужас.

Карета остановилась у комендантского дома в Петропавловской крепости. Шульгин высадил арестанта и сдал фельдъегерю. Вошли в небольшую комнату с голыми стенами, почти без мебели, только с двумя стульями и столиком, на котором горела сальная свечка. Фельдъегерь усадил Голицына на один из стульев и сам сел на другой. Так безмятежно зевнул, крестясь и закрывая рот ладонью, что Голицын вдруг начал надеяться, что пытки не будут.

«Нет. Будет. Вот они! Идут! Помогите, Господи!» – подумал, прислушиваясь с тем отвратительным сосаньем под ложечкой, от которого переворачиваются внутренности, к зловещему лязгу железа и многоногому топоту в соседней комнате.

Вошёл седой, подстриженный по-солдатски в скобку старик на деревянной ноге, генерал Сукин, комендант Петропавловской крепости; за ним – человек низенький, толстенький, с провалившимся носом, плац-майор Подушкин; и ещё несколько плац-адъютантов, ефрейторов и нижних чинов. Сукин держал в руке железные прутья с кольцами. «Орудия пытки», – подумал Голицын и зажмурил глаза, чтобы не видеть. «Помогите, Господи!» – твердил почти в беспомощности.

Проворно постукивая деревяшкой по полу, старик подошёл к столу, поднёс к

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
свечке лист почтовой бумаги и объявил:

– Его величество государь император повелевает заковать тебя в железа. – «Тебя» произнёс с ударением неестественным.

Голицын слушал, не понимая. Несколько человек бросились на него и стали надевать кандалы на руки, на ноги и замыкать ключами.

Он всё ещё не понимал. Но вдруг понял, закусил губы, затаил дыхание, чтобы не расплакаться от радости, такой же бессмысленной, животной, как давешний ужас. Смотрел в лицо коменданта и думал: «Какой превосходный человек!» И лицо безносого плац-майора казалось ему прелестным, и серые лица солдат такими добрыми, что он готов был расцеловать каждого. Заметил невиданный, оранжевый воротник на плац-адъютантском мундире: «Должно быть, переменяли по случаю нового царствования», – подумал всё с той же упоительно-бессмысленной радостью. Немного стыдно было, что так перетрусил, но и стыд тонул в радости.

– Егор Михайлович, отведите в Алексеевский, – сказал комендант Подушкину. Тот связал концы носового платка и надел на голову Голицыну.

Он встал, покачнулся и едва не упал: не умел ходить в кандалах. Подхватили под руки. Выйдя из дому, усадили в сани. Подушкин сел рядом и обнял его за талию. Сани делали частые повороты, должно быть, в узеньких проулках между крепостными бастионами. Выглянув одним глазом из-под съехавшей повязки, Голицын увидел подъёмный мост через ров и в толстой каменной стене ворота.

– Куда вы меня везёте? В Алексеевский рavelин, что ли? – спросил Подушкина.

– Не извольте беспокоиться, квартирка будет отличная, – утешил тот и поправил на глазах его платок.

Голицын вспомнил то, что слышал о рavelине: в него сажали только «забытых», и никто никогда из него не выходил. Но по сравнению с пыткой вечное заточение казалось ему блаженством.

Сани остановились. Арестанта опять подхватили под руки, помогли вылезть и взвели на ступени крыльца. Заскрипели на ржавых петлях двери и захлопнулись с тяжёлым гулом. «Оставьте всякую надежду вы, которые входите», – вспомнилось Голицыну.

С глаз его сняли платок и повели по длинному коридору с рядом дверей, тускло освещённому сальными плашками. Впереди шёл плац-майор и, останавливаясь у каждой двери, спрашивал: «Занят?» Отвечали: «Занят». Наконец ответили: «Пуст».

– Пожалуйте-с, – любезно пригласил Подушкин, и Голицын вошёл в каменную щель, узкую, длинную, напоминавшую гроб. Сторож засветил в ставце ночник – шкалик зелёного стекла с поплавком в масле. Голицын увидел нависший свод, окно с толстой железной решёткой в стенной глубокой впадине; два стула, столик, лазаретную койку, круглую железную печь в одном углу, а в другом зловонную кадку – парашу.

Сняли кандалы, раздели, обыскали, ощупали даже под мышками; надели арестантскую куртку, штаны, засаленный халат и рваные туфли, не впору большие.

Старик высокого роста, в длиннополом, зелёном, с красным воротом и красными обшлагами, мундире времён павловских, необыкновенно худой, высокий и бледный, похожий на мертвеца, вошёл в камеру. Это был комендант Алексеевского рavelина швед Либиен-Анкерн. Часовые считали его немного помешанным, называли Кашеем бессмертным и уверяли, что ему лет под сто и что он провёл в казематах лет пятьдесят, вечный узник среди узников.

Плавным шагом, сгорбившись, заложив руки за спину, с открытым ртом, где торчали два жёлтых зуба, со взором невидящим, он шёл прямо на Голицына.

– Как ваше здоровье? – спросил ещё издали; не дожидаясь ответа, опустился на колени и привычно ловким движением начал надевать снятые кандалы на ноги его. Надев, показал, как надо ходить, поддерживая за верёвочку звенья, соединявшие ножные облучи. Голицын попробовал и опять едва не упал.

– Ничего, научитесь, – утешил плац-майор.

Обернув наручники замшевой тряпкой, комендант спросил:

– Так можете писать?

– Могу.

– Ну, вот и кончен туалет, – ухмыльнулся Подушкин с любезностью. А Лилиен-Анкерн, всё ещё стоя на коленях, поднял на арестанта свои столетние, мутной плёнкой, как у спящих птиц, подёрнутые глаза и произнёс благоговейно, как слова молитвы:

– Божья милость всех нас спасёт!

«Так, должно быть, на том свете старые покойники приветствуют нового», – подумал Голицын.

Старик молча встал и тем же плавным шагом, сгорбившись, закинув руки за спину, вышел из камеры.

Сторожа помогли арестанту перейти со стула на койку.

– Почивайте с Богом, не горюйте: всё пройдёт. Номерок отменный, сухенький, тёпленький, – сказал Подушкин.

Все вышли и заперли дверь. Ключ повернулся в замке; загремели задвижки, запоры, засовы; последний огромный болт проскрежетал, и наступила тишина.

Голицын чувствовал себя погребённым заживо, а всё-таки радовался: миновала пытка.

Увидел на столике ломоть ржаного хлеба и кружку кваса. Давеча, во время обыска, попросил есть; плац-майор извинился, что поздно, на кухне все уже спят, и велел принести хлеба с квасом. Голицын съел и выпил всё: давно уже так вкусно не ужинал.

Начал укладываться. Снял халат и с трудом поднял на койку отягчённые цепями ноги; хотел уже растянуться на плоском, как блин, тюфяке, но взглянул на пестрядёвую<sup>[83]</sup> подушку без наволочки: на ней были жирные пятна. Понюхал, поморщился. Носовой платочек Маринькин, ещё неразвёрнутый, с вышитой красной меткой «М. Т.», лежал на столике. Должно быть, прощаясь, успела-таки сунуть ему в карман, а при обыске забыли или нарочно оставили, сжалившись. Разложил его так, чтобы не касаться щекою подушки. От платочка пахло Маринькой. Улыбнулся – почему-то вспомнил, как в ту первую и последнюю брачную ночь, когда она разбудила его поцелуем, не сумел её удержать – «глупо» заснул.

Где-то близко, как будто над самым ухом его, заиграли, запели заунывную песню куранты, как медноголосые ангелы. «Божья милость всех нас спасёт», – послышалось ему приветствие мёртвых мёртвому. И, продолжая улыбаться, он блаженно заснул с последней мыслью: «В пасти Зверя – как у Христа за пазухой».

Вчерашние звуки, только в обратном порядке – сначала скрежещущий болт, потом засовы, запоры, задвижки и, наконец, щёлкающий ключ в замке, – разбудили его поутру. Вошёл Лилиен-Анкерн, спросил: «Как ваше здоровье?» – и, не дожидаясь ответа, исчез.

Фейерверкер Шибаев, с молодым, весёлым лицом, принёс жидкого чаю в огромном оловянном чайнике и два куска сахара. Сахар держал из учтивости не на голой ладони, а в складке мундирной полы; поставив и выложив всё на столик, поклонился вежливо.

– Который час? – спросил Голицын.

Шибаев улыбнулся молча и с вежливым поклоном вышел.

Инвалидный солдатик-замухрышка вынес парашу и начал подметать веником пол.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Который час? – опять спросил Голицын.

Солдатик молчал.

– Какая на дворе погода?

– Не могу знать.

От холода Голицын кутался в одеяло и грелся чаем. Оглядывал «сухенький» номер: на облупленной штукатурке стен голубая черта свежей краски обозначала уровень воды во время последнего наводнения, и темнели пятна; со свода и с печной трубы едва не капало; воздух пропитан был душной, точно подземною, сыростью. А когда затопили печь из коридора, железная труба, почти над самой головой арестанта, накалилась, потрескивая. Голове стало жарко, а ногам по-прежнему – холодно.

Стены, продолжая низкий свод, округлялись до самого пола, так что можно было стоять во весь рост только посредине камеры, а по бокам надо было сгибаться. В затканном паутиной своде кишели пауки, тараканы, стоножки и ещё какие-то невиданные гады, которые высывались из щёлок только наполовину. «Лучше не разглядывать», – подумал Голицын и, опустив глаза, увидел, как что-то покатилося по полу: это была исполинская рыжая водяная крыса.

Окно было густо замазано мелом, так что в камере даже в солнечные дни были вечные сумерки. В дверях прорублено оконце – глазок, с железной решёткой изнутри и тёмно-зелёной занавеской снаружи. Часовой, шагавший неслышно, в валенках, по коридору, устланному войлочными матами, иногда приподнимал занавеску и заглядывал в камеру. Арестанту нельзя было пошевелиться, кашлянуть, чтобы не появился наблюдающий глаз.

– Кто здесь? – спросил знакомый голос, и Голицын увидел в окне лихо закрученный ус Левашова.

– Михайлов, – ответил голос Подушкина.

«Почему Михайлов? Ах да, Валериан, сын Михайлов», – сообразил Голицын.

– *celui-ci a les fers aux bras et aux pieds*[84], – сообщил кому-то Левашов, как будто показывал редкого зверя. И Голицыну почудилось, что в глазке промелькнуло лицо великого князя Михаила Павловича.

На стенах камеры были рисунки и надписи, большей частью полустёртые – должно быть, тюремщикам велено было соскабливать, – замогильная летопись прежних узников. Уцелели немногие.

Под женской головкой стихи:

Ты на земле была мой Бог.

Но ты уж в вечность перешла.

Молись же там...

Дальше стёрто; остались только два слова: «тебя увидеть». Под мужским портретом: «Брат, я решил на самоубийство». Под женским: «Прощай, татап, навеки». И рядом – слова Господни: «В темнице бых, и посетите Мя».

Открылась дверь, вошёл священник в пышно-шуршащей шёлковой рясе, с наперсным крестом и орденом.

– Князя Валерьяна Михайловича Голицына честь имею видеть? – стоя на пороге, церемонно раскланялся. – Не беспокою?

– Сделайте одолжение, батюшка.

«Ну, слава Богу, коли поп, значит, не пытка, а казнь», – подумал Голицын и вспомнил Великого Инквизитора в «Дон Карлосе» Шиллера. Хотел подняться навстречу гостю, но грузно опустился, гремя кандалами. Тот подскочил, поддержал.

– Не ушиблись? Полпуда весу в ожерельице, шутка сказать.

– Нет, ничего. Что ж вы стоите, садитесь, – пригласил Голицын.

Гость поклонился опять так же церемонно и сел на стул.

– Позвольте представиться, отец Пётр Мысловский[85], Казанского собора протоиерей, здешних заключённых духовный отец и, смею сказать, – друг, чем и хвалюсь, ибо достойнейших людей дружбой и похвалиться не грех.

«Шпион, зубы заговаривает!» – подумал Голицын и взгляделся в него: рост огромный, сложенье богатырское; сановит, благообразен; великолепная рыжая борода с проседью: такие мужики бывают пятидесятилетние; и лицо мужицкое, грубоватое, но доброе и умное; маленькие, закрытые с боков нависшими веками, треугольные щёлки глаз, с тем выражением двойственным, которое часто бывает у русских людей: простота и хитрость.

– Ну а когда же казнь? – спросил Голицын, глядя на него в упор.

– Какая казнь? Чья?

– Моя. А какая, вам лучше знать: расстреляют, повесят или отрубят голову?

– Что вы, князь, Бог с вами! – замахал на него руками Мысловский. – Вот вам крест, – хоть и не подобает, крестом иерея клянусь: ни о каких казнях никто и не думает. Да будто вы не знаете, что смертная казнь отменена по законам Российской империи?

Голицын ещё не верил, но так же, как вчера, когда миновала пытка, сердце у него захолонуло от радости.

– Казни нет, а пытка есть? – продолжал глядеть на него в упор.

– В девятнадцатом веке, в христианском государстве, после золотых дней Александровых, пытка! – покачал головой о. Пётр. – Ах, господа, господа, какие у вас нехорошие мысли; извините-с, прямо скажу, недостойные, неблагородные! Вам же добра желают, а вы себя и других мучаете. Не хотите понять, с кем дело имеете. Да если бы только вы знали милость государя неизречённую...

– Вот что я вам скажу, батюшка, – перебил Голицын. – Помните раз навсегда: в государевых милостях я не нуждаюсь, лучше петля и плаха! Не трудитесь же, ничего вы от меня не добьётесь. Поняли?

– Понял-с. Как не понять! «Поп, ступай вон! Ты для меня хуже собаки!» Ведь и собаку так бы не выгнали...

Голос его задрожал, глазки замигали, губы задёргались, и он закрыл лицо руками. «Здоровый мужик, а какой чувствительный!» – удивился Голицын.

– Вы меня не так поняли, отец Пётр. Я не хотел вас обидеть...

– Эх, ваше сиятельство, где уж тут обиды считать! – отнял о. Пётр руки от лица и вздохнул. – Иной человек сорвёт сердце на ком ни попало, и легче станет, ну и на здоровье! Не дурак же я, понимаю: пришёл поп к арестанту – от кого? от начальства, – значит, негодяй, шпион. А ведь вы меня, сударь, в первый раз видеть изволите. Пятнадцать лет в казематах служу, в сём аде кромешном; бьюсь как рыба об лёд. А из-за чего, как полагаете? Из-за такой дряни, что ли? – указал на орден. – Да осыпь меня чинами, звёздами, – дня не остался бы на этой поганой должности, когда б не чаял добра, хоть малого: помочь, кому уже никто не поможет. Да если бы не я, поп недостойный, так тут за вас и заступиться бы некому... А по делу Четырнадцатого интерес имею особенный.

– Почему же особенный?

– А потому, что сам из таковских, – прищурился о. Пётр и зашептал ему на ухо: – Хоть и простой мужик, а, благодарение Богу, ум здравый имею и сердце неповреждённое. Так вот, на порядки-то здешние глядячи, мятежом распалюсь неутолимым, терзаюсь, мучаюсь, – уйти бы от греха, а вот не могу. Кажется, давно бы привыкнуть пора, а как арестанта увижу, да ещё вот в этих железных рукавчиках, – так во мне всё и закипит, разбушует: создание Божие, не иначе к свободе рождённое, человека видеть в цепях – несносно сие, возмутительно!

«Не инквизитор из Шиллера, а сам Шиллер!» – всё больше удивлялся Голицын.

– Отец Пётр, я очень виноват перед вами, простите меня, – сказал и протянул ему руку.

Тот крепко сжал её и вдруг покраснел, замигал, всхлипнул и бросился к нему на шею.

– Валерьян Михайлович, родной, дорогой, голубчик, только не гоните: авось на что-нибудь и я сгожусь, вот уж сами увидите! – обнимал и целовал его с нежностью. – А что, мой друг, у исповеди и святого причастия давно не бывали? – прибавил как будто некстати, но Голицыну показалось, что это и есть главное, за чем он пришёл.

Освободившись из его объятий, он опять, как давеча, посмотрел на него в упор: те же маленькие, под нависшими веками, треугольные щёлки глаз с выражением двойственным: простота и хитрость. Сколько ни вглядывался, не мог решить – очень хитёр или очень прост.

– Давно, – ответил нехотя.

– А сейчас не желаете?

– Нет, не желаю.

«По русским законам духовник обязан доносить о злоумышлениях против высочайших особ, открываемых на исповеди», – вспомнилось Голицыну.

О. Пётр как будто хотел ещё о чём-то спросить, но вдруг замолчал, потупился. Потом встал, заторопился.

– К вашему соседу, князю Оболенскому, тут сейчас, рядом, вот за эту стенкою. Кажется, приятели?

– Приятели.

– Поклон передать?

– Передайте.

Голицыну не понравилось, что о. Пётр с такою лёгкостью сообщает ему то, что нельзя арестанту знать, как будто они уже вступили в сговор.

– Ах, чуть не забыл! – спохватился Мысловский, полез в карман и вынул старый кожаный футляр.

– Очки! – вскрикнул Голицын радостно. – Откуда у вас?

– От господина Фрындина.

– Да ведь отнимут. Одну пару уж отняли.

– Не отнимут: получил для вас разрешение.

Не понравилось и это Голицыну: чересчур с услугами торопится; слишком уверен, что он примет их, не имея чем заплатить.

– Господин Фрындин велел передать, что княгиня Марья Павловна здравствует, на милость Божью уповают крепко и вас просят о том же... Писать сейчас нельзя, – большие строгости; а потом через меня можно будет. – Оглянувшись на дверь, зашептал на ухо: – Всё устроится, ваше сиятельство: и в казематах люди живут. Только не унывайте, духом не падайте. Ну, храни вас Бог! – поднял руку, хотел благословить, но раздумал, ещё раз обнял и вышел.

Голицын уже верил или почти верил, что пытки и казни не будет; радовался, но радость вчерашняя, безоблачно-ясная, – «в пасти Зверя как у Христа за пазухой» – помутилась, как будто осквернилась. Понял, что может быть что-то страшнее, чем пытка и смерть. Пусть о. Пётр препростой и предобрый поп, а для него, Голицына, опаснее всех шпионов и сыщиков.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Фейерверкер Шибаев принёс обед, щи с кашею. Постное масло в каше так дурно пахло, что Голицын взял в рот и не мог проглотить, выплюнул. Ни ножей, ни вилок, только деревянная ложка. «Ничего острого, чтоб не зарезался», – догадался он.

После обеда плац-адъютант Трусов, молодой человек с красивым и наглым лицом, принёс ему картуз табаку с щёгольской, бисерной трубкой.

– Покурить не угодно ли?

– Благодарю вас. Я не курю.

– А разве это не ваше?

– Нет, не моё.

– Извините-с, – усмехнулся Трусов; от этой усмешки лицо его сделалось ещё наглее; учтиво поклонился и вышел.

«Искушение трубкою, после искушения Телом и Кровью Господней», – подумал Голицын с отвращением.

Когда стемнело и зажгли ночник, тараканы по стенам закишели, зашуршали в тишине чуть слышным шорохом.

Верхнее звено в окне оставалось незабелённым; сквозь него чернела узкая полоска неба и мигала звездочка.

Голицын вспомнил Мариньку. Чтобы не расчувствоваться, начал думать о другом, – как бы дать знак Оболенскому.

Присел на койку, постучал пальцем в стену, приложил ухо – не отвечает. Долго стучал без ответа. Стена была толстая – стук пальца не слышен. Изловчился и постучал тихонько железным болтом наручников и, услышав ответный стук, обрадовался так, что, забыв часового, застучал, загремел.

Вошёл ефрейтор Ничипоренко с красной, пьяной рожей.

– Ты что это, сукин сын? Аль мешка захотел?

– Какого мешка? – полюбопытствовал Голицын, не оскорблённый, а только удивлённый руганью.

– А вот как посадят, увидишь, – проворчал тот и, уходя, прибавил так убедительно, что Голицын понял, что это не шутка: – А то и выпорют!

Он лёг на койку, обернулся лицом к стене, делая вид, что спит, подождал и, когда всё затихло, опять начал стучать пальцем в стену. Оболенский ответил.

Сперва стучали без счёту, жадно, неуголимо, только бы слышать ответ. Душа к душе рвалась сквозь камень; сердце с сердцем вместе бились: «Ты?» – «Я». – «Ты?» – «Я». Иногда от радости кровь в ушах стучала так, что он уже не слышал ответа и боялся, – не будет. Нет, был.

Потом начали считать удары, то ускорять, то замедлять: изобретали азбуку. Сбивались, путались, приходили в отчаяние, умолкали и опять начинали.

Стуча, Голицын уснул, и всю ночь снилось ему, что стучит.

Дни были так схожи, что он терял счёт времени. Скатывал хлебные шарики и прилеплял к стене в ряд: сколько дней, столько шариков.

Скуки почти не испытывал: было множество маленьких дел. Учился ходить в кандалах. Кружился в тесноте, как зверь в клетке, держась за спинку стула, чтоб не упасть.

Единственный Маринькин платок всё ещё служил ему наволочкой. Жалел его. Учился сморкаться в пальцы: сначала было противно, а потом привык. Заметил, что поутру, когда плевал и сморкался, в носу и во рту – черно от копоти. Лампада коптила, потому что светильня была слишком толстая. Вынул её и разделил на волокна; копоть прекратилась, воздух очистился.

Спал не раздеваясь: ещё не умел, в кандалах, снимать платье. Бельё загрязнилось, блохи заели. Можно было попросить свежего – из дому через Мысловского, но не хотел одолжаться. Долго терпел; наконец возмутился, потребовал белья у Подушкина. Принесли плохо постиранную, непросохшую пару солдатских портков и рубаху из жёсткой дерюги. Надел с наслаждением.

Однажды надымил печь. Открыли дверь в коридор. Странное чувство охватило Голицына, дверь открыта, а выйти нельзя: пустота непроницаема. Сначала было странно, а потом – тяжело, невыносимо. Обрадовался, когда опять заперли дверь.

С Оболенским продолжали перестукиваться, но всё ещё не понимали друг друга, не могли найти азбуки. Стучали уже почти безнадежно. Пальцы распухли, ногти заболели. Погребённые заживо, бились головами о стены гроба. Наконец поняли, что ничего не добьются, пока не обменяются писаной азбукой.

В оконной раме у Голицына был жестяной вентилятор. Он отломил от него пёрышко и отточил на кирпиче, выступавшем из-под стенной штукатурки. Этим подобием ножа отщепил от ножки кровати тонкую спицу. Снял копоти с лампадной светильни, развёл водою в ямке на подоконнике, обмакнул спицу и написал на стене азбуку: буквы в клетках; у каждой – число ударов; краткие обозначались точками, длинные – чертами. А на бумажке, которою заткнуто было дырявое дно футляра из-под очков, написал ту же азбуку, чтобы передать Оболенскому.

Каждое утро инвалидный солдатик-замухрышка приносил ему для умывания муравлёную [86] чашку и оловянную кружку с водою. Голицын сам умываться не мог: мешали наручники. Солдатик мылил ему руки, одну за другою, и лил на них воду.

Однажды принёс ему осколок зеркала. Он взглянул в него и не узнал себя, испугался: так похудел, осунулся, оброс бородою: не князь Голицын, а «Михайлов-каторжник».

С солдатиком не заговаривал, и тот упорно молчал, казался глухонемым. Но однажды вдруг сам заговорил:

– Ваше благородие, извольте перейти поближе к печке, там потеплее, – сказал шёпотом, перенёс табурет с чашкой в дальний угол у печки, куда глаз часового не достигал, и посмотрел на Голицына долго, жалостно.

– Точно небось в каземате? Да что подделаешь, так, видно, Богу угодно. Терпеть надобно, ваше благородие. Господь любит терпение, а там, может, и помилует.

Голицын взглянул на него: лицо скуластое, скучное, серое, как сукно казённой шинели, а в маленьких, подслеповатых глазках – такая доброта, что он удивился, как раньше её не заметил.

Достал из кармана бумажку с азбукой.

– Можешь передать Оболенскому?

– Пожалуй, можно.

Голицын едва успел ему сунуть бумажку, как вошёл плац-майор Подушкин с ефрейтором Ничипоренкой. Осмотрели печь, – труба опять дымилась, – и вышли: ничего не заметили.

– Едва не попались, – шепнул Голицын, бледный от страха.

– Помилуешь Бог, – ответил солдатик просто.

– А досталось бы тебе?

– Да, за это нашего брата гоняют сквозь строй.

– Подведу я тебя, уж лучше не надо, отдай.

– Небось, ваше благородье, будьте покойны, доставлю в точности.

Голицын почувствовал, что нельзя благодарить.

– Как твоё имя?

Солдатик опять посмотрел на него долго, жалостно.

– Я, ваше благородье, человек мёртвый, – улыбнулся тихой, как будто в самом деле мёртвой улыбкой.

Голицыну хотелось плакать. В первый раз в жизни, казалось, понял притчу о Самарянине Милостивом – ответ на вопрос: кто мой ближний?

В ту же ночь он вёл разговор с Оболенским.

– Здравствуй, – простучал Голицын.

– Здравствуй, – ответил Оболенский. – Здоров ли ты?

– Здоров, но в железах.

– Я плачу.

– Не плачь, всё хорошо, – ответил Голицын и заплакал от счастья.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды часу в одиннадцатом ночи вошли в камеру Голицына комендант Сукин с плац-майором Подушкиным и плац-адъютантом Трусовым; сняли с него кандалы, а когда он переделся из арестантского платья в своё – опять надели.

– В жмурки поиграем, ваше сиятельство, – ухмыльнулся плац-майор, завязал ему глаза платком и надел чёрный миткалёвый[87] колпак на голову. Подхватили под руки, вывели на двор, усадили в сани и повезли.

Проехав немного, остановились. Подушкин высадил арестанта и взвёл на крыльцо.

– Не споткнитесь, ножку не зашибите, – хлопотал заботливо.

Провёл через несколько комнат; в одной слышался скрип перьев: должно быть, это была канцелярия; усадил на стул, снял повязку.

– Обождите, – сказал и вышел.

Сквозь дырочку в зелёных шёлковых ширмах Голицын видел, как шмыгали лакеи с блюдами, – должно быть, где-то ужинали – и флигель-адъютанты с бумагами. Конвойные провели арестанта, закованного так, что он едва двигался; лицо закрыто было таким же чёрным колпаком, как у Голицына.

Он долго ждал. Наконец опять появился Подушкин, завязал ему глаза и повёл за руку.

– Стойте на месте, – сказал и отпустил руку.

– Откройтесь, – произнёс чей-то голос.

Голицын снял платок и увидел большую комнату с белыми стенами: длинный стол, покрытый зелёным сукном, с бумагами, чернильницами, перьями и множеством горящих восковых свечей в канделябрах. За столом – человек десять, в генеральских мундирах, лентах и звёздах. На председательском месте, верхнем конце стола, – военный министр Татищев; справа от него – великий князь Михаил Павлович, начальник штаба генерал Дибич, новый с.-петербургский военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов[88], генерал-адъютант Бенкендорф; слева – бывший обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын – единственный штатский; генерал-адъютанты: Чернышёв, Потапов[89], Левашов и, с краю, флигель-адъютант полковник Адлерберг. За отдельным столиком – чиновник пятого класса, старенький, лысенький, – должно быть, делопроизводитель.

Голицын понял, что это – Следственная Комиссия, или Комитет по делу

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Четырнадцатого.

С минуту длилось молчание.

– Приблизьтесь, – проговорил наконец Чернышёв торжественно и поманил его пальцем.

Голицын подошёл к столу, нарушая звоном цепей тишину в комнате.

– Милостивый государь, – проговорил Чернышёв после обычных вопросов об имени, возрасте, чине, вероисповедании, – в начальном показании вашем генералу Левашову вы на все предложенные вопросы сделали решительное отрицание, отзываясь совершенным неведением о таких обстоятельствах, кои...

Голицын, не слушая, вглядывался в Чернышёва; лет за сорок, а хочет казаться двадцатилетним юношей; пышный чёрный парик в мелких завитках, как шерсть на барашке; набелён, нарумянен; бровки вытянуты в ниточки; усики вздёрнуты, точно приклеены; жёлтые, узкие, с косым, кошачьим разрезом глаза, хитрые, хищные. «Претонкая, должно быть, бестия, – подумал Голицын. – Недаром говорят, самого Наполеона обманывал».

– Извольте же объявить всю истину и назвать имена ваших сообщников. Нам уже и так известно всё, но мы желаем дать вам способ заслужить облегчение вашей участи чистосердечным раскаянием.

– Я имел честь доложить генералу Левашову всё, что о себе знаю, а называть имена почитаю бесчестным, – ответил Голицын.

– Бесчестным? – возвысил голос Чернышёв с притворным негодованием. – Вы, сударь, не имеете понятия о чести. Кто изменяет присяге и восстает против законной власти – не может говорить о чести!

Голицын посмотрел на него так, что он понял: «Над арестантом закованным можешь ругаться, подлец!» Чернышёв чуть-чуть побледнел сквозь румяна, но смолчал, только переложил ногу на ногу и потрогал пальцами усики.

– Вы упорствуете, хотите нас уверить, что ничего не знаете, но я представляю вам двадцать свидетелей, которые уличат вас, и тогда уже не надейтесь на милость: вам не будет пощады!

Голицын молчал и думал со скукой: «Дурацкая комедия!»

– Послушайте, князь, – в первый раз поднял на него глаза Чернышёв, и узкие жёлтые зрачки сверкнули злостью, уже непритворной, – если вы будете заператься: о, ведь мы имеем средства **з а с т а в и т ь** вас говорить!

– «В России есть пытка», об этом мне уже напередни генерал Левашов сообщил. Но, ваше превосходительство, напрасно грозить изволите: я знаю, на что иду, – ответил Голицын и опять посмотрел ему прямо в глаза. Чернышёв немного прищурился и вдруг улыбнулся.

– Ну, если не хотите имена, не соблаговолите ли сказать о целях Общества? – заговорил уже другим голосом.

Обдумывая заранее, как отвечать на допросе, Голицын решил не скрывать целей Общества. «Как знать, – думал, – не дойдёт ли до потомства прозвучавший и в застенке глас вольности?»

– Наша цель была даровать отечеству правление законно-свободное, – заговорил, обращаясь ко всем. – Восстание четырнадцатого – не бунт, как вы, господа, полагать изволите, а первый в России опыт революции политической. И чем была ничтожнее горсть людей, предпринявших оный, тем славнее для них, ибо хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц вольности глас раздавался не долее нескольких часов, но благо и то, что он раздавался и уже никогда не умолкнет. Стезя поколениям грядущим указана. Мы исполнили наш долг и можем радоваться нашей гибели; что мы посеяли, то и взойдёт...

– А позвольте спросить, князь, – прервал его Александр Николаевич Голицын, дядюшка, с таким видом, как будто не узнавал племянника, – если бы ваша революция удалась, что бы вы с нами со всеми сделали, – ну, хоть, например, со мной?

– Если бы ваше сиятельство не пожелали признать новых порядков, мы попросили бы вас удалиться в чужие края, – усмехнулся Голицын, племянник, вспомнив, как некогда дядюшка бранил его за очки: «И свой карьер испортил, и меня, старика, подвёл!»

– Эмигрировать?

– Вот именно.

– Благодарю за милость, – встал и низко раскланялся дядюшка.

Все рассмеялись. И начался разговор почти светский. Рады были поболтать, отдохнуть от скуки.

– Ah, mon prince, vous avez fait bien du mal a la Russie, vous l'avez reculee de cinq'uante ans[90], – вздохнул Бенкендорф и прибавил с тонкой усмешкой:– Наш народ не создан для революции: он умён, оттого что тих, а тих, оттого что несвободен.

– Слово «свобода» изображает лестное, но неестественное для человека состояние, ибо вся жизнь наша есть от законов натуральных беспрестанная зависимость, – проговорил Кутузов.

– Я математически уверен, что христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, – противоречие совершенное, – объявил дядюшка.

А великий князь повторил в сотый раз анекдот о жене Константина – «Конституции». И государев казачок Фёдорыч, Адлерберг, захихикал так подобострастно-беззвучно, что поперхнулся, закашлял.

Председатель Татищев, «русский фальстаф», толстобрюхий, краснорожий, с губами отвисшими, дремавший после сытного ужина, вдруг приоткрыл один глаз и, уставив его на Голицына, проворчал себе под нос:

– Шельма! Шельма!

Голицын смотрел на них и думал: «Шалуны! Ну, да и я хорош: нашёл с кем и о чём говорить. Не суд и даже не застенок, а лакейская!»

– Не будете ли добры, князь, сообщить слова, сказанные Рылеевым в ночь накануне четырнадцатого, когда он передал кинжал Каховскому, – вдруг, среди болтовни, возобновил допрос Чернышёв.

– Ничего не могу сообщить, – ответил Голицын: решил молчать, о чём бы ни спрашивали.

– А ведь вы при этом присутствовали. Может быть, забыли? Так я вам напомню. Рылеев сказал Каховскому: «Убей царя. Рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей». Помните? Что ж вы молчите? Говорить не хотите?

– Не хочу.

– Воля ваша, князь, но вы этим вредите не только себе. Отвергнув или подтвердив слова Рылеева, вы уменьшили бы вину его или Каховского и, может быть, спасли бы одного из двух, а запирательством губите обоих.

«А ведь он прав», – подумал Голицын.

– Ну, так как же? – продолжал Чернышёв. – Не хотите сказать? В последний раз спрашиваю: не хотите?

– Не хочу.

– Шельма! Шельма! – проворчал себе под нос Татищев.

Узкие жёлтые зрачки Чернышёва опять, как давеча, сверкнули злостью.

– А княгиня знала о вашем участии в заговоре? – спросил он, помолчав.

– Какая княгиня?



– Ваша супруга, – улыбнулся Чернышёв ласково.

Голицын почувствовал, что кандалы тяжелеют на нём неимоверной тяжестью, ноги подкашиваются – вот-вот упадёт. Сделал шаг и схватился рукою за спинку стула.

– Присядьте, князь. Вы очень бледны. Нехорошо себя чувствуете? – сказал Чернышёв, встал и подал ему стул.

– Жена моя ничего не знает, – проговорил Голицын с усилием и опустился на стул.

– Не знает? – улыбнулся Чернышёв ещё ласковее. – Как же так? Венчались накануне ареста, значит, по любви чрезвычайной. И ничего не сказали ей, не поверили тайны, от коей зависит участь ваша и вашей супруги? Извините, князь, ненатурально, ненатурально! Да вы не беспокойтесь: без крайней нужды мы не потревожим княгини.

«Бросьтесь на него и разбить подлецу голову железам!» – подумал Голицын.

– Ecoutez, Чернышёв, c'est tres probable, que le prince n'a voulu rien confier a sa femme et qu'elle n'a rien su[91], – проговорил великий князь.

Он давно уже хмурился, закрываясь листом бумаги и проводя бородкой пера по губам. «Le bourru bienfaisant», «благодетельный бука» был с виду суров, а сердцем добр.

– Слушаю-с, ваше высочество, – поклонился Чернышёв.

– Завтра получите, сударь, вопросные пункты; извольте отвечать письменно, – сказал Голицыну, подошёл к звонку и дёрнул за шнурок.

Плац-майор Подушкин с конвойными появились в дверях.

– Господа, вы меня обо всём спрашивали, позвольте же и мне спросить, – поднялся Голицын и обвёл всех глазами с бледной улыбкой на помертвевшем лице.

– Что? Что такое? – опять проснулся Татищев и открыл оба глаза.

– Il a raison, messieurs Il faut etre juste, laissons le dire son dernier mot[92], – улыбнулся великий князь, предвкушая один из тех «каламбурчиков-карамбольчиков», коих был большим любителем.

– Да вы, господа, не бойтесь, я ничего, – продолжал Голицын всё с той же бледной улыбкой, – я только хотел спросить, за что нас судят?

– Дурака, сударь, валяете, – вдруг разозлился Дибич. – Бунтовали, на цареубийство злоумышляли, а за что судят, не знаете?

– Злоумышляли, – обернулся к нему Голицын, – хотели убить, да ведь вот не убили же. Ну а тех, кто убил, не судят? Не мысленных, а настоящих убийц?

– Каких настоящих? Говорите толком, говорите толком, чёрт вас побери! – окончательное взбесился Дибич и кулаком ударил по столу.

– Не надо! Не надо! уведите его поскорее! – вдруг чего-то испугался Татищев.

– Ваши превосходительства, – поднял Голицын обе руки в кандалах и указал пальцем сперва на Татищева, потом на Кутузова, – ваши превосходительства знаете, о чём я говорю?

Все окаменели. Сделалось так тихо, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают.

– Не знаете? Ну, так я вам скажу: о цареубийстве 11 марта 1801 года.

Татищев побагровел, Кутузов позеленел; оба как будто привидение увидели. Что участвовали в убийстве императора Павла Первого, об этом знали все.

– Вон! Вон! Вон! – закричали, повскакали, замахали руками.

Плац-майор Подушкин подбежал к арестанту и накинул ему колпак на голову. Подхватили, потащили конвойные. Но и под колпаком Голицын смеялся смехом торжествующим.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующее утро комендант Сукин принёс Голицыну запечатанный конверт с вопросными пунктами, перо, бумагу и чернильницу.

– Не спешите, обдумайте, – сказал, отдавая пакет.

В этот день посадили его на хлеб и воду. Он понял, что наказывали за вчерашнее.

Поздно вечером вошёл плац-адъютант Трусов и поставил на стол тарелку с белой сдобной булкой, аппетитно подрумяненной, похожей на те, что немецкие булочки называют розанчиками.

– Кушайте на здоровье.

– Благодарю вас, я не голоден.

– Ничего, пусть полежит, уж проголодаетесь.

– Унесите, – сказал Голицын решительно, вспомнив искушение трубкой.

– Не обижайте, князь. Право же, от чистого сердца. Чувствительнейше прошу, скушайте. А то могут быть неприятности...

– Какие неприятности? – удивился Голицын.

Но Трусов ничего не ответил, только ухмыльнулся; слащаво-наглое, хорошенькое личико его показалось Голицыну в эту минуту особенно гадким. Поклонился и вышел, оставив булку на столе.

До поздней ночи Голицын перестукивался с Оболенским. У обоих пальцы заболели от стучанья. Голицыну заменяла их обожжённая палочка из веника, которым подметали пол, а Оболенскому – карандашный огрызок.

– Я решил молчать, о чём бы ни спрашивали, – простучал Голицын, рассказав о допросе.

– Молчать нельзя: повредишь не только себе, но и другим, – ответил Оболенский.

– Чернышёв говорит то же, – возразил Голицын.

– Он прав. Отвечать надо, лгать, хитрить.

– Не могу. Ты можешь?

– Учусь.

– Рылеев, подлец, всех выдаёт.

– Нет, не подлец. Ты не знаешь. Была у вас очная ставка?

– Нет.

– Будет. Увидишь: он лучше нас всех.

– Не понимаю.

– Поймёшь. Если о Каховском спросят, не выдавай, что убил Милорадовича. Ведь и я ранил штыком; может быть, не он, а я убил.

– Зачем лжёшь? Сам знаешь, что он.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Верно, не выдавай. Спаси его.

- Его спасти, а тебя погубить?
- Не погубишь: всё за меня, против него.
- Я лгать не хочу.
- Ты всё о себе думаешь, – думай о других. Идут. Прощай.

После разговора с Оболенским Голицын задумался и забылся так, что не заметил, как, проголодавшись, начал есть булку. Опомился, когда уже съел половину. Оставлять не стоило, съел всю.

Ночью проснулся от боли в животе. Стонал и охал. Всю ночь промучился. К утру сделалась рвота, такая жестокая, что думал – умрёт. Но полегчало. Уснул.

- Как почивать изволили? – разбудил его Сукин.
- Прескверно. Тошнило.
- Что-нибудь съели?
- Трусов угостил булкой.
- Водой не запили?
- Нет.
- Ну, вот от этого. Надобно хлеб водой запивать. Ничего, пройдёт. Сейчас будет лекарь.
- Не надо лекаря.
- Нет, надо. Сохрани Бог, что-нибудь сделается. У нас тут строго: за жизнь арестантов головой отвечаем.

«Безымянный» – так называл Голицын того замухрышку-солдатика, который оказался для него Самарянином Милостивым, – узнав о ночном происшествии, объявил, что Голицын отравлен.

- Может, ваше благородие, чем не потрафили, – так вот они вас и мучают.

Пришёл лекарь, тот самый, который был в Зимнем дворце, на допросе Одоевского, Соломон Моисеевич Элькан, должно быть, из выкрестов, черномазый, толстогубый, с бегающими глазками, хитрыми и наглыми. «Прескверная рожа. Этакий, пожалуй, и отравить может!» – подумал Голицын.

Арестанта перевели на больничный паёк – чай и жидкий суп. Но он ничего не ел, кроме хлеба, который приносил ему потихоньку Безымянный.

Два дня не ел, а на третий зашёл к нему Подушкин. Присел рядом на койку, вздохнул, зевнул, перекрестил рот и начал:

- Что вы не кушаете?
- Не хочется.
- Полноте, кушайте, ведь заставят!
- Как заставят?
- А так: всунут машинку в рот и нальют бульону, – насильно проглотите. А то в мешок посадят.
- Какой мешок?
- А такие карцеры есть под землёю; сверху плита каменная с дыркой для воздуху. Ну, там не то, что здесь – темно, сыро, нехорошо.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Помолчал, опять зевнул и прибавил:

– Не горюйте, всё пройдёт. Вот и генерал Ермолов сидел в царствование императора Павла Первого, а как выпустили, со мной и не кланяется. Вот и с вами так же будет. Всё пройдёт, всё к лучшему.

– Вы «Кандида» читали, Егор Михайлович?

– Это насчёт носа? Да-с, имею с Кандидом сие преимущество: нельзя оставить с носом!

Памятю машинку и мешок, Голицын стал есть.

Иногда заходил к нему Сукин. Седой, в скобку подстриженный, с грубым солдатским лицом, напоминавшим старую моську, стоя на своей деревянной ноге, начинал издалека:

– Я, сударь мой, так рассуждаю: ежели можно жить где-нибудь счастливо, так это, конечно, в России: только не тронь никого, исполняй свои обязанности, – и свободы такой нигде не найдёшь, как у нас, и проживёшь, как в царствии Божием.

Умолкал и, не дождавсь ответа, опять начинал:

– Вы, господа, пустое затеяли: Россия столь обширный край, что не может управляться иначе как властью самодержавною. Если бы и удалось четырнадцатое, такая бы пошла кутерьма, что вы и сами были бы не рады.

Опять умолкал, долго смотрел на Голицына, потом вынимал платок, сморкался и вытирал глаза.

– Ах, молодой человек, молодой человек! Гляючи на вас, сердце кровью обливается... Ну, пожалейте вы себя, не упрямитесь, ответьте на пункты как следует. Государь милостив, всё ещё может поправиться...

И так без конца. «Взять бы его за шиворот и вытолкать!» – думал Голицын с тихим бешенством.

После ночного припадка всё ещё был нездоров. К доктору Элькану не скрывал своего отвращения и выжил его. Вместо доктора заходил к нему фельдшер Авенир Пантелеевич Затрапезный, тоже знакомый по допросу Одоевского: человек низенький, толстенький, небритый, нечёсанный, похожий на свою фамилию, забулдыга и пьяница, но честный, неглупый и, как сам рекомендовался, «якобинец отъявленный». От него узнавал Голицын о том, что происходит в крепости. У полковника Пестеля, недавно арестованного в Южной армии, найден яд: хотел отравиться, чтобы избегнуть пытки. Подпоручик Заикин[93] пытался убить себя, ударяясь головой об стену; знал, где зарыта «Русская Правда», и тоже опасался пытки.

Подполковник Фаленберг[94], почти ни в чём не замешанный, поверив, что в случае признания его простят и освободят немедленно, ложно обвинил себя в умысле на цареубийство, а когда его посадили в крепость, помешался в уме.

Девятнадцатилетний мичман Дивов[95], «младенец», как звали его тюремщики, доносил, что каждую ночь снится ему всё один и тот же сон, будто закалывает государя кинжалом. Слышал голоса, имел видения – доносил и о них, и по этим доносам людей хватили и сажали в крепость.

Поручик Анненков повесился на полотенце, сорвался и поднят без чувств на полу камеры.

Корнет Свистунов[96] проглотил осколки разбитого лампадного шкалика.

Полковник Булатов[97] поверил в милость царскую, как в милость Божью, а когда увидел, что обманут, решил уморить себя голодом. Перед ним ставили самую вкусную пищу, самое свежее питьё, но он ни к чему не прикасался, только грыз пальцы и сосал из них кровь, чтобы утолить жажду. Муки его продолжались двенадцать дней: должно быть, кормили насильно. Как ни строг был надзор, сумел обмануть сторожей: разбил себе голову об стену.

«А что-то будет со мною?» – думал Голицын, слушая эти рассказы.

На вопросные пункты всё ещё не ответил. Сначала решил молчать, запираюсь во всём. Но чем больше думал, тем больше чувствовал, что нельзя молчать. Неотразимы были доводы Чернышёва и Оболенского, врага и друга, что молчанием губит не только себя, но и других.

О. Мысловский продолжал заходить почти каждый день, но только на минутку. Зайдёт, поговорит, помолчит, как будто ожидая чего-то, и, не дождавшись, уйдёт.

– А что, отец Пётр, как вы думаете, хорошо ли я делаю, что запираюсь? – спросил однажды Голицын.

– Валерьян Михайлович, родной мой, дорогой, – обрадовался Мысловский; видно было, что этого вопроса только и ждал, – чего же тут хорошего? Нехорошо, нехорошо, не рассудительно и, даже прямо скажу, неблагоприятно. Вы губите...

– Ну, знаю, знаю! Гублю не только себя, но и других. Все вы точно сговорились... Ах, отец Пётр, и вы против меня! Я этого не ожидал от вас...

– Друг мой, поступайте по совести, как Бог вам внушит! – воскликнул о. Пётр и бросился его обнимать.

В тот же день Голицын отослал ответ в Комиссию. Подтвердил всё, в чём его самого обвиняли, а на остальные опросы ответам незнанием. Отослал утром, а вечером Безьяннин принёс ему записку Каховского:

«Голицын, участь моя в ваших руках. Рылеев, подлец, всех выдаёт. Ежели у вас будет с ним очная ставка и он сошлётся на вас, что я убил Милорадовича, не выдавайте. Все подлецы, кроме вас».

После этой записки Голицын всю ночь не спал, мучился, решал, что ему делать, но ничего не решил – понял, что само решится.

Утром написал в Комиссию, просил вернуть вопросные пункты. Вернули. Начал писать новый ответ. Сделал так, как Оболенский советовал: отвечал на каждый вопрос с точностью, стараясь только никому не повредить, никого не запутать, и для этого лгал, хитрил, вилял, изворачивался.

Писал до поздней ночи. Кончив, лёг. В темноте, при тусклом свете ночника, листки ответа белели на столике. И каждый раз, как он взглядывал на них, чувствовал такое отвращение, что казалось, вот-вот схватит и разорвёт. Но не разорвал. Отвернулся к стене, чтобы не видеть, и наконец уснул.

На следующий день отправил новый ответ в Комиссию, а дня через два Сукин поздравил его с первой царской милостью – снятием ножных желез. Вторая милость была посылка из дому: бельё, любимый старый халат – тот самый, в котором он ходил в бабушкином доме, в жёлтой комнате, когда выздоравливал, – и распечатанная записка Мариньки:

«Мой друг, я здорова и столь благополучна, сколь возможно сие в моём положении. Береги и ты себя; ради Бога, не предавайся отчаянию. Не думай, что я могу существовать без тебя. Одна смерть разорвёт нашу связь. Я буду там, где ты. Помни, что я говорила тебе: моя жизнь от тебя зависит, как нитка от иголки: куда иголка, туда и нитка. Храни тебя Бог и Мать Пречистая. Твоя навеки, княгиня Марья Голицына».

Ещё дня через два повезли его на второй допрос в Комиссию. Ввели в ту же залу, с теми же обрядами.

– Показания Рылеева по некоторым пунктам несходны с вашими. Вам будет дана очная ставка, – сказал Чернышёв и позвонил. Конвойные ввели Рылеева.

– Подтверждаете ли вы, Голицын, что в ночь накануне Четырнадцатого Рылеев сказал Каховскому, давая кинжал: «Убей царя»?

– Подтверждаю.

– А вы, Рылеев, что скажете?

– Я уже говорил вашему превосходительству, что согласен заранее со всем,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org что покажет Голицын. Я хорошенько не помню, что тогда говорил, но если он помнит, значит, так и было... А вы, Голицын, помните?

– Помню, Рылеев, – сказал Голицын и поднял на него глаза.

Опять, как тогда, в Эрмитаже, – он и не он. Но негодованья, презренья теперь уже не было, а только жалость бесконечная: что с ним сделали? Исхудал, осунулся, как после тяжкой болезни или пытки. Но не это самое страшное, а безоблачная ясность, тихость лица, какая бывает у мёртвых. «Ты его не знаешь: он лучше нас всех», – вспомнилось Голицыну.

– Итак, Рылеев, вы подговаривали Каховского?

– Подговаривал? Нет. Он сам решил, и я это знал. Но, может быть, без меня ничего бы не сделал. Я виноват больше, чем он, – ответил Рылеев и, помолчав, прибавил: – Ваше превосходительство, я не скрываю не только дел и слов моих, но и самых тайных помыслов. Мне часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убийство одного государя не только не произведёт пользы, но, напротив, может быть пагубно для цели Общества, ибо разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии, и всё сие неминуемо породит войну междоусобную. С истреблением же всей фамилии поневоле все партии соединятся. Но, сколько могу припомнить, я никому не открывал сего, да и сам, наконец, обратился к прежней мысли, что участь царствующего дома вправе решить только Великий Собор. Засим покорнейше прошу Комиссию не приписывать того упорству моему, что я всего ныне показанного не открыл прежде. Если что и скрывал, то щадя не столько себя, сколько других. Признаюсь чистосердечно: я сам себя почитаю главнейшим и, может быть, единственным виновником четырнадцатого, ибо если бы с самого начала отказался участвовать, то никто бы не начал. Словом, если для блага России нужна казнь, то я один её заслуживаю и молю Создателя, чтобы на мне всё кончилось.

– Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболенский, нанеся ему рану штыком, – продолжал Чернышёв. – Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его не Оболенский, а Каховский и сам об этом сказывал у вас на квартире вечером Четырнадцатого?

– Подтверждаю, – ответил Рылеев.

– Подтверждаете ли и вы, Голицын?

Голицын знал, что ответом своим погубит одного из двух – Оболенского или Каховского. Кого же выберет?

– Ну что ж опять замолчали? – посмотрел на него Чернышёв с усмешкой: думал, что поймал, – не отмолятся...

– Умоляю вас, Голицын, ответьте, – сказал Рылеев. – судьба Оболенского в ваших руках. Спасите невинного!

– Подтверждаю, – ответил Голицын.

– Собственными глазами видели? – спросил Чернышёв.

– Видел, – произнёс Голицын с таким чувством, как будто произносил смертный приговор Каховскому.

Чернышёв опять позвонил и сказал:

– Введите Каховского.

Каховский вошёл. Всё тот же: лицо тяжёлое-тяжёлое, точно каменное, с нижней губой, надменно оттопыренной, с глазами жалобными, как у больного ребёнка или собаки, потерявшей хозяина, с невидящим взором лунатика.

Голицына отвели в соседнюю комнату и усадили в угол, за ширмами. В комнате был доктор Элькан с фельдшером Авениром Пантелеевичем. Потом Голицын узнал, что они просиживают тут всё время заседания Комиссии: допрашиваемых иногда выносили в бесчувствии и тут же пускали им кровь.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Сначала голоса из-за двери доносились глухо, но потом, когда дверь приотворили, сделались внятными.

– Вы, стало быть, солгали, Каховский, оклеветали невинного?

– Оклеветал? Я? Я мог быть злодей в исступлении, но подлецом и клеветником никто меня не сделает. Будучи сами виновны, они смеют меня оскорблять, называют убийцею. Целовали, благословляли, а теперь, как злодеем, гнушаются. Ну, да всё равно! Пусть что хотят на меня показывают, я оправдываться не буду. Этот...

Голицын понял, что «этот» – Рылеев: Каховский так ненавидел его, что не хотел называть по имени.

– Этот не может меня оскорбить. Не оскорбляет ли более себя самого? Одно скажу: я не узнаю его или никогда не знал...

– А на главный вопрос вы так и не ответили: кто убил графа Милорадовича?

– Я уже имел честь изъяснить вашему превосходительству: я выстрелил по Милорадовичу, но не я один, стрелял весь фас каре; а князь Оболенский нанёс ему рану штыком. Я ли убил или кто другой, не знаю. Вынудить меня говорить противное никто не в силах. Прошу меня больше не спрашивать, я отвечать не буду.

– Лучше не запирайтесь, Каховский. На вас показывают все.

– Кто все?

– Рылеев, Бестужев, Одоевский, Пущин, Голицын.

– Голицын? Не может быть...

– Хотите очную ставку?

– Нет, не надо...

Он вдруг замолчал.

– Извините, ваше превосходительство, – начал опять, и слёзы задрожали в голосе, – минутная слабость, ребячество... Не плакать, а смеяться должно. «Всё к лучшему в этом лучшем из миров», как говорит наш безносый философ. Последний удар нанесён, последняя связь порвана. И кончено, кончено, кончено! Один я жил, один умру!

– Итак, убийство вами графа Милорадовича вы подтверждаете?

– Подтверждаю, подтверждаю, обеими руками подписываю. Я убил графа Милорадовича. И если бы государь подъехал к каре, то и его убил бы. И всех, всех – намеренье и согласие моё было на истребление членов царствующей фамилии... Ну, вот, господа, чего же вам больше? Казните, делайте со мной что хотите. Прошу об одной милости – приговора скорейшего. Смерти я не боюсь и сумею умереть как следует.

– Вместе умрём, Каховский! Ты не один, помни же, – вместе! – воскликнул Рылеев, и в голосе его была такая мольба, что сердце у Голицына замерло: поймёт ли тот, ответит ли?

– Что он говорит? Что он говорит? Сделайте милость, ваше превосходительство, избавьте меня... Слушать противно...

– Полно, Каховский, не горячитесь, – сказал Чернышёв, встал и взял его за руку.

Подушкин выглянул из-за двери. Голицын – тоже.

– Будьте покойны, не трону, рук марать не желаю, – ответил Каховский и вдруг обернулся к Рылееву, как будто только теперь увидел его. – Ну, что, говори!

Рылеев поднял на него глаза с улыбкой:

– Я хотел сказать, Каховский, что я тебя всегда...

– Что? Что? Что? – наступал на него тот, сжав кулаки.

– Эй, ребята! – позвал Чернышёв.

Вбежал плац-майор с конвойными.

– Любил и люблю, – кончил Рылеев.

– Любишь? Так вот же тебе за твою любовь, подлец! – закричал Каховский и кинулся на Рылеева. Раздался звук пощёчины.

Голицын вскрикнул и зашатался, как будто его самого ударили. Кто-то поддержал и усадил его на стул. Он потерял сознание.

Когда очнулся, фельдшер Затрапезный подносил ко рту его стакан с водой. Зубы стучали о стекло; долго не мог поймать губами край стакана; наконец поймал, выпил и спросил:

– Что он с ним сделал? Убил?

– Ничего не убил, а только съездил подлеца по роже как следует, – ответил Затрапезный.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

– Ну, слава Богу, ответили, и дело с концом, – говорил о. Пётр Голицыну, зайдя к нему в камеру на следующий день после допроса. – Теперь уж всё гладко пойдёт. Будьте покойны, всех помилует. Сам говорит: «Удивлю Россию и Европу!»

Маленькие, под нависшими веками, треугольные щёлки глаз светились такою простодушной хитростью, что Голицын, сколько ни вглядывался, не мог решить, очень он прост или очень хитёр.

– Государь сам изволил читать ваш ответ, – помолчав, прибавил Мысловский с таинственным видом. – Его величество сделал из него весьма выгодное заключение о ваших способностях.

– Ну, будет, отец Пётр, уходите, – сказал Голицын, бледнея.

О. Пётр не понял и посмотрел на него с удивлением.

– Уходите! – повторил Голицын, ещё больше бледнея. – Я ваш совет исполнил. Чего же вам ещё нужно?

– Да что, что такое, Валерьян Михайлович, дорогой мой, голубчик? За что же вы на меня?..

– А за то, что вы, служитель Христов, не постыдились принять на себя обязанность презренного шпиона и сыщика!

– Бог вам судья, князь. Вы оскорбляете человека, который ничего, кроме добра...

– Вон! Вон! – закричал Голицын, вскочил и затопал ногами.

О. Пётр ушёл и с того дня не появлялся. Голицын знал, что стоит ему сказать слово – и он тотчас прибежит. Но не хотел, старался убедить себя, что не нуждается в нём и что всегда ему был противен этот «чувствительный плут».

Не только о. Пётр, но и все его покинули.

«Наконец-то в покое оставили», – сначала радовался он; но, когда почувствовал, что одиночество сомкнулось над ним, как вода над утопающим, стало страшно.

Хуже всего было то, что Оболенского перевели в другую камеру. Перестукивания кончились. С новым соседом надо было всё начинать сызнова.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Вместо Оболенского посадили Одоевского. Когда Голицын постучал к нему, тот ответил таким неистовым грохотом, что часовые сбежались. И каждый раз, как Голицын пробовал стучать, повторялось то же.

Наконец бросил, отчаялся. А с другой стороны сидел полоумный Фаленберг; тот совсем не отвечал на стук. Тосковал и плакал о жене. Часто среди ночи, когда всё утихало, слышались его рыдания, сначала глухие, потом всё более громкие и кончавшиеся воплем раздрающим:

– Eudoxie! Eudoxie!

«Маринька! Маринька!» – хотелось ответить Голицыну таким же воплем.

В первые дни заключения, когда он думал, что сейчас конец, – было легко. Но теперь, когда убедился, что конец может быть через месяцы, годы, десятки лет, им овладела тоска безысходная.

Дни проходили за днями, такие однообразные, что сливались, как в беспмятстве бреда, в один сплошной, нескончаемый день. Налепленные для счёта дней хлебные шарики смахнул со стены: потерял счёт времени. Время становилось вечностью, и в зияющую бездну её он заглядывал с ужасом.

Рассудок разрушался, размалывался, как зерно между двумя жерновами, между двумя мыслями: надо что-нибудь делать, а делать нечего.

Цельми часами складывал на столе выломанные из вентилятора жестяные пёрышки в различные фигуры – звёзды, кресты, круги, многоугольники.

Или, сидя на койке, выдёргивал бесконечную нитку, которую пристёгивалась простыня к одеялу, и навязывал узлы, один на другой, так что под конец образовывался целый клубок; тогда развязывал и снова навязывал.

Или следил, как паук ткёт паутину, и завидовал: делом занят – не соскучится.

Или, стоя на подоконнике, глядел сквозь дыру вентилятора на соседнюю глухую гранитную стену и крышу бастиона с водосточным жёлобом, где иногда знакомая ворона садилась и каркала.

Или кружился по камере и выдолбленные на кирпичном полу ногами прежних жильцов ямки ещё глубже выдалбливал.

Или сочинял дурацкие стишки и твердил их бессмысленно, до одури:

Кто не знает нашу участь,  
Не поверит тот никак.  
Чтоб за этакую глупость  
Могли мучиться мы так.  
В углу, где умывался, на стене была надпись: «God damn your ayes»[98].

– Кто это писал? – спросил Безымянного.

– Англичанин.

– Что же с ним сделалось?

– Помер.

– От чего?

– От спячки. День и ночь спал, во сне и помер.

«Вот и я умру так же, во сне», – подумал Голицын.

Сделался слезлив, как баба. Когда звонили куранты заунывным, точно похоронным, звоном, хотелось плакать. Когда фейерверкер Шibaев приносил обед или чай с улыбкой особенно ласковой, тоже навёртывались слёзы. Однажды перечёл записку Мариньки и, как ребёнок, расплакался. А когда часовой заглянул в глазок, стало стыдно; повернулся к нему спиной, хотел удержать слёзы и не мог – лились, неутолимы, отвратительно сладкие. «Вот что наделала крепость в две-три недели, а что будет дальше?» – подумал:

Погибну я за край родной,  
Я это чувствую, я знаю;  
И радостно, отец святой,  
Свой жребий я благословляю.

А как дошло до дела, испугался, ослабел, не захотел погибать; любил жизнь, потому что любил Мариньку. Любовь – подлость: чтобы умереть как следует, надо разлюбить, убить любовь, – из всех его страшных мыслей эта была самая страшная.

С каждым днём тоска усиливалась, терпенье истощалось; сердце выболело, мысли мешались, и ему казалось, что он сходит с ума. Следил за собою и в каждом своём движении, слове, мысли находил признаки помешательства. Сначала был страх безумия, а потом страх этого страха. Сходил с ума на мысли, что сойдёт с ума. «Уж скорее бы!» – думал с отчаянием и, стоя в углу, бился головой об стену. Или рассматривал отточенное жестяное перо вентилятора: нельзя ли зарезаться?

Наконец, заболел. Сделался жар, закололо в боку, закашлял кровью. Комендант Сукин перепугался, позвал Элькана. Тот объявил, что если больного не переведут в лучшую камеру, то может быть чахотка.

Голицын обрадовался. Все муки его сразу кончились: смерть – свобода.

О. Пётр узнал, что он болен, прибежал к нему, а когда он стал извиняться, что оскорбил его в последнее свидание, – не дал ему говорить, бросился на шею и заплакал.

Начал опять заходить каждый день. Чтобы развлечь больного, рассказывал городские слухи и новости.

От него узнал Голицын о прибытии похоронного шествия с телом покойного императора. Все о нём забыли так, как будто похоронили уже лет десять назад. А между тем через всю Россию, из Таганрога в Петербург, медленно-медленно, больше двух месяцев, тянулось похоронное шествие, окружённое войсками, пешими и конными, с авангардами и арьергардами, разъездами и патрулями, как военный поход в стране неприятельской. Опасались бунта. В народе шёл слух, что государь не умер и хоронят кого-то другого; в Москве будто хотят выбросить из гроба тело и таскать по улицам, а потом сжечь. «Принял я строжайшие меры к совершенной безопасности бесценного праха, – доносил граф Орлов-Денисов [99], обер-церемониймейстер похорон. – Смеем ручаться, что последняя капля крови моей застынет у подножия гроба августейшего усопшего, и через хладный только труп мой насильство достичь может дерзновенного прикосновения». По прибытии тела в Москву запирали на ночь ворота в Кремле и у каждого входа ставили заряженные пушки. А в Петербурге будто проведены были пороховые подкопы под всеми улицами, от заставы до Казанского собора, по коим должно было следовать шествие; и в подвалах собора спрятаны четыре бочки с порохом; и в каждом флашкоуте Троицкого моста – тоже по бочке, чтобы взорвать шествие.

Ещё более странный слух сообщил Голицыну Авенир Пантелеевич: государь будто бы умер от яду; Меттерних, злодей, отравил; лицо в гробу почернело так, что узнать нельзя. А на живом государе тоже лица нет от страху, – не лучше покойника.

Но то, что Безымянный рассказывал, было всего удивительней.

Во время проезда государева тела был в Москве из некоторого села дьячок; а когда он вернулся в село, стали его мужики спрашивать, что, царя-де видел ли. «Какого, – говорит, – царя? Это не царя, а чёрта везут!» Тогда один мужик его ударил в ухо и объявил попу, а поп – начальству; и того дьячка взяли за караул. А ещё сказывают, будто не царь в гробу и не чёрт, а простой русский солдат. Когда государь жил в Таганроге, то хотели его убить изверги. И, сведав про то, государь вышел ночью из дворца к часовому: «Хочешь, – говорит, – часовой, за меня умереть?» – «Рад стараться, ваше величество!» И тогда государь надел солдатский мундир и стал на часы, а солдат, в мундире царском, пошёл во дворец. Вдруг из пистолета по нём выстрелили. Солдат помер, а государь, бросив ружьё, бежал с часов неизвестно куда. В скиты, говорят, к старцам, душу спасать, молиться, чтобы Господь Россию помиловал.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Как знать, может, и правда, – подмигнул о. Пётр Голицыну с таинственным видом, когда тот передал ему рассказ Безьямногого.

– Что правда? – удивился Голицын.

– А то, что был мёртв и сё, жив...

– Бог с вами, отец Пётр! Подумайте только, какая нелепость. Ужели все генералы, адъютанты, придворные, все сопровождавшие тело его, весь Таганрог и сама императрица Елизавета Алексеевна – ужели все они участвовали в заговоре, чтобы обмануть Россию?

– Да, как будто не того, – согласился о. Пётр нехотя; но помолчал, подумал и прибавил ещё таинственнее: – Тёмное дело, ваше сиятельство, тёмное!

И вдруг, наклонившись к уху его, зашептал:

– А солдатик-то действительно был, говорят, в полковом госпитале, в Таганроге, больной при смерти, необыкновенно лицом на государя похож. Солдатик помер, а государь выздоровел. Ну, и подменили. Лейб-медик Вилие всё дело сварганил. Прехитрая бестия!

– Да зачем? Кому это нужно?

– А кому это нужно – тайна великая. Ныне сокровенно сие, а может, когда и откроется. Некий старец явится, святой угодник Божий, за всю Россию подвижник и мученик, от земли до неба столп огненный, Благословенный воистину. Имя же ему...

– Ну что ж, говорите.

– А никому не скажете?

– Никому.

– Даёте слово?

– Даю.

– Фёдор Кузьмич, – прошептал о. Пётр благоговейным шёпотом.

– Фёдор Кузьмич, – повторил Голицын, и что-то вещее, жуткое послышалось ему в этом имени, как будто на одно мгновение он поверил, что так оно и есть: старец Фёдор Кузьмич – император Александр Павлович.

Вспомнил разговор в Линцах с Пестелем и Софьин бред: «убить мёртвого»; «был мёртв – и сё, жив».

13 марта Безьямный объявил Голицыну:

– Царя нынче хоронят.

Сквозь верхнее незабелённое звено окна видно было, что на дворе метелица; снег падал густыми, ещё не мокрыми, но уже мягкими, как пух, мартовскими хлопьями.

Голицын закрыл глаза и увидел медленно тянущееся похоронное шествие с чёрным катафалком и чёрным гробом под белым снежным саваном.

Вдруг загрохотали оглушительные пушечные выстрелы. Стены каземата дрожали, как будто рушились. Вспыхивало пламя, освещая камеру.

Он понял, что в эту минуту в соборе Петропавловской крепости опускают в могилу тело императора Александра Первого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Крепостному начальству велено было стараться, чтобы никто из заключённых не умер до окончания дела. За Голицыным ухаживали: переменили жёсткую койку на мягкую; стали лучше кормить, давать книги; после ножных сняли и ручные кандалы и наконец перевели в другую камеру, посуше. Но он жалел о прежней,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
тёмной и тесной, о ямках от ног на кирпичном полу, о друге пауке и пятнах сырости на штукатурке стен, для него не пятнах, а лицах и образах.

В начале апреля уже выздоравливал. Когда почувствовал, что не умрёт, хотел огорчиться и не мог. Пусть месяцы, годы, десятки лет заключения, пусть новые муки, ещё неизвестные, – только бы жить!

В новой камере окно выходило на полдень. Внизу был ров, и стены бастиона отступали так, что было больше неба, чем в прежней камере, и, несмотря на глубокую, почти двухаршинную, впадину окна, солнце в начале апреля стало заглядывать, ложась на белую стену острым углом света с чёрной тенью решёток.

Он садился в этот угол и, зажмурив глаза, смотрел прямо на солнце. Ни о чём не думал, только впитывал свет и тепло, как растение. Солнце и он – больше ничего и никого не нужно. А Маринька? Маринька – то, почему солнце светит на земле. Казалось, только здесь, в тюрьме, в первый раз в жизни узнал, что такое свобода и счастье. Сначала стыдился, боялся, что так просто счастлив, но потом понял, что опять «всё хорошо». «Как хорошо, Господи!» Хотел молиться, но молитвы не было, а было только вздыхание к Богу, вопрос и ответ: «Здесь?» – «Здесь». И вся душа затихла тишиной последней.

С о. Петром помирился окончательно. Понял, что хотя он и «плут», но плутовство у него, как часто бывает у русских людей, с добротой смешано, и даже так, что чем плутоватее, тем добрее. Может быть, сначала кривил душой, служил и нашим и вашим, но мало-помалу изменил тюремщикам и перешёл на сторону узников. Не умом, а сердцем угадывал, что эти «злодеи» – лучшие люди в России. Полюбил их в самом деле как духовный отец детей своих.

– А ведь вы наш, отец Пётр, – сказал ему однажды Голицын.

– Наконец-то поняли, – весь просиял о. Пётр. – Ваш, друзья мои, ваш! С такими людьми жить и умереть!

12 апреля, в Вербное воскресенье, вошёл Мысловский к Голицыну, в ризе, с чашей в руках, и сказал, что причащает узников.

– А вы, князь, не желаете? – спросил так же, как в первое свидание, три месяца назад, и Голицын так же ответил:

– Нет, не желаю.

– Почему же?

– Потому что не хочу смешивать Христа со Зверем.

И он объяснил ему свою давнюю мысль о кощунственном соединении Кесарева с Божьим, царства с церковью.

– Ну а если и так, вам-то за что погибать? Не вкушает ли голодный хлеба и в вертепе разбойничьем?

Голицын умолк, обезоруженный: так умилило и ужаснуло его это смирение, может быть, не только о. Петра, но и всех, кто за ним.

– Вы знаете, отец Пётр, за что я к злодеям причтён, и знаете, что я ни в чём не раскаиваюсь. И нераскаянного причастили бы?

– Причастил бы.

– И убийцу?

– Что вы, князь, БОГ с вами, кого вы убили?

– Всё равно, хотел убить – убить Зверя во имя Христа. Можно во имя Христа убить, отец Пётр, как вы думаете?

О. Пётр стоял у окна. Луч солнца падал на золотую чашу в руках его, и она сияла как солнце. Руки его дрожали так, что казалось, – уронит чашу. Губы шевелились беззвучно: хотел что-то сказать и не мог.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Не знаю, – проговорил наконец. – Я вас не сужу. Бог рассудит...

Голицын опустил на колени.

– Простите, отец Пётр! Если бы вы и могли, я не могу... – прошептал он, поцеловав руку его, и пал ниц перед чашею.

О. Пётр благословил его молча и вышел.

18 апреля, в Светлую ночь, Голицын не спал – всё ждал чего-то, прислушивался. Но сквозь глухие стены каземата ни один звук не проникал, тишина была мёртвая. Встал на подоконник и выглянул сквозь дыру вентилятора; здесь, в новой камере, тоже выломал из него пёрышки. Увидел только темноту, как чернила, чёрную. Приложил ухо к дыре и, как смутное жужжание пчелиного улья, услышал глухой гул колоколов – пасхальный благовест.

Никогда, казалось, не чувствовал так, как здесь, в каземате, погребённый заживо, что Христос воскрес.

В мае начали водить арестантов на прогулку в садик внутри Алексеевского рavelина. Повели и Голицына.

Когда он переступил порог наружной двери, солнечный свет ослепил его так, что он закрыл глаза руками. Свежий воздух останавливал дыхание, и, как вышедшему на берег после долгого плавания, ему казалось, что земля под ним качается. Фейерверкер Шибаетов поддержал его под руку и повёл в садик.

Садик был треугольный, в треугольнике высоких стен, как на дне колодца; стены – гранитные, гладкие, голые, без окон, снизу поросшие зелёным мхом и лишаями жёлто-серыми, как дикие скалы, с одной только дверцей, окованной железом, с железной решёткой.

Немного травки, несколько кустиков сирени, бузины и черёмухи, две-три берёзки; между ними – деревянная полусломанная лавочка и у одной из стен дерновый холмик с ветхим покачнувшимся крестиком, – как объяснил Шибаетов, – могила утонувшей во время наводнения узницы, княжны Таракановой[100].

Садик был жалкий, а Голицыну казался Божьим раем. И, как первый человек в раю или мертвец, вставший из гроба, он глядел с ненасытной жадностью на жёлтые цветы одуванчиков, на смолисто-клейкие лапки берёзовых листиков, на голубое небо и тающие, как светлый пар, облака.

Заиграли куранты, как будто над самой головой его. Он взглянул вверх.

– Пожалуйте сюда, ваше благородие, отсюда видать, – указал ему Шибаетов на один из углов треугольника. Голицын подошёл, встал на рундук водосточного желоба, прислонясь спиной к стене, и увидел ослепительно сверкающую на солнце, как огненный меч, золотую иглу Петропавловской крепости с архангелом, трубящим в трубу, как бы в знак того, что узники выйдут на волю из этой живой могилы только в воскресенье мёртвых.

Опять вернулся в середину садика и сел на лавочку. Шибаетов что-то говорил, но он его не слышал. Тот понял, что Голицын хочет остаться один; отошёл, отвернулся и закурил трубочку.

Голицын долго глядел на тонкий белый ствол берёзки, потом вдруг обнял его, прижался к нему щекою и закрыл глаза. Вспомнил Мариньку: «Выбегу, бывало, в рощу; молодые берёзки – тоненькие, как восковые свечечки; кожа у них такая мягкая, тёплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!»

Когда Голицын вернулся в свою новую, «светлую» камеру, она показалась ему тёмным и тесным гробом. Как будто на мгновение встал из гроба и опять упал: уж лучше б не вставать. Решил не ходить на прогулку. Отказался раз, два, а потом не выдержал – пошёл.

Берёзки уже распустились, и благоухание цветущей сирени пахло в лицо ему росною свежестью. Опять, как наперед, сел на лавочку, обнял берёзку, прижался щекою и закрыл глаза. Такая тоска сжала сердце, что хотелось кричать, как от боли.

Вдруг шорох шагов. Открыл глаза, вскочил и выставил руки вперёд с тихим криком ужаса: казалось, что видит призрак Мариньки.

– Валенька, светик мой, родненький! – бросилась к нему, обняла, прильнула всем телом – живая, живая Маринька.

Что было потом, уже не помнили. Говорили, спешили, перебивали, не понимали друг друга, смеялись и плакали вместе. Он вглядывался в неё, удивлялся и не узнавал: как похудела, побледнела и расцвела новой прелестью, неведомой! Девятнадцатилетняя девочка – и уже взрослая женщина. Какое спокойное мужество! Ни страха, ни скорби – в этих больших тёмных глазах, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей, на полотне Рафаэлевом.

– Ты, Маринька, ты... Господи! Как ты сюда?..

– А что, не ждал, думал, не приду? А вот и пришла. Анкудиныч провёл.

– Какой Анкудиныч?

– Ничипоренко. Аль не знаешь? Вон он стоит.

Голицын увидел стоявшего поодаль, рядом с Шибеевым, ефрейтора Ничипоренку, того самого, который когда-то грозил ему розгами.

– Я ведь тут каждый день бываю в крепости, будто бы в церковь к обедне хожу. Не знала, что ты в равелине сидишь. С бульвара-то, от церкви, окна казематов видны, все в ряд, одинаковые, мелом замазаны, – ничего не разобрать. А я всё смотрю: думаю, какое окно твоё? Надоела всем. Комендант ругается; раз хотел из церкви вывести. Так я переоденусь, бывало, девкой и так пробираюсь. А у Подушкина дочка, Аделаида Егоровна, старая девица, предобрая. Влюбилась в Каховского... Ах, Боже мой, сколько надо сказать, а я вздор болтаю! А знаешь, когда шёл лёд...

Начала и не кончила, должно быть, опять решила, что вздор. Хотела рассказать, как однажды бабушкин дворецкий Ананий, тоже часто бывавший в крепости, напутал её, будто бы князь болен, при смерти. Кинулась в крепость, а все мосты разведены – ледоход. Яличники отказывались ехать. Наконец одного умолила: согласился за 25 рублей. Кинул ей верёвку; надо было привязать её к чугунному кольцу, вбитому в перила набережной, чтобы спуститься по обледенелым ступеням гранитной лестницы. Долго не могла справиться: мёрзлая верёвка – жёсткая, чугунное кольцо – тяжёлое, обледенелый гранит – скользкий, а руки – слабые. Но лёд, и чугун, и гранит – всё победили слабые руки. Спустились в ялик. Поплыли. Несущиеся навстречу льдины громоздились, ломались, трещали – вот-вот опрокинут ялик. Старый лодочник, бледный от страха, то ругался, то молился. А когда причалили к другому берегу, взглянул на неё с восхищением. «Ах, хороша девка!» – должно быть, подумал, как все о ней думали. Было поздно; ворота крепости заперты; часовой не пропускал. Сунула ему денег – отпер. Побежала на квартиру к Подушкину. Аделаида Егоровна успокоила: князь был очень болен, но теперь лучше; доктор обещает, что скоро будет здоров. «А что это у вас с ручками-то, ваше сиятельство!» – вдруг вскрикнула старая девица в ужасе. Маринька взглянула на руки: перчатки в лохмотьях и ладони в крови; ободрала кожу о ледяную верёвку. Улыбнулась, вспомнила, как он целовал ей руки в ладони.

– Отчего ты в трауре? – спросил Голицын, когда помолчали, глядя друг другу в глаза и угадывая всё, что не умели сказать. Только теперь он заметил, что она в чёрном платье и в чёрной шляпке с траурным вуалем.

– Похоронила бабеньку.

– А Нина Львовна здорова?

– Н-нет, не очень, – потупилась она и заговорила о другом.

Он понял, что она умоляет его не говорить о матери: хочет одна нести эту муку.

Подошёл Ничипоренко:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Пожалуйте, ваше сиятельство.

– Сейчас, Анкудиныч, ещё минутку...

– Никак нельзя. Комендант увидит – беда будет.

Маринька достала из кармана пачку ассигнаций и сунула ему в руку. Он покосился на них: должно быть, мало. Опять опустила руку в карман, но там ничего уже не было. Тогда сняла с шеи золотую цепочку с крестиком и отдала ему. Он отошёл.

Опять заговорили, но уже безрадостно: чувствовали, что минута разлуки близка.

– Постой, что я хотела? Ах да, – заторопилась, зашептала ему по-французски на ухо. – Бежать, говорят, можно: теперь на Неве много судов заграничных, близко к крепости. Фома Фомич с одним капитаном уже говорил и пачпорт достал. А плац-адъютант Трусов за десять тысяч...

– Трусов – негодяй; берегись его. Бежать нельзя. А если б и можно, я не хочу.

– Отчего?

Он посмотрел на неё молча так, что она поняла.

– Ну, прости, милый, я ведь ничего не понимаю... А знаешь, отец Пётр говорит, что всех помилуют.

– Нет, Маринька, не помилуют. Да и не нужно нам ихней милости.

– Ну, всё равно, пусть хоть на край света сошлют, – будем вместе! А если... – не кончила, но он понял: «Если умрёшь – и я с тобою».

– Ваше сиятельство, – опять подошёл Ничипоренко и взял её за руку.

Она оттолкнула его, бросилась на шею к Голицыну, обняла его так же, как давеча, прильнула всем телом, поцеловала, перекрестила:

– Храни тебя Матерь Пречистая!

И в последнем взоре – ни страха, ни скорби, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей.

Когда он опомнился, её уже не было, и опять казалось ему, что это было только видение. Опустился на лавочку и долго сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Вдруг почувствовал на лице холодные капли и открыл глаза. Набежало облако; золотые нити дождя на солнце задрожали, зазвенели, как золотые струны, певучими звонами. Падали крупные капли, как светлые слёзы, словно кто-то плакал от радости. Ярче зазеленела трава, забелели стволы берёз, и сирень задышала благоуханнее.

Он оглянулся: никого не было в садике; Шibaев вышел за дверцу, – должно быть, понял, так же как намерен, что он хочет остаться один.

Голицын стал на колени, нагнулся, раздвинул влажную траву и припал губами к земле. «Любить землю грех, надо любить небесное», – вспомнил и засмеялся, заплакал от радости. Целовал землю и шептал:

– Земля, земля, Матерь Пречистая!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Записки С. Я. Муравьёва-Апостола

«Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию!» – так я молюсь, умирая.

Я знаю, что умру. Все говорят, что смертной казни не будет, а я думаю, –

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org будет. Но если б и не было казни, я, кажется, умер бы: со сломанной ногой нельзя ходить – со сломанной душой нельзя жить.

После разбития мятежного Черниговского полка, 4-го января, я привезён был в Петербург, тяжело раненный, так что живу быть не чаяли. Но вот остался жив: первую смертью не умер, чтобы умереть вторую.

Мореплавателю, затёртый льдами, кидает бутылку в море с последнюю отрадную мыслью: узнают, как мы погибли. Так я кидая в океан будущего свои записки предсмертные – моё завещание России.

Пишу на клочках и прячу в тайник: в полу моей камеры один из кирпичей поднимается. Перед смертью отдам кому-нибудь из товарищей: может быть, сохранят.

Плохо пишу по-русски. Je dois avouer a ma honte que j'ai plus d'habitude de la langue francaise que du-russe[101]. Буду писать на обоих языках. Такова уж наша судьба: чужие на родине.

Я провёл детство в Германии, Испании, Франции. Возвращаясь в Россию и заведя на прусской границе казака на часах, мы с братом Матвеем выскочили из кареты и бросились его обнимать.

– Я очень рада, что долгое пребывание на чужбине не охладило вашей любви к отечеству, – сказала маменька, когда мы поехали далее. – Но готовьтесь, дети, я должна сообщить вам страшную весть: в России вы найдёте то, чего ещё не знаете, – рабов.

Мы только потом поняли эту страшную весть: вольность – чужбина; рабство – отечество.

Мы – дети Двенадцатого года. Тогда русский народ единодушным восстанием спас отечество. То восстание – начало этого; Двенадцатый год – начало Двадцать Пятого. Мы думали тогда: век славы военной с Наполеоном кончился; наступили времена освобождения народов. И неужели Россия, освободившая Европу из-под ига Наполеонова, не свергнет собственного ига? Россия сдерживает порывы всех народов к вольности: освободится Россия – освободится весь мир.

Намедни папенька, зайдя ко мне в камеру и увидев мундир мой, запятнанный кровью, сказал:

– Я пришлю тебе новое платье.

– Не нужно, – ответил я, – я умру с пятнами крови, пролитой..

Я хотел сказать: «за отечество», но не сказал: я пролил кровь больше чем за отечество.

Вот одно из первых моих воспоминаний младенческих. Не знаю, впрочем, сам ли я это помню или только повторяю то, что брат Матвей мне сказывал. В 1801 году, 12 марта, утром после чаю, брат подошёл к окну, – мы жили тогда на Фонтанке, у Обухова моста, в доме Юсупова, – выглянул на улицу и спросил маменьку:

– Сегодня Пасха?

– Нет, что ты, Матюша.

– А что ж вон люди на улице христосуются?

В эту ночь убит был император Павел.

Так соединила Россия Христа с вольностью: царь убит – Христос воскрес.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Кровавой чаше причастимся, –  
И я скажу: Христос воскрес!  
Это – кощунство в устах афея Пушкина. Но он и сам не знал, над какой  
святыней кощунствовал.

А вот моё показание Следственной Комиссии о беседе с Горбачевским, членом  
Тайного общества Соединённых Славян:

«Утверждаемо было мною, что в случае восстания, в смутные времена  
переворота, самая твердейшая наша надежда и опора должна быть привязанность  
к вере, столь сильно существующая в русских; что вера всегда будет сильным  
двигателем человеческого сердца и укажет людям путь к вольности. На что  
Горбачевский отвечал мне с видом сомнения и удивления, что он полагает,  
напротив, что вера противна свободе. Я тогда стал ему доказывать, что  
мнение сие совершенно ошибочно; что истинная свобода сделалась известною  
только со времени проповедания христианской веры и что Франция, впавшая в  
великия бедствия во время своего переворота именно от вкравшегося в умы  
безверия, должна служить нам уроком».

Философ Гегель полагает, что французский переворот есть высшее развитие  
христианства и что явление оно столь же важно, как явление самого Христа.  
Нет, не французский переворот был, а переворот истинный будет таким.  
Якобинская же вольность без Бога – воистину ужас – la terreur[102] –  
человекоубийство ненасытимое, кровавая чаша дьявола.

Соединить Христа с вольностью – вот великая мысль, великий свет  
всеозаряющий.

А может быть, никто никогда не узнает, за что я погиб. Не стены каземата  
отделяют меня от людей, а стены одиночества. С людьми, на воле, я так же  
один, как здесь, в тюрьме.

Toujours reveur et solitaire,  
Je passerai sur cette terre.  
Sans que personne m'ai connu;  
Ce n'est qu'au bout de ma carrière,  
Que par un grant trait de lumière,  
On connaîtra ce qu'on a perdu[103].

Так хвастать мог только глупенький мальчик. Увы, пришёл мой конец, и  
никаким светом не озарился мир. Но мне всё ещё кажется, что была у меня  
великая мысль, великий свет всеозаряющий; только сказать о них людям я не  
умел. Знать истину и не уметь сказать – самая страшная из мук человеческих.

Единственный человек в России, который понял бы меня, – Чаадаев. Как сейчас  
помню наши ночные беседы в 1817 году, в Петербурге, в казармах Семёновского  
полка; мы тогда вместе служили и вступили в Союз Благоденствия. Помню лицо  
его, бледное, нежное, как из воску или из мрамора, тонкие губы с вечною  
усмешкою, серо-голубые глаза, такие грустные, как будто они уже конец мира  
увидели.

– Преходит образ мира сего, новый мир начинается, – говорил Чаадаев. – К  
последним обетованиям готовится род человеческий – к Царствию Божьему на  
земле, как на небе. И не Россия ли, пустая, открытая, белая, как лист  
бумаги, на коем ничего не написано, – без прошлого, без настоящего, вся в  
будущем – неожиданность безмерная, une immense spontanéité – не Россия ли  
призвана осуществить сии обетования, разгадать загадку человечества?

И все наши беседы кончались молитвою: «Adveniat regnum tuum. Да придет  
царствие Твоё».

«Да будет один Царь на земле, как на небе, – Иисус Христос». Это слова  
моего Катехизиса.

«От умозрений до совершений весьма далече», – сказал однажды Пестель. И он  
же – обо мне, брату моему Матвею: «Votre frere est trop pur»[104].

Да, слишком чист, потому что слишком умозрителен. Чистота – пустота

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org проклятая. Чистое умозрение в делании – донкихотство, смешное и жалкое. Я ничего не сделал, только унизил великую мысль, уронил святыню в грязь и в кровь. Но я всё-таки пробовал сделать, Пестель даже не пробовал.

Он был арестован четырнадцатого, в самый день восстания. Некоторое время колебался и помышлял идти с Вятским полком на Тульчин, арестовать главнокомандующего, весь штаб второй армии и поднять знамя восстания. Но кончил тем, что сел в коляску и поехал в Тульчин, где его арестовали тотчас.

Умно поступил, умнее нас всех: остался в чистоте умозрения.

Я мог бы полюбить Пестеля; но он меня не любит – боится или презирает. Ясность ума у него бесконечная. Но всего умом не поймёшь. Я кое-что знаю, чего не знает он. Надо бы нам соединиться. Может быть, переворот не удался, потому что мы этого не сделали.

Вниз катить камень легко, трудно – подымать вверх. Пестель катит камень вниз, я подымаю вверх. Он хочет политики, я хочу религии: легка политика, трудна религия. Он хочет бывшего, я хочу небывалого.

Не христианин и не раб,  
Прощать обид я не умею, –  
сказал Рылеев. Христианство – рабство: вот яма, в которую катится всё.

Пестель на юге, Рылеев на севере – два афея, два вождя российской вольности. А в середине – множество бесчисленное малых сих. «Нынче только дураки да подлецы в Бога веруют», – как сказал мне один русский якобинец, девятнадцатилетний прапорщик.

Не имея Бога, народ почитают за Бога.

– С народом всё можно, без народа ничего нельзя, – воскликнул однажды Горбачевский, заспорив со мной о демократии.

– La masse n'est rien; elle ne sera que ce que veulent les individus qui son tout (Множество – ничто; оно будет только тем, чего хотят личности; личность – всё), – ответил я, возмущившись.

Знаю, что это не так; но если нет Бога, пусть мне докажут, что это не так.

«Россия едина, как Бог един», – говорит Пестель, а сам в Бога не верует. Но если нет Бога, то нет и единой, – нет никакой России.

Качу камень вверх, а он катится вниз – работа Сизифова. Я себя не обманываю, я знаю: если переворот в России будет, то не по моему Катехизису, а по «Русской Правде» Пестеля. О нём вспомнят, обо мне забудут; за ним пойдут все, за мной – никто. Будет и в России то же, что во Франции, – свобода без Бога, кровавая чаша дьявола.

Забудут, но вспомнят; уйдут, но вернуться. Камень, который отвергли зиждущие, тот самый делается главою угла. Не спасётся Россия, пока не исполнит моего завещания: свобода с Богом.

La Divinite se mire dans le monde. L'Essence Divine ne peut se re'aliser que dans une infinite de formes finies. La manifestation de l'Eternel dans une forme finie ne peut etre qu'imparfaite: la forme n'est qu'un signe qui indique sa presence[105].

Все дела человеческие – только знаки. Я только подал знак тебе, о мой далёкий друг в поколениях будущих, как мановением руки, когда уже нет голоса, подаёт знак умирающий. Не суди же меня за то, что я сделал, а пойми, чего я хотел.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Мы о восстании не думали и не готовились к оному, когда 22 декабря, едучи с братом Матвеем из города Василькова, под Киевом, где стоял Черниговский полк, в Житомир, в корпусную квартиру, – на последней станции, от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, получили первую весть о Четырнадцатом.

В корпусной квартире узнали, что Тайное общество открыто правительством и аресты начались. А на обратном пути в Васильков мой друг Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, подпоручик Полтавского полка, сообщил мне, что полковой командир Гебель гонится за мною с жандармами.

Я решил пробраться в Черниговский полк, чтобы там поднять восстание. Я понимал всю отчаянность онога: борьба горсти людей с исполинскими силами правительства была верх безрассудства. Но я не мог покинуть восставших на Севере.

Мы продолжали путь в Васильков глухими просёлками, скрываясь от Гебеля. Снегу было мало, колоть страшная; коляска наша сломалась. Мы наняли жидовскую форшпанку в Бердичеве и едва дотащились к ночи 28-го до селения Трилеса, на старой Киевской дороге, в 45-ти верстах от Василькова. Остановились в казачьей хате, на квартире поручика Кузьмина[106]. Измученные дорогой, тотчас легли спать.

Ночью прискакал Гебель с жандармским поручиком Лангом, расставил часовых, разбудил нас и объявил, что арестует по высочайшему повелению. Мы отдали ему шпаги, – рады были, что дело кончится без лишних жертв, – и пригласили его выпить чаю.

Пока сидели за чаем, наступило утро, и в хату вошли четверо офицеров, ротные командиры моего батальона, – Кузьмин, Соловьёв[107], Сухинов и Щепило – члены Тайного общества, приехавшие из Василькова для моего освобождения. Гебель вышел к ним в сени и начал выговаривать за самовольную отлучку от команд. Произошла ссора. Голоса становились всё громче. Вдруг кто-то крикнул:

– Убить подлеца!

Все четверо бросились на Гебеля и, выхватив ружья у часовых, начали его бить прикладами, колоть штыками и шпагами куда попало – в грудь, в живот, в руки, в ноги, в спину, в голову. Роста огромного, сложения богатырского, он перетрусил так, что почти не оборонялся, только всхлипывал жалобно:

– Ой, панья Матка Бога! Ой, свента Матка Мария!

Густав Иванович Гебель – родом поляк, но считает себя русским и никогда не говорит по-польски, а тут вдруг вспомнил родной язык.

Часовые, большею частью молодые рекруты, не подумали защитить своего командира. Все нижние чины ненавидели его за истязания палками и розгами и называли не иначе как «зверем».

Офицеры били, били его и всё не могли убить. Сени были тесные, тёмные: в темноте и тесноте мешали друг другу. От ярости наносили удары слепые, неверные. Били без толку, как пьяные или сонные.

– живуч, дьявол! – кричал кто-то не своим голосом.

Добравшись до двери, Гебель хотел выскочить. Но его схватили за волосы, повалили на пол и, навалившись кучею, продолжали бить. Думали, сейчас конец; но, собрав последние силы, он встал на ноги и почти вынес на своих плечах двух офицеров, Кузьмина и Щепилу, из сеней на двор.

В это время мы с братом уже были на дворе: выбили оконную раму и выскочили.

Не понимаю, что со мною сделалось, когда я увидел израненного, окровавленного Гебеля и страшные, как бы сонные, лица товарищей.

Иногда во сне видишь чёрта, и не то что видишь, а по вдруг навалившейся

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
тяжести знаешь, что это – он. Такая тяжесть на меня навалилась. Помню также, как раз в детстве я убивал сороконожку, которая едва не ужалила меня; бил, бил её камнем и всё не мог убить: полураздавленная, она шевелилась так отвратительно, что я наконец не вынес, бросил и убежал.

Так, должно быть, брат Матвей убежал от Гебеля. А я остался: как будто, глядя на сонные лица, тоже вдруг заснул.

Схватил ружьё и начал его бить прикладом по голове. Он прислонился к стене, съёжился и закрыл голову руками. Я бил по рукам. Помню тупой стук дерева по костям раздробляемых пальцев; помню на указательном, пухлом и белом, золотое кольцо с Христом, и как из-под него брызнула кровь; помню, как он всхлипывал:

– Ой, панья matka Бога! Ой, свента Matka Мария!

Не знаю, – может быть, мне было жаль его и я хотел кончить истязание – убить. Но чувствовал, что удары – слабые, сонные, что так нельзя убить и что этому конца не будет; я всё-таки продолжал бить, изнемогая от омерзения и ужаса.

– Бросьте, бросьте, Сергей Иванович! Что вы делаете? – крикнул кто-то, схватил меня за руку и оттащил.

Я опомнился и почувствовал, что ознобил себе пальцы о ружейный ствол на морозе.

А те всё кончали, не могли кончить. То опоминались, переставали бить, то опять начинали. Кузьмин так глубоко вонзал шпагу, что должен был каждый раз делать усилие, чтобы выдернуть. Но казалось, что шпага проходит сквозь тело Гебеля, не причиняя вреда, как сквозь тело призрака, и что это уже не Гебель, а кто-то другой, бессмертный.

– живуч, дьявол!

Наконец, когда все его на минуту оставили, он пошёл к воротам, шатаясь, в беспамятстве, и вышел на улицу. Рядом была корчма и стояли дровни. Он свалился на них без чувств. Лошади понесли на двор к хозяину, управителю села. Тут сняли его, укрыли и отправили в Васильков.

Гебель получил тринадцать тяжёлых ран, не считая лёгких, но остался жив и, должно быть, нас всех переживёт...

Так-то мы «кровавой чаше причастились».

Когда офицеры объявили солдатам о моём освобождении, успех был невероятный. Все, как один человек, присоединились к нам и готовы были следовать за мной, куда бы я их ни повёл. В тот же день, 29 декабря, с пятой мушкетёрской ротой я выступил в поход на Васильков.

30-го, после полудня, мы подошли к городу. Против нас была выставлена цепь стрелков. Но когда мы приблизились так, что можно было видеть лица солдат, они закричали «ура!» и соединились с нашими ротами. Мы вошли в город и достигли площади без всякого сопротивления. Заняли караулами гауптвахту, полковой штаб, острог, казначейство и городские заставы.

Вечером я отдал приказ на следующий день, в 9 часов утра, собраться всем ротам на площади.

Товарищи всю ночь готовились к походу и прибегали ко мне за приказами. Но я, запершись в своей комнате, никого не пускал. Мы с Бестужевым исправляли и переписывали Катехизис.

Мысль об оном была почерпнута нами из сочинения господина де Сальванди[108], «Don Alonzo ou l'Espagne»[109], где изложен Катехизис, коим испанские монахи в 1809 году возмущали народ против ига Наполеонова.

Младенчество провёл я в Испании: батюшка мой, Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол, был в Мадриде посланником. И вот захотел я повторить

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
младенчество в мужестве, перенести в Россию Испанию.

– Ce sont vos chateaux d'Espagne, qui vous ont perdu, mon ami[110], – как изволил пошутить надо мной генерал Бенкендорф на допросе в Следственной Комиссии.

Кончив писать Катехизис, продиктовали его трём писцам полковой канцелярии, велел изготовить двенадцать списков. Утром я призвал к себе подпоручика Мазалевского и, отдав ему запечатанный пакет со списками, велел надеть партикулярное платье, пробраться в Киев, с тремя нижними чинами, в шинелях без погон, и пускать Катехизис в народ.

Мазалевский исполнил моё поручение в точности. Пробрался глухими дорогами в Киев и велел нижним чинам, разойдясь в разные стороны по Печерску и Подолу, подбрасывать списки в подворотни, в шинках и кабаках. Так они и сделали.

Должно быть, Катехизис мой, благая весть о Царствии Божием, там и поныне в кабацких подворотнях валяется. О, донкихотство беспредельное!

Когда роты собрались на площади, я послал за полковым священником.

О. Данила Кейзер (странное имя – из немецких колонистов, что ли?) – совсем ещё молоденький мальчик, лет 26, худенький, чахоточный, с белой, как лён, жидкой косичкой, – такие косички у деревенских девочек.

Когда я начал изъяснять ему цель восстания, он побледнел и затрясся, даже весь вспотел от страха.

– Не погубите, ваше высокоблагородие! Жена, дети...

Глядя на сего испуганного зайчика, воина Царства Божьего, понял я ещё раз, сколь от умозрений до совершений далече.

Вот показание самого о. Данилы в вопросных пунктах Следственной Комиссии, изложенное для моего обличения. Отвечая на пункты, я тогда же списал сие показание, дабы сохранить для потомства.

«31-го декабря, придя ко мне на квартиру, 2-ой гренадерской роты унтер-офицер в боевой амуниции, часу в 11-м перед обедом, объяснил мне словесно приказ подполковника Муравьёва-Апостола, дабы я тотчас шёл к нему с крестом для служения молебна, где читать будут и катехизис. Почему я, быв объят величайшим страхом, не знал, к кому прибегнуть для защиты, но не смел уже послушаться и послал дьячка Ивана Охлестина в полковую церковь для взятия молебной книжицы и сокращённого катехизиса, и когда оный дьячок возвратился ко мне с книгами, то я пошёл с причтом на квартиру Муравьёва, где находилось довольно офицеров. По недавнему же моему определению в полк, я не только оных офицеров не знал, но и самого Муравьёва в первый раз от роду видел, который мне приказал никуда от него не отлучаться из квартиры, где я и стоял у порога с полчаса перед ним и находившимися там офицерами; когда, подойдя ко мне, из оных какой-то офицер спросил у меня, совсем ли я готов; на что я ему отвечал: «Молебная книжица и сокращённый печатный катехизис у меня есть». Но тотчас же офицер, взяв у дьячка сказанный катехизис, развернул и сказал, что у них есть свой писанный катехизис. В то время Муравьёв, изменив своё слово, сказал мне, что молебна служить не надобно, а что-нибудь покороче. Я же, видя такое странное дело, хотя и не разумел, что они между собою по-французски разговаривали, но, усмотрев на столе несколько пистолетов заряженных, часовых в комнате и на дворе, с заряженными ружьями, – испугался, и более тогда, когда мысленно полагал оттуда выйти, но не осмелился. А как Муравьёв уже надел на себя род армянской шапки и шарф и, отходя с офицерами к построенным на площади ротам, приказал мне вместе с ними идти туда же; где он, подъехав верхом к фронту, скомандовал, и нижние чины составили круг, а офицеры, войдя на середину с заряженными пистолетами и некоторые с кинжалами, окружили меня; и тогда я, по приказанию Муравьёва, надел на себя ризы, с причтом пропел «Царю Небесный», «Отче Наш», тропарь Рождества Христова и кондак, а более ничего по положению уставному не делал. И потом какой-то офицер дал мне бумагу, которую я прежде никогда не видал и никогда не слышал, что именно в ней было написано; ибо тот или другой офицер, стоя за мной, читал наизусть

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org оную, а я, будучи в таком необыкновенном страхе, принуждён был повторять её, не помня, что в ней содержалось. И произносил ли я при том уже какие другие слова, совершенно не помню».

Бедный о. Данила, российской вольности невольный мученик!

Утро было солнечное. За ночь выпал первый снег. Зима стала, и, как часто бывает на Украине, вдруг весной сквозь зиму повеяло. В тени – мороз, а на солнце тает. Воробьи чирикают, воркуют голуби на солнечном угреве золотых церковных куполов. В садах вишни и яблони, разубранные инеем, стоят, как в вешнем цвету, белые. И под снегом тёмными кажутся белые стены казацких мазанок, и ещё грязнее – грязные домишки жидовские.

Глядя в небо, голубое, глубокое, вспоминал я, как украинские девушки в ночь под Рождество колят: «Бывай же здоров, да не сам с собою, а с милым Богом». В миллом небе – милый Бог.

Роты построились на площади в густую колонну, в полной боевой амуниции. Я сидел верхом перед фронтом и знамёнами.

О. Данила, ни жив ни мёртв, читал катехизис таким слабым голосом, что почти ничего не было слышно. Бестужев подошёл к нему, взял у него бумагу и начал громко, торжественно:

– «Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Для чего Бог создал человека?

Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен и счастлив.

Отчего же русский народ и воинство несчастны?

Оттого, что самовластные цари похитили у них свободу.

Что же наш святой закон повелевает делать русскому народу и воинству?

Раскаться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, установить правление, сходное с законом Божиим».

Казалось, не только солдаты, внимательно-жадные, и перепуганные васильковские жители – городничий Притуленко, судья Драгунчук, почтмейстер Безносовых, и канцелярист со щекою подвязанной, и степной барин-помещик, и старый казак сивоусый, и толстая баба-перекупка, и два тощих жидка в чёрных ермолках, с рыжими пейсами, – не только все эти люди, но и уныло-жёлтые стены уездного казначейства, полкового цейхгауза, провиантских магазинов – с несказанным удивлением слушали, как будто говоря: «Не то! Не то!» А воркующие на угреве голуби, и вишни в снегу, как в цвету, и слёзы звонкой капели, и голубое, глубокое небо отвечали: «То самое! То самое!»

– «Христос рек: не будьте рабами человеков, яко искуплены кровию Моею, – продолжал читать Бестужев всё громче и торжественнее. – Мир не внял святому повелению сему и впал в бездну бедствий. Но страданья наши тронули Всевышнего: днесь Он посылает нам свободу и спасение. Российское воинство грядёт восстановить веру и вольность в России, да будет один царь на небеси и на земли – Иисус Христос».

Когда он кончил, наступила тишина, и в тишине раздался мой голос. Что я говорил, не помню. Помню только, что была такая минута, когда мне казалось, что они вдруг поняли всё. Пусть я умру, ничего не сделав, – за эту минуту умереть стоило!

Я снял шапку, перекрестился, поднял шпагу и закричал:

– Ребята! За веру и вольность! За Царя Христа! Ура!

– Ура! – ответили сначала робко, сомнительно, а потом вдруг несомненно, неистово.

– Ура, Константин!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Глупо было кричать: «Ура, Иисус Христос!» – так вот кто-то и крикнул умно: «Ура, Константин!» – и все подхватили, обрадовались – поняли, что это «то самое, то самое».

И я тоже понял, как будто вдруг заснул тем страшным сном, как наемни, и увидел Гебеля, израненного, окровавленного: он прислонился к стене, съёжился, закрыл руками голову, а я ружейным прикладом бил, бил его – хотел убить и не мог: «живуч, дьявол!»

Дьявол надо мной смеялся смехом торжествующим:

– Ура, ура, ура, Константин!

Нет, больше не могу вспоминать: стыдно, страшно. Да и некогда: скоро смерть.

Пусть же другие расскажут, чем кончился поход мой за царя Христа или царя Константина; как четверо суток кружились мы всё на одном и том же месте, как будто заколдованном, между Васильковом и Белою Церковью, около Трилес, где избивали Гебеля; всё ждали помощи, но никто не помог, – все обманули, предали. Сначала столько было охотников, что мы не знали, как от них отделаться, а потом офицеры стали, один за другим, отставать, убегать к начальству в Киев, кто как мог, – иные даже в шлафроках<sup>[111]</sup>. И дух в войске упал. Когда солдаты просили у меня позволения «маленько пограбить», а я запретил, – начались ропоты: «Не за царя Константина, а за какую-то вольность идёт Муравьёв!» – «Один Бог на небе, один царь на земле, – Муравьёв обманывает нас!»

Ещё в Василькове по питейным домам были шалости. А во время похода, у каждой корчмы, впереди по дороге, ставились часовые, но они же напивались первые.

Никогда не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с матерной бранью:

– Никого не боюсь! Гуляй, душа! Теперь вольность!

По всем шинкам разговоры пошли об имеемой быть резанине: «Надо бы два дня ножи вострить, а потом резать; указ вышел от царя, чтобы резать всех панов и жидов, так чтобы и на свете их не было».

В шинке у Мордки Шмулиса казак из Чугуева сказывал: «Як бы резанина тут началась, то я б не требовал ни пики, ни ратища, а только шпичу застругавши да осмоливши, снизал бы на неё семьдесят панков да семьдесят жидков». А какой-то солдат из Белой Церкви обещал: «Когда запоют: «Христос воскрес», в Светлую заутреню, тогда и начнут резать».

Так-то соединил народ Христа с вольностью!

Пусть другие расскажут, как шесть лучших рот моего батальона, краса и гордость полка, превратились в разбойничью шайку, в пугачёвскую пьяную сволочь. Не успел я опомниться, как это уж сделалось: как молоко скисает в грозу, так сразу скисло всё.

Тогда-то понял я самое страшное: для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство неутолимое; рабство – с Богом, вольность – с дьяволом.

И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойничьей шайки, новым Пугачёвым, – может быть, они бы меня и не выдали: отовсюду бы слетелись мне на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург и, пожалуй, царством Российским тряхнули бы.

3 января, во втором часу пополудни, на высотах Устимовских, близ селения Пологи, встретили нас четыре эскадрона мариупольских гусар с двумя орудиями, под командой генерал-майора Гейсмара<sup>[112]</sup>. Начальство струсило так, что против моей тысячной горсти двинуло из Киева почти все полки 3-го

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org корпуса. Отряд Гейсмара был только разведкою. Мы знали, что в этом отряде все командиры – члены Тайного общества, а что накануне арестовали их и заменили другими, – не знали. Обрадовались, что идут к нам на помощь, обезумели от радости – в чудо поверили. И не мы одни – солдаты тоже, все до последнего.

Опять такой же был день лучезарный, как 31-го; такое же небо голубое, глубокое, милое – с «милым Богом». И опять, как тогда, на Васильковской площади, была такая минута, когда мне казалось, что они всё поняли, и разбойничья шайка – Божье воинство.

Солдаты шли прямо на пушки с мужеством бестрепетным. Грянул выстрел, ядро просвистело над головами. Мы всё шли. Завизжала картечь. Огонь был убийственный. Раненые падали. Мы всё шли – в чудо верили.

Вдруг меня по голове точно палкой ударили. Я упал с лошади и уткнулся лицом в снег. Очнувшись, увидел Бестужева. Он поднимал меня и вытирал лицо моё платком: оно было залито кровью. Платок вымок, а кровь всё лилась. Я ранен был картечью в голову.

Ефрейтор Лазыкин, любимец мой, подошёл ко мне. Я не узнал его: так неестественно сморщился и так странно, по-бабьи, всхлипывал:

– За что ты нас погубил, изверг, сукин сын, анафема!

Вдруг поднял штык и бросился на меня. Кто-то защитил. Солдаты окружили нас и повели к гусарам.

Я потом узнал, что побросали ружья и сдались, не сделав ни одного выстрела, когда поняли, что чуда не будет.

Вечером перевезли нас под конвоем в Трилесье – опять это место проклятое – и посадили в пустую корчму. Брат Матвей достал кровать и уложил меня. От потери крови из неперевязанной раны у меня делались частые обмороки. Трудно было лежать: брат поднял и положил к себе на плечо мою голову.

Против нас в углу, на соломе, лежал Кузьмин, тоже раненный: все кости правого плеча раздроблены были картечной пулей. Должно быть, боль была нестерпимая, но он скрывал её, не простонал ни разу, так что никто не знал, что он ранен.

Стемнело. Подали огонь. Кузьмин попросил брата подойти к нему. Тот молча указал на мою голову. Тогда Кузьмин с усилием подполз, пожал ему руку тем тайным пожатием, по коему Соединённые Славяне узнавали своих, и опять в свой угол. Никому говорить не хотелось: все молчали.

Вдруг раздался выстрел. Я упал без чувств. Когда очнулся, – сквозь пороховой дым, ещё наполнявший комнату, увидел в углу, на соломе, Кузьмина с головой окровавленной. Выстрелом в висок из пистолета, спрятанного в рукаве шинели, он убил себя наповал.

«Свобода или смерть», – клялся и клятву исполнил.

На Устимовской высоте погиб и младший брат мой, Ипполит Иванович Муравьёв-Апостол, девятнадцатилетний юноша.

31 декабря, перед самым выступлением нашим в поход, он подъехал на почтовой тройке прямо на Васильковскую площадь. Только что блистательно выдержав экзамен в Школе Колонновожатых, произведён был в офицеры и назначен в штаб 2-й армии. Выехал из Петербурга 13-го, с вестью к нам от Северного общества о начале восстания и с просьбой о помощи.

Я хотел его спасти, умолял ехать дальше, но он остался с нами. Больше всех верил в чудо. Тут же, на площади, обменялся с Кузьминым пистолетами, тоже поклялся: «Свобода или смерть» – и клятву исполнил. На Устимовской высоте, видя, что я упал, поражённый картечью, и думая, что я убит, убил себя выстрелом в рот.



4 января, на рассвете, подали сани, чтобы везти нас с братом Матвеем в Белую Церковь. Мы просили конвойных позволить нам проститься с Ипполитом. Конвойные долго не соглашались; наконец повели нас в нежилую хату. Здесь, в пустой, тёмной и холодной комнате, на голом полу, лежали голые тела убитых: должно быть, гусары не постыдились ограбить их – раздели донага. Между ними и тело Ипполита. Нагота его была прекрасна, как нагота юного бога. Лицо не обезображено выстрелом, – только на левой щеке, под глазом, маленькое тёмное пятнышко. Выражение лица гордо-спокойное.

Брат помог мне встать на колени. Я поцеловал мёртвого в губы и сказал:

– До свидания!

Странно: совесть мучает меня за всех, кого я погубил, но не за него – чистойшую жертву чистойшей любви.

Я тогда сказал: «До свидания», – и теперь уже знаю, что свидание будет скоро. Ты первый встретишь меня там, мой Ипполит, мой ангел с белыми крыльями!

Завтра, 12 июля, объявляют приговор.

Приговор объявлен: Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и меня – четвертовать. Но, «сообразуясь с высокомонаршей милостью», приговор смягчён: «повесить». Сочли милостью заменить четвертование виселицей. А я всё-таки думаю, что нас расстреляют: никогда ещё в России офицеров не вешали.

Тот же приговор и над убитыми – Кузьминым, Щепилой, Ипполитом Муравьёвым-Апостолом: «четвертовать»; но так как нельзя четвертовать и вешать мёртвых, то «по оглашению приговора, поставя на могиле их, вместо крестов, виселицы, – прибить на оных имена их к посрамлению вечному».

Свалят всех, как собак, в одну общую яму, могилу бескрестную, должно быть, там, в Белой Церкви, близ высот Устимовских.

«Белая Церковь» – имя вещее. Да, будет, будет над ними Церковь Белая!

Помню свидание моё с императором Николаем Павловичем. Он обещал нас всех помиловать, обнимал меня, целовал, плакал: «Я, может быть, не менее вас достоин жалости. Je ne suis qu'un pauvre diable»[113].

Бедный диавол, самый бедный из диаволов! Прости ему, Господь: он сам не знает, что делает.

Завтра казнь. Расстреляют ли, повесят, мне всё равно – только бы скорей. Приму смерть, как лучший дар Божий.

Брат Матвей мне завидует: говорит, что смерть была бы для него блаженством. Только о самоубийстве и думает. Хочет уморить себя голодом. Я ему пишу, заклинаю памятью покойной матушки не посягать на свою жизнь: «Душа, бежавшая с своего места прежде времени, получит гнусную обитель и с теми, кого любила, разлучена будет навеки», Пишу, а сам думаю: со сломанной ногой нельзя ходить – со сломанной душой нельзя жить.

Брат Матвей не хочет жить, а Бестужев – умирать. 23 года – почти ребёнок. Смертного приговора не ждал, до последней минуты надеялся. Тоскует, ужасается. Вот и сейчас слышу: мечется по камере, бьётся, как птица в клетке. Не могу я этого вынести!

Брат Матвей и Бестужев – противоположные крайности. Один слишком тяжёл, другой слишком лёгок: как две чаши весов, а я между ними – как стрелка

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
вечно дрожащая. Брат Матвей совсем не верил в чудо. Бестужев совсем верил,  
а я полуверил. Может быть, оттого и погиб.

Видел во сне Ипполита и маменьку. Такая радость, какой никогда наяву не  
бывает. Оба говорили, что я – глупенький, не знаю чего-то главного.

Сiju в 12-м номере Кронверкской куртины, а рядом со мной, в 11-й, перевели  
Валериана Михайловича Голицына из Алексеевского равелина. Когда казематы  
наполнились так, что не хватало места, – перегородили их, наподобие клеток,  
деревянными стенами. Брёвна из сырого леса разошлись: между ними – щели. В  
одну из таких щелей переговариваемся с Голицыным. Люблю его. Он всё  
понимает: тоже друг Чаадаева. Жаль, что записывать некогда. Говорили о Сыне  
и Духе, о Земле Пречистой Матери. И так же, как во сне, я чувствовал, что  
не знаю чего-то главного.

Отдам Голицыну эти листки; пусть прочтёт и передаст о. Петру Мысловскому:  
он обещал сохранить.

В последние дни пишу свободно, не прячу. Никто за мной не следит. Чернил и  
бумаги дают вволю. Балуют – ласкают жертву.

Но надо кончать: сегодня ночью – казнь. Запечатаю бутылку и брошу в океан  
будущего.

Солнце заходит – моё последнее солнце. И сегодня такое же кровавое, как все  
эти дни. От палящего зноя и засухи горят леса и торфяные болота в  
окрестностях города. В воздухе – гарь. Солнце восходит и заходит, как  
тускло-красный шар, а днём рдеет сквозь дым, как головня обгорелая.

О, это кровавое солнце, кровавый факел Евменид, может быть, для нас над  
Россией взошедшее и уже незакатное!

Я видел сон.

С восставшими ротами, шайкой разбойничьей я прошёл по всей России  
победителем. Всюду – вольность без Бога – злодейство, братоубийство  
неутолимое. И надо всей Россией чёрным пожарищем – солнце кровавое,  
кровавая чаша дьявола. И вся Россия – разбойничья шайка, пьяная сволочь –  
идёт за мной и кричит:

– Ура, Пугачёв-Муравьёв! Ура, Иисус Христос!

Мне уже не страшен этот сон, но не будет ли он страшен внукам и правнукам?

Нет, Чаадаев не прав: Россия не белый лист бумаги, – на ней уже написано:  
Царство Зверя. Страшен царь-Зверь; но, может быть, ещё страшнее  
Зверь-народ.

Россия не спасётся, пока из недр её не вырвется крик боли и раскаяния,  
которого отзвук наполнит весь мир.

Слышу поступь тяжкую: Зверь идёт.

Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Когда я вступаю в каземат Сергея Ивановича, мною овладевает такое же  
благоговейное чувство, как при вшествии в алтарь перед божественною  
службою». Эти слова о. Мысловского вспомнил Голицын, когда прочёл записки  
Муравьёва, «Завещание России».

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Окно камеры было открыто: в эти июльские, нестерпимо знойные дни начальство позволило открывать окна: иначе арестанты задохлись бы. В ночной тишине доносился с Кронверкского вала глухой стук топора и молота. Голицын, пока читал, не слышал его; но, дочитав, прислушался.

Стук-стук-стук. Тишина – и опять: стук-стук-стук. «Что они делают?» – думал он.

Еще с утра заметил на валу работающих плотников: что-то строили: то поднимали, то опускали два чёрных столба. Генерал-адъютант верхом, в шляпе с белым султаном, глядел в лорнет на работу плотников. Потом все ушли.

И вот опять: стук-стук-стук. Подошёл к окну, выглянул. Июльская ночь была светлая, но в воздухе, как все эти дни, – гарь, дым и мгла. Во мгле, на валу, копошились тени; то поднимали, то опускали два чёрных столба. «Что они делают? Что они делают?» – думал Голицын.

А в соседней камере слышался шёпот: Муравьёв сквозь щель в стене шептался с Бестужевым, приготавливал его к смерти.

Голицын лёг на койку и закутался с головой в одеяло. Вспомнил вчерашний разговор с о. Петром о пяти осуждённых на смерть. «Не пугайтесь того, что я вам скажу, – говорил Мысловский. – Их поведут на виселицу, но в последнюю минуту прискачет гонец с царской милостью». – «Да ведь конфирмация уже подписана», – возражал Голицын. «Конфирмация – декорация!» – шептал о. Пётр с таинственным видом.

И другие слухи о помиловании вспоминал Голицын с жадностью.

Всё тюремное начальство уверено было, что смертной казни не будет. «Помилуют, – твердил плац-майор Подушкин, – смертная казнь отменена по законам Российской империи: разве может государь нарушить закон?» – «Помилуют, – твердили часовые, – сам государь виноват в Четырнадцатом; за что же казнить?»

А императрица Мария Фёдоровна получила будто бы от государя письмо, в котором он успокаивал её, что крови по приговору не будет. Императрица Александра Фёдоровна на коленях умоляла о помиловании. «Удивлю Россию и Европу», – обещал государь герцогу Веллингтону.

На приговор Верховного суда ответил, что «не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительна, и на расстреляние, яко казнь одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряжённую». Судьи решили: «повесить»; ведь петля тоже без крови. Но, может быть, ошиблись: не повесить, а помиловать?

Напрасно Голицын кутался с головою в одеяло: «Стук-стук-стук». Тишина – и опять: «Стук-стук-стук».

«Кто же казнит? Царь или Россия, Зверь или Царство Зверя?» – вдруг подумал он и вскочил в ужасе. Там, на валу, то поднимаются, то опускаются два чёрных столба, и на них судьба России колеблется, как на страшных весах. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему; но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то что ты не узнал времени посещения твоего».

Голицын упал на колени и соединил свой шёпот с долетавшим из-за стены предсмертным шёпотом:

– Россия гибнет, Россия гибнет! Боже, спаси Россию!

Рылеев, когда вышел от него о. Пётр, исповедав и причастив его, вынул часы и посмотрел: девятнадцать минут первого. Знал, что придут за ним в три. Оставалось два часа сорок одна минута. Положил часы на стол и следил, как ползёт стрелка: девятнадцать, двадцать, двадцать одна минута. Ну, что ж, страшно? Нет, не страшно, а только удивительно. Похоже на то, что вычитал в астрономической книжке: если бы человек попал на маленькую планету, то мог

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org бы подымать шутя самые страшные тяжести; огромные, валяющиеся на него камни отшвыривать, как лёгкие мячики.

Или ещё похоже на «магнитное состояние» (когда-то занимался месмеризмом и тоже об этом вычитал): в тело ясновидящей вонзают иголку, а она её не чувствует. Так он вонзал в душу свою иглы, пробовал одну за другой, – не уколет ли?

Страх не колот, а злоба? Вспомнил злобу свою на государя: «Обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался – и вот теперь убивает». Но и злобы не было. Понял, что сердиться на него всё равно что бить кулаком по стене, о которую ушибся.

А стыд? Бывало, раскалённым железом жёг стыд, когда вспоминал, как на очной ставке Каховский ударил его по лицу и закричал: «Подлец!» Но теперь и стыд не жёг: потух, как раскалённое железо в воде. Пусть не узнает Каховский, пусть никто никогда не узнает, что он, Рылеев, не подлец, – довольно с него и того, что он сам это знает.

Ещё одну последнюю, самую острую иглу попробовал – жалость. Вспомнил Наташу. Начал перебирать её письма. Прочёл:

«Ах, милый друг мой, не знаю сама, что я. Между страхом и надеждою, жду решительной минуты. Представь себе моё положение: одна в мире с невинною сиротою! Тебя одного имели и всё счастье полагали в тебе. Молю Всемогущего, да утешит меня известием, что ты невинен. Я знаю душу твою: ты никогда не желал зла, всегда делал добро. Заклинаю тебя, не унывай, в надежде на благость Господню и на сострадание ангелоподобного государя. Прости, несчастный мой страдалец. Да будет благость Божия с тобою! Фуфайку и два ночных колпака пришлю с бельём. Настенька здорова. Она думает, что ты в Москве. Я её предупреждаю, что скоро поедем к папеньке. Она рада, суетится, спрашивает: скоро ли?»

Тут же – рукою Настеньки – большими детскими буквами:

«Миленькой папенька, целую вашу ручку. Приезжайте поскорее, я по вас скучилась. Поедте к бабиньке».

Вдруг почувствовал, что глаза застилают что-то. Неужели слёзы? Пройдя сквозь мёртвое тело, игла вонзилась в живое. Больно? Да, но не очень. Вот и прошло. Только подумал: хорошо, что не захотел предсмертного свидания с Наташей; напугал бы её до смерти: живым страшны мёртвые; чем роднее, тем страшнее.

Вспомнил, что надо ей написать. Сел за стол, обмакнул перо в чернила, но не знал, что писать. Принуждал себя, сочинял: «Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг, как спасительно быть христианином!»

Усмехнулся. Намедни о. Пётр сообщил ему отказ архиереев, членов Верховного суда, подписать смертный приговор: «Какая будет сентенция, от оной не отрицаемся, но поелику мы духовного сана, то к подписанию оной приступить не можем». Так и у него всё выходит «поелику».

Давеча, перебирая Наташины письма, нашёл свои черновые записки к ней, большею частью о делах денежных и хозяйственных. Заглянул и в них.

«Надобно внести в ломбард 700 рублей... Портному, жиду Яухце, отдай долг, если узнаешь, что Каховский не может заплатить... Акции мои лежат в бюро, в верхнем ящике, с левой стороны... В деревне вели овёс и сено продать... Отпустить бы на волю старосту Конона; да жаль, честный старик, нынче таких не сыскать...»

Как человек, глядя на свой старый портрет, удивляется, так он удивлялся: «Неужели это я?»

Вдруг стало тошно.

Мне тошно здесь, как на чужбине  
Когда я сброшу жизнь мою?  
Кто даст криле мне голубине,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Да полечу и почию?  
Весь мир, как смрадная могила,  
Душа из тела рвётся вон...  
Смрадом смерти от жизни пахнуло. Должно быть, не только мёртвые живым  
смердят, но и живые – мёртвым.

Взглянул на образ, – не помолиться ли? Нет, молитва кончена. Теперь уже всё  
– молитва: дышит – молится, и будет в петле задохаться – будет молиться.

Опять о чём-то задумался, но странно, как будто без мыслей. Мыслей не видно  
было, как в колесе быстро вращающемся не видно спиц. Только повторял с  
удивлением возрастающим: «Вот оно, вот оно, то – то – то!»

Устал, прилёг. Подумал: «Как бы не заснуть; говорят, осуждённые на смерть  
особенно крепко спят» – и заснул.

Проснулся от стука шагов и хлопанья дверей в коридоре. Вскочил, бросился к  
часам; четвертый час. Загремели замки и засовы. Ужас оледенил его, как  
будто всего с головой окунули в холодную воду.

Но, когда взглянул на лица вошедшего плац-майора Подушкина и сторожа  
Трофимова, – ужас мгновенно прошёл, как будто он снял его с себя и передал  
им: им страшно, а не ему.

– Сейчас, Егор Михайлович? – спросил Подушкина.

– Нет, ещё времени много. Я бы не пришёл, да там что-то торопят, а всё  
равно не готово...

Рылеев понял: не готова виселица. Подушкин не смотрел ему в глаза, как  
будто стыдился. И Трофимов – тоже. Рылеев заметил, что ему самому стыдно.  
Это был стыд смерти, подобный чувству обнажённости: как одежда снимается с  
тела, так тело – с души.

Трофимов принёс кандалы, арестантское платье, – Рылеев был во фраке, как  
взят при аресте, – и чистую рубашку из последней присылки Наташиной: по  
русскому обычаю надевают чистое бельё на умирающих.

Переодевшись, он сел за стол и, пока Трофимов надевал ему железа на ноги,  
начал писать письмо к Наташе. Опять всё выходило «поелику»; но он уже не  
смущался: поймёт и так. Одно только вышло от сердца: «Мой друг, ты  
счастливила меня в продолжение восьми лет. Слова не могут выразить чувств  
моих. Бог тебя наградит за всё. Да будет Его святая воля».

Вошёл о. Пётр. Заговорил о покаянии, прощении, о покорности воле Божьей.  
Но, заметив, что Рылеев не слушает, кончил просто:

– Ну, что, Кондратий Фёдорович, может быть, ещё что прикажете?

– Нет, что же ещё? Кажется, всё, отец Пётр, – ответил Рылеев так же просто  
и улыбнулся, хотел пошутить: «А конфирмация-то не декорация!» Но, взглянув  
на Мысловского, увидел, что ему так стыдно и страшно, что пожалел его. Взял  
руку его и приложил к своему сердцу.

– Слышите, как бьётся?

– Слышу.

– Ровно?

– Ровно.

Вынул из кармана платок и подал ему.

– Государю отдайте. Не забудете?

– Не забуду. А что сказать?

– Ничего. Он уж знает.

Это был платок, которым Николай утирал слёзы Рылеева, когда он на допросе  
Страница 165

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
плакал у ног его, умиленный, «растерзанный» царскою милостью.

Подушкин вышел и вернулся с таким видом, что Рылеев понял, что пора.

Встал, перекрестился на образ; перекрестил Трофимова, Подушкина и самого о. Петра, улыбаясь ему, как будто хотел сказать: «Да, теперь уже не ты – меня, а я – тебя». Крестил во все стороны, как бы друзей и врагов невидимых; казалось, делал это не сам, а кто-то приказывал ему, и он только слушался. Движения были такие твёрдые, властные, что никто не удивился, все приняли как должное.

– Ну что ж, Егор Михайлович, я готов, – сказал, и все вышли из камеры.

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Каховский остался верен себе до конца: «Я жил один – один умру».

Встречаясь в коридоре с товарищами, ни с кем не заговаривал, никому не подавал руки: продолжал считать всех «подлецами». Ожесточился, окаменел.

Дни и ночи проводил за чтением. Книги посылала ему плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна. Окно его камеры выходило прямо на окна квартиры Подушкина. Старая девица влюбилась в Каховского. Сидя у окна, играла на гитаре и пела:

Он, сидя в башне за стенами,  
Лишён там, бедненький, всего.  
Жалеть бы стали вы и сами,  
Когда б увидели его!

Каховский имел сердце нежное, а глаза близорукие: лица её не видел, – видел только платяя всех цветов радуги – голубые, зелёные, жёлтые, розовые. Она казалась ему прекрасною, как Дон Кихоту – Дульцинея.

На книги набросился с жадностью. Особенно любил «Божественную комедию». Путешествовал в чужих краях, бывал в Италии и немного понимал по-итальянски.

Фарината и Капаней приводили его в восхищение. «Quei magnanimo[114], сей великодушный» – фарината дельи Уберти мучается в шестом круге ада, на огненном кладбище эпикурейцев-безбожников. Когда подходят к нему Данте с Виргилием, он приподнимается из огненной могилы, –

До пояса, с челом таким надменным,  
Как будто ад имел в большом презренье.  
А исполин Капаней, один из семи вождей, осаждавших Фивы, низринутый в ад за богохульство громами Зевеса, подобно древним титанам, – лежит, голый, на голой земле, под вечным ливнем огненным.

кто сей великий,  
что, скорчившись, лежит с таким презреньем,  
что мнится, огонь его не опалает? –  
спрашивает Данте Виргилия, а Капаней кричит ему в ответ:

Qual fui, vivo, tal son morto!  
Каков живой, таков и мёртвый!  
Да разразит меня Зевес громами,  
Не дам ему я насладиться мщеньем!  
Каховский сам был похож на этих двух великих презрителей ада.

Когда в последнюю ночь перед казнью о. Пётр спросил его на исповеди, прощает ли он врагам своим:

– Всем прощаю, кроме двух подлецов – государя и Рылеева, – ответил Каховский.

– Сын мой, перед святым причастием, перед смертью.. – ужаснулся о. Пётр – Богом тебя заклинаю: смирись, прости...

– Не прощу.

– Так что же мне с тобою делать? Если не простишь, я тебя и причастить не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org могу.

– Ну, и не надо.

О. Пётр должен был взять грех на душу причастить нераскаянного.

А когда пришёл Подушкин с Трофимовым вести его на казнь, Каховский взглянул на них так, «как будто ад имел в большом презрении».

– Пошёл на смерть, будто вышел в другую комнату закурить трубку, – удивлялся Подушкин.

– Павел Иванович Пестель есть отличнейший в сонме заговорщиков, – говаривал О. Пётр. – Математик глубокий; и в правоту свою верит, как в математическую истину. Везде и всегда равен себе. Ничто не колеблет твёрдости его. Кажется, один способен вынести на раменах[115] своих тяжесть двух Альпийских гор.

– Я даже не расслышал, что с нами хотят делать, но всё равно, только бы скорее! – сказал Пестель после приговора.

А когда пастор Рейнбот спросил его, готов ли он к смерти:

– Жалко менять старый халат, да делать нечего, – ответил Пестель.

– Какой халат?

– А это наш русский поэт Дельвиг сказал:

Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:

Так с неохотой мы старый меняем халат.

– Верите ли вы в Бога, Herr Pestel?

– Как вам сказать? Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse[116]. Сердцем не верю, но умом знаю, что должно быть что-то такое, что люди называют Богом. Бог нужен для метафизики, как для математики ноль.

– Schrecklich! Schrecklich![117] – прошептал Рейнбот и начал говорить о бессмертии, о загробной жизни.

Пестель слушал, как человек, которому хочется спать: наконец прервал с усмешкою:

– Говоря откровенно, мне и здешняя жизнь надоела. Закон мира – закон тождества: а есть а, Павел Иванович Пестель есть Павел Иванович Пестель. И это 33 года. Скука несносная! Нет, уж лучше ничто. Там ничто, но ведь и здесь тоже. Из одного ничто в другое. Хороший сон – без сновидений, хорошая смерть – без будущей жизни. Мне ужасно хочется спать, господин пастор.

– Schrecklich! Schrecklich!

От причастия отказался решительно.

– Благодарю вас, это мне совершенно не нужно.

Когда же Рейнбот начал убеждать его раскаяться, он, подавляя зевоту, сказал:

– Aber, mein lieber Herr Reinbot, wollen wir uns doch besser etwas über die Politik unterhalten[118].

И заговорил об английском парламенте. Рейнбот встал.

– Извините, господин Пестель, я не могу говорить о таких вещах с человеком, идущим на смерть.

Пестель тоже встал и подал ему руку.

– Ну, что ж, доброй ночи, господин Рейнбот.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Что сказать вашим родителям?

По лицу Пестеля, одутловатому, бледно-жёлтому, сонному, – он в эту минуту был особенно похож на Наполеона после Ватерлоо, – пробежала тень.

– Скажите им, – проговорил он чуть дрогнувшим голосом, – что я совершенно спокоен, но не могу думать о них без терзающего горя. Передайте это письмо сестре Софи.

Письмо было на французском языке, коротенькое:

«Тысячу раз благодарю тебя, дорогая Софи, за те строки, которые ты прибавила к письму нашей матери. Я чрезвычайно растроган нежным твоим участием и твоею дружбою ко мне. Будь уверена, мой друг, что никогда сестра не могла быть нежнее любима, чем ты мной. Прощай, моя дорогая Софи. Твой нежный брат и искренний друг Павел»

Передав письмо, он пошёл с Рейнботом к двери, как будто выпроваживал его. Но в дверях остановился, крепко пожал ему руку и сказал с улыбкой:

– Доброй ночи, господин пастор. Ну скажите же, скажите мне просто: доброй ночи!

– Я ничего не могу вам сказать, господин Пестель. Я только могу...

Рейнбот не кончил, всхлипнул, обнял его и вышел.

«Ужасный человек! – вспоминал впоследствии. – Мне казалось, что я говорю с самим дьяволом. Я оставил жестокосердого, поручив его единой милости Божьей».

Переодеваясь, чтобы идти на казнь, Пестель заметил, что потерял золотой нательный крестик, подарок Софи. Испугался, побледнел, затрясся, как будто вдруг потерял всё своё мужество. Долго искал, шарил дрожащими пальцами. Наконец нашёл. Бросился целовать его с жадностью. Надел и сразу успокоился.

В ожидании Подушкина сел на стул, опустил голову и закрыл глаза. Может быть, не спал, но имел вид спящего.

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин боялся смерти, по собственным словам, «как последний трус и подлец». Похож был на трепещущую в клетке птицу, когда кошка протягивает за нею лапу. Иногда плакал от страха, как маленькие дети, не стыдясь. А иногда удивлялся:

– Что со мной сделалось? Никогда я не был трусом. Ведь вот стоял же под картечью на Устимовской высоте и не боялся. Почему же теперь так перетрусил?

– Тогда ты шёл на смерть вольно, а теперь – насильно. Да ты не бойся, что боишься, и всё пройдёт, – утешал его Муравьёв, но видел, что утешения не помогают. Бестужев боялся так, что казалось, не вынесет, сойдёт с ума или умрёт, в самом деле «как последний трус и подлец».

Муравьёв знал, чем успокоить его. Бестужев боялся, потому что всё ещё надеялся, что «конфирмация – декорация» и что в последнюю минуту прискачет гонец с царской милостью. Чтобы победить страх, надо было отнять надежду. Но Муравьёв не знал, надо ли это делать; не покрывает ли кто-то глаза его святым покровом надежды?

Бестужев сидел рядом с Муравьёвым, в 13-м номере Кронверкской куртины. Между ними была такая же стена из брёвен, как та, что отделяла Муравьёва от Голицына, и такая же в стене щель. Они составили койки так, что лёжа могли говорить сквозь щель.

В последнюю ночь перед казнью Муравьёв читал Бестужеву Евангелие на французском языке: по-славянски оба понимали плохо...

– «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться...»



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

- Погоди, Серёжа, – остановил его Бестужев. – Это что же такое, а?
- А что, Миша?
- Неужели так и сказано «ужасаться»?
- Так и сказано
- Чего ж Он ужасался? Смерти, что ли?
- Да, страданий и смерти.
- Как же так, Бог смерти боится?
- Не Бог а человек Он – Бог и Человек вместе.
- Ну пусть человек. Да разве людей бесстрашных мало? Вон Сократ цикуту выпил, ноги омертвели, – а всё шутил. А это что же такое? Ведь это как я?
- Да, Миша, как ты
- Но ведь я же подлец?
- Нет не подлец. Ты, может быть, лучше многих бесстрашных людей. Надо любить жизнь, надо бояться смерти.
- А ты не боишься?
- Нет, боюсь. Меньше твоего, но, может быть, хуже, что меньше. Вон Матюша и Пестель, те совсем не боятся, и это совсем нехорошо.
- А Ипполит?
- Ипполит не видел смерти. Кто очень любит, тот уже смерти не видит. А мы не очень любим: нам нельзя не бояться.
- Ну, читай, читай!

Муравьёв продолжал читать. Но Бестужев опять остановил его:

- А что Серёжа, ты как думаешь, отец Пётр – честный человек?
- Честный.
- Что ж он всё врёт, что помилуют? О гонце слышал?
- Слышал.
- Зачем же врёт? Ведь никакого гонца не будет? Ты как думаешь, не будет, а? Серёжа, что ж ты молчишь?

По голосу его Муравьёв понял, что он готов опять расплакаться бесстыдно, как дети. Молчал – не знал, что делать: сказать ли правду, снять святой покров надежды или обмануть, пожалеть? Пожалел, обманул:

- Не знаю, Миша. Может быть, и будет гонец.
- Ну, ладно, читай! – проговорил Бестужев радостно. – Вот что прочти – Исаяи-пророка, – помнишь, у тебя выписки.

Муравьёв стал читать:

- «И будет в последние дни:

Перекуют мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.

Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком. И младенец будет играть над норою аспиды.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет  
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

И будет: прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они ещё будут говорить, и Я  
уже услышу.

Как утешает кого-либо мать, так утешу Я вас...»

– Стой, стой! Как хорошо! Не Отец, а Мать... А ведь это всё так и будет?

– Так и будет.

– Нет, не будет, а есть! – воскликнул Бестужев. – «Да придет Царствие  
Твоё», – это вначале, а в конце: «Яко Твоё есть царствие». Есть, уже есть...  
А знаешь, Серёжа, когда я читал Катехизис на Васильковской площади, была  
такая минута...

– Знаю.

– И у тебя?... А ведь в такую минуту и умереть не страшно?

– Не страшно, Миша.

– Ну, читай, читай... дай руку!

Муравьёв просунул руку в щель. Бестужев поцеловал её, потом приложил к  
губам. Засыпал и дышал на неё, как будто и во сне целовал. Иногда  
вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети во сне, но всё тише, тише и  
наконец совсем затих, заснул.

Муравьёв тоже задремал.

Проснулся от ужасного крика. Не узнал голоса Бестужева.

– ой-ой-ой! что это? что это? что это?

Заткнул уши, чтобы не слышать. Но скоро всё затихло. Слышался только звон  
желез, надеваемых на ноги, и приветливый голос Трофимова:

– Сонный человек, ваше благородие, как дитя малое: всего пугается. А  
проснётся – посмеётся...

Муравьёв подошёл к стене, отделявшей его от Голицына, и заговорил сквозь  
щель:

– Прочли моё «Завещание»?

– Прочёл.

– Передадите?

– Передам. А помните, Муравьёв, вы мне говорили, что мы чего-то главного не  
знаем?

– Помню.

– А разве не главное то, что в «Завещании»: Царь Христос на земле, как на  
небе?

– Да, главное, но мы не знаем, как это сделать.

– А пока не знаем, Россия гибнет?

– Не погибнет, – спасёт Христос.

Помолчал и прибавил шёпотом:

– Христос и ещё кто-то.

«Кто же?» – хотел спросить Голицын и не спросил: почувствовал, что об этом  
нельзя спрашивать.

- Вы женаты, Голицын?
- Женат.
- Как имя вашей супруги?
- Марья Павловна.
- А сами как зовёте?
- Маринькой.
- Ну поцелуйте же от меня Мариньку. Прощайте. Идут.

Храни вас Бог!

Голицын услышал на дверях соседней камеры стук замков и засовов.

Когда пятерых, под конвоем павловских гренадеров, вывели в коридор, они перецеловались все, кроме Каховского. Он стоял в стороне, один, всё такой же каменный. Рылеев взглянул на него, хотел подойти, но Каховский оттолкнул его молча глазами: «Убирайся к чёрту, подлец!» Рылеев улыбнулся: «Ничего, сейчас поймёт».

Пошли: впереди Каховский, один; за ним Рылеев с Пестелем, под руку, а Муравьёв с Бестужевым, тоже под руку, заключали шествие.

Проходя мимо камер, Рылеев крестил их и говорил протяжно-певучим, как бы зовущим, голосом:

- Простите, простите, братья!

Услышав звук шагов, звон цепей и голос Рылеева, Голицын бросился к оконцу-«глазку» и крикнул сторожу:

- Подыми!

Сторож поднял занавеску. Голицын выглянул. Увидел лицо Муравьёва. Муравьёв улыбнулся ему, как будто хотел спросить: «Передадите?» – «Передам», – ответил Голицын тоже улыбкой.

Подошёл к окну и увидел на Кронверкском валу, на тускло-красной заре, два чёрных столба с перекладиной и пятью верёвками.

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всех осуждённых по делу Четырнадцатого – их было 116 человек, кроме пяти приговорённых к смертной казни, – выводили на экзекуцию – «шельмование». Собрали на площади перед Монетным двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис<sup>[119]</sup> Кронверкской куртины, большое поле-пустырь; здесь когда-то была свалка нечистот и теперь ещё валялись кучи мусора.

Войска гвардейского корпуса и артиллерия с заряженными пушками окружили осуждённых полуколыцлом. Глухо, в тумане, били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костёр и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование.

Осуждённым велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги. Подпилили их заранее, чтобы легче переламывать, но иные были плохо подпилены, и осуждённые от ударов падали. Так упал Голицын, когда палач ударил его по голове камер-юнкерской шпагой.

- Если ты ещё раз ударишь так, то убьёшь меня до смерти, – сказал он палачу, вставая.

Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда: одному на маленький рост достался длинный, и он путался в полах; другому на

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
большой – короткий; толстому – узкий, так что он едва его напяливал.  
Нарядили шутами. Наконец повели назад в крепость.

Проходя мимо Кронверкского вала, они шептались, глядя на два столба с перекладиной:

- Что это?
- Будто не знаете?
- Да уж очень на н е ё не похоже.
- А вы её видели?
- Нет, не видал.
- Никто не видел: это за нашу память – первая.
- Первая, да, чай, не последняя.
- Штука нехитрая, а у нас и того не сумели: немец построил...
- Из русских палача не нашли: латыша какого-то аль чухну выписали.
- Да и то, говорят, плохонький: пожалуй, не справится.
- Кутузов научит: он мастер – на царских шеях выучен!

Смеялись: так иногда люди смеются от ужаса.

- И чего копаются? В два часа назначено, а теперь уж пятый.
- В Адмиралтействе строили; на шести возах везли; пять прибыло, а шестой, главный, с перекладиной, где-то застрял. Новую делали, вот и замешкались.
- Ничего не будет Только пугают «Конфирмация – декорация» Прискачет гонец с царскою милостью.
- Вон, вон, кто-то скачет, видите?
- Генерал Чернышёв.
- Ну, всё равно будет гонец.

И опять на н е ё оглядывались.

- На качели похожа.
- Покачайтесь-ка!
- Нет, не качели, а весы, – сказал Голицын. Никто не понял, а он подумал: «На этих весах Россия будет взвешена».

К столбам на валу подскакали два генерала, Чернышёв и Кутузов. Спорили о толщине верёвок.

- Тонки, – говорил Чернышёв.
- Нет, не тонки. На тонких петля туже затянется, – возражал Кутузов.
- А если не выдержат?
- Помилуйте, мешки с песком бросали, – восемь пуд выдерживают.
- Сами делать пробу изволили?
- Сам.
- Ну, так вашему превосходительству лучше знать, – усмехнулся Чернышёв язвительно, а Кутузов побагровел – понял: царя удавить сумел, сумеет – и цареубийц.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

– Эй, ты, не забыл сала? – крикнул палачу.

– Минэ-ванэ, минэ-ванэ... – залепетал чухонец, указывая на плошку с салом.

– Да он и по-русски не говорит, – сказал Чернышёв и посмотрел на палача в лорнет.

Это был человек лет сорока, белобрысый и курносый, немного напоминавший императора Павла I. Вид имел удивлённый и растерянный, как спросонок.

– Ишь разиня, всё из рук валится. Смотрите, беды наделает. И где вы такого дурака нашли?

– А вы что ж не нашли умного? – огрызнулся Кутузов и отъехал в сторону.

В эту минуту пятеро осуждённых выходили из ворот крепости. В воротах была калитка с высоким порогом. Они с трудом подымали отягчённые цепями ноги, чтобы переступить порог. Пестель был так слаб, что его должны были приподнять конвойные.

Когда взошли на вал и проходили мимо виселицы, он взглянул на неё и сказал:

– C'est trop[120]. Могли бы и расстрелять.

До последней минуты не знал, что будут вешать.

С вала увидели небольшую кучку народа на Троицкой площади. В городе никто не знал, где будут казнить: одни говорили – на Волковом поле, другие – на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением: отвык от смертной казни. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят: думали, – разбойников или фальшивомонетчиков.

– Il n'est pas bien nombreux, notre publique[121], – усмехнулся Пестель.

Опять в последнюю минуту что-то было не готово, и Чернышёв с Кутузовым заспорили, едва не поругались.

Осуждённых посадили на траву. Сели в том же порядке, как шли: Рылеев рядом с Пестелем, Муравьёв – с Бестужевым, а Каховский – в стороне, один.

Рылеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом: казалось, что, если бы только остались на минуту одни, – бросился бы на него и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева: точно каменные глыбы наваливались, – и он уже не отшвыривал их, как человек на маленькой планете – лёгкие мячики: глыбы тяжелели неимоверною тяжестью.

– Странная шапка. Должно быть, не русский? – указал Пестель на кожаный трех палача.

– Да, верно, чухонец, – ответил Рылеев.

– А рубаха красная. C'est le gout national[122], палачей одевают в красное, – продолжал Пестель и, помолчав, указал на второго палача, подручного. – А этот маленький похож на обезьяну.

– На Николая Ивановича Греча, – усмехнулся Рылеев.

– Какой Греч?

– Сочинитель.

– Ах да, Греч и Булгарин.

Пестель опять помолчал, зевнул и прибавил:

– Чернышёв не нарумянен.

– Слишком рано: не успел нарядиться, – объяснил Рылеев.

– А костры зачем?

– Шельмовали и мундиры жгли.

– Смотрите, музыканты, – указал Пестель на стоявших за виселицей, перед эскадронам лейб-гвардии Павловского гренадерского полка, музыкантов. – Под музыку вешать будут, что ли?

– Должно быть.

Так всё время болтали о пустяках. Разве только Рылеев спросил о «Русской Правде», но Пестель ничего не ответил и махнул рукой.

Бестужев, маленький, худенький, рыженький, взъерошенный, с детским веснушчатым личиком, с не испуганными, а только удивлёнными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказывать, а может быть, и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору: иногда вздрагивал, всхлипывал, как давеча во сне: казалось, вот-вот расплачется или опять закричит не своим голосом: «Ой-ой-ой! Что это? Что это?» Но заглядывал на Муравьёва и затихал, только спрашивал молча глазами: «Когда же гонец?»

«Сейчас», – отвечал ему Муравьёв так же молча и гладил, по голове, улыбался.

Подошёл о. Пётр с крестом. Осуждённые встали.

– Сейчас? – спросил Пестель.

– Нет, скажут, – ответил Рылеев.

Бестужев взглянул на о. Петра, как будто и его хотел спросить: «Когда же гонец?» Но о. Пётр отвернулся от него с видом почти таким же потерянном, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица.

– Платок не забудете? – напомнил ему Рылеев давешнюю просьбу о платке государевом.

– Не забуду, не забуду, Кондратий Фёдорович, будьте покойны.. Ну, что ж они.. Господи! – заторопился о. Пётр, оглянулся: может быть, всё ещё ждал гонца или думал: «Уж скорее бы!» – и подошёл к обер-полицеймейстеру Чихачёву, который, стоя у виселицы, распорядился последними приготовлениями. Пошептались, и о. Пётр вернулся к осуждённым.

– Ну, друзья мои.. – поднял крест, хотел что-то сказать и не мог.

– Как разбойников провожаете, отец Пётр, – сказал за него Муравьёв.

– Да, да, как разбойников, – пролепетал Мысловский: потом вдруг заглянул прямо в глаза Муравьёву и воскликнул торжественно:

– «Аминь глаголю тебе: днесь со мною будеши в раю?»

Муравьёв стал на колени, перекрестился и сказал:

– Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию!

Наклонился, поцеловал землю и потом – крест.

Бестужев подражал всем его движениям, как тень, но, видимо, уже не сознавал, что делает. Пестель подошёл ко кресту и сказал:

– Я хоть и не православный, но прошу вас, отец Пётр, благословите и меня на дальний путь.

Тоже стал на колени; тяжело-тяжело, как во сне, поднял руку, перекрестился и поцеловал крест.

За ним – Рылеев, продолжая чувствовать на себе каменно давящий взгляд Каховского.

Каховский всё ещё стоял в стороне и не подходил к о. Петру. Тот сам подошёл. Каховский опустил на колени медленно, как будто нехотя, так же

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
медленно перекрестился и поцеловал крест. Потом вдруг вскочил, обнял о.  
Петра и стиснул его шею руками так, что, казалось, задушит.

Выпустив его из объятий, взглянул на Рылеева. Глаза их встретились. «Не поймёт», – подумал Рылеев, и страшная тяжесть почти раздавила его. Но в каменном лице Каховского что-то дрогнуло. Он бросился к Рылееву и обнял его с рыданием.

– Кондрат... брат... Кондрат... Я тебя... Прости, Кондрат... Вместе? Вместе? – лепетал сквозь слёзы.

– Петя, голубчик... Я же знал... Вместе! Вместе! – ответил Рылеев, тоже рыдая.

Подошёл обер-полицеймейстер Чихачёв и прочёл сентенцию. Она кончалась так:

– «Сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить».

На осуждённых надели длинные, от шеи до пят, белые рубахи-саваны и завязали их ремнями сверху, под шеями, в середине, пониже локтей, и внизу, у щиколоток, так что тела их были спелёнуты. На головы надели белые колпаки, а на шеи – четырёхугольные чёрные кожи; на каждой написано было мелом имя преступника и слово: «Цареубийца». Имена Рылеева и Каховского перепутали. Чихачёв заметил ошибку и велел переменить кожи. Это была для всех страшная шутка, а для них самих – нежная ласка смерти.

Кутузов подал знак. Заиграла музыка. Осуждённых повели. Виселица стояла на помосте; на него надо было всходить по деревянному откосу, очень отлогому. Выходили медленно, потому что скованными и связанными ногами могли делать только самые маленькие шаги. Конвойные поддерживали и подталкивали их сзади.

В это время палачи намазывали верёвки салом. Старый унтер, гренадер, стоявший с краю шеренги, у виселицы, поглядывал на палачей и хмурился. Знал, как вешают людей: во время походов суворовских, в царстве Польском, жидков-шпионов перевешал с дюжину. Видел, что верёвки смокли от ночной росы: сало не пристанет, – туги будут; петля слабо затянется и может соскользнуть.

Осуждённые вззошли на помост и стали в ряд, лицом к Троицкой площади. Стояли в таком порядке, справа налево: Пестель, Рылеев, Муравьёв, Бестужев, Каховский.

Палач надевал петли. В эту минуту лица всех осуждённых были одинаковы: спокойны и как будто задумчивы.

Когда уже петля была на шее Пестеля, в сонном лице его промелькнула мысль. Если бы можно было выразить её словами, он думал так: «За ничто умираю или за что-то? Узнаю сейчас».

Колпаки опускали на лица.

– Господи, к чему это? – сказал Рылеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от жёлтого, обтянутого лоснящейся кожей лица чухонца пахнет салом. Страшная тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбнулся ему, и эту последнюю тяжесть он отшвырнул, как лёгкий мячик.

Улыбнулся и Муравьёв Бестужеву: «Будет гонец?» – «Будет».

Палачи сбежали с помоста.

– Готово? – крикнул Кутузов.

– Готово! – ответил подручный.

Чухонец изо всей силы дёрнул за железное кольцо в круглом отверстии сбоку эшафота. Доска из-под ног осуждённых, как дверца люка, опустилась, и тела повисли.

«У-ух!» – глухим гулом прогудело от кучки народа на Троицкой площади до войска, окружавшего виселицу: вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухнула. Не сразу поняли: было пятеро, осталось двое, – где же трое?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

– Э, чёрт! Что такое? Что такое? – закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскочил.

О. Пётр выронил крест, взбежал на помост и заглянул сначала в дыру, а потом – на три болтавшиеся петли. Понял: сорвались.

Унтер был прав: на смокших верёвках петли не затянулись как следует и соскользнули с шей. Повисли двое – Пестель и Бестужев, а трое – Каховский, Рылеев и Муравьёв – сорвались.

Там, в чёрной дыре, копошились, страшные, белые, в белых саванах.

Колпаки упали с лиц. Лицо Рылеева было окровавлено. Каховский стонал от боли. Но взглянул на Рылеева, – и опять, как давеча, улыбнулись друг другу: «Вместе?» – «Вместе».

Муравьёв был почти в обмороке, но как глубоко спящий просыпается с неимоверным усилием, так он очнулся, открыл глаза и взглянул вверх; увидел, что Бестужев висит: узнал его по маленькому росту. «Ну, слава Богу, – подумал, – иной гонец иного Царя уже возвестил ему жизнь!» А что сам будет сейчас умирать не второю, а третьей смертью, – не подумал. Опять закрыл глаза и успокоился с последнею мыслью: «Ипполит... маменька...»

Музыка затихла. В тишине, из кучки народа на Троицкой площади, послышался вопль, визг: там женщина билась в припадке. И опять, как давеча, по всей толпе, от площади до виселицы, прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, ещё минута, и люди не вынесут: бросятся, убьют палачей и сметут виселицу.

– Вешать! Вешать! Вешать скорей! – кричал Кутузов. – Эй, музыка!

Снова заиграла музыка. Трёх упавших вытащили из дыры. Взойти на помост они уже не могли: взнесли на руках. Опустившуюся доску подняли. Пестель достал до неё носками и ожил: по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал, благодаря малому росту: он один от второй смерти избавился.

Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз все повисли как следует.

Был час шестой. Солнце всходило в тумане, так же как все эти дни, тускло-красное. Прямо против солнца между двумя чёрными столбами на пяти верёвках висели пять недвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спелёнутых. И солнце, тускло-красное, не запятнало кровью белых саванов.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, «бежал», в Царское. Каждые четверть часа туда посылали фельдъегерей, прямо с места казни. С последним Кутузов отправил донесение:

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, коих было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьёв – сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чём Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу».

В тот же день начальник Главного штаба, генерал Дибич, писал государю:

«Фельдъегерь доставит Вашему Величеству донесение генерала Кутузова об исполнении приговора над мерзавцами. Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала».

«Благодарю Бога, что всё окончилось благополучно, – ответил государь Дибичу. – Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сём случае более мужества, чем следует Советую вам, мой милый, соблюдать сегодняшний день величайшую осторожность».

14 июля отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружали походную церковь, поставленную у памятника Петру, на том самом месте, где 14 декабря стояло каре мятежников. Митрополит с



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
духовенством обходил ряды войск и кропил их святою водою.

Последняя ектения возглашалась торжественно, с коленапреклонением:

«Ещё молимся о еже приятии Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, яко от неиствующия крамолы, злоумышлявша на испровержение веры православныя и престола и на разорение царства Российскаго, явил есть нам заступление и спасение Своё».

«Их казнь – казнь России? Нет, пощёчина. Ну, да ничего, съедят. Прав Каховский: подлая страна, подлый народ. Погибнет Россия... А может быть, и гибнуть нечему: никакой России нет и не было».

Так думал Голицын, сидя в своей новой камере, в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции, 13 июля. Он уже знал, что казнь совершилась, – фейерверкер Шибаев успел ему об этом шепнуть, – но больше ничего не знал. В эти дни после казни арестанты содержались с такою же строгостью, как в первые дни заключения. Никуда не выпускали их из камер: разговоры и перестукивания кончились; сторожа опять онемели; на все вопросы был один ответ: «Не могу знать».

В самый день казни Подушкин потихоньку передал Голицыну записку от Мариньки. Плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна, умолила об этом отца. Записка была не распечатана.

«Мой друг, я давно тебе не писала, не имея духу и не желая через посторонних сообщить страшную вестъ. Прошлого Июня месяца, 29 числа, скончалась маменька. Хотя она уже с Генваря месяца хворала, но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли терзающей, что я, хотя и невольная, виновница сего несчастья. Нет горще муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать: ты сам поймёшь. Итак, я теперь совершенно одна на свете, ибо Фома Фомич хотя и любит меня, как родную, и готов отдать за меня жизнь, но, по старости своей (он очень постарел с бабушкиной смерти, беденький, и ныне совсем как дитя малое), для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек, когда это нужно, находит в себе такие силы, коих и не подозревал. Я не изменила и никогда не изменю твёрдому упованию на милость Божию и на покров Царицы Небесной Заступницы нашей, Стены Нерушимой, всех скорбящих Матери. Только теперь узнала я, сколь святой покров Ея Могуществен. Каждый день молюсь Ей со слезами за тебя и за всех вас, несчастных. Много ещё хотела бы об этом писать, но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд, в коем и ты состоишь, приговорён к смертной казни. Я, впрочем, знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепило. Вообрази же радость мою, получив известие, что смертная казнь заменена каторгою, – и радость ещё большую, что нам, жёнам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с княгиней Екатериною Ивановною Трубецкою – какая прекрасная женщина! – хлопотали о сём и теперь уже имеем почти совершенную уверенность, что разрешение будет получено. Мне больше ничего и не нужно, как только быть с тобою и разделить твоё несчастье. Вот и опять не знаю, как сказать. Помнишь, больной, в бреду, ты повторял: «Маринька, маменька»...

Он больше не мог читать: письмо выпало из рук. «Зачем такое письмо в такой день?» – подумал. Сам не знал, какое в нём чувство сильнее – радость или отвращение к собственной радости. Вспомнил самую страшную из всех своих мыслей, ту, от которой в Алексеевском равелине едва не сошёл с ума: любовь – подлость; любовь к живым, радость живых – измена мёртвым; нет любви, нет радости, ничего нет, – только подлость и смерть – смерть честных, подлость живых.

На следующий день, 14 июля, вечером, зашёл к нему о. Пётр. Так же, как тогда, в Вербное воскресенье, когда Голицын отказался от причастия, он держал чашу в руках, но по тому, как держал, видно было, что она пустая.

Старался не глядеть в глаза Голицыну; был растерян и жалок. Но Голицын не пожалел его, как Рылеев. Посмотрел на него из-под очков долго, злобно и усмехнулся:

– Ну, что, отец Пётр, дождались гонца? Конфирмация – декорация?

О. Пётр тоже хотел усмехнуться, но лицо его сморщилось. Он сел на стул,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
поднёс чашу ко рту, закусил край зубами, тихо всхлипнул, потом всё громче и громче; поставил чашу на стол, закрыл лицо руками и зарыдал.

«Экая баба!» – думал Голицын, продолжая смотреть на него молча, злобно.

– Ну-с, извольте рассказывать, – проговорил, когда тот немного затих.

– Не могу, мой друг. Потом когда-нибудь, а сейчас не могу...

– Могли на казнь вести, а рассказывать не можете? Сейчас же рассказывайте!

– крикнул Голицын грозно.

О. Пётр посмотрел на него испуганно, вытер глаза платком и начал рассказывать, сперва нехотя, а потом с увлечением; видимо, в рассказе находил усладу горькую.

Когда дошёл до того, как сорвались и снова были повешены, побледнел, опять закрыл лицо руками и заплакал. А Голицын рассмеялся:

– Эка земелька Русь! И повесить не умеют как следует. Подлая! Подлая! Подлая!

О. Пётр вдруг перестал плакать, отнял руки от лица и взглянул на Голицына робко:

– Кто подлая?

– Россия.

– Как вы страшно говорите, князь.

– А что? За отечество обиделись? Ничего, проглотите!

Оба замолчали.

Окно камеры выходило на Неву, на запад. Солнце закатывалось, такое же красное, но менее тусклое, чем все эти дни: дымная мгла немного рассеялась. Вдали, за Невой, пылали стёкла в окнах Зимнего дворца красным пламенем, как будто пожар был внутри. Красное пламя заливало и камеру. Давеча, во время рассказа, о. Пётр взял чашу со стола и теперь всё ещё держал её в руках. Золотая чаша в красном луче сверкала ослепительно, как второе солнце.

Голицын взглянул на неё, встал, подошёл к о. Петру, положил ему руку на плечо и проговорил всё так же грозно:

– Теперь понимаете, почему я не хотел причаститься? Теперь понимаете?

– Понимаю, – прошептал о. Пётр и, взглянув на него, даже в красном свете, увидел, что лицо его мёртвенно-бледно.

Опять помолчали.

– Где похоронили? – спросил Голицын.

– Не знаю, – ответил о. Пётр. – Никто не знает. Одни говорят – тут же, у виселицы, во рву с негашёною известью; другие – на острове Голодае, на скотском кладбище; а иные – зашили будто в рогожи, навязали камни, положили в лодку, отплыли на взморье и бросили в воду.

– А панихидку-то я отслужил, как же-с! – помолчав, прибавил с простодушно-лукавою усмешкою. – Нынче парад был на Сенатской площади, благодарственное молебствие за ниспровержение крамолы. Святою водою войска и площадь кропили, очищали от крови – все крови боятся – да, чай, и святою водою крови не смыть. Владыка митрополит служил со всем духовенством, соборне. Ну, а я не пошёл. Матушка протопопица говорит: «Уж очень много, – говорит, – ты себе позволяешь, отец Пётр! Смотри, как бы не налетело от архиерея по потылице». – «Ну и пусть, – говорю, – пусть налетит!» Отпустил Казанскую с другими попами, а сам не пошёл. Облачился в чёрные ризы да панихидку и отслужил по пяти рабам Божиим новопреставленным. «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, Сергея, Михаила, Петра, Павла, Кондратия, или же праведные упокоятся. Прими, Господи, в мир Твой...» Ну да уж что

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
говорить, – примет небось, примет!

Вдруг поднялся во весь рост и воскликнул торжественно:

– Свидетельствуюсь Богом живым: как святые, умерли. Как готовые спелые гроздья, упали на землю, но не земля их приняла, а Отец Небесный. Венцов мученических сподобились и не отнимутся от них венцы сии во веки веков. Слава Господу Богу! Аминь.

Опять, как тогда, в Вербное воскресенье, Голицын стал на колени и сказал:

– Благословите, отец Пётр.

Тот поднял руку.

– Нет, чашею.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, – благословил его о. Пётр, касаясь чашею лба, груди и плеч; потом дал поцеловать её. Когда Голицын приложил к ней губы, красно-красный луч солнца упал на золотое дно, и казалось, что чаша наполнилась кровью.

О. Пётр молча обнял его и хотел выйти.

– Пойдите, – сказал Голицын, расстегнул ворот рубахи, пошарил за пазухой, вынул пачку листков и отдал ему.

– Что это? – спросил о. Пётр.

– Записки Муравьёва. «Завещание России». Велел вам отдать. Сохраните?

– Сохраню.

Ещё раз обнял его и вышел из камеры.

Голицын долго сидел, не двигаясь, не чувствуя, как слёзы текли по лицу его, и смотрел на заходящее солнце – небесную чашу, полную кровью. Потом опустил глаза и увидел на столе Маринькино письмо. Теперь уже знал, зачем такое письмо в такой день.

Вспомнил слова Муравьёва: «Поцелуйте от меня Мариньку!» Взял письмо и поцеловал, прошептал:

– Маринька... маменька!

Вспомнил, как, после свидания с нею в саду Алексеевского рavelина, целовал землю. «Земля, земля, Матерь Пречистая!» И как Муравьёв, в последнюю минуту перед виселицей, тоже целовал землю. Вспомнил предсмертный шёпот его сквозь щель стены: «Не погибнет Россия, – спасёт Христос и ещё Кто-то». Тогда не знал, Кто, – теперь уже знал.

Радость, подобная ужасу, пронзила сердце, как молния: Россию спасёт Мать.

К. А. Большаков ЦАРЬ И ПОРУЧИК РОМАН

Памяти брата Николая  
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Высочайший смотр войск лагерного сбора гвардии в 1835 году происходил шестого и седьмого июля. Восьмого был произведён примерный против мнимого неприятеля манёвр, а девятого вечером курьеры от Главной императорской квартиры уже развозили по штабам копии высочайшего приказа.

Дежуривший по штабу Петровской бригады, временно исполнявший должность адъютанта (высшее начальство поспешило отбыть вслед за Главной квартирой) поручик Самсонов прочёл перечень этих монарших милостей с довольно кислой гримасой.

Преображенскому полку, мундир которого он носил со дня выхода из школы и

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
интересы которого не могли быть ему безразличны потому, что им командовал  
родной его дядя и благодетель Николай Александрович Исленьев, его  
Преображенскому полку никакого внимания в приказе выказано не было.

...Первой лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии... Лейб-гвардии гусарскому  
полку... –  
читал Самсонов, и его лицо принимало всё более и более брезгливое  
выражение, –

...за твёрдое знание службы, исправное состояние людей их взводов и точное  
понимание манёвра объявляется высочайшее благоволение флигель-адъютанту  
поручику графу Браницкому[123], корнетам: князю Витгенштейну, князю  
Вяземскому Александру, князю Вяземскому николаю[124] и Лермонтову...  
– Лермонтов?!

У Самсонова даже брови приподнялись удивлённо, как будто он прочёл в  
приказе явную бессмыслицу.

Присутствие такой малозначительной фамилии в перечне столь блестящих имён  
показалось ему лично оскорбительным.

С ленивым зевком он выронил из рук печатный листок.

– Сними копии, – приказал писарю и, зевая и потягиваясь, вышел из  
помещения.

Откровенное попустительство дядюшки за всё время службы в полку и главным  
образом за время последней польской кампании, о которой он иначе и не  
вспоминал, как о самом приятном времяпрепровождении, внушило ему глубокое  
убеждение, что для него, Самсонова, существуют иные, чем для прочих, мерки  
и правила.

Сказавшись у дежурного по бригаде больным, он немедленно вслед за этим  
приказал закладывать коляску, и не прошло и получаса, как он отбыл в город.

Перед заставой лакей крикнул со сна неестественно высоким голосом:

– Его благородие лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов!

Караульный – преображенец же, – сорвав с головы фуражку, вытянулся во  
фронт.

– Бомвьесь! – брызнуло, как сплёрнутая вода.

Гремя, опустилась цепь у шлагбаума. На фоне белёсо-зелёного неба качнулась  
и с глухим звяканьем взмыла вверх длинная полосатая жердь.

Кучер подался вперёд на козлах. Тройка добрых исленьевских орловцев  
рванулась и понесла. Звонко, словно скалывая камень, застучали копыта. В  
белом, чуть замутившемся свете дома летели навстречу призраками.

Этим летом в городском исленьевском доме шёл ремонт. Семья дяди ещё в мае  
уехала в воронежскую деревню, и поэтому Евгений Петрович приказал, не  
останавливаясь, везти себя на дачу, на Каменный остров, где обычно теперь  
имели пребывание в свободное от службы время и дядя, и он.

Ещё не было и двенадцати, когда разгорячённые и взмыленные кони, сочно  
фыркая и звеня колокольцами, остановились у подъезда одноэтажного,  
прятавшегося за правильно подстриженной зеленью дома. Свет, мелькавший за  
стёклами галереи, удивил и встревожил Евгения Петровича.

Кто же это? Неужели дядя успел вернуться из Петергофа? Нет, невозможно,  
решительно невозможно.

Он поспешно выскочил из коляски и взбежал на крыльцо.

Ещё на ступеньках к нему кинулся камердинер, Владимир, обычно разбитной и  
весёлый, сейчас растерянный и напуганный. За ним в раскрытых дверях с  
такими же встревоженными лицами толпилась и вся остальная прислуга.

– Слава Богу, Евгений Петрович, что хоть вы приехали. Несчастье ведь у нас  
Страница 180

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org случилось.

Самсонов испытующе посмотрел на окружающих его людей.

– Что такое?

– Да как же... Сегодня, то есть прошлой-то ночью, весь дом обокрали. Пожалуйста, сами увидите, мы без вас ничего и трогать не решались.

Ещё новая неприятность, ещё новое препятствие провести остаток и без того утомившего дня согласно желанию. Не зная, как и на чём он сорвёт досаду, Самсонов молча, вслед за болтавшим без умолку Владимиром, вошёл в дом.

– Вот, извольте посмотреть, – торопился тот, не понимая, отчего это Евгений Петрович не говорит ни слова. – На веранду дверь утром оказалась открытой, и горшки цветочные – мы их на ночь к дверям приставляем – прочь отставлены.

Евгений Петрович передёрнулся, как от внезапного холода, от неприятной и совершенно нелепой мысли: «Зачем я уехал из лагеря? Там было бы теперь спокойнее».

– Не иначе как кто-нибудь из своих, – вертелся около него Владимир. – Вон и сторож ничего не слышал, и собака не лаяла.

– Чего ж вы-то до сих пор так сидели? – прорывая накопившееся раздражение, закричал Самсонов. – Полиции почему знать не дали? Николая Александровича, меня почему не известили?

– Как же, как же, Евгений Петрович, – теряясь ещё больше, пролепетал Владимир, – с утра и к вам и к Николаю Александровичу люди в Красное посланы. И в полицию сообщено-с. Розыск делали. Следы-то до самого забора идут явственно, а за забором как сгнули.

– Дяде какая неприятность, – брезгливо поморщившись и вполголоса проговорил Самсонов. – Скоты! И этого охранить не сумели. Позовите мне сторожа.

Пока ходили за сторожем, Евгений Петрович успел осмотреть обокраденные комнаты.

В кабинете глазам Евгения Петровича представился полный разгром. Огромное красного дерева бюро было разбито, расковырены и выдвинуты все ящики. Тут же на ковре валялось и орудие этого разгрома – большое столярное долото. Запертый на ключ портфель и копилка с серебром исчезли.

– Заспались! Стол ломали, а никто даже не очухался... – грозно хмуря брови, проговорил Самсонов. – Свои, должно быть, старались!

Толпившаяся вокруг него прислуга в один голос подтвердила, что посторонний так не мог, настойчиво просила произвести общий обыск. Самсонов, махнув рукой, приказал им замолчать. Недавнее раздражение успело уже погаснуть, уступив место безразличной и сонливой брезгливости.

Поверх поднимавшихся до самого окна курчавых шапок кустарника смотрел Евгений Петрович на мутное, напоминавшее снятое молоко небо. В глазах пошла рябь. Молочная гладь покрылась прозрачной и быстрой зыбью. Он тряхнул головой, освобождаясь от этого миража. Взял перо и раскрыл дневник.

Писал долго.

Небо за окном разгорелось и залилось жёлтым блеском. Шумно чирикали, наполняя утро деловитой суетой, птицы. Евгений Петрович бросил перо, отодвинул тетрадь.

В конце страницы было написано:

...Сегодня по ничтожному, случайному поводу родившаяся мысль долго не могла оставить меня. Как странна и прихотлива судьба человеческая. Рассеянно скользящий, но зоркий взгляд сильных мира сего на мгновение остановился на тебе. Находчивый доброжелатель успел шепнуть твоё имя, и твоя карьера, твоя судьба отныне и разом меняют своё направление, устремляя тебя к успехам и славе.

Николай Александрович Исленьев жил на широкую ногу.

Дом на Большой Морской царившими в нём порядками и заведённым обиходом подражал самым лучшим и богатым домам Петербурга. Помимо дома, помимо дачи на Каменном острове, в зимнее время предназначавшейся для пикников и малых охот, ещё постоянно снимались от владельцев две или три квартиры по месту летних и осенних стоянок батальонов Преображенского полка. Всё это обслуживалось постоянным и огромным штатом крепостной прислуги. Но в силу барских замашек, сугубой требовательности, выработавшейся в Николае Александровиче девятилетним командованием первым полком русской гвардии, эта прислуга казалась ему совершенно неудовлетворительной. Национальный патриотизм, который доходил у него до того, что в доме никак не терпелась французская кухня, и которым, в хорошую минуту, Николай Александрович любил похвастаться, не позволял ему взять вольнонаёмного дворецкого-иностранца, как это тогда стало модным в столице; воспитать же такого управителя, достаточно ревнивого и строгого, а главное, понимающего все его требования, из своих же людей он решительно не надеялся.

Поэтому в прошлом, 34-м году, смотря в полку выходявших в отставку солдат, он предложил одному из них, старшему унтер-офицеру Батурину, по какому-то внезапному вдохновению (впрочем, он всё делал таким образом) поступить к нему на эту должность.

Батурин выходил в бессрочную с неопороченной славой толкового и умного служаки. Но, вероятно, не это заставило Николая Александровича остановить на нём свой выбор.

Жгучий брюнет с курчавыми бакенбардами и плотными кольцами коротко подстриженных волос, моложавый для своих сорока восьми лет, он чем-то – брезгливой ли складкой редко улыбающихся губ или пристальным, прямым и холодным взглядом – невольно вызывал в памяти представление о портрете одной высокой особы. Вот это-то, вместе с бравой осанкой преображенца, и решило в мыслях Николая Александровича его судьбу.

Летом этого года Батурина, пользовавшегося у барина безграничным доверием, были поручены все хлопоты и расчёты с мастеровыми по ремонту городского дома. На даче он почти не бывал, появляясь там только для докладов барину. У Евгения же Петровича, всегда в своих привязанностях и симпатиях неизменно следовавшего дяде, ещё вечером мелькнула мысль поручить дальнейшее расследование этого неприятного происшествия именно Батурину.

Но проснулся Евгений Петрович поздно, в одиннадцатом часу. Вероятно, от долгого писания накануне он чувствовал головную боль, хотелось курить. Если позвать казачка, придётся проститься с такими приятными, так дружно заселившими это утро мечтаниями.

За дверью послышался осторожный кашель.

– Прикажете умываться, Евгений Петрович? – нерешительно осведомились оттуда.

Мгновение было желание раскричаться и излить в брани свою досаду на сунувшегося без времени с умыванием Владимира, но Евгений Петрович сдержался.

Дневник, научивший его мыслить в манере, решительно не походившей на дядину, содержал в себе и такую недавно сделанную запись:

...Первейшая и главная обязанность каждого честного управителя знать прежде всего всю правду в кругу дел, порученных его ведению. Слепая доверенность подчинённым равна тягчайшему преступлению против отечества и государя, и оправдания такому легкомыслию найти невозможно.

– Есть что-нибудь новое? – сурово покосился он на подававшего ему платье Владимира.

– Никак нет-с. Всё в прежнем положении.

– Скажи, чтоб послали сейчас же за кварталным, – не меняя тона, распорядился Евгений Петрович и, обдумывая дальнейшие необходимые

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
мероприятия, приступил к туалету.

Полицейский офицер явился раньше, чем он успел окончить завтрак. Почтительно изгибаясь, он сообщил Евгению Петровичу в самых заискивающих выражениях, что пока никаких следов ни преступника, ни пропавших вещей полицией не обнаружено.

– Я вас попрошу сделать повальный обыск у прислуги, – прихлёбывая кофе и не слушая его, сказал Евгений Петрович. – Нужно или снять подозрение с этих добрых людей, если они неповинны, или... или приняться за них как следует.

– Слушаюсь, – изгибаясь всем корпусом, изрёк полицейский. – Разрешите идти?  
– Пожалуйста.

Самсонов небрежно кивнул головой.

Позавтракав (к этому времени уже успели окончить обыск, ничего и ни у кого из дворовых не обнаруживший), он приказал закладывать коляску.

В город с собой он захватил, помимо Владимира, ещё двух дворовых.

По мнению Евгения Петровича, украденные вещи так или иначе должны будут очутиться на толкучем рынке. По ним дворовые смогут обнаружить вора.

На Морской в доме дяди он застал только работавших там мастеровых да дворника.

Батурин, оказывается, эту ночь даже не ночевал дома. Впрочем, по словам дворника, он и вообще последнее время появлялся здесь редко.

Евгений Петрович, несколько раздосадованный этой неудачей, остался ждать посланных на рынок дворовых.

Мысли упорно отказывались принять своё обычное, всегда такое успокоительное и занимательное для Евгения Петровича течение, путались, перескакивали с одного предмета на другой. Было скучно, и занять себя было решительно нечем.

Через час примерно, без звонка, со своим ключом, по чёрному ходу вернулся Батурин. Он не предполагал застать здесь господ, потому что в столовую, где сидел Евгений Петрович, вошёл, не снимая цилиндра и легонько посвистывая.

Увидев молодого барина, он несколько не смутился, с чувством никогда не покидавшего его достоинства снял шляпу и молча поклонился.

– Где ты пропадаешь, Батурин? – поднимая на него глаза, спросил Самсонов.

– А вот-с, извольте ли видеть, – не спеша, всё с тем же несмущающимся видом отвечал тот, – знакомого одного в отъезд провожал, так что у него и переночевал. А что, Николай Александрович сегодня сюда не собирались? – спросил он через минуту, переходя к окну и пробуя только сегодня, очевидно, повешенные занавеси.

– Не знаю, – рассеянно отмахнулся Самсонов, – что у нас на даче произошло, ты разве не слыхал?

– А что-с?

Самсонов вкратце рассказал о покраже и посмотрел на дворецкого.

Не сразу, всё с тем же невозмутимым видом, очевидно только хорошо взвесив и расценив всё сказанное, Батурин проговорил:

– Сейчас, конечно, сказать ничего невозможно. Однако, как и вы, я полагаю, Евгений Петрович, что не иначе как кто-нибудь из своих.

С этими словами он вышел.

Посланные на базар вернулись не скоро. Владимир, запыхавшийся, с взволнованным видом приблизился к барину.

- Ну что, Владимир, ничего не нашли?
  - Ничего-с, но имеем сильное подозрение.
  - На кого?
  - На Михаила Ивановича.
  - Никак вы с ума сошли! Из ненависти к Батурину вы готовы Бог знает что на него придумать. С чего ж вы его подозревать вздумали?
  - Вот, извольте видеть, нам дворник сказал: здесь он почти не ночует. – Владимир говорил полушёпотом, словно боялся, что его могут подслушать. – Значит, как вы нам приказали, мы живым манером и отправились на толчок. Только туда приходим, как вдруг Михаил Иванович сам своей персоной к нам и идёт навстречу. Вы, говорит, что тут делаете. А мы отвечаем, что так, мол, прогуливаемся да кстате пришли посмотреть, не попадутся ли посходнее манишки, вот Алексею нужны. А он нам и говорит: врёте вы всё, не манишки вы пришли сюда искать, а у вас покража была. Вы думаете, не знаю? Сколько раз вам, дуракам, говорил. Были б поосторожнее, и воровства бы не случилось.
  - Когда это было? – удивлённо перебил Самсонов.
  - Да час назад, пожалуй, не меньше. Мы потом ещё по толкучке прохаживались, как вы приказали, только ничего не обнаружили...
  - Странно, странно, – задумчиво и вполголоса произнёс Евгений Петрович. – Зачем же ему понадобилось делать передо мною вид, что ему ничего не известно?
  - И то странно, Евгений Петрович, – живо подхватил Владимир, – ему-то откуда вышло, что у нас покража? Мы ведь никому не сказывали. Да и откуда такая великая милость: «Чай пить ко мне, – говорит, – приходите». Никогда допрежь этого не бывало.
  - Ну, что ж теперь-то думаете делать? – нетерпеливо спросил Самсонов.
  - А вот вы уж нам дозвоьте. Он у любовницы своей эти ночи ночевал. Нам это от дворника известно. Мы её адрес знаем. Дозвоьте у ней обыск сделать.
- Минуту он колебался. Безупречная репутация Батурина исключала возможность какого бы то ни было подозрения, однако то, что рассказывали дворовые, если и не было прямой против него уликой, то, во всяком случае, оставить его свободным от подозрений уже не могло.
- Ну хорошо, – сказал после краткого раздумья Самсонов. – Я вам не только позволю обыскать квартиру его любовницы, но дам вам в помощь полицейского, которого сейчас вытребую.

«Как сильно в подлых людях чувство мести», – устало подумал Самсонов после их ухода.

### III

На этот раз Владимир появился уже без всякой осторожности.

- Нашли, нашли! – задыхаясь, кричал он ещё на пороге.
- Где нашли? Что?
- Всё, Евгений Петрович, всё, как есть всё. У его любовницы было спрятано на чердаке да на печке. Она было нас и впускать не хотела, да квартальный приказал, отворила. Ну уж и кричала, и срамила нас, и Михаилом Ивановичем страшала! Но мы всё же во всех уголках перешарили, – нет ничего. Ну, думаем, плохо наше дело...
- Да постой, расскажи толком. Как же это так? Неужели Батурин? – всё ещё не веря этой новости, перебил его Самсонов.
- Вор, он самый и есть, грабитель, Евгений Петрович. Дрянь, думаем, дело



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org совсем выходит, а делать нечего, уходить нужно, да спасибо Алексею. «Дай, – говорит, – последним делом на печке покопаюсь». А печка-то всего на четверть от потолка. Влез он на стул да руку туда запустил, однако рукой до конца не достаёт. «Дай, – говорит, – какую ни на есть палочку». Стал он палочкой-то ковырять, что-то и отозвалось. Он пуще, да и вытащил копилку, что в кабинете на столе стояла, только разломанная она, да и без денег. Ну уж я более ничего и дожидаться не стал. Оставил их там с квартальным, а сам скорее к вашей милости.

– Не может быть! – воскликнул поражённый Самсонов.

– Вот вам крест, Евгений Петрович!

И Владимир, выпучив на угол глаза, стал быстро креститься.

– Да постой ты, – раздражённо отмахнулся от него Евгений Петрович. – Как же это? Не может быть... Батурин, фаворит дяди, всем обеспеченный и благодетельствованный... Батурин, двадцать пять лет беспорочно прослуживший в полку...

В маленькой проходной буфетной, соединявшей столовую с залом, раздались неторопливые и спокойные шаги.

Евгений Петрович кинулся к двери.

Батурин, невозмутимый, как всегда, и серьёзный, вошёл в столовую.

– А вчера ты где ночевал? – чувствуя, что бешенство душит его, закричал Самсонов.

Лёгкая усмешка пробежала по лицу Батурина. И эта-то усмешка вместе с презрительным спокойствием больше всего бесила Евгения Петровича.

– Я уже вам докладывал, – спокойно проговорил Батурин. – Знакомого провожал. И ту, то есть позапрошлую, ночь ночевал там же.

– Лжешь. В ту ночь ты был и воровал у нас на даче.

– Это неправда-с, – невозмутимо и не отводя взгляда, сказал Батурин. – Кто это вам сказал?

– А вот...

У Евгения Петровича не хватало слов. Спокойствие Батурина доводило его бешенство до последних пределов.

– Запираться нечего. Все украденные вещи найдены у твоей любовницы.

У Батурина только усмешка ещё шире раздвинула губы.

– Покажите мне их, коли найдены, где же они?

В этот самый момент под окном затарахтели извозчичьи дрожки. Владимир рванулся к окну.

– Приехали, Евгений Петрович, квартальный с людьми нашими. И всё покраденное при них.

Батурин даже не пошевельнулся.

– Ну что, и теперь запираться будешь? – грозно обратился к нему Евгений Петрович.

– Нет, – отвечал тот, не отводя своего насмешливого и пристального взгляда. – Теперь уж запираться нечего. Украл так украл

– Да что ты каменный, что ли? – бросился к нему Самсонов – Совесть, совесть куда ты дел, мерзавец? Своего же благодетеля обокрасть решился? Командира, с которым служил? Да знаешь ли ты, что теперь пойдёшь на каторгу? И службу и крест, и доброе имя не пожалел?!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Что тут долго разговаривать, – усмехнулся развязно Батури́н. – Коли попался, так уж, значит, так тому и быть. Отправляйте куда следует.

Тут и Евгений Петрович не мог уже больше сдержать себя.

– Долой с него всё господское платье! – затопал он ногами, и шпоры, как бубенчики, залились несмолкающим весёлым звоном. – Надеть на него какой-нибудь армяк да отвести в часть. Слышите?

Дворовые, до сих пор стоявшие молча, как будто только того и ждали.

– Вот, Михаил Иванович, каких камердинеров себе заслужили, – издевались они, срывая с него сюртук и жилет.

Батури́н с презрительной и недоброй усмешкой оглянулся кругом, пошевелил губами, как будто собирался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Покорно позволил снять с себя платье, покорно дал связать руки и так же, как и всегда, только, может, высокомернее и презрительнее, поклонившись, со связанными руками, на верёвочке, позволил увести себя из комнаты.

Вся эта история расстроила и утомила Евгения Петровича.

Проснулся он поздно, когда за занавесями уже мерцали светлые майские сумерки. Дневной сон не освежил, только, как после долгой дороги, тяжестью налил тело.

По бодрым шагам, сопровождавшимся звоном шпор, и резкому, слегка хриловатому (сорван командой) голосу, доносившемуся из дальних комнат, Самсонов догадался, что приехал дядя. Застёгивая сюртук, он пошёл ему навстречу.

– Ах, mon cher! [125] – закричал ещё издали, увидев его, Николай Александрович. – Ты проснулся? А то я не хотел тебя тревожить, потише стараюсь. Ну как находишь? По-моему, неплохо. А?

Он широким жестом прошёлся рукой по ещё не просохшим шпалерам законченной только сегодня гостиной.

– А как вам нравится история с вашим протеже? Вы слышали? – целуя подставленную щеку, спросил племянник.

– Да, да. Чёрт знает какая пакость. И это, представь себе, чуть ли не самый образцовый мой унтер. Каков реприманд [126] для твоего дядюшки! Теперь ведь государю всякую грязь докладывают. Вот недавно, можешь себе представить, какая произошла история. князя Владимира Александровича Долгорукого [127] знаешь? Ну, флигель-адъютант, полковник. Прямо подумать невозможно... Ну, да я тебе расскажу, а сейчас должен прямо сказать: я тобою недоволен. К чему ты поспешил вмешать в это дело полицию?

– А как же можно было поступить иначе?

– Как? Очень просто. Домашним способом на конюшню отправить, а потом – иди, милый, на все четыре стороны. Поверь, что никакого бы шума не было. А теперь, представь, каково будет моё положение, если это дойдёт до государя?

И Николай Александрович брезгливо поморщился.

Племянник, совсем не сочувствуя, покачал головой.

За столом, прихлёбывая подогретое бургундское и чувствуя, как возвращается к нему его обычное – дома всегда благодушное – настроение, Николай Александрович вспомнил:

– Да, я хотел рассказать тебе про Долгорукого. Чёрт знает в какую отвратительную историю влопался бедный князь. И главное, ни сном ни духом не виноват.

Евгений Петрович довольно рассеянно прослушал историю. Потом с глубоким и тихим вздохом сказал:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– А я думаю, что всё-таки вы, дядя, не правы. Государю должно быть известно, да и каждый из нас – в доме ли у себя, в своём ли ведомстве – должен знать решительно всё. В этом корень благодетельной и мудрой власти. Батулин – это, конечно, мелочь. Я не по поводу этого, а смотреть так в принципе не должно.

– Парламент?! Нижняя палата?! Или нет, отдельный корпус жандармов, так, что ли? – расхохотался Исленьев. – Ах вы, молодые, молодые...

И остановился.

Закончил через минуту с грустной усмешкой:

– Вот смотрю я на вас, нынешнюю молодёжь, и грустно становится. И либералы-то вы какие-то непонятные. Если уж либеральничаете, то прямо по казённому образцу. За такой либерализм каждому бы следовало чин действительного статского и место в Сенате. Нет, из вашего поколения декабристам не выйти! – закончил он со вздохом.

IV

История, в которую, по словам Исленьева, так глупо попал ни сном ни духом не виноватый Долгорукий, имела место в Петербурге, возле Московской заставы, вечером первого июля, а третьего, то есть ровно через день, князь был дежурным флигель-адъютантом в Петергофе, где имел тогда своё летнее пребывание двор.

Говорили, что государь уже несколько дней был в дурном настроении. Предстояли манёвры в Красном Селе, но никаких распоряжений к выезду туда Главной квартиры ещё не последовало. Уже одно это могло служить недобрим признаком.

В таких случаях дежурный флигель-адъютант, попавшись не вовремя на глаза императору, легко мог сделаться причиной самого неумеренного гнева.

Князь Долгорукий занял позицию на приличном расстоянии от дворца, возле каменной балюстрады над Самсоном[128]. Отсюда можно было в один момент перебежать площадку, если это потребуется, и так же легко и незаметно скрыться внизу, если Николай быстро, прямым шагом, не глядя по сторонам, зашагает от подъезда.

В заливе на императорской яхте проббили склянки, и репетир у князя в кармане тихонько, словно порывался и не мог позвонить, прошипел шесть раз.

На главном выходе с тяжёлым дребезжаньем распахнулись двери. Звук коротко отозвался и пропал в утренней тишине. От скрипа шагов на камне князь вздрогнул.

Николай поспешно сошёл со ступеней, не сделав и двух шагов по площадке, остановился, полной грудью вдыхая свежий воздух. На нём был старый, без эполет, поношенный сюртук Семёновского полка и такая же фуражка, с поднятой сзади тульёй. От тени, которую бросал козырёк, лицо казалось не живым, с переливающей под кожей кровью, а гладко прописанным красками – так равномерны были переходы оттенков и неподвижны черты. И только глаза, большие и тёмные, от одного взгляда которых у редкого не сжималось трепетно сердце, горели пронзительным огнём.

Император прямой, как всегда, но неторопливой на этот раз походкой зашагал к балюстраде.

– А, Долгорукий! Здравствуй! Молодец! Утро настолько прелестно, что было бы грешно его проспать.

И Николай быстро стал спускаться по лестнице вниз. Вдруг он пристальным и острым взором взметнул к лицу Долгорукого.

– А пронос![129] Я и забыл, – проговорил Николай с усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего. – Хорош ты, мальчик: оказывается, ты у меня людей давишь?

Застывшее в строгой почтительности лицо Долгорукого мгновенно преобразилось

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
в изумлённое.

– Как это, ваше величество? Я не понимаю.

– Что ты прикидываешься невинным? – уже повышая голос, крикнул Николай. – Ведь ты был третьего дня в Петербурге?

– Был, ваше величество.

Брови у императора шевельнулись и сошлись, проложив на лбу складки. Мгновенный, от которого вздрогнул угол рта, живчик сбежал по щеке.

«Первый в империи дворянин, – шевельнула усмешку знакомая и всегда раздражавшая мысль. – А струсил. И врёт, врёт. Холуй, хоть и Долгорукий.»

– Князь Долгорукий, – закричал Николай, разгневанный и страшный, – вы забываете, что я не люблю вранья!

– Я не осмелился бы докладывать неправду вашему величеству.

– Что ж вам угодно? Чтобы я приказал произвести формальное следствие?

Глаза сощурились, смотрели презрительно и торжествующе.

– Как милости прошу, государь, в полной надежде, что оно оправдает меня в глазах вашего величества! – воскликнул Долгорукий.

– Хорошо, – отрывисто бросил Николай. – Хорошо. Но берегитесь, князь Долгорукий, не было бы вам худо.

И, отвернувшись, быстро отошёл прочь.

– Немецкое отрепье! Бригадир! – задыхаясь от стыда и возмущения, пробормотал Долгорукий. – Меня, как школьника! Во лжи! Уличать вздумал, чухонский ублюдок!

Он сердито дёрнул, словно хотел оторвать, золотой аксельбант, но, сейчас же поправив его и усмехнувшись, в обход, чтобы не встретиться ещё раз с царём, пошёл к дворцу.

Слишком ли был раздражён на Долгорукого государь (хотя до сих пор он выказывал ему самое искреннее благоволение) или сам оскорблённый Долгорукий всеми доступными средствами толкал это дело, но собранная высочайшим повелением комиссия уже к девятому, когда император вернулся с манёвров в Петергоф, представила ему своё заключение.

«По тщательному и всестороннему рассмотрению помянутого обстоятельства, – доносила она, – оказалось, что означенная женщина действительно была задавлена экипажем флигель-адъютанта князя Долгорукого».

– Знаете ли вы, князь Долгорукий, – даже привстав с кресел, закричал Николай, – что за такую вашу ложь вензеля могут слететь с ваших эполет? Да и сами эполеты могут последовать за вензелями.

Долгорукий покраснел до кончиков ушей, но глаз не отвёл и ответил твёрдо:

– Ничего в этом деле не понимаю. Но только смею уверить ваше величество, как честный и благородный человек, – на предпоследнем слове князь сделал ударение, – что ничего подобного со мною не было.

У Николая сощурились глаза. Иронией он скрывал торжество, прорывавшееся в голосе:

– Так что же, второе следствие, что ли, прикажете назначить?

– Как будет угодно вашему величеству. Повторяю и клянусь честью, что ничего подобного со мной не случилось.

По высочайшему повелению было назначено второе следствие...

Вот эту-то вызвавшую при дворе много разговоров историю и рассказал своему

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
племяннику Исленьев.

V

Николай Павлович, в противоположность своему покойному брату, близких друзей не имел.

Когда ему доложили, чуть ли не в первую неделю царствования, что Аракчеев откровенно хвастает и показывает всем письма покойного государя, писанные ему из Таганрога, Николай резко и твёрдо дважды повторил:

– Дурак! Какой дурак!

Потом ещё раз быстро пробежал окончание скопированного письма: «...любящий тебя Александр».

Брезгливая гримаса покривила лицо Николая Павловича.

– А этому дураку, шуту и ханже дайте понять, что видеть его я не желаю, – сказал он, отодвигая от себя бумажку.

Очевидно, первый «дурак» относился не к Аракчееву.

Но Аракчеев был единственный, кого постигла царская немилость раньше, чем окончилось следствие по делу декабристов.

Александровские генерал-адъютанты только переменили вензеля на эполетах – сохранили свои посты, но уже всем было ясно, что у нового царя готовятся свои люди.

Николай считал себя незыблемым и чуть ли не единственным авторитетом во всех вопросах кавалерийской службы. Карьера одного кавалерийского генерала разом сломалась на возражениях на царские комментарии к книге Рошеймона. Формирование отдельного драгунского корпуса из полков состава, почти равного пехотным, несмотря на все возражения даже приближённых и доверенных, унесло горы золота, стоило жизни тысячам людей и кончилось ничем. Всем возражавшим и доказывавшим бессмысленность этой затеи следовал неизменный ответ:

– Ты не понимаешь. Это будет совсем новый род оружия.

Лицо у царя тогда принимало выражение самодовольного превосходства.

Но не только в вопросах кавалерийской службы Николай считал себя непогрешимым.

Розыск по делу декабристов в первые же месяцы царствования разрушил и перекроил привычное мирозерцание бригадного генерала. Шесть месяцев грызло сомнение: самодержец он или нет? Его или не его империя? Через шесть месяцев эти сомнения казались пустым ночным страхом. Никто лучше его не мог знать, что нужно делать. Верховная следственная комиссия работала медленно. С первого же дня он понял: того, что нужно ему, что мучает и не отпускает ни на минуту, она не откроет никогда.

Этих он уже не боялся. Они в руках. Из петропавловских казематов их не освободит никакой мятеж. А вот другие! Каждый день привозили всё новых и новых. Но разве всю Россию перевозить?

На заре тринадцатого июля, не позднее четырёх часов, должны были покончить с теми пятью, главными.

На двенадцатое в Петергофе был назначен ночной праздник.

Расцветенная фейерверками, переливавшаяся разноцветными струями фонтанов ночь расползлась, выцвела, словно её, как ветхую ткань, протравило туманом. Теперь, когда от сердца отлегла такая тяжесть, необыкновенно приятно и сладко было целовать в беседке чьи-то покорно отдававшиеся ему губы. Но вдруг царь выпрямился, оттолкнул свою даму и отошёл в угол. Ему показалось, что он слышит шаги жены. Но это только показалось. Он усмехнулся и снова выступил из тени. Приложенный к уху репетир глухо прошипел четыре.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org «Первое сословие» больше не страшило. От прапорщика до генерала, от владевшего чуть ли не губернией магната до мелкопоместного дворянчика – все они были в руках.

О сосланном Пушкине ему намекали не раз ещё до коронации. Он улыбался всезнающей надменной улыбкой.

– Я примирю его с собой.

На пятый день после коронации состоялась «высочайшая резолюция» о привозе поэта в Москву «под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта».

Через месяц после беседы с поэтом в Москве, как-то на интимном вечере в Аничковом, обмолвился с самодовольной улыбкой:

– Пушкин будет моим хорошим подданным. Теперешние его стихи – залог тому. Надо уметь разгадать человеческое сердце.

Указ об учреждении Третьего отделения собственной его величества канцелярии был дан тоже вслед за коронацией.

Преданный Бенкендорф, без слов умевший понимать волю своего монарха, всё же попросил письменного указа, как ему действовать.

Тогда Николай Павлович, мечтательно и кротко смотря ему в глаза, взял со стола носовой платок, протянул его со словами:

– На. Им ты утрёшь слёзы.

И улыбнулся грустно.

Улыбнулся и Бенкендорф.

Бенкендорф вообще говорил мало. Речь его, особенно к подчинённым, походила на побывавшее в воде письмо. Одни слова размокли и исчезли бесследно, другие без всякой связи с предыдущими ещё проступали на бумаге. Поцыкивая и жуя губами, он ронял их с паузами, из которых каждая длилась не менее минуты. Для того чтобы разгадать, что он хотел сказать, требовалось тоже искусство.

С царским платком в руках, время от времени останавливаясь на нём взглядом и как бы черпая из него эти разорванные клочки мысли, Бенкендорф говорил некоему полковнику Дубельту:

– ...Утереть слёзы... Это хорошо... Рыцарски и благочестиво... Чтобы точно исполнялись законы, пресекать злоупотребления, следить... и следить... из-под руки... чище идея, крепче само существо. Папы тоже... *Ad maiorem dei gloriam*[130]... испанец Игнатий Лойола, испанец... В вас ведь, Леонтий Васильевич, тоже испанская кровь?

Бенкендорф пожевал губами, походил по комнате. Потом, останавливаясь против Дубельта, коротко сказал:

– Нужны люди, Леонтий Васильевич. Вам нужны. Себе я уже нашёл. Например – вас.

VI

В императоры Николая Павловича не готовили.

Старшие братья, Александр и Константин, жили, как будто раз навсегда позабыв, что они, то есть Николай и младший – Михаил, существуют на свете.

Только в 1846-м, когда Николаю шёл уже двадцатый год, старший брат как-то случайно вспомнил, что в образовании младших как будто чего-то и не хватает, и наспех отправил их в заграничное путешествие. Ни пристрастий, ни направления ума обоих великих князей оно не изменило.

Николай был твёрдо убеждён, что он неплохой бригадный генерал.

Но честолюбию бригадного генерала было поставлено слишком большое

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org испытание.

Морозный декабрьский день леденел на окнах. Туман спрятал от глаз даже ближайšie дома. Дальше всего виднелся шпиль Петропавловского собора, но и его стёрла молочная, со всех сторон ползущая муть. Казалось, остался и существует один только дворец: всё остальное – город, завтрашний день, Россию – поглотил и скрыл туман.

Во дворце метались люди. Растерянные и испуганные генералы подбегали к нему, заплетающимся языком просили распоряжений, приказа. Он не слышал, не слушал, не понимал.

Будто сердце стало железным и стучало таким оглушительным звоном, звенело в ушах:

«...Не хотят?! Его?! Бунт».

Сжал кулаки, но только пустым, нестрашным гневом сверкнули глаза.

Смятённые, растерянные генералы всё ещё толпились в зале. В окне редел туман, выводя, как в волшебном фонаре, бледные, расплывающиеся очертания зданий. И всё ещё подбегали, словно торопил он их, словно этого только он и ждал, – спешили сообщить:

- Ваше величество, в Измайловском...
- Гренадеры...
- Московский... все четыре батальона...
- Гвардейский экипаж присоединился к мятежникам.
- С ним много людей из сорок второго флотского.

Нетерпеливо, словно всё давно уже ему было известно, отмахнулся. К окну, в туман, наметивший контуры зданий, устремил тревожный, мятущийся взгляд.

«Кто, кто поможет? На кого положиться? Кто вдохнёт мужество? Что сделать-то? В резервную колонну! Да разве послушают...»

А только, только ведь это и нужно. Тогда и без инспекторского смотра принял бы. После приказом по отдельным частям:

- Составить акты принятия.

«Скорей бы! Скорей бы кончилось! Господи!» кто-то осторожно, боясь, должно быть, что и в этом не может быть правды, шепнул:

- Ваше величество, на преображенцев можно положиться. Первый взвод вашей роты присягнул вчера в карауле.

Он посмотрел в глаза говорившему. По глазам увидел, что подсказывает, а сам не верит, что послушается, решится.

Перед глазами вдруг так ясно, как будто он всё утро думал только о том, проступила картина, сохранившаяся в памяти от детства.

Вот здесь же, в этом дворце, на покрытом парчю помосте стоял гроб.

Его, четырёхлетнего малютку, под мышки подняли проститься с покойником. Из золота, из кружев, из цветов, словно оно утонуло в них, показалось на секунду синее, курносое лицо. Кончик языка высывался изо рта, распухший и тоже посинелый.

А брат?

Он с отвращением вспомнил сейчас всегда противное, не мужское и не бабье, какое-то без пола и возраста лицо. Всегда с улыбкой, приветливой и ласковой, а его от этой улыбки тошнило, – казалось, что брат прячет за нею смертельное отчаяние и ужас.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
«Неужели и во мне эта паршивая, неизвестно кем влитая кровь? – с отвращением и тоской подумал Николай Павлович. – Вон у бабки не сорвалось. Решилась».

– Ваше величество, – терзая его, шепнул кто-то, наклоняясь к самому уху. – Решайтесь. Немыслимо и погибельно дальнейшее промедление.

Если б он мог решиться!

Ещё раз, зная наверное что не встретит ни одного взгляда, который помог бы, вдохнул в сердце мужество, глазами обвёл зал. И вдруг...

Николай с минуту смотрел на младшего брата, как на чудо.

Этому можно верить. Этот не предаст, не оставит. Брат. Не такой, как те, курносые, белобрысые, – Миша, друг и товарищ детства, всем – от лица до голоса и жеста – похожий на него.

Он решился.

На улице туман разределся совсем. Падал крупными и редкими хлопьями снег. Караул выбежал в ружьё. Заметил только, что сапёры, не поглядевши, как это делал всегда, по форме ли одет офицер и как быстро построились. Он даже не узнал своего голоса, так неуверенно и хрипло заговорил с ними:

– ...Вам доверяю... сына... берегите наследника.

Караул рывкнул:

– Рады стараться, ваше императорское...

Нет, нет, не разобрал: величество или высочество, только от этой отчётливой быстроты что-то сдавило глотку, дёрнулся угол рта. Снежинки мелькали, плясали в воздухе.

И тогда Николай, опять не узнавая своего голоса, наклоняясь с коня и пропуская один за другим мелькавшие перед ним ряды запорошенных снегом киверов, закричал:

– Преображенцы, хотите меня государем?

Иначе как спросить? Разве солдат спрашивают? В первый раз – и пусть будет в последний.

– Желаем, желаем, – нестройно и вразбивку послышалось в ответ.

Казалось, это вернуло мужество бежавшему впереди капитану. Он гаркнул:

– Смирно-о-о!

Команду приняли. Подтянулись ряды. Как чугунный, запечатал по мёрзлой земле шаг.

– Государю императору...

От раскатистого, громкого «ура» Николай Павлович вздрогнул, как будто в него полетели комья снега.

Вслед за бодро шагавшей «государевой», отныне его ротой, бросив повод, проехал он шагом на площадь Сената.

Поздно вечером из дворца были видны костры на Неве. Это рубили проруби и в них свозили трупы. У костров на улице грелись патрули. Во дворце всю ночь горел свет. Император всю ночь допрашивал арестованных, которых доставляли прямо сюда...

Не так-то просто было пройти через эти первые месяцы.

Незнакомое и странное смотрело на Николая Павловича лицо, когда он подходил к зеркалу, но это лицо ему нравилось. Тогда его выражение не было постоянным, только через шесть месяцев, когда было покончено с



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org декабристами, оно приняло на себя маску грозной и невозмутимой величественности. В гневе у Николая темнели глаза, тяжёлым и страшным становился взгляд – само лицо, его античные, словно выписанные на музейном холсте черты искажались редко.

То там, то здесь в империи вспыхивали костры мятежей, бунтовались помещицы и казённые крестьяне, солдаты в военных поселениях, работный люд на казённых рудниках и заводах. Какие-то безумцы дерзали осуждать его право. Кавказ упорно сопротивлялся русским завоевателям. Раскольники не признавали его царём, на ектении в их молельнях возглашалось здравие императору Александру.

На Кавказ один за другим уходили из империи корпуса, на Поволжье чиновники разрушали и опечатавали раскольничьи скиты, насмерть забивали шпицрутенами дерзавших усомниться в его царском происхождении. Но спокойнее от этого не делалось.

Этих, окружавших его, с трепетной готовностью кидавшихся исполнять каждое его приказание, он не боялся. Что ж, если что и таят? Пусть. Труднее было проникнуть в сердечные глубины Рылеева с братьей, а вот проникнул, раскрыл, победил. Страшило другое. У тех вот как выведать – многомиллионных, загадочных, непонятных.

Докладывая о бунте в Новгородском округе военных поселений, Бенкендорф очень осторожно, только намёком коснулся имевшегося у него жандармского донесения. В нём говорилось, что находящийся с бунтовщиками вместе некий кантонист народной молвой считается за побочного сына покойного императора Александра, и те так его и прозывают: «царёныш». Причина этой молвы якобы такова, что мать сего кантониста, поселянка Новгородского же округа, быв некогда в случае у графа Аракчеева, удостоилась обратить на себя внимание покойного государя. Всё это Бенкендорф изложил весьма и весьма осторожно, а изложив, даже перестал шевелить губами, зажав меж них, на всякий случай, кончик языка. Он ждал вспышки обычного в таких случаях гнева, молниеносного, уничтожающего взгляда. Но царь только усмехнулся многозначительно и весело. Потом поморщился.

– Враньё.

Среди дел предыдущего царствования ему как-то попала переписка по поводу неудачного сватовства его сестры, великой княжны Елены Павловны, за императора французов. О настроении московского общества в отношении к сему факту почт-директор Ключарёв[131] доносил тогдашнему министру полиции:

Расположение мысли о нашей великой княжне, ежели б жребий пал быть ей невестой императора Наполеона, – имею долг неуклонно представить Вам со всею искренностью, что ни один голос, в краткое время, как я сказал, существования сего слуха не был приятным. Причина – недоверенность, далеко распространённая к намеревающемуся вступить в новый брак. Даже говорили, что Жозефина неплодна, а может быть, он сам таков, а потому, как прежде случалось, например, с Генрихом VIII и царём Иваном Васильевичем[132] и прочими, последует развод за разводом по причине одинаковой. Что касается до первого в государстве сословия, оно может рассуждать глубже политически, хотя и тут, думаю, не найдётся много так мыслящих, а впрочем, по уважительному моему замечанию, причтут действия необходимости и угождению. Я не пропущу, если возобновятся слухи относительно нашей великой княжны, возможное узнать и уведомить в подробности Вас. А теперь всё замолкло, и, кажется, очень в покойном ожидании.

Можно заметить, что разводом дамы очень недовольны.

Улыбка ироническая и весёлая заиграла на губах, когда Николай Павлович прочёл это донесение. С брезгливой гримасой Николай Павлович отодвинул от себя папку. Больше уже не требовались во дворец дела, касавшиеся матримониальной дипломатии братнего царствования. Давнишняя и презрительная ненависть к нему самому нашла наконец своё выражение.

При встрече траурной процессии с его телом Николай Павлович жестом остановил катафалк, спешил, на глазах тысячной толпы опустился на колени прямо в снег. Чувство какого-то гадливого отвращения к самому себе, к этой лицемерной, ничтожной позе охватило его. Он чувствовал, как от подбородка до висков лицо заливают краска возмущения и стыда. Приложил к глазам платок. В толпе пронёсся почтительный шёпот. Безветренный морозный день сделал его таким явственным, как будто ему на ухо докладывали об удивлении

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org и восхищении его порывом. Он не знал, что нужно делать дальше. Коленями сквозь лосины чувствовал ледяную жёсткость январского снега. Ноги ломило. Отвернулся, смотря в ту сторону, где на сизом небе редкой рассыпанной стаей летели чёрные галки и мутно серебрились пустые поля, поднялся с колен, не оборачиваясь, прошёл к ординарцу, державшему лошадь. Обернуться было противно и стыдно.

Пять лет спустя, в бане, в старом Зимнем дворце, парил его древний, как эта жаркая сырость, банщик.

– А ну-ка, старик, поддай.

Пар густым непроходимым облаком наполнял всю баню. Бледными радужными искрами просвечивали в нём огоньки свечей. Пот, горячий, как кипяток, катился по телу, а император всё требовал и требовал «поддать».

– Ох, ваше величество, и можешь же ты париться! – кряхтя над неизвестно какой по счёту шайкой, вымолвил банщик.

– А что?

– Да как же, третьего царя послал Господь парить, а этого видеть ещё не приходилось. Пар любишь: русский человек.

Николай тревожно насторожился.

– Это к чему болтаешь?

– Мыть ваше величество – сердце радуется, – не спеша и с задышкой заговорил старик. – Эно, тело какое! Пару не боишься, значит, и страстью своею вполне владеть можешь. Богатырь... эх, да что говорить: настоящих людей наделаешь...

Старик чего-то недоговаривал, но и от сказанного, больше чем от жаркого пара, чем от этих так любовно и нежаше скользивших в мыльной пене по его телу рук, морящая сладкая истома, как дурман, подступила к голове.

Он мог бы ещё похвастаться, что в это же время, невзирая на свои сорок лет, как двадцатилетний поручик, не перестаёт волочиться и изнывает от влюблённости, не оставляя в покое ни одной хорошенькой женщины. Желанием император дорожил больше, чем его осуществлением. Влюбляясь, изменяя жене с искусством, которому позавидовала бы любая ветреница, он переживал волшебное, ни с чем не сравнимое чувство. Как будто слетали с плеч годы, не тяготили сердце никакие тайные мысли и подозрения. Лыстило и толкало к каждому новому увлечению ещё и другое. Он знал – и в этом крылось тоже ни с чем не сравнимое наслаждение, – что к нему тянутся, ему отдаются восторженно и ревниво не только потому, что он император всероссийский, а и потому, что красив, строен, умеет внушить и любовь и восторг к себе.

Любуясь собой и перебирая в памяти ощущения, которые оставались от той или другой встречи, он в разнице поступков и приёмов как будто разгадывал причину всегда удивлявшего несходства со старшими братьями.

Раз в Петергофе во время утренней прогулки вслух вырвалась фраза:

– Если бы я мог проникнуть в тайну собственного рождения, я бы основал новую династию.

В парке он был совершенно один, но после этого три дня испытующе и подозрительно присматривался к лицам придворных. Постоянно страшило, что окружающие смогут прочесть это в сердце. И вот, скрывая от всех, стараясь скрыть и от собственных глаз, как страшную, позорную слабость, в конце концов убедил, заставил поверить и себя, что он и Россия, он и держава – синонимы, нераздельное общее, видел в себе живое воплощение грозной и величественной идеи монарха в этот пустой и развращённый век.

На докладах нетерпеливым жестом отстранял, если ему пытались выложить на стол карту той или иной части его владений.

– Не нужно. Знаю и так. Это у меня в голове.

Не отдернул руки, когда законный монарх, молодой австрийский император,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org припал к ней с благодарным поцелуем. Незаконного, Луи-Наполеона, во всю жизнь ни разу не назвал «mon frere», как это принято в переписке между монархами.

В 1849 году, в Варшаве, вскоре после венгерского похода, вернувшего Австрии восставшую половину империи, бурно и долго распекал по какому-то поводу одного из своих генералов. Тот выскочил из кабинета весь красный и возмущённый. Обида вырвала из сердца пророческую фразу:

– Всё кончено. С такими понятиями, с такою уверенностью в собственной непогрешимости можно вести свою державу только к гибели.

И он её привёл, завещав, умирая, сыну совершенно бессмысленное:

– Пусть не любят, только б боялись. Не дай постичь им, забраться к тебе в сердце. Тогда России не быть.

## VII

– Блазонировать, то есть описать герб словами! Но для этого нужно хоть немного быть знакомой с геральдической терминологией. В сущности, я бы мог доказать тебе, что у Романовых, хотя наш grand souverain и считает себя первым дворянином, герба, в строго геральдическом смысле, нет. То, что они считают своим гербом, совершенно грубая и плебейская подделка. Мифический рыцарь Гланда Камбила[133], буде такой и существовал (я не знаю, откуда они его выкопали), какое же он имеет отношение ну хотя бы к теперешнему императору? Ведь уже в Павле не было ни капли романовской крови. Мы, Долгорукие, Наташа, может быть, единственные вообще в империи, кто может похвастаться совершенной чистотой своего герба. А это существенно, очень существенно, Наташа...

Князь вдруг замолк.

В комнату неслышно вошёл лакей, приблизился к чайному столику, безмолвно спросил глазами – можно ли убирать, и так же неслышно удалился.

– Довольно странные приёмы у твоих людей появляться, когда их не кличут, – улыбнувшись, заметила сестра.

– Что подделаешь, такова вся дворцовая прислуга: развязна, упряма, самостоятельна. Своих я всех отослал от себя. После этой истории, право, начинаешь бояться, когда тебе прислуживают твои крепостные. Эх, время, время! Флигель-адъютанту грозят разжалованием за враньё его пьяного кучера.

И князь притворно вздохнул.

– Но я всё-таки ничего не понимаю, – быстро заговорила Наташа. – Почему ты не попросишь отставки? Ведь это же оскорбление. Это непереносимо, а ты сидишь, как арестованный, как будто и в самом деле в чём виноват...

– Меня никто не задерживает, – устало перебил её Долгорукий. – Я сам не хочу выезжать. Чего доброго, ещё подумают, что я подкупаю следствие.

– Как это всё глупо и противно! – воскликнула она. – И только подумать, что десять лет назад люди дерзали мечтать о какой-то свободе, а теперь – кроме смирения тебе нечем и ответить на оскорбление.

Князь, чуть-чуть поморщившись, рассеянно перевёл глаза от её лица к окну.

В густой зелени парка проблескивало вечернее солнце. Золотая крыша дворца казалась озером расплавленного и сверкающего металла, окружённого пышной зеленью. Где-то за пределами этого блеска и этой зелени хрипло и несладко начинала и срывалась всё на одной и той же ноте труба.

Князь отвернулся от окна.

– Местопребывание двора, русский Версаль! – проговорил он брезгливо. – Упражнения музыкантской команды улаживают слух русского императора. Очевидно, с таким расчётом и казарму построили, в двух шагах от дворца...

Протяжный и низкий звук, которым непрестанно тревожилась тишина за окном,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
вдруг сорвался высокой, пронзительной нотой. Князь, морщась, словно от зубной боли, заткнул пальцами уши.

– Не знаю, не знаю, Натали, – проговорил он через минуту и, иронически улыбаясь, взял с откидного столика книжку. – Может, вот это. Мечь.

– Что это такое? – рассеянно полюбопытствовала Наташа.

– Тут есть поэмка какого-то Лермонтова. Должно быть, это тот самый лейб-гусар, который так преуспел с прошлого года в свете. Это августовская книжка «Библиотеки для чтения».

– Покажи, – она взяла из рук книжку. – Где это?

– На восемьдесят первой странице. Называется «Гаджи Абрек». Это, пожалуй, плохо, что слишком здесь много крови, но вот что здесь обходятся без модной роковой любви, да ещё одна мысль – это мне нравится. Хочешь, я тебе прочту?

– Пожалуй, – улыбнулась Натали и протянула книжку.

Князь аккуратно разогнул и разгладил страницы, слегка задыхаясь и нараспев прочёл:

Любовь!.. Но знаешь ли, какое  
Блаженство на земле второе  
Тому, кто всё похоронил,  
Чему он верил, что любил!  
Блаженство то верней любви  
И только хочет слёз да крови!..  
В нём утешенье для людей,  
Когда умрёт другое счастье;  
В нём преступлений сладострастье, –  
В нём ад и рай души моей.  
– И дальше, дальше. Послушай, Натали. Это совсем уж неплохо.

Князь заметно оживился.

– Ну вот:

...Давно  
Тому назад имел я брата;  
И он – так было суждено –  
Погиб от пули Бей-Булата.  
Погиб без славы, не в бою, –  
Как зверь лесной, – врага не зная.  
Но мечь и ненависть свою  
Он завещал мне умирая.  
И я убийцу отыскал:  
И занесён был мой кинжал,  
Но я подумал: «Это ль мщенье?  
Что смерть! Ужель одно мгновенье  
Заплатит мне за столько лет  
Печали, грусти, мук?.. О, нет,  
Он что-нибудь да в мире любит.  
Найду любви его предмет,  
И мой удар его погубит».  
– Нет, это действительно хорошо: и тонко, и глубоко. «Найду любви его предмет, и мой удар его погубит». А? Ну, что ты скажешь, Натали?

– Я бы не хотела стать предметом каких бы то ни было чувств такого страшного юноши, – ответила она с улыбкой.

Натали поднялась с кресла, подошла к князю и, опустив на плечо руку, рассеянно заглянула в раскрытую книжку. По губам скользнула весёлая усмешка.

– «...По мне текут холодным ядом слова твои». Это я здесь читаю, Владимир, – смеясь, пояснила она. – Но мне пора. Я и так слишком долго разделяла твоё заключение.

– Уже? Ну, благодарю, что не забываешь. Постой, я прикажу, чтоб подавали.

Почти в тот же момент, как он дёрнул сонетку, у дверей выросла фигура лакея.

«Что они, подслушивают, что ли?» – досадное метнулось в голове, но сейчас же оно забылось, оттеснённое отъездом Натали, непрерывающейся и горькой чередой мыслей.

#### VIII

И неясное, многим почему-то казавшееся загадочным и таинственным дело о задавленной первого июля у Московской заставы женщине, и совершенно очевидное, ввиду полного сознания самого преступника, дело о покраже на даче гвардии генерал-майора Исленьева тянулись с одинаковой медлительностью и одинаково долго.

Высочайшее повеление о создании второй следственной комиссии по делу, в сущности совершенно ничтожному и пустяковому, привело даже мало чему удивляющегося Дубельта в смущение.

– В чём тут секрет? – в сотый раз задавал он себе один и тот же вопрос, просматривая листы тощего «дела», в котором, в сущности, и искать было нечего.

Ездящий в кучерах у князя Долгорукого крепостной его человек Трифон, иного прозвания не имеющий, с трёх расспросов показывал слово в слово одно и то же.

Первого июля, въезжая с князем в Московскую заставу, сшиб он лошадьми женщину неизвестного звания, а так как был выпивши, то на крик полицейского не остановился, ударил по лошадям и умчался. Чего ж тут искать?

Дубельт попробовал было осторожно выведать причину такого необычайного внимания государя к этому пустому происшествию у своего шефа.

Тот, по обыкновению, только пожевал губами, промычал что-то совершенно невразумительное и только, по крайней мере через четверть часа, когда уже выслушал о многом другом, раскачался сказать:

– М-м-м... Леонтий Васильевич... Никакой интриги здесь нет-с... Да. Только, только... государю благоугодно знать самую сущую правду. Ибо флигель-адъютант его величества солгать не может, а раб его упорствует в своём показании. Это надо выяснить. Нам не найти правды – стыдно-с.

«Ничуть не яснее. Только вот разве самый кончик. Долгорукого хотят очернить, государь противится. Кучер – ясно – подкуплен».

Секретные донесения, которые имелись у Дубельта, ничего противного правительству или лично государю за князем Долгоруким не устанавливали, личных врагов у него тоже как будто не было, и тогда, окончательно решив, что дело это весьма трудное и щекотливое, Дубельт со всем рвением и в точном соответствии с указанием своего шефа приступил к нему.

Как и следовало ожидать, в Петербурге, оказался ещё один князь Долгорукий, того же первого июля через ту же Московскую заставу въехавший в столицу. Вызванный в Третье отделение застенчивый, болезненного вида юноша даже и не думал отпираться. Отпущенный из Царскосельского лицея на каникулы, он ехал в экипаже своего дяди графа Шереметева, который его и воспитывает, в Петербург. Проезжая Московскую заставу, кучер его по неосторожности сшиб какую-то женщину, но, очевидно боясь ответственности, не остановился, а, наоборот, погнал лошадей. Сам же он молчал до сих пор об этом происшествии единственно только потому, что его никто об этом и не спрашивал.

Молодой князь был любезно отпущен с лёгким упрёком – как же это вы так, до сих пор молчали, а у нас тут целая история вышла! – а кучер Шереметева взят в арестантскую, но уже при Третьем отделении.

Заседание комиссии Дубельт открыл кратким, но многозначительным вступлением:

– Господа, вам небезызвестна вся важность возложенной на вас обязанности.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Из одного того факта, что по происшествию, в сущности весьма ничтожному, по высочайшему повелению ныне открывается вторая следственная комиссия, вы уразуметь можете, насколько его величеству угодно знать сущую правду по этому делу...

Серьёзные и строго вытянувшиеся лица господ членов должны были показать их полную готовность к выяснению этой «правды».

– Так-с, – оглядел присутствующих Дубельт и приказал ввести обвиняемого.

Первым был приведён кучер Долгорукого.

Он с отчаянием бросался на колени перед столом, за которым сидели строго взиравшие на него господа, бил себя кулаками в грудь и слово в слово в четвёртый раз повторил давно известную историю о том, как ехали они с князем, как был он выпивши, а потому, опрокинув лошадыми какую-то женщину, не сдержал, а погнал их ещё того пуще.

– Хорошо, – прервал его Дубельт и с тихой усмешкой приказал ввести второго обвиняемого.

Этот вошёл с испуганно-обалделым видом, как вкопанный остановился перед столом.

– Как тебя зовут и у кого ты служишь? – строго обратился к нему Дубельт.

– Дворовый человек его сиятельства графа Шереметева, а зовут Фонькой, – потупясь, словно стыдясь такого признания, ответил спрашиваемый.

– Хорошо, хорошо.

Торжествующая улыбка всё больше кривила рот Дубельта. Едва касаясь одной рукой о другую, он потёр их и, самодовольно улыбаясь, стал спрашивать дальше:

– А скажи-ка, любезный, не ездил ли ты когда в Царское Село и не возил ли кого оттуда? Этим летом, конечно. И когда это было в последний раз?

– Кажись, в июле, – всё так же испуганно смотря на генерала, сказал шереметевский кучер. – В июле, должно быть, и будет последний раз, как ездил. За князем Долгоруковым, племянником нашего графа, ездил, в тот же день и назад обернулись.

– Так, так. Вёз князя Долгорукого, Хорошо. А не помнишь ли ты, не случилось ли с вами чего, как въезжали в заставу?

Дубельт пристальным, неотрывающимся взглядом смотрел в бледное, растерянное лицо шереметевского кучера. Минуту в комнате царило гробовое молчание. Вдруг тот, широко взмахнув руками, словно он собирался улететь, рухнул на колени. Крик, сиплый и глухой, казалось, застрял у него в горле.

– Виноват, ваше превосходительство, бабу какую-то я смял тогда лошадыми.

Дубельт торжествующим взглядом – ну, вот, видите, как выходит, когда я берусь за дело! – обвёл присутствующих. Потом с улыбкой взглянул по очереди на каждого из кучеров, сказал:

– Как же это так, ребята? Женщина задавлена одна, а вас, охотников до неё, двое.

За столом переглядывались удивлённо господа члены комиссии, преступники недоумённо и тупо смотрели один на другого. Долгоруковский Трифон не выдержал первый, с шумным вздохом рванулся с места, шагнул к столу. Казалось, вздох оторвал целую полосу времени.

– Дозвольте, ваше превосходительство, я вам теперь расскажу, отчего я женщину-то задавил, – выговорил он неожиданно твёрдо и громко.

– Ну, рассказывай.

– Армяк дозвольте только наперёд скинуть.

– Это ещё зачем?

– А вот затем, ваше превосходительство, что я вам рубцы эти показать должен.

И, не дожидаясь разрешения, широким и проворным жестом стянул с плеч армяк, засучил рукава рубахи.

– Вот, господа генералы, как мне в полиции руки верёвками крутили да силком учить заставили ту сказку. Э, да что говорить про верёвки! – Он и рукой и головой тряхнул так, как будто для него уж ничто больше не существует на свете. – Нашему брату это дело привычное. А вот они мне вольную обещали да тысячу рублей награды, если на суде выдержу, – так за это и чужого греха взять на душу не побоишься. И пытку стерпел, и на допросах словом не обмолвился, да вот... эх, вижу, всё не под меня подстроили... а волюшка кабы...

Дубельт вдруг забеспокоился. Лицо стало сухим и деловитым. Он резко застучал карандашом по столу, требуя, чтобы Трифон молчал, потом, приказав увести обоих арестантов, с короткой усмешкой бросил сидевшему рядом с ним жандармскому капитану:

– О таковой преданности господину своему нелишне будет поставить в известность князя Долгорукого.

И, поймав неукоснительно понимающий взгляд капитана, заговорил, обращаясь к членам комиссии:

– Ясно, господа, не правда ли? Санкт-петербургская столичная полиция, не сумев задержать виновного, справляется по караульной книге на заставе: кто проехал? князь Долгорукий. Отлично. Значит, экипажем сего князя и задавлена бедная женщина. А раз так, то нечего и исследовать. Счастье, господа, счастье без преувеличения для общества и всех верноподданных, что волею нашего правдолюбивого монарха учреждено ныне Третье отделение собственной его величества канцелярии. Таковое небрежение к своим прямым обязанностям и откровенное попустительство лености подчинённых могло, как вы видели, отразиться на безупречном имени достойного и приближённого к государю человека. Этого в просвещённом государстве быть не должно и, я вас заверяю, не будет.

IX

В Гостином дворе печатавали книжные лавки.

Мелкий, как пыль, октябрьский дождь матовым блеском оседал на жандармских касках. Сальный огарок задувало ветром, и мокрый сургуч ни за что не хотел разгораться. Жандарм неуклюже возился возле двери, стараясь приклеить печать. На подводе, ничем не накрытые и сваленные в беспорядке, мокли пачки книг. С почтительного расстояния наблюдавшая за всем этим небольшая кучка гостинодворских молодцов и просто случайных прохожих обсуждала и то и другое:

– Ишь дело какое, – купцу, чай, убытки от этого большие.

– А поделом: не торгуй чем не надо.

Жандарм, возившийся у дверей, наконец приложил печать. Его начальник внимательно осмотрел её и, кутаясь в шинель, взгромоздился на дрожки. Загромычала по камням подвода.

– Ну, слава тебе, Господи: управились. С Богом, везти вам – не растрясти, – напутствовали из толпы.

– А вот, братцы, что говорят, – неизвестно к кому обращаясь, сказал какой-то парнишка, когда подвода и жандармы на дрожках отъехали на приличное расстояние. – Будто теперь переодетые жандармы в самом разном народе вертятся и всё, что подслушивают, куда надо доносят. Может так быть, по-вашему?

Расходиться явно никому не хотелось. Пять или шесть человек потеснее сбились в кружок возле парнишки. Высокий, худой старик в чуйке и картузе

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org авторитетно отрезал:

– Брехня.

Ему сейчас же наставительно возразили:

– Нет, отец, вовсе это не брехня. Теперь у них вот как положено. Берётся какой-нибудь человек, ну, хотя бы ты, к примеру, и строго-настрою ему приказывают, чтоб об этом даже попу на исповеди слова не промолвил бы. А велят тебе тереться среди людей своего звания и разные разговоры подслушивать, а что подслушал – сейчас же доложи, и за это тебе деньги платят. А ты как был, так и останешься при своём месте и никому, кроме тебя да их, не известно, в какую службу ты у них определился.

В толпе поддержали:

– Так, так. Вот и то говорят, что теперь слово сказать опасно – заберут.

– Ну, это не всякое. Лишнего только не болтай, а так разговаривать можно.

– Да, можно. Вон наемни солдат какой-то из тех, кому теперь в отставку срок вышел, стал хвастать, как их в службе обидели, так что ж ты думаешь: сидит теперь под арестом, а в кабаке-то никого постороннего не было. Да ещё теперь, говорят, такое ему будет, что и выдумать страшно.

– А ты почём знаешь?

– Мне это, как его, крёстный мой сказывал. Он в сторожах в этом самом отделении, что у Цепного моста помещается, служит.

– Ну, тогда, может, и правда.

Это и на самом деле было правдой. Вечером того же дня в Михайловском манеже был обычный царский смотр бессрочно отпускаемых от гвардейских полков.

Царь прибыл только в восьмом часу.

Густой, как запекающаяся кровь, отблеск смоляных факелов переливался неверным светом и отступал перед мохнатыми тёмными сумерками.

Царь, как вошёл, порывистым широким шагом устремился вдоль фронта, поздоровался, уже пройдя половину, негромко, отрывисто и сердито. На минуту остановится выслушать ответ, ногой по песку отсчитал такт и только после этого продолжил обход. На левом фланге круто повернул обратно, отошёл от неподвижно застывших с устремлёнными на него глазами людей.

– Ребята, – раздался в мёртвой тишине его грудной и низкий голос, – ребята, солдат русского царя не может быть негодяем. Моя гвардия таких среди себя не потерпит. Так или нет, ребята?

– Точно так, ваше императорское величество, – гулко и слитно, по слогам, как будто кто-то дирижировал из-за спины царя, пронеслось под сводами.

– А вот нашёлся один, – продолжал Николай, всё повышая и повышая голос. – Он был среди вас, он и сейчас с вами...

Голос всё возрастал и твердел. Отдельные ноты, словно они стали металлом, не таяли, вибрировали и гудели где-то высоко под самыми сводами манежа.

– Ребята, я вам отдаю его на суд. Вы лучше меня присудите ему наказание.

Вдруг голос оборвался. Низким и гулким клокотаньем припал к земле.

– Кто вздумал болтать, что я незаконно держу по второму сроку? – выговорил Николай. – Кто?! Три шага вперёд! Марш!!!

Один миг царю казалось, что вся неподвижной стеной замеревшая масса дрогнет, сжимающее кольцо поползёт на него. Но нет, только один, высокий павловец с посеребрёнными бакенбардами, прямым, печатающим шагом, не дрогнув, вышел из фронта.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Ты?

Император приблизился к нему медленно, большими, надолго пристававшими к земле шагами. Свита почтительно и осторожно старалась отстать.

– Ты?

Рука поднялась ударить, но не выдержал взгляда, быстро отвёл глаза, ими успел поймать на груди серебряный равноконечный крестик, рванулся, сорвал его, бросил наземь.

– Говорил, что против закона? Говорил?

– Так точно, говорил, – раздельно и чётко прозвучал ответ.

Император вскинул голову, глазами обводя фронт, опять певуче и звонко прогремел:

– Вы судите. Что присудите, так и будет.

Николай выждал паузу. Потом опять, ещё повысив голос, спросил:

– Что делать с ним? Говорите. Вас спрашиваю.

Ответа ждать не стал, рванулся к одиноко стоявшему перед фронтом солдату, потрясая кулаком, прохрипел:

– Против закона?! Закона не узнал за тридцать лет?! Я выучу! В службу! Опять! Без срока, на выслугу!

Павловец стоял неподвижно.

– Не в гвардию! – кричал царь. – Паршивую овцу из стада вон! В гарнизон! В Сибирь! Правильно это, ребята?!

– Точно так, ваше императорское величество, – не сразу и глухо, как будто придавленное чем-то тяжёлым, раздалось под сводами.

Х

Малообременительная должность и снисходительное баловство дядюшки окончательно развратили Евгения Петровича. Но, сказываясь по три дня в неделю больным, а то и вовсе не появляясь на службе всю неделю, он тем не менее отнюдь не приписывал этого лени или распушенности.

До сих пор в той беспечной жизни, которую вёл благодаря дяде Евгений Петрович чуть ли не со школы, не доставало чего-то самого главного, самого важного.

Как от сна, во рту оставался густой и неприятный привкус в его воспоминаниях о пережитом. Он попробовал перебрать в памяти свои прошлые увлечения, – ему делалось противно и скучно. Все они – дворовые ли девушки, польские ли панны, не устоявшие перед молодым и красивым представителем победоносного русского оружия, провинциальные ли скучающие красавицы, от тех же самых качеств терявшие голову, цыганки из Новой Деревни и подарившая своей мимолётной благосклонностью одна светская дама – все они, одинаково хранимые памятью рассудка и не хранимые памятью сердца, представлялись теперь почти ненавистными.

Писал он в дневнике:

Можно ли верить женщинам, с такой лёгкостью, в результате ничтожных усилий, достающимся тебе? Я оказался бы в собственных глазах презренным, если бы одной из них открыл все тайники своих чувствований, позволил бы безудержно излиться кипящему во мне. Завтра так же легко, как ко мне, придёт она к другому, и то, что ревниво хранил от всего мира, станет предметом насмешки и унижения от нового любовника.

С мечтами о той, которой будет открыта самолюбивой подозрительностью сохранённая от её предшественниц страсть, засыпал Самсонов. Смутная тоска о неизведанном и возможном наслаждении приходила вместе с пробуждением. Ревнивую зависть и страдание будил один только вид счастливой супружеской

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org пары, и, каждый раз невольно или намеренно делаясь соучастником обмана любящего и счастливого мужа, он ощущал в себе горькую и злобную радость. Тоска о невозможной – он не верил, что таковая возможна, – тоска о невозможной, безраздельной любовной преданности отравляла мечты, портила характер.

– Евгений Петрович, а Евгений Петрович!

За дверь настойчиво и вместе с тем осторожно, уже не в первый раз, окликнули его по имени. Он не отозвался.

– Евгений Петрович, а Евгений Петрович, вы наказывали вас разбудить в восьмом, а сейчас девятый.

– Чего ж ты раньше думал?! – сразу раздражаясь, крикнул Самсонов.

– Да я, поди, более часу около вас стою, никак не добужусь только, – сказал Владимир, входя в спальню. – Шторки поднять прикажете?

За окнами висела плотная завеса густого тумана, на стёклах причудливым узором разметался мороз. Серые жидкие тени, которые поползли в комнату, сделали её уютной и холодной.

Поёживаясь, Евгений Петрович медлил скинуть с себя одеяло.

Владимир стоял у постели с халатом и носками в руках. Ухмыляясь и с напускным равнодушием проговорил:

– Михаила Ивановича-то нашего, дворецкого знаменитого, сегодня в Сибирь отправляют. Сбили наконец партию. Наши ребята смотреть бегали. Смешно-с, Евгений Петрович.

– Что смешно-то? – освобождая из-под одеяла ноги и протягивая их Владимиру, спросил Самсонов.

Владимир с проворством стал облекать барские ноги в носки.

– Полюбовница-то его, Михаила Иваныча то есть, – заговорил он уже другим, развязным тоном. – Чай, помните, тогда же всю у неё покраденное нашлось. И красивая же баба, скажу я вам, Евгений Петрович, смотреть прямо невозможно, а вот, подите, на каторгу за ним идёт. Какая приверженность!

Самсонов только криво усмехнулся, опуская ноги в подставленные туфли.

Что-то похожее на зависть к этому уличённому, ошельмованному, ссылаемому в Сибирь солдату кольнуло сердце.

– Сама? По своей охоте? – спросил он, и голос самому показался глухим и непохожим на всегдашний.

– Сама, сама, Евгений Петрович. Дарьей её зовут, а по отцу Антоновна. Видная баба, то ли из мещан, то ли солдатка, бельё она на чиновников стирала, а денежки у ней, говорят, водились. Ну, да в Сибири их живо порастрясёт. А нашему-то Михаилу Ивановичу хоть бы что: всё таким же волком на людей смотрит, хоть и полголовы обрил...

– Давай скорей умываться. Проспал по твоей милости, – нетерпеливо и сердито перебил его Самсонов.

Сегодня он обещал дяде получить из Главного штаба необходимую тому справку.

Через час исленьевские кровные рысаки с места подхватили и помчали его по Большой Морской. Меньше чем через три минуты, чуть слышно звякая цепляющимися за полсть [134] шпорами, он выскочил из саней и, бросив кучеру: «Жди», – вошёл в подъезд Главного штаба.

В Главном штабе после долгих блужданий по бесконечным, похожим на лабиринт коридорам, после десятка не по адресу и без пользы вопросов и обращений ему наконец удалось добиться, что лучше всего переговорить об его дате с делопроизводителем какого-то там отделения Владимиром Петровичем Бурнашёвым.

Евгений Петрович, расположившийся говорить с хамоватым чиновником, нелюбезным уже по одному тому, что ему выпадает случай пренеглизировать обращающегося к нему гвардейца, был крайне удивлён, увидав, с какой предупредительностью вскочил из-за стола навстречу ему румяный молодой человек.

– Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас, присядьте. Через пятнадцать минут будет вам справочка. Никак больше задержать не посмеет, – суетливо сыпал он словами и почему-то ужасно краснел при этом. – Вы племянничек-с почтеннейшего Николая Александровича? Как же, как же-с, очень наслышан. Я, извините, сам человек не светский, – у Самсонова пробежала по лицу едва заметная усмешка, – но к людям и событиям, в свете случающимся, питаю живейший интерес. Как же, помилуйте, средоточие ума и культуры. Там определяется русло её течения...

Он называл по имени и отчеству людей, с которыми Евгений Петрович никак не мог допустить, чтобы он был знаком, хотя бы и некоротко, и все они оказывались у него «почтеннейшими», «милейшими», «добрейшими», «уважаемыми». Как будто он хвастался перед Самсоновым ёмкостью своей памяти, сумевшей сохранить не только имена, но даже какие-то сведения об особенностях характера и привычках их носителей.

– Я, изволите ли видеть, слегка пописываю, – меж тем вкрадчиво докладывал о себе Бурнашёв[135]. – Что прикажете делать, непреодолимое влечение к изящной словесности. Но сам-то я, Боже сохрани, отнюдь не дерзаю, – так, журнальные заметочки, статейку какую-нибудь в крайнем случае, но только, не больше. Я даже своё маранье в «Северной пчеле» помещал, Там псевдоним у меня был весьма забавный: Пче-ло-вод. Тонко и верно. Стихи, стихи я главным образом обожаю. Вот-с, недавно ещё какой у нас поэт обнаружился! Огромнейшее дарование. Многие даже с Александром Сергеевичем сравнивать решаются. Но только, я думаю, это слишком. Талант безусловный, но всё же до Александра Сергеевича, конечно, далеко. В «Библиотеке для чтения» поэмки такой, «Гаджи Абрек»[136], читать не изволили? Некого корнета, по фамилии Лермонтов, называют её сочинителем. Большое будущее у человека, скажу я вам, если это так.

Лермонтов? Что-то неприятное почудилось Евгению Петровичу в самом звуке этого имени, но что – он так и не мог вспомнить.

– Скажите, – не очень любезно оборвал он Бурнашёва, – вам так хорошо известны все подробности, касающиеся любой приметной особы. Может, вам было бы проще дать желаемую мною справку на память, нежели искать её в архивах?

Против ожидания, Бурнашёв не оскорбился нисколько, наоборот, он только ужасно смутился и покраснел ещё больше.

– Сейчас, сейчас, одну минуточку, – засуетился он, привскакивая с места. – Вот, изволите ли видеть, уже несут. Ну, теперь всё в порядке. Я для вас даже специально на подпись к начальнику отделения сбегаю. Одну минуточку.

И, как-то по-смешному приседая, он торопливо выбежал из комнаты.

Через пять минут в руках у Евгения Петровича была желаемая справка. Он сухо поблагодарил словоохотливого чиновника и поспешил откланяться.

– Очень рад-с, очень рад, что мог быть полезен, – пожимая ему руку, повторял тот. – Весьма польщён знакомством. Весьма.

«Чего доброго, ещё приедет с визитом», – досадливо подумал Евгений Петрович и, высвободив из его пожатий руку, вышел из комнаты.

Из Главного штаба он приказал ехать к Полицейскому мосту, где в кондитерской у Вольфа обещался встретиться с Мезенцевым.

Не назначать свидания дома у Евгения Петровича были свои соображения. Прошло целых три года, как они не виделись с Мезенцевым. Он очень опасался, что за такой долгий срок пребывания в провинции его приятель потерял то понимание требований хорошего тона, которое позволило бы им остаться на короткой ноге. Да и вообще, к чему теперь ему был нужен какой-то армеец, чего доброго ещё не постесняющийся, по праву прежней дружбы, попользоваться

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org его гостеприимством? Вообще встреча с Мезенцевым представлялась маловероятной обязанностью.

У него шевельнулось досадливое и раздражённое чувство, когда тот с первых же слов поспешил сообщить, что уже есть положительное обещание об обратном переводе в гвардию, с такой же поспешностью стал перечислять всех, с кем он успел повидаться и кто по-прежнему остался к нему благожелательным.

«Как это мне интересно! – поморщившись, подумал Евгений Петрович. – Нет, он решительно похож на того говорливого чиновника».

– А вот ещё, – торопясь, очевидно, выложить решительно всё, говорил Мезенцев. – Я имею и на тебя виды. В одном близком мне доме готовится праздник – маскарад с оперным представлением и разные там штуки. Какое-то семейное торжество, кажется, серебряная свадьба, точно не знаю. Так вот, у младшей дочки хозяина заболел кавалер, а она должна была танцевать с ним в каком-то характерном танце. Я хочу ввести тебя с тем, чтобы заменить заболевшего. Ну, что ты думаешь? Уверяю, рассказываться не будешь: дом исключительно приятный, а дочка прелесть.

– А что это за дом? – рассеянно спросил Евгений Петрович.

– Львовы[137]. Отец – член Государственного совета, директор певческой капеллы. А сыновей ты, вероятно, знаешь, Один скрипач, ну, тот самый, начальник канцелярии Бенкендорфа; другой служит, кажется, в Павловском полку.

Евгению Петровичу не хуже, чем Бурнашёву, были известны связи всех петербургских фамилий. Семейство Львовых, помимо службы старшего сына, было связано с всесильным шефом корпуса жандармов и командующим императорской Главной квартирой ещё и давней дружественной приязнью. Самсонов улыбнулся и с той высокомерной снисходительностью, которую он ещё до встречи определил в себе по отношению к бывшему приятелю, сказал:

– Ну что ж! Пожалуй, представь. Я согласен.

## XI

Надежда Фёдоровна, младшая Львова, с которой он должен был выступить на празднике в каком-то характерном танце, уже вторую зиму выезжала в свет. Но тем не менее ни в лице её, ни в манерах не было даже отдалённого намёка на то, что так решительно и быстро спешит усвоить себе любая барышня её возраста. В том обильном и разнообразном арсенале, который природой и светским мнением предоставлен для лёгких бальных флиртов, для почти обязательного кокетства, как будто для неё не нашлось никакого оружия. Она и с кавалерами разговаривала, как с товарищами детских и невинных шалостей, и улыбалась она так, будто её совершенно не интересует – к лицу или не к лицу ей эта улыбка. Евгений Петрович заметил, что она очень осторожно сторонится людей с установившейся репутацией волокит и повес, без преувеличенного лицемерия или зависти отзывается об успехах подруг, и это-то, вероятно, и вызвало в нём нечто похожее на почтительное восхищение.

«Да, да. Вот такая, именно такая может быть по-настоящему преданной, – думал он не раз, возвращаясь от Львовых. – Такой бы я не побоялся открыть и себя, если бы...»

До конца он не решался выговорить даже и себе.

Праздник открылся торжественной кантатой, специально написанной к этому дню Алексеем Львовым, тогда уже прославленным автором русского гимна. Кантату исполняли певчие придворной капеллы, их мастерское исполнение сразу придало холодок официальности празднику. Той беспечности и дружественной простоты, с которой проходили для Евгения Петровича часы репетиций, не осталось и следа. Уже костюмированный, стоял он у дверей боковой комнаты, ожидая своего выхода. Зал, превращённый на этот раз в концертный, сверкал сотнями свечей. В рядах блестели почтенные лысины, играли бриллианты и горели золотом мундиры. В первом ряду между Бенкендорфом и хозяином сидел Михаил Павлович. У великого князя был рассеянный, скучающий вид. Играя лорнеткой, он чуть склонил набок голову, снисходительно слушал, что говорил ему на ухо хозяин. Едва прогремела последняя нота кантаты, он поднялся с места. Тотчас же встал и весь зал. Старик Львов, изогнувшись, засеменял вслед за ним. В

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
дверях великий князь сделал общий поклон и вышел из зала.

– Сейчас наш выход, – шепнула Надежда Фёдоровна.

– Хорошо-с.

Самсонов смотрел не отрываясь на то место, где только что сидел великий князь.

– Пожалуйте. Ваш выход, молодые друзья, – шепнул, слегка подталкивая их к двери, Алексей Львов, распорядившийся концертом.

В школе, в юнкерском мундирчике, выступая перед высокими посетителями, переживал Евгений Петрович нечто подобное.

Зал с эстрады показался изменённым и незнакомым. Десятки устремлённых на него взглядов мешали найти и увидеть тот, который он так старательно ловил. Как на экзамене, казалось, только в нём одном можно было прочесть свою судьбу.

У Бенкендорфа шея не держала больше головы. Серо-пепельная от седины грива, казалось, росла прямо из золотого шитья эпалет. Рядом лысый череп старика Львова отражал игру свечей. Сложные и медлительные па какого-то необыкновенного восточного танца, выдуманного для этого вечера домашним балетмейстером, всё же позволили Самсонову заметить кое-что из происходившего в зале.

Переноса через своё плечо руку Надежды Фёдоровны, он незаметно и мгновенно прикоснулся губами к кончикам её пальцев. Её глаза были почти рядом, голубые, по-детски удивлённые, сейчас они – или это только показалось – подёрнулись тёмной пеленой.

После, часто вспоминая это мгновение, Евгений Петрович был почти убеждён, что его судьба только потому и решилась тогда, что ответом на этот поцелуй было безмолвное короткое пожатье.

Разгромленной и сменившей на обычный балльный наряд свой маскарадный костюм Надежды Фёдоровны он не узнал. Она показалась совсем другой, сразу похоронившей и выросшей.

– Вы все танцуете со мной, – шепнул он торопливо не сказанное перед концертом приглашение.

Ответом была нежная и благодарная улыбка. В вальсе, проходя по внешнему кругу зала, Евгений Петрович почувствовал, что на него смотрят пристально и насмешливо.

– Кто этот маленький гусар в углу за нами? – настораживаясь, спросил он у своей дамы.

Надежда Фёдоровна засмеялась.

– Ах, я не знаю, зачем только его принимают у нас. Этот кривоногий уродец, вероятно, потому и мнящий себя лордом Байроном, всем говорит ужасные дерзости. Кажется, он пишет стихи. Наверное, жалкий вздор.

Маленький гусар не танцевал весь вечер. Проводил он Самсонова всё тем же насмешливым и ленивым взглядом. Потом, подавляя зевок и только придерживая рукой не прицепленный на крючок, как это делали все светские кавалеристы, свой громохочущий палаш, он неровным, припадающим шагом, по-английски, ни с кем не прощаясь, прошёл к выходу.

Лакей в передней накинул ему на плечи серую с капюшоном шинель, и он сразу стал ещё более сутулым и неуклюжим. Белый султан затрепетал в дверях от струи морозного воздуха. Непридерживаемые полы шинели хлюпали на шаг.

– Сани корнета Лермонтова! – гаркнул жандарм у подъезда.

С противоположной стороны, от массы стоявших там экипажей, отделились и поплыли на свет две серые конские головы. Полозья с раската ударились о каменный тротуар.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

– Домой прикажете, Михаил Юрьевич? – откидывая полсть, спросил кучер.

– Нет... А впрочем, пошёл домой, – махнул рукой Лермонтов и, запахивая шинель, стал садиться в сани.

На Мойке, в доме Ланского, занимаемом «гвардии поручицей Елизаветой Алексеевной Арсеньевой»[138], в верхних окнах был свет.

Лермонтов осторожно, стараясь не шуметь, сбросил в передней шинель, отстегнул палаш, спросил вполголоса: «Легла ли бабушка?» – и, стараясь ступать возможно неслышно, поднялся по лестнице наверх.

За дверь, из-под которой узкой полоской проникал свет, слышалось монотонное бормотанье. Лермонтов толкнул дверь.

– Аким, ты почему дома?

Белокурый юноша в юнкерском мундире артиллерийской школы отбросил от себя книжку, вскочил с дивана.

– Мишель! – воскликнул он радостно. – Какой ты чудак, где же мне быть? Ведь сегодня суббота, а в понедельник у нас репетиция из химии.

– А!

Лермонтов, по-видимому, был занят своими мыслями. Не глядя на юношу, он подошёл к столу, тронул лежавшую книжку.

– Что это? Химия? Тебе не надоело? Хочешь, перед сном одну партию в шахматы?

Юнкер с поспешностью кивнул головой. Он сдвинул на столе в одну кучу карандаши, перья, бумагу, стал расставлять на доске фигуры.

– А ты где пропадал до сих пор? – спросил он с лёгким упрёком. – Бабушка долго не хотела ложиться, всё ждала тебя.

По лицу Лермонтова пробежала печальная и жалкая улыбка.

– Бабушка очень огорчалась? – выговорил он глухо, словно с трудом. – Это очень нехорошо, Аким, с моей стороны доставлять ей огорченья. Ну что же поделаешь, видно, такой уж я потерянный человек.

И тяжело вздохнул.

– Ну, давай. Твои чёрные?

Он отстегнул и сбросил с плеча ментик, опускаясь на диван, расстегнул шнуры доломана.

Дверь осторожно приоткрылась. Рослый лакей в денщичьей форме лейб-гусарского полка появился на пороге.

Лермонтов посмотрел на него строго.

– Вас нешто укараулишь, Михаил Юрьевич, – ухмыльнулся лакей, видимо, ни капли не смущаясь строгого взгляда своего барина. – Вы вон как кошка по дому ходите.

Лермонтов погрозил ему пальцем.

– А это что у тебя? письмо? Чего ж держишь? Он почти выхватил из рук лакея письмо, поспешно разорвал конверт.

– Ну, ну, Аким, можешь думать сколько тебе угодно, – бросил юнкеру, принимаясь за чтение.

– Шах вашему королю, – торжествуя, воскликнул Аким и вдруг осёкся.

Лицо его партнёра вдруг страшно переменялось. С татарских выдающихся скул

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
слетел весь румянец, побелевшие губы непрестанно подёргивались.

– Миша! Что с тобой, милый?!

– На вот, прочти, – задыхаясь, выкрикнул Лермонтов и бросил на стол письмо.

Затем он с шумом отодвинул, вскакивая с дивана, стол и выбежал из комнаты.

На доске зашатались и попадали фигуры. Белый король, откатившись, секунду держался, словно в нерешительности, на краю стола и с одиноким пустым звуком упал на пол.

Аким не успел дочитать и до половины, когда в комнату с встревоженным видом вбежал бледный молодой человек в синем чиновничьем фраке.

– Что тут случилось? – воскликнул он взволнованно. – Мишель приехал?

Юнкер вместо ответа с грустным выражением протянул ему письмо.

– И знаешь что, Святослав, – сказал он, волнуясь, – я и сам потрясён не меньше Мишеля. Это одна его знакомая пишет, что Варенька Лопухина выходит замуж[139]. Едва он прочёл это письмо, как вскочил из-за стола с таким видом, как будто ему сообщали о смерти самого близкого человека. А ты помнишь, мы ещё недавно поссорились из-за неё с ним. Я думал, юнкерская фанфаронада заставляет его презирать, называть ребячеством всё чистое и хорошее. Нет, нет, теперь-то я вижу, что всё это только напускное. Чувство его к Вареньке неизменно, оно велико и серьёзно.

Святослав молча покачал головой.

В доме старухи Арсеньевой Мишель был кумиром не только одной бабушки. Его решительно боготворили и все живущие там. Но между детским восторгом и обожаньем младшего его кузена, Акима Шан-Гирея[140], и безграничной, какой-то фанатической преданностью Святослава Афанасьевича Раевского[141] лежала непроходимая пропасть.

Внешне Раевский как бы стыдился этого своего преклонения. Втайне он почти с болью не раз спрашивал себя, может ли он хоть в чём-нибудь отказать, чего-либо не сделать ради Мишеля?

Откуда-то из самых глубин его сердца поднималось, как вздох: «Нет, не могу».

Это был не по годам серьёзный и молчаливый молодой человек. Он был беден, вместе с матерью, дальней родственницей Арсеньевой, проживал в её доме чуть ли не из милости. Юношеское самолюбие жестоко страдало, подвергаясь постоянным испытаниям. К богатым и беззаботным привилась прочная, ничем не вытравляемая ненависть, а вместе с тем в Мишеле его восхищала даже его гусарская бравада, даже любая скабрёзная шутка. Любой жест, любой поступок Мишеля имел для Раевского какую-то особую значительность. Он легко забывал любую обиду, в любую минуту готов был прийти на помощь и с дружбой к этому беспрестанному обидчику.

И сейчас, ничего не ответив Шан-Гирею, только сокрушённо покачав головой, он пошёл к Мишелю. Ему казалось, что тот должен сейчас очень страдать, ему нужен друг и утешитель. Умилительное чувство жалости и сочувствия переполняло сердце.

За дверьми раздавались мерные настойчивые шаги, мягко по ковру звенели шпоры.

Раевский открыл дверь.

– А, Святослав! – останавливаясь посреди комнаты, воскликнул Лермонтов. – Входи, входи.

Он смотрел на Раевского весёлыми, смеющимися глазами. Потом, словно вспомнив что-то, с отчаянным смехом бросился на оттоманку.

– Слушай! – катаясь по ней и задыхаясь от хохота, кричал Лермонтов. – Я сейчас представил себе, как ты будешь выглядеть, если влюбишься. Это будет

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org нестерпимо глупо, уверяю тебя. Я сегодня был на одном вечере... Нет, это я должен тебе рассказать. Представь себе пехотного адъютанта, который не может оторваться взглядом от своего аксельбанта. Ну вот, у этого адъютанта морда такая, будто он подходит к причастию. Погоди, погоди, Святослав... Он танцевал, у его дамы такой вид, будто с ней сейчас произойдёт какой-нибудь флотский казус. Это значит, – ты знаешь, что это значит? Это значит, что они только что объяснились. Вероятно, это очень тяжёлое состояние – пробыть весь вечер с такой мордой. Впрочем, я убеждён, что адъютант прямо с бала поедет на Васильевский или к Московской заставе, если только у него дома не пристроено для этой цели какого-нибудь громоотвода. А его предмет – нет, это замечательно! – я могу тебе рассказать, что будет с ней. Это очень добропорядочный дом, живут по старинке, следовательно, горничная у девицы должна быть рябой и толстой, платье на ней домашнее, с четырёхугольной тальей, внизу уже, чем сверху, ноги хлопают в грубых башмаках без ленточек. Вот такая-то горничная, с сонными глазами и зевая, придёт раздевать свою барышню. Когда она будет снимать с неё туфли, та наконец не выдержит – нужно же кому-нибудь излиться в чувствах! – и начнёт воспевать пехотного адъютанта. Горничная, конечно, икнёт, скажет при этом «простите, барышня», барышня на неё разгневается, у ней пропадёт её мечтательное настроение, но сны, уверяю тебя, Святослав, она будет видеть в эту ночь такие приятные сны, каких до сих пор ещё не видала. Никогда не влюбляйся, Святослав.

– Чем ты так раздражён? – тихо спросил Раевский.

– Я? Ты смеёшься: я весел как никогда. А впрочем... – лицо Лермонтова сразу перестало смеяться, сделалось грустным и беспокойным. – Я сейчас пытался сесть за своего «Оршу», и вот ничего решительно ничего не выходит. Нет, нужно заболеть хоть на месяц, иначе от этих порханий я совсем разучусь писать.

– Да, правда, ты за этой светской жизнью совсем бросил стихи, – живо подхватил Раевский.

– Ну, ты уж обрадовался! Не стихи, Святослав, важны, даже и не стихи. Важно чувство. А впрочем, чёрт знает что важно! Я и сам не могу понять этого.

## XII

Имелось постановление, вынесенное кабинетом министров ещё при Александре, что «партии уголовные в Сибирь надлежит направлять с таким расчётом, чтобы большая часть пути протекала во время летнее».

Но «у казённого гвоздя и шляпка – денежка, сумей только выколотить».

В зимние короткие дни переходы должны быть по крайней мере в половину короче летних.

Как ни скуден арестантский рацион, но и с него, как с гвоздя шляпка, быть неминуемо доходу. Арестантские партии всегда норовили составить к отправке зимой либо осенью.

Мутное, в тумане и морозной пыли, утро никак не могло разодрать глаз. Словно сквозь слипшиеся от тяжкого сна веки смотрело оно на белую унылую землю.

За заставой Московский тракт оглашался глухим непрерывным звоном. Под сотней давивших его ног скрипел снег. Скрип с каждого шага подхватывало бряцанье кандалов.

Закованными шли только приговорённые к каторжным работам и арестантским ротам. Таких в партии было человек тридцать. Впереди них в ямских санях шагом ехал конвойный офицер, за ним, окружённые цепью солдат, гремели бряцающим шагом кандалы; дальше конвой редел, шли ссыльные, тянулись обывательские пошевни<sup>[142]</sup> со скарбом, детьми, слабосильными и «вольноследующими». За ними расплывчатый серым силуэтом, как разминувшийся прохожий, отходил и отставал город.

За заставой в шесть троек укатанный тракт по раннему часу был ещё пустынен. Изредка, заглушаемое звоном кандалов, летело: «Пади!»



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
В последних в обозе пошевнях, среди груды арестантского скарба, сидели три женщины. У двух на руках были дети, третья, занимавшая самое удобное место, держала на коленях только связанный в ковровый платок узел. Первые две, старообрядки, целой семьёй отправляемые в ссылку, поглядывали на неё порой не то с робостью, не то с завистью. Только седой как лунь старик, сидевший рядом с возницей, смотрел на неё неодобрительно и сурово.

Конвойный унтер-офицер, притулившийся с краю саней потянуть трубочку, говорил, ни к кому не обращаясь:

– Наше дело служивое. Был, служил. В отставку стал выходить, языком что-то не так наработал.

Он помолчал, улыбаясь благодушно и незлобиво. Потом заговорил опять всё с той же улыбкой:

– Тридцать два года в службе из меня шкуру барабанную делали, а тут напослед отодрали по-гвардейскому, по-настоящему, да в гарнизон. Спасибо хоть лычки оставили. Промеж мужиков и бурмистр барин. Вот так-то.

Он в горсти высек огня, стал раскуривать трубку, а раскурив, продолжал, не меняя тона:

– Жаловаться ещё пока что нечего: хуже бывало, только вот в чём обида и несправедливость страшная...

Лицо у него вдруг нахмурилось. Обращаясь к сидевшему в санях старику, заговорил по-другому, обиженно и резко:

– Вот, вот, это самое. Крест, за кровь собственную данный крест Егорьевский с грудой сорвал и ногой затоптал. Лычек не лишил – иди, мол, на выслугу – это тоже неправильно: разжаловать полагается, если на выслугу. А вот крест, крест как, если даже и не разжаловали? Этого и царь не может.

Старик посмотрел на него сурово, скороговоркой, как про себя, заговорил:

– Пустое, пустое. Он дал, он и взял. Всё в его власти, и крест этот твой без значения, нестоящий. Тут вот какая печаль; кабы он сам то был настоящий...

Мгновенно взметнулся на него унтерский взор по-начальнически.

– Старик, лишнего не болтай, а то знаешь: дружба дружбой, а табачок врозь.

Старик снова смолк, отвернулся и, бормоча себе под нос, только сплюнул.

Унтер замолчал тоже, попыхивая трубкой. Потом опять с весёлой улыбкой обратился к закутанной в шаль женщине:

– Нам что: рубашку сменишь – постирать подумашь, а жизнь и того проще. Лучше только на том свете станется. А вот вы – величать как, не знаю, – как на такое дело решились, этого и в толк не возьму.

Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась.

– Звать Дарьей, а по батюшке Антоновна, – проговорила она, растягивая слова.

– Вы-то как, Дарья Антоновна, от хорошей жизни на этакую подлость идёте? Аль не гвардейской солдаткой были, что с арестантом пошли?

Женщина посмотрела на него насмешливо. Помолчав, сказала. Слова у неё выходили мягкими, тягучими, как будто она резала тесто.

– Говорите, тридцать два года в службе пробыли, а ума, как посмотрю, не нажили. В людях разобраться не умеете.

Чуть ускоряя речь, она обернулась к сидевшим рядом старообрядкам:

– Вы, бабочки, может, и впрямь что подумаете, – при этом она улыбнулась, под красными влажными губами блестели белые, как снег, и ровные зубы. – Ни

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Боже мой, этого со мной не бывало. Я с барином с одним долго жила, а от Михаила Ивановича моего такую привязанность имею, что за ним не то что на каторгу, в самый ад пойду. Очень это редко случается, чтобы человек такое правильное понятие о жизни имел, как Михаил Иванович. За это и любовь промеж нас такая вышла.

В это время впереди раздалась команда. Забил барабан. Унтер проворно соскочил с саней, оправляя на ходу шинель, побежал вперёд. Старик, приподнявшись с места и шаря подслеповатыми глазами, прошамкал:

– Ай уже привал? Больно скоро-то.

Но барабан впереди трещал неумолчно, ряды арестантов расстроились, одни за другими останавливались сани. Вдалеке, в ранних зимних сумерках, чернели мутные очертания жилья.

Подводы по команде свернули влево, объезжая толпу арестантов, направились к деревне.

Худой, высокий, как жердь, офицер суетился перед фронтом, рассчитывая и разделяя партию на отдельные группы. На морозе хрипыми голосами перекликались, считаясь, арестанты.

Дарья Антоновна вышла из саней, дождалась, пока офицер окончил разбивку, и подошла к нему.

– Ваше благородие, – густые ресницы опустились, закрывая чёрные и блестящие глаза. – Ваше благородие, дозвольте к вам с просьбой.

У офицера беспокойно заметался взгляд, лицо словно помутнело.

– Ну, в чём дело? Вольноследующая? С арестантом переночевать дозволить?

Голос у офицера, глухой и хриплый, скрипнул над самым ухом. От винного дыхания замутило. Медленный румянец стал заливать лицо Дарьи Антоновны. Ещё ниже опустила ресницы.

– Так, значит, дозволите? – не поднимая глаз, тихо сказала она...

Батурина отвели ночлег вместе с конвойными, отдельно от прочих арестантов.

Около штофа вина, поставленного Дарьей Антоновной, хлопотал и разглагольствовал весёлый унтер.

– Ты что ж, друг? Али доля ещё не горька кажется?

Батурин отодвинул от себя стакан.

– Не буду, – сказал он твёрдо и снова потупился.

– Не будешь, нам больше останется. Пей, ребята, хозяйка придёт, другой поставит.

Но хозяйка не приходила долго. Уже и штоф давно был выпит, растянувшись под лавкой, храпели конвойные. Дремал, сидя за столом, говорливый унтер.

Под окном заскрипели на снегу шаги. В замёрзшее стекло часто и дробно застучали. Унтер встрепенулся, протирая кулаками глаза, и, потягиваясь, пошёл открывать.

Накинутый на голову полушалок закрывал почти всё лицо Дарьи Антоновны, только глаза, чёрные и большие, блестящие беспокойно и горячо. На щеках горел яркий – не от мороза – румянец.

– Не спишь, Михаил Иванович? – спросила она, задыхаясь и скоро. – Мне сказать тебе кое-что надо. Чай, дяденька не запретит.

В углу глухо звякнули кандалы. Батурин медленно поднялся с лавки.

– Господин взводный, – выкрикнул он, вытягиваясь по форме перед унтером, – разрешите ночевать с товарищами! Как по закону полагается.

И, подступая вплотную, почти прохрипел:

– Отведи, тебе говорю, отведи. Не то беда будет.

Подвыпивший унтер попятился в испуге. Дарья Антоновна бросилась к Батурину.

– Михаил Иванович, аль рехнулся?! Тут хлопочешь, стараешься, легко, думаешь, устроить! – прерывисто зашептала она.

У Батурина потемнело лицо, глаза налились кровью. Тяжело звякнули коротким обрывающимся звуком кандалы. Дарья Антоновна проворно отскочила.

Из угла, с улыбкой презрительной и насмешливой, покачивая головой, проговорила:

– Жить правильную загадал? Со мной, говоришь, и в Сибири не пропадёшь? А характер–то куда денешь? С таким–то характером жизнь правильную как раз сделаешь! Эх, Михаил Иванович, заела тебя гордость, от ей и погибнешь.

Ещё через два перехода, когда партия пристала на ночлег в большом проезжем селе, Дарью Антоновну видели пьющей чай на станции с каким-то усатым офицером.

Наутро, перед самым выходом, замызганный лакей пришёл и взял из саней её укладку и узлы. Дальше она уже не следовала за партией.

### XIII

Месяцы проходили, как однообразные вёрсты сливающегося с белыми полями тракта. Снег жёстко хрустел под ногами, и кандалный звон, как притомившаяся птица, казалось, только на пол-аршина взлетал над дорогой, тотчас же падал и глох.

В апреле дороги стали совсем чёрными, только, словно просыпанная, проступала на них желтизна непросохшей глины и щебня. В мае партия подходила к Омску.

Чем ближе подходили к рудникам, конечному пункту странствования, тем чаще и чаще снова стали порхать в воздухе ленивые белые мухи, на дороге по смёрзшимся колеям нарастала пушистая снеговая плесень.

Звяканье засовов, переключка часовых и конвойных, – партия по команде остановилась и ждала; потом опять команда, опять ноющее кандалное пенье; запахнулись ворота, и этап в триста тридцать один день был окончен.

Батурин попал на работу на четвёртые сутки. В паре с ним работал сухощавый кавказец с таким тонким и гибким телом, будто у него там были не кости, а ивовые прутья. Кавказец плохо говорил по-русски. Два года назад его в первый раз взяли в плен. Он бежал. Через три месяца, с ногой, перебитой пулей, попался снова. Тогда его сослали в каторгу. Кавказца звали как-то длинно и трудно, каторжники оставили ему в кличку только самое начало его имени: Багир. Лицо у Багира было жёлтое, словно в кожу втёрли жидкую охру. Щёки впали, и когда он кашлял – а кашлял он постоянно, – они надувались и втягивались, втягивались и надувались, как зоб у лягушки. По вечерам, когда каторжников пригоняли с работ в казарму, он молча ложился рядом с Батуриным. Часами лежал с раскрытыми глазами, неподвижный, как мёртвый.

– Багир, спишь? – окликал его осторожно Батурин.

Ответ всегда был один и тот же, глухим бурлящим шёпотом:

– Нэт, нэт, Михал. Мне спать не нада. Я так видэл, что думал.

Морозы крепчали. Шурфовые ямы приходилось теперь выжигать кострами. Колючий ледяной ветер дул словно с двух сторон сразу. Каторжники работали хотя и в старых и дырявых, но в полушубках и валенках. Конвойные солдаты мёрзли в холодных сапогах и лёгких шинелях. О добрых отношениях, существовавших во время этапа между стражей и арестантами, не было и помину.

Как-то раз, когда команда, возвратившаяся с работы, гудела в сумерках перед

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org сном разговорами, разнёсся неизвестно как попавший сюда слух: старший унтер-офицер гарнизонной команды, проделавший вместе с партией весь переход от Петербурга до Нерчинска, Илья Потапов, вдруг ни с того ни с сего, проходя в свой отпускной день по городу, перебежал с мостков через улицу и на глазах у прохожих заколол какую-то женщину. Женщина эта, говорили, была местной мещанкой, торговкой, имела деньги, но грабежа тут никакого не было, да и какой мог быть грабёж на глазах, по крайней мере, десятка прохожих. Самое странное было то, что Потапов сам на допросе показал под присягой, что этой женщины он никогда не знал и не видел, а на все вопросы, почему и зачем он убил, неизменно твердил одно и то же:

– Так что помутнение вышло. И женщины знать не знаю, и зла на неё никакого не имел.

Так ничего от него и не добились. Присуждён он был к плетям и каторжным работам бессрочно.

Казарма оживилась, заволновалась:

– С чего бы это он?

Но волнению и разговорам суждено было скоро оборваться. В ту же ночь умер Багир. Умирал он жалостно, и эта смерть заслонила собой и непонятное убийство, и каторжные мутные будни, и свою, страшную у каждого по-особому, долю.

В закопчённый, с обледенелыми стенами сарай вошла унылая, щемящая жалость. Словно призвал её на миг, умирая, Багир, – не отходила она от сердца.

Занеможилось ему ещё днём, на работе. Вывозя на отвалы вместе с Батуриным мёрзлые комья земли, Багир споткнулся, упал, залился судорожно лающим кашлем. Кровь, как лохмотья трухлявого мокрого шёлка, летела с его губ на снег, на мёрзлую корявую глину.

– Багирка, чего ты? Надорвался? Присядь, посидишь – оно отойдёт.

Михаил Иванович поднял его с земли, посадил на гружёную тачку, снегом стал растирать ему лоб. Кашель не проходил.

К ночи Багир заговорил. Все думали, что он бредит. В перерывах между кашлем, задыхаясь и с трудом ворочая языком, он говорил о каких-то никому не понятных вещах, мешал слова своего языка с русскими. Поняли только одно: просил Багир каких-то ягод, рассказывал, какие они красивые и большие, и одни из них словно налиты мутным и сладким вином, другие – тёмным, как кровью, и к ним, как к реке, пристал вечерний туман. Он упрашивал дать их ему, просил руками, глазами, просил так жалобно, что у многих навёртывались слёзы.

Глиняный черепок с налитым в него салом чадил, освещая только небольшой круг возле себя. Люди стояли с сумрачными, скорбными лицами. Вдруг Батурин, покривившись так, словно он собирался заплакать, проговорил взволнованным шёпотом:

– Виноград. Это он про виноград рассказывает. Фрукт такой есть, господа кушают. Его оттуда, с Кавказу, и привозят. Вон по чему затосковал. Захотелось, значит, родину чем вспомнить.

И вздохнул тяжело.

В толпе ответили тоже вздохом. Кто-то отвернулся и тихо отошёл в сторону. В тишине стонал и метался Багир, бредя о зажжённых солнцем виноградниках, о небе, золотистом, как парча, и голубом, как атлас. Ночью он умер.

А через неделю его место на нарах рядом с Батуриным занял новый жилец, бывший старший унтер-офицер гарнизонной команды Илья Потапов.

XIV

Харьковского белого уланского полка отставной штаб-ротмистр Нигорин, Никодим Васильевич, появился в столице зимой прошлого, 1835 года.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Вся подвижность у него, как приехал, заключалась в старом черешневом чубуке, поношенной изрядно венгерке да крепостном человеке Фивке, то есть феофилакте. Почему при таком состоянии он решил доживать свои остатние годы в Петербурге, было решительно непонятно. Однако это было сделано, по-видимому, не без основания.

Не прошло и полугодя, как его имя стало известным всему Петербургу. К Нигорину, не считаясь часом, ночью после бала или маскарада, на рассвете после островов могла ввалиться шумная банда молодых повес, и гостеприимный хозяин неизменно, в каком бы виде и состоянии его ни застали, гремел испитым басом:

– Милости прошу! Для веселья и вина готов остаться и без сна.

Дом Никодима Васильевича был открыт для всех. Представлен ли ты или не представлен хозяину, зван или не зван, – но в любой час дня и ночи там можно было найти и весёлую компанию, и карты, и вино, и много ещё такого, за чем не ленились приезжать сюда даже с островов.

Евгений Петрович Самсонов обо всём этом только слышал. Незабываемый отныне для него праздник в доме Львовых повлёк за собой шесть долгих, полных обременительной суеты, месяцев жениховства.

Так было до декабря. В декабре неожиданно свалился от простуды старик Львов. Болезнь оказалась серьёзной. Врачи предупредили домашних о возможности печального исхода, и Надежда Фёдоровна не оставляла больного отца, пребывая в родительском доме целыми сутками. Жизнь Евгения Петровича оказалась нарушенной.

Декабрьский вечер тянулся невыносимо долго. В висячей лампе выгорело всё масло, и она начинала чадить. Евгений Петрович приказал подать свечу.

«А дальше-то что?» – уже не в первый раз с тоской спрашивал он самого себя.

Из зеркала ему отвечала кривая и раздражённая усмешка. Было как будто стыдно даже мысленно раздражаться на больного тестя.

Чуть ли не с первых дней своей женитьбы Евгений Петрович поймал себя на том, что он ловит каждое неудачное слово, каждый неловкий жест жены, старательно скапливает их в памяти. Право, данное церковью, законом, родителями, мнением других, позволяло, не терзаясь самолюбивой подозрительностью, мстить за каждое своё раздражение или неудовольствие. Потом это стало неотвратимо, как привычка. Евгений Петрович ещё ближе подошёл к зеркалу. Заколебавшееся пламя свечей, как свободно свисавшую ткань, тронуло тени. Из зеркала на него смотрело незнакомое, с лихорадочно блестящими глазами лицо.

«Тесть умирает, – он покривился, поправляя воротник мундира. – Будут упреки в невнимании, в нелюбви, если меня не найдут дома. Но ей дороже отец, значит, я имею шансы на выигрыш».

Он улыбнулся, открыл бумажник. Бегло отсчитал и выбросил на стол пачку ассигнаций, высыпал из кошелька пригоршню золотых, минуту подумал, собрал их обратно и, позванивая шпорами, быстро вышел из комнаты.

– Если пришлют от барыни, скажи – я уехал по службе, – бросил он в передней, стоя уже в шинели, поднял воротник и, пряча лицо по самые уши, вышел на улицу.

У Нигорина, когда там появился Евгений Петрович, игра только начиналась. В облаках табачного дыма, низко плававшего над столом, Самсонов с трудом различил два-три знакомых лица. В нерешительности он остановился на пороге. Хозяин в расстёгнутой венгерке, из-под которой виднелась далеко не свежая сорочка, вскочил из-за стола.

– Рекомендую, господа, новый, можно сказать, соратник. Долго крепился. Как-с? Бессонов? Виноват – Самсонов. Господа, рекомендую: Самсонов, Евгений Петрович.

Несколько человек, сидевших у стола, привстав, поклонились Евгению Петровичу.

Какой-то уже не молодой чиновник, напоминавший собою нечищенный медный подсвечник, держал банк. Понтирвало несколько человек, военных и штатских, но, видно, эта была игра ещё не настоящая. Три других приготовленных карточных стола пустовали. За круглым, с закусками и винами, сидели кавалеристы. Они пили одно шампанское, пили лениво, с таким видом, будто их заставляют. Хозяин поминутно отрывался от карточного стола, чтобы спросить их:

– Ну, как, господа, хватает?

Быстро хватал со стола бутылку и, приговаривая:

– Ну вот, и смолёную голову чикнули, – необычайно ловко откупоривал её.

Каждый раз, откупорив бутылку, он не забывал одним глотком опрокинуть в себя большой стакан, прежде чем вернуться к карточному столу.

Евгений Петрович от нечего делать стал прислушиваться к тому, что рассказывал белокурый гусар.

– ...любовь эта, должен вам сказать, совершенно исключительная, – картавя и с нерусским акцентом повествовал тот. – На этом портрете княгиня была изображена выходящей из ванной, а так как портрет висел над ванной настоящей и стены комнаты были фоном картины, то вы можете себе представить, как это выглядело.

– Добряк. Жену – дяде, а сам сыт и портретом.

– Подождите, подождите! – поднимая руку, воскликнул белокурый гусар. – Это только вступление. Смешное дальше.

– Ну, ну, рассказывай. Пока что занятного мало, – лениво отозвался сутулый и маленький гусар в расстёгнутом доломане.

Чёрные глаза его горели пронзительно и живо, и Евгению Петровичу показалось, что он уже не в первый раз испытывает неприятное чувство от этого взгляда.

– Ну, Маешка, на тебя не угодишь. Только то и интересно, что сам насочинишь, – замахали на него руками товарищи. – Дай Браницкому досказать.

– Я и даю, хотя и не Барятинский, – не меняя позы, лениво процедил Маешка.

– Когда князя не бывало в Деречине, осмотр дворца и главным образом картинной галереи разрешался всем желающим. Показывалась и ванная. Вот какой-то армейский капитан, сопровождавший партию рекрут в Варшаву и задержавшийся в Деречине, пошёл посмотреть дворец тоже. Провели его по залу, поглазель, поудивлялся; довели до ванной – тут и пропал бедный малый. Стоит и глаз оторвать не может. Проходит час, другой, публику уже начинают просить о выходе, а он как будто и не слышит. Наконец ему растолковали. Вздохнул, опустил голову, вышел, но только наутро является опять и ничего уж, кроме ванной, смотреть не хочет. Прямо туда, и опять целый день от княгини Пелагеи глаз отвести не может. На следующий день ему бы надо выступать со своей партией, так нет. Он отправляет с ней прапорщика, а сам остаётся в Деречине, и теперь капитан только что спит да обедает не во дворце. Так целые дни и просиживает перед портретом. Прошло дней десять или более, возвращается князь. Тут посещения палатца, разумеется, прекратились, но капитан тем не менее из Деречина не уезжает и своей партии догонять даже и не думает. Разумеется, князю доложили об этом чуде. Он послал за ним и объявил, что тот во всякое время может приходить и смотреть портрет. Капитан с радостью принял любезное приглашение и, надо думать, пользовался им чрезвычайно широко, потому что в конце концов его исключили из службы по причине безвестной отлучки. Но князь и тут не отступился от своего покровительства этому мономану. Узнав, что ему нечем жить, назначил пенсию в сто червонцев в год и приказал отвести квартиру в одном из флигелей при дворце. Посещать ванную комнату и проводить в ней время, сколько ему вздумается, разрешалось капитану невозбранно. Ну, как вы думаете, господа, чем всё это кончилось?

Браницкий вопросительным взглядом обвёл слушателей и под общий хохот

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org закончил:

– Через год этот чудак заболел, у него отсохла рука, и он помер.

Маленький гусар, которого называли Маешкой, едва лишь улыбнулся.

– Как это, Тизенгаузен, тебя Господь милует? Давно бы пора у тебя языку, что ли, отсохнуть, – проговорил он.

Новый взрыв хохота подхватил эти слова. Беленький, с девичьим румянцем на щеках кирасир, нисколько не смущаясь устремлённых к нему со всех сторон взглядов, програссировал:

– Ты, Легмонтов, мне ещё со школы всё мгачное прогочишь. Завидуешь, должно быть, стагина.

Играя глазами, как женщина, он осмотрел Лермонтова с головы до ног.

– Каков гусь! А? – в пьяном восторге закричал лейб-драгун, чертами лица слегка напоминавший Лермонтова.

– Скорее гусыня, да и та, что нестись перестала, – лениво поправил его Лермонтов и, поднявшись со стула, перешёл к карточному столу.

– А вы, поручик, играть не изволите? – небрежно бросил он в сторону Самсонова.

– В таком случае я не имел бы чести вас здесь встретить, – непонятно почему раздражаясь, ответил Евгений Петрович.

– Не слишком это лестно для хозяина. Однако пожалуйста, если решились.

Самсонов промолчал.

За вторым столом метать банк сел сам хозяин. Евгений Петрович, стараясь не замечать насмешливого и пристального взгляда Лермонтова, подошёл к столу. Рука у него слегка дрожала, когда он распечатывал колоду.

Лермонтов рядом с ним, небрежно развалившись на стуле, покрыл свою карту пачкой ассигнаций. Самсонов поставил сто. Хозяин, прищулив левый глаз, подсчитал и аккуратно записал мелом ставки.

– Бокал вина, поручик, – не глядя на Самсонова, сказал Лермонтов и, не поднимаясь с места, потянулся за бутылкой.

У Самсонова напряжённо дрогнул угол рта.

– Не могу принять, не имея возможности ответить тем же.

– Пожалуйста, отчего же? Дайте только золотой тому неказистому малому, он вмиг вам подаст.

Евгений Петрович промолчал и на этот раз. Он знаком подозвал к себе необычайно грязного и оборванного лакея, выбросил на стол два золотых и молча пальцем показал на бутылку.

Нигорин метал сосредоточенно и серьёзно, не слыша и не замечая происходящего около. Окончив прокидку, он поднимал брови и, тараща глаза, осматривал поле сражения. Семёрка Самсонова выиграла.

– Вам-с двести.

Нигорин рассчитанным жестом подвинул к нему деньги. Евгений Петрович рассеянно и не глядя взял их со стола.

– От вашей рассеянности, поручик, страдают ваши партнёры, – раздался над его ухом насмешливый голос.

Он вздрогнул. Задыхаясь и не справляясь с голосом, выкрикнул:

– Что вы хотите сказать?

Гусарский корнет смотрел теперь не только насмешливо, но и дерзко.

– Не больше того, что сказал. Извините, но вы загребли к себе и мои деньги.

Самсонов почувствовал, как у него на голове от ужаса и стыда поднимаются волосы. Кровь широкой волной бросилась в лицо. Он готов был ударить этого наглого корнета. Другие игроки смотрели на него с оскорбительной улыбкой. Он даже не мог себе представить, как это случилось. В руках он держал четыре сторублёвых бумажки.

Попробовал выдавить на лице улыбку:

– Надеюсь, вы не подумали, что это намеренно?

– О, конечно, нет.

Лермонтов уже не смотрел на Самсонова, видимо, потеряв к нему всякий интерес.

– Маешка, ты чего нынче бесишься? Тебе же не везёт.

Тот даже не посмотрел на угреватого и толстого улана.

– Тебе-то что?

– За тебя радуюсь.

– Чему?

– Должно быть, в другом месте повезло. Может, у молодого супруга уже рога растут.

И улан грубо захохотал.

Евгений Петрович вдруг почувствовал, что у него похолодели кончики пальцев. На секунду словно кто-то зажал в кулаке сердце, потом отпустил, и оно забилось трепетно и часто. Ему казалось, что на него смотрят все, все улыбаются насмешливо и торжествующе. Он нервным жестом вытряхнул из кошелька на карту все бывшие у него золотые, оросил зажатые в руке бумажки. Нигорин покосился многозначительно.

«Всё равно, я должен проиграть: меня любят», – подумал Самсонов в каком-то странном возбуждении.

Ему вдруг захотелось домой. После такого проигрыша можно будет встать, не роняя себя в глазах игравшей молодёжи.

Нигорин начал метать новую талию. Бубновый туз лёг направо. Тоскливое отчаяние, с каким он начал игру, сменилось у Евгения Петровича тревожным волнением. Деньги были его. Он удвоил ставку.

– Играет горячо, – услышал он за спиной чей-то каменный голос.

Через три часа перед ним лежала на столе груда выигранного золота и бумажек. Стараясь подавить непроходившее волнение, он пил и пил бокал за бокалом. В голове стучали звонкие молоточки. Комната разделилась на две части. В одной, уже окрашенной проползшим сквозь занавеси голубым рассветом, стояла немая тишина. В другой шумели гусары, водружая над медным окаренным на скрещённых палашах целую голову сахара. Густым и тяжким вздохом вступила гитара. У стола затагнули «Журавель»:

Разодеты как швейцары

Царскосельские гусары...

В углу несколько голосов подхватило:

Жура-жура журавель,

Журавушка молодой.

Окончивший игру хозяин, широко разводя руками, приглашал к столу.

Всё тот же нечёсанный лакей и ещё двое таких же малоопрятных парней



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
вкатывали в комнату накрытый стол. Гусары гасили свечи. Голубое пламя над  
окаренком отодвинулось в глубину.

Евгений Петрович, чувствуя, что ноги слушаются плохо, вместе со стулом  
придвинулся к столу.

– Моя подруга, Долли Антоновна. Рекомендую, кто незнаком, – опять широко  
разводя руками, провозгласил хозяин.

Высокая и полная женщина в платке и наряде, какие носят только зажиточные  
мещанки или купчихи победнее, непринуждённо вошла в комнату.

– Что это всё Долли да Долли, – надоело мне как, – лениво играя глазами,  
проговорила она. – Небось не при людях Дарьюшкой величаешь.

Она, как со старыми знакомыми, поздоровалась с гусарами. Те приветствовали  
её рукоплесканием.

Чиновник, похожий на нечищенный подсвечник, сел рядом с Евгением  
Петровичем. Не дожидаясь никого, он потянулся к водочному графину.

– Пьёте-с? – дико скосил он глаза и налил Евгению Петровичу рюмку.

Молоточки не переставая стучали в голове. Ушат со жёнкой теперь же  
водрузили на стол. Бледное колеблющееся пламя искажало лица. Дарья  
Антоновна, плотоядно улыбаясь, посмотрела на Самсонова.

– Что это я вас не знаю. В первый раз вы у нас, что ли?

От улыбки, трепетавшей на влажных и ярких губах, кружилась голова.

– Да, в первый. А что?

– Спросить хочу, кто вы. Я раньше всех Преображенских офицеров по фамилиям  
знала.

– Самсонов.

– Самсонов? – протянула она удивлённо. – Стало быть, племянничек Исленьеву  
Николаю Александровичу будете? Как же, как же, слыхала! Мне ещё мой Михаил  
Иванович рассказывал.

Она вздохнула.

– Какой Михаил Иванович? Батурин? Да вы что, его любовницей были?  
Позвольте, так тогда в Сибирь разве не вы пошли с ним?

Ощущение, которое испытывал Евгений Петрович, напомнило ему бабочку,  
зажатую в горсти. Всё его тело было как бы две огромные, сложившиеся одна с  
другой ладони. Внутри трепетно и бессильно билось что-то, стараясь  
освободиться.

Дарья Антоновна повела чёрными горячими глазами.

– Любовница ли, сестра ли родная – это наше с ним дело, никому разбирать не  
приходится. А вот что вернулась, так это дорога больно дальней показалась.

Вдруг как-то в один короткий миг Самсонову стало ясным, что Дарья Антоновна  
– красавица, красавица необыкновенная. От этого открытия противная слабость  
наполняла тело.

«Наденька тоже дальней дороги испугается», – робко шевельнулось в мозгу.

Через два прибора от него вертлявый верзила в красном кавалергардском  
мундире, жуя, убеждал кого-то:

– Нет, уж мне верить извольте. Я – Дантесу приятель. Этим летом, когда мы в  
Новой Деревне стояли, вся эта фарса и вышла. Уверенно говорю, что Наташа за  
ним бегала.

Звонкий срывающийся голос Лермонтова Самсонов узнал:

– Трубецкой, я требую, чтобы ты прекратил эту грязную болтовню. Она задевает человека, ногтя которого ты весь не стоишь.

– Как?

Все сразу вдруг повскакали с мест. Стучали отодвигаемые и опрокидываемые стулья. Кричавшего и требовавшего чего-то Трубецкого держали за руки несколько человек. Сквозь шум и крики до Евгения Петровича донеслись отчётливо, словно резали их одно за другим, слова:

– Трубецкой, тебе я неравный противник. У тебя не хватает самого главного: ума.

Спавший, уронив на стол голову, лейб-драгун проснулся, пьяными глазами повёл кругом и, роняя опять голову, пробурчал:

– Это Костька Булгаков опять булгачит. Чёрт с ними, обойдутся.

Вдруг его пьяный взгляд остановился на Самсонове. Он сделал отчаянное усилие, выпрямился совсем над столом, рывкнул:

– Выпей, преображенец, и всё пройдёт!

Бокал пылавшего голубым пламенем рома был той последней каплей, которая добила Евгения Петровича. Дальше он ничего уже не помнил.

Очнувшись, когда хмурое зимнее утро мохнатым сумраком заполнило комнату. Свесившаяся с дивана голова затекла, и в ней ещё бродил хмель. Самсонов, протирая глаза, осмотрелся кругом. В самом дальнем углу слышался осторожный шёпот. Дарья Антоновна сидела на креслах, склонившись. На полу, у её ног, в расстёгнутом доломане полулежал Лермонтов. Голова его была у неё на коленях, она с нежностью и тихо время от времени проводила по чёрным кудрям рукой и говорила:

– Вот как это ты давеча сказал? Одних за то не любишь, что дают, а других за то, что не дают. Эх, Юрьевич, гордость всё это проклятая, мужиковская гордость, самолюбствование. «Как бы меня не обидели». Да сам-то ты весь свет заберёшь, что ли? Ну за что любить-то тебя, ты сам подумай? Она и не любит. Эх, не будет тебе, милый, счастья, никогда не будет.

Евгений Петрович тихонько поднялся с дивана, пошатываясь, прошёл в прихожую, отыскал свою шинель.

На улице уже наступил настоящий день. Если не вся, то в какой-то своей части столица проснулась. Тянулись на биржу извозчики, чухонки с охты несли молоко, по морозу вбег бежали с огромными корзинами мальчишки-булочники.

У Нигорина в доме в боковой комнате горела одинокая свечка. Сам Никодим Васильевич в расстёгнутой рубашке старательно выводил на четвертушке писчей бумаги:

Его превосходительству генерал-майору  
ЛЕОНТИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДУБЕЛЬТУ  
От отставного штаб-ротмистра Нигорина

#### ДОНОШЕНИЕ

лейб-гусарского полка корнет Лермонтов, быв в доме моём..  
XV

В первую минуту после смерти отца, ещё не выплакав всего горя, Надежда Фёдоровна как-то совсем по-детски прижалась, спрятала лицо на груди мужа.

– Это большая милость божья, что папа скончался, когда у меня есть ты. Что было бы со мной без тебя?! – прошептала она сквозь слёзы такие волнующие и нежные слова, что ему и самому захотелось заплакать.

В церкви она почти всю службу простояла на коленях, только изредка, с пугливым удивлением, словно искала защиты и не верила, что эту защиту найдёт, поднимала глаза на мужа. Обедню пела придворная капелла в полном

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
составе, голоса, как будто разбили хрусталь, звеня, дрожали под сводами. К концу службы в церковь заехал государь, выказывая сочувствие, обнял и поцеловал в лоб старшего Львова, Алексея.

Евгению Петровичу это показалось и великодушным и трогательным.

Неделю спустя после похорон он имел разговор со старшим своим шурином.

– Я тоже, друг мой, думаю, что тебе не следует искать карьеры в строевой службе, – говорить Львов. – Даже большим усердием, не имея приличного состояния, ты ничего не добьёшься. На службу по корпусу жандармов привыкли смотреть как на что-то мало достойное благородного человека. А вот я девять лет числюсь в нём. И что же, скажи мне по совести, я оттого проигрываю хоть сколько-нибудь в глазах любого верного и честного подданного государя? Всякая служба на пользу отечеству достойна уважения. Теперь я могу сказать тебе, что мы не раз с покойным башкой говорили о тебе. Он даже просил графа Бенкендорфа иметь тебя в виду, если в нашем управлении откроется вакансия.

Через неделю состоялся приказ, которым «лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов» назначался личным адъютантом шефа отдельного корпуса жандармов и командующего императорской Главной квартирой.

Предупреждённый Львовым, Евгений Петрович готовился к напряжённой и отнимающей много времени работе, продолжительному сидению в канцелярии. В действительности новая служба оказалась не более обременительной, чем его штабное ничегонеделанье.

Ежедневно по утрам в дом Третьего отделения у Цепного моста съезжались наиболее приближённые к графу чины управления. В так называемом малом кабинете он обыкновенно имел с ними беседу перед отправлением на доклад к государю. Всё самое сокровенное, всё наиболее тщательно скрываемое от постороннего взгляда в жизни столицы открывалось на этих беседах.

Времени для себя оставалось даже с избытком. Как будто устроившаяся наконец, освобождённая от тягостных размышлений последних месяцев его холостячества жизнь текла полным и равномерным течением. Надежда Фёдоровна по случаю траура не выезжала никуда. Счастливая уверенность раз достигнутого и уже ничем не нарушимого покоя переполняла сердце волнующим и благодетельным содержанием.

Новый, 1837 год Евгений Петрович заранее решил встречать дома, вдвоём с женой. Каждая мелочь, каждый пустяк этого скромного вечера были обдуманы со всею возможной тщательностью. Не слишком суеверный человек вообще, в данном случае он всем сердцем желал и верил, что так, как он его встретит, так и пройдёт весь этот большой и загадочный год.

И вдруг тридцатого декабря, то есть за день до встречи, им принесли в конвертах с орлённой печатью именные приглашения на придворный бал-маскарад.

Золотообрезный кусочек картона выпал из рук. Казалось, упал не он, упало и оборвалось что-то в сердце. Самсонов не был настолько наивен, чтобы не знать, чем вызвано это приглашение. У Львовых ещё не кончился траур, об этом не могли не знать при дворе, но даже не затруднились подумать, так велико нетерпение. Один момент было желание к кому-то бежать, просить совета, помощи, защиты.

«А если не ехать?! Если сказать больным?! У жены траур, она может отклонить приглашение...»

Короткая зябкая дрожь пробежала по телу. Всё это было невозможно.

Во дворце на балу какое-то странное оцепенение сковало Евгения Петровича. К нему подходили маски, пытались интриговать. Он отвечал неловко и невпопад, от него отходили или разочарованно, или с обидными ироническими замечаниями. Надежда Фёдоровна, в полумаске, в домино, упорхнула, захваченная вихрем кружащихся пар, так, как будто она улетала совсем из его жизни.

Дежурный флигель-адъютант, князь Долгорукий, подошёл к нему с участливой улыбкой.

– Что с вами? Вы нездоровы?

И, не дождавшись ответа, заговорил с непритворным сочувствием:

– Что поделаешь: такова уж судьба вас всех, мужей хорошеньких женщин. Право, вы должны завидовать нам, холостякам. Я понимаю, как это невыносимо, преодолевая себя, торчать на бале до тех пор, пока ваш маленький деспот не вздумает наконец отпустить вас на отдых.

Очевидно, он заметил, какой неприязнью сверкнул взгляд Самсонова, потому что сейчас же, расплываясь в обворочительной улыбке, поспешил проговорить совершенно конфиденциальным тоном:

– Государь заметил ваш удручённый вид, но он решительно не хочет отпускать так рано Надежду Фёдоровну. Он даже сказал мне, что она и Булгакова – украшение сегодняшнего вечера. Послушайте, не мучьте себя, позвольте мне доставить вашу супругу с бала. Я это почту самой приятной обязанностью.

Даже и полуторанедельных бесед по утрам у Бенкендорфа было достаточно, чтобы понять, что это приказание.

Серый зыблущийся туман, сдвинувшись, скрыл блестящий зал. Ступая так твёрдо, словно он был пьян и боялся, что это заметят, спустился Евгений Петрович с лестницы. Улица с лёгким покалывающим морозом, с яркими, словно их подновили, звёздами, с кострами, вокруг которых грелись кучера и жандармы, не отстранила, не облегчила тяжести гнетущих мыслей.

Только издали видел он сегодня государя. Знакомая высокая фигура, при одном виде которой ещё с детских лет сердце замирало в привычном восторге, сейчас не уходила из глаз, как самое ненавистное и мучительное видение.

«Сегодня, через час, через два... Когда сегодня будет принадлежать ему Надя?..»

Он стиснул зубы так, что заломило в висках. От бессильной досады хотелось плакать. Самому себе он казался ничтожным, жалким, обиженным ребёнком.

– Соперник, – с горькой иронией вырвалось вслух у Евгения Петровича.

Глухой, словно изнемогающий звон адмиралтейских курантов упал в морозный воздух. И раньше чем растаял этот звон, глухим лопающимся звуком ахнула в крепости пушка.

Новый год наступил.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

В конце января нового, 1837 года Владимиру Петровичу Бурнашёву было поручено собрать сведения печатные и практические об огородном производстве для составления проекта записки о полковых огородах.

Примерный своим усердием и аккуратностью чиновник в тот же день отправился в помещавшуюся на Невском в доме лютеранской Петропавловской церкви «Библиотеку для чтения». Странное название – как будто может существовать библиотека и не для чтения, – но, говорят, покойный её основатель Смирдин[143] настаивал именно на нём, производя его, по-видимому, от французского cabinet de lecture[144]. Теперь ею заведовал угрюмый и малообщительный библиоман – Фёдор Фролович Цветаев. Он вообще избегал каких бы то ни было разговоров с посетителями, и поэтому Бурнашёв немало был удивлён, когда Цветаев встретил его таким неожиданным вопросом:

– А что, Владимир Петрович, давно ли вы виделись с Николаем Ивановичем Гречем?

Правда, для Бурнашёва Цветаев и делал некоторое исключение, заговаривая иногда о той или иной новой книге, но бесед на темы небиблиографического свойства не допускал и с ним.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Да уже давненько, – всё ещё удивляясь, поспешил сообщить Бурнашёв. – Заезжал в Новый год, да они нынче по-знатному, не принимают. А что?

– Как что? Да разве вы не знаете? Его второй сын, этот молоденький студентик Николай, третьего дня умер. Завтра, двадцать седьмого, его и хоронят. Неужели вы так ничего и не знали?

– Что вы говорите? – воскликнул поражённый Бурнашёв.

С минуту он стоял с видом растерянным и недоумённым.

Он искренно любил литературу, побывать в кругу более или менее известных современников было для него событием, не менее любил он и парады, торжественные заседания, пышные похороны. Любое помпезное зрелище, независимо от его характера, вызывало на глазах чувствительного Владимира Петровича слёзы.

– Нужно мне, нужно съездить в дом к Гречу, – подыскивал он вслух основания.

– Да, пожалуй, вам обязательно нужно поехать, – поддержал его Цветаев.

В передней у Греча Бурнашёва встретил старый слуга с наплаканным покрасневшим лицом. Плerezы[145] на рукавах и воротнике его чёрного платья возвещали о понесённой домом утрате.

– Вы, конечно, сударь, всё знаете и пришли проститься с нашим ангелочком, – зашептал он, принимая от Владимира Петровича шубу. – Пожалуйста, пройдёте. Вы теперь никого из семейства не увидите: все умаялись эти дни ужасно, и доктор даже дал капель каких-то Николаю Ивановичу, чтобы они заснули.

В просторной зале, служившей у Гречей одновременно и парадным кабинетом, царил желтоватый полусвет. Шторы на окнах были спущены, занавешена и стеклянная дверь на террасу. Чёрным коленкором были затянуты зеркала. Большой стол сдвинут к стене и освобождён от книг и бумаг. Подле него стояла длинная тёмно-зелёная кушетка. В изголовье её белело серебряное распытье.

На кушетке, со сложенными на груди руками, в студенческом, с васильковым воротником мундире лежал Коля Греч.

Длинные ресницы положили глубокую тень вокруг закрытых глаз. Юношески прекрасное лицо выглядело совсем как живое, только было ужасно бледно.

Тяжёлый запах, исходивший от многочисленных гирлянд, венков, живых цветов, расставленных вокруг кушетки, влажный оранжерейный запах вызывал представление о тлении. От этого запаха долгое пребывание в комнате казалось невозможным.

– Вот, – умиленно зашептал старик слуга, – вот так и умирал сердечный наш Коленька. Всё улыбался, уверял нас, что очень ему хорошо, а потом обращается к отцу и говорит: «Увидишь, папа, Пушкина Александра Сергеевича, скажи ему, что Богу не угодно было, чтобы я пошёл на театральную сцену, потому что я уже ухожу не в театральную, а в настоящую жизнь». Что он, сердечный, хотел сказать этим, я так и не понял, только всё записал себе на память в календаре на листочках.

На цыпочках вышли из зала. С той же осторожностью, с какой он открывал её, запер на ключ старик дверь.

– Когда хоронят? – деловито спросил Владимир Петрович, влезая в услужливо поданную шубу.

– Завтра, часа в четыре, приедет немецкий пастор, при нём и в гроб положат. Ох уж эти именины, и не знали, и не гадали, что с них такая беда будет!

– А что такое? – живо поинтересовался Бурнашёв.

– Да как же. С шестого декабря, как оба наших барина, и молодой и старый, именины справляли, с ним эта простуда и приключилась. В тот вечер ещё сочинитель Пушкин Александр Сергеевич заезжал. Ну, Коленька их, прямо сказать, обожает. Так они, бедненькие, проводить их до экипажа прямо без

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
всего, в одном мундире на улицу выскочили. Вот и схватили простуду.

– Пушкин? Так у вас Пушкин был на вечере? Расскажи-ка мне, любезный, меня это весьма интересует.

Ради того, чтобы послушать историю, в которой принимало участие какое-нибудь лицо из литературного мира, Владимир Петрович готов был оставаться в передней хоть целый час.

– Да что ж тут рассказывать, тут и рассказывать нечего. Александр Сергеевич к нам как бы невзначай попали. Они проезжали мимо, увидели у нас в окнах свет, подумали, что здесь собрание какое. Так меня и спросили: «Что у вас здесь, собрание?» Ну, как увидели, какое собрание, то, конечно, неловко им сразу же ворочаться, зашли и бокал шампанского выпили, и так с полчаса, а может и поболее, пробыли. Только я вам скажу, хоть и редко они у нас бывали, но я всё же заметил, какой весёлый у господина Пушкина характер, а в этот раз что-то как бы не в себе были, скучный такой и неразговорчивый. Коленьку нашего попросил стихи почитать и очень хвалил. «Вы, – говорит, – непременно артистом должны сделаться». А Коленька наш от этой похвалы, можно сказать, растаял совсем, – он, бедненький, господина Пушкина прямо Бог знает как обожал, да вот: как стал господин Пушкин от нас отъезжать, вышли наши господа в переднюю, я подаю ему его медвежью шубу, а он и говорит: «Холодно мне как-то везде, нездоровится, что ли, в этом медвежьем климате. Надо на юг, на юг». А Коленька им эдак восторженно: «Ах, ежели бы, – говорит, – Александр Сергеевич, привелось мне увидеть вас в тех долинах, куда вы поехать хотите!» У Пушкина тут лицо сделалось грустное. «Гора с горой, – говорит он, – не сходится, а человек с человеком сойдётся». С этими словами и вышел, а Коленька за ним, и до тех пор, пока господин Пушкин в экипаж не сели, так от него и не отходил. Чем он его, бедняжку, к себе так приворожил, этого, должно быть, моему старческому уму и не понять никогда.

И старик, тяжело вздыхая, стал кулаком тереть глаза.

На следующий день Владимир Петрович, облекшись в приличествующий случаю костюм, ровно в четыре был у подъезда дома Греча.

Проводить бедного Колю до места его последнего успокоения собралось столько народа, что пройти в зал было решительно невозможно. Владимир Петрович с трудом протискался в переднюю, ибо и на лестнице стояла публика.

Пастор говорил прощальное слово. Голос его, бархатистый и мягкий, словно душили низкие потолки и дыхание сгрудившихся в комнате людей. Бурнашёв стоял, прижатый к буфету. Две чёрные крупные цифры на листке отрывного висевшего в простенке календаря назойливо лезли в глаза.

«Двадцать семь. Сегодня двадцать седьмое», – почему-то повторял себе Владимир Петрович, хотя прекрасно помнил, что именно в этот день должны были состояться похороны.

Наконец пастор кончил говорить. Пронзительные вскрики и рыдания раздались в зале. Столпившаяся в дверях публика расступилась, давая дорогу кому-то, кого выводили под руки.

Заскрежетали ввинчиваемые в крышку винты. На лестнице торопливо надевали шляпы и теснились к выходу. Владимир Петрович тоже вслед за другими вышел на улицу.

Гроб вынесли на руках студенты, товарищи покойного.

Страусовые перья на траурном катафалке раскачивались, как листья каких-то экзотических растений. Факелы изломанными линиями чертили сумерки догоравшего дня. Гроб поставили на катафалк, процессия тронулась.

Николай Иванович, как это всегда бывает с потерявшими близких, вполголоса вспоминал все неосуществившиеся желания, несбывшиеся надежды покойного сына. Как будто теперь они приобретали иной смысл, иное значение – осуществись они, и не было бы этой нелепой безвременной смерти, жив бы был Коля и всё было бы хорошо. Даже артистическая карьера, которую предрекал покойному Пушкин, не казалась ему теперь ни невозможной, ни недостойной.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
– А послано ли было приглашение Александру Сергеевичу? – вдруг озабоченно перебил он себя. – Ведь он так любил моего Колю.

– Послано, послано. И даже с нарочным, а не по городской почте, – поспешил успокоить его кто-то из родственников.

– А всё-таки его нет. Верно, пишет новую поэму, – жёлчно выговорил Греч. – Да, только Александр Сергеевич Пушкин, которого так боготворил мой мальчик, – проговорил он с горькой иронией, – о котором он только и думал в последние свои минуты, не захотел почтить нас сегодня своим присутствием. Что ж, эти господа аристократы не считают нас такими же, как они, людьми. На наши чувства, на наши страдания им дозволительно и плюнуть.

В этот момент в толпе произошло какое-то смятение. С трудом протискавшийся навстречу ей в церковь молодой человек с лицом растерянным и убитым поравнялся с Гречем. Подняв руку, словно хотел остановить движение, он закричал срывающимся, взволнованным голосом:

– Николай Иванович! Не грешите на бедного Пушкина, не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да, да – он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не смогли вынуть.

Ропот ужаса и негодования пронёсся в толпе. Слышались отдельные голоса:

– Кто смел поднять руку на Пушкина! Не может быть, чтобы это был русский человек!

Тот же голос, который только что сообщил эту ужасную весть, крикнул так громко, что слышали решительно все:

– Убийца – француз Дантес, офицер нашей гвардии и полотёр в аристократии!

На улице сумерки сгустились в чернильную тьму. Траурные факелы вокруг катафалка пылали мрачным, багровым пламенем.

## II

Вся Мойка была запружена густыми толпами народа.

Конные и пешие жандармы вместе с полицейскими тщетно уговаривали публику не толпиться и разойтись.

Сажён за пятьдесят, по крайней мере, от дома Волконской, в котором жил Пушкин, Бурнашёву пришлось выйти из саней и пойти пешком. Дальше проехать было невозможно.

Проникнуть в дом не стоило и пытаться. Двое полицейских и жандармский офицер стояли у самых дверей, не пропуская решительно никого.

В дверях показалась полная фигура. Из-под распахнутой шинели блестел генеральский мундир.

Владимир Петрович, которому был известен чуть ли не весь Петербург, узнал в генерале состоявшего при особе наследника Юрьевича.

Садясь в поданные к подъезду сани, генерал бросил кому-то из толпы отрывисто:

– Надежда плохая. Я сам не видел, но Василий Андреевич в отчаянии. Еду во дворец рассказать его высочеству всё, что знаю.

Кто-то совсем близко от Бурнашёва пронзительно вскрикнул и зарыдал. Сани с Юрьевичем тронулись, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе.

Через минуту от неистового «пади, пади» толпа шарахнулась и расступилась, давая дорогу другим парным саням с пристяжной на отлёте.

Из подъезда выбежал лакей в придворной красной ливрее и крикнул:

– Карету лейб-медика Арендта!

Придворная карета парой, с кучером, одетым в одинаковую с лакеем ливрею, двинулась к подъезду.

Маленький толстый человечек в чёрной шинели с бобровым воротником и в казавшемся на нём невероятно огромным цилиндре появился в подъезде.

– Ну что, ваше превосходительство? – с тоскливым отчаянием крикнули ему из толпы.

Арендт с минуту растерянно озирался по сторонам. Он сдвинул на лоб очки, глаза его были красны. Прикладывая к ним платок, прерывисто, словно его мучила одышка, проговорил:

– Ну, то, что плохо. Вся наша медицина ничего не сделает без помощи Царя Небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца.

Толпа глубоким слитным вздохом ответствовала на слова Арендта.

### III

Эта ночь, как и предыдущие, прошла тяжёлым, ломающимся бредом.

Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Казалось, даже не отстранил ни на миг не оставлявшие его мысли. Было такое ощущение – вот он ходит по комнате; над ковром, всего на каких-нибудь пол-аршина, протянуты в беспорядке верёвки и верёвочки, переступил одну – ноги уже задевают другую, не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная.

Рядом – спальня жены. Через полуприкрытую дверь в комнату проникает запах её sachet[146]. Этим запахом пахнет её ночное бельё, пахнет она сама, – забываемый; он мешается с запахами, присвоенными его половине: сухим – туалетной воды, горьковатым и вялым – который оставляет только дыхание, ибо в спальне теперь он не курит; эти два – основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один с другим. Но, помимо их, есть и пришлые, непостоянные: причудливо острый – «La reine Marie Louise»[147] парижского парфюмера Houbigant; тяжёлый, дурманящий, он скоро пропадает от душной ночной тишины.

Евгений Петрович порывистыми шагами подошёл к туалетному столу, уксусом смочил виски, тёр их крепко и долго. Потом плеснул из таза в ладонь воды, смочил лоб и волосы. Лицо горело.

Запахом «La reine Marie Louise» благоухала лестница в Аничковом, когда они всходили на новогодний маскарад.

– Это было до... до...

Евгений Петрович даже себе не решался сказать, до чего это было.

Вся жизнь разделилась теперь на две неравные половины. Всё, что случилось, всё, что пережил он до этой новогодней ночи, жило бессмертной, переполненной чувствами, как тело – кровью, жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, как плющ, со всех сторон обхватывающий какого-нибудь лесного гиганта, тянулись, давя и сжимая сердце, мучительные, тяжкие мысли.

Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли кто-либо мог упрекнуть его в этом. Ни одним словом, ни одним намёком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Фёдоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотел и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят: оно выдержано там-то, говорят: оно воспитано.

Этот токай был польского воспитания, свадебный подарок дяди Исленьева в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят: «nisi in Polonia educatum»[148]. Иначе несовершенно. Зелёная, как зелень увядающего букета, влага тяжёлой маслянистой струёй наполняла рюмку. Вино было крепко, как ликёр, но оно не отнимало головы. Мысли ясные и настойчивые, как пульс, пылали его мягким огнём. Надежда Фёдоровна вошла в столовую. Он поднялся



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org из-за стола. Вероятно, так воспринимают окружающее глухонемые. Она улыбнулась, у ней шевельнулись губы – безмолвие и тишина остались неизменными. С таким же эффектом мог рухнуть сейчас весь дом, с грохотом повалиться любая вещь.

– С Новым годом, мой милый.

Губами он чувствовал только терпкую сладость токая и мягкие, расслабленно прильнувшие к его рту губы.

– Ну что ж, хотя и с опозданием, но мы ещё сможем высказать друг другу свои пожелания. Прости, я прикажу сейчас, чтоб подали шампанское.

Он улыбнулся исподлобья, вопрошающе.

– Не стоит. Налей мне этого вина.

Токай зелёной струёй медленно, как масло, наполнил рюмку.

– Ах, я так устала, страшно устала...

Он ждал детских слёз, смятенного униженного плача, покаяния, мольбы о прощении, в мыслях он уже видел её кающейся, не смеющей даже коснуться его, жалкой и беспомощной, как жестоко обиженный ребёнок.

Надежда Фёдоровна смотрела на него ясным и спокойным, только слегка утомлённым взором. Губы у неё шевелились едва-едва, как будто ей трудно было говорить. Улыбка новая, какой он ещё не видел, не сходила с них.

– Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Сразила эта улыбка, из победителя сделала покорным, смешала, как невыходивший пасьянс, всё будущее.

Полусонные глаза смотрели пьяно и насмешливо. На губах ещё было ощущение поцелуя. Он подошёл, наклонился, оторваться от её губ уже не мог. На руках отнёс в спальню.

Теперь, днём, на беседах у Бенкендорфа, на улице, дома, Евгений Петрович часто и всегда по какому-то внезапному побуждению начинал перебирать в памяти тех, чьи жёны, как говорили, были любовницами государя. Острая, как оскорбление, боль поднималась изнутри; как от пощёчины, пылало лицо. Все они не были равны ему, среди них он не знал ни одного изболевшегося самолюбивой гордостью Самсонова. Он уже не был больше расчётливым и трезвым честолюбцем. Мысль о том, что в таких случаях снисходительность мужа всегда вознаграждалась, была омерзительна. Как-то подумал о пистолете. Железное тяжёлое кольцо, сковавшее зловещую и чёрную, как будущее, пустоту, всё чаще и чаще стало рисоваться взору. Как-то у одного холостого приятеля целый час подряд палил из пистолета по зажжённой свечке. От выстрела свечка гасла, как сражённая наповал, валилась набок. Её зажигали, водружали на прежнее место, он со сладострастным любопытством опять целился в пламя. Застрелиться помешало то же воспоминание. В последний момент, уже ощущая виском холодную сталь, вспомнил улыбку Надежды Фёдоровны.

– Ты хочешь о чём-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Он ссыпал с полки порох, выкатил из дула пулю. Сковавшее загадочную пустоту кольцо больше не тяготило мыслей.

Теперь другое жалило сердце, и тогда хотелось мочить ледяной водой лоб, до боли тереть виски.

«Молчит. Ни словом, ни жестом. Даже случайно... А с ним, с ним какова? Как узнать? Как постигнуть? Такая же, как со мной?»

Вода и уксус как будто слегка умили жар. Евгений Петрович перед умывальником скинул халат, снял сорочку. Тело, растёртое холодной водой, горело приятно. Он снова натянул халат и прошёл в кабинет. Денщик уже ждал с одеванием.

В прихожей вытянувшийся в струнку при его появлении жандарм рявкнул,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
разрубая по слогам:

– Здравв же-ла-ю, ва-ше родь.

– Ну?

– Так что пожалуйста к графу.

Евгений Петрович оделся поспешно и вышел. На улице был лёгкий приятный морозец. Легче думать, когда идёшь пешком, когда морозная свежесть дарит вторично ощущениями утреннего умывания. Но нужно было торопиться. Евгений Петрович взял извозчика.

У Бенкендорфа ещё в передней камердинер сообщил:

– Пожалуйста. Вас ожидают.

В кабинете не было никого. Дверь в туалетную была плотно притворена. Евгений Петрович осторожно кашлянул.

– Иди, иди, mon cher, – тотчас же раздалось из-за двери.

Он вошёл и остановился.

Бенкендорф, совершенно голый, без малейшего признака какой бы то ни было стыдливости, степенными, мерными шагами расхаживал по комнате.

– Во-первых, mon cher, не взыщи, что я тебя принимаю в таком неглиже. Je prends un bain d'air<sup>[149]</sup> по совету моего доктора, а во-вторых, потрудись... мм... нужно тебе составить... дело... ммм... совершенно безотлагательно... Ну, ты знаешь, конечно, какая история вышла...

Евгений Петрович не знал, но дипломатически промолчал, потому что граф не терпел вопросов.

– Ну-с вот... надо составить...

Бенкендорф по обыкновению говорил с паузами чуть ли не после каждого слова. Говоря, он продолжал ходить, иногда приближался к Самсонову, и тот от ужаса и отвращения, что граф может коснуться его, стоял, вытянув по швам руки, до боли напрягая мышцы, чтоб не сдвинуться с места. В этом своём виде его принципал походил на старую, с облезлой шерстью обезьяну. Дряблая грязно-коричневого цвета кожа висла на груди и на животе толстыми противными складками, худые, с высохшими икрами ноги были слишком тонки для такого туловища, длинные, со скрюченными пальцами руки свисали чуть не до колен, иногда руки поднимались, сгибаясь как какие-то неисправные рычаги, – граф потирал себе грудь и живот.

– Да... надо составить... это ты умеешь... циркуляр секретный... в цензуру... в Москву и в города и вообще... так... понял?

Евгений Петрович утвердительно наклонил голову.

– ...Чтобы никаких там... мм... некрологов, статей... и так говорят слишком много...

Положение Евгения Петровича становилось затруднительным.

– Позвольте, ваше сиятельство, но ведь он... – решился он наобум.

Граф перебил с поспешностью:

– Ты хочешь сказать, пока ещё жив... Э, всё равно, не нынче, так завтра, не завтра, так в пятницу... всё равно умрёт... положение его безнадежно... и слава Богу, и слава Богу... с кем другим, а с Пушкиным мы хлопот имели достаточно...

«Пушкин! Пушкин умирает!» – подумал Евгений Петрович, поражённый тем ли, что он до сих пор не знал этого, иди тем, что человек, которого он видел всего несколько дней назад полным сил и здоровья, так безжалостно приговорён к смерти.

Незнакомое чувство острой щемящей жалости вкралось в сердце Евгения

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org Петровича. Он вспомнил сплетни, которые слышал, вспомнил, что говорили в свете о Пушкине в последнее время, вспомнил чью-то осторожную и опасливую догадку, которую передавали под величайшим секретом. Пушкин вдруг показался ему близким, родным, как брат, как соучастник, сроднившийся одинаковой страшной судьбой.

Бенкендорф помолчал, потом, не отводя глаз, продолжал:

– Это, mon cher, моя к тебе просьба... нельзя пренебрегать и сплетнями... направлять, сдерживать... но у меня никого нет... не могу же я послать какого-нибудь там жандармского штаб-офицера, ведь они все левой ногой сморкаются... ну, вот... надеюсь, ты понял. И потом... – здесь последовала пауза, продолжавшаяся очень долго, – ...и потом переписку... нужно будет последить и за перепиской...

Если бы за минуту до того Евгений Петрович не пережил нового и странного для него чувства к умирающему Пушкину, если бы оно не всколыхнуло его собственной неотступно преследовавшей муки, если бы этот сделавшийся содержанием всей его жизни и безответный вопрос не встал перед ним снова, вряд ли бы он ответил так Бенкендорфу. Он сам понимал, что это наивно, что таким путём он всё равно ничего не узнает и не раскроет, но что-то наперекор рассудку подмывало и толкало:

«Загляни, только загляни. А может...»

– В своё время я просил ваше сиятельство, – проговорил он тоном, обычным при разговорах с начальством, – не употреблять меня по секретной части. Но я готов исполнить любое приказание вашего сиятельства и буду счастлив, зная, что приношу пользу отечеству.

IV

Корнета Лермонтова полковые приказы полагали «больным на дому» чаще других.

В лейб-гусарском полку такие «больные» вообще никогда не переводились. Покидая Царское для кутежей или балов в столице, нужно было оставить какое-то основание своему отсутствию, – обычай и время узаконили «болезнь на дому».

Но Лермонтов «хворал» и не всегда по обычаю. Иногда, подав рапорт о болезни, он по нескольку дней не выходил из дому, больной или здоровый не покидал постели. Его сожитель, однополчанин, друг и кузен Монго-Столыпин, терял тогда терпение от невозмутимого равнодушия, в какое погружался неугомонный Маешка. Никаким амурным приключением, никакой лихой пирушкой, никаким балом и обществом в столице соблазнить его в таких случаях было невозможно. Редко читая, чаще без книги, он проводил часы, лёжа на диване в каком-то молчаливом оцепенении. В доме тогда все ходили на цыпочках. Михаила Юрьевича боялись потревожить лишний раз вопросом, что он желает к обеду, докладом, кто его спрашивал.

Сама Елизавета Алексеевна порой решалась, чуть приоткрыв дверь, осторожно заглянуть в его комнату. Мишель чутко поворачивал тотчас же голову, почтительно-нежным взглядом встречал её взгляд, но в этом взгляде она читала только нетерпение – когда же наконец оставят меня. Она тихо прикрывала дверь, сокрушённо покачивая головой, отходила прочь.

Не меньше Елизаветы Алексеевны страдал и тревожился этим состоянием своего кумира и Раевский.

На столике рядом с диваном лежала записная книжка. Иногда Лермонтов брал её, с задумчивым и невидящим взглядом долго держал в руках, поглаживая карандашом усы, но, обычно так ничего и не написав, раздражённо отбрасывал прочь.

Как-то раз Святославу Афанасьевичу попался на глаза клочок бумажки, исписанный в такие минуты. Его охватил ужас. С такой откровенностью, с таким жестоким самобичеванием не говорят о себе, вероятно, и на исповеди. Бумажка была брошена на пол, без всякой, видимо, заботы, что её могут поднять и прочесть.

После этого случая Раевский не решался даже войти в комнату, когда Мишель с

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
утра оставался в кровати. Ему казалось, что этим он вторгнется в самые заветные глубины его души.

И действительно, такому состоянию у Лермонтова всегда предшествовала непонятная ему самому и властная потребность подумать, осознать что-то в себе.

Как-то Раевский спросил его:

– Мишель, ты чувствуешь, когда к тебе приходит вдохновение?

Он расхохотался:

– Ты – чудак. Я могу тебе рассказать, как ко мне приходит желание – не писать стихи, разумеется, а другое, – ну а стихи...

Не договорил, быстро перевёл разговор. Признаться в этом не решился даже и Святославу.

В юности, в детстве – для себя он никогда не мог найти границу между юностью и детством, – он по-настоящему, до неловкого смущения, до растерянности стеснялся стихов. Писал их всегда с упоением, они никогда не казались плохими, любое на долгое время переполняло сердце горделивым восхищением. Собственно, стеснялся он даже и не стихов – ими он гордился. Блеснуть на глазах у других небрежной лёгкостью, с какой выходят из-под его пера рифмованные строчки, было заманчиво. Но только он начинал ощущать в себе привычное и неуёмное беспокойство в голове, когда, как створки какой-нибудь шкатулки, ладно и плотно одна к другой начинали складываться строчки, начинало тянуть к столу, к бумаге – ему делалось стыдно, неловко, как будто он собирался заниматься чем-то недостойным и жалким. С годами всё неохотнее, реже, трудней показывал кому бы то ни было написанное. Почти никогда не читал посторонним и малознакомым. Но зато тем, кого считал друзьями, кому доверял, – тех он буквально засыпал стихами, спешил поделиться каждой новой строчкой, каждым новым замыслом. Восемнадцати лет «просящийся на службу в лейб-гвардии гусарский полк недоросль из дворян Михаил Лермонтов» был зачислен в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Товарищи по школе были почти поголовно моложе его, многие прямо на школьную дисциплину сменили домашнюю опеку. Он был в университете; если не годами, то понятиями, развитием был много старше их. Но не он – они предписывали вкус и отношение к окружавшему.

Поэтическую известность завоевал в школе вдохновенной барковщиной, неистощимой фантазией по части гнусных казарменных рассказов о женщинах. Юнкерское удалство, первенство в любой непристойной выходке; изощрённость в издевательствах над младшими, в кознях начальству доставляли почтительное восхищение однокашников. Ему прощали и неуклюжесть осанки, и невидность во фронте, презираемую в те времена не одним только начальством. Его считали хорошим товарищем, но близко с ним не сходились. Многие не могли простить острого и несдержанного языка, других отпугивала неприятная, словно от обиды, злая и раздражённая насмешливость над всем и над всеми. Ему самому иногда казалось, что эти последние прозорливее, что, кроме неприязни ко всему и зависти обиженного, у него ничего нет. Мечтателем и тихоней в школе не слыл. По вечерам, после учебных занятий, он часто уходил в отдалённые классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго, писал до поздней ночи, всегда стараясь пробраться туда незамеченным.

Один из юнкеров, мало похожий на товарищей, мечтательный и женственный Хомутов в доверчивости показал ему свой дневник. Он буквально впился и глотал страницу за страницей исписанной мелким почерком тетрадки. Окончив чтение, с тяжёлым вздохом вернул её Хомутову.

– Зачем это? ну зачем? С самим собой беседовать нужно тайно. Если люди откроют тебя, ты пропал. Не люблю дневников – они отнимают спокойствие, уверенность, что ты не будешь изобличён.

Наступил долгожданный чудесный день. 22 ноября 1834 года высочайшим приказом Лермонтов произведён из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. Одной из подруг своей московской юности он писал:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Боже мой! Если бы Вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским... Как скоро я заметил, что прекрасные грёзы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые. Но от этой «восхитительной» жизни он зачастую с бала, с гусарской шумной попойки с видом потерянно-убитым спешил домой, в одинокую тишину своей комнаты, к ленивому лежанию по целым дням в постели, к сосредоточенной задумчивости.

Однажды Раевский был поражён неожиданным криком:

– Святослав, Святослав!

Он поспешил на зов.

Лермонтов, разглаживая карандашом бровь, полулежал на диване. По лицу бродила странная, потерянная улыбка. На коленях на переплёте закрытой книги лежал клочок исписанной бумаги.

– Прочти. Вот это.

Пальцем показал, откуда надо читать. Это был черновик письма:

Должен Вам признаться, с каждым днём я всё больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути мне или не представляется случая, или недостаёт решимости. Мне говорят, что случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретается временем и опытностью... А кто порукой, что, когда всё это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной молодой души, которую Бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от ожидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всём том, что в жизни служит двигающим стимулом. Всё время, пока Раевский читал, Лермонтов не отводил от него внимательного, наблюдающего взгляда.

– Ну?

Теперь Раевский растерянно и смятенно смотрел на него.

– Но ведь, Мишель, ты...

И запнулся.

– Да, да, я хотел только узнать, насколько естественно может выглядеть моя искренность, – поспешил заговорить Лермонтов.

Раевский сконфуженно и неловко молчал.

Незадолго до того Лермонтов почти теми же словами начал ему говорить о себе. По обыкновению, Святослав Афанасьевич с воодушевлением подхватил, с жаром стал развивать его мысль. Тогда тот вдруг непринуждённо и весело расхохотался.

– Я пошутил, Святослав, уверяю тебя, пошутил. Я своего добьюсь. А случай – это к...

Январь 1837 года проходил расточительно и бурно. Больше месяца Лермонтов уже не брал в руки пера. В Царское, в полк, он съездил всего несколько раз, и то только на дежурство. Но припадки меланхолии случались теперь всё чаще и чаще. Дома он бывал раздражённым, нестерпимо придирчивым.

Шан-Гирей, со стороны наблюдавший своего старшего кузена, как-то обмолвился Раевскому:

– Как будто Мишель чего-то усиленно добивается и это ему не удаётся. Но чего?

Раевский, помолчав, проговорил с задумчивой и печальной улыбкой:

– Чего ему добиваться, Аким? Он принят везде и всюду даже лучше того, на что бы мог рассчитывать. Чего желал – он всего добился и... вместе с тем

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
ничего, – закончил он с грустным вздохом.

Между тем настроение Мишеля не изменилось. К концу месяца, подав очередной рапорт о болезни, он и вовсе перестал появляться где-либо.

Вечером 27-го он лежал один в своей обычной позе – заложенными под голову руками, с неподвижно устремлённым в одну точку взглядом. Свеча, оплывая, колебала на стенах огромные неуклюжие тени. Часы на письменном столе отчётливо тонким голоском пробили семь. Он зевнул, не двигаясь с места, протянул руку поднять упавшую на пол книжку французского журнала. Заложённый в неё разрезальный нож выпал, скатился на диван. Он лениво переглядел неразрезанные страницы в конце. Зевнул опять и отбросил прочь книжку. Вдруг в коридоре раздались чьи-то поспешные резкие шаги. Дверь без вопроса, без предупреждений с шумом распахнулась. Раевский в бекеше, не сняв даже шляпы, ворвался в комнату.

– Ужасная весть. Пушкин убит. Сегодня. Его раненого привезли домой. Он умер.

Голос у Раевского словно спотыкался: одно слово опрокидывало другое.

Лермонтов медленно приподнялся с подушек.

– Убит? – переспросил он глухим отдельным шёпотом.

– Да, да, убит. Каким-то ничтожным, бесславным французишкой, тем самым Дантесом, о котором говорил мне ты, о котором говорят...

Он вдруг остановился.

Лермонтов, выпрямившись, сидел на постели. С косых татарских скул слетел обычный румянец. Живые глаза на бледном лице сверкали горячим и беспокойным блеском.

– Вот как в жизни, Святослав! А? ты понимаешь? Арбенин у меня, чтоб погасить свои тревоги, отравляет нину. А он себя. Под чей пистолет, Святослав! Ты подумай только! Убит, умер, не отомстив, не успокоив своей души. Это страшно, Святослав: в России, если ты перерастёшь воробьиные чувства и желания, тебе нет места. Нас стерегут, чтоб мы не выросли. Жандармы, неверные жёны, предательницы любовницы, опекающий своим мнением свет и пошляки – да, да, и пошляки... Да ты знаешь, что такое Дантес? Я назыву тебе с десяток таких Дантесов. Ты их не знаешь, не видел, а я... Помнишь цензурный отзыв на «Маскарад»? Помнишь: «Вызов костюмированным в доме Энгельгардтов», «Дерзости против дам высшего общества»? Они ужаснулись, что их можно презирать. А Пушкин! Я убеждён, что уже сейчас по городу бегают ревнители Дантесовой чести, старательно пачкают гнусными сплетнями ещё не остывший труп. О, Дантес ещё будет героем! Поверь мне, его возведут в герои! Да, да, Святослав, мы в плену, нас учат чужим обычаям, нас заставляют подчиняться им, а если нет, если не так, ты думаешь, не найдётся Дантеса, чтобы призвать мятежника к порядку? О, нам и воевать-то не с кем.

Эта отрывистая возбуждённая речь как будто утомила его. Он бессильно откинулся на подушки. На бледных щеках медленно разгорался румянец.

– Миша, как это верно, как это страшно! – умиленно и восторженно воскликнул Раевский.

Он подошёл к дивану. Огромная тень задвигалась и сползла со стены.

Лермонтов молчал. Мимо Раевского, мимо свечи, в угол неподвижным и отсутствующим смотрел взглядом. Раевскому показалось, что времени уже некуда больше идти, и оно неподвижной давящей тишиной заполнило всю комнату.

Вдруг Лермонтов, как бы освобождаясь от какой-то неотступно преследовавшей мысли, резко тряхнул головой, по лицу пробежала улыбка.

– О чём ты думал сейчас? – тихо спросил Раевский.

– Ах да, – Лермонтов потянулся поднять с пола упавшую книжку. – Ты знаешь,  
Страница 230

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org что я сейчас здесь вычитал? Это замечательно. В Париже изобрели такие вещи, что теперь никакая венерическая болезнь уже не страшна. – И начал подробно и с увлечением объяснять, как устроены и из чего делаются эти вещи, как будто ничто другое в этот момент и не могло занимать его воображение.

v

Слух о кончине Пушкина с невероятной быстротой распространился по городу.

На Мойку к дому Волконской стекались всё новые и новые толпы стремившихся поклониться праху поэта. Но, по распоряжению высших властей, доступ в квартиру был воспрещён. Два полицейских офицера и один жандармский по-прежнему охраняли подъезд.

В субботу 30-го, то есть на следующий после смерти день, Бурнашёв застал перед домом стечение публики во много раз больше, чем два дня тому назад. По городу ходили самые разноречивые и странные слухи. Говорили, что Пушкина приказано похоронить тайно, ночью, после закрытого отпевания. Многие из собравшихся здесь, очевидно, дежурили ещё со вчерашнего дня. Толпа напряжённо ждала чего-то, что от неё хотели скрыть, утаить.

Владимиру Петровичу всё же удалось протиснуться к подъезду.

Сегодня он заметил в толпе много жандармов с аксельбантами, какие тогда были присвоены лишь жандармам Третьего отделения. В прошлый раз он здесь их не видел. День был солнечный, с морозцем. На занавешенных изнутри окнах солнце играло пыльной позолотой, на карнизах и на крышах блестел снег, пылали начищенные жандармские каски. Застывшая в напряжённом и строгом ожидании толпа была молчалива. Сегодня, пробираясь через неё, Владимир Петрович не слышал ни разговоров, ни замечаний.

У подъезда жандармский капитан, учтиво наклоняя голову, спросил:

– Вам куда-с?

Владимир Петрович растерялся.

– Я, собственно, поклониться... как русский человек, по обычаю... Я служу-с в военном министерстве, чиновник двенадцатого класса... и вообще... уважая литературу...

Жандарм сухо прервал:

– Не разрешается. Только самых близких к покойному лиц.

Бурнашёв, покраснев, неловко попятился.

Выходивший в этот момент из подъезда гвардейский артиллерист с адъютантским аксельбантом посмотрел на него с улыбкой.

– Бурнашёв! Вы хотите пройти туда?

У Бурнашёва мигом преобразилось лицо. Глаза заморгали угодливо и моляще. Он узнал в артиллеристе адъютанта военного министра.

– Так точно, ваше сиятельство. Я с лучшими намерениями. Образ моих мыслей хорошо известен вашему сиятельству.

«Сиятельство» небрежно бросило жандарму:

– Пропустите его. Я за него ручаюсь, – и стало пробираться к стоявшим в отдалении саням.

В этот же момент какой-то высокий офицер в белом уланском кивере, выступив из толпы, деловито зашагал к подъезду.

– И меня тоже. Меня тоже приказано пропустить, – услышал Владимир Петрович за своей спиной.

Потом на лестнице зазвенели шпоры, загромыхал, стучаясь о ступеньки, палаш.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Владимир Петрович с недовольным лицом обернулся к поднимававшемуся по лестнице улану, но оно сейчас же расплылось у него в приветливую и любезную улыбку.

– Не с Владимиром ли Сергеевичем Глинкой имею честь? – осторожно осведомился он.

– Совершенно верно-с, – ухмыльнулся улан. – Я, можно сказать, фуксом. На вас сыграл-с, надул жандарма-то.

– И очень хорошо-с, – хихикнул Владимир Петрович. – По крайней мере, Александру Сергеевичу последний долг отдадим. А вас я по журналам знаю-с. Некоторые из ваших стихков у меня даже списанными хранятся.

Глинка самодовольно покрутил усы.

В просторных сенях на вешалке не висело никакого платья.

Дремавший на лавке жандармский унтер-офицер вытянулся перед Глинкой, неловко принял от них шинели и молча показал на маленькую полуприкрытую дверь.

Большая комната казалась неестественно просторной: очевидно, из неё вынесли всю лишнюю мебель. Тёмные шторы были спущены. Красноватое мерцающее пламя нескольких десятков восковых свечей, вставленных в церковные, оббитые крепом подсвечники, тускло освещало стоявший против входной двери гроб.

В комнате никого не было. Дьячок в чёрном с серебром стихаре, словно по ухабам, волочил гнусавое бормотанье.

И Глинка и Бурнашёв смущённо, не зная, что им делать дальше, остановились возле дверей.

Гроб, обитый тёмно-фиолетовым бархатом, наполовину был закрыт парчовым, спускавшимся до самого пола, покровом. В изголовье, сквозь наброшенную кисею, смутно проступали очертания лежащего в гробу тела.

Лакей в глубоком трауре неслышно появился из-за спины Бурнашёва, едва заметным поклоном как бы пригласил их подойти ближе, перекрестившись, осторожно откинул кисею.

Смуглое, восковой желтизны лицо покоилось на большой, выпиравшей из гроба подушке. Бурнашёву сразу бросилось в глаза, что наволочка, очевидно, мала, застёжки сходились туго, из прорех пухло выпирала полосатая сорочка.

Глаза у покойного были плотно и ровно закрыты, чуть-чуть отверстый рот обнажил прекрасные, ровные, один как другой, зубы. Выражение величавого спокойствия, какой-то нечеловеческой мудрости, казалось, запечатлевала эта восковая маска.

Дьячок, вырываясь из своего бормотания, выкликнул:

– «Правду твою не скрыл в сердце твоём...»

И опять запутался в гнусавых, одолевавших его, как сон, звуках.

Бурнашёву вдруг стало не по себе, как будто его испугала эта вырванная из монотонного бормотания строчка. Крестьясь, он опустил на колени. Перед глазами мелькнули, запоминаясь навек, восковые, с посиневшими ногтями, руки, выпадающий из них образок, лацкан тёмно-коричневого поношенного сюртука.

Над головой Владимира Петровича кто-то быстрым шёпотом произносил слова, ему показалось – молитвы. Поднимаясь с колен, он увидел напряжённое лицо Глинки, быстро шевелившиеся губы. У Глинки был такой вид, как будто он опасался, что ему не дадут произнести всё до конца. Среди торопливого шёпота Бурнашёв разобрал:

Недвижим он лежал, и странен  
Был томный мир его чела.  
Под грудь он был навывлет ранен;



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Дымясь, из раны кровь текла.  
Тому назад одно мгновенье  
В сём сердце билось вдохновенье,  
Вражда, надежда и любовь... [150]  
Владимир Петрович с удивленьем и испугом покосился на своего нового знакомца.

Лакей, открывавший им гроб, приблизился опять так же неслышно, проговорил шёпотом:

– Просили-с, – он не сказал кто, – поспешить. Сейчас будет панихида для семейства и близких. Все уже собрались.

Глинка вздохом оборвал своё бормотанье, наклонился, поцеловал в руку покойного и круто повернулся. Бурнашёв ограничился только глубоким поклоном и, перекрестившись ещё раз, последовал за ним.

Когда они выходили, какой-то молодой человек в студенческой треуголке, окидывая их презрительным взглядом, процедил сквозь зубы:

– Даже чтоб поклониться мёртвому Пушкину, нужна жандармская протекция.

Оба сделали вид, что не слышат.

Пробираясь в толпе, Владимир Петрович по обыкновению искательно поспешил закрепить новое знакомство.

– Чрезвычайно рад, Владимир Сергеевич, – разливался он, – что хотя, можно сказать, и при таких печальных обстоятельствах, но заключилось такое приятное для меня знакомство.

– А я действительно намереваюсь сделать его вам приятным, – улыбнулся Глинка. – Вот здесь у меня, – он хлопнул себя по карману, – лежат поистине прелестные стихи, и как раз к памяти, которую мы только что с вами почтили, относящиеся. Стихи не мои, не подумайте, что хвастаюсь.

– А чьи же-с?

– Их, говорят, написал только вчера один лейб-гусар, по фамилии Лермонтов, а сейчас они уже по всему городу в списках ходят! Хотите, прочту?

– Как же, как же-с. Буду покорнейше просить вас, как о величайшем одолжении. Поэт как будто действительно обещающий. Поэмку его «Гаджи Абрек» в «Библиотеке для чтения» читал-с. Прекрасный поэт, многие даже называют его будущим преемником славы покойного Александра Сергеевича. Да только как же читать-то на морозе? Давайте пройдем к Вольфу в кондитерскую – тут два шага, – велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.

– Ловко ли будет, – нерешительно заметил Глинка, – читать их в публичном месте?

– А почему?

– Да, знаете ли, в них мысли несколько смелые высказываются. Их мне и получить-то удалось по большой доверительности.

У Бурнашёва от этих слов даже глаза заблестели.

– Владимир Сергеевич, миленький, ради Бога, прочтите? Там ничего. Мы в уголке где-нибудь устроимся. А я тотчас же и спишу их. Прошу вас.

В кондитерской было шумно и многолюдно, какой-то потёртого вида майор уже декламировал, напыщенно и завывая, стихи, посвященные Пушкину.

Глинка достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, низко наклонился над столом и густым и низким басом сказал:

– Эпиграф из жандровского перевода «Венцеслава»:

Отмщенье, государь, отмщенье!

Только, чур, условие: спишете ли вы их, наизусть ли заучите, но я тут

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
должен остаться ни при чём, мне самому их доверили под величайшим секретом.

– Да что вы, Владимир Сергеевич, за кого вы меня принимаете! Вы-то их сами откуда добыли?

– Совершенно случайно обнаружил их у одного моего бывшего однополчанина, тоже харьковского улана, ну и попросил дать списать. А откуда он их добыл, Бог его знает, – пояснил Глинка.

## Chapter 1

### VI

По городу ходили смутные, противоречивые толки:

– Почему такая таинственность? Чего боятся? Да что же, и в могилу проводить его нельзя будет? Чем, чем заслужил он такую участь?!

Проводить его действительно оказалось нельзя. В воскресенье тридцать первого января, в полночь, тело Пушкина перенесли в Конюшенную церковь. Ещё задолго до этого времени жандармы очистили Мойку от публики, оцепили весь путь от дома до самой церкви.

Над пустынной улицей была чёрная, низко спустившаяся тьма. Фонари салили на снегу тусклые, жёлтые пятна. Сквозь строй их редких рядов, сквозь строй застывших вдоль тротуаров конных фигур прогонял ветер белые, словно гнувшиеся от невидимых ударов, призраки-тени. Неистовый с отчаяния, что не смог раскутать из облаков луну, припадал он к земле, сдувал с неё снежную пыль, призраками гнал столбы её вдоль улиц.

В подъезде дома Волконской широко и разом распахнулись двери, выплёскивая на мостовую жёлтый и жидкий свет. В полосе его качнулись, стронулись с места два конных стража, стывших до того как изваяния. В дверях, тяжело качаясь на руках, показался гроб. На минуту он, поднятый на плечи, чёрный и огромный, заступил собою освещённую полосу тротуара. Потом гроб качнуло ещё раз: шедшие впереди ступили на мостовую. Как по каналу, по вылившейся из дверей светлой полосе проплыл он во тьму. В подъезде пропустили немногочисленных провожатых и захлопнули двери. Опять улицу заступила тьма. Во тьме, навстречу засекаемым насмерть снежным призракам, сжатая кольцом из конных жандармов, медленно двигалась по улице процессия. Ветер дул в лицо, лапами шинелей вязал шаги идущим. Люди горбились под жестокими порывами ветра, порой останавливались совсем; гроб на какие-то минуты оставался неподвижным. Одинокий гроб, одинокая горсточка людей в кольце конных, тяжело плывущих фигур. Проводить Пушкина разрешено было только немногим, самым близким друзьям покойного.

За пределами жандармского оцепления были люди, может быть, много людей, но тьма скрывала их от глаз, ветер от слуха; тем, кто шёл за гробом, казалось, что идут только они, только они одни ещё живы в мёртвом и пустынном городе, что Пушкина, их Пушкина, хоронить, чтить, помнить уже некому. Над городом выла вьюга. Казалось, со всей России: с мёртвых полей, с погребённых в снегах деревень и усадеб, с городов, в эти часы переставших жить, отошедших в небытие, – сметал ветер заунывный вой глухих и пустынных просторов; было мёртво и жутко в опустевшем, безлюдном городе.

Когда процессия подходила к церкви, к вою метели примешались человеческие голоса. Где-то, должно быть, совсем близко, был смятый, разорванный, раскиданный ею ропот человеческого многолюдства.

Маленький, с порывистыми движениями человек, шедший за гробом, судорожно метнулся в сторону соседа.

– Вы слышите?

Сосед, захлёбываясь рыданиями, – маленькому человечку показалось, что это ветер срывает его голос, – ответил прерывисто и поспешно:

– Слышу, слышу... Ведь это ж Россия... которой не дают проводить её Пушкина...

Маленький рассердился:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Да нет же, нет: не Россия это... И мы с вами тоже нет... Вон Россия – ей Пушкин не нужен...

Словно угрожая, протянул он руку, показывая на жандармов, окружавших процессию. Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сорвал с его головы шляпу; он поспешил ухватиться за неё. Угрожающе протянутая рука испуганно прижалась к плечу; маленькая, с головой закутавшаяся в шубу фигурка, сгибаясь, старалась за жандармской лошастью укрыться от ветра.

Скупое освещённая внутренность церкви показалась раскрытым склепом. Уже ступив на порог, маленький человечек услышал настойчивое: «Нельзя, ваше благородие, никак нельзя, никого пропустить невозможно». Он оглянулся. С краю, возле самой двери, какой-то офицер в серой распахнутой шинели с красным воротником пытался пройти в церковь. Из-под низко опущенной, с поля надетой треуголки горели пристальные живые глаза. Офицер был невысок, он поднимался на носки, стараясь увидеть что-то через плечо преградившего ему дорогу жандарма, только он один сумел пробраться сюда, на паперть, только образ его одного, взволнованного, в распахнутой шинели, привставшего на цыпочки, рвущегося хоть взглядом проводить этот огромный и чёрный гроб, пронёс рассеянной, разбрасывающейся памятью маленький человек в церковь.

Вслед за ним, последним переступившим порог, закрылись двери. Жандарм убеждающе просил офицера в распахнутой шинели:

– Теперь и смотреть уж больше нечего. Отойдите, ваше благородие, покорнейше прошу: я ведь в ответе буду.

Офицер словно только сейчас понял, что обращаются к нему. Неестественно высоким, как со сна, голосом выкрикнул: «А?! Что?! Нельзя стоять?!» – и спрыгнул с приступки на тротуар. В темноте кто-то схватил его за руку.

– Юрьич? Ты здесь зачем?

Прямо в лицо из облезлого, вытертого мехового воротника вырвалось пьяное дыхание. Нигорин, всё не выпуская ещё его руки, старался заглянуть в глаза.

– Интересно?! А?! Интересно? Словно повешенного – ночью, ни музыки, ни парада. А ты на морозе мёрзнешь. Иди-ка ко мне, чай, уж там собрались...

Лермонтов вырвал у него руку.

Сердце вдруг заколотилось так, что дальше казалось страшным сделать хотя бы шаг. Нет, нет – он не мог ослышаться. Рядом, совсем рядом, звонким, молодым голосом, часто сбиваясь, декламировали:

...Убит!.. к чему теперь рыдания,  
Пустых похвал ненужный хор  
И жалкий лепет оправданья?  
Судьбы свершился приговор!  
Не вы ль сперва так злобно гнали  
Его свободный, смелый дар  
И для потехи раздували  
Чуть затаившийся пожар?..

– Вот, вот, Юрьич! – прислушиваясь, воскликнул Нигорин. – Я сюда шёл, то же самое, эти новые твои стишки в толпе слышал.

– Ты-то почему знаешь, что они мои?

– А вчера кто-то их у меня по бумажке читал. Так все бросились списывать. Память у меня знаешь какая: вчерашнюю сдачу помню.

Нигорин хихикнул, но проговорил он всё это уже без прежней развязности, словно с трудом и неохотно. Впрочем, Лермонтов и не слушал. Вот тот же взволнованный голос рядом говорил:

– А это, это разве не такой чудный дар?! Ах, если бы мне привелось достать где-нибудь полный список! Эти восемь строк я запомнил на слух. А всё стихотворение... нет, оно положительно прекрасно. Пушкин, умерев, не унёс с собой в могилу своего чудесного дара.

Так же, как когда-то в юнкерской школе, сделалось вдруг мучительно стыдно,  
Страница 235

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
неловко, что это говорят про него, им восхищаются, его стихами. А может быть, стыдно было и оттого, что едва поборол в себе желание крикнуть: «Это я, я написал эти стихи, вот они, слушайте!» Сердце по-прежнему продолжало биться неуёмно и страшно. Дыханье было стеснено.

Нигорин смеялся:

– Пойдём, Михаил Юрьевич, ну чего заслушался. Студенты тебя в Пушкины прочтат. Идём, ждут нас.

Лермонтов позволил взять себя за руку, послушно, не отвечая, пошёл рядом с Нигориным. Через несколько шагов их окликнули:

– Мишенька! Чуяло моё сердце, что тебя здесь я встречу.

Дарья Антоновна даже и не взглянула на нигорина. Как будто Лермонтов был один, бросилась к нему, ласково и радостно прижала к себе.

– Да что ты, Мишенька, ровно потерянный? – шепнула, целуя его. – И щёки горят. Ай Варенька твоя тебя полюбила?

## VII

Первого февраля в Конюшенной церкви должно было состояться отпевание тела Пушкина.

С самого утра этого дня Евгений Петрович ощущал в себе беспокойство и тревогу.

Заупокойная обедня должна была качаться в десять с половиной. Было уже после одиннадцати.

Он всю дорогу погонял извозчика.

На площади стояли огромные толпы. Жандармы, козыряя, очистили Евгению Петровичу дорогу к собору. В собор впускали только по билетам. Какие-то люди в дверях покосились на проходившего Самсонова.

В церкви Евгению Петровичу сразу же приметились в толпе лица двух министров. Присутствовал почти весь дипломатический корпус, много знати. Самсонов жадными глазами впивался то в ту, то в другую стоявшую вблизи гроба фигуру. Вдовы среди публики не было.

Хор чистыми, упруго звеневшими голосами тянул:

Последнее рыдание творяше...

Ему вдруг стало невыносимо тоскливо. Никогда не расставался он ни с кем из близких, никого не провожал в дальнюю дорогу, но почему-то ему казалось, что так бывает именно когда провожаешь и расстаёшься.

«Зачем, зачем я здесь?»

Сначала было просто до невыносимости беспокойно. Потом вдруг сразу стало понятным и почему он беспрестанно погонял извозчика, и почему, уже переступая порог церкви, томился смутным предчувствием какого-то открытия. У него горела и заливалась кровью голова.

Граф? Что граф! Графа уже не было ни в жизни, ни в мыслях. Вероятно, сейчас Самсонов и не вспомнил бы, какое он принял от него поручение. Своё, своё.

Он ещё раз внимательным, ищущим взором зарылся в толпу. Той, которую он хотел увидеть у гроба, той, по чьим глазам он в этот миг хотел бы прочесть что-то самое главное, самое важное для себя, в церкви не было.

Рассеянно покрестив пуговицы мундира, Самсонов повернул к выходу.

В Третьем отделении на лестнице столкнулся с Дубельтом.

– Господин гвардии штабс-капитан, – как шагом, печатая слова, заговорил Дубельт, – известно ли вашему высокоблагородию, что граф поручить вам изволил?

Евгений Петрович посмотрел на него удивлённо.

У Дубельта на углах рта выступила пена, это всегда служило признаком раздражения и всегда заставляло, даже Бенкендорфа, в таких случаях отодвигаться от него осторожно.

– Известно ли вам-с, – брызгая этой пеной, рубил Дубельт, – известно ли вам-с, что в городе ходят уже второй, а может, и третий уже день ходят возмутительные стихи? Возьмите себе-с, расследуйте. Я надписал это вам-с. Мне некогда. По высочайшему повелению я должен разбирать бумаги Пушкина, я должен исследовать... А тут стихи, ещё какие-то стихи. Они с ума сведут, эти стихотворцы, – закончил он визгливо и побежал вниз по лестнице.

За несколько ступенек до конца остановился.

– Господин гвардии штабс-капитан!

Самсонов сошёл к нему.

– Да-с. Забыл предупредить. Вы неопытны-с, можете глупость наделать. Так вот-с. Там попадётся одно имя, – зашептал он, наклоняясь к самому уху. – Отставной штаб-ротмистр Нигорин. Его не трогать. Это по моему поручению, для пользы службы. А вам заняться сим незамедлительно. Так приказал граф.

Евгений Петрович только пожал плечами:

– Слушаю-с.

И, не прибавив ни слова, стал подниматься вверх.

В канцелярии делопроизводитель секретного стола вручил ему лист с каллиграфически выведенными на нём строчками. В углу была карандашная пометка Дубельта:

Господину Гв. штабс-кап. САМСОНОВУ

Граф приказал расследовать вашему высокоблагородию.

Г.-м. Дубельт

Евгений Петрович попробовал вчитаться в вырисованные, неровные справа строчки. Какой-то иной, скрытый от всех, страшный своей таинственностью смысл, казалось, заключался в них. От строчки

...он мучений

Последних вынести не мог... –

болезненно и тоскливо сжалось сердце. Он сложил лист пополам, спрятал его в карман.

В приёмной графа камердинер опасливо шепнул:

– Сейчас уезжают.

Самсонов настойчиво повторил:

– Доложи.

Рядом, из туалетной, раздался скрипучий, мямлящий голос графа:

– Ну, ну, mon cher, что у тебя там?.. Входи.

Бенкендорф, стоя у зеркала, щёткой приглаживал торчавшие на висках седые волосы.

– Ваше сиятельство приказали мне расследовать происхождение стихов «На смерть поэта»?

– Да, да, mon cher.

Граф вдруг отвернулся от зеркала, заулыбался виновато, в такт словам дирижируя щёткой.

– Да, уж пожалуйста. Сейчас такая кутерьма, что голова кругом идёт, поручить некому. Написал-то их Лермонтов, парень, в сущности, безобидный, только шалопай большой руки. Это ничего. А вот м-м... какой подлец их по городу пустил, так что теперь чуть ли не каждый декламирует, – это, это выясни.

Он снова наклонился к зеркалу. Растягивая пальцами сморщенную, до блеска пробритую на щеках кожу, внимательно рассматривал какой-то прыщик. Что-то вспомнил.

Не глядя, левой рукой бросил Самсонову с туалетного столика печатный листок.

– Да вот ещё, mon cher. Полюбуйся. Это твоё упущение.

Это была последняя страница «Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду».

В чёрную траурную рамку было заключено:

Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великолепного поприща!.. Более говорить о нём не имеем ни силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю ценность этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость! Наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет у нас уже Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!  
29 января, 2 часа 45 мин, пополудни.  
Граф сердито покосился на молчавшего Самсонова.

– Что это такое, в самом деле, mon cher?

Он покончил со своим туалетом, пошёл было к дверям, посреди комнаты остановился, сердито оправляя ворот мундира.

– Что это за чёрная рамка вокруг известия о смерти человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это ещё куда бы ни шло... А то – «Пушкин скончался в середине своего великого поприща»! Какое это поприще такое? Что он был – полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стихи не значит ещё проходить великое поприще. Неудобно и неприлично. Строгое замечание, выговор, предупреждение... и цензору и редактору. Понял? А с Лермонтовым это ты разберёшься. Ну, прощай. Мне надо спешить к государю.

### VIII

К Беклемишеву[151] Бурнашёва ввёл его новый знакомый.

Молодой Беклемишев, носивший сейчас золотой аксельбант военной академии, служил в том же, что и Глинка, Харьковском уланском полку.

По воскресеньям в доме бывали званые обеды. Хлебосольный хозяин неизменно приглашал тогда к столу и тех, кто собирался на половине сына.

Таким образом, и Владимир Петрович удостоился чести обедать у шталмейстера двора.

До обеда на половине молодого Беклемишева шёл оживлённый спор.

Конногвардейский поручик Синицын, человек невзрачной и невыразительной внешности, обычно молчаливый и застенчивый, сейчас рассуждал с видом необыкновенно серьёзным и значительным. Он был аудитором в военносудной комиссии над убийцей Пушкина.

– Государь, не отменяя постановления комиссии, – рассказывал он, – по исконному своему милосердию смягчил его, как мог. Высочайшая резолюция по сему делу гласит: «Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». И то сказать, господа, по точному смыслу сто тридцать девятой статьи воинского сухопутного устава за дуэль, окончившуюся смертоубийством, положено повешение. Закон суров, излишне суров для нашего просвещённого

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org века. И потом, поручик Геккерн был сам тяжело оскорблён, комиссия нашла нужным вступить за него у государя, ходатайствуя только о разжаловании в рядовые...

– Вступить! Ходатайствовать о смягчении! Вот истинно русские сердца! Господа командиры частей гвардейского корпуса, тлея в них хоть искра участия к нашей славе, к нашей гордости, к нашему Пушкину, должны были не смягчать закон, а, наоборот, требовать четвертования. Мало повесить вашего Геккерна, убийцу русского гения.

Владимир Петрович почти с ужасом посмотрел на молоденького семёновца. На мундире его тоже был золотой аксельбант военной академии.

Синицын тихонько, не без ехидства, захихикал.

– А вы, милейший Линдфорс, полагаете, что гению России позволительно плевать в лицо и оскорблять не только благоговеющих перед ним соотечественников, но и иностранцев, о чести и благородстве имеющих понятие не меньшее? Им-то до русского гения дела ведь нет.

С этими словами он встал, очевидно показывая тем, что дальше спорить не намерен, и отошёл в угол.

Линдфорс, не обратив на него никакого внимания, взывал уже теперь ко всем бывшим в комнате:

– Меня не удивляет, господа, когда наши старички, какие-нибудь почтенные звездоносцы, берут сторону этого презренного убийцы, меня не удивляет, что лермонтовских бичующих стихов испугались наши родители, но чтобы среди нас, среди молодёжи, находились люди, не постигающие, что простить убийцу Пушкина – значит не иметь никакого уважения, никакой гордости к собственному имени, это для меня непостижимо...

Синицын, осторожными мелкими шажками прохаживавшийся по комнате, посмотрел на своего противника иронически прищуренным взглядом, ухмыльнулся, но ничего не сказал.

– Да, кстати о стихах Лермонтова! – перебивая Линдфорса, воскликнул хозяин.  
– По рукам ходят уже новые, добавочные к тем, что были. Говорят, эти заключительные ещё сильнее и резче. Кто из вас, господа, знает их?

– Я, – поспешил заявить Линдфорс.

К нему сразу бросилось несколько человек.

– Вы знаете? Знаете? Так скажите же их скорее. Ведь их так трудно сейчас получить.

Бурнашёв тоже проворно извлёк из кармана записную книжку и карандаш.

– Владимир Петрович, – услышал он над ухом.

Синицын тронул его за плечо, глазами приглашая выйти из комнаты.

По мягкости своего характера Владимир Петрович не посмел отказаться, со вздохом спрятав обратно в карман записную книжку.

Вокруг Линдфорса столпились все присутствующие. Сбиваясь и нетвёрдо он читал:

...А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов,  
Пятою рабскою поправшие обломки  
Игрою счастья обиженных родов!  
Вы, жадною толпой стоящие у трона...

– Идёмте, Владимир Петрович, – шепнул Синицын, – я вам должен кое-что сказать.

Никто не заметил, как они вышли.

В бильярдной, убедившись, что за дверьми никого нет, Синицын взял из стойки

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
кий и, приблизившись вплотную к Бурнашёву, вполголоса заговорил:

– Мы с вами, Владимир Петрович, старые знакомые, и оба люди тихие. Так вот, проформы ради, чтобы кто не подумал, что мы секретничаем, давайте-ка шарокатствовать, будто играем партию. А я вас ведь с намерением удалил от того разговора. Эти молодые люди, очевидно, ещё не знают, что случилось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, как помнится, вы у меня как-то на лестнице встретили. Стихи эти будут у меня сегодня же вечером, и в самом верном списке, так что поедемте потом ко мне, я их дам вам списать. Только видите ли, стихи эти как-то уже попали не в добрый час на глаза государю, и над Лермонтовым не хуже, чем над Дантесом, наряжено следствие. Теперь не только эти дополнительные, но и всё стихотворение целиком сделалось контрабандным и преследуется жандармерией. Поэтому вы понимаете, что бравировать знанием этих стихов, особенно нам с вами, людям тихим, вовсе не годится. Вот я и позволил себе увлечь вас от того кружка, с половины Николая Петровича.

– Крайне, крайне признателен вам, любезнейший Афанасий Иванович, а за то, что и стихи мне списать обещаете, – вдвойне, – захихикал Бурнашёв. – Только ловко ли, что мы так долго отсутствуем. Может, там уже к столу пригласили.

– Ну что ж, пойдёмте. Пожалуй, и правда пора.

Действительно, там уже садились за стол.

Какой-то подагрического вида старец в ленте и со звездой сокрушённо качал головой и говорил:

– ...Да, да, дерзки, весьма дерзки стали. И правительство и общество поносить решаются. Э, батенька, что говорить: *c'est un arriere-gout de de'cabrisme de nefaste memoire*[152]. Надо бы, надо бы за такие стишки надеть на него белую ляжку. Пусть голубчик в шкуре рядового-то попробует, как к революции-то призывать. А, пожалуй, ещё государь, по неизречённому милосердию своему, простит и этого сорванца.

– Так что, ваше высокопревосходительство, полагаете, – не утерпел пылкий Линдфорс, – что за убийство Пушкина и за благородный порыв возмущённого русского сердца кара должна быть одна и та же?

Звездоносец с минуту тяжело прищуренными глазами смотрел на него.

– Да ты, я вижу, тоже того, – наконец разрешился он. – Таких же идей набрался?! Тоже революции хочешь?!

– Помилуйте, ваше высокопревосходительство, в чём же вы тут видите революцию? Эти стихи – самые верноподданнейшие, один эпиграф к ним говорит за это. Да и эти дополнительные строчки – где же тут можно увидеть революцию?

И он опять не удержался, чтобы не продекламировать:

А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов...  
Его оборвал хозяин. Почтенный шталмейстер, не теряя, впрочем, для всех остальных весёлого выражения лица, взглянул внушительно.

– Помилуй Бог, – воскликнул он по-суворовски, – стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я люблю, чтобы гости кушали мою хлеб-соль во здравие. А тут вдруг ты со своими стихами: все заслушаются, и никто не узнает вкуса этого фрикасе из перепёлочек. А они, братец мой, перепёпочки-то, из воронежских степей в замороженном виде присланы.

И он очень обстоятельно и подробно начал объяснять трёхзвездному сенатору и дамам преимущества дичи, ловленной соколами, а не в тенёта. Завязался разговор о перепелах.

Владимир Петрович по скромности как своего характера, так и общественного положения за всё время обеда не сказал ни слова.

После кофе гости стали расходиться. Синицын, подойдя к Бурнашёву, повторил



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org своё приглашение. Тот виновато заулыбался и законфузился.

– Чего вы? Или забыли, что хотели иметь?

– Афанасий Иванович, голубчик, – взмолился Бурнашёв. – Вы мне позвольте вперёд домой съездить. Вам, как старому знакомому, признаться не стыдно: мозоли. Сапоги сегодня только первый раз надел, и сил никаких нету.

– А, – с серьёзным видом протянул Синицын. – Поезжайте, поезжайте, но только помните: я вас жду.

Всю дорогу домой Владимир Петрович переживал этот столь льстивший его тщеславию обед. Несмотря даже на боль, которую причиняла тесная обувь, он улыбался самодовольно и счастливо.

Дома в прихожей к нему с растерянными, испуганными лицами бросились мать и сестра.

– Володенька, родной, да что ж это такое? – захлёбываясь слезами и словами, говорили они. – Нужно скорее ехать просить... жаловаться... ведь ты же ничего не сделал...

– Что случилось?! – чувствуя, как у него подкашиваются ноги, вымолвил Бурнашёв.

– Жандарм за тобой. Ждёт тебя там.

По зале, заложив руки за спину, с терпеливым и равнодушным видом расхаживал жандармский капитан. Заметив входящего Бурнашёва, он поспешно спросил, чуть наклоняя голову:

– Бурнашёв? Владимир Петрович? Приказано немедленно доставить вас в Третье отделение собственной его величества канцелярии.

И опять поклонился.

Владимир Петрович попытался что-то сказать – получилось ёкающее непонятное бормотанье. Жандарм щёлкнул шпорами, приглашая следовать за ним, и Владимир Петрович послушно, нахлобучив на голову шляпу, – шубы он снять не успел, – в тех же тесных сапогах, на том же самом извозчике, на котором он должен был ехать к Синицыну, позволил отвезти себя к Цепному мосту. В голове беспорядочно оползающей кучей громоздилась невероятная путаница мыслей.

У Цепного моста сани завернули во двор. Владимир Петрович попробовал подняться вслед за выскочившим проворно капитаном. Словно за эти полчаса состарился он на двадцать лет или его хватил удар – не слушались ноги, и руки беспомощно цеплялись то за облучок саней, то за кушак извозчика. На лестнице жандарм должен был останавливаться и ждать, так медленно поднимался Владимир Петрович.

Комната, куда его ввели, была просторной и светлой. Окна выходили на Фонтанку. Ранние февральские сумерки густели, оконные квадраты на паркете скозились и багровели.

Жандарм, доставивший его сюда, вышел, не сказав ни слова. Владимир Петрович оглянулся растеряннно и беспомощно. Только сейчас он заметил в углу застеленную постель. От вида этой постели ему вдруг сделалось так невыносимо тоскливо и жалко себя, что он заплакал.

Сколько прошло времени, он не знал, во всяком случае за окнами была густая чернильная тьма, когда, словно сорвавшись, стукнули карабинами жандармы, широко распахнулась и тотчас же захлопнулась дверь. Кто-то быстрым решительным шагом вошёл в комнату. Владимир Петрович не разглядел лица, только мундир, блеснувшее золото эполет да мягкий звон шпор переполнили сердце испугом. У него закружилась голова, его мутило.

– Сидите, сидите, – небрежно бросил вошедший, заметив, что арестованный делает тщетную попытку подняться. – Вы не замёрзли? Тут холодно, – так же небрежно, должно быть занятый своими мыслями, спросил он.

Но звук этого голоса пробудил какую-то надежду в сердце Бурнашёва.

Пересиливая дрожь, он постарался улыбнуться возможно приветливее, опять попытался встать.

«Проклятый сапожник. Я так и не переобулся. Господи, за что мне, несчастному, такие страдания?» – морщась от боли, подумал он.

Офицер в гвардейском Преображенском мундире присел к столу. Владимир Петрович заглядывал ему в лицо, старался поймать его взгляд.

– Ведь мы с вами знакомы. Извольте помнить: вы у меня справочку для вашего дядюшки брали, – искательно лебезил он. – Скажите ж, Евгений Петрович, на милость, что это за камуфлет такой? Ума приложить не могу – за что меня взяли.

Преображенец рассеянно и вместе с тем удивлённо посмотрел на него. У Владимира Петровича испуганно сжалось и упало сердце.

«Неужели ошибся?! Неужели это не Самсонов?! Неужели не узнаёт?! Пропал, пропал совсем!»

На него смотрело незнакомое, с резкими, осунувшимися чертами лицо, только вот глаза с голубым пристальным взглядом всё те же, но сейчас они горели тяжёлым блеском, как будто Самсонов не спал уже много ночей.

– Знакомы? Возможно. Не помню, – рассеянно бросил он, выкладывая на стол перед собой лист бумаги. – Ваше имя, фамилия, чин? Из кого приходите? Место служения?

Владимир Петрович заплетающимся языком ответил на все вопросы.

– Так. Теперь скажите, от кого вы услышали или получили в списанном виде впервые стихотворение, называемое «На смерть поэта»?

«Попался, конечно! – с отчаянием пронеслось в голове. – Говорил мне Синицын. Никогда больше, никогда больше не буду списывать стихов, не прошедших цензуры».

Против воли, сам не понимая, как он их запомнил, он заплетающимся языком повторял слова, которые говорил у Беклемишева за обедом звездноносный сенатор.

– Я сам их осуждаю. Стихи эти суть не что иное, как призыв к революции. Это отрывка печальной памяти декабризма, это даже опаснее. Единственно из болезненного к литературе любопытства...

Самсонов прервал резко:

– Но и вы их давали списывать. Например, библиотекарю Цветаеву.

– Точно так-с, но это человек благонамереннейших мыслей...

Его, казалось, не слушали.

– От кого вы их получили, я вас спрашиваю?

– От Глинки, Владимира Сергеевича Глинки. Он первый мне похвастался, что имеет их в списанном виде. Он всегда хвастает, что первый достаёт стихи ещё до печати.

– А Глинка где достал – вы знаете?

Самсонов говорил усталым равнодушным голосом. Бурнашёв заметил, что он не записывает его ответов, и это придавало ему мужества.

– Он называл фамилию, только я запомнил. Отставной ротмистр их, то есть Харьковского уланского полка. Нигорин, кажется.

У Самсонова по губам скользнула улыбка.

– Вы от Глинки, Глинка от Нигорина, а с самим автором, корнетом

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Лермонтовым, вы никогда не встречались? Его лично не знаете?

– Никогда даже не видывал. Честное слово, не знаю. Раз как-то на лестнице у одного моего хорошего знакомого столкнулся и то только потом узнал, что это был Лермонтов.

Самсонов опять улыбнулся.

– Отлично. Вас привезли сюда по недоразумению. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас отпустили. Но...

Он жестом остановил порывавшегося говорить Бурнашёва.

– Потрудитесь запомнить. Этот наш разговор и вообще ваше пребывание здесь должны остаться в совершенном секрете. Поняли? Иначе для вас опять будут неприятности.

IX

Вероятно, даже и Бенкендорф подивился бы рвению своего адъютанта, с каким тот выполнил данное поручение. «Вслушиваясь и направляя», Евгений Петрович испытывал что-то похожее на обретенный и благодетельный покой. Ещё говорили о несчастном Пушкине, ещё осуждали или сочувствовали его вдове, ещё гадали о причинах неизменно сопутствовавшего Дантесу счастья. Этими пересудами, этой воркотливой, уже начинавшей многим надоедать болтовнёй с него снимали муку его самолюбивых терзаний. Наступивший Великий пост, словно глубоким вздохом, перевёл дыхание.

Сегодня он должен был снять показание с арестованного «за сочинение недозволительных стихов» корнета Лермонтова. Он уже три дня откладывал эту поездку. Самый звук этого имени был ему неприятен. Он неизбежно вызывал в памяти мохнатый серый рассвет, заваленную, как мёртвыми, пьяными телами комнату, боль в сердце, поколебленную веру в любовь, наглую улыбку наглого гусара.

С чувством неясным и смутным для самого себя ехал Евгений Петрович к Главному штабу, где был заключён арестованный Лермонтов.

В маленькой комнатке со стенами, испещрёнными надписями и рисунками сажей, с кроватью из голых досок, с простым деревянным столом тускло горела одинокая свеча.

Разросшаяся во всю стену тень колыхнулась, когда вошёл Самсонов, отползла в угол. Лермонтов с поспешностью отодвинул от себя клочок серой обёрточной бумаги, на которой он что-то писал обгорелой лучинкой, привстал с табурета.

– По поручению его сиятельства, господина шефа жандармов и командующего императорской Главной квартирой, снять показание по дачу о неподзволительных стихах. Гвардии штабс-капитан Самсонов.

Лермонтов с едва заметной усмешкой склонил голову.

Свеча освещала сейчас только подбородок, улыбка пропадала в тени, но и так Евгению Петровичу она показалась жалкой, униженной и виноватой. Он оглянулся, ища места, где бы присесть. Лермонтов придвинул ему табуретку, мягко сказал:

– Садитесь, пожалуйста. Здесь у стола вам будет удобнее.

Евгению Петровичу не хотелось упускать из взора его лицо, он пристроился в углу, осторожно отодвинув какую-то еду и стакан, достал бумагу и карандаш.

Голос Лермонтова показался ему убитым.

– ...Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшим участием, – говорил Лермонтов, – какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и наконец вынужден сделать шаг, противный законам земным и небесным... защищая честь своей жены в глазах строгого света.

Словно в комнату ворвался порыв свежего ветра, вздрогнул Самсонов, нервно поправил сползшую с плеча шинель.

– Другие, особенно дамы, – тем же ровным, опавшим голосом продолжал Лермонтов, – оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурён собой; они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее... Не имея, быть может, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сражённого рукой Божьей, человека, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого, и врождённое чувство в душе неопытной защищать всякого невинно осуждённого зашевелилось во мне ещё сильнее по причине болезненно раздражённых нервов. «Он и в самом деле не то, что о нём думают. Той бабе у

Нигорина и вправду открыта его душа», – почти умиленно подумал Самсонов, но сейчас же это заслонилось и стёрлось привычным недоверием к словам.

– Я слушаю. Пожалуйста, дальше, – сухо сказал он.

– Когда я спрашивал, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали, – вероятно, чтоб придать себе более весу, – что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился – надо мной смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, но вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского. Государь император, несмотря на прежние заблуждения покойного, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением, как меня уверяли, высшего круга общества увеличила в моём воображении, очертила ещё более несправедливость последнего...

У Евгения Петровича скользнула по губам довольная и ироническая улыбка.

– Так вы полагаете, что вы высказывали в вашем сочинении мнение правительства? – спросил он.

– Я был твёрдо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетённым, – тихо сказал Лермонтов.

«Чего он трусит? – брезгливо поморщился Самсонов. – Неужели не знает, что ему ничего не будет, если даже под арест сажают не на гауптвахту?»

– Этот опыт был первый и последний в этом роде, – между тем поспешно опять заговорил Лермонтов, – вредный, как я прежде мыслил и как теперь мыслю, для других ещё более, чем для меня. Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина, что, к несчастью, я сделал слишком скоро, то один мой хороший приятель, – Самсонову показалось, что у него дрогнул голос, – один мой приятель просил меня их списать. Вероятно, он их показал как новость другому, и таким образом они разошлись. Я ещё не выезжал и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведённого ими, не мог вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал.

«Врёт», – решил про себя Самсонов, а вслух, брезгливо поморщившись, спросил:

– Кто этот ваш приятель?

– Раевский.

Когда Самсонов вышел, Лермонтов с минуту весело и радостно смотрел на дверь. Целый день сегодня теснили сердце странные и новые для него чувства. Заточение, в котором не дают даже чернил и бумаги, казалось, делало его самым несчастным на свете. Допрашивать приезжали и корпусный аудитор, и от военно-судной комиссии, а вот сейчас и жандарм. Надежда на то, что всё кончится пустяками, что бабушка сумеет выхлопотать ему прощение, сменялась страхом безвестности. Казалось – его все забыли. Это стало в конце концов таким горьким, что думать о себе больше было невозможно. И вот тогда в сердце вкралась умиленная, сладкая печаль. Чувство было настолько ново, настолько неожиданно, что он долго шагал по комнате, стараясь справиться с охватившим волнением. Потом подошёл к столу, обжёг на свече отщеплённую от стола лучинку, на клочке серой бумаги, в которой были завернуты принесённые

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
сегодня из дома тарелки с едой, без поправок, без помарок, написал:

Я, Мать Божия, ныне с молитвою  
Пред Твоим образом, ярким сиянием,  
Не о спасении, не перед битвою.  
Не с благодарностью иль покаянием,  
Не за свою молю душу пустынную,  
За душу странника в свете безродного;  
Но я вручить хочу деву невинную  
Тёплой Заступнице мира холодного.  
Окружи счастьем душу достойную.  
Дай ей спутников, полных внимания.  
Молодость светлую, старость покойную,  
Сердцу незлобному мир упования.  
Срок ли приблизится часу прощальному  
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –  
Ты воспрять пошли к ложу печальному  
Лучшего ангела душу прекрасную.  
Написав, долго сидел умиленный и растроганный. Казалось, этими строчками он  
выдал расписку, что навсегда отказывается от собственного счастья. Одно  
сознание» что он может так желать его другому, переполняло сердце  
горделивым торжеством.

– Да, да, вот и Дарья говорила, – она женским чутьём понимает в этом – не  
любит, не может Варенька любить такого. Ну, пусть и не любит, только бы ей  
хорошо. Милая, милая, – шептал он с восторженной и благородной улыбкой.

Сейчас, после ухода Самсонова, весело и легко на сердце было только одно  
мгновенье. Слово из темноты протянулась рука, замахнулась схватить его. Он  
вскрикнул:

– я? я? и не запнувшись?!

Слова, как рыдания, душили. Их нужно было высказать, излить, освободиться  
от них. Он рванулся к столу. На глаза попался клочок бумаги со стихами.  
Раздражённо смахнул его на пол.

– Святослав, ты прости, – шептал горячо и отрывисто, – я люблю тебя, ты  
настоящий друг, знаю, знаю.. Даже сидя под арестом, думаешь только обо мне.  
Ухитрился прислать записку, что надо говорить.. А я.. нет, нет, это  
невозможно.

Той же лучинкой, какой писал стихи, торопливо набрасывал на обрывке:

Ты не можешь вообразить моего отчаяния.. Я сначала не говорил про тебя.. Меня  
допрашивали от государя – жандармы, – сказали, что тебе ничего не будет, а  
я запрусь – меня в солдаты.. Я вспомнил бабушку и не смог.. Я тебя принёс ей  
в жертву..

Остановился, с минуту смотрел тупым невидящим взглядом на бумагу, потом  
схватил, изорвал её в мелкие клочки. Бросился на голые доски кровати. Слёзы  
бессилья, злобы, раскаянья, стыда хотел удержать хриплым вскриком и не мог.

Х

Город просыпался. Отпирались лавки. Из ворот с грохотом выезжали гружёные  
подводы. Возле уличных фонтанов переругивались и гремели вёдрами водовозы.  
От почтовой станции вверх по Мясницкой неслись, обгоняя, брички и  
запряжённые в четвёрку кареты. Казённая почтовая тележка тарыхтела и  
прыгала по неровной мостовой.

Ослепительно белой, словно вымытая майским солнцем, кинулась в глаза стена  
Китай-города.

Над Москвой-рекой главы кремлёвских церквей кутались дымкой разгоравшегося  
зноя. В Замоскворечье, передразниваясь, звонили к обеду сразу в нескольких  
местах.

Лермонтов выпрямился, поправил кожаную подушку за спиной. Открываясь  
глазам картина, колокольный весёлый перезвон неприятно напомнили о почти  
месячном московском беспутстве, о недописанной поэме, пустых, без вкуса и  
радости прожитых днях.

Хотелось торопливой деловитости, быстро бегущих мыслей, хотелось, чтобы в голове прочно и ладно складывались оборвавшиеся на бумаге строчки. Так иногда бывало. Потом они записывались просто, как выученные наизусть. Но сейчас не удавалось и это.

«Почему это? – лениво копошилось в голове. – Почему эта тема так цепко держит меня?»

Сюжет дал рассказ, слышанный ещё в пору его университетского пребывания в Москве. У молодого замоскворецкого купца была красавица жена, никуда не выходившая, кроме церкви и родных, да и то не иначе как в сопровождении старухи-няньки. Какой-то лихой гусар, тщетно добивавшийся знакомства с красавицей купчихой, похитил её на улице, когда она возвращалась от всенощной. Муж отомстил за поруганье и затем, арестованный, наложил на себя руки.

Конечно, дело не в сюжете, – написать такую поэму потянули златоглавые московские церкви, вечерний переполненный звон, пушкинские старинные песни, вид Кремля, брезгливая ненависть и отвращение ко всему сегодняшнему. Но почему он ухватился именно за этот сюжет, что было ему близкого в страданиях мужа, кладущего голову из-за неверной жены? Всегда издевался над ревнивыми страданиями обманываемых мужей, все они казались смешными глупцами, в женскую верность, как и в существование драконов, не верил вообще. А вот сейчас этот в суматохе противоречивых мыслей родившийся купец Калашников был дорог и близок, как брат, друг, болющий одной с ним болью. В памяти проступили так ярко, что их захотелось произнести вслух, другие строчки. Вспомнил ранний петербургский вечер, горячий спор с кузеном Столыпным, братом Монго. Столыпин доказывал, что Пушкин не мог, не вправе был требовать от своей жены любви. Пушкин – урод, безобразный ревнивец. Дантес – а может, и не Дантес, – красавец, блестящий и занимательный любовник, не равный ему ни положением, ни внешностью. Как тогда, от одной мысли, что и его – невидного кривоногого Маешку – могут презирать, смеяться над его страстями, холодное, сводящее мышцы бешенство подступило к сердцу. Вслух скверно и длинно выругался. Дремавший на облучке Андрюшка встрепенулся.

– Чего изволите, Михаил Юрьевич?

– Ничего. Дурак, пошёл к...

Андрюшка опять дугой выгнул спину, головой ушёл в плечи.

Навстречу, с юга, ветер душным, тяжким дыханием пахнул в лицо. Проехали заставу. В густой и яркой зелени прямо и застыло, как лунатик, прошёл монастырь с белой высокой колокольней. Ветер на гряды тянувшихся по обе стороны огородов, на кряжистые избушки подмосковных деревень гнал тучи пыли. Солнце, скрываясь в облаках, как раскачиваемый в руке фонарь, перебрасывало с места на место золотые полосы.

– Андрюшка! Как будто дождь собирается?

– Похоже.

– Отстегни фартук.

Лермонтов глубже, по самые уши надвинул уродливый кивер из чёрного барашка.

Кругом всё стихло, пропал и ветер. Серая скучная тень легла на землю. Вдалеке, словно за горами, рассыпался первый удар грома. Дорожная пыль покрылась рябинами первых дождевых капель.

Ямщик остановил тележку, соскочил с облучка, перебрасывая кнут из руки в руку, натягивая на плечи кожух. Андрюшка застёгивал фартук.

От непроходившего чувства жалости к неживому, к не жившему Степану Калашникову стало противно и обидно. Обида вызывала воспоминания горькие и унижительные. Если бы не дождь, частой сеткой занавесивший дали, он выпрыгнул бы из тележки, до изнеможения шагал бы по дороге.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Сначала ему было приказано оставить Петербург в течение сорока восьми часов, то есть ровно во столько времени, во сколько могла бы быть готова новая форма. Бабушка хлопотала всюду, где только могла. Ему разрешили Пасху пробить в столице.

Покидать Петербург было жалко. Но рисоваться обречённостью ссылаемого на Кавказ, под пули, на погибель, было так соблазнительно. Известность, которую доставила история со стихами, кружила голову. Вероятно, никогда ещё до сих пор он не говорил столько дерзостей, не издевался так откровенно над всеми, кто только отваживался подойти к нему с дружелюбием. Экзотический, непривычный для Петербурга мундир заставлял обращать на себя внимание, где бы в нём ни появился Лермонтов.

На одном вечере столкнулся с Самсоновым. Тот с иронической усмешкой оглядел его чёрную куртку с кушаком, широкие с краповыми лампасами шаровары, оглядел всю его маленькую фигурку, ставшую от этого наряда ещё более невзрачной и неуклюжей.

– Вас смешит эта форма? Не правда ли, она несколько портит фон этого вечера?

– В моих глазах никакой мундир не может казаться недостойным, ибо каждый, носящий его, одинаково служит его величеству, – сухо ответил Самсонов.

У Лермонтова в глазах пробежал торжествующий и злой огонёк.

– С той только разницей, что одни несут эту службу на поле брани, а другие на паркете гостиных.

– Вероятно, вы и нашли себя недостаточно способным для последней, – хмуро улыбнулся Самсонов, делая движение уйти.

Лермонтов развязно и быстро бросил ему вслед:

– Э, стоит ли нам в этом пикироваться? Отсюда, если вы не хотите задохнуться, есть только две дороги. Для немногих – в Париж, для многих – и меня в том числе, – на Кавказ, причём лично для себя вы, кажется, разыскали и третью.

И он выразительно посмотрел на его золотой жандармский аксельбант.

Самсонов, только недоумённо пожав плечом, молча отошёл прочь. На другой день Лермонтов хвастался перед приятелями, как ловко отомстил

издевавшемуся над ним на допросе жандарму.

Но выхлопотанная бабкой отсрочка близилась к концу. Нужно было готовиться к отъезду.

...Ямщик, оборачиваясь с облучка, спросил:

– Ваше благородие, не переждать ли нам? Ишь как расходился, так и хлещет.

Действительно, дождь усиливался с каждой минутой. Барашковый кивер намок, вода с него ручьями текла по лицу. Лермонтов молча кивнул головой.

У первого же по пути двора они остановились.

Лермонтов, войдя в избу, скинул мокрую шинель и кивер, платком вытер лицо, присел к столу. Андрюшка втащил дорожный погребец, начал было его распаковывать, – он досадливо махнул рукой:

– Не надо. Поди принеси мне портфель.

Огромный, как чемодан, портфель долго лежал на столе нераскрытым. Злоба, боль унижения и обиды не проходили. Наконец с лукавой горькой усмешкой он вынул из кармана привязанный к платку ключ, отпер портфель. Тетрадки, пачки писем, стопа белой бумаги, перья выпали на стол. Он выбрал из этой груды увесистый, запечатанный сургучом конверт. На конверте неразборчивой скорописью было написано:

Его благородию  
поручику МАРТЫНОВУ  
НИКОЛАЮ СОЛОМОНОВИЧУ  
в собственные руки.

Лермонтов повертел его в руках: так держат, не решаясь распечатать, послания любимых и далёких. Улыбка, искушённая и недобрая, бродила по лицу. Ясным отсутствующим взглядом смотря куда-то мимо рук, державших пакет, сломал сургуч. Туго набитый конверт пришлось разорвать. Он скомкал и отбросил его прочь, скомкал, не читая, и сложенный вчетверо лист, исписанный тем же почерком, что и на конверте. Выпавшие три сторублёвые ассигнации небрежно сунул в карман шаровар. Лицо осветилось довольной и весёлой улыбкой. Разгладил и углубился в огромное, чуть ли не на десяти страницах, посланье. Почерк был тонкий и мелкий; так пишут женщины, готически вырисовывая большие Н и L и узкой прямой петлёй ставя маленькие. «Ха-ха, а я думая, меня честят хуже, – произнёс вслух, прочитав всё до последней строчки. Довольное и весёлое выражение не сходило с лица. – А всё-таки хорошо, что распечатал. Мартышка дурак. Пожалуй, чего доброго, вздумал бы ещё объясняться». Он вдруг рассмеялся громко и весело.

– Андрюшка, подай огня!

Андрюшка, доставая огонь, завозился в сених, потом принёс зажжённую свечку.

Лермонтов смял в комок письмо вместе с конвертом, бросил на шесток. Потом встал, поднёс к бумаге свечку. Комок, расплываясь и развёртываясь, запылал лёгким и быстрым пламенем. Через минуту на шестке лежала только кучка чёрного трепещущего пепла.

Взгляд сделался печальным и задумчивым. Лермонтов, не отрываясь, смотрел, как вздрагивали и трепетали чёрные, покрывшиеся сединой листки сожжённой бумаги.

XI

Мартынова Лермонтов встретил на следующий же день после своего приезда в Москву. Завтракал у «Яра». Он не выносил одиночества в трактирах, скуки ради начал уже придирается к подававшей прислуге, как вдруг в дверях появился Мартынов.

Мартынова, хотя тот и был моложе его по выпуску, он знал ещё со школы. Это был весьма недалёкий и самовлюблённый малый, немного хвастливый, немного заносчивый, но он служил в кавалергардах, обладал красивой и видной наружностью, считался неплохим товарищем, не был назойлив, глупость его не раздражала. Они встретились как старые и близкие друзья. Сейчас Мартынов отправлялся волонтером на Кавказ. Это сблизило ещё больше, встречаться стали ежедневно, вместе завтракали у «Яра», вместе на целые ночи укатывали к Пресненским прудам к цыганам. Мартынову, видимо, очень хотелось ввести приятеля в дом своих родных. Лермонтов почему-то старательно уклонялся от этого, наконец почти накануне отъезда Мартынова (сам он задерживался в Москве ещё на некоторое время) он согласился.

Что-то похожее на смущенье, неловкую робость почувствовал он, когда Мартынов представлял его своей старшей сестре, Наталье Соломоновне.

– Это, Натали, Лермонтов. Ну да, тот самый Лермонтов, чьи стихи так понравились тебе.

На Лермонтова смотрели испуганным, но храбро взметнувшимся взором.

Он был поражён. В лице, в движениях, в улыбке у Натальи Соломоновны было какое-то неуловимое, но вместе с тем и неопровержимое сходство с любовницей Нигорина. И у этой, когда ей будет под тридцать, губы будут складываться только для хищной, плотоядной улыбки, и она постигнет, какая власть дана этим густым, стыдливо опускающимся ресницам. Нет, нет, таких-то и нужно бояться. Но когда ещё? А сейчас...

На конкурсном состязании, на малознакомом коне, перед барьером охватывает подобное чувство. Неуверенность, страх, отчаяние, досада и жажда во что бы то ни стало одолеть препятствие перемешались в душе.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Но конь не обманул.

Это случилось уже после отъезда брата.

Переходы от пристального нежного внимания к равнодушной холодности, горькие признания о своей обречённости, страстные строчки стихов не оставили безразличной Наталью Соломоновну. Уже почти точно знал, что можно и что невозможно. Родители как будто что-то начали примечать, принимали теперь с подчёркнутой холодностью, только что не отказывали от дома. И он всё-таки решился.

Был час обеда. Лакей не пошёл провожать домашнего завсегда. В тёмном коридоре возле буфетной столкнулся с Натальей Соломоновной. Она слабо вскрикнула. Впрочем, она всегда вскрикивала, когда её целовали. Он крепко сжал её руки выше кистей. В памяти осталось что-то, как тонкий упругий ствол, сопротивляясь, клонившееся в его руках к земле, острый угол сундука, о который больно ударилось колено, слабый, изнемогающий вскрик боли. Пустота в собственном успокоенном сердце вспоминалась потом как что-то отдельное, не связанное со всем этим.

Весь обед он говорил без умолку. Наталья Соломоновна, сказавшись больной, к столу не вышла. После обеда вместе с Мартыновым-отцом курили на застеклённой, только на днях открытой террасе. Заходившее солнце прямыми полосами прорезывало начинавшую зеленеть растительность. Садовники расчищали дорожки, приводили в порядок газоны. Справа, возле беседки, жгли собранную в одну кучу сухую траву, почерневшие прелые листья. Густой синий дым стлался по земле. Иногда одинокие, тоненькие языки огня пробивались из кучи. Садовники подкладывали по краям сухой травы, тогда огонь охватывал кучу со всех сторон, высоко поднимался кверху, дым делался лёгким и белым. Сгорала быстро трава, сырая слежавшаяся листва опять заволакивалась дымом, медленно тлела только по краям. Лермонтов усмехнулся.

– Так и прошлое: нужно сжигать терпеливо и упорно. И всё равно не сожжёшь.

Об этой куче медленно тлеющего мусора вспомнил сейчас. От вздоха разлетелись остатки пепла на шестке.

В избу вошёл ящик, снимая шапку и почёсываясь, сказал:

– Похоже, что перестает Теперь и до станции пустое осталось. Едем, что ли, ваше благородие?

Лермонтов послушно вслед за ним вышел из избы.

В полк он прибыл, когда летние военные экспедиции уже кончились. Зимняя стоянка армейского полка, да ещё в такой глуши, конечно, после Царского могла только пугать. Он попросился, ему не препятствовали, и за два с половиной месяца он объездил весь Кавказ, всю линию от Кизляра до Тамани.

Осенью на Кавказ ожидали государя. В сентябре пришлось вернуться в полк, готовящийся к высочайшему смотру.

Четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка Николай смотрел в Тифлисе и остался ими доволен. Бенкендорф сдержал данное старухе Арсеньевой обещание: на другой же день после смотра, одиннадцатого октября, последовал приказ:

П е р е в о д и т с я :

Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом.  
Прошлогодня перепрелая листва дымилась и не сгорала. Ещё с Кавказа Лермонтов писал Раевскому:

Любезный друг, Святослав.

Я полагаю, что либо моих два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.

Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org потому что вряд ли Поселение[153] веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом: изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шухе, в Кубе, Чемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьём за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское, даже

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато жизнь веду примерную: пью вино, только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроём из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирной, разумеется), – и чуть не попались в шайку лезгин. – Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! – Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух – бальзам; хандра к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целые дни.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее, теперь остаётся только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским[154].

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому образу жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург: увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьёзно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не забудь меня и верь всё-таки, что с а м о й м о е й б о л ь ш о й п е ч а л ь ю б ы л о т о , ч т о т ы ч е р е з м е н я п о с т р а д а л .

Вечно тебе преданный

М. Лермонтов  
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Первая беременность Надежды Фёдоровны случилась только на четвёртом году её замужества. Это событие было для неё самой настолько непонятным и неожиданным, что и мужу она не решилась сказать об этом сразу, а только когда уже сделался привычным непрекращающийся и тонкий звон в ушах, когда уже никак не пугали всегда внезапно и без всякой причины холодевшие на руках и ногах пальцы.

Роды были мучительные и трудные. Только на шестой день Надежда Фёдоровна стала узнавать окружающих, попросила позвать к ней мужа.

В белом кружевном чепце, с обострившимися чертами бледного исхудавшего лица, она показалась Евгению Петровичу незнакомой, но страшно близкой, милой, маленькой, страдающей девочкой. Сердце мучительно сжалось от жалости и любви к ней. Он наклонился, осторожно коснулся губами её лба. От взгляда доверчиво смотревших на него глаз хотелось плакать. Слова:

– Евгений, самый мой дорогой, самый любимый! – скорее понял, чем расслышал Самсонов.

Он тихо опустился на колени около кровати, гладил и целовал бессильно свесившуюся руку.

Надежда Фёдоровна говорила слабым, прерывающимся голосом:

– Ведь это только оттого, что у нас не было ребёнка, нам было так нехорошо. Теперь уж так не будет? Правда? Милый мой, ведь правда же это только от этого?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

Евгений Петрович, с трудом подавляя слёзы, мягко остановил её:

– Тебе нельзя ещё много говорить. Помолчи, Надин, помолчи, дорогая...

Она посмотрела обиженно и кротко.

– А на него ты даже не захотел взглянуть? Ведь он и твой тоже, твой ведь.

Последнее она произнесла совсем неслышно, одними губами.

Евгений Петрович вздрогнул, как будто в самое сердце ударили чем-то тяжёлым и твёрдым. Он медленно поднялся с колен, подошёл и заглянул в колыбельку.

Сперва пышная пена кружев и полотна вызвала только холодное недоумение, как корзина, полная скомканного белья. Потом кормилица осторожно разобрала и откинула покрывало. Вид крохотного, как уродливая и невыразительная карикатура, личика с красной, словно вымоченной кожей заставил брезгливо поморщиться, отвернуться. Сразу стало противно до отвращения. Умилению и нежности, так внезапно охватившим его при виде бледного страдающего лица Надежды Фёдоровны, подходил конец.

Напоминание о том, что он отец, что у него есть теперь какие-то новые обязанности, вызывало досаду и скуку. Он хотел бы забыть об этом, но забыть было трудно: напоминали всякий и каждый.

Бенкендорф на первом же докладе, сморщив дряблые щёки, прожевал тоскливую улыбку:

– Поздравляю, топ шер, поздравляю... Очень рад за тебя, теперь ты с сыном...

Бенкендорф был физиономист Поэтому он тотчас же оборвал своё поздравление, как ни в чём не бывало заговорил о другом.

– Да, топ шер, знаешь ли, – ошибся я в Лермонтове... Вон ведь опять какую пакость учинил, и вредный ведь, вредный какой оказался... Я раньше, помнишь, здесь же с тобой говорил, думал, что шалопай только, подрастёт – исправится. Сам хлопотал за него у государя, по моему ходатайству и с Кавказа и в свой полк обратно вернулся... Я ради бабки его это делал: очень достойная и благочестивая старушка... Её жалко... Но теперь баста: в гвардию уже не вернётся. И отставочку тоже не скоро, не скоро себе выслужит. Пусть там на Кавказе просвежится как следует, вредный дух из него там выдует. Возгордел, возмечтал о себе невесть что... осуждает.

В тот самый день Лермонтов был у Карамзиных с прощальным визитом. Вечером он покидал Петербург.

За окнами мягко светилось апрельское бледно-зелёное небо, над Невою, над голыми чёрными деревьями Летнего сада бежали быстрые кудрявые облака. Он засмотрелся на них, как заворожённый.

– Хорошо, как хорошо, – прошептал с глубоким и тихим вздохом.

У него был такой мечтательный, такой растерянный вид, что никто не решился спросить, что, собственно, так хорошо. По лицу бродила неловкая, смущённая улыбка. Так жалко себя не было ещё никогда.

Его уважали, его хвалили, им восторгались, ему расточали различные знаки внимания – это было где-то вне жизни. Близко, совсем рядом, вот только сказать слово, – и он, умилённый и кроткий, простит всем и всё, жизнь переполнится добром и милосердием. Этого слова никто не сказал. Из памяти, будто не на бумаге, а на ней вырисованы эти строчки, не уходило:

Ваше императорское высочество!

Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрён до сих пор надеждой иметь возможность усердной службой загладить мой поступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит ещё обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту[155]

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести, но теперь мысль, что его императорское величество и ваше высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих...  
Было тяжело и унижительно сознавать, что он написал это письмо, на которое не последовало даже ответа, ещё унижительнее помнить, что одну минуту он даже подумал:

«Ну и ладно. Пусть прочтёт только, и то хорошо».

Заключительная строчка. «Вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов Тенгинского пехотного полка поручик» и сейчас переполняла сердце горечью.

Вздых отчаяния и обиды не смог подавить, отворачиваясь от окна. С неловкой улыбкой попросил у хозяев листок бумаги.

– Знаете, хочется записать, строчки какие-то в голову лезут...

Через десять минут читал глухим, словно надорвавшимся голосом:

Тучки небесные, вечные странники!  
Степью лазурною, цепью жемчужною  
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,  
С милого севера в сторону южную.  
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?  
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?  
Или на вас тяготит преступление?  
Или друзей клевета ядовитая?  
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...  
Чужды вам страсти и чужды страдания:  
Вечно холодные, вечно свободные,  
Нет у вас родины, нет вам изгнания.  
Когда окончил читать, в глазах стояли слёзы.

## II

Был ещё ранний час, но день уже изнемогал от зноя. Ветер едва мог пошевелить занавеску у окна и был так горяч, будто вырывался из печки. Под потолком сонно и надоедно жужжали мухи.

Три недели боевого похода, полных всяких неожиданностей; смерть, казалось, караулившая из-за завалов в узких, врубавшихся в жидкий лес просеках, в тишине знойных и неподвижных полдней, в оврагах и долинах, то безмолвных, то расколотых тресками залпов; жизнь, полная не прекращающейся целые сутки походной суеты, жизнь, по-деловому серьёзная даже тогда, когда делать было решительно нечего, эта жизнь отняла, уничтожила даже самое представление о каком бы то ни было распорядке, когда нужно что-то придумывать, чтобы занять себя.

Лермонтов потянулся, зевая.

Вид зелёного, в чёрных сползающих плешах, Машука нагонял лень и тоску. Жара мешала думать. Он крикнул, чтоб давали одеваться.

У Елизаветинского источника по утрам собиралось всё «водяное» общество. Там можно было узнать все местные новости, встретить знакомых, познакомиться с новыми приезжими. Узкая ухабистая дорога, неизвестно по какой причине называвшаяся улицей, вела туда. У источника, на площадке перед каменной, из серого песчаника галереей озабоченно расхаживали, ожидая действия вод три полные и пожилые дамы. В тени на каменной скамейке с унылым видом сидело несколько военных и штатских. Два офицера были на костылях, у одного рука покоилась на перевязи.

В стороне от них, прислонясь к каменному выступу галереи, стоял высокий и статный брюнет в сюртуке без эполет и в белой фуражке. В крутых кудрях уже заметно пробивалась седина, но лицо у него было свежее и молодое.

Лермонтов ещё издали, приветливо улыбаясь, козырнул высокому брюнету.

У того улыбка не проросла из густых, на кавказский манер запущенных усов.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Впрочем, руку он протянул с живостью и как бы обрадованный.

– Здравствуйте, здравствуйте, Лермонтов. Очень рад вас видеть здесь без костыля и не с подвязанной рукой. Право, вам должно чертовски везти, если вас уже отпускают к водам.

Лермонтов попытался изобразить на лице страдальческую гримасу:

– Не совсем уже так, господин полковник, проклятая ревматизма и вот... – он схватился за бок, – нервные боли. Нет, я решительно и в этом несчастливее сих господ.

Полковник, словно он только сейчас их заметил, поглядел на раненых офицеров. Лицо осталось таким же невозмутимым, равнодушным, только сквозь улыбку мелькнули белые зубы.

– Серьёзно? У меня такое впечатление, что вы репетируете предстоящий разговор с какой-то дамой.

– Вы почти угадали, – рассмеялся Лермонтов. – Что делать, если здесь, на водах, самая великая милость судьбы – роман с приезжей провинциалкой. Но только, Константин Карлович, это просто так, вне всяких предвидений, одна дурная привычка. Да потом, что же ещё прикажете делать, когда от жары мозги отказываются работать.

У полковника улыбка опять спряталась в гуще усов. Он пристальным, неотрываемым взглядом смотрел в сторону ванного домика. Теперь около него появилось ещё одно новое лицо, и туда были устремлены взоры скучавших на скамейке штатских и военных.

– По-моему, Лермонтов, – сказал он, – это относится к вам. Вряд ли мои седины стоят того, чтобы их так пристально лорнировали.

Лермонтов со скучающей, недовольной гримасой повернул голову.

Шагах в двадцати от них на скамейке возле ванного домика сидела дама, прикрываясь от солнца кружевным большим шарфом. Солнце в один ослепляющий блеск слило и песок площадки, и белую стенку домика. Из этого блеска, из неподвижно застывшей глади расплавленного сияния, казалось, не смотрели, аплыли глаза. Глаза были первое, что он отметил, запечатлел в памяти. Большие и серые, они были так лучисты, так светлы, что тот, кому они принадлежали, не мог, не должен быть обыкновенным человеком. Даже длинные чёрные ресницы не гасили этого сияния.

Эта дама была одета с изяществом отменным и строгим, достойным лучшего места и общества. Кружевной венецианский платок оттенял смуглую матовость лица, её причёске могли бы позавидовать в любом петербургском салоне, высокий корсаж ничего не подчёркивал и не менял в её фигуре. Полковник явно преувеличивал: она никого не лорнировала, пожалуй, даже ни на кого и не смотрела.

– Кто это? Я не знаю, – небрежно проронил Лермонтов.

Его собеседник улыбнулся хитро и значительно.

– Жена своего мужа. Оммер де Гелль, не то путешественник, не то дипломат, француз. Во всяком случае, не похоже, чтобы она пребывала здесь с лечебными целями. Вот вам и случай проверить на деле всю привлекательность ваших страданий.

– Это утомительно, Константин Карлович, боюсь, что слишком утомительно, – нехотя вымолвил Лермонтов, но тем не менее пройти вместе с ним мимо незнакомки не отказался.

Глаза полковника улыбались мягко и недоверчиво, и Лермонтову показалось, что он что-то от него таит. Оттого неловкое беспокойство ощутилось в сердце, слова и жесты говорили совсем не то, что он хотел сказать, выражение растерянности и смущения, словно назло, не сходило с лица. Единственным выходом могла быть откровенность, предельная, наглая, как с самим собой. Этот человек такой откровенности совершенно очевидно сторонился.

В Ставрополе, ожидая своей дальнейшей судьбы – направляться ли в один из трёх находившихся в резерве батальонов или получить назначение в действующий отряд, – Лермонтов заметил полковника в мундире того же самого Тенгинского полка, в котором теперь предстояло служить и ему, бывшему лейб-гусару. И покрой платья, и манеры, и та независимость, с которой держался этот полковник, изобличали в нём истинно светского и незаурядного человека. Лермонтов спросил:

– Кто это?

Ему ответили:

– Бывший инженер-подполковник Данзас[156]. Сослан за участие в дуэли.

У него напряжённо и трудно наморщились брови. Что-то напоминавшее самодовольное торжество перехватило дыхание.

Секундант последней, трагической дуэли Пушкина нёс ту же кару, что и он, легкомысленный и дерзкий дуэлянт. Он поспешил представиться. Казалось, что тот непременно сойдётся с ним, поймёт его и оценит: ведь, может, и служить-то придётся у него в батальоне. Оскорбительным холодом пахнуло от любезной и мягкой улыбки. Данзас не удивился и не обрадовался, даже не попробовал высказать внешне обязательного для светского человека преклонения и уважения перед его талантом. Ведь не мог же он в самом деле не знать, кто такой Лермонтов.

– Вы не совсем правы: не по собственной воле сюда приводят неравные заслуги. А рисоваться этим... о, это считает для себя обязательным любой армейский фендрик[157], изо всех сил старающийся представить себя как беспокойного для правительства человека.

Странно, всякого другого Лермонтов за эту фразу возненавидел бы, от Данзаса он принял её, только смущённо покраснев, как провинившийся школьник. Ещё более странно, что она не положила начала неприязни, не сделала его враждебным и непримиримым. Наоборот, он всегда с почитительностью младшего выслушивал Данзаса, что бы тот ни говорил. Во всём, решительно во всём он чувствовал в нём равного, но только – и это стало тяготить раньше, чем прошла неделя, – в Данзасе и это равенство было отмечено каким-то неоспоримым превосходством. Лермонтов почти обрадовался и сейчас этой неожиданной встрече, но вместе с тем с первых же слов, так же, как тогда в Ставрополе, чувство тягостное и напряжённое охватило его.

Мадам де Гелль рассеянно, как бы невзначай, посмотрела на них. Взгляд серых глаз опять вызвал в памяти предрассветное, мягкое и задумчивое сияние. Других таких глаз он не знал, не помнил, но необъяснимое волнение, какое почувствовал при их взгляде, казалось, несомненно утверждало: «Уже однажды таким взором решилась жизнь».

Данзас, чуть сжав локоть, шепнул:

– Вы только третий день в Пятигорске, а мне уже говорили, что эта дама весьма интересуется вами. Гордитесь, ваша слава дошла и до Кавказа.

У Лермонтова чуть дёрнулись углы губ. Они отошли всего только несколько шагов от прекрасной незнакомки, но он чувствовал на затылке её пристальный, неотрывающийся взгляд. Казалось, сейчас она должна смотреть с жадой и отчаянием. Он даже и украдкой не попробовал оглянуться. Походка становилась всё небрежнее и развинченнее. Из боковой аллеи, от цветника, уже успевшего зачахнуть в лучах палящего солнца, шла навстречу им какая-то пара. Неинтересный, курносый и прыщеватый юнкер с торжественно-тупым видом нёс кружевную мантилью голубоглазой и стройной дамы. Дама шла по крайней мере на два шага впереди его. Лермонтов оживился, подтянулся.

– Простите, полковник.

Он торопливо пожал руку Данзасу и устремился к этой паре.

«Нет, она положительно недурна. Почему я раньше никогда не замечал этого?» – подумал, гася в глазах торжествующую усмешку.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Надежда Фёдоровна! Ведь так? Я не ошибаюсь? Мы уже столько лет не встречались...

Он остановился, приподнимая над головой фуражку.

Дама даже отступила на шаг назад. Юнкер, смотря с досадой и тупо, очевидно не зная, что ему делать, замер на месте.

– Чему приписать такое прояснение вашей памяти, месье Лермонтов? – с улыбкой проговорила дама. – Вчера я была лишена этой чести.

– Исключительно вашей рассеянности и невниманию к моей скромной особе. Вчера вы даже не удостоили взглядом, как я ни добивался этого.

– И вы, робкий юноша, – поспешно, с иронией подхватила она, – не решились даже поклониться, столкнувшись лицом к лицу? Ужасно это на вас похоже.

– Только похоже. Потому что вчера вы, вероятно, приняли за меня кого-то другого. Ведь здесь, на Кавказе; для глаз красивой женщины мы все одинаково безразличны, – не улыбнувшись и со вздохом быстро отпарировал Лермонтов.

Сероглазая незнакомка там, возле ванного домика, должна была видеть все оттенки игры на его лице. О, конечно, она разглядит, что это даже не увлечение.

«Но Самсонов...» Радостное возбуждение помешало даже про себя высказать эту мысль до конца.

Вечером в местной ресторации давали бал.

По углам и возле буфета скучали почтенные и добродетельные папаши и мамыши. Молодёжь, поднимая пыль с плохо натёртого и неровного паркета, кружилась в танцах, кавалеры преимущественно были штатские. Военные допускались только в мундирах, а где взять мундир офицеру, спущенному из экспедиции на какую-нибудь неделю? За раскрытыми окнами чернели купы деревьев и пышные шапки кустарников. В полосе падающего света к окну тянулись головы в военных фуражках. Лишённые возможности принять участие в танцах развлекались, перебрасываясь через окно с танцующими замечаниями и шутками.

Надежда Фёдоровна давно уже заметила большие и выразительные глаза, жадно пожиравшие её каждый раз, когда она проходила мимо окна. От их взгляда ей делалось беспокойно и как-то чуть-чуть по-страшному томительно.

– С кем вы танцуете мазурку? Надеюсь, со мной?

Она вздрогнула и покраснела.

Под окнами раздался смех. И раньше, чем она могла дать себе отчёт, что это значит, ропот удивления в зале и шумные аплодисменты за окнами объяснили ей всю дерзость поступка.

Лермонтов уверенным, даже как будто небрежным шагом прошёл через всю залу. Его армейский без эполет сюртук вызвал шумное восхищение одних и негодование других. Ни капли не смущаясь и не замечая обращённых на него взоров, он подошёл, к ней.

– Итак... Я ведь вас пригласил.

Ей показалось, что он своим взглядом погасил её взгляд. Как в табачном дыму, расплывались и исчезали лица; отдельные взгляды, словно прорывая эту пелену, казалось, впивались в Надежду Фёдоровну.

Живая подвижная брюнетка с большими серыми глазами посмотрела на них с восхищением. Может быть, это была зависть. Вступили в круг и они и сероглазая брюнетка со своим кавалером почти одновременно.

– *Demain a meme heure nous serons deja a Kislovodsk*[158], – долетело до слуха Надежды Фёдоровны, и ей показалось, что у её кавалера насторожённо сдвинулись брови.

Он прошёл с нею тур мазурки, довёл её до места и, чуть коснувшись губами

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
кончиков пальцев, так же невозмутимо, как появился, промаршировал к выходу.

Гром аплодисментов и за окном и в зале приветствовал его поступок.

– Oh, c'est plus que brave, c'est risquй[159], – восторженно проговорила рядом мадам де Гелль, и Надежде Фёдоровне она показалась от этих слов неумной и старой.

– Проводите меня, я хочу домой, – бросила она молчавшему с безнадежным и терпеливым видом юнкеру.

Синяя густая тьма сперва расступилась, потом сжалась, утопила её в себе. Этого позатья, этого мгновенного и лёгкого поцелуя руки она ждала. Она чуть сдавила его руку, удержала её в своей, и тогда та, мужская, уверенно и крепко так, что хрустнули кости, стиснула её руку.

Горячее дыхание коснулось щеки. У неё закружилась голова.

Свет, вырвавшийся из раскрытой в этот момент двери, открыл Лермонтову удивлённое и наивно-растерянное личико. В глазах были слёзы.

«кто научил её так целоваться?» – мелькнуло в голове.

– Завтра – не правда ли? – я увижу вас днём у источника? – услышал он взволнованный и задыхающийся шёпот.

Голос свял сразу. Ответил он устало и с досадой:

– Завтра я с утра уезжаю в Кисловодск.

### III

На решётках перед окном завивался плющ, сквозь него цедились густое вечернее солнце. Тень от пирамидального тополя, как часовая стрелка, переместилась на целую четверть круга. В комнате потемнело, из золотых сделались бронзовыми солнечные пятна на стене. В наступившей внезапно тишине было слышно, как жужжат мухи. Казалось, чтобы заполнить это молчание, нужно такое количество слов, какого никогда не собирается в памяти.

Мадам де Гелль смотрела вопросительно и ожидающе. На её кружевах – она так и осталась с утра неодетой – жёлтыми полосами отметился закат. От этих ли полос, от вечернего ли густого света переменилось её лицо, стало новым и неприятно чужим. Он стоял у двери. Пульс дробными неровными ударами рассчитывал минуты. Один, два, три, – бесконечное количество ударов нужно, чтобы одолеть только одну минуту. Минуты, как подавленный в груди вздох, не проходили.

Лермонтов медленно снял руку с ручки двери, нерешительно шагнул в её сторону. Как будто она даже не старалась разглядеть его лицо, проговорила с жестокой и трудной улыбкой:

– Почему? Снова и снова «почему»?! Неужели вы не понимаете, что спрашивать это... – она остановилась, подыскивая слова, – даже и не бестактно...

Он поднял голову. Грустные глаза глядели виновато.

– Глупо?

– Да, если вы сами сказали это, то глупо. Счастье, что вы можете хоть сознавать, когда поступаете глупо.

Он перебил её с настойчивостью капризного ребёнка:

– Жанна, я не умею и не умел говорить просто, я не знаю, как говорят на языке сердца. Никого ещё, а тем более женщину, я не уважал и не ценил так, как вас, да и вообще я ещё никого и никогда не уважал на свете. Мне трудно, очень трудно, но я не могу не сказать вам этого; я не могу уйти так. Жанна, мне тяжело, так мучительно тяжело, как никогда не бывало в жизни...

– Я это уже слышала.



Только мгновение он смотрел растерянно и безнадежно. По лицу пробежала короткая судорога. Вдох протащил за собой слова:

– Одно это стоит другого прощания.

– Сумейте оценить и такое. Немногие женщины вам скажут, что они слишком плохи для того, чтобы любить вас. И потом, потом...

Она смолкла, почти ласково заглянула в глаза.

– Не печальтесь... Ну, не надо печалиться, маленький... Ну, о чём? У вас была хорошая любовница – это одно уже не так плохо. Нужно приучаться благодарить судьбу за те маленькие радости, которые она посылает, и не проклинать её, когда она их отняла. А потом...

Она рассмеялась совсем просто и весело. Лермонтов насторожился и вздрогнул.

– Что потом?

– Вам же будет вовсе не скучно. У вас ведь есть эта... ну, как её... петербургская франтиха.

– Самсонова, – подсказал Лермонтов.

– Да, да, мадам Самсонова. Согласитесь, что она очень мила.

Он перебил её нетерпеливо и с досадой:

– Мне и счастье-то представляется только в памяти о детстве. Увы, оно неповторимо. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я не помню, хороша собой была она или нет, но её образ и сейчас ещё хранится в моей памяти. Один раз, помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла в куклы; моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чём не имел понятия, – тем не менее это была страсть сильная, хоть ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я ещё не любил так. Тогда же я стал мечтать о дружбе. Она представлялась мне такой бесконечно могущественной, что никакие силы мира не смогли бы её уничтожить. Друзей у меня никогда не было! И вот сейчас...

Он задыхался, растерянно и словно с испугом оглянулся кругом...

– ...сейчас мне сказали, что их у меня и не может быть.

И вдруг заторопился. Порывисто вскочил с кушетки, ткнулся губами в её руку и поспешно, не оглядываясь, выбежал из комнаты.

#### IV

Казак в замасленном рваном бешмете, тащивший на плече пустой бочонок, посмотрел на Лермонтова с удивлением. Пройдя два шага, он остановился, обернулся назад.

– Ай потерял что, ваше благородие?

Этот вопрос, обращённый к нему совершенно серьёзно и даже как бы с участием, вывел его из оцепенения. Лермонтов расхохотался.

– Да, да, братец, потерял. Вот только искать в Пятигорск надо ехать.

Казак поправил на плече ношу, подумал и, резко тряхнув головой, сказал:

– Ну, так оно и выходит. Не иначе как ко мне идти бы пришлось. Теперь, кроме меня, во всей станице ни у кого коня не достанешь. До утра, чай, на станции ждать-то не будете?

– Не буду.

– Ну так пойдёте, что ли? До Эссентуков я могу дать коня. Отчего не дать, когда человеку ехать требуется, дать можно.

Казак, видимо, был пьян. Он шёл и всё время повторял одно и то же: «Отчего не дать, когда человеку нужно», хвалился, что у него одного только и есть подходящий для этой цели конь.

– Да как же, ты сам посуди, ваше благородие, станица кругом гнилая – одна беднота. Гора да гора – ну что тут будешь делать. И опять еретиками уже который год записаны. Выселяйтесь, мол, – это начальство-то, – в старой вере, говорит, тогда останетесь, а коли нет – всех в православие, и моленной крышка. Ну и переселились. А начальство опять своё: переходи да переходи. Ну, тут и переселяться дальше некуда. Все как есть теперь православные. А коня я дам, ты, ваше благородие, не беспокойся, отчего не дать...

Лермонтова он начинал уже раздражать, он оборвал его резко:

– Ну, довольно болтать! Далеко ли ещё идти-то?

Казак сразу насупился.

– Идти недалеко. А вот много ли дашь за коня-то, если до Эссентуков ехать?

И он остановился, вызываяще тараща глаза.

Пришлось торговаться упорно и долго. Цену он заломил совершенно невозможную. Поладили только после долгой ожесточённой ругани и криков. В хате, как только пришли, засуетилась конфузливо отводившая глаза хозяйка, стала накрывать на стол; казак всё приставал, чтобы Лермонтов попробовал его чихирю[160].

– Ну, а конь-то? Скоро, что ли, будет?

Казак осклабился.

– Эн-а! Конь-то в горах, чай, сейчас только малый пошёл за ним. Ты чихирю пока выкушай, ваше благородие. Такой чихирь – лучше кахетинского будет.

Мутный, тёплый чихирь, казалось, только со спазмою мог пройти через горло. Казалось ещё, что и тошнота наступит раньше, чем опьянение.

«Не то, не то», – тоскливо и надоедливо моталось в голове.

Словно пересиливая себя, Лермонтов морщился, прихлёбывая из стакана. Любимый, оправленный в камышинку карандаш нервно подрагивал и вертелся в пальцах.

«Что я делаю? Хозяйскую скатерть мажу», – с улыбкой поймал он себя и спрятал в карман карандаш.

На скатерти с наброском женской головки красовались вырисованные французские J, H, J, H.

Он увидел их не сразу, а увидев, удивился, как будто это кто-то другой пытался ими разгадать его мысли. Послюнявил палец, ладонью крепко потёр испачканное место на скатерти. Буквы не стирались.

«Только узнать бы, почему? А это что: пройдёт и забудется», – подумал с тоской и раздражением.

И сейчас же поймал себя, что важно вовсе не узнать, мучается не от этого. К чему пытаться и что узнавать-то, если потерял, и потерял безвозвратно. Унылая, мертвящая злоба на себя, на весь мир, на судьбу – даже в пальцах проступило холодом.

«А только ещё три дня назад, задыхаясь, она шептала, что никогда меня не оставит».

Стиснул руки так, что хрустнули пальцы. Как ужаленный, вскочил с лавки, подёргиваясь и ёжась, прошёлся по горнице.

– Ну что же твой малый?

– Пришёл, сейчас седлать будем.

Лермонтов круто повернулся и снова опустил на лавку.

Мир, как эта низкая хата, два шага – и уже ты упёрся лбом в стенку. И так же, как это маленькое грязное оконце, скупое цедится меркнувший вечерний свет.

Когда выезжал, последние косые лучи солнца, вырвавшись из-за гор, жёлтыми холодными полосами испестрили дорожную пыль. Отстоявшийся за день зной сгустился и отсырел: туман хранил ещё в себе остатки дневной позолоты. Внизу – дорога поднималась в гору – белые хатки и домики в Кисловодске чуть розовели закатным румянцем. В проулках накапливались тени, и вся станица в розовом неверном сиянии, в сумерках, сползавших с гор, в потемневшей и слипшейся в одну косматую шапку зелени потеряла свой обычный знакомый вид. Лермонтов со вздохом приподнялся на стременах, долго не мог оторваться взглядом от этой картины, потом со вздохом ещё более глубоким отвернулся, подолся на шею коня. Некованные копыта, как в ладоши, захлопали часто и глухо по мягкой пыли.

Перед самым Пятигорском из-за горы навстречу поднялась набухшая и бледная, словно вымоченная в вине, выщербленная с одной стороны луна. Внизу в долине переливающимся серебристым сиянием зажглись прятавшиеся в зелени черепичные крыши. В редких окнах жёлтым маслянистым пятном теплился поздний свет. Расплывчатые силуэты домов и деревьев, как тени, перерастали себя. Теперь они были уже не внизу, а поднимались кверху, увеличивались в размерах.

Караульный казак окликнул его с вышки. Он не ответил, припал к луке, каблуками ударил коня. Испуганный выстрел всполошённым эхом прометался в горах. На замощённой дороге чётче застучали копыта. Собачий лай одиноко оборвался где-то вблизи, через секунду перенёсся дальше, потом его подхватили сразу в нескольких местах. Остервенелым собачьим лаем встречал его город, когда скакал он по безлюдным, залитым лунной мутью улицам. У домика, где одно окно внутри мазалось жёлтым оплывающим светом, сдержал коня.

Лермонтов наклонился с седла, постучал в окно. Тень на стене двинулась, головой переползла на потолок. Человек в расстёгнутой сорочке, не выпуская из рук трубки, подошёл к окну.

– Константин Карлович, вы не спите? Один? Можно к вам поболтать на полчаса?

Данзас ответил приветливым и широким жестом, закивал головой.

Лермонтов соскочил с коня, привязал его у ворот. Громыкнула щеколда калитки, он, сутулясь, прошёл во двор.

«Почему к нему? Что мне Данзас? Да и кому, кому на свете смогу излить душу? Даже ей, даже ей и то не смог, не сумел».

Из открытой двери жёлтой полосой падал на крыльцо свет. Данзас с свечой в руке посторонился, пропуская вперёд позднего гостя.

– Входите, входите, Лермонтов. Очень рад, что забрели. Да слушайте, откуда вы? Весь в пыли, и лица на вас нет.

– Из Кисловодской, – уронил, срывая дыхание. – Константин Карлович, подарите меня только вашим вниманием и...

– Чем ещё?

– Вашим мудрым советом.

– Как? Советом? Вы пришли ко мне за советом? Я вас не узнаю, Лермонтов.

Лермонтов взглядом, усталым и грустным, словно приковался к его лицу.

– Мне хотелось попросить вашего совета в одном важном, жизненно важном для меня деле, – начал он тихо и смолк. – Трудно начать, Константин Карлович.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
ведь как вскочил в седло в Кисловодске, так и не слез вплоть до самого  
вашего дома, замучился... А поговорить необходимо. Невозможность получить  
сейчас отставку мучит меня. Мне жить нечем, духовно жить решительно нечем.

– Нечем? А поэзия? Ваш талант?

Лермонтов горько ухмыльнулся.

– Литература? – презрительно проговорил он. – Наша литература так бедна,  
что я ничего не могу от неё заимствовать. В двадцать шесть лет ум не так  
быстро и легко принимает впечатления, как в детстве, а они мне нужны,  
необходимы. Где моё литературное бытие? В казармах, в предосудительных  
проделках переросших себя мальчишек. Я трачу фантазию, чтобы позлить  
какого-нибудь старикашку коменданта, чтобы позабавить двух-трёх изнывающих  
от скуки приятелей. А если бы моё бытие даже и было там, в так называемых  
литературных кругах, среди избранных знаменитых литераторов, – вы думаете,  
это спасло бы?

Опять он усмехнулся безнадёжно и горько.

– Может быть, было бы только противнее жить, вот и всё. Вон Гоголь, великий  
Гоголь, как его теперь уже пробуют называть друзья, нашёл, что в «Мцырях»  
недостаточная игра воображения. Он, видите ли, читал мою «Сказку для детей»  
и ждал от меня большего. Эта старая... Жуковский так исправил мою  
«Казначейшу», что мне хотелось изорвать книжку, где она была напечатана.  
Белинский наставлял меня, как нужно понимать Купера[161], и похваливал мои  
собственные писания. Представьте теперь, Константин Карлович, что было бы,  
если бы я целиком отдался им в опеку. «Героя нашего времени» никто не хотел  
читать, пока бабушка не догадалась послать Булгарину книжку, вложив в неё  
пять сотенных ассигнаций. Если бы она разослала таких книжек побольше, меня  
уморили бы похвалами. Вот, дорогой полковник, какова наша литература, вот  
как делают в ней теперь славу.

– Вы увлекаетесь: Булгарин ещё не вся литература, – осторожно вставил  
Данзас.

– Но без Булгарина она не может существовать. Это ещё того гаже. Я не могу,  
не хочу, Константин Карлович, быть русским литератором, – это унижительно.

– Тогда не пишите ни стихов, ни прозы, замкните поэтические уста и дразните  
сколько вашей душе угодно стариков комендантов, забавляйте приятелей...

– О, не смейтесь, Константин Карлович! – взволнованно перебил его  
Лермонтов. – Может, это даже не стоит вашей иронии – так жалко и презренно  
моё самолюбие, ничтожна гордость. Но что тут делать? Видно, такой уж  
уродился. А если бы не это самолюбие, если бы не оно – как бы замечательно,  
как бы по-невозможному хорошо было мне теперь! Увы, до самого последнего  
времени я даже не знал этого.

– Вам сказали об этом? – серьёзно и тихо спросил Данзас.

– Да, сказали... Но это неважно. Я отравлен, погублен этой проклятой моей  
гордыней. Да вот вам пример – слушайте, чего ещё больше...

Он вдруг остановился, посмотрел на Данзаса испытующе и недоверчиво.  
Возбуждение как будто улеглось, дальше он говорил ровно и спокойно.

– Это случилось в Тифлисе, когда я ещё служил в нижегородских драгунах, в  
первую мою ссылку. Я стоял возле бань с двумя моими приятелями татарами.  
Вдруг проходит грузинка. Я не вижу её лица, но по движениям, походке  
догадываюсь, что она сделала мне знак рукой. Мы все трое идём за нею, но в  
баню не входим, потому что была суббота. Выходя, она опять мне делает знак,  
я следую за нею, но теперь уже один. И вот без вопросов, без просьб, без  
одного с моей стороны слова она мне просто говорит «да». Я приближаюсь к  
ней совсем, беру её за руку, тогда она говорит мне, чтобы я поклялся  
сделать всё, что она велит. Я обещался. Она приводит меня домой, показывает  
завёрнутый в какую-то ткань труп. «Надо его вынести, бросить в Куру», я  
решился, но на мосту мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на  
гауптвахту. На всякий случай я всё-таки догадался снять с мёртвого кинжал  
как доказательство. Мои татары дознались у Геурга[162], что он делал этот  
кинжал одному русскому офицеру. Мы разыскали денщика этого офицера, и он

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org рассказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе, жившей с дочерью, но дочь вышла замуж, а через неделю этот офицер пропал. Это утвердило меня в моем решении. Я не требовал выполнения условия, это меня оскорбляло, я просто пришёл к ней. О, Константин Карлович, уверяю вас, я в жизни не знал другой такой женщины. В ней кипел, – для всех или для меня только? – целый океан страсти. Тогда я решил – для всех. Дальше вы понимаете: прямо от неё я пошёл к коменданту, привёл с собою моих татар, представил кинжал, снятый с убитого. Вот она, моя проклятая гордыня. Ведь это могло быть и иначе?

– Вы это считаете гордостью? – презрительно проронил Данзас.

Лермонтов оживился. Глаза заблестали беспокойным, трепетным блеском.

– Вас это не убеждает? Вот вам другой, но такой же, совершенно такой же пример. Помните, месяц тому назад мы с вами встретили здесь у источника даму. Я подошёл к ней, помните? Это жена Бенкендорфова адъютанта, так, приятная женщина, разумеется, не слишком строга. С ней мой роман был в Кисловодске... Исключительно лишь с целью подразнить, запутать в моей интриге ещё одну даму, в которую я чуть-чуть был влюблён. Ну вот, я повторяю – это очень приятная и даже милая женщина, но я вспомнил, что слышал о ней когда-то в Петербурге. Вы понимаете, любовник у неё царь, муж – жандарм, меня гноят на Кавказе, – словом, судьба давала мне в руки хоть маленький случай отомстить. Но нет, это не было мстью. Мне не равняться с царём, но разделался я с ней по-царски. В неё был влюблён один плюгавый юнкериска. Я наговорил ему кучу всякого романтического вздора, он поверил. Словом – роста он был такого же, как и я, шторы у меня в комнате были опущены, как нужно вести себя, я его научил. Кажется, он остался доволен.

Лермонтов смолк, пытливым взором уставился на Данзаса. У того на лице не дрогнул ни один мускул, прямо смотря в глаза, отдельно и твёрдо он сказал:

– Если бы всё это было правдой, вы знаете, я бы не терпел вас у себя в доме. Но ведь это всё ложь. Вы лжёте на себя. Зачем?

С минуту он смотрел на него с мягким и снисходительным укором. Потом сказал:

– Эх, Лермонтов, что сейчас-то свихнуло вас? Кто обидел?

– Не обидели, Константин Карлович, именно не обидели. Ах, если бы обидели, я знал бы что делать! Но нет, я не слышал даже ни одного слова, которое могло бы задеть, оскорбить моё самолюбие. «У меня было два великих любовника (так и сказала: великих), и этим последним я буду больше гордиться, чем гордилась до сих пор де Мюссе[163]». Это она сказала при расставании, Константин Карлович.

– Кто она-то? Оммер де Гелль?

– Да, – глухо ответил Лермонтов.

– И вы безумствуете из-за того, что она уехала или уезжает? Что, вы не знали до неё женщин? Что, это последняя благосклонность, которую вас подарили? У вас их будет ещё много, больше, чем нужно. Чем только прельстила вас эта вертлявая, чтобы не сказать больше, француженка?

– Это – единственная женщина, которой я мог бы быть предан, по-настоящему предан, – отдельно и тихо выговорил Лермонтов.

Было в его взгляде, в лице что-то такое, что у Данзаса даже нервный живчик сбежал от угла глаз по щеке.

– Это опасно, Михаил Юрьевич, – тихо проговорил он. – Я достаточно хорошо отношусь к вам, чтобы не встревожиться. Поезжайте-ка, милый, обратно в отряд, поезжайте скорее, пока ещё в этом вам не препятствуют. Я боюсь, что здесь с вами может быть хуже.

Лермонтов, казалось, не слушал. Голова бессильно свисала на грудь, пальцы рассеянно теребили выпушку на панталонах.

– Скажите, Константин Карлович, – вдруг оторвался он от своей задумчивости, Страница 261

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org – что это значит, что это должно значить, когда женщина, душевно многоопытная, достаточно изведавшая любви и не утомившаяся ею, с тоскою и ненавистью отмахивается от своего прошлого?

– Что это значит? – повторил Данзас, удивляясь его ясному и грустному взору. – Думаю, что это бывает только тогда, когда любовь не только наслаждение, но и обязанность, служба.

– Обязанность? Но ведь у ней есть муж, она никогда не нуждалась! Она дама общества! Не профессионалка же, в самом деле, не актриса!

Данзас усмехнулся.

– Вы думаете, только ради хлеба насущного? Женщины могут служить своим полом многому. Кто знает, кому и в каких целях служила им ваша подруга.

– Многому, – тихо, как бы с самим собою, заговорил Лермонтов. – Многому. Кажется, вы мне даёте идею.

– Ну вот и слава Богу, значит, не зря из Кисловодска скакали. Но чего опять-то задумались? Э, бросьте, всё равно это прошло и нужно забыть!

Данзас встал из-за стола, прошёл к буфету, достал бутылку.

– Итак, значит, немедля в отряд? – спросил, разливая вино по рюмкам.

– Да, да, в отряд, – рассеянно, думая, очевидно, о другом, ответил Лермонтов и с грустною улыбкой потянулся чокнуться с Данзасом.

V

В тот же день Лермонтов отбыл из отряда в двухнедельный, разрешённый по «крайней надобности в домашнем устройстве» отпуск.

Трое суток трясла его и мотала почтовая тележка. Он так щедро давал на водку, понуждая к быстрой езде ямщиков, как будто получил ссуду не в сто, а в тысячу рублей.

На четвёртые сутки где-то внизу, много ниже дороги, открылась тёмно-зелёная, взрытая волнами поверхность моря. Небо над нею было таким голубым, что казалось – оно хочет впитаться в глаза. Не покидавшие со дня отъезда весёлость и возбуждение сменились мутным и тревожным беспокойством. На последней версте он всё ещё погонял ямщика.

Покачиваясь, чертили небо голыми мачтами стоявшие в гавани суда. На берегу, в сомнительной тени развешанных на кольях рыболовных снастей, сидели и лежали оборванные загорелые люди. Прибой шумел глухо и деловито. На дальних волнах завивались белые гребешки.

Валявшиеся на берегу оборванцы указали Лермонтову низкого, непрерывно шмыгавшего носом армянина. Тот жёсткими и быстрыми глазами в одно мгновение словно раздел его. Воскликнул так, как будто ему самому не было большего удовольствия:

– Ва, это можно!

Потом долго думал, шевелил губами, что-то прикидывая и соображая про себя.

– Сто рублей. Как хочешь, меньше нэлзя, – выпалил он наконец и засверлил глазами.

– Сто рублей!.. Да ты знаешь!.. Да ты у меня!..

Дальше это оборвалось неистовой непристойной бранью.

Армянин только повёл плечами и сумрачно поглядел в глаза.

– Зачем карантин? С карантина, – он в родительном падеже ставил ударение на последнем слове, – с карантина и так все лодки смотрят. Зачем не ездись с казённым, если так кричишь?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Бзз дэнэг ничэго нэ сдэлаешь. Опасно возить, с карантина все лодки  
смотреть будут.

Может быть, он ударил бы его – душило бешенство, судорогой сводило руку, –  
но в этот момент солидный, с ленцой голос отвлек его внимание.

Они разговаривали тут же на берегу, где сушились сети и валялись на песке  
загорелые оборванцы. Некоторые из них теперь лениво и без особого  
любопытства прислушивались к их перебранке. Один – Лермонтову приметилась  
крутая седина в потных, прилипших ко лбу кудрях и жёсткие, по-солдатски  
стриженные усы и баки – приподнялся с земли.

– Петрович! В чём тут у вас дело? – окликнул он армянина. – Ехать, что ли,  
офицеру нужно, а ты в цене упёрся?

Он оглядел Лермонтова, и Лермонтов оглядел его. Глаза, тяжёлые и чёрные,  
смотрели умно и насмешливо, в колючих жёстких усах застряла улыбка  
неоспоримого превосходства.

– Вы, сударь, ехать желаете? – обратился он к Лермонтову, чуть дотрагиваясь  
рукой до фуражки. – На Петровича вы обижаться не извольте: каждому  
заработать хочется. А вы, как я примечаю, барин горячий, ну, я и подошёл, а  
то, думаю, никогда они так не столкнутся. Вы вот что, сударь, – всё не  
отводя насмешливого взгляда, весьма учтиво продолжил он, – дайте  
Петровичу-то какой ни на есть билет, ну хоть бы пятёрку, – с него хватит. А  
я сам сегодня в крымские порта ухожу. Судно у меня хорошее, мы с вами  
столкуемся.

Ничего в его лице не изменилось за эти пять минут: и улыбка всё та же,  
ироническая и неповоротливая, шевелила усы, и глаза, насмешливые и  
испытующие, смотрели не отрываясь, но было в его голосе такое спокойствие,  
в словах такая деловитая серьёзность и скупость, весь облик его дышал таким  
сознанием собственного достоинства и превосходства, что Лермонтов усомнился  
только на одно мгновение.

– А ты-то сколько возьмёшь за проезд?

– Того, что заплатить не можете, просить не стану, уж мне-то вы поверьте.

И усмехнулся опять. Но сейчас же лицо сделалось серьёзным, он обстоятельно  
и толково стал объяснять, как и когда удобнее всего перебраться к нему на  
«дубок», что нужно сделать, чтобы не заметил таможенный досмотр, – словом,  
всё, что должен был знать и к чему следовало приготовиться его  
добровольному пассажиру.

Теперь пришла очередь Лермонтову испытующе посмотреть на него.

– Как же ты это так берёшь с собою?! А может, у меня и вовсе ничего нет?  
Заработать не заработаешь, а себя опасности подвергнешь.

– Себе убытка не сделаю-с, будьте покойны, – не спеша проговорил тот, – А  
не помочь человеку тоже, как хотите, нельзя. Вижу-с, что ехать вы нужду  
большую имеете. Ну-с пока что, сударь, до свидания, – вдруг неожиданно  
прервал он себя. – У меня тут ещё дела кой-какие остались, а вы к вечеру,  
как только солнышко садиться начнёт, сюда же приходите. Кажись, погоды быть  
не должно – сегодня ж выйдем.

И он, коснувшись рукой фуражки, не спеша и вразвалку отошёл на прежнее  
место. Лермонтов только сейчас мог рассмотреть его. Был он высок и плотен,  
на вид ему не могло быть больше пятидесяти, на обветренной загорелой шее  
надувались толстые желваки мышц, и руки и плечи говорили о силе необычной и  
не для такого возраста. Он шёл походкой такой же уверенной и спокойной, как  
и слова, как будто и ею он презирал кого-то. Но странно – эта походка  
совсем не походила на раскачивающуюся грузную походку старого моряка. Было  
в ней что-то едва уловимое, уже стирающееся, почти исчезнувшее, но прямое,  
широкое и лёгкое. Такой шаг, как болезнь, на всю жизнь прививают  
гвардейская муштра и парады, в этом шаге не участвуют, живут от него  
отдельно и спина, и плечи, и грудь, и шея. Не участвовали они и у этого  
странного владельца рыбацкого «дуба».

«Странно, очень странно, – подумал Лермонтов, смотря ему вслед. – А не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
утопит, не ограбит?» – мелькнуло тут же тревожное и подозрительное.

Но солнце светило весело, дыхание уже привыкло к тяжёлой влажности, человек, неожиданно предложивший свои услуги, самым своим появлением как бы отстранил неприятность досады и разочарования. Лермонтов ухмыльнулся беззаботно и весело.

«Ехать, ехать, только бы ехать. Не надо ни о чём думать, только бы ехать».

Когда наконец солнце стало бесконечно медленно падать к воде и сразу прохладой сменился зной, он уже был на условленном месте.

Ждать пришлось долго. И солнце уже краем окунулось в море, и с берега уже начинали сползать хмурые и холодные тени, а хозяина «дуба» всё ещё не было. Появился он, как это всегда бывает, когда ждёшь слишком нетерпеливо, совсем не оттуда, откуда ждал его Лермонтов. Пришёл усталый и хмурым.

– Ну, часа через два либо три будем отходить. Можно теперь и на «дуб» перебираться. Вещи у вас какие есть?

– Один чемодан да бурка.

– Чай, на станции оставили? Так я вам мальчика дам: он принесёт.

Мальчик, необычайно угрюмый и неразговорчивый, притащил чемодан и бурку, свалил их в вытянутую носом на песок лодку, сказал кратко:

– Садитесь.

И голой пяткой ловко столкнул лодку с песка. Потом так же ловко и проворно он прыгнул в неё сам, стоя заработал веслом, крутя его, как винт, на корме.

«Дуб» оказался невзрачным, глубоко, чуть ли не по самые борта, сидевшим в воде судёнышком. На голых мачтах висели подвязанные грязные свёртки парусов. От самого носа до половины «дуб» положительно был завален крупными тёмно-зелёными арбузами, его сильно качало, и арбузы кряхтели страдательно и тихо. Лермонтов перепрыгнул через борт, балансируя и останавливаясь каждую минуту, чтобы не упасть, прошёл вслед за хозяином на корму. Здесь, откидывая шаткую дверцу какой-то будки, тот сказал:

– Извините, сударь, почище места у нас не найдётся. Конечно, потом, как будем в море, можно будет выйти на палубу, а пока лучше вам всё же здесь посидеть, чтоб греха какого напрасно не вышло. Досматривать нас уже больше не будут, а всё ж так-то спокойнее.

В неприглядной и тесной рубке сидели ещё двое. Оба недоверчиво покосились на Лермонтова, переглянулись, – очевидно, они только что говорили, – и потом уже не произнесли при нём ни слова.

– Вот здесь, сударь, вам будет удобнее, – говорил хозяин, устраивая в углу лермонтовский чемодан.

– Спасибо, и так хорошо, только б доехать. Как звать-то тебя, хозяин, прикажешь, я и не спросил?

– Люди зовут Михаилом Ивановичем. Ну вам, может, так и неудобно покажется, – зовите Михайлой.

Он услужливо постелил на чемодан бурку, огляделся кругом с таким видом, как будто хотел сказать: «Ну, лучше тут ничего не придумаешь», – и занёс уже было за порог ногу, но Лермонтов его окликнул:

– Ты скажи, Михаил Иванович, когда выйти можно, а то, здесь сидя, задохнёшься.

– Будьте покойны, лишней минутки не продержу-с.

В рубке было жарко и душно. Стоял тяжёлый запах непроветренного человеческого жилья. От качки или от этого запаха начинало мутить. Двое других пассажиров сидели как набрав в рот воды. Иногда в тишине раздавались слабые, похожие на стоны вздохи. Видимо, одному из пассажиров было совсем



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org плохо. Отплытие почувствовалось по лязганью, крикам и шуму на палубе, по отрывистому рывку всего судна, по качке, сразу же ставшей и глубже и плавнее.

«Вытягивают лодкой? Или нет, сразу поставили парус», – подумал Лермонтов.

От качки или от радостного волнения сердце подхватило, как на качелях. Всё ещё плохо верилось, что плывут, что он уплывёт туда, к чему-то такому заманчивому и чудесному, что даже для себя он не смог бы определить.

Казалось, сейчас могло бы быть так же беззаботно и весело, как не бывало даже в детстве, – вот только эта проклятая качка: она пугала странным, тянущим и вязким ощущением. Ему хотелось засмеяться: так это было забавно. Едет он без денег, даже без своего человека, один, крадучись, как преступник, спрятанный в эту вонючую рубку. Расслабляющая дурнота, которую чувствовал во рту, в голове, в теле, превозмогла смех. Он не помнил, долго ли он пробыл в своём заточении. Только когда в рубку вошёл хозяин, когда ворвавшийся в распахнутую дверь свежий морской ветер коснулся лица, он смог поднять глаза, спросить усталым, разбитым голосом:

– Ну что, за мной, что ли, пришёл?

– Так точно, за вами. Да уж не плохо ли вам, сударь? Всего и идём-то – часа не будет. Это от воздуха: душно здесь и запах скверный. Вы выйдите на палубу, там сразу легче станет.

На двух других пассажиров он даже и не посмотрел. Поддерживаемый под руку, вылез Лермонтов из рубки.

За бортом буравились чёрные волны. На самом горизонте из-под полога низко свисавшей тучи выглядывал краешек луны. Тёмная мутно-красная кровь, дымясь, растекалась от него по воде.

– Вы, сударь, здесь присядьте и за борт не смотрите, – мягко выговорил Михаил Иванович.

Лермонтов взглянул на него и даже отшатнулся. Чёрные тяжёлые глаза были полны сейчас такой тоской, так жалко и скорбно молила об участии трудная улыбка, что ему стало страшно.

«Так вот почему он так ласково со мной», – пронеслось в голове нерадующим, тяжёлым открытием.

Михаил Иванович всё ещё медлил от него отойти.

– Вы, сударь, моё любопытство мне извините, – заговорил вдруг он. – Я так ещё давеча приметил. Не должно быть, думаю, что этот офицер только кавказский. Не иначе как с гвардии сюда прибыли.

– Из гвардии. А что? – ответил Лермонтов, с трудом ворочая языком.

– Так, так. Сразу это видно, ничем не скроешь.

Он оглянулся по сторонам, как будто страшился, чтоб его не подслушали, тоном словно виноватым продолжал:

– Любопытно было бы узнать мне, может, кого из моих старых офицеров знаете. Вы-то, осмелюсь спросить, сами на Кавказе недавно?

Как выпавший из кучи арбуз, который теперь метался с борта на борт, возникла в голове мысль. Поднять её не было силы.

«Штрафной, вероятно, здесь муку дослуживал. О чём же тоскует? Неужели мало шуру драли?»

Сияясь улыбнуться, Лермонтов всё же спросил. Слабость и непрекращавшееся чувство тошноты стёрли с голоса оттенок насмешки:

– С чего тебе-то офицеры интересны?

Ответ последовал немедленно, вместе с тяжёлым глухим вздохом:

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

– Каждый человек, сударь, должен свой дом иметь и к нему привязанность. А у солдата какой же дом может быть, окромя службы! Конечно, как вы старых Преображенских солдат знать не можете, то я про офицеров спрашиваю. А узнать всё равно любопытно.

Лермонтов назвал несколько фамилий. Некоторых из них его собеседник знал, откликнулся на них немедленной репликой:

– Как же, отличнейший барин и офицер храбрый, – помню, помню.

Или:

– Этот так себе был: хорошего не скажу.

Лермонтов назвал и Самсонова. У его собеседника словно потемнел голос.

– Самсонова Евгения Петровича ещё подпрапорщиком помню, как их из школы дяденька ихний, Николай Александрович Исленьев, в польскую кампанию брали. У жандармского генерала теперь адъютантом, говорите? Этот своего добьётся. Души в нём нет – одно самолюбие. Вот в чём причина.

Михаил Иванович опять вздохнул.

Луна теперь переползла свисавшую на горизонте облачную завесу, холодными серебристыми бликами испещрила на палубе тень. В её мутном молочном сиянии лицо Михаила Ивановича казалось и страдающим и страшным. Той же неуёмной тоской горели глаза.

С кормы, перепрыгивая через валявшиеся снасти и мешки, к ним подошёл босоногий рослый матрос.

– Михаил Иванович, что с этими-то, с англичанами, делать? Всю рубку как есть заблевали: оба лёжком лежат. Ты б их хоть на палубу вытащил.

При лунном свете улыбка делала лицо Михаила Ивановича суровым и жёстким.

– Это не причина, – насмешливо проговорил он. – А если они на палубе за борт свалятся, кто за них нам с тобой деньги платить будет? Ты это, дурья голова, подумал?

Парень отошёл.

Михаил Иванович, совсем близко склонясь к Лермонтову, глухим срывающимся шёпотом спросил:

– Вот вы сказали: поручика Самсонова, капитан он, что ль, теперь, знаете. А вы про такую: Дарью Антоновну Красавину – не слышали? В любовницах он, сказывают, её держит.

И остановился, словно задохнувшись.

Эта, вот эта волна, шлёпнувшая, как пощёчиной, судёнышко, смыла с тела слабость. Сердце сжималось тревожной, ноющей болью, и в висках, в голове застучала медленная тяжёлая кровь. Как в испуге, Лермонтов привстал со своего места.

– Нет, не знаю, – ответил отрывисто и резко.

И сейчас же, мучаясь и не в силах подавить в себе тревоги, спросил:

– Кто рассказывал-то тебе про Самсонова?

– Тут один исленьевский бывший дворовый в Азове как-то попался. Сбежал, должно быть, – устало и как бы с неохотой ответил Михаил Иванович.

– Давно?

– В прошлом году как будто.

Лермонтов облегчённо откинулся на скамейку.

– Что, сударь, совсем вам нехорошо-с? – участливо и с тревогой спросил Михаил Иванович. – Вы вот лягте, совсем вытянитесь и в небо смотрите, как будто там что увидели. Так оно и пройдёт. А здесь посередке самое лучшее место: меньше всего качает. Погодите, вот я вам вашу бурку принесу постелить.

Он торопливо отошёл от Лермонтова. Чуть пробелённое тонкою лунною мутью небо над головой, казалось, истекало чёрной неиссякаемой влагой. Падавший с парусов на лицо ветер исцелял от немощи.

«И опять и всегда жизнь отравит мне самое лучшее мгновение. Ах, если б не эта мука», – тоскливо отозвалось в душе.

Он думал о качке, даже себе не решался признаться в том, что радость и детскую беспечность в сердце убила вовсе не качка.

Красный укреплённый на мачте фонарь прыгал в чёрном небе, как мяч. Он и в сон отскочил упругим проворным мячом.

Проснулся Лермонтов от утреннего застылого холода. О вчерашнем дурнотном состоянии напоминали только головная боль и слабость во всём теле. За бортом море было гладко, как вода в пруду. Голубое до блеска небо застыло над головой, но паруса всё же тяжело выпирались грудью. В утренней сплошной тишине отчётливо слышался каждый звук: скрип снастей, осторожный плеск рассекаемой носом воды. Заглушённым, словно натруженным голосом Михаил Иванович говорил кому-то:

– ...Вот, парень, я тебе что скажу. В рудниках со мной один кавказец работал. Конечно, ни зимы, ни работы тамошней здешнему человеку не снести, так и свял бедняга. А как совсем отходить начал, вдруг как забьётся, затрепещет, как птица подстреленная, и глазами и руками всё молит чего-то: дайте, мол, дайте мне. А чего – никто понять не может. Насилу я разобрался: винограду, винограднику, понимаешь, одну он просил. Это чтоб родину хоть по чём-нибудь было вспомнить. Родина-то, брат, может, это вовсе и не страна или земля какая, а, скажем, семейство, обычай, которым жизнь ведётся, или другое что. А у меня вот родины этой, как хочешь, нет – какая же у солдата, да ещё у каторжного, может быть родина? А тоска, парень, тоска мне всю душу выела. Я через эту тоску и из Сибири вон куда убежать не побоялся. В жизни я только крепок, сам знаешь, – а отчего? Помирать, брат, боюсь, боюсь – перед смертью, как тому кавказцу, просить будет нечего...

Он смолк. Лермонтов напряжённо, весь обратившись в слух, ловил каждое его слово. Что-то неловкое, унижительное и страшное закрадывалось в душу. Казалось, вот-вот Михаил Иванович начнёт говорить о нём, унизит, оскорбит несмываемо. С минуту на палубе царило молчание. Потом тот же натруженный, заглушённый голос заговорил снова:

– Насчёт этого тоже – пустое. Я, брат, это ещё вон когда понимал. Четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года, когда в Петербурге на Сенатской площади гвардейские полки бунтовали, вон когда. Преображенский полк тогда усмирять их выслали. Так у меня и рука не дрогнула по своим стрелять, как команду подали. Потому дураков жалеть нечего. А раз ты, баран, поверил, даже в мыслях допустил, что они о твоём добре будут стараться, – то дурак ты и есть, и больше ничего.

Голос у него звучал уже по-другому, старчески ворчливо и скрипуче.

– Да-с. Вот хоть и это. К чему эти англичане здесь? Добро или зло какое придумывают? Нам с тобой никакого дела нет. Нам деньги получить, коль мы их в порядке доставим и от начальства укрыть сумеем, а что они там подстраивают: за царя ли, против ли царя – это наплевать. Нам с тобой всё равно от того лучше не будет.

Лермонтов закрыл глаза, притворился спящим, когда Михаил Иванович, крякнув, сказал:

– Пойду посмотреть, не проснулись ли.

Противное чувство неловкости и смущённого стыда, как будто он отнял у нищего рубашку, не оставляло его.

«Это Дарья, Дашенька, нигоринская Долли – потерянная родина», – стыдной, унижающей мыслью не выходило из головы.

К полдню всё беспорядочней и чаще стали кружить над «дубом» чайки, на волне иногда густо болталась щепка, плыл мусор.

Михаил Иванович, гася насмешливый блеск в глазах, подошёл к нему.

– Ну-с, сударь, подходим.

## VI

За Ялтой характер местности резко менялся. Оборвалось массивное, высеченное в скалах шоссе, попадавшие порой по пути искусно разбитые парки сменились диким дубовым и буковым лесом. Изредка лес прерывался скошенными полосами виноградника. Ехали дорогой, которая только по инженерному положению называется «мягкой». На самом деле она была так камениста и тверда, что конские копыта кокали по ней, как по мостовой, и колёса за столетия не смогли намять колеи. Внизу от них замелькал между деревьев свет. На вырубленной и расчищенной среди леса просторной поляне тшились расти саженцы веллингтонии, субтропических лиственниц и елей.

– А это что? – поворачиваясь в седле, спросил Лермонтов.

Мадам де Гелль не рассталась с мечтательной улыбкой.

– Тоже имение графа Воронцова. Массандра.

Лермонтов засмеялся.

– Здесь, что ни спросишь, всё Воронцов да Воронцов. Совсем как у Жуковского в «Канитферштане».

– Но ведь вы не так мрачно настроены сегодня, чтобы желать встречи с гробом? – быстро отозвалась она. – И потом, по-моему, графу Воронцову совсем нельзя желать смерти. Он так много сделал для процветания и украшения этого дивного края.

Лермонтов внимательно посмотрел на неё.

– Гроб я предпочёл бы встретить вон с той красавицей, – он подбородком указал на ехавшую впереди них кавалькаду. – Всё равно вы тогда бы мне ответили, что это принадлежит или принадлежало тому же Воронцову.

– Фи! Как вам не стыдно! Ведь это же грешно – желать смерти такой хорошенькой женщине.

Она хлыстом ударила лошадь, послала её на рысь.

– Нам нельзя отставать. Смотрите, где остальные.

Лермонтов засмеялся, но тотчас же и сам толкнул своего коня. Опять они ехали рядом.

– Вас волнуют ревнивые взгляды вашего Отелло, – проговорил он с усмешкой. – Или, может, вы уже заскучали по тому влюблённому Фальстафу?

У неё лицо приняло строгое и разгневанное выражение.

– Господин де Гелль имеет ко мне невозмутимое доверие. А что касается другого... о, Лермонтов, вы, очевидно, ещё плохо разбираетесь в людях, если Тет-Бу кажется вам Фальстафом.

Частый и дробный стук копыт словно цеплялся за ветки, шуршал в листве.

– Потом, я уже сказала, – говорила Жанна, задыхаясь от быстрой езды, – мне надоело, понимаете, надоело злословие...

Из-за поворота дороги показалась уехавшая от них вперёд кавалькада. Две дамы в амазонках ехали шагом, около них, неловко болтаясь в седле, трусил

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
рысцой господин в синем фраке, расшитом золотыми позументами, и в странной  
треугольной шляпе. Муж госпожи де Гелль сидел на лошади исправно.

Пока они не поравнялись с ними, ни Лермонтов, ни Жанна не обменялись ни  
словом.

Господин в светло-синем фраке встретил их довольно неуклюжим каламбуром.  
Вблизи и верхом он выглядел решительно смешным. Шляпа его была фасона,  
который был распространён в английском флоте лет тридцать назад; волосы у  
него были длинные, по самые плечи; нанковые[164], заправленные в высокие  
жёлтые ботфорты, панталоны совсем не соответствовали сезону; под фраком был  
надет белый жилет, и одно плечо было украшено золотым эполетом-жгутом. Он  
не только костюмом, но и наружностью ужасно напоминал Людовика XVIII, каким  
его изображали на портретах, распространившихся в эпоху Реставрации.

– Даже удовольствия, которые может доставить самое изысканное общество,  
нельзя променять на наслаждение, которое даёт один человек. Не правда ли? –  
сказал он, многозначительно взглянув на Жанну.

– Да, если этот человек умеет более остроумно высказывать свои огорчения, –  
быстро ответила она и броском послала вперёд свою лошадь.

Лермонтов остался в хвосте кавалькады.

– Я предпочёл бы, чтобы вы немножко более считались с моими чувствами и с  
вашим положением, – вполголоса заметил ей де Гелль, когда они поравнялись.

– Второе замечание. Благодарю, – сквозь зубы процедила она. – Не слишком ли  
вы вошли в свою роль мужа, господин де Гелль?

Она окинула его презрительным и холодным взглядом и, сгоняя с лица улыбкой  
гримасу, приветливо обратилась к дамам:

– Вы не утомлены?

– О, нисколько. А вы?

– Месяе Лермонтов такой превосходный кавалерист, что, когда едешь с ним,  
можешь быть уверенной – силы твои и твоего коня будут сохранены вполне.

Она с едва заметной усмешкой бросила взгляд в сторону смешного господина во  
фраке. Дамы переглянулись с улыбкой.

– Может быть, мы поспешим? Как будто в воздухе пахнет дождём, – осторожно  
заметил де Гелль.

Господин в синем фраке сперва с глубокомысленным видом рассматривал небо,  
потом тоном, не допускающим никаких возражений, заявил:

– Дождя сегодня не будет.

Мадам де Гелль рассмеялась.

– Господин Тет-Бу – моряк, но он избегает быстрой езды, господин де Гелль –  
недурной ездок, но он ничего не смыслит в погоде. Кого же нам, господа,  
слушать? Бедный Тет-Бу! – она послала ему улыбку. – А мне ужасно хочется  
скакать и скакать. Придётся вам вынести ещё одну неприятность.

Она с места на галоп подняла своего коня. Увлекаемые ею, помчались и  
остальные. Лермонтов с нахмуренным, недовольным лицом замыкал кортеж.

Через полтора часа в Гурзуфе они делали привал.

Слева в жёлтом выгорающем зное стыла серая невысокая горная цепь. Справа на  
гладкое, как зеркало, море две скалы, как два огромных, не нашедших своей  
глубины камня, стлали зелёную тень. Тень дотягивалась до берега, в том  
месте, казалось, должна была быть прохлада.

Лермонтов спешил последним, с выжидающим и мрачным видом, держа в поводу  
лошадь, стоял поодаль от остальных.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Послушайте, так нельзя. Ваш вид отнимает у меня спокойствие и лишает хорошего настроения. Ну, маленький, в чём же дело? Ведь всё хорошо.

Мадам де Гелль подошла к нему. Может быть, только четыре пары ревниво и пристально наблюдавших за нею глаз помешали ей взять его руку. Он увидел глаза. Солнце нагрело и их; в холодном сером сиянии купался золотистый распалённый зной. Он улыбался совсем по-детски, радостно и умиленно.

– Конечно, всё хорошо. Но, но... – Он так и не окончил фразы.

Она нетерпеливо, теребя за рукав, тащила его за собой.

– Ну, идёте же к ним. Видите – они уже пьют вино.

В тени фруктового сада на земле расстелили скатерть.

Рыжебородый татарин тащил гору фруктов на огромном подносе. Вино принесли в медных, с длинными узкими горлами, кувшинах.

Тет-Бу, подставляя свой стакан под кувшин, с видом глубокого знатока говорил:

– Постройка крепости, развалины которой вы видите вон в том направлении, относится ко второму веку. При Юстиниане она называлась Гурзувиты.

– А кто теперь владеет этим Гурзуфом? – с нарочитой серьёзностью спросил Лермонтов.

– Теперь это имение графа Воронцова.

– Опять Воронцова, – звонко расхохотался Лермонтов. – Графиня, вы меня извините, но я за сегодняшний день на десятый, по крайней мере, вопрос получаю такой ответ. О чём бы я ни спросил – мне отвечают: это Воронцова.

– Вы, очевидно, далеко не всем интересовались, – картавя и с улыбкой проговорила графиня. – Здесь есть много весьма замечательного, ничем не связанного с имением Воронцова. Хотя бы, например, вот это, – она осторожно указала рукой влево, где за зубчатой стеной кипарисов белел просторный помещичий дом. – Вот дом, где гостил у Раевских Пушкин. Вам, как литератору, это следовало бы знать.

– О, Пушкин, – с живостью воскликнула мадам де Гелль. – Господа, в каком чудесном мы находимся месте! Ведь здесь было написано: «Волшебный край, очей отрада...» Вот об этих самых долинах. Потом, если я не ошибаюсь, здесь же писано «Редееет облаков летучая гряда...». Ну, Лермонтов, вы поэт, помогите мне вспомнить, что ещё написал Пушкин в Гурзуфе.

– Сейчас я не думаю о Пушкине, – просто сказал Лермонтов и ясным и открытым взором посмотрел на неё.

Наступило молчание, как будто всем стало немножко неловко от этого поэтического экскурса.

– Но, кажется, мой муж был прав: дождь действительно будет, – поспешила дать тему мадам де Гелль.

– Дождь будет очень скоро, – мрачно выговорил Лермонтов и опять посмотрел ей в глаза. – Следует торопиться.

Он встал и направился к тому месту, где стояли лошади. Жанна вслед за ним тоже поднялась с земли.

– Господа, я здесь самая маленькая женщина, – комически торжественно заявила она. – Если нас здесь застанет дождь, боюсь, что я упаду под тяжестью моей собственной амазонки.

Сидящие переглянулись, прилежно проследили, как Лермонтов помог ей подняться в седло.

Через четверть часа отчаянной скачки Жанна сдержала свою лошадь, изгибаясь в седле, пыталась поймать взгляд Лермонтова. Дышала она тяжело.

– Вы знаете, Лермонтов, – заговорила она после минутного молчания. – Тет-Бу совершенно вас не переносит. Право, вам не следует его раздражать понапрасну. Вчера он был готов даже стреляться с вами, во всяком случае, немедля хотел сняться с якоря, чтобы плыть вслед за нами, когда я сказала, что вы не прочь и в Анапу, только вместе со мною.

– А зачем он вообще-то собирается на Кавказ? – равнодушно спросил Лермонтов.

– Не знаю. Кажется, он везёт ружья и пушки немирным черкесам. А потом, у него там ещё какие-то дела, о которых я даже и не догадываюсь.

– А, – безразлично откликнулся Лермонтов.

– Вам это неинтересно?

– Нет, – ответил он кратко.

У него глаза сделались страшными и потемнели. От этого взгляда трепетная волнующая дрожь пробежала по телу Жанны. У ней стеснило дыхание, когда она заметила, как нервно и твёрдо укорачивала повод его рука. Вдали послышалось грохотание колёс, звяканье подков, голоса. Рука Лермонтова разом ослабила повод.

– Быстрее, быстрее. Смотрите, уже накрапывает, – задыхаясь, выкрикнул он и всем телом подался вперёд на седле.

Открытую часть дороги они успели проскакать до дождя. В лесу капли с шумом падали на густую листву. Роща наполнялась встревоженным, неумолкающим шепотом.

– Это, кажется, и есть Кучук-Ламбат, – крикнула Жанна.

– Не знаю, – со странным смехом откликнулся он.

В стороне от дороги за деревьями мелькнуло белое строение. Тропинка к нему заросла травой.

– Беседка. Там мы укроемся, – срывая в сторону коня, возбуждённо прокричал Лермонтов.

Беседка была заброшенной и забытой. Травой поросли даже ступеньки. Лермонтов, бросив лошадь, проворно взбежал по ним.

– Скорее, скорее, иначе ваша амазонка намокнет и вы упадёте под её тяжестью.

Он рванул дверь. Слабый замок вместе с винтами выскочил из своего гнезда.

Крытый зелёным сукном стол внутри беседки заставил его расхохотаться.

– Очень мило со стороны генерала Бороздина, что он строит бильярдные в таком приличном отдалении от дома.

Жанна едва улыбнулась.

Дождь словно вымыл опаляющий зной из серых внимательных глаз. Сейчас они смотрели выжидающе и спокойно.

– Жанна!

Она не откликнулась. В изнеможении, словно дальше уже не было сил держаться на ногах, опёрлась она на бильярд, с усталым вздохом уронила на руки голову. Ему показалось, что она плачет. Вид её затылка, кусочка открывшейся из воротника беломраморной шеи действовал сильнее угасшего в глазах огня.

Воротник на амазонке отстегнуть было невозможно, он оторвал зубами застёжку. Вкус кожи на губах был солёным и горьковатым. Потом и ещё: как в сердце, ощутилась тяжесть её шлейфа в руке. Она медленно обернулась назад, в скошенном, мгновенно исчезающем из глаз взгляде не было ни испуга, ни

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org волнения.

Ещё какие-то мгновения развёртывала память. В неё был плотно упрятан жаркий день возле Пятигорского источника, холодное сияние налившегося светом предрассветного неба...

Измятый подол её амазонки, завернувшись, открывал бельё.

Вид последнего был так обыкновенен, что ему стало противно. Только усилием воли заставил себя остаться, не выбежать тотчас же из павильона.

В лесу в звуки дождя уже вплетался стук экипажей и чавканье копыт. Он вдруг закричал совершенно неистово:

– Они нас захватят! Ай, ай, ваш муж!

И, на виду у подъезжавших уже спутников, стремительно выпрыгнул в окно, вскочил в седло и помчался из леса.

Жанна стояла окаменев. Тет-Бу, промокший насквозь и встревоженный, первый кинулся к ней с вопросом:

– Что случилось? Что это значит?

Она довольно неуверенно проговорила:

– Не знаю... Я не понимаю... Кажется, это шутка.

## VII

На ялтинском рейде на расстоянии, достаточно приличном от берега, так как на стоянку в этой совершенно открытой бухте могли отваживаться только очень лёгкие суда, уже четвертые сутки выстаивала стройная трёхмачтовая яхта. Все её паруса были убраны и подвязаны с аккуратностью, граничившей с кокетством и встречающейся лишь на судах военных флотов да разве ещё у очень богатых и значительных лиц, влюблённых в морские путешествия. Яхта буквально горела на солнце: её ростры были богато покрыты позолотой, белая с широкой красной полосой по бортам окраска отражала количество лучей, вероятно, не меньшее; палуба, даже палуба со всеми на ней строениями обладала необычайной способностью сверкать и гореть, как будто всё там было вызолочено. Ясно, что эта яхта была легка на ходу, ясно, что команда её была отлично подобрана и выдрессирована. На любой бы другой стоянке такая яхта, несомненно, привлекла бы к себе самое неумеренное любопытство жителей, но в таком малолюдном и захудалом местечке, каким была Ялта, её пребывание не делало никакого события. Яхтой мало кто любовался, ещё меньше кто был заинтригован её национальностью и назначением. Но в этот час берег был совершенно пустынен, кругом не было ни души, и, вероятно, этим же нужно объяснить и то, что суета и движение на палубе яхты, необычные в столь ранний час, не привлекали ничьего внимания.

Господин де Гелль выскочил из коляски с той растерянной поспешностью, которая изобличает в человеке нервное беспокойство и волнение. Сложив руки рупором, он стал кричать. «На «Юлии»! На яхте!» Но, очевидно, его голос был слишком слаб, чтобы его могли там слышать. Кучер стал помогать ему неистовым «ого-го», но всё равно с яхты не откликались. В конце концов их крики растревожили на береговой сигнальной вышке матроса. С его помощью, флагом и криками, они добились наконец, что их заметили. Там тоже помахали флагом, и через десять минут лёгкий четырёхвесельный вельбот доставил господина де Гелля к борту «Юлии».

На палубе кипела работа. Матросы, как кошки, лазали по вантам и мачтам, укрепляя и натягивая такелаж. Ворчливо скрипел испытуемый кабестан.

– В чём дело, любезный Джьякомо? – не скрывая своего удивления, спросил де Гелль у стройного и загорелого юноши, распорядившегося работами.

– Через час мы снимаемся с якоря.

– Вы получили такое распоряжение?

Джьякомо только пожал плечами.



Господин де Гелль с возрастающим беспокойством спустился вниз.

За дверью каюты Тет-Бу была тишина. Де Гелль осторожно приоткрыл её. Хозяин каюты спал одетый, широко разметавшись на низком кожаном диване. Де Гелль быстрым взглядом обежал каюту. На круглом столике стояла открытая бутылка коньяку, в недопитой чашке остался чёрный кофе, на самом Тет-Бу халат был надет поверх его обычного платья, и ноги были в сапогах.

«Не спал всю ночь», – быстро сообразил де Гелль, связывая все эти вещи с бледным, нездоровым лицом спящего.

Тот вдруг заворочался во сне, привскочил на диване, сел, схватился руками за голову.

– Жанна. Вы здесь? Я ждал вчера, – разобрал де Гелль его спотыкающееся бормотанье и тут же подумал, поморщившись:

«Однако это не так уж легко – быть чересчур любезным мужем».

Тет-Бу вдруг открыл глаза.

– А, мой милый де Гелль, чему я обязан столь рано? – выговорил он, запинаясь.

В голосе как будто слышалась досада. Лицо де Гелля мгновенно приняло непринуждённо-шутливое выражение.

– Притворяйтесь, притворяйтесь, я вам это очень советую. Ваши матросы уже возятся около кабестана и готовятся поднять якорь. Что вы на это скажете?

– Это невозможно, – воскликнул Тет-Бу.

– Но это так.

Тогда Тет-Бу вскочил с дивана, бросился к дверям, требуя, чтобы к нему немедленно прислали капитана судна. Вошёл Джьякомо.

– Объясните мне, пожалуйста, что там происходит у вас на палубе, – строго обратился к нему Тет-Бу.

Джьякомо с тем же невозмутимым видом и так же просто, как и на палубе, объяснил:

– Мы снимаемся с якоря, капитан.

– Вы снимаетесь с якоря! Но кто вам дал такое приказание, господин капитан?

– Вы день ото дня откладываете, – так же спокойно и с достоинством говорил Джьякомо. – Поневоле вас надо отсюда вытащить, капитан, как Улисса от поющих на берегу птиц с женскими голосами.

Тет-Бу заметно покраснел.

– Подул настоящий норд-вест, – помолчав, добавил Джьякомо. – В Чёрном море это бывает не так часто, капитан. Нельзя упускать случая.

На эти слова Тет-Бу не обратил никакого внимания.

– Вот видите, – со смехом повернулся он к де Геллю.

– Хорошо, Джьякомо, вы можете идти. Возможно, мы и отойдём сегодня.

Джьякомо вышел.

Тет-Бу внимательно посмотрел на своего гостя. В полусвете, царившем в каюте, он ничего не смог прочесть на его лице.

– Скажите, – проговорил он, пытаясь овладеть равнодушной интонацией, – а что, Лермонтов всё ещё там? В Мисхоре?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
По лицу де Гелля пробежала улыбка.

– Со вчерашнего дня его уже нет.

– Уехал! – скорее весело, чем удивлённо воскликнул Тет-Бу. – Послушайте, мой милый де Гелль, ну сознайтесь; вы только на этом основании и построили предположение о скором отъезде? Ну, сознайтесь же: мы с вами – давний и безуспешный поклонник и любящий и счастливый муж – мы не можем не понимать друг друга.

– Этот Лермонтов – скверный мальчишка, он совершенно несносен, – всё так же оживлённо продолжал Тет-Бу. – Я крепко бы натёр ему уши, если бы только был уверен, что это не вызовет гнева мадам Жанны. Я мог бы впутать его в пренеприятную историю. Вы знаете, ведь он приехал сюда тайком и ужасно боялся, что об этом узнают.

– Но, по-моему, среди нас он не делал из этого тайны.

– Да, но кто же знает, что он ехал на контрабандном судне, с которым пробрались Уркарт и Лонгуорт.

– Вряд ли это стоит особо разглашать, если последние находятся сейчас на «Юлии».

– Э! – Тет-Бу сделал презрительный жест рукою. – Русские в этом отношении фантастично глупы. Их не беспокоит, когда иностранцы что-то делают в их стране, раз они допущены в неё на законном основании. Они, как дикари, верят взакон, и если чего и боятся, так это что собственные же подданные его нарушат. Этот любезный Воронцов сделал решительно всё, что было в его силах, чтобы помочь мне в моих топографических занятиях. Жаль, что никому не будут известны его заслуги в исследовании и приготовлении будущего театра войны. Сейчас они не мешают мне снабжать оружием непокорённых черкесов. А вместе с тем этого мальчишку, – он же мальчик, де Гелль, этот ваш Лермонтов, – этого мальчишку они ссылают на Кавказ, карают, как тяжкого преступника, возможно, они даже не выпускают его из-под наблюдения. А за что – как вы думаете? За то, что этот мальчик наболтал какого-то не всем приятного вздора. Вы только подумайте, какая это чепуха! Нет, если бы во всём мире внутренняя охрана была поставлена так, клянусь, мы могли бы жить и умереть спокойно. Это ж идиллия, де Гелль, самая настоящая идиллия.

– Как знать, – пожал плечами де Гелль, – русские, вероятно, на этот счёт держатся иного мнения.

Он поднялся на палубу.

На берегу, садясь в экипаж, он заметил Лермонтова. Тот стоял, прислонившись к массивному причалу, с видом рассеянным и грустным смотрел на необъятный морской простор. Стук колёс о камни оторвал его от задумчивости. Он клонился с улыбкой, которую скорее можно было отнести к разряду искренне дружеских, чем только любезных. Де Гелль с отменной учтивостью отвечивал на поклон.

– Господин де Гелль!

Де Гелль поспешил толкнуть кучера, чтобы тот остановился. Лермонтов подходил большими шагами. У него был такой вид, как будто он ещё не решил – правильно ли он поступил, остановив де Гелля.

– Я очень прошу простить меня, – проговорил он как бы утомлённым голосом, – но вам ведь известны мои обстоятельства; я решаюсь просить вас передать мадам де Гелль мои самые почтительные извинения и привет, искренний и от всего сердца. Я должен уехать сегодня, сейчас, скоро, я просто лишён возможности принести эти извинения лично. А между тем я так бы хотел быть сейчас в Мисхоре.

Де Гелль очень внимательно и подробно расспросил его, когда именно, с оказией или на почтовых предполагает он уехать, высказал свои сожаления, что Лермонтов не может сейчас вместе с ним отправиться в Мисхор, не позабыл вздохнуть и о том, какое огорчение он доставит этим сообщением жене, потом крепко, с самыми лучшими пожеланиями, пожал ему руку и велел кучеру трогать.

«Вот это муж! – мелькнула, наполняя горечью сердце, завистливая мысль. – А впрочем, другой ей и не был бы нужен».

День мучительно томился жарой, но не увядал упорно. Из редкого тумана, как подводные скалы, проступили зелёные горы, уже стемнело в долинах и улицах, в домах зажигали свет, когда пришла Жанна. Она казалась взволнованной.

– Я боялась, что уже не застаю вас. Господин де Гель предлагал проводить меня. Я отказалась. Я с трудом смогла нанять экипаж.

Он посмотрел на неё внимательно и странно, как будто видел впервые.

– Вы и не застали бы меня, если б пришли на четверть часа позже, – сказал разбитым и невнятным голосом.

– Так, значит, это правда! Вы на самом деле собрались уехать?! – воскликнула она, оглядывая растерянно и недоумённо комнату. Только сейчас она заметила связанный чемодан в углу, брошенную на него бурку, заметила, что и сам он в суконном форменном скюртуке, что через плечо у него надета шашка. Ей стало мучительно тягостно, захотелось уйти от слов, ставших уже бесполезными. Но она поборолась себя.

– Лермонтов, милый, мой милый Лермонтов, – проговорила с волнением, – вероятно, я совершенная дрянь, что не сумела, не смогла быть такой, чтобы вам не захотелось уехать. Сейчас я готова презирать себя, потому что вы самый замечательный и самый значительный из всех людей, которых мне послала судьба, и вместе с тем... я вас отпускаю. О, Лермонтов, если бы вы знали, – это вырвалось почти криком, – если б вы знали, какой счастливой могла бы я быть с вами! Я отпускаю своё счастье, и только потому, что я недостойна его. Ах, зачем я говорю это сейчас? Не надо, не надо, – и без того нелегко нам обоим. Ну, вот видите, какая я на самом деле дрянь.

Он ясным равнодушным взором посмотрел куда-то мимо, хрустнул пальцами, спросил, кривясь не то от боли, не то от смеха:

– Вы знаете, что такое ложное чувство?

Она ответила не сразу, тон был смущённый и растерянный.

– Ложные чувства? Это когда любишь то, что любить не следует, что не приносит нам счастья.

Всё ещё кривясь, он с досадой отмахнулся рукой:

– Нет. Это когда лелеешь, радуешься, тебе кажется, что в тебе родилось настоящее, самое настоящее чувство, а на самом деле... – он поднял на неё тяжёлый, потерянный взгляд, – его не было и нет.

Она слышала, как он шумно глотнул полной грудью воздух, видела, как шатающимся, неуверенным шагом приблизился к ней, чувствовала, как дотронулся до руки, но не двинулась с места, не переменяла позы.

– Нужно прощаться. Мне пора.

Оба одновременно посмотрели друг другу в глаза. От этого взгляда медленно, как круги на воде, расходилась по лицу улыбка. У ней ломался голос, с трудом договорила до конца:

– Очень трудно сделать эту встречу не похожей ни на одну из прежних. Но так расстаться тоже ведь невозможно.

Он пожал плечами.

– Отчего? Она и так непохожа, – сказал рассеянно. – Прощайте.

Она не подняла головы, рука его повисла в воздухе. Он повернулся, тихо, стараясь не шуметь, вышел из комнаты.

На улице уже отстоялись густые лиловые сумерки. Бубенцы у почтовой четвёрки звенели крупно и грустно. Полная тяжёлой клады телега застучала по камням

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org так, будто она тоже была из камня.

За поворотом узкой кривой улочки сгрудившаяся толпа преградила дорогу. Почтарь, привстав на сиденье, старался разглядеть что-то лежавшее за плотным кольцом сгрудившихся людей. Опускаясь снова на место, сказал равнодушно:

- Кажись, человека зарезали.
- Должно, зарезали, – согласился и ящик и тут же закричал, понукая четвёрку: – Эй, разойдись, дай дорогу!

Телега въехала в толпу, как в тесто: толпа за нею сейчас же сомкнулась. С высоты телеги Лермонтову казалось, что люди обтекают их, провожая равнодушными, безразличными взглядами. Через их головы он увидел на маленьком пространстве земли распластанное и безжизненное человеческое тело. Из пробитой головы натекала огромная лужа чёрной крови. Даже в сумерках Лермонтов разглядел и узнал упрямый, заросший пучками небритой щетины подбородок, жёсткие, по-солдатски подрубленные усы и баки; он не мог не узнать и огромных морских сапог, рваной и засаленной матросской рубахи, красного, сползшего к ногам кушака. Он оживился, забеспокоился, заёрзал на месте.

- Кто это его? – спросил, наклонясь с телеги.

Объяснили охотно и немедленно:

- Да пьяный какой-то. С татаринном, вишь, подрался, тот ему камнем и проломил голову, а сам сбёг.

«И это конец», – сказал про себя, сам поражаясь такому нелепому и чудовищному сопоставлению.

#### VIII

На пятнадцатое марта, ровно в одиннадцать часов, был назначен высочайший приём специально посланного с докладом от командира отдельного кавказского корпуса.

Часы в приёмной уже били одиннадцать, дежурный флигель-адъютант, приглашавший в кабинет назначенных к приёму, пропал за дверями. Николай встал из-за стола. Нижняя челюсть дрогнула, скопился рот, он уже готов был разразиться гневным криком, но в этот момент фамилию дежурного словно украли из памяти. Это иногда бывало. Николай прошёлся по кабинету, скова опустился в кресло, пальцы нервно забарабанили по столу. Часы в приёмной всё ещё не окончили своего металлического боя. Чуть ли не с последним их ударом распахнулась дверь. Скользящий к столу флигель-адъютант доложил на лету:

- В звании флигель-адъютанта полковник барон Будберг. С докладом командира кавказского корпуса.

Сказал и так же неслышно, как появился, исчез. Николай сурово и строго взглянул на вошедшего. Таким лицо делалось у императора, когда перед ним отвратительно маршировали на смотрах полки, когда он замечал какую-нибудь неисправность на отдельном солдате, когда немедленно и тут же никого из стоявших рядом, бывших, так сказать, под рукою, распечь и разнести было нельзя.

- Здравствуй, садись.

Государь не подал руки. Не отводивший от него глаз, словно взглядом прилип к его фигуре, полковник, как автомат, опустился на самый край кресла. Николай ближе придвинул своё, их разделял теперь только угол стола.

- Ну давай! Чего там намарали?

Полковник проворно, трясущимися руками, расстегнул туго набитый портфель, вскочил с места, хотел развернуть и карту Кавказа.

Николай досадливым жестом остановил его:

– Не надо. Я это наизусть знаю.

Полковник, часто моргая веками, поспешно сложил её, достал из портфеля бумагу. Бумага ходила в руках ходуном. Николай, брезгливо поморщившись, принял её из рук.

«Что, Будберга-то на Кавказе совсем разучили говорить, что ли?» – подумал с недоброй усмешкой.

Он, конечно, не знал, что к этому самому Будбергу, в беспокойной тоске ожидавшему призыва во дворец, два раза прибежали с приказанием из военного министерства переменить форму одежды, гадая, в какой государю будет угодно его видеть; он, конечно, не знал, что за два часа до приёма Будберг мучительно изнывал в кабинете у военного министра. Военному министру не было никакого дела до тех соображений, которые излагались в докладе командира кавказского корпуса, но, по его глубокому убеждению, что-то в них не совпадало с его собственным мнением и, следовательно, никуда не годилось.

Вначале полковник ещё пытался что-то ответить, пробовал что-то объяснить. Военный министр, отмахиваясь от него, как от прилипчивой мухи, несколько раз ткнул пальцем в карту, указывая на какое-то место на северо-западном побережье Каспийского моря.

– Вот отсюда, с правого фланга, государю именно и желательно, чтобы началось постепенное перечисление.

Полковник понял, что противоречить бесполезно. Речь шла о перечислении государственных крестьян в Ставропольской губернии в линейное казачье войско. Военный министр, очевидно, полагал, что их, то есть русских войск, правый фланг упирается в Каспийское море и войну они ведут, следовательно, против России.

Он с совершенно потерянным и убитым видом собирал свои бумаги. Военный министр, словно издеваясь, напутствовал:

– Ну, вот увидите, как будет гневаться государь.

Сейчас у Будберга в голове творилась невероятная путаница. В одном только он был твёрдо уверен: из всего, что нужно доложить государю, он уже не помнит решительно ничего. Только вчера ночью прибыл он в столицу. До этого семь суток в распутицу и грязь скакал он на перекладных, не выходя из саней от самого Таганрога. От недельной непрерывной езды и тряски тело болело и ныло, словно его били, к голове, заволакивая всё жёлтым туманом, приливала кровь, распухшая шея отказывалась поворачиваться в тугом воротнике.

Государь бегло одну за другой читал бумаги и раздражённо швырял их прочь. Не прочитав и половины, оттолкнул всю пачку, брови у него грозно сошлись. Полковник, качнувшись, ещё прямее вытянулся в кресле. Стараясь смотреть прямо в лицо царю, он напряжённо и часто мигал покрасневшими распухшими веками. Впрочем, царь его как бы уже и не замечал.

– Что мне рассказывают, – это было похоже на монолог, – что благосостояние крестьян упадёт по передаче их в линейное войско! На Дону военное управление ничуть не мешает народному благоденствию. Я знаю, кому это не нравится.

С последними словами он так возвысил голос, что полковник вздрогнул.

Досадливо кривясь, словно это было самое неприятное для него на свете, Николай опять придвинул к себе пачку бумаг. Взял одну, тотчас же отшвырнул, гневно ударил по столу кулаком:

– Бордель там у вас, положительный бордель. Людей нет, чтобы серьёзно заняться Кавказом. Вон у Воронцова за Крым так и вовсе я не боюсь ни с какой стороны. Вот у кого нужно бы вам поучиться.

Он помолчал, брезгливо поморщившись, взял следующую бумагу из пачки.

– Это ещё что такое?! – крикнул, гневно сверкнув глазами.

У полковника сердце расколосось в груди, отдельные части его бились теперь в коленях, в локтях, в пальцах.

– Представление командира корпуса вашему императорскому величеству, – заикаясь, пролепетал он, – с приложением рапорта генерал-лейтенанта Галафеева и наградного списка на всех особо отличившихся в делах против неприятеля за прошлогоднюю летнюю экспедицию.

У царя складками наморщился лоб, одним взлётом бровей он их разгладил, глаза метали молнии.

– Лермонтов! – закричал он, ударяя кулаком по столу. – Опять ко мне лезут с Лермонтовым! Да что там у вас, с ума все сошли?! За отличиями, что ли, на Кавказ ссылают?! Или ваше дело каждого мерзавца непременно представить героем? Вояки!! Дубины, которые не могут понять, что Кавказ у меня вовсе не для прогулок. В отпуск пустили – мало. Так они ещё к награде вздумали представлять! – Голос вдруг осёкся, теперь рубил слова хриплым и низким басом. – Передай там, что я приказал генералу Клейнмихелю в двадцать четыре часа выпроводить этого молодчика из столицы. Должен быть при полку, а не обтирать паркет гостиных. Передай, что я ставлю на вид твоему командиру, что у него люди употребляются не в ту службу, для какой они присланы. Передай, что до сих пор на Кавказе я ещё, слава Богу, не знал таких умников, которые бы лучше меня знали, что нужно делать. Всё. Можешь идти.

Кивком головы отпустил вытянувшегося в струнку Будберга. А когда за ним закрылась дверь, царь разбитым, утомлённым движением откинулся в кресле, прошептал с покорным отчаянием:

– Господи, что делать мне с ними! Какие дураки! Боже, какие дураки!

Встал и прошёлся по кабинету. Раздражение и гнев проходили. Что-то очень неприятное слышал он на днях. Это неприятное как-то было связано с именем Лермонтова; вспомнил, что это было на докладе Орлова[165]. Вспомнил, что тогда же, взбешённый, приказал дежурному генералу гвардейского штаба удалить его из столицы в двадцать четыре часа. Сейчас это почти уже не раздражало.

– Болваны, они ещё пускают его в отпуск, – саркастически улыбнулся царь, шагая по кабинету.

Он продолжал шагать и продолжал думать. Напоминание о Лермонтове дало новое направление мыслям.

– Они там только ещё больше распускаются. Воздух там, что ли, заражён этим мятежным духом. Дураки, даже в экспедицию послать не сумели. Вон у Ермолова не возвращались.

Шаг сделался чётким и твёрдым, отрывисто печатал по паркету. Усмехнулся самодовольно и зло.

– Фронтальная служба, строгое выполнение своих прямых обязанностей помогает смирению.

Быстро подошёл к столу. Не присаживаясь, на клочке бумаги карандашом набросал:

Дежурному генералу.

Переведённый из гвардии в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при своём полку не находился, но был употреблён в чеченской экспедиции с особо порученною ему казачьей командою. Замечание корп. ком. Подтвердить, чтобы оный Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтальной службы в полку.

Бросил карандаш. Опять походил по комнате. За окнами был зябкий мартовский день с мокрым снегом и ветром. Холод, казалось, проник и сюда. Подошёл к столу. Нагнулся. От натуги на лбу выступили жилы. Из-под стола вытащил потрепанный кожаный футляр. На коленях открыл его, вынул и бережно обтёр куском замши трубу, вставил мундштук. Нота, тоскливая и дребезжащая, словно и она не могла не чувствовать ветра и снега, нудно вырвалась из её медного горла.

## IX

Апрель золотил вечера тёплыми, розовыми закатами. На бледном небесном атласе курчавились мотки шелковистой облачной пряжи. Как оперяющиеся птенцы, покрылись почками деревья. Громады дворцов, прямые, как выстрел, проспекты, каменный и бездушный Петербург тонули в бескрайнем и прозрачнейшем воздухе. Смутным томлением и хрустальными в любой перспективе пейзажами в город пришла весна.

В доме Карамзиных, в том самом доме, где ровно год тому назад, смотря на плывущие за окном над Летним садом облака, читал Лермонтов «Тучки небесные, вечные странники», ждали его, снова отъезжавшего на Кавказ.

Красавица графиня Растопчина, по причине близорукости не отнимавшая от глаз лорнета, отчего томные и беспрестанно шутившиеся глаза казались полными слёз, рассказывала о последней мистификации этого очаровательного и гениального – она так и говорила: «гениального» – шалуна.

– Представьте, – говорила графиня, – каковы были наши ожидания, как мы приготовились слушать. Он объявил, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для прочтения этой повести, он требовал также, чтобы двери были закрыты для посторонних. Повесть, которую он собирался нам прочесть, называлась «Штосс». Вы представляете, как мы все были заинтригованы и этим названием и предупреждением. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись, числом около тридцати. Наконец он входит с огромной тетрадь под мышкой. Принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение. Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне. Написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Но и то, что мы слышали, совершенно исключительно. Увы, – тут графиня вздохнула, – и в этой повести те же мрачные настроения. Это какой-то Сведенборг... Нет, нет, теперь у Лермонтова не бывает, очевидно, минуты, когда бы он не думал о смерти...

Эта история, которая, казалось, должна была вызвать серию воспоминаний о проказах и шалостях «неисправимого» Лермонтова, повлекла за собой совсем иные рассказы. Вспоминали случаи, встречи и слова, неоспоримо подтверждавшие, что таких минут, когда он не думает о смерти, у Лермонтова теперь не бывает.

– Да, да, в прошлом году – и ссылаемый, и разжалованный – он уезжал не с таким настроением.

Появившегося Жуковского обступили, упрекая в суровости к Лермонтову двора, и Василий Андреевич своим мягким, чуть задыхающимся голосом старался оправдать Николая.

– Но вы же, господа, знаете, что государь больше месяца тому назад соизволил приказать в двадцать четыре часа покинуть ему столицу. И это много, и это много – что ему разрешили пробыть здесь до конца отпуска. Великий князь не терпит, когда его просят отменить даже его собственное приказание, а тут он сам ходатайствовал перед государем за нашего милого проказника. Поверьте, что великий князь, снисходя к нашим общим мольбам, сделал всё.

Лакей в дверях доложил:

– Поручик Михаил Юрьевич Лермонтов!

Взгляды ожидающе обратились к дверям.

Он вошёл улыбающийся и бестревожный, такой, каким его привыкли здесь видеть всегда. Чёрный армейский сюртук не был застёгнут доверху, кавказский, до сих пор не отошедший загар оттенял белоснежность белья. Улыбка была на губах; как всегда, улыбались глаза. Не было только одного – он не был оживлённым, и это сразу заметили все.

За столом, как и прежде, ему принадлежали лучшие в этот вечер остроты и каламбуры, на нём было сосредоточено внимание всех, но...

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Он шёл сюда проститься; здесь его ждали друзья, по крайней мере большинство из присутствующих считало себя таковыми; здесь его любят и ценят – он знал, или нет, не знал, а так хотелось думать; в памяти были розовые сумерки прошлогодней весны, тучки над Летним садом и тихая бестревожная грусть на сердце. Всё как и в прошлом году, только вот этого беспокойства, этой беспричинной тревоги не было тогда. А она мешала, мешала даже грустить, делала неживыми, мёртвенными, искусственными и весёлость и беззаботность. Это заметили. Он почувствовал холодок даже во внимании, с которым обращались к нему. Мысль, ставшая за последнее время привычной, вытеснила всё остальное.

«Я – один, совсем один. Никому до меня нет никакого дела. Одному жить нельзя. Надо умереть. И пора». Как из-под ареста, встал из-за стола. Пирожными обносили в гостиную. Тотчас же вслед за хозяйкой перешёл туда. В гостиной образовались кружки, общий за столом разговор распадался, его разносили по углам. Около Наталии Николаевны Пушкиной место было свободно. Раньше чем кто-либо попытался завладеть им, не колеблясь и поспешно подошёл к ней.

В голове, наполняя всё тело тяжестью и отчаянием, стучала неотвязная мысль:

«Ей, ей, владевшей такою любовью, видевшей такое страдание, не может быть непонятно это... Она пожалеет...»

В гостиной недоумённо посмотрели на него. Этот его порыв, очевидно, удивлял.

– Наталия Николаевна... – у него дрогнул голос. – Вы не должны удивляться... Я даже не пытаюсь скрывать, что чуждался вас всегда и намеренно... Сколько вечеров, проведённых здесь, в гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу...

У неё улыбка не изменила ни одной черты, только в глазах, чёрных, напоминавших зимнее ночное небо, прекрасных глазах, опушённых густыми, как мех, и длинными ресницами, в продолговатых прорезах голубых век загорелась едва уловимая насмешка.

– Сегодня вы захотели изменить себе с тем, чтобы потом говорили ещё об одной вашей причуде. Не так ли?

Горькая улыбка пробежала по его лицу. Опуская взгляд, проговорил растерянно и тихо:

– Я уезжаю навсегда... Предчувствия никогда ещё меня не обманывали... А сейчас мне не кажется, я не чувствую... Нет, нет – в Петербург я уже никогда не вернусь... И я не рисуюсь, поверьте хоть этому. Если бы только это было возможно, ах, как я хотел бы остаться здесь...

Он вздохнул тяжело и глубоко.

– ...И вот с таким-то предчувствием в первый, может быть, в первый только раз в жизни подойти к человеку с раскрытым сердцем и услышать...

Он не договорил.

– Но вы сами сказали о неприязни и предубеждении. Разве может так легко изгладиться такое чувство. Я – женщина, месье Лермонтов.

– Если бы мне казалось, что вы только женщина, если бы я думал, что, кроме поклонения себе, вы не можете принять ничего другого, я не подошёл бы, я не решился бы подойти к вам. Но нет, нет – этого не может быть, не может быть, чтобы и ваше сердце было закрыто для чувств, которым не определено места светом...

Он смотрел на неё с немым и тяжёлым вопросом. В глазах она читала страдание, страданием кривился женственный, мягко очерченный рот. В памяти ярко, как будто это было только вчера, проступила другая картина, другие губы, в смертной жажде и тоске просившие морошки. С медленно разгорающимся на щеках румянцем, беззвучно, одними губами, она прошептала:



– Я слушаю вас.

– ...Наталья Николаевна, я не должен был вас чуждаться. Я должен был знать, что моей искренности вы не ответите равнодушным презрением. Я должен был верить, потому что вам открыто не известное даже самой прекрасной царице вашего круга.

Румянец поднялся до самых глаз, им горели кончики ушей. Мех длинных ресниц совсем закрывал глаза, и первый раз, первый раз в своей жизни, увидев это смущение, смутился испугался своей смелости Лермонтов.

– Вы помните, – проговорил он неуверенно и тихо, – за столом я сказал, что серьёзно думаю посвятить себе литературе, мечтаю, выйдя в отставку, издавать журнал. Это неправда, Наталья Николаевна, так я не думаю и не мечтаю. Кому нужна литература в стране, где на журнал, на новую книжку подписываются, как на билет благотворительного бала!

Остановился. Опять горькая и ироническая усмешка покривила губы.

– ...Талант, ну что ж талант! Сегодня, например, я не принёс с собой новых стихов, я не написал, как в прошлом году, экспромта, который читал чуть не плача. Я весел, поскольку это требуется и... вы видели, как по минутам, словно песок в часах, иссякал ко мне интерес. Что делать в России с талантом, скажите? Мучиться, вдвойне мучиться, ибо и без таланта не мучиться нельзя. Вот эти люди, этот свет, права быть равным которому я так искал и добивался, – вы видите: им я не нужен, и они мне тоже. А других ведь нет. Других читающих стихи в России нет.

Он перевёл дыхание. Даже загар, кавказский, неотстающий загар, не мог скрыть проступившей на щеках бледности. Он волновался.

Наталья Николаевна подняла низко опущенный взгляд, медленный, как бы дрожащий, скользнул он по его лицу. В глазах не было ни насмешки, ни удивления.

Мгновение, собираясь ли с мыслями или. не решаясь сказать, он колебался. Взгляд чёрных глаз не отрывался от него. Он решился.

– Впрочем, я попытался искать таких вне обречённого круга. Случай мне помог. Это была женщина, не русская. Русского, от России, от нас, в ней не было ничего, и она была женщиной. Минутами мне даже казалось, что судьба поворачивается ко мне лицом. Я убеждал себя полюбить эту женщину, я делал всё, чтобы приготовить для любви своё рано остывшее сердце. И... нет, я не могу осуждать свет за всё. Тысячу раз право светское мнение, не допуская такую женщину в свой круг. Есть мудрость в неосуждении самого холодного разврата и в заклеивании самого пламенного хищничества. Может быть, придут времена и то общество, круг тех лиц, которые будут выдавать патенты на гениальность и право творить, может быть, круг тех лиц будет так же расценивать своих гениев, но для меня это омерзительно. Если всё то, что мы завистливо называем не-Россией, таково же в своих отношениях, то... умереть нужно здесь. Они и степень одиночества готовы расценивать в одном ряду с именем. О, тогда мы самые богатые и самые гениальные для них люди! Поэтому-то так и летят к нам от всех стран искатели лёгкой удачи и авантюристы.

Этих своих слов он испугался. В её глазах был упрек. Жалкая, беспомощная улыбка просила о сострадании. Срывающимся, волнуемым голосом торопился объяснить:

– Наталья Николаевна, вы единственная женщина из всех, кого когда-либо мне суждено было встретить... Вы знаете, вы не можете не знать, что только в страдании рождается настоящая любовь. Только страданием можно постигнуть прекрасный преображённый мир, а страданию...

Закончил глухим, едва слышным шёпотом:

– ...нужна любовь... по-русски любить – это жалеть.

От лёгкого прикосновения вздрогнул. Её рука касалась его руки. Губы её страдальчески шевелились, в глазах были слёзы.

– Не надо больше об этом, – едва слышно попросила она.

Он взял её руку, поднёс к губам.

– Благодарю, благодарю за эти мгновения... Ничто не сможет отнять их из моей памяти. Но тем тяжелее для меня будет вечный упрёк в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Я всегда буду страдать от воспоминания, какое чудесное и большое сердце, какая искренность были скрыты от меня моею гордыней. Не отнимайте от меня, как ни самонадеянна она, последней радостной мечты. Может быть, когда-нибудь я стану вашим другом. Никто не помешает мне посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным. Простите меня.

Наталия Николаевна с лёгким пожатием высвободила свою руку.

– Прощать мне вам нечего, – тихо проговорила она. – Но если вам жаль уехать с изменившимся обо мне мнением, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Почтительно наклоняя голову, ещё раз сказал «простите» и медленным неуверенным шагом отошёл прочь.

Х

Вероятно, даже Старо-Московская, между Москвой и Питером, дорога не была так изъезжена, как укатали в те годы шоссе за Ставрополем. Бессонные тележки фельдъегерей, мчавших в армию царскую волю и донесения оттуда, почтовые брички, увозившие туда же военную молодёжь, разный служилый люд, сновавший непрерывно из армии в Ставрополь и из Ставрополя в укрепления и крепостцы, мчались по ней и ночью и днём. Да и возили здесь, как нигде.

Молодой борисоглебский улан ехал в собственной четырёхместной коляске со своими лакеем и поваром, то есть с максимумом барской роскоши, какую может позволить себе офицер, едущий с подорожной «по казённой надобности».

Осетин, покрикивая, гнал лошадей, лакей клевал носом на козлах, уланский офицер мечтал, развалившись в коляске. Двадцатичетырёхлетнему воображению, необычайно легко и быстро сменяя одна другую, рисуются картины будущих успехов, увлечений, неотступного внимания, которыми окружат его, «обстрелянного кавказца», по прибытии в полк, в какой-нибудь Тамбов или Воронеж. В уме сами собой складывались фантастические рассказы о страшных опасностях, которым он подвергался здесь, на этом загадочном Кавказе, о подвигах, которых ему никогда не придётся совершить, о роковой и таинственной любви в диких горных тущобах. Иногда эти мечтания перебивались другими: он вспоминал, что далеко ещё не от всех радостей жизни, радостей настоящих, о которых он не будет рассказывать, но которые, наверное, будет иметь, он попробовал хлебнуть сладкого напитка; улыбка тогда делалась счастливой и ещё более мечтательной. Приятно поёживаясь, он удобнее старался расположиться на подушках.

Лошади с разгона взлетели на крутой подъём. Когда они спустились, улан разглядел свалившуюся на один бок нагруженную доверху дорожными сундаками телегу, понуро стоявшую тройку лошадей, людей, возившихся и хлопотавших возле поломанной оси. Эти люди, ещё издали, заметив подъезжавшую коляску, стали махать руками и кричать. Двое из них были одеты кавказцами, в папахах и черкесках, с кинжалами и шашками. Осетин натянул вожжи. Оба кавказца бросились к коляске.

– Ваше благородие, явите Божескую милость, – заговорили оба разом на чистейшем русском языке. – Наши господа теперь уже на станции, вы, чай, скоро туда доедете, скажите им, какое у нас несчастье. Пусть вышлют сюда хоть перекладную, чтоб с места стронуться. Иль хоть одному из нас дозвольте с вами доехать. Будьте столь милосердны.

– Да чьи вы люди? – спросил улан.

– Господ Столыпина и Лермонтова.

Одну из этих фамилий улан уже слышал в Ставрополе. Там в бильярдной его внимание невольно привлёк вольностью и небрежностью своего обращения со

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org всеми некий невысокий и сутулый офицер. Ему сказали, что это Лермонтов, лейб-гусар, переведён сюда по высочайшему повелению в прошлом году за какие-то проказы, сейчас возвращается из отпуска. Перспектива знакомства с опальным гвардейцем была слишком соблазнительна, чтобы улан не разрешил его человеку примоститься на козлах.

На станции улана ждало разочарование. Эти господа любезно, но не чересчур, поблагодарили его за оказанную услугу, и только. Он по застенчивости не решился набиваться в знакомые, хотя и здесь Лермонтов ещё раз отравил ему душу завистливым восхищением.

Но не состоявшемуся на этой станции знакомству суждено было завязаться на следующей. Солнце уже закатилось, когда улан прибыл в Георгиевскую крепость; его напугали рассказами о небезопасности ночного путешествия в этих местах, он решил заночевать. В ожидании самовара улан отправился побродить по крепости, а возвратившись, застал в общей зале заезжего дома Лермонтова и его спутника. Смотритель убеждал их отказаться от намерения тронуться сейчас же дальше, рассказывал, что только вчера на дороге и совсем недалеко от крепости зарезали одного унтер-офицера. Лермонтов кричал, что он старый кавказец, бывал в экспедициях, что его не запугаешь, требовал немедленно закладывать лошадей.

– А вот и наш новый знакомец! – воскликнул он, увидев улана. – Ну что ж, поручик, надеюсь, вы едете тоже?

Улан покраснел.

– Я, видите ли, на Кавказе только первый раз, мне сказали, я и не решаюсь в такую пору.

– Да что вы, поручик, как вам не стыдно! Едем все вместе, если на нас и нападут, то мы за себя и постоять сумеем.

Улан улыбнулся хитро и осторожно.

– Зачем, господа, рисковать жизнью по-пустому. Не лучше ли будет, если мы побережём свою храбрость для чего-нибудь такого, знаете ли, героического.

Лермонтов разразился весёлым смехом.

– Э, Монго, да это, оказывается, весельчак! К нам, к нам поручик! Чай будем пить, пока закладывают.

Улан с живейшей охотой принял предложение, за столом он просто замирал от восторга, слушая, как непринуждённо и свободно отзываются его новые знакомцы обо всём и обо всех на свете.

– Вот, так их и так-то, – непрерывно пересыпал свою речь самой отборной руганью Лермонтов, – кроме отряда – никуда. Едва уломал этого хрыча Граббе позволить мне хоть немножко поболтаться по Ставрополю. А то и этого уж нельзя. Да ну их всех...

У улана даже рот раскрылся от удивления, когда Лермонтов перебрал всех по очереди, горячо и с чувством разругался.

Оба приятеля чуть не задохнулись от смеха, глядя на своего изумлённого и потрясённого собеседника. Но так же внезапно, как он пришёл, смех и окончился.

Принесли кахетинское.

Ещё возбуждённей, ещё беспорядочней, перебрасываясь с одного на другое, болтал без умолку Лермонтов.

Улан, слушавший его с почтительным вниманием, всё же решился заметить:

– Не согласен, решительно не согласен. Ну подумайте только. Вот я приеду теперь в Пятигорск, остановлюсь в хорошей квартире, все прелести жизни будут к моим услугам. Я так думаю, что нигде, как на водах, хотя там и не был, женщины не бывают столь добры и снисходительны к легкомысленной молодости. Право, господа, поедете со мной в Пятигорск. Вы ведь как-нибудь

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org сумеете это устроить.

– В Пятигорск? В Пятигорск? – на минуту задумываясь, вполголоса повторил Лермонтов. – Нет, Столыпин, решено: мы едем в отряд.

Облачко грусти только мгновенье держалось на его лице.

Наутро Лермонтов поднялся из постели последним. Его кузен и улан уже сидели за самоваром, когда он появился в общем зале. Ещё с порога он крикнул Столыпину:

– А знаешь, ведь теперь в Пятигорске замечательно хорошо, какие там сейчас люди, как славно бы мы могли там позабавиться!

Подошёл и, обняв его за плечи, ласково стал упрашивать:

– Ну поедem, Столыпин, ну что тебе стоит.

Столыпин, осторожно освобождаясь из объятий, ответил с лёгкой досадой:

– Ты же знаешь, что это решительно невозможно. Мне поручено свезти тебя в отряд. Вон на столе наша подорожная, а в ней инструкция, – посмотри.

Лермонтов нетерпеливо махнул на него рукой и вскочил из-за стола.

– Ну! Едем!

С этими словами он выкинул кошелёк, достал оттуда монету.

– Ну вот, я бросаю полтинник. Если ляжет кверху орлом, едем в отряд, если решёткой – в Пятигорск. Согласен?

Столыпин молча кивнул головой.

Монета упала решёткой кверху.

– Судьба, Столыпин, судьба. Позвать людей, нам уже запрягли.

– Я осмелюсь предложить вам свою коляску: много удобнее, да и ехать всем вместе веселее, – предложил улан.

– Не возражаю, поручик, не возражаю. Вы очень любезны.

Лермонтов находился в каком-то странном, неестественном возбуждении, весь горел и изнывал от нетерпения. Столыпин попробовал предложить переждать только дождь. Он капризно, как маленький ребёнок, надул губы.

– Тогда мы не попадём туда сегодня, – проговорил он обиженно. – И то ведь будем только вечером.

В Пятигорск они приехали вымокшие насквозь. Дождь перестал, в воздухе терпко пахло каким-то древесным цветением, по стеклу фонаря у дверей гостиницы струйками стекала вода. Толстый армянин в белой рубашке, перепопсанной тонким ремешком, кланялся и приветствовал Лермонтова, как старого знакомого.

– Это Найтаки, Магденко (улана звали Магденко), лучший гостинщик, каких я когда-либо видел. Верно, Найтаки?

Через час в номер к Магденко явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетые, в свежем белье и в халатах. На Лермонтове был шёлковый тёмно-зелёный с узорами. Перебирая и играя концами подпоясывавшего его шнурка, Лермонтов весело обежал глазами комнату.

– Вы у нас умница. Всё сервировано как следует: ни к чему не придерёшься. Да, Столыпин, – с живостью обратил ся он к кузену, – ты знаешь, ведь и Мартышка здесь. Я уже сказал Найтаки, чтобы за ним сейчас же послали.

По улыбке Столыпина можно было понять, что он одобряет распоряжение своего друга.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Только через час явился посланный, ходивший за Мартыновым, и доложил, что «его высокоблагородие господин Мартынов приказывали благодарить и сказать, что не будут». У Лермонтова удивлённо приподнялись брови.

– Барин был один? Не спал, когда ты явился?

– Никак нет-с, лежали одетыми на диване и курили трубку. Никого при мне у них не было.

Лермонтов перевёл удивлённый взгляд на Столыпина, тот тоже недоумевающе пожал плечами.

– Ничего не понимаю. Завтра постараюсь повидать его. Это слишком странно – не желает встречи со старыми приятелями.

– Не стоит, – махнул рукой Лермонтов.

Весёлое настроение пропало сразу, он стал задумчивым, угрюмым, не говоря ни с кем ни слова, выпил полстакана вина и, пожелав спокойной ночи, ушёл к себе.

Ещё в Петербурге, чуть ли не в первый день своего приезда, он ощутил в себе какое-то новое, незнакомое чувство. Это не была тоска, не было похоже и на боль самолюбивой обиды, – это была непрерывная мертвящая и изводящая скука. Что-то посягало на его взаимоотношения с миром, нарушало их и мешало жить.

Утром – он постарался скрыть это и от Столыпина – отправился к источнику с определённым, если не единственным только желанием встретить Мартынова.

У источника – он всё-таки подивился, хоть и на мгновение только, – он увидел Надежду Фёдоровну. Она сидела на самом солнце возле ванного домика с книжкой в руках. Очевидно, это было предписано врачом.

Она не вскрикнула от неожиданности или удивления, не смутилась и не покраснела, только глаза раскрывались так медленно, что ему показалось – ей дурно. Обмолвился, будто нечаянно, но с горькой усмешкой и иронически:

– Всё – как и в прошлом году. Как будто я и не уезжал из Пятигорска.

У ней перестали раскрываться глаза, она наклонила голову, засмеялась тихим, беззвучным смехом.

– Нет только той француженки, которой я была обязана столькими счастливыми минутами.

– Не говорите вздору! – перебил он резко. – Это может вас лишить их навсегда и в будущем... Если только вы на них ещё надеетесь, конечно.

Она сразу перестала смеяться, на лице осталась улыбка, пустая, противно виноватая. По улыбке понял, что он её ненавидит, ненавидел и тогда, в прошлом году, не ненавидеть не может.

– Ну как вам здесь? Скучаете? Кто новый любовник? Хорош?

Она опять опустила глаза, прошептала едва слышно:

– Миша, – это было сказано просто и человечно. Он этим тронулся. – Миша, ведь я не ищу твоей любви. Я знаю, что ты меня презираешь. Ну что ж, презирай, делай что хочешь, только...

Она вдруг остановилась, словно у ней закружилась голова, откинулась на спинку скамейки. Он едва-едва разобрал среди задыхающегося шёпота:

– Мне можно сегодня прийти к тебе?

– Я ещё не устроился, не знаю – останусь ли в городе. Устроюсь, пришлю сказать. Кстати, а ты где живёшь теперь?

Она назвала фамилию владельца дома. Похоже, что он не слышал. Двое военных и штатский, махая ещё издали руками, спешили к нему.

– Лермонтов! Лермонтов! Ты как сюда попал?

Он даже не попрощался с ней, кинувшись им навстречу, всей своею фигурой стараясь изобразить сплошное недоуменье.

– Еду я, братцы, в отряд со строгим предписанием – от полка никуда, – словно раздумывая, проговорил он. – И вот видите... Свернул с Георгиевской...

Дальше он был уже не в состоянии сдерживать душившего его смеха, расхохотался неистово и заразительно. Когда порядком посмеялись и порадовались неожиданному прибытию его в Пятигорск, один из компании сказал:

– Лермонтов, слушай, мы все живём вместе: Васильчиков[166], Глебов и я. У нас огромная квартира. Перебирайся-ка к нам. Ты где остановился? Ну что, брат, в гостинице тебе делать! С тобой Столыпин? Ну что ж, и для него место найдётся, мы прекрасно вас обоих устроим. Ведь ты же нескоро отсюда уедешь, не ври, пожалуйста. Ты же ведь мастер на такие штуки.

– Мастер-то мастер, а что выйдет – неизвестно. Признаться вам, братцы, ехать охоты никакой.

– Постой, постой! Куда ты?

– Погодите. Тут мне нужно с Мартышкой по одному делу изъясниться.

По площадке медленным чванливым шагом шёл Мартынов. Видимо, он направлялся к ним, но, заметив Лермонтова, резко повернул в сторону.

Лермонтов, кивнув головой приятелям, бросился к нему. На лице была самая искренняя радость и даже восторг.

– Мартышка! Мартынов! Николай Соломонович!

Тот обернулся, сделал строгое и страшно достойное лицо, мгновенье колебался остановиться.

Лермонтов подошёл к нему.

– Что с тобою, дружище? Ты что, решил не зняться, что ли, со мною?

Мартынов сдержанно кивнул головой, но руки не протянул.

– Я надеялся, из моего вчерашнего ответа вам всё будет ясно, – сухо проговорил Мартынов, выпячивая грудь вперёд.

– Вам?! Вы?! Всё ясно?! Что за чепуха?! Ничего не понимаю.

Лермонтов говорил с такой неподдельной весёлостью, вся внешность его дышала таким дружеством и сердечностью, что Мартынов поколебался.

– Я не знаю, вы... или ты, ну, да это не важно. Словом, ты, Лермонтов, умнее меня, меня ты можешь одурачить. Но всё-таки сейчас я готов поверить в искренность твоих чувств. Если действительно нет ничего, – последнее он подчеркнул, – то объяснись.

Лермонтов весело расхохотался.

– Ну как же объясниться, когда сам говоришь: ничего нет. Ну и чудак же ты, Мартышка. Я просто ума не приложу, что взбрело тебе в голову. У нас с тобой даже женщины общей не было, чтоб ты мог меня ревновать задним числом.

Мартынов вспыхнул:

– Ваших плоских шуток выслушивать я не намерен. Я говорю серьёзно. Раз я прошу объяснений, значит, у меня есть к тому основания.

Лермонтов посмотрел на него прищуренным, презирающим взглядом.

– За один такой тон, господин Мартынов, я должен был бы пригласить вас к

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org барьеру. Но я так легко не швыряюсь добрыми отношениями. В чём дело? Я никогда ничего против тебя не имел, ничего не предпринимал, ничем, даже за глаза, не обидел...

– А письмо?

– Какое? Я никогда к тебе не писал.

– Письмо, которое ты взялся доставить от моих родителей ко мне. Это было четыре года назад.

В памяти неясной, обрывочной картиной промелькнула изба под Москвой, сетка дождя, занавесившая дали, дерзкая самовлюблённая юность, трепетавший на шестке комок чёрного пепла. Никаких угрызений совести или раскаяния он при этом не почувствовал.

Лермонтов усмехнулся.

– Ну и что же письмо? Не украл же я его, в самом деле. Я уговорил тогда тебя принять мои собственные деньги, потому что у меня это письмо украли вместе с чемоданом. Ну каких тебе ещё нужно объяснений? Если тебе кажется мало и этих, то теперь уж я буду спрашивать у тебя, но других и в другом месте.

Мартынов как будто смутился.

– Постой, постой, Лермонтов, ты не горячись, пойми же и меня. Я могу показать тебе письмо отца. Я написал им тогда, что ты заставил взять твои деньги, потому что у тебя в дороге украли письмо. На это отец мне написал, что, вложив в письмо деньги, он ничего тебе не сказал об этом, следовательно, знать о деньгах ты не мог, и вдруг ты их мне возвращаешь. Ну скажи, что же я должен подумать в таком случае?

Лермонтов посмотрел на него с сожаляющей улыбкой.

– Дурак ты, Мартышка, – вот что я тебе скажу. Если бы я заподозрил, что кто-то распечатал и прочёл принадлежащее мне письмо, я сделал бы так, что этот человек навсегда потерял бы имя порядочного, а не стал бы требовать у него объяснений. Если же я считал бы этого человека своим другом, то я просто пришёл бы к нему и спросил: «Скажи мне, каким образом ты узнал, что в конверте были деньги?» А ты вместо этого сделал страшно достойное лицо и получил за это «дурака». Ну хочешь, я тебе расскажу, как это было, хотя я вовсе и не обязан это объяснять? Письмо у меня действительно украли. Оно пропало вместе с портфелем, в котором лежало. Через несколько дней как-то обнаружилось, что украл портфель мой же крепостной человек. Деньги, разумеется, у него были целы, но все письма, как мои, так и чужие, которые были у меня, он, дурак, уничтожил. Что мне нужно было делать в таком случае? Сдать его в первом же городе властям? Но он у меня давно, привык к моим требованиям, и я привык к нему. Мой эгоизм пересилил в этом случае гнев, я только пообещался, что в следующий раз отдам его в солдаты. Кажется, даже и вообще он остался без наказания, потому что в дороге я скоро, признаться, и совсем позабыл об этом. В портфеле моих денег не было, в других письмах, я знал, тоже. Следовательно, те триста рублей, которые оказались у моего Андрюшки, должны были принадлежать тебе. Что же мне было – присвоить чужие деньги? Рассказать тебе всю историю – всё равно это ничему бы не помогло; сказал: украли, и действительно украли. Ну, что ты ещё хочешь? Прислать тебе Андрюшку, чтобы ты наказал его по своему усмотрению? Хочешь, я пришлю?

Мартынов с минуту как бы соображал, как надо ему поступить.

– Ну, извини меня, Мишель, – наконец с трудом выговорил он и попробовал улыбнуться. Улыбка не вышла: похоже было, что, пустая и противно виноватая, такая же, какой улыбалась полчаса тому назад Надежда Фёдоровна, пыталась и не могла она пристать к его лицу.

Лермонтов пожал протянутую руку, и вдруг ему стало совершенно ясно, что с этого момента Мартынова он будет ненавидеть, ненавидеть всю жизнь.

XI

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Июль накапливал грозы. По ночам испуганно метавшиеся зарницы с громовым треском раздирали пополам небо. Днями ползли тяжёлые свинцовые тучи, далеко в горах гремел гром. Грозы ждали каждый день. Но горячий, как из печки, ветер упорно тянул с собою тучи; скрываясь за горами, они ползли на горизонт, земля, и зелень задыхались и темнели от зноя. От духоты и жары люди не находили себе места. Даже ночью трудно было ходить – так сомнительна была её прохлада.

Лермонтов как возвратился домой в первом часу, так сейчас же разделся и лёг в постель. Окно было открыто. Во флигеле напротив, где жили Мартынов, Глебов и Васильчиков, был свет. На белой занавеске, как на экране, метался, вздрагивал – то воспрянет, то опять упадёт – абрис человеческой головы. Через открытые окна до слуха Лермонтова долетали голоса. Говорил Мартынов, Глебов только иногда, перебивая его, задавал вопрос о том или другом.

– Ты понимаешь, – захлёбывался возмущением голос Мартынова, – с самого своего приезда в Пятигорск он не пропускал ни одного случая, где бы он мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счёт, – одним словом, всё, чем можно досадить человеку, не касаясь его чести. Я показывал ему – ты знаешь, – показывал, как умел, что вовсе не намерен служить мишенью для его ума, но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, чтоб я над ним смеялся, но действительно перестал на некоторое время. Потом взял опять. Сегодня ты слышал этот глупейший, бестактный выпад у Верзилина, в то время когда Трубецкой играл на рояле?

В голосе Мартынова просочилась горечь самой настоящей обиды.

– Нет, не слышал, – сказал Глебов, – а что?

– Ну, то же самое, в чём он всегда изоощряет своё остроумие, что изображает в своих глупейших карикатурах на меня, что рассказывает в дурацких своих анекдотах. Когда мы вышли, я удержал его за руку, – вы все были уже впереди, мы отстали, и тут я сказал ему, что я и прежде просил прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он ещё вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо лучше сделал, если б действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэли. Следовательно, ты никого этим не испугаешь».

Мартынов тяжело перевёл дыхание.

– Ну и что же? Ты серьёзно намерен послать ему вызов? – спросил Глебов. – Это совершенная чепуха! Тебе драться с Лермонтовым! Из-за чего? Ты же знаешь, каков он, – тут его голос стал тише. – Он никого не может видеть спокойно. Разве над нами он не смеётся? Над любым из нас? А в сущности, ты же знаешь, какой это прекрасный товарищ.

Его перебил Васильчиков:

– Ты же из его собственных слов можешь видеть, что в сущности не Мартынов его вызывает, но он вызывает Мартынова. Неужели после этого Николай ещё должен первый делать шаги к примирению...

Дальше Лермонтов слушать не стал. В темноте он соскользнул с кровати, накинул на плечи халат и вышел за дверь. В коридоре растолкал спавшего на ларе слугу.

– Ступай сейчас к князю Васильчикову, скажи, что я его прошу прийти ко мне сейчас же. Понял? Сейчас же, он мне очень нужен, так и скажи.

Через пять минут Васильчиков был уже у него.

– Князь, извини, я тебя побеспокоил, и вот по какому делу. Господин Мартынов вздумал читать мне проповеди о том, как я должен вести себя. Я сказал ему, что, если моё поведение ему не нравится, он может поступать как ему угодно, но слушать его дальше я не намерен. Тогда он сказал, что



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
пришлёт секунданта. Вот, князь, я и послал за тобою, думаю, что ты не откажешь мне в чести быть моим...

Васильчиков посмотрел на него удивлённо.

– Ну да, в чести быть моим поверенным. Что ты так смотришь? Не шутил же я, в самом деле, указывая ему такой выход. Врачи свидетельствуют мои болезни, начальство требует прибыть к полку, а тут ещё этот дурак со своей фанаберией. Будь добр, избавь меня хоть от этих бесполезных и утомительных разговоров.

– Ну, это-то мы уладим, быстро вас примирим, – убеждённо заявил Васильчиков.

Лермонтов посмотрел на него устало и как бы с сожалением.

– Делайте что хотите, – сказал он ленивым и равнодушным голосом. Помолчал и усмехнулся. – Впрочем, и у меня есть сердце. Если Мартынов придёт и публично при всех обещается в дальнейшем ко мне с нравоучениями не приставать, а за прошлое принесёт извинения, может, я и подумаю простить ему. В противном случае и не старайтесь: напрасно. Дураков учить нужно...

– Послушай, Лермонтов...

– Нет, нет, князь, об этом довольно. Если ты оказываешь мне эту честь, то сговорись с тем, кого заблагорассудится выбрать Мартынову, я заранее согласен на любые условия. Только сейчас и вообще до самого поединка и перед поединком тоже не приставайте и не надоедайте мне. А сейчас я смертельно хочу спать, – он зевнул. – Ты уж извини меня, князенька. А за то, что не ломался и был умником, разных глупостей не наговорил, – спасибо.

Как только затихли на дворе шаги Васильчикова, Лермонтов встал и прошёл в соседнюю комнату. Столыпин ещё не спал. Лежал в постели с книжкой, впрочем, кажется, её не читая. Нагоревшая свечка коптила.

– Ты что? – тихо спросил он Лермонтова.

– Понимаешь, я совершенно изнемог от этой духоты. Вообще я не могу переносить предгрозы. Ох, разразилась бы, что ли, наконец гроза, а то полыхает, полыхает, и всё без толку.

– Зачем ты сейчас звал к себе Васильчикова? – спросил, посмотрев ему в глаза, Столыпин.

– А, – Лермонтов досадливо махнул рукой, – глупость какая-то. Мартынов, кажется, собирается послать мне вызов. По правде говоря, я даже рад тому. Надоел он мне, как хвост собаке. Кажется, он всерьёз вообразил, что я подсмеиваюсь над ним, уязвлённый его успехами. Сейчас после Верзилиных он вздумал мне читать наставления. Понимаешь, это уже походит на то, что он думает – я спущу и это.

Столыпин улыбнулся, немного подумал и сказал:

– Да, пожалуй, проучить не мешает. Это невыносимо, когда дурак делается заносчивым. Дуэль, разумеется, кончится у вас ничем, а ему всё же будет урок на будущее. А почему ты меня не позвал в секунданты?

– Я думал, Алёша, но раз дело доходит до поединка, неприятности будут непременно. А на тебя и так царь уже довольно сердит. Ну, я и решил не впутывать тебя в историю. Во всяком случае, если что – с Васильчикова не в пример меньше взыщется, чем с тебя...

Лермонтов посмотрел на Столыпина, и тот посмотрел на него. Улыбка, ласковая и заботливая, скользнула одновременно по лицам обоих.

– Ты бы, Маеша, велел дать себе вина. Это помогает от духоты, и спать будешь лучше, – с нежностью глядя на него, сказал Столыпин.

Лермонтов только махнул рукой.

– Ничто не поможет. Если б разразилась гроза... Я даже сказать тебе не могу,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org как я жду эту грозу.

Они ещё с полчаса проговорили друг с другом о разных предметах. Ничто и никак не относилось в этих разговорах к предстоящей дуэли. Казалось, оба об ней и забыли.

Наутро – Лермонтов ещё был в постели – явились Васильчиков с Глебовым. Только для виду, как показалось Лермонтову, они попытались склонить его к примирению. Он рассердился.

– Я сказал вчера Александру, чего я хочу от того. Нет – будем драться.

– Но ты же этим ещё больше задеваешь его честь.

– Э, что он понимает в чести, кроме того, чему его выучили?! А я его переучу. Поняли? Хотите заняться сами? Пожалуйста, на отсрочку я согласен. Сегодня же уезжаю в Железноводск, и до пятнадцатого вы можете образумлять его как хотите: целых два дня в вашем распоряжении. Пятнадцатого же я буду утром. Назначить час и место – ваше дело.

...Пятнадцатого рано утром он был в Пятигорске. Оба секунданта, казалось, имели огорчённый и расстроенный вид. Мартынов, по их словам, решительно отказывался от примирения.

В ресторации собралась вся компания, за исключением Глебова, которому, как секунданту противной стороны, быть с ними вместе было неудобно.

Лермонтов был в таком настроении, в каком его давно уже никто не видел. Его фантазия по части всевозможных дурачеств, шуток над теми, кто только попадал в его поле зрения, была поистине неистощима. В конце концов он так заразил, начинил всех своею весёлостью, что смеялись теперь чуть ли не каждому его слову, чуть ли не каждому жесту. Он пододвинул к себе с накрытого стола все тарелки, и всем это показалось очень смешным. Потом по очереди одну за другой он быстро, коротким сухим ударом ударял об голову и ставил на место. Тарелки оставались целы, но на каждой появилась тонкая черта трещины.

– Зачем это?

– Погодите – увидите, – ответил с загадочным выражением.

Когда прислуга собрала со стола посуду, Лермонтов приказал Магденко:

– Ты самый расторопный, выйди-ка в сад, посмотри под окном, что делается сейчас на кухне, и скорей доложи нам.

Магденко возвратился, покатываясь со смеху.

Надреснутые тарелки, как только их опускали в горячую воду, немедленно лопались. В окаренках образовалась груда черепков. Естественно, что на кухне бранили и всячески грозили ни в чём не повинной прислуге. Об этом, к великому веселью собравшихся, и доложил Магденко.

– Надо всё-таки пойти возместить хозяину убытки, – сказал Лермонтов, когда взрыв хохота немного утих.

К столу вернулся как будто чем-то обеспокоенный и встревоженный.

– Саша, нам не пора? – обратился он к Васильчикову.

Васильчиков посмотрел на часы.

– Уже шестой.

Лермонтов налил себе бокал.

– Кто за что, а я за то, чтоб наконец разразилась гроза.

На него посмотрели удивлённо. Один Столыпин, протягивая свой бокал, сказал с улыбкой:

– За то, чтобы прошла гроза.

Этот бокал Лермонтов пил страшно медленно, рассеянным, отсутствующим взглядом устремясь куда-то вдаль. Вдруг, не допив его до дна, он озабоченно вскочил с места:

– Саша, пошли, пошли.

Васильчиков поднялся из-за стола. Кто-то сказал:

– А как же сегодня будет с Кисловодском?

– Я, может быть... – Лермонтов на мгновение задумался. – Нет, наверное, я сегодня не поеду, не смогу. Прощайте, друзья, желаю веселиться. Пойдём, Васильчиков.

Один Столыпин проводил их до дверей. В дверях, пожимая руку, он вдруг наклонился порывисто, в лоб, в губы поцеловал кузена.

Столыпин с грустной улыбкой смотрел им вслед и, только когда красная канаусовая[167] рубашка его кузена скрылась совсем из глаз, вернулся к столу.

– Трубецкой, – шепнул он, занимая своё место. – Мы тоже поедem за ними. Нужно только, чтобы не обратили внимания, переждём немного.

Воздух был душен и раскалён, тишина стояла такая, что было слышно, как где-то очень далеко, может, в Горячеводской, стучал топор. С севера из-за Машука ползла чудовищная туча. Тень от неё перекатилась через гору, тяжёлая и тоже горячая, дотекала до города.

Выезжая за ворота, Лермонтов, улыбаясь, сказал:

– Дуэль по всем правилам. Даже не захватили доктора. Значит, либо будем сегодня пить мировую, либо...

Он не договорил.

Вступая на край сползшей с горы тени, шарахнулась в сторону лошадь. Он поводом выправил её. Воздух был налит тяжёлым предгрозовым удушьем. Солнце уже касалось края тучи. Косые лучи его стрелами кололи засохший колючий кустарник.

– Термидор.

– Что? – удивлённо переспросил Васильчиков.

– Термидор, я говорю. Сегодня по французскому революционному календарю должно быть десятое термидора.

– А что тогда случилось?

Лермонтов пожал плечами.

– Ничего особенного. В пять часов дня десятого термидора в Париже на Гревской площади был обезглавлен Робеспьер.

– А, – протянул Васильчиков.

– Что «а»? Ты, чай, и забыл думать, кто такой Робеспьер.

– Ну вот ещё, – обиженно проговорил Васильчиков, – прекрасно помню. Самый добродетельный.

Лермонтов засмеялся.

– Действительно, оказывается, помнишь. Верно, верно, самый добродетельный, который хотел всех сделать добродетельными.

Невдалеке от них послышалось конское ржание. В стороне от дороги стояли

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
дрожи, на которых уехал Глебов, рядом с ними была привязана осёдланная лошадь.

– Ну вот и приехали, – весело сказал Лермонтов, сворачивая с дороги и соскакивая с коня.

Навстречу им из-за кустов вышел Глебов. Он подошёл к Васильчикову, таинственно пошептался с ним.

– Ну что же? – нетерпеливо спросил Лермонтов.

Глебов, одновременно и смущаясь и в то же время стараясь выдержать официальный тон, начал было говорить о возможностях бескровного исхода. Лермонтов раздражённо выругался.

– Да что, в самом деле! Шутки ради, что ли, тащились сюда по такой жаре? Приступайте же.

С вершины горы потянул лёгонький, едва ощутимый ветерок; Лермонтов рванул, разорвал ворот рубашки, подставил грудь под его дуновение.

Васильчиков подошёл к нему, шепнул отрывисто, избегая смотреть в глаза:

– Идём... те.

Он улыбнулся, быстрым и лёгким шагом прошёл за кусты.

На маленькой полянке, ещё освещённой косыми лучами солнца, стоял Мартынов. При их появлении он поклонился свысока и церемонно. Лермонтов, оборачиваясь к Васильчикову, спросил глазами и шёпотом:

– Здесь?

– Сейчас узнаем, – отвечал тот растерянно, видимо не зная, что нужно делать, и чувствуя, – что-то делать нужно, иначе всё это окажется бессмысленным, смешным, а смешным это быть не должно.

Глебов с деловитым видом большими шагами измерял в это время полянку.

– Ничего не выходит, – сказал он, дойдя до крайних кустов, – здесь всего двадцать три шага.

Мартынов с деланно равнодушным видом пожал плечами.

Лермонтову вспомнилась его улыбка в первую встречу здесь, в Пятигорске, он почувствовал, как в сердце поднимается слепая ко всем и на всех злоба.

«Сегодня прогоню к чёрту эту рыжую стерву, – подумал он даже с каким-то удовлетворением. – Надоела. Довольно, пора кончить. Вечером же сяду писать».

Глебову он бросил с досадой:

– Ну, чего там ещё искать. Идём на дорогу. Там места хватит.

Опять хрустели сухие кусты. Крайняя, привязанная к кустам лошадь, повернув голову, проводила их взглядом. На небе туча совсем закрыла солнце. С земли поднялся тяжёлый, неповоротливый ветер. Когда секунданты уже отмерили барьер, отметил его воткнутой в землю веткой, и разводили противников на позиции, вдалеке вдруг послышался стук копыт. Глебов предупреждающе поднял руку. Противники сошли со своих мест. Все напряжённо и в молчании смотрели в ту сторону, откуда доносился приближающийся конский топот. Из-за поворота показались два скачущих карьером всадника. Мартынов шумно вздохнул. Вероятно, это был вздох облегчения. Васильчиков обрадованно уже кричал:

– Слава Богу! Это Столыпин и Трубецкой! Можно начинать. По местам, господа.

Столыпин и Трубецкой, доскакав, проворно спрыгнули с коней. Глебов рукой показал им, чтобы они не переходили круга. Они отошли к кустам, где были привязаны лошади, остановились, держа своих коней в поводу.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Солнечный свет сгущался и темнел. Ветер снова дохнул едва уловимой прохладой. Лермонтов вдруг почувствовал, как на лоб ему упала крупная дождевая капля. Обрадованно вскинул голову, жадно посмотрел на небо. В воздухе была всё та же неподвижная тишина. Васильчиков подал ему пистолет. Он рассеянно взял его. С ясной и кроткой улыбкой смотрел в ту сторону, где застелившая небо туча сделала дали лиловыми и холодными. Кто-то – он не разобрал: Васильчиков или Глебов, – крикнул: «Марш!» Он не тронулся с места. Мартынов прямым и твёрдым шагом, как на параде, шёл на барьер. Лермонтов удивился, что тот в одном бешмете. Когда Мартынов сбросил черкеску, он не заметил. Кругом всё стало лиловым, белый шёлк мартыновского бешмета казался намелённой на тёмной стене целью. Потом на этом белом пятне появилась маленькая чёрная точка, чёрная точка, как безразлично-равнодушный глаз, смотрела на него. Лермонтов взвёл курок, хотелось отвести глаза от белого бешмета, не смог и поднял пистолет дулом вверх.

«Подумают, что заслоняюсь стволом и рукою», – мелькнуло в голове. И он спокойно и даже лениво повернулся левой стороной к противнику.

Мартынов быстрыми шагами подошёл к барьеру и выстрелил.

Лермонтов упал, как будто его скосило, не сделав ни одного движения, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают раненые. Все, кроме Мартынова, бросились к нему. В правом боку у него дымилась рана, с левой стороны рубашка намочила кровью. Столыпин взял его руку, рука безжизненно отпала в сторону.

– Конец!

Мартынов словно только и ждал этого слова, шатающимся, неуверенным шагом подошёл к мёртвому. Перекрестился, рука у него дрожала, и, крестясь, он клал пальцы выше плеч. Потом быстро, словно подломились ноги, он опустился на колени, поцеловал труп в губы и, так же быстро поднявшись с земли, бегом устремился к своей лошади. На том месте, где он стоял вначале, тёмным бесформенным пятном осталась лежать брошенная на дорогу черкеска. Стук копыт его лошади вывел из оцепенения стоявших над убитым.

– Нужно ехать за доктором, – растерянно пробормотал Васильчиков, порываясь идти.

– Зачем?! Он же мёртвый. Нужно позаботиться о подводе, не на дрожках же повезём тело.

В этот момент страшный удар грома, казалось, потряс до основания Машук. Словно целая туча камней летела с его вершины, перекатываясь с грохотом и рёвом. Лениво перебегавший до сих пор по земле ветер вдруг поднялся вверх, неистово погнался на неподвижно стоявших над трупом людей, на самый труп, лежавший на дороге, полосу косога частого дождя.

– Вот она разразилась... – начал и не договорил Столыпин. Голос у него оборвался хриплыми и глухими рыданиями.

## XII

Уже давно собственная жизнь стала представляться Евгению Петровичу как бы птицей, у которой перебили одно крыло. Такими же жалкими и беспомощными, как и у той, попытками взлететь казались ему старания отделаться от чего-то, мешавшего ему жить, ходить, видеть, интересоваться жизнью. Выглядел он постоянно страшно озабоченным, страшно занятым, хотя на самом деле никаких особых забот, никаких неразрешённых вопросов у него теперь не бывало.

За пять лет совместной службы с Бенкендорфом он так освоился с кругом тех дел, которые были поручены его ведению, так привык с полуслова понимать волю и желания своего начальника, что служба казалась таким же несложным, не обременяющим никакой думой занятием, как сон или принятие пищи. Правда, было и ещё одно обстоятельство, делавшее её не только не обременительной, но даже приятной. Он полюбил Бенкендорфа. Как и когда это произошло – он не сумел бы рассказать и себе, но вызвать на его лице улыбку каким-нибудь по собственному побуждению сделанным распоряжением, услышать похвалу или одобрение доставляло ему настоящую радость.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Он не возмущился внутренне, не поспешил уклониться от откровенности, когда весной прошлого, 1840 года, в первый раз за всё время совместной с ним службы, граф завёл с ним разговор об его семейных делах.

Бенкендорф, очевидно, давно уже заметил и оценил новое отношение к себе со стороны своего адъютанта и фаворита. Но тем не менее приступил он к этому разговору весьма и весьма осторожно. Он начал с того, что похвалил внешний вид Самсонова, подивился, чему бы приписать его ещё недавнюю удручённость и подавленность, и только потом, как бы невзначай, спросил:

– А кстати, топ шер, где сейчас твоя жена? Помнится, ты куда-то её отправлял?

Самсонов ответил, что жена на водах, на Кавказе, что здоровье её как будто поправляется, что сам он выглядит таким весёлым и бодрым, вероятно, оттого, что имеет возможность упиваться самой подлинной радостью, наблюдая, как подрастает его маленький сын, который «решительно во всём походит на него...»

Бенкендорф заговорил о сыне, Самсонов даже не заметил, как его принципал с разговора об его сыне перешёл на сыновей вообще, на растущее и подрастающее поколение.

– Воспитание дорогого тебе ребёнка, топ шер, можно поручить только человеку, которому ты безусловно веришь и доверяешь. Только...

Самсонов внимал мудрому и значительному опыту, которым сейчас с ним делились, старался запомнить слова начальника, как добрый совет.

А Бенкендорф уже говорил о том, что склеить разбитую посуду невозможно, нужно обзаводиться новой, что, если у тебя вырван из тела кусок мяса и болтается на ниточке, нужно, не побоявшись боли, оторвать его совсем, иначе рана никогда не заживёт. Закончил, так участливо, так вкрадчиво и нежно смотря в глаза, что у Самсонова не могло даже и возникнуть сомнений насчёт бескорыстности его советов.

– Тяжело мне говорить тебе об этом, но что делать, – тут Бенкендорф вздохнул, – ...если начал говорить правду, то нужно её говорить до конца. Ты, топ шер, ещё молод, будущее в твоих руках. Ну, не удался твой брак, обманула нас Львова, – а ведь как мы с покойником её отцом о вас думали! – ну что делать, нужно примириться и забыть.

Бенкендорф опять вздохнул, ласково посмотрел на Самсонова. В его взгляде Евгений Петрович прочёл и нежность, и страдание, ему сделалось вдруг хорошо и вместе с тем так сладко-печально, что его нагрудный знак даже отделился от мундира от тяжёлого вздоха.

– Нужно кончить, кончить нужно, топ шер... – опять заговорил Бенкендорф. – Человека переделать нельзя, ведь ты убедился в этом, убедился, значит... нужно о нём забыть... Просить государя о разводе... ммм... это скандал: нельзя... но у тебя есть выход. Все знают, что твоя жена больна, все знают, каким хорошим был ты мужем. Кого удивит, что ты готов терпеть даже с ней разлуку только затем, чтобы поправить её здоровье! Оставь её там, на Кавказе, или устрой на зиму где-нибудь в деревне у хороших и порядочных людей... Э, топ шер, повторяю, ты слишком ещё молод, чтобы не забыть этого скоро... Послушайся моего совета.

Самсонов послушался. Самолюбие не позволило писать с той же осторожностью и мягкостью, с какой поучал его граф. Письмо, отправленное Надежде Фёдоровне, стилем и тоном больше напоминало казённое отношение или приказание, какие рассылались из управления делами императорской Главной квартиры. Этой зимой Надежда Фёдоровна в Петербурге не появилась.

Действительно ли так хорошо понимал человеческие сердца Бенкендорф или это случилось от чего другого, – но многие нашли в ту зиму, что Евгений Петрович совсем уж не такой бука и что он даже может быть, если захочет, интересным для общества.

Птица с перебитым крылом не стала летать, но вполне освоилась и примирилась с землёю.

Весна поразила Евгения Петровича большою – с ней трудно было примириться –

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org неприятностью. Уже давно прихварывавший Бенкендорф этой весной уезжал для лечения за границу, и, по-видимому, надолго, если не навсегда. Временно исполняющим его должность был назначен граф Алексей Фёдорович Орлов.

Орлов был бесконечно ленив, беспечен и равнодушен, больше всего на свете дорожил своим покоем, вкусным обедом, рюмкой старого и редкого вина, в котором он понимал толк. Воспитанный Бенкендорфом Самсонов, иначе и не представлявший себе своего принципала, как иссыхающим в непрерывных служебных заботах, никак не мог примириться с новыми, установившимися в его управлении порядками. Служебным девизом графа Орлова было «авось да небось». Поэтому летом, когда двор по обыкновению переехал в Петергоф, а войска выступили в лагерь и, как всегда, для Самсонова наступило самое трудное и самое беспокойное время, он приходил прямо в отчаяние от безучастного равнодушия, в котором пребывал его новый принципал.

Как на грех, это лето, как никогда, изобиловало парадами, смотрами и манёврами. Особенно много их было в июле.

При Бенкендорфе Евгений Петрович всегда заранее знал, к чему нужно быть готовым. Об этом заботился сам граф. Теперь о намерениях и планах государя он мог только гадать, читая приказы по гвардейскому корпусу. В одном из них он прочёл, что 28 июля государь «изволит объезжать лагерь под Красным Селом». Приказ был от 26-го, а у них по Главной квартире ещё не было никаких распоряжений. Евгению Петровичу показалось, что даже кожа у него на руках, как старые перчатки, только мешает осязанию. Не было даже времени предаваться отчаянию здесь, не выходя из канцелярии. Он полетел в Стрельну, где теперь пребывал на даче его начальник. Тот встретил его на террасе, в лёгком халате, обставленный ведрами со льдом и прохладительными напитками, изнемогающий от жары, но, как всегда, благодушный и невозмутимый.

– Здравствуй, мой архангел. Что скажешь хорошенького?

– Ваше сиятельство, послезавтра государь объезжает лагерь в Красном Селе!

– В самом деле? Ну, с чем тебя и поздравляю.

– Но, ваше сиятельство, ведь по этому случаю нам нужно сделать много распоряжений, нужно нарядить туда дежурных, сообщить все сведения о сборе в Красное Село, сообщить на главную конюшню и много ещё другого.

Орлов мутными глазами посмотрел кругом, потянулся было за графином, но не доставала рука.

– Дай-ка, мой милый, вон того лимонаду. И кому только в голову придёт в такую жару смотры делать?!

Он как-то чересчур внимательно поглядел на Самсонова, отвёл глаза и сказал:

– Да, скажи мне, пожалуйста, что такое там у тебя с женой? Государь мне вчера сказал, чтобы я дал тебе понять, что он не желает её возвращения в столицу. Это почему? Ты, брат, уж меня извини, говорю прямо: я – русский человек, не умею такие вещи обиняком высказывать.

Если бы Евгений Петрович был в состоянии в этот момент делать какие-либо сравнения, если бы он мог и хотел определить своё ощущение в данный момент, то «птице перебили и ноги» – было бы самым верным.

Значит, не из доброго расположения Бенкендорф, не от участия подал ему такой совет! Хотелось убежать, запереться в четырёх стенах, никого не видеть, не слышать, – нужно было скакать в Петербург, оттуда в Красное готовить всё для царского смотра.

Если бы Орлов не сказал ему этого, может быть, как-нибудь и сбыли бы этот смотр. Но теперь валились из рук не только бумажки, не приходило то, что нужно, на ум, – из рук вываливался день.

Государь был недоволен решительно всем. По его приказанию Орлов был вытребован из Стрельны специальным фельдъегерем. Утомлённый и рассерженный и ездой, и зноем, и нагоняем, граф ворчливо стал выговаривать Самсонову:

– Знаешь? Государь очень прогневался, что не нашёл здесь никого, и изволил

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org выразиться, что мне это простительно, по новости дела, а тебе, так давно занимающемуся им, – нет.

Он не слез, а свалился с лошади, растянулся во всю свою длину в тени первого попавшегося кусточка, извергая самые энергичные ругательства.

Самсонов пропустил замечание мимо ушей.

– Ваше сиятельство, – почтительно доложил он, – государь изволил приказать поставить свою палатку вот здесь, недалеко, на правом фланге бивуака Преображенского полка.

– С чем тебя и поздравляю!

Это была обычная поговорка, поэтому Самсонов не отставал:

– Ваше сиятельство, не угодно ли присутствовать при исполнении этого приказа? Граф Бенкендорф никогда и никому не доверял постановку палатки государя, всегда сам распорядился.

– Покорно благодарю. Нет, брат, я свои руки и ноги не в дровах нашёл, чтобы так легко ими жертвовать.

С палаткой дело не совсем гладко, но всё же сошло. Евгений Петрович наконец мог прилечь и отдохнуть после двух бессонных ночей.

«Завтра, завтра! Что такое ещё завтра? На завтра, кажется, назначено что-то ещё», – силясь вспомнить Евгений Петрович, но так и не вспомнил: для завтрашнего манёвра от него ничего не требовалось. Он заснул.

Следующий день как будто немного исправил настроение Николая Павловича. По окончании манёвра государь объезжал вызвавшую в этот день особое его одобрение конную артиллерию, по несколько раз благодарил батареи. Ударил отбой, «по домам».

«Слава Богу, – у Самсонова сердце маленьким холодным комком застыло в груди, томленьем заныли руки и ноги. – Всё кончилось. Можно ехать домой и думать, думать...»

Вдруг государь тронул своего коня, догоняя разъезжавшиеся батареи, своим звучным голосом скомандовал:

– Конная артиллерия! Стой! Равняйся!

В грохоте скачущих в карьер орудий команду не расслышали. Николай дал шпоры, стараясь заскакать в середину движущейся артиллерии, ещё раз повторил команду. Опять никакого результата. Он обернулся, ища за собой глазами трубача.

Назначать к государю трубачей входило в обязанность Самсонова. Увы, в этот день за государевой лошадей не ездил ни один трубач.

Николай Павлович круто повернул коня и возвратился на прежнее место.

– Орлов! – раздался снова зычный голос.

Орлов, с рукою под козырёк, галопом подскакал к нему. Государь что-то говорил раздражённо и гневно.

– Государю коляску! – крикнул Самсонову Орлов, и тот сломя голову поскакал по направлению, где должен был стоять экипаж.

Едва он отъехал сажень на сто, как снова голос:

– Самсонов! Самсонов!

Вслед за Евгением Петровичем скакал дежурный флигель-адъютант.

– Ступай, государь тебя спрашивает.

Самсонов повернул коня.



Государь и вся свита стояли теперь спешившись, одной тесной группой. Конная фигура, одиноко маячившая возле этой группы, преградила дорогу Самсонову. Это был герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

– Ecoutez, – проговорил он вполголоса. – L'empereur est furieux contre vous, ne lui repondez pas on mot, ou vous etes on homme perdue[168].

– Monseigneur, – отвечал Самсонов со слезами на глазах, – jamais tant que je vivrai, cet acte d'interet et de bonte, que vous daignez me temoigner, ne sortira ni de mon coeur, ni de ma memoire[169].

Но раньше, чем он тронул коня, государь его уже заметил.

– А, пожалуйста-ка сюда!

Самсонов соскочил с лошади и вышел на середину кружка.

– Что это значит, что, как я ни приеду, всегда застаю какие-нибудь неисправности? – загремел знакомый и грозный голос. – Пора бы, кажется, вам привыкнуть к вашей обязанности! Ступайте-ка на гауптвахту!

В этот момент внимание всех привлёк столб пыли, показавшийся над дорогой. Евгений Петрович не помнил, были ли выставлены в этот день заставы, а это тоже входило в его обязанности. Кто мог скакать по военному полю, когда на нём происходили манёвры?

Из облака пыли вырвалась загнанная, взмыленная тройка, фельдъегерь, цепляясь палашом, ещё раньше, чем она остановилась, выскочил из тележки, бегом устремился к окружённому свитой государю.

– Ваше величество, донесение с Кавказа.

Николай посмотрел кисло.

Только через четвёртые руки попадали к нему бумаги от фельдъегеря. Первый, кто выхватил пакет, успел надломить печать, у второго в руках бумаги высвободились из конверта, третий, развернув их, успел перетасовать по степени важности.

Из рук Лейхтенбергского Николай брал и читал их по очереди.

Первые две, бегом просмотрев, он сунул кому-то, не глядя, с коротким:

– Это Чернышёву.

Когда подъехала коляска, у Лейхтенбергского в руках ещё оставалась одна бумажка.

– Что ещё? – нетерпеливо спросил Николай, уже ставя ногу на подножку.

– Вашему императорскому величеству рапорт пятигорского коменданта генерал-майора Ильяшенкова[170], – ответил Лейхтенбергский.

Царь только слегка повернул голову в его сторону:

– Ну?

Лейхтенбергский прочёл:

16-го дня

императорскому величеству

коменданта

№ 1427 июля

Его

пятигорского

#### РАПОРТ

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней, уволенный от службы из



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

Она глядит, глядит, глядит в тебя  
И с ненавистью, и с любовью!..  
Да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть любовь,  
Которая и жжёт, и губит!  
Мы любим всё – и жар холодных числ,  
И дар божественных видений,  
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений..  
Мы помним всё – парижских улиц ад,  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных роц далёкий аромат,  
И Кельна дымные громады..  
Мы любим плоть – и вкус её, и цвет,  
И душный, смертный плоти запах..  
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет  
В тяжёлых, нежных наших лапах?  
Привыкли мы, хватая под уздцы,  
Играющих коней ретивых  
Ломать коням тяжёлые крестцы  
И усмирять рабынь строптивых..  
Придите к нам! От ужасов войны  
Придите в мирные объятия!  
Пока не поздно – старый меч в ножны,  
Товарищи! Мы станем – братья!  
А если нет – нам нечего терять,  
И нам доступно вероломство!  
Века, века – вас будет проклинать  
Больное позднее потомство!  
Мы широко по дебрям и лесам  
Перед Европою пригожей  
Расступимся! Мы обернёмся к вам  
Своею азиатской рожей!  
Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит, интеграл,  
С монгольской дикою ордою!  
Но сами мы – отныне – вам не щит,  
Отныне в бой не вступим сами!  
Мы поглядим, как смертный бой кипит,  
Своими узкими глазами!  
Не сдвинемся, когда свирепый гунн  
В карманах трупов будет шарить,  
Жечь города, и в церковь гнать табун,  
И мясо белых братьев жарить!..  
В последний раз – опомнись, старый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз – на светлый братский пир  
Сзывает варварская лира!

30 января 1918 г.

Александр Блок

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Посвящаю эту книгу памяти  
венгров, павших в октябрьском  
восстании 1956 года, в борьбе  
за свободу Европы.

Автор

1

Император изругался извозчичьим ругательством. Вице-канцлер Карл Роберт Нессельроде[171], руководитель внешней политики, и граф Бенкендорф, шеф жандармов, руководитель внутренней, сделали подобие улыбок. Улыбки вышли естественными. Но умерли, ибо Николай поднялся, словно был он один в зале, и пошёл, громадный, в общегенеральском мундире, плотно стянувшем сильную фигуру. На фоне золотой пустыни дворца фигуре нельзя было отказать в властности и величии.

Император шёл в любимой позе, заложив руки за спину. Знал, что расстроило; от этого было не легче. Расстроили в Красном линейное учение войскам 2-го

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org пехотного корпуса и вчерашние артиллерийские манёвры под Петергофом. В Красном Николай скакал на белоногом жеребце, в окружении генералов: принца Евгения Виртембергского, принца Ольденбургского[172], принца Фридриха Гогенлоэ-Вальденбургского[173], графа Берга[174], графа Бенкендорфа, графа Адлерберга, барона Беллингсгаузена[175], флигель-адъютантов, свиты, фельдмаршала князя Паскевича[176] и военного министра князя Чернышёва[177]. Прекрасное весеннее утро; по небу беловатые облака с синими доньшками, никакого ветра. Иностранцы посланники скакали тут же, в неизменном белом мундире граф Фикельмон[178]. Интереснейшая ситуация. Линейное учение должно быть отменено; и всё скомкали никуда не годно.

От артиллерийских манёвров осталось невозможное впечатление; до сих пор жило бешенство где-то у сердца и душил воротник. Николай скомандовал залп из всех орудий, и вдруг из крайней, у леса, пушки вылетел не холостой, а боевой снаряд, пронёсшийся над императором. Император при всех сделал невольное движение корпусом и пригнулся. Николай рассвирепел, позвал батарейного, при всех кричал на него. Но опять глупость: на матерное ругательство трясущийся офицер ответил бормотавшими губами:

– Почту за особенное счастье, Ваше Величество.

Даже гнев пришлось оборвать. Батарейный же командир повалился в обморок, как баба.

Неприятности свивались: внезапный удар с министром, князем Чернышёвым, в кабинете императора за военным докладом; отвратительный рапорт коменданта крепости, с ошибками и вздором, где вместо «батальона» стояло «эшалон». При обходе богадельни, где приютил глухих, слепых, сумасшедших солдат, под сводами «на кашу» раздался такой барабан, что император вздрогнул. Под барабан безумный голос умалишённого инвалида закричал непристойности. Царь приказал дураку-барабанщику бить «на кашу» не в богадельне, а во дворе. В больнице видел у солдат от учебного шага, от вытягивания ноги, требуемого дисциплиной, на ступне фунгусы! Глупейшее слово! Черносуставная грибовидная опухоль. «Откуда?» – думал Николай, злобно ходя по залу. И идиотический пиджак графа Татищева! Лейб-гвардии поручик, семеновец, приехал из Европы – в пиджаке! Хотел оказать милость, обласкав невесту майора Стуарта, спросил с всегдашней весёлостью в отношении к девицам. И вдруг: «Дозвольте моему жениху носить усы!» – Усы в инженерном ведомстве, в любимом детище царя!

В невероятную свирепость приходил император. К тому ж замучили чирьи: ни сесть, ни встать. «Баба, мажет, мажет...» – бешено бормотал Николай, это относилось к шотландцу лейб-медику Мандту, заменившему заболевшего доктора Арндта.

2

Вечером в Петровском зале играли в вист-преферанс. Стены обиты бархатом, с золочёными распростёртыми двуглавыми орлами. Канделябры и люстры серебряные, работы петербургской мастерской датчанина Буха. Меж орлами на стенах любимые баталы Лядюрнера, Крюгера[179], Гесса[180], Коцебу[181]. За ломберным зелёным полем – свои, граф Бенкендорф, граф Нессельроде, барон Корф, генерал-адъютант Плаутин[182], Николай. Играли по четвертаку.

Это успокоение императора. Бенкендорф не играл, глядел в карты царя; хороший советчик в вист-преферанс. Карлик, вице-канцлер Карл Нессельроде, поджав коротенькие ножки, хитростью разошедшихся маслиновых глаз, казалось, видел не только сразу четырёх партнёров, но и советчика Бенкендорфа. В его жёлтых ручках карты мигали, словно пойманные и готовые взлететь птицы. Корф улыбался женственными губами.

– Твой ход, monsieur de la Bibliothèque [183].

Корф бросил маленькую пику, взглянув на императора; и на Корфа и на пику взглянули Нессельроде и Плаутин. Камер-лакеи внесли подносы: фрукты, печенья, чай; составили, пододвинули столики к играющим. Весело вошёл красавец наследник. Николай глазами чуть улыбнулся улыбке сына, отрываясь от карт.

– Что там у тебя?

– Карикатура, папа.

Только Плаутин не бросил сдачу карт; кресло Николая обступили. Карикатура изображала бутылки. С шампанским, – пробка вылетела, в фонтане выбрасываются корона, трон, конституция, король, принцы, министры – Франция. С чёрным пивом, – из мутной влаги выжимаются короли, гросс-герцоги, герцоги, курфюрсты, гросскурфюрсты – Германия. С русским пенником, – на обтянутой прочной бечевой пробке наложена казённая печать – Россия. Бенкендорф карикатуру знал. Нессельроде захохотал звонким хохотом. Короткими ударами расхохотался Николай.

– С бечевой да печатью, стало быть, моя Россия?

– Mais j'ose le eroire, sire[184], – смеялся наследник.

Вист-преферанс уставал; император предался воспоминаниям, улучшилось настроение сановников.

– Пинск? – говорил Николай. – Что ж, порядочный город, улицы довольно правильно расположены, только большая часть народонаселения жида. Надо бы водворить русских купцов, обещать привилегии, приохотить селиться.

– Помню, в Одессе, в последний раз, – посмеиваясь в веер карт, в рыжеватые усы, сказал Николай, и шесть глаз, карих, серых, уставились на Николая; только усталые зелёные глаза Бенкендорфа молчали прищуренно. – Встретил я там на улице толпы шатающихся без дела цыган, в совершенной нищете, нагие, девки по осьмнадцать лет, голые... позор и безобразие! Говорю Воронцову – что ты не приведёшь их в порядок? А он – мне с ними не сладить, все меры без успеха. Ну так постой, я с ними слажу. Приказал тут же брать всех бродяг и тунеядцев за определённую подённую плату на работу. И что ж? Через месяц исчезли! – засмеялся Николай; и все засмеялись, кто потише, кто погромче.

– Вот тоже что-нибудь придумай и с этими тунеядцами жидами, Бенкендорф, они у меня служилых людей портят, кого угодно, проклятые, подкупят. Подумай-ка, не составить ли нам из них рабочие роты для крепостных работ, а?

– Жида и поляки большое бедствие царства Польского, – тихо, не меняя усталой позы, сказал Бенкендорф.

– Истина. Один из ссыльных на Кавказ полячишек недавно проник в Киевскую губернию с целью покушения на меня. Да князь Четвертинский[185], хоть поляк, а сразу выдал. Впрочем, я на это не смотрю, я своё дело продолжаю, как угодно Богу, до того времени, когда они меня сами поймут. Считаю, что если б я в отношении поляков действовал иначе, взял бы ответ перед Богом, перед Россией и перед ним, – указал Николай на наследника, зачитавшегося в кресле французской книгой.

– Злоумышленник в крепости? – проговорил Плаутин Бенкендорфу.

Бенкендорф не ответил, не взглянул.

– Если б явилась необходимость арестовать половину России, только ради того, чтоб другая половина осталась незаражённой, я б арестовал, – проговорил Николай, взяв с зелёного сукна белой рукой заснувшие карты: императору пришли черви и трефы.

Наследник зевнул. Вскоре, бросив карты, встав, говорили о любимом детище императора, гвардейском сапёрном батальоне; обняв Бенкендорфа, Николай улыбался.

– Что ж, ребятишки мои меня любят, и я их не забываю, сапёры молодцы. Хоть и строг я, впрочем, вернее, был строг больше, чем теперь, Бенкендорф, а? Вы с Плаутиным-то знаете, каков я раньше был, да, – протянул, засмеявшись, – сам знаю, что был невыносимым бригадным.

Все пошли за императором из Петровского зала.

3

С половины императрицы Николай возвращался мрачный, словно не было вист-преферанса. Внутренние караулы замирали, как статуи; император спускался в первый этаж; ждали дела, наложение высочайших резолюций,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Николай делал это на ночь; во время работы, на которую поставил Бог, становился сосредоточен.

Постель открыта, на ней солдатская шинель. Канделябры освещают столы карельской берёзы, тома «Свода законов Российской империи», бумаги, приготовленные для резолюций. Николай скинул мундир, ботфорты, лосины, остался в рубахе, в подштанниках. Шмыгнул в туфли, с постели взял шинель, накинул и бесшумно прошёл к столу.

Писал неграмотно, с множеством ошибок. На прошении «О разрешении студенту Яковлеву выезда за границу для продолжения образования» написал: «Можид здесь учиться, а в его лета шататься по белу свету вместо службы стыдно». На прошении «дворянской вдовы Ртищевой об усыновлении внебрачного сына» написал: «Беззаконного не могу сделать законным», отложил, взял – «О поручении студентов императорского Московского университета, живущих вне университета, надзору городской полиции». Написал: «На подчинение присмотру городской полиции тем более согласен, что сему иначе и быть не должно». На «Докладе об укрощении бунтующих крестьян» написал: «Строжайше подтвердить всем местным властям, все убийства укрощать не потворством, а наказывая виновных силою». Попалась глупая бумага о лотерее, написал гневно: «Не раз приказывал с представлениями противными закону не смей отнюдь входить».

Долго рассматривал проект общественного здания; масштабную фигуру человека, долженствовавшего наглядно изображать высоту цоколя, в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах, гневно зачеркнул, надписав: «Это что за республиканец! Масштабные фигуры должны изображаться только в виде солдат в шинели и фуражке!» На всеподданнейшем рапорте графа Воронцова о тайном побеге двух подданных из России и переходе ими реки Прут, где определял граф за сие карантинное преступление смертную казнь, начертал: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне её вводить!» Долго работал император, последним читал дело об отставном корнете Лагофете, растлившем шестнадцатилетнюю крепостную девку; на мнении Государственного Совета начертал: «Приятно видеть, что Государственный Совет взирает на дело с настоящей точки. При существующем положении нашего гражданского устройства необходимо, чтоб помещичья власть была единственно обращена на благо своих крепостных, злоупотребления ж сей властью влекут за собой унижение благородного звания и могут привести к пагубнейшим последствиям».

Пройдя к койке, Николай скинул шинель, разделся. На мгновенье остался голым, потом в ночной, до колен, рубахе лёг на заскрипевшую под тяжестью большого тела койку и укрылся простынёй и шинелью. Но долго не засыпал Николай, мучило лёгкое, в темноте, головокружение и ныли ноги. Думалось о донесениях посла Катакази[186] о происках Англии в Греции, посла Бруннова[187] о волнениях чартистов, приходил на память курьер прусского посла Мейендорфа[188], доклад о брожениях в Пруссии: Европа не давала сна. Николай не представлял, чтоб события оказывали ему сопротивление; ворочаясь в темноте кабинета, верил во всемогущество войск, слома, силы, оружия; засыпая, думал о походе на Запад.

4

Эльба замглилась, затуманилась сеткой измороси; словно даже душно в Дрездене в этот мелкий, сетчатый дождь; дворец, цейхгауз[189], Королевская опера застыли во мгле; даже барокко белого Цвингера словно увяло.

Под зонтом Марья Ивановна Полудинская подымалась на брюллевскую террасу, повторяя два слова: «Неужели люблю?» и отвечала взволнованно: «Люблю, люблю». Да она и спрашивала, лишь бы доставить себе радость повторением. Нервическая, резкая, чуть долговзая, шла под зонтом, высоко подбирая юбку. Близоруко вглядывалась в идущих по террасе немцев; видела – по мосту через Эльбу едет карета в серый, в осеннем дожде, Нейштадт.

У парапета Полудинская поглядела на причаливший пароход; под каштаном у скамьи никого не было; в представлении Полудинской стоял красавец, хохотун, червонный демократ, разрушитель – Бакунин. Полудинская сердилась: как мог он позавчера отплясывать на балу у мадам Шамбелан де Кеннериц с какой-то графиней, женой французского посланника?

Бакунин шёл широкой, раскачивающейся походкой. Подходя, улыбался дружески.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Простите опоздание, Марья Ивановна!

Спускаясь по широкому спуску брюллевской террасы, сделанному ещё русским князем Репниным в бытность его дрезденским губернатором, Полудинская проговорила:

– Михаил Александрович, как же совместить: вы, якобинец, демократ, танцуете у Шамбелан де Кеннериц?

Бакунин посмотрел удивлённо.

– Ну, танцор-то я, положим, плохой, – захохотал он громко, – а что же, общество на балу было преинтересное.

Они пошли Театральной площадью ко дворцу; их обогнали четыре смеявшихся офицера, взглянули, обернулись на Полудинскую.

И оттого что Бакунин молчал, курил, не обходя, шлёпал по лужам, и оттого что смеялись офицеры, Полудинская выговорила, может быть, даже не то, что хотела: от обиды молчания.

– Я иногда ненавижу ту власть, которой сама покорилась.

– Власть? – переспросил Бакунин без интереса, словно не понимая.

– Да, ту власть. То есть с тех пор как я люблю вас, Михаил Александрович, – сказала Полудинская дрожаще и вызывающе, – у меня нет ни гордости, ни самолюбия. Не притворяйтесь, что вы этого не знали, вчера я не могла выговорить вам то, что было на душе, но я не боюсь ничего, даже вашего презрения.

Бакунин почувствовал захватывающую всё существо неловкость; вспомнил такое же объяснение с Воейковой и Александрой Беер, упавшей в обморок.

– Ну и подите, рассказывайте кому хотите, что я унизилась до того, что сама пришла к вам, непрошенная и ненужная, и первая вам сказала, что люблю вас. Я хочу только одного, – говорила резко, страстно Полудинская, то глядя на камни площади, ударяя в них концом зонта, то поворачиваясь к Бакунину, – да, только одного, чтоб вы признали, что в этом виноваты и вы. Вы помните разговор о любви? Иль, может быть, я неверно вас поняла?

Полудинской показалось, что мужественное лицо Бакунина чуть улыбнулось. «Чему?» – подумала, и захотелось заплакать.

– Марья Ивановна, видите ли, – громко проговорил Бакунин, – да, я говорил о любви, о том, что это великое таинство, но я говорил это общо, с объективной точки. Если ж вы хотите спросить меня о развитии моего личного чувства?

– Да, – резко сказала Полудинская.

Бакунин поглядел в камни площади, чуть улыбнулся.

– Любовь? – сказал он. – Сложное это дело, Марья Ивановна. Иногда мне ведь тоже кажется, что люблю, а взглядишься, оказывается, и нет. Мало мы знакомы, наши жизни не нашли ещё то мгновение, в котором люди сознают себя и чувствуют, что друг другу родны, что составляют одну жизнь. Но я думаю, что оно для меня едва ли и возможно, не рождён я для любви, Марья Ивановна. – Бакунин поглядел весело, улыбаясь. Полудинской показалось, что Бакунин ударил её.

Они выходили на Альтмаркт, к старому ратгаузу[190].

– Ведь любовь, – говорил Бакунин, – Марья Ивановна, далеко ещё не истина и к тому ж всегда вступает в борьбу с иными элементами жизни, и тут любовь должно умерять и взнуздывать.

– Взнуздывать? Почему ж? – внезапно тихо проговорила Полудинская.

– Ну да, Марья Ивановна, дорогая вы моя, да, потому что любовь же это потребность всего-навсего второстепенная, а у человека есть потребности

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
главные, потребности духа.

Полудинская приостановилась, как от неожиданности, и снова двинулась;  
Бакунин говорил громко, затягиваясь трубкой.

– Конечно, свобода человеческая! Свобода! Вот главная потребность человека!  
Для чего ж нам жизнь, если нет в ней полной свободы? Жизнь без свободы не  
нужна, да! Я за эту свободу отдам всю жизнь, я готов обязаться питаться  
одним чёрным хлебом да жить в лесу, только бы быть свободным.

Полудинская внезапно, истерически рассмеялась.

– Не надо, не надо! – говорила в смехе, – не говорите, я не понимаю, что  
это такое – «быть свободным»! Не понимаю, ну и поделом мне, поделом, ну и  
хорошо, что я наказана, а вам предстоит, вероятно, занятия, более достойные  
вас.

Вздрагивающие, тёмные глаза Полудинской были полны слёз, но, ещё сдерживая  
себя, она проговорила:

– Ну и всё равно, знайте, всё равно, если б я могла окружить вас всем, что  
жизнь заключает в себе прекрасного, святого, великого, если б могла умолить  
Бога дать вам все радости и всё счастье, я бы сделала это! – И вдруг  
Полудинская зарыдала и, закрываясь платком, порывисто пошла прочь.

5

К отправлявшемуся на Лейпциг дилижансу, чтоб поспеть, под дождём, косившим  
с полудня, по размякшей грязи ночью бежали Бакунин, поэт Гервег[191] и  
музыкант Рейхель[192]. В широком чёрном плаще, чёрной шляпе, ругаясь на  
слякоть, на грязь, на посланника Шрейдера, на королей саксонского и  
пруссского, на весь мир, который он скоро разрушит, не оставив камня на  
камне, Бакунин шлёпал по лужам латаными башмаками, ускоряя и ускоряя шаги.

– Бакунин! Ох, чёрт возьми, вот что значит поссориться с королями, как мы с  
тобой! – хохотал Гервег в изящном английском макинтоше.

– Рейхель, дружище, да не отставай! – подхватил его Бакунин.

В правую руку взял он саблю

И храбро устремился в бой! –

запел, шлёпая громадными подмётками по лужам. – Чёрт дери, если б не эти  
проклятые тюремщики, я бы слушал сейчас твоего Бетховена, Рейхель, без  
музыки я, брат, как рыба без воды.

Станционные ворота растворены настезь; у полосатого столба, под крыльцом,  
стоял толстый почталён, докуривая фарфоровую трубку, накуриваясь на  
дорогу. В темноте ворот виднелись очертания лошадей и кареты. Через полчаса  
вместе с купцами, спешившими в Лейпциг на ярмарку, Рейхель, Бакунин и  
Гервег тряслись в дилижансе. Завернувшись в плащ, прислонившись к Рейхелю,  
Бакунин, похрапывая, спал.

6

Флигельная, мансардная комната, в которую вошёл Бакунин, поразила его  
бедностью. Было странно увидеть на берегу Цюрихского озера, трепещущего  
яхтами, парусниками, среди солнца, ветра, горного воздуха такую  
мизерабельную[193] комнату.

Комната освещалась керосиновой лампой, привешенной на гвоздь. За столом  
сидел белокурый, довольно красивый молодой человек, с кокетливо  
подстриженной бородкой, в задумчивости грызя ногти. Одет он был в бедный  
сюртук щеголеватого покроя; походил на коммивояжёра.

Бакунин остановился на пороге. Атлет, с Петра Великого; тёмная, кудрявая  
голова; выражение сине-голубых, чуть татарски разрезанных глаз смеющееся,  
пытливо-беспокойное; руки белые, неловкие, аристократической формы; что-то  
львообразное и вместе детское; улыбка большого рта запуталась в вьющихся  
усах; лёгкая славянская сутуловатость придала фигуре неловкость, даже  
увалистость, словно не знает Бакунин, куда ему деть своё раскидистое тело.  
Подпёрший потолок комнатухи Бакунин и небольшой, вкрадчивый портной



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Вейтлинг[194] были полным контрастом.

– Я не знаю, не встречал русских, садитесь, пожалуйста, – сказал Вейтлинг.

– Я прочёл вашу книгу «Человечество, как оно есть и каким должно быть», – басом говорил Бакунин, с некоторой бесцеремонностью разглядывая портного. На бледные щёки Вейтлинга вышли пятаки румянца; не то смутился, не то рассердился.

– Вы чудесно о многом высказываетесь, хотя я с вами не во всём согласен, я ведь не коммунист, – сказал Бакунин.

– Не коммунист? – тихо спросил Вейтлинг, как бы с мгновенным, жалобным сожалением поднимая светлые глаза.

– Нет, нет, ваш друг Гервег, – расхохотался Бакунин рокошуще, – просто называет меня скифом, но в наших взглядах есть много общего. Георг рассказывал, вы прошли тяжёлую жизнь, были работником?

– Да, – сказал тихо, – был портняжным подмастерьем, но когда понял, что мир устроен ложно, ушёл из Магдебурга в Австрию, бродяжил семь лет, писал стихи, – Вейтлинг вдруг улыбнулся чуждо, как ребёнок.

– Знаете, почему я так интересуюсь, я, видите, сейчас в страшных долгах, если родные не продадут части имения в России, я решил тоже стать работником или бродягой, что ль, работать что попало, но главное, не потерять свободу и скрыться, чтоб не вернули в Россию.

– В Россию? – спросил Вейтлинг. – Кто же вас захочет вернуть?

– Царь.

– Ах, царь? Это скверно, – тихо засмеялся.

– Чем вы зарабатывали?

– Шил штаны, сюртуки, латал мужикам платье; в городе делал цветы. Искусственные, – добавил Вейтлинг.

– Цве-ты? – удивился Бакунин, глядя на худые, синевато-костистые руки Вейтлинга. – Ну, этого я наверное не сумею, для цветов я груб. Много выработывали?

– Чтоб не сдохнуть с голоду.

Лампа светила скупо, как раз от стены освещая Бакунина, развалившегося в соломенном кресле. Вейтлинг, видимо, к нему уже привыкал.

– Я многое видел в жизни, – говорил он, – такую нищету, какой вы никогда и не видали, если говорите, что у вас даже имение. Я давно понял, что нищие вправе убивать богатых только потому, что они нищие. В Париже в 37-м году я вошёл в «Союз справедливых» и с тех пор борюсь за угнетённых.

– Вы чистый немец?

– Почему вы спрашиваете?

– Так.

– Странно. Нет, я сын француза и немки. Внебрачный, – добавил Вейтлинг.

Бакунину Вейтлинг нравился. Вейтлинг казался даже заманчивым, в Вейтлинге мелькнул Бакунину огонёк фанатизма.

– Вот пишу в защиту бедных классов, – оживляясь и примирясь с Бакуниным, говорил Вейтлинг, – и вижу, что такое свобода печати при господстве денежной системы. В современном обществе всё покупают за деньги: совесть, тело и дарования человека. Разве это свобода? Свобода для одних и тюрьма для других. Вы согласны, что работникам в современном обществе приходится разыгрывать роль ослов, которых бьют палкой там, где надо бить, а где обходятся одними вожжами, то направляют не менее искусно?

– Разумеется.

– Но как же вы тогда против коммунизма?

– Так что ж? Вы видите спасение общества в коммунизме?

– Да, в коммунизме, – Вейтлинг сказал тихо, не терпя возражения.

Вейтлинг, худощавый, аккуратный, небольшой, возбуждённый внутренним огнём, встал.

– Только коммунистическое государство явится таким, при котором все силы и органы человека, руки, ноги и голова, – Вейтлинг показал на голову и на ноги, – будут содействовать каждому индивидууму, чтобы сообразно равным для всех условиям было обеспечено удовлетворение всех потребностей человека. Каждому будет гарантировано полное наслаждение своей личной свободой. Этот же мир, – обвёл Вейтлинг рукой, указывая на стены, – подлежит разрушению. В нём хаос и насилие.

– Вейтлинг! Вижу в вас автора чудеснейшей книги! Но не соглашаюсь, нет.

Вейтлинг перебил дрогнувшим голосом, проговорил скороговоркой:

– Знаю заранее, что вы скажете, что нельзя идти к счастью через кровь и насилие, что нужны иные меры. А я вам говорю, – закричал Вейтлинг, вдруг наступая с яростью, почти с бешенством, – что для победы иного пути нет! Надо раскалить, разжечь всеми средствами живущее в бедных недовольство, чтобы оно вырвалось пламенем, спалив без остатка современный строй и его людей. Мы, коммунисты и бедные классы, мы поднимем для этой цели грабителей, нищих, преступников, каторжан, создадим армию отчаявшихся, которым нечего терять, и двинем их на мещан, богачей и аристократов!

Отвалясь в заскрипевшем под могучей спиной кресле, Бакунин, улыбаясь, махнул рукой.

– Что? – спросил Вейтлинг.

– Не знаю, за кого вы меня принимаете, что так страстно проповедуете ваши революционные меры? Я вовсе не о том, всё это нужно и, конечно, правильно, – Бакунин встал, заходил, сгибаясь, по комнате, – да дело-то не в мерах, дорогой Вейтлинг, а в целях. Ваша цель – коммунизм? А где его происхождение? Общественный порядок на Западе сгнил, он едва держится болезненным усилием, этим и объясняется та невероятная слабость и тот панический страх, которым полны современные государства. Куда бы в Европе ни оглянулись – везде дряхлость, безверие, разврат, происходящий от безверия, начиная с самого верха общественной лестницы. Ни один человек, ни один класс не имеет веры в своё призвание, и, право, все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, даже самому себе, не верит. Привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкой, это слабая препона против возрастающей бури. И тут, в гибели этого строя, в гибели этого мира вы, конечно, правы. *Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust*[195], сказал я в моей статье «Партии в Германии».

– Как? – поразился Вейтлинг. – Вы Жюль Элизар?

– Моя, моя, – отмахнулся Бакунин, – но дело не в этом, а в том, что вы не понимаете, откуда проистекает природа коммунизма! Она проистекает столько же сверху, сколько и снизу. Внизу, в народных массах, она растёт и живёт как потребность неясная, энергическая, как инстинкт возвышения. В верхних классах – как разврат, эгоизм, как инстинкт угрожающей, заслуженной беды и неопределённый беспомощный страх. Беспрестанный крик против коммунизма более способствует распространению его идей, чем ваша собственная пропаганда. Этот неопределённый, невидимый, неосознаваемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий во всех без исключения, в тысячу раз опаснее для современного общества, чем определённый и приведённый в систему, который проповедуете вы в тайных и явных коммунистических обществах. Ваша сила идёт с двух сторон, Вейтлинг! Это великая сила! Но вы не правы в конечной цели. Она – коммунизм – просто-напросто логическая натяжка. Прекрасное средство пропаганды среди бедных классов, коммунизм как революционная цель – вредная бессмыслица.

Вейтлинг хотел перебить, но Бакунин не дал, протянув руку.

– Поймите, ну, возьмём, положим, вы осуществили коммунизм, и вместо Российской империи – коммунистическое государство, вместо германских княжеств, королевств и герцогств – сплошные коммуны! Так что же вы думаете, вы сделали людей, именно бедные-то классы, счастливее, оттого что создали над ними не царскую и не княжескую, а свою собственную опеку? О нет, Вейтлинг, – хохотнул Бакунин властно, свысока, – вы правы, только пока вы боретесь, лишь только вы победили, бедным классам надо тут же начинать бороться с вами, за те же лозунги свободы и жизни! Ведь общество, устроенное по вашему плану, представит собой не живое объединение свободных людей, каким общество должно быть, а организованное с помощью принуждения и насилия стадо животных, которыми вы, Вейтлинг, или другие начнут командовать и управлять по своему усмотрению! Ваше коммунистическое общество, преследующее исключительно материальные интересы, неизбежно задавит всё то духовное, что растёт только на свободе отдельных личностей, вне пространства и времени. Я ненавижу коммунизм, потому что он есть отрицание свободы и потому что для меня непонятна человечность без свободы. Ваше насилие, Вейтлинг, если оно когда-нибудь осуществилось бы, было бы чудовищным! Поэтому-то в устроенном по вашему плану государстве у меня нет охоты жить, так же, как в государстве царя Николая. Но, к счастью людей, ваша цель и ваша идея всего-навсего есть логическая нелепость!

Вспотевший, не убеждённый, взволнованный Вейтлинг вскочил, но Бакунин снова не дал перебить, заговорил быстро:

– Что же касается люмпен-пролетариата, что это самый революционный элемент теперешнего общества, что в них, а не в зажиточных слоях рабочих весь пафос разрушения и нужные новому миру силы, – вы правы. Именно люмпен-пролетариат нужно двинуть вперёд волной возмущения старым порядком и старым миром, чтобы эта безжалостная армия беспощадно смела, дотла сожгла б и изрубила старый мир! Она не подчинится вашей власти, так же, как не хочет подчиниться власти теперешних королей. Эта армия протестантов свободы, певцов вечного протеста, ножа и пожара говорит о другой потребности человечества, о потребности бескрайней свободы и воли. И вот такая революция придёт в мир, именно такая, смывающая всё старое, воздвигающая на пепелище новую, молодую, совершенно свободную, простую и прекрасную жизнь!

– Пойдите! – закричал Вейтлинг страстно. Бакунин вытащил луковицу часов, бесцеремонно смеясь, похлопал Вейтлинга по плечу громадной, львиной рукой.

– Нет, нет, с вами общая дорога у меня, Вейтлинг, не до конца, но ладно, довольно, поговорим в другой раз, приходите ко мне на озеро, за бутылкой вина и потолкуем. – Бакунин пошёл к двери.

Прощаясь, как бы отказываясь прийти, Вейтлинг сказал:

– Я не пью.

– Напрасно. А я люблю выпить в хорошей компании. Ну по крайней мере покурим сигары.

– И не курю, – засмеялся Вейтлинг, – но я приду к вам всё-таки.

– Ладно, только не запрещайте, Бога ради, в вашем будущем обществе вина и табака, а то какая у вас разведётся скучища! – хохотал в сенях низкого флигеля Бакунин, пока Вейтлинг отпирал дверь.

– Чудно! – взглянув на небо, на звёзды, идя по двору, сказал полным голосом Бакунин.

7

Распустив поводья, Николай ехал верхом по площади к Летнему саду, к Марсову полю, наблюдать репетиции майского парада. Такой молодцеватой посадки, как у императора, трудно было сыскать в кавалерии. Громадность его фигуры скрадывалась громадностью гнедой кобылы.

В широкой поперечной аллее кобыла стала. Под тяжёлым императором окаменела, как постамент, не шевеля даже ушами. Император с седла наблюдал репетиции.

Гулявшие на утреннем променаде, робея, приближались петербургские щеголихи к верховому императору. Цветным крутом обступили. И вдруг, наклонясь к близкой, в голубоватом капоре, Николай, приветливо улыбаясь, сказал:

– Кто ж, сударыня, вам больше нравится, гусары или кавалергарды?

8

В вальсе, в польском, в контрдансе, в кадрили зашелестели цветными петуниями[196] дамы на балу князя Юсупова, в любимом доме императора. Рубенсовского тела прекраснейшая из красавиц, любовница Николая Варвара Нелидова шутила с Бенкендорфом; Наталия Пушкина-Ланская, Апраксина, Долгорукая, Бутурлина – рой русских красавиц. За ломберными столами старички дуются в вист, в ералаш. В бильярдной режутся морские офицеры.

Генерал Бенкендорф в голуби мундира, белизна чулок, аксельбанты; только не бодры руки, подрагивают в белых перчатках. Нездоров генерал, хоть и улыбается с фрейлиной Нелидовой и графиней Нессельроде, превзошедшей всех женщин уродством и оголенностью старых плеч. Карлик вице-канцлер семенит с Его Величеством. Но дан высочайший знак, и Бенкендорф заскользил по паркету.

– Хотел спросить, Христофорыч, – отведя, проговорил император, – как дело с этим отставным прапорщиком Бакуниным?

От царя отошли граф Нессельроде, граф Канкрин[197], князь Волконский.

– Серьёзнейшая предерзость, Ваше Величество, поступило донесение..

– Как? – Брови, светлые, широкие, свелись, потемнели красивые глаза. Николай остановился, за рукав голубого мундира придерживая Бенкендорфа.

– Прикинувшись согласным вернуться, бежал неизвестно куда, везде производит волнения, вступая в общение с заговорщиками.

– Завтра доложишь.

Наискось, почти визави, графиня Нессельроде посадила семнадцатилетнюю цыганистую Пален. Но за ужином не глядят водянистые глаза царя на семнадцатилетнюю красоту. И раньше обычного коляска, запряжённая вороныными рысаками, отъехала от особняка князя Юсупова в Зимний дворец.

9

В любимой позе, заложив за спину руки, Николай поджидал Бенкендорфа. Николай не представлял, чтоб его выраженной воле кто-либо смел не подчиниться. В такие минуты вставало всё пережитое в те четверть часа на Дворцовой площади с «amis du quatorze»[198]. Злоумыслы? Революции? Мятежи? Люди хороших фамилий опять превращаются в якобинцев?

Бенкендорф вошёл, более обычного усталый.

– Что ж он заявил, эта сволочь, эта bestia? – с места закричал, поворачиваясь к генералу, Николай. – Не возвращаться ко мне, когда я приказываю?!

Давненько не видывал генерал, это не гнев, а гнєвище! Это буря! Николай ходил, чтоб несколько успокоиться.

Доклад обстоятельный, шёл со всеми мелочами, как любил царь.

– Где, где учился? В артиллерийском? Стало быть, лично меня знает, сукин сын! – перебил, останавливаясь, Николай.

И снова заходил.

– Бакунин! Подумай, какая фамилия! Капитан Бакунин дал первый залп[199] из пушки 14 декабря по преступной сволочи! А этот революционером стал, достойным уже сейчас виселицы!

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Двоюродный племянник капитана Бакунина.

Николай промолчал. Бенкендорф читал сведения тверского губернатора о семье.

– Деньги посылают мерзавцу.

– Никак нет, Ваше Величество, меры приняты. Денег из России не пойдёт, хоть и были попытки.

– Ни копейки, – бормотнул Николай.

Бенкендорф перешёл к донесениям российского посланника при прусском дворе барона Мейендорфа, к докладу бернского посольства: «...вышеупомянутый прапорщик явился самолично в бернское императорское посольство для визирования паспорта на проезд в Мангейм и в имевшем быть разговоре признал себя виновным по первому пункту, то есть что был в сношениях с коммунистами, что же касается брошюры о Польше, решительно отрицал своё авторство и даже знание о ней. Кроме того, заверил честным словом, что никогда не принадлежал ни к какому тайному обществу и что поддерживал связь с коммунистами, лишь чтоб ознакомиться с идеями, породившими эту секту, но не разделял их. Тем не менее прилагаемыми копиями донесений агентов швейцарской полиции и агентов III отделения Его Величества канцелярии установлено, что названный Бакунин поддерживает сношения с самыми радикальными элементами, стремящимися перенести свою деятельность за пределы Швейцарии для ниспровержения правительства и существующего строя. Объявленное ему, Бакунину, приказание о немедленном возвращении на родину и в случае неисполнения сего об ответственности по всей строгости законов он принял с должным уважением и выдал в объявлении ему сего прилагаемую собственноручную расписку, заверив честным словом, что вернётся на родину незамедлительно, заграничный же паспорт обещал тотчас же вернуть по возвращении своём из Мангейма, дав в сём также честное слово. Но уж на следующий день посольством нашим было получено прилагаемое при сём письмо Бакунина с сообщением о невозможности ему вернуть паспорт, нужный для дальнейшей поездки в Лондон. Мною незамедлительными депешами были извещены миссии российского императорского двора в Карлсруэ и Франкфурте-на-Майне о том, чтобы при появлении там названного Бакунина у него был бы незамедлительно отобран заграничный вид на жительство, но в названных миссиях Бакунин не появлялся, вероятно, проехав иным путём...»

Чем дальше шло чтение, густей темнел Николай, предрозостный поступок против него казался даже не преступлением, а помешательством!

– Снюхался с поляками, – захохотал негнушимся тенором, – что ж, воевать со мной хочет? Достану и за границей! – крикнул он. – Сообщи Нессельроде: приказываю, чтобы все наши миссии и посольства незамедлительно уведомили правительства всех земель о том, что эта личность вредна не только мне, но всем правительствам своей агитацией и пропагандой. Бакунина ж лишит всех прав состояния, заочно приговорить к ссылке в каторжные работы, в Сибирь, с тем, чтоб имение теперь же взять в секвестр. Пусть министр юстиции войдёт с предложением в сенат. Понял? Реши на месте, с кем был знаком и есть ли тут сообщники.

– Приступлено, Ваше Величество.

По прошествии получаса, отпуская любимца, подавив гнев, Николай сказал:

– Как здоровье? Что такой бледный? Смотри, смотри, без тебя мне со всей этой гадиной не справиться, съездил бы отдохнуть в Эстляндию к себе, а?

– Неотложные дела, государь, знаете, как положиться на кого другого.

– Ну-ну, я подумаю. А об этом негодяе докладывай незамедлительно, как что поступит.

10

Дело отставного прапорщика артиллерии Бакунина, судимого за невозвращение в Россию, от министра юстиции графа Панина[200] пошло в Санкт-Петербургский надворный уголовный суд; из суда в уголовную палату, из палаты в правительствующий сенат; всеподданнейший доклад сената пошёл на представление государственному секретарю; государственный секретарь

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org представил на мнение соединённых департаментов Государственного Совета, гражданского и законов; Государственный Совет в соединённом заседании департаментов постановил заключение по докладу правительствующего сената об отставном прапорщике артиллерии Михаиле Бакунине: «Сего подсудимого, согласно с приговором сената, лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию сослать в Сибирь, в каторжные работы, а имение его, каковое окажется где-либо ему собственно принадлежащим, на основании 271 ст. XV тома Свода законов уголовных взять в секвестр».

На заседании соединённых департаментов Государственного Совета присутствовал усталый генерал Бенкендорф. Сидел в заднем ряду, позёвывал, прикрывая ладонью рот; глядел на свои шевровые[201] сапоги; от чтения первоприсутствующего члена закрывал глаза, как бы в дрёме. По окончании, не прощаясь ни с кем, выехал в Зимний дворец. Николай на постановлении, написал: «Быть по сему».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Квартира на рю Годо де Моруа, номер 9, откуда слышалась музыка, была проста. В передней комнате – диван, два кресла, стол и рояль, на котором импровизировал светловолосый молодой человек. Под его музыку во второй, полупустой комнате, где не было ничего, кроме складной, чересчур размеристой кровати, цинкового бокала на столе да двух горшков гиацинтов на подоконнике, несмотря на двенадцатый час, спал громадный, чёрный Бакунин, завернувшись с головой в одеяло.

Сквозь растворённое окно видно: в дворике цвёл жасмин. В передней комнате, разносясь, гремела фантазия Рейхеля. Бакунин не борол привычки поздно вставать. Хотя тут, пожалуй, это и не была слабость характера, а необходимость отдохнуть от парижского воздуха. Великое дело, этот воздух! Во все этажи, подвалы, чердаки, бельэтажи, трубы, щели дует свободой, революцией, карманьолой. Мещане конопатят дыры, запирают ставни. Богемьянам же, гулякам навевает парижский воздух весёлые мысли. Но парижская жизнь – с кабачками и кофейнями, множеством газет, спорами, излишним вином, трубочным дымом – нелегка. Хорошо ещё на рю Годо де Моруа, а раньше от безденежья спал Бакунин в редакции немецкой эмигрантской газеты «Vorwarts», в комнате совещаний.

### 2

В двенадцать зашевелилась размеристая кровать под потягивающимся телом; Бакунин выпростался из-под одеяла мускулистыми руками. За стеной падающими звуками летело рондо Моцарта, словно рассыпалась звучащая дробь.

Заломив за голову голые руки, Бакунин улыбнулся вовнутрь: «Божественно играет Адольф». Но звуки оборвались; на пороге Рейхель, лёгкий, изящный, возбуждённый музыкой, смеялся:

Auf! Bade, Schuler, unferdrossen  
Die irdische Brust in Alorgenroth! [202]  
Бакунин зевнул, львиной пастью выпуская неясные звуки.

– Скажи-ка лучше, как у нас с деньгами, Адольф, я вчера последнее заплатил у «Paul Niquet» за Сазонова[203]; чёрт знает, Рейхель, когда мы будем приличные люди? – Бакунин перевернулся на затрещавшей всеми суставами постели. – Обещают мне урок русского языка во французской семье по семь франков, но этого не хватит даже на сигаретки.

– Если твои скифские силы окажутся плохи и мы не дотянем до всемирного извержения, – смеялся изящный, зеленоглазый Рейхель, – то придётся, вероятно, садиться в тюрьму.

Рейхель высунулся в окно, в палисадник. Плавал солнечный ветер и пахло жасмином. Бакунин, кряхтя, спустил ноги, взял носки, надевая, старался подвернуть дыры на пальцах, «чёрт знает что», – бормотал под нос.

Неумытый, весёлый, с смятыми курчавыми, по плечи вьющимися волосами, Бакунин, усмехаясь, качал головой.

– Без тебя, Адольф, я сдох бы в этом чудесном городе. Только не пойму, чего ты со мной мечешься: женат, счастлив, это я, брат, бегаю, пытаюсь всё ожениться на своей мадам Революции, – хохотал грудным смехом Бакунин, идя в кухню умываться. Рейхель обернулся, ласково глядя на неуклюжую фигуру.

3

У двери Бакунин услышал незнакомые голоса, потом звонок, стук. Запахивая на широченной волосатой груди халат, Бакунин отпер дверь. Вошли поляки, члены польской «централизации»[204] – Станислав Ворцель[205], Иосиф Высоцкий[206], Иосиф Орденга. На их лицах Бакунин прочёл удивление.

– Не ошибаемся, мсье Бакунин, автор письма в «Ля Реформ»? – необычайно вежливо проговорил Ворцель.

– Совершенно справедливо, чем могу служить? Прошу, пожалуйста, – растворил Бакунин дверь в комнату. Но, Боже мой, что за комната! Кресла друг к другу спинками; занавески порваны; грязные полустаканы; не проветрено; сталкиваясь в дверях, поляки вошли за Бакуниным, говорившим раскатывающимся басом. – Извините за лёгкий беспорядок, прислуга приходит неисправно, а у самого возиться нет времени.

– Пожалуйста, пожалуйста. – Ворцель сел напротив Бакунина, сказал по-французски: – Мы ведь не для салонной беседы, мсье Бакунин. Мы члены польской «централизации».

Бакунин кивнул головой, рассматривая упрямо-энергичного, с свисшими седоватыми польскими усами, графа Ворцеля, душу и пламя польского восстания; много слышал о графе Станиславе; знал: математик, лингвист, аристократ, отдал восстанию против России душу, тело, семью, средства; знал, что живёт Ворцель нищенски, у француза в полуподвале, но выкован из стали этот столп польской революции.

– Я уполномочен, – говорил Ворцель, – передать вам привет польских деятелей самых различных направлений. Ваше выступление от всего сердца приветствуют князь Адам Чарторийский, Алоизий Бернацкий, члены «централизации», наша молодёжь, и мы пришли к вам предложить выступить на нашем банкете в память варшавского восстания 31-го года против николая.

Высоцкий и Орденга рассматривали Бакунина; на лицах смесь удивления, любопытства и недоверия.

– Что ж, – раскатисто заговорил Бакунин, – я, разумеется, согласен; как русский, я люблю свою страну и как раз именно поэтому горячо желаю торжества польскому делу, ибо угнетение Польши – это позор моей родины, свобода же Польши послужит началом и нашему освобождению. Я рад польско-русскому сближению революционных элементов от всей души. Передайте мой сердечный привет «централизации», пану Алоизию Бернацкому, которого чрезвычайно уважаю и чту. Вы говорите, 29-го? Во французской гимназии на рю Сент-Онорэ, 359?

– Так точно, – сказал Ворцель.

По очереди пожимая полякам руки, Бакунин стоял в дверях, как лавина, громадина, одной рукой придерживая халат. Поляки сухие, корректные.

4

В зале гимназии на рю Сент-Онорэ, 359 ожило сердце Польши, выброшенное Николаем из страны. Левые, члены «Демократического комитета»; «Молодая Польша» – Высоцкий, Орденга, прославленный поэт Уейский, автор хорала «С дымом пожаров», окружили графа Ворцеля. «Централизация», молодёжь тайных кружков, – бойцы за страну против России; писатель Медынский горячо кому-то доказывает, что Польша всегда защищала Запад от вторжения татар, турок, москалей и погибла, спасая Европу, в борьбе с москальским деспотизмом.

В первом ряду старик Алоизий Бернацкий, в тёмно-коричневом сюртуке, нунций польской диеты[207], министр финансов времени революции.

С блузами, сюртуками слились правые патриоты; великолепный друг императора

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Александра князь Адам Чарторийский, в синем фраке, окружённый дамами. Гул.  
Но душа зала, вокруг которого толпятся левые, правые, – живущий в сыром  
полуподвале граф Станислав Ворцель. Левые недружелюбно косятся на первый  
ряд. Зачем пришли эти мистики, мессианцы? Что им тут, в воспоминаниях  
крови, восстания, боя жизнью за Польшу? Там странный философ Гене Вронский  
и мечтательный, с необычайно бледным лицом, великий поэт Польши Адам  
Мицкевич; он создаёт культ Наполеона, «величайшего духа после Христа».  
Мицкевич стоит с женщиной острого еврейского типа; в его сторону усмехается  
поэт Уейский.

5

На трибуну, обвитую красной материей с ясно-белым польским орлом,  
поднимались ораторы. Белый орёл казался летящим, воздушным. Речи  
музыкальные, даже не речи, поэмы, баллады, песни. Страстный пафос  
проклятия, мести, фанфары, звуки восстания. Высоцкий, Бернацкий, Орденга,  
Медынский; к белому орлу на красном фоне поднялся Ворцель под оглушительную  
бурю зала.

Страстный, стальной, заговорил, затрепетал зал любовью к отчизне, мстью,  
гневом. В первом ряду необычайно бледный Мицкевич закрыл лицо руками.  
Плачет. Оглянулись близкие. Смуглая женщина, склонясь к нему, что-то  
шепчет.

Громом, разрядом такой энергии оборвалась речь Ворцеля, что колыхнулся  
зал и отчаяньем грянула тысячеголосая «С дымом пожаров». Под потолком  
задрожал высокий драматический польский тенор. Собрание двинулось к выходу,  
но смешавшийся зал остановил голос Ворцеля.

– Господа! Собрание не кончено! Слово последнего оратора, нашего русского  
друга Михаила Бакунина!

И тут же в смётшийся, разорвавшийся зал из распахнувшейся двери на  
самодельную трибуну, к ясно-белому польскому орлу резкими шагами, бурно и  
широко поднялся Бакунин. Бледен. Кто знал, понял бы, как сильно волнуется.  
На трибуне стоял, громадный, в чёрном глухом сюртуке, чёрном галстуке,  
чёрный и бледный.

Бурю не сразу остановишь; зал приходил в себя медленно. Ворцель кричал: –  
Прошу тишины! – Бакунин, опёршись о кафедру, опустил голову, ждал.  
Напрягаясь и замирая, тишина с трудом вошла в зал. Голосом, соответствующим  
его физической мощи, Бакунин начал свою речь.

– Я русский, – звучал низкий голос Бакунина, – и прихожу в это  
многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину  
польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова,  
угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши!

Может, необыкновенная внешность молодого, полного сил Бакунина заставила  
аудиторию замереть, вслушиваясь в бросаемые быстрым басом слова? Слыша свой  
голос в тихом зале, Бакунин нёсся в охватившем его подъёме, чувствуя, как  
ложатся и всё крепче пролегают скрепы к слушателям, а по скрепам катится  
страсть, воля, душа, вся мятежность. Взмахивая любимым жестом сжатых,  
длинных пальцев правой руки, Бакунин бросал в замерший зал слова о родине,  
о России:

– Имя русского повсюду является синонимом грубого угнетения и позорного  
рабства! Русский во мнении Европы есть не что иное, как гнусное орудие  
завоевания в руках наиненавистнейшего и опаснейшего деспотизма! Господа, не  
для того, чтобы оправдывать Россию от преступлений, в которых её обвиняют,  
не для того, чтоб отрицать истину, взошёл я на эту трибуну! Истина  
становится более чем когда-либо нужной для моего отечества!

Это было странно после польской нежности к отечеству; аудитория затихла,  
затаилась. Славянская речь, но непонятная и неродная, повелительная пафосом  
нелюбви. Это стихия, уносящая в бесконечную сладость бунта, отчаяния,  
разрушения.

– Итак, да! Мы ещё народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства  
человеческого! Мы живём под отвратительным деспотизмом, необузданным в его  
капризах, безграничным в его действиях. У нас нет никаких прав, никакого



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов! Нельзя вообразить положения более несчастного и более унижительного. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая для нас чужая, воли, которая так же противна нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел бы даже сказать, почти презираемы потому, что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества! Наши повелители пользуются нашими руками для того, чтоб сковать мир, чтоб поработить народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории!

Может, аудитория была поражена? Может быть, настало болезненное онемение? Аудитория не сводила глаз; Мицкевич из угла первого ряда устремлённо, напряжённо глядел на оратора, словно не понимая, словно перед ним стояло невозможное, невероятное, прекрасное.

– Россия сделалась поощрением к преступлению и угрозой всем святым интересам человечества! Русский в официальном смысле слова значит раб и палач! Вы видите, господа, – перевёл дух и голос Бакунин, как бы остановившись от душившего его шквала, – я вполне сознаю своё положение и всё-таки являюсь здесь как русский, несмотря на то, что я русский, но потому, что я – русский!

Бурно с задних рядов, от молодёжи, словно птицы бури, взлетев, ударили крыльями, раздались аплодисменты и прокатились по залу овацией. Князь Адам Чарторыйский, Бернацкий, Ворцель аплодировали, но сильнее всех зааплодировал Мицкевич.

– В святой войне вы, казалось, развили, истожили всё, что великая польская душа содержит в себе энтузиазма! – Громовые аплодисменты покрыли голос, заглушив Бакунина, жестикулировавшего в их буре. Но голос стал снова слышен сквозь замолкающие аплодисменты... – Но, подавленные численностью, вы упали. Годовщина двадцать девятого ноября для вас не только великое воспоминание, но ещё и залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество! Я являюсь перед вами не только как русский, как кающийся, я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и моё уважение к моему отечеству, я осмеливаюсь ещё более, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией! Но здесь я должен объяснить, я знаю, что вам предлагали подчиниться царю, отдаться ему душой и телом, вполне, без условий и оговорок. И будто тогда ваш господин станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы, император Николай вашим братом! – воскликнул Бакунин.

– Нет, нет! – раздались ответные крики зала, и пронеслось живое движение, смятое тишиной.

– Угнетатель, раб, враг, палач столько жертв, похититель вашей свободы! – Голос уже охрип, слишком не жалел выкриков, слишком был увлечён, слишком подымали несдерживаемые выкрики зала. Но Бакунин понимал, что только сейчас подходит к главному, только сейчас он через этот зал, наполненный поляками, закричит на Неву, Николаю, бросая вызов из Европы. Бакунин знал, что вызов будет услышан и он станет в открытый бой с ним, Николаем Романовым.

– Россия – это анархия со всеми видимостями порядка! Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны: наша администрация, наша юстиция, наши финансы – всё это одна ложь! Ложь, чтоб обмануть заграничное мнение, ложь, чтоб усыпить чувство безопасности и сознание императора, который поддаётся ей тем охотнее, чем действительное положение дел его более пугает. Это, наконец, организация, обдуманная и учёная, несправедливости, варварства и грабежа – потому что все, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности, до самых мелких, разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости самые вопиющие, самые отвратительные насилия без стыда, без малейшего страха, публично, среди бела дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе труда скрывать свои преступления перед негодованием публики, они уверены в своей безнаказанности! Правительство, которое кажется таким импозантным извне, внутри страны бессильно; ничто ему не удаётся, все преобразования, которые оно предпринимает, тотчас же обращаются в ничто! Имея опорой только две самых гнусных страсти человеческого сердца – продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своими собственными действиями и расстраивает себя! Оно волнуется, кидается с места на место,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org переменяет ежеминутно проекты и идеи, оно предпринимает сразу много, но не осуществляет ничего. У него есть одна только сила – вредить, и ею оно пользуется широко, как будто оно хотело бы само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране, посреди самой этой страны оно отмечено для будущего падения.

Враги его повсюду; во-первых, это страшная масса крестьян, которые не ждут от императора своего освобождения и которых бунты с каждым днём показывают всё более, что они устали ждать. Далее – интеллигенция – класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение. Наконец, и особенно, это бесчисленная армия. Во всех последних крестьянских бунтах отпусные солдаты играли главную роль, они питают неугасимую ненависть к правительству! Ах, верьте мне, право, элементов революционных достаточно в России! Она волнуется, она оживляется, она считает свои силы, она узнаёт себя, сосредотачивается, и минута недалека, когда буря, великая буря, наше общее спасение, поднимется!

Тут показалось – рухнул зал от рукоплесканий, криков, бури восторга; с задних рядов все вскочили, стоя, аплодируя, словно хотели разглядеть лучше русского, кто так громит Николая. В громе овации Бакунин стоял, опустив голову, ожидая затишья. Он уже видел их всех побеждёнными и чувствовал то спадение ораторского чувства, выпадение из себя материала, которое подсказывает: сейчас конец речи, и успокоение. Удовлетворённо знал: зал его весь, полностью побеждён, и ни один оратор не завладел им так, как сейчас Бакунин; видел на себе сотни глаз, сотни плещущих, как крылья, ему рук.

В наступившей тишине Бакунин заговорил о той, новой России, которая придёт на смену, заговорил и о своей любви к России:

– Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости Россией. Русский, который любит своё отечество, не может холодно говорить о нём.

Это было странно, эта стыдливость, это «прощение» в зале, где так пламенно, самозабвенно пелась любовь к отечеству; но, может быть, просьба о прощении любви была даже сильнее фанфар, симфоний, поэм, рукоплесканий.

Живое согласие задвигалось в зале.

– Примирение России и Польши – дело огромное и достойное того, чтобы ему отдаться всецело. Да, наступит же великий день примирения, день, когда русские, соединённые с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получат право запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, гимн славянской свободы: «Ещё Польшка не сгинела!»

И песня грянула. Бакунин сходил с трибуны в песне, в громовой овации; остановился на ступеньках; из рядов бросились. Бакунин видел слёзы женщин. Бакунина окружили Ворцель, Бернацкий, Медынский, Высоцкий, Орденга. Смутно различал возгласы удивления, одобрения, радость, восторги; они все в эту минуту были его, Бакунина. Власть в гимназическом зале на рю Сент-Онорэ была его, неколебима. Бакунин пожимал бесчисленные руки, сильные, слабые, мужские, женские, идя в окружении толпы к выходу.

Выходя из дверей гимназии, Орденга проговорил Высоцкому: – Бакунин говорит, как демон.

6

– Михаил Александрович! – проговорила Полудинская, останавливаясь как бы в нерешительности: входить ей или нет. – Не ждали?

– Не ждал, – проговорил Бакунин, – хоть и получил ваше письмо, а не ждал.

Полудинская одета изящно, в тёмно-вишнёвом шёлковом манто, на шляпе бело-розовое птичье перо; лицо в тёмной вуали; в руке зонтик. Бакунин помог снять манто, проводил в комнату, называвшуюся гостиной. Входя, Полудинская, улыбаясь большими вздрагивающими глазами, оглядела всё: покривившиеся багеты картин, хаос сборной, бедной мебели и пыльное открытое пианино с оставшимися на пюпитре нотами, на столе недопитые стаканы и невымытая посуда от обеда.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Угостил бы вас кофе, Марья Ивановна...

– Нет, нет, полноте, – засмеялась Полудинская, – куда уж там, знаю, какой вы хозяин. А ведь я не надеялась, что застану вас в Париже.

Бакунин ходил; Полудинская села в кресло, шляпы не сняла, приподняв только с подбородка вуаль. Было ясно, что разговор ещё не начинался, это только вступление, неловкое и сковывающее обоих.

– Видала в Дрездене Рейхеля, – сказала Полудинская, – он передавал о вашей речи у поляков. В Дрездене об этом много говорили. А я волновалась, Михаил Александрович, не знаю почему, – засмеялась Полудинская, – вы представляетесь мне всё ребёнком, играющим с огнём.

– Ребёнком? – остановившись, хохотнул Бакунин, глядя на Полудинскую не то с ласковой, не то со снисходительной усмешкой.

Потом в комнате родилось молчание, длительное и странное.

– Вот я вам недавно писала, – потупясь, заговорила Полудинская первая, – а сейчас желание взять это письмо назад.

– Почему? – садясь на диван, разваливаясь, прикрывая колено полой сюртука, проговорил Бакунин.

– Не понимаете? – повернулась Полудинская вполоборота. – Я ведь не знала, что буду писать вам, когда брала перо. Казалось, сумею высказать перед вами всё, и, главное, вы меня поймёте, а вот увидела вас – и холодно, и страшно, и всё кажется никчёмным, – грустно улыбалась Полудинская, перебирая бахрому скатерти на столе. – Разве, Михаил Александрович, не больно сознание, что вот я могу жить, могу умереть, могу радоваться и страдать, и всё это не произведёт ни малейшего движения в вашей душе и ни в чём не изменит вашего существования, даже одного вашего дня?

– Я вам сделал, быть может, много неумышленного зла, – проговорил Бакунин, – но я хочу только одного, чтобы вы поняли, что это зло – безвольное, не активное, нам, вероятно, просто не суждено найтись друг в друге. А может быть, мне и не суждено вовсе любить. – Бакунин оживлялся; если б слушать со стороны, то казалось бы, что говорил он словно не о себе и Полудинской, а о ком-то третьем, теоретическом человеке и теоретической женщине. Полудинская под вуалью подняла на него большие, вздрагивающие глаза, было даже неясно, понимала ли она Бакунина или только слушала его голос.

– К чему ж от вас скрывать, Марья Ивановна, – раскатывался мощный бас, – меня трудно любить, сам знаю это, есть в душе что-то неразрешённое и на дне постоянная тяжесть. Может, и не найдётся человек, могущий снять её. Я говорю вам прямо, потому что считаю вас своим другом, к чему нам всякие фразистые изъявления любви? – Поднявшись, помахивая трубкой, Бакунин заходил по истрёпанному, когда-то в странных, пёстрых разводах ковру.

Полудинская сидела, уставясь в то место дивана, с которого встал Бакунин.

– Михаил Александрович, – сказала тихо, – о, я вас слишком хорошо понимаю, но мне порой становится жаль одного – что вы не ощущаете, не слышите силы моего чувства. Это чувство не эгоистическое, нет. Я не только бы ради вашего счастья, нет, ради вашей безопасности, ради сохранения вашей жизни мечтала бы отдать все силы свои, чтобы нашлось то существо, которое поняло бы вас совершенно и было способно любить вас так, как вы заслуживаете. Поверьте мне, – оживляясь, заговорила Полудинская, – что бывали минуты!.. о, эти минуты были для меня истинно адские! – воскликнула, как бы что-то припоминая, – когда я желала, если б это было возможно, купить всеми самыми ужасными несчастьями власть уничтожиться самой и своею смертью дать жизнь новой женщине, которая могла бы встать с вами вровень и быть вашим ангелом-хранителем, в эти минуты я хотела бы обладать могуществом Бога...

Бакунин незаметно ухмыльнулся в тёмные усы.

Полудинская приходила в то состояние раздражительных порывов, когда уж плохо владела собой, это бывало многократно в Дрездене и всегда вызывало в Бакуanine чувство внутренней неловкости. Откинув на кожаное кресло голову, Полудинская говорила:

– Я не знаю, почему в самый первый раз ваше присутствие произвело на меня действие, в котором я никогда не буду в состоянии разобраться. Это был хаос, – тихо сказала как бы не Бакунину, а в пространство, – разверстая пропасть чувств и идей, которые меня потрясли. О, это потому, что ваши сердце и голова – это такой лабиринт, в котором не скоро найдёшь путь, они словно полны огня, и искры, летящие от них, воспаляют другим сердце и голову. Ах, Боже мой, Боже мой, что я говорю, – вдруг громко рассмеялась Полудинская, – ведь вы скажете, она с ума сошла! Ну смейтесь, смейтесь над моей экзальтированной экстравагантностью, а что же мне говорить, если я хочу и даже не могу передать вам все мои безумные мысли. Но я хочу знать только одно, скажите, как на исповеди, мне всю правду, – неужто вами не владело никогда это чувство любви, такое же страстное, как вся ваша огненная натура? Das kann ich nicht begreifen! [208] – проговорила внезапно, чуть раздражённо, Полудинская.

– Чувство любви? – снова садясь на диван, закидывая громадную, слоновью ногу на ногу, проговорил Бакунин. – Может быть, его и не испытал ещё, хотя не думайте, Марья Ивановна, чтобы во мне совершенно исчезло желание этого чувства. О, нет! Оно бывает иногда содержанием очень милых фантазий, – засмеялся Бакунин, – но, во-первых, я не даю слишком много воли своей фантазии, потому что она не должна преобладать в жизни, а во-вторых, смотрю на любовь, как на невинную забаву; в-третьих же, для развития любви необходимы некоторые благоприятные обстоятельства, а мои теперешние, и внешние и внутренние, нисколько тому не благоприятствуют, – хохотал громко, с оттенком юмора Бакунин. – У меня есть интересы важнее всех частных интересов, и раньше удовлетворения главной моей потребности для меня невозможно удовлетворение потребностей второстепенных. Я считаю, Марья Ивановна, что высшее счастье человека – деятельность, а не любовь. Человек вправду счастлив, лишь когда он творит.

Полудинская улыбалась красивыми губами, отрицательно покачала головой, но словно не хотела перебить речь, слушая голос.

– Вы не считаете? Оно, может, конечно, это мужская доля, а природа женщины и не вынесет этой эксцентрической сферы?

– Нет, не вынесет! – засмеялась вдруг низким смехом Полудинская. – Нет, Михаил Александрович, вы хорошо знаете мир политический, но, дорогой друг, плохо знаете женщин. Ваш фанатизм теоретических мыслей без тени действительности никогда не заменит женщине полной любви с её горячими взаимными и принятием. И в то же время и в то же время, – повторила Полудинская, – именно вы, Михаил Александрович, одно из тех существ, кому женщина хотела бы всем пожертвовать.

– Да-да, – прочищая трубку, как бы сам с собою сказал Бакунин, – человек странное и неуловимое существо. Впрочем, – поднял на Полудинскую смеющиеся тёмно-голубые глаза, – я ведь не прочь и от любви, только чтоб она не мешала главному, а заняла б, так сказать, своё законное место! – хохотал на всю квартиру заливающимся смехом. – А если вот она захочет овладеть всем моим существом, тогда пардон, тогда её в сторону! Ибо «ничто не должно выходить за пределы здравого смысла»! – хохотал Бакунин.

– Вот вы смеётесь, – перебила Полудинская, – и как будто веселы, вы вечно такой, по студенческой привычке нараспашку а мне кажется всё, что всё это ложь, что вы совсем иной, что когда вы сами с собой, вы полны одиночества, затаённости, человеческой ущербности, мне под вашей внешней экспансивностью всегда кажется, что вы несчастны. Это преследует меня, Михаил Александрович, я помню вы как-то проповедовали в Дрездене о свободе разврата, что представлялось мне похожим на постоянное, открытое почёсывание, а я вас слушала, и одна меня сверлила мысль: всё это ложь, ложь, одни слова, и нет у вас ни в чём счастья!

– И, полноте, Марья Ивановна! – замахал трубкой, заходил Бакунин. – Ну эка мы с вами расфилософствовались! Счастье, счастье, а где это счастье, да и какое оно в этом безбрежном океане вечности? Должно быть мудрым и готовым ко всему а главное, не забывать, что «горе и счастье всё к цели одной», перед вечностью всё ничто, голубка моя, всё тщетно! Ну вот поговорили мы, а теперь пойдёмте кофе пить в «Ротонду», я сейчас и ваше манто малиновое принесу.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Полудинская встала, тихо сказала что-то про себя, неразборчивое.

Когда они шли в кафе де ля Ротонд, она, смеясь, говорила:

– Если вы и ребёнок, то такой, которого трудно водить на помочах, он эти помочи разорвёт и разобьёт себе при этом голову.

– Э-э-э, не так всё страшно для «вашего ребёнка».

Под руку они вошли в «Ротонду», где собиралась всесветная богема, где был Бакунин завсегдатаем. На них обращали внимание, от столиков оборачивались, Бакунин раскланивался налево, направо, идя с Полудинской, жестикулировал белой рукой, говоря громко, свободно, как путешествующий принц.

7

Приподнявшись со сна, Бакунин ничего не понимал: вошли трое мужчин и консьержка, гремя связкой ключей. По завитым усам, хватким глазам, цепкости движений Бакунин догадался бы сам. Но, желая быть вежливым, вошедший расстегнул пиджак, показав полицейский шарф.

Квартира легко поддавалась обыску; открывали столы, шкафы, лазили под кровать, расшвыряли пепел камина. Бакунин указывал, что требовали. «Но неужто вышлют?» – подумал, когда надевал брюки. Чувство отчаяния, усталости и тоски охватывало, душило.

– Возьмите вещи.

– Куда?

– В префектуру.

Бакунин сел вместе с полицейскими в карету с тёмными занавешенными окнами, запряжённую гнедой парой лошадей, дверцы захлопнулись, карета тронулась рысью.

8

Смугловатый, с кошачьими движениями чиновник, грассируя, читал приказ о высылке из пределов Франции за вредную спокойствию граждан деятельность. Бакунин протянул паспорт. Чиновник писал в паспорте, ставил печати, заносил в книгу.

Бакунин бормотал русские ругательства.

– Куда я буду выслан, мсье?

– Отправитесь на бельгийскую границу.

С чемоданом в руке Бакунин шёл по унылому коридору. Пахло прелью, непроветренностью, старыми бумагами, сапогами, ваксой. Экипаж, запряжённый худыми, мотавшими головами лошадьми, ждал во дворе. У кареты в широком плаще стоял жандарм, он сел рядом с Бакуниным, высунувшись в окно, крикнул кучеру:

– Поехали!

Гнедые лошади тронули по пыльному двору, мимо оконплыли парижские улицы, Тюильрийский сад, навстречу прогарцевали гусарские офицеры и мужчина во фраке на белой лошади; возле бульвара поравнялись с ротой национальных гвардейцев в медвежьих шапках, белых брюках; лошади бежали труской рысью; выправляя ноги, Бакунин вынул портсигар закурил; уходила панорама обоих берегов Сены, огромные почернелые дома, дворцы на Кэ д'Орсэ; капризная, разнообразная архитектура парижских построек; мрачные стены консьержери, тёмная масса Нотр-Дам, Тюильри, Лувр, Сите врезывающаяся баркой в Сену. Париж, с которым связано столько надежд, дорогой сердцу город, лучшее место в гибнущем Западе, где так широко и удобно гибнуть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Санкт-Петербурге в эту зиму, снежную и искристую, не было конца вечерам, балам, маскарадам. Особенно маскарады любил император Николай, не пропуская их ни в театре, ни в Дворянском собрании. Среди масок, полумасок появлялся всегда в пунцовом жупане линейного казака, и каждая маска имела право взять под руку всероссийского императора в пунцовом жупане и ходить с ним по залам. Николая забавляло, что тут слышал он из-под масок множество отважных шуток, анекдотов и прочего, чего б никто не осмелился сказать монарху без щита маски. Но дам высшего общества находил император малопригодными к игре маскарада. Раздавалось здесь до сотни билетов актрисам, модисткам и другим подобного разряда французенкам. Маскарады состояли из полонеза, разных кадрилией – индейцев, маркизов, швейцарцев и смешанных. Танцевали везде в Санкт-Петербурге; в отличие от государевых шли «bals des arpanages»[209] у князя Волконского, графини Разумовской, графини Лаваль, у Сухозанет. В Аничковом шли танцы дважды в неделю, чуть не затанцевались в пост. На масляной с утра – декольте, манш-курт[210]. В пошевнях скакали на Елагин остров кататься с гор в «дилижансах». Мужики-силачи в красных рубахах правят; сам государь с Нелидовой садятся в ковровые сани; в другие пошевни лезут флигель-адъютанты, фрейлины, генералы. За пошевни привяжут салазки нитью, одни за другие, усадутся вниз, как безумные, в снегу, в визге дам, в мужском хохоте.

На Каменном острове лужайку закидали снегом, делали тут крутой поворот, опрокидывались, взлетали сани, шум, смех, давка: шутка дело, пошевни запрягали шестериком; кучер Канчин в поту, душа в пятки уходит, спаси Господи, неудобно вылетит из саней государь. Но вылетали в снег; путаясь в серой, разлетающейся крыльями шинели, выпрастываясь, валяясь вместе с «Аркадьевной», хохотал заснеженный царь Николай.

2

После фоль-журне[211] у цесаревича шёл в Зимнем дворце лучший придворный бал. Сверх дипломатического корпуса, всей «maison militaire», генералов гвардии, министров съезжались первые и вторые чины двора, члены Государственного Совета, статс-секретари, первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Съезжались тысячи белоснежных плеч и рук. Горностаи, соболя, шиншиля; сколько хлопот французенкам-портнихам, сколько французами-парикмахерами пожжено в завивке волос.

Шестериками с фореяторами едут Санкт-Петербургом от французоз-портных штатские и военные; заботы с подбоем, прибором, примерки, брани, благодарности. Всё для февральской ночи высочайшего бала в роскоши Большого фельдмаршальского зала Зимнего дворца на Неве.

Плывут в зимнем вечере звёзды, лысины, перстни, плечи, причёски, бакенбарды, ленты через плечо; едут огни карет, бьют бичи; скачут тройки в ковровых белых санях с бархатом отлёта крыльев. Укутались в уфимские платки, заснежились от российской пурги щеголихи, страшно отморозить щёчку. Стоя в престранных позах, чтоб не смять мундиров, едут в каретах пажи.

Созвездием люстр горит Большой фельдмаршальский зал, отдавая блеск в янтарь паркета. Куранты играют девять, их не расслышать за вальсом; несётся французский говор; шумом, музыкой, оживлением наполнен не только зал, Помпеева галерея, Арапская комната, даже в ротонде – везде пляшут. Генерал Эссен с великими княжнами уже ходил польку.

В девять громко распахнулись парадные двери; присели глубоко реверансе дамы, склонились мужчины: император, обер-церемониймейстер граф Воронцов, вице-канцлер граф Нессельроде, шеф жандармов граф Орлов, министр двора князь Волконский, военный министр князь Чернышёв. Но волнение в качающемся общегенеральском мундире императора; лицо тёмно. Быстро, тяжело идёт на середину Николай, и не голос, а крик:

– *se]lez vos chevaux, messieurs! La Republique est proclamee en France* ![212]

В белой перчатке – телеграфная депеша. Николай повернулся к близстоящему, побледневшему князю Меншикову:

– *voila done une comedie jouee et finie et le coquin a bas!*[213]

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Николай махнул музыкантам. С полутакта, как остановились, повели трубачи вальс. Но стучащими шагами, кивнув стоявшим блестящей кучкой князю Волконскому, князю Чернышёву, графу Орлову, графу Нессельроде, император вышел, разъярённый, бормоча про себя что-то гневное.

В бальном зале образовались кружки; толковали о случившемся; смущённо и одиноко в стороне стоял французский поверенный в делах Мерсье де Лостанд.

– Que! affreux malheur![214] – сказал кто-то возле него.

– Високосный год взял-таки своё! – громко проговорил нетанцующий, дородный дивизионный генерал Дохтуров, прозванный императором за толщину «моё пузо».

3

По Иорданской лестнице вниз в кабинет спускался Николай; столбенели, замирали кавалергарды: очень гневен шаг; торопясь, сзади спешил кудрявый военный министр князь Чернышёв. Дверь распахнулась под ударом руки, осталась открытой. Чернышёв вошёл и прикрыл дверь.

До кабинета долетали звуки польки и менуэта. Императрица, растерянная, ходила в аванзале с Салтыковой; Салтыкова успокаивала.

Дверь кабинета растворилась только через час. Князь Чернышёв вышел взволнованный; поднимался по лестнице, опустив голову; караул глазами провожал крепко сшитую фигуру министра.

У входа в танцевальный зал, заложив за спину руки, прохаживался опоздавший фельдмаршал князь Паскевич. Увидав Чернышёва, пошёл навстречу, спускаясь по ступеням. Взяв за локоть министра, фельдмаршал сказал тихо:

– Что, ваше сиятельство?

– Поспорил с государем, – проговорил Чернышёв, не глядя на Паскевича; они поднимались, блестя лентами и звёздами.

– Хочет воевать, – сказал Чернышёв.

– С кем?

– С французами, что прогнали короля.

– Но Его Величество не жаловал короля.

– Вот, подите, говорит, через месяц поставит на Рейн триста тысяч войска. Я заметил, что войска у нас столько не найдётся, чтоб на Рейн отделить триста тысяч, да и денег нет.

– Что ж государь?

– Как же, говорит, Александр вёл такие большие войны, находились деньги? Государь запомнил, – взволнованно проговорил Чернышёв, – что тогда вели войну на чужие деньги, Англия осыпала субсидиями, а теперь попробуйте, попросите, дадут грош? Да и кому командовать армиями? – нарочито проговорил Чернышёв.

Паскевич искоса взглянул на министра.

– Убедили государя?

– Нет, государь крепок, стоит на своём.

Никто не смел войти в кабинет; кабинет полутёмен; горели две свечи. Николай ходил по кабинету в бешенстве; было трудно думать в этом бешенстве. Четверть двенадцатого остановился у амбразуры окна: «Если анархия перебростится на Германию, двину!» – пробормотал, и дверь распахнулась под ударом его руки. Николай стремительно вышел.

4

В Париж, в город великих революций, Бакунин вошёл через Клиши[215], пешком,  
Страница 319

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org на третий день республики. Бульвары залиты толпами вооружённых синемблужников, в красных шапках, опоясанных красными кушаками, на шляпах кокарды, всё красно; шумят толпы, поют, у многих перевязаны руки, головы, эти раны счастливей сейчас всех наград. На бульваре Батиньоль Бакунин остановился с глазами, полными слёз. Какая же красота! Это Париж, светоч-город, да он сейчас ещё прекраснее, превращённый в дикий Кавказ! Как горы, достигающие крыш взгромождённые баррикады; меж камней, сломанной мебели, поваленных карет, как лезгины в ущельях, толпятся работники, почерневшие от пороха, в живописных блузах, вооружённые до зубов. На рю де Риволи увидел Бакунин боязливо из окна выглядывающего лавочника с толстым, поглупевшим от ужаса лицом. Ни карет с гербами и лакеями, ни дам с левретками на ремешках, ни знаменитых фланёров; исчезли львы с тросточками, лорнетами. На место их навстречу Бакунину по Елисейским полям новыми потоками текут торжествующие толпы работников, плывут красные знамёна в упоении победой. «Vive la République!» [216] Вширь раздалась парижские улицы, раскачались, размахнулись площади, вздрогнули набережные; заиграл грубой игрой, ожил город; и громадный парижский рот орёт на весь Париж «Марсельезу!» На площади Согласия Бакунин стоял поражённый, не чувствуя себя от радости, от счастья. Исполнение мечты, начало безграничной свободы, потоп старого мира. Вот они, среди безграничного раздолья разрушения, эти радостные, как дети, толпы. Они любезны, остроумны, скромны, человеколюбивы, упади сейчас с крыши этого казённого зданья котёнок, и ему на помощь бросится вся эта дикая, вооружённая толпа.

Без шляпы, с вьющимися по ветру волосами до плеч, грязный от долгой ходьбы, широко шагающий, с чемоданом в руке, Бакунин продирался сквозь толпы блужников к мосту Согласия. Улыбка ли, необыкновенность ли нефранцузского вида, но ему машут ружьями работники, кричат:

– Camerade! Camerade! Vive la République ! Vive la Revolution ! [217]

У Тюильри пёстрая толпа солдат, работников, женщин, каких знает только революционный Париж, строгих, «орлеанских дев революции», бедно одетых, смуглых, с красными бантами на груди. Держась за шею каменной фигуры, кричит вооружённый старик, вея бородой. Это – пламень революции, выпускаемый лёгкими, языком, челюстями – в воздух. И толпа ловит этот пламень:

– Vive la Revolution ! Vive la République ! Mort! Mort! [218]

Бакунин стоял очарованный; самому броситься, взлететь, произнести родным людям, созданным для нового человеческого счастья безграничной свободы, речь! О том, что они даже не подозревают, как велики, значительны дни и как, чтоб бережно сохранить счастье свободы и революции, надо, забыв всё, броситься на взрыв земли, на подъём всемогущего, всесмывающего, всемирного пожара. Маша красными шапками, шляпами, каскетками, заволновалась толпа. Навстречу, от Лувра, выезжала кавалькада. На тонком вороном жеребце, впереди всех, Бакунин сразу узнал Марка Коссидьера [219], заговорщика, бойца, революционного префекта полиции, того, кто так восхищался письмом Бакунина к царю и речью его на польском банкете. Коссидьер, большой, ширококостый, с сухим лицом, чёрной эспаньолкой, как и вся кавалькада новой коссидьеровой гвардии, – в синей блузе, красной шапке, красном поясе, с заткнутым за пояс пистолетом. На жеребце Коссидьер сидел плохо, с развороченными носками и шенкелями; и возбуждённый криками толпы конь встряхивал Коссидьером, как привязанным мешком.

– Да здравствует Коссидьер! Да здравствует Коссидьер!

Красной шапкой с трёхцветной кокардой машет Коссидьер, бритый, жёлтый, похожий на актёра. Машут десять монтаньяров [220] коссидьеровой гвардии, с сильно республиканскими лицами и театрально воинственными жестами. Революционный префект едет на смотр в Казерн де Турнон, где расположилась красная гвардия, заменив королевскую муниципальную. Коссидьер не видел Бакунина, да и толпа хлынула через мост, за тронувшими рысью конными. Бакунин видел, как скверно облегчается на рыси Коссидьер. Но для революции это неважно. Через час вместе с толпой солдат, рабочих и женщин Бакунин вплыл во двор Казерн де Турнон.

Коссидьер отбыл, но в казармах всё ещё праздник; все трезвы, а похожи на весело пьяных, до того тут много шуток, смеху. Вместе с шутками стучат об пол ружьями, звеня примкнутыми штыками. Мальчишка-солдат подкидывает



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
штыком, пробивает медвежью шапку национальной гвардии; бьют прикладом по барабану; а гамен, с красным галстуком во всю шею, рванный озорник, приплясывает в солдатском кольце:

Mon pere est a Versailles,  
Ma mere est a Paris [221].

Своеволен, отчаян, вертляв подросток; тучный взрывается гогот, хохочет и Бакунин. Бакунина схватил за руку подпоясанный белой солдатской портупеей коssidьеровец.

– Mon vieux![222] Какими судьбами! Тебя шлёт сюда сам сатана!

Это наборщик из «Ля Реформ», командующий отделением, первым ворвавшийся в Тюильри. Их обступили незнакомые рабочие, с смешливым удивлением глядя на громадную фигуру Бакунина.

– Да зачем тебе квартира! Для тебя не будет лучше квартиры, чем наши казармы, пойдём, пойдём, я устрою тебе прекрасный угол!

Дым сигареток, силуэты штыков, красные штаны, галстуки, весёлые лица, помпоны матросов, крик здоровых глоток – опьянили Бакунина. Так уж устроен он, что когда входил раз в кабак, всем казалось, что всю жизнь он пропьянствовал в этом кабаке.

– Vive la Republique ! Vive la Revolution ! – и бакунинский бас гремит: – Vive la Revolution sociale mondiale![223]

5

Пир без начала, без конца! Но в казерн де Турнон не один Бакунин, все пьяны. Только Бакунин пьянее всех новых солдат, рабочих парижских предместий. В душно заспанных казармах ранним утром хочет старая труба играть зорю. Не умеет стекольщик жувенской фабрики, чернолицый Перье, выдувать упругие мелодии, а горниста муниципальной гвардии убили. Будит коssidьерову казарму отчаянными, душераздирающими звуками, дуя с хохотом в трубу; но никто не обижен, подымается казарма весело.

Идут в очередь к умывальной; среди голых по пояс французских тел полуголый, заспанный Бакунин возвышается громадой. Революция научила его вставать с петухами. Впрочем, Бакунин ночи не спит; в клубах, на прогулках по бульварам, в демонстрациях перед ратушей примелькалась волосатая, чёрная фигура русского. Его знает не только коssidьерова гвардия. Вчера от ворот Сен-Дени вёл безработных крестьян, наводняющих Париж. За громадной атлетической фигурой крестьяне шли по Парижу с криками: – Mort! Mort! Vive la Revolution sociale mondiale! – и с знамёнами: «Рабочее министерство! Уничтожение эксплуатации человека человеком!» На площади Грев взобрался на конную статую Генриха IV, украшенную красным знаменем. Бакунин не был оратором, Бакунин был народным трибуном, демагогом, его величавая фигура, энергические жесты, короткие, как топором вырубленные, фразы производили захватывающее впечатление. Со статуи Бакунин кричал то безработным, то обращался к правительству: «Народ водрузил над баррикадами красное знамя! Нельзя пытаться обесчестить его! Пролитая народная кровь окрасила это знамя в красный цвет! Оно горит и ярко блещет, развеваясь над Парижем. Но может ли учреждённое правительство быть представителем социальной республики?! Прониклось ли оно насквозь республиканскими идеями?! Мы требуем для защиты республики, чтобы была немедленно объявлена война всем тронам и аристократам всех стран!!!»

Крики «Смерть! Смерть!» заставили Ламартина[224] и флокона[225] с балкона ратуши говорить безработным, требующим хлеба и полного счастья, – речи!

О, стоящего в очереди к умывальной полугололого заспанного Мишеля уже знают работники Парижа.

– Мишель! On se bat a Berlin ! Le roi a pris la fuite, apres avoir prononce un discours![226] – ворвался гвардеец-матрос, трепыхая красным помпоном.

– Уррра!!! Вив!!! – кричат полуголые.

– On se battu a Vienne, Metternich s'est enfui, la Republique y est

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
proclamee! Toute l'Allemagne se souleve![227]

– Ура!!! Вив!!

– Les Italiens ont triomphe a Milan, a Venise! Les Autrichiens ont subi une honteuse defaite![228]

– Vive la Revolution sociale mondiale! – гремит бакунинский бас, хоть и знает, что спокойна ещё Европа. Но всё тут смешалось в коssidьеровой казарме, невероятное тут обычно, невозможное тут возможно, потому-то и орёт оголец-мальчишка в красном галстуке во всю шею:

– Le bon Dieu vient d'etre chasse du ciel, la Republique y est proclamee![229] – и от нечеловеческой бури хохота качается казарма гвардии Коссиdьера.

6

С баррикад, с ружьём на плече вошёл в префектуру Марк Коссиdьер, именем народа став префектом полиции. Старый заговорщик был человек средних способностей, но сильного характера. Коссиdьер был голоден и, бросив ружьё на диван, съел обед бежавшего префекта полиции Делессера[230].

Но вот уж несколько дней смуглому крепкому Коссиdьеру, нервному флокону, морщинистому Ламартину, жиренькому, с глиняной трубкой Луи Блану[231] с балконов правительственных зданий толпы кажутся волнами, понёсшими Францию в открытое море.

Коссиdьер сидел в кресле префекта задумчиво, устало, бессонными глазами глядел в окно, в облака. Сквозь дребезжащие стёкла, словно везли тяжёлую кладь, доносился гул «Марсельезы». Коссиdьер позвонил в колокольчик, приказал вошедшему адъютанту распорядиться закладывать карету.

В ратуше старый друг флокон, человек незаметный, с чёрной эспаньолкой, как у Коссиdьера, встретил приятеля в зале Сен-Жана невесёлой улыбкой.

– Comment ca va?[232]

– Comme-ci comme-ca[233], – проговорил, рассматривая лицо флокона, Коссиdьер и тихо засмеялся. Они прошли к нише окна.

– Знаешь, что делает тут Бакунин? – вдруг проговорил флокон.

– Видал, – сводя брови, пробормотал Коссиdьер, – эта бестия поселилась в Казерн де Турнон, среди моей гвардии, он сошёл с ума и сводит с ума людей; я говорил с ним, он помешанный.

Флокон отрывисто захохотал.

– Мой дорогой, в первый день революции этот человек просто клад, но на другой же день революции его надо немедленно расстрелять!

Коссиdьер невесело усмехнулся.

– Вчера я видел Прудона[234], он готов носить по республике траур; жалеет, что таскал камни на баррикады, что вырвал дерево на площади Биржи и сломал перила на бульваре Бон-Нувель, – Коссиdьер помолчал, – а его друг Бакунин, о котором он выражался, что une monstruosite par sa dialectique serree et par perception lumineuse des idees dans leur essence,[235] проповедует, что революция ещё не началась, зовёт к полному нивелированию во имя равенства, которое, по его словам, начнётся с разгрома Парижа. Это плохие шутки, флокон, он водит к ратуше безработных, которые без того настроены беспокойно и затопляют Париж; они превратят Париж в Помпеи.

– Да, да, знаю. Триста таких Бакуниных, и управлять Францией станет невозможно; но, мой друг, не подтверждать же нам его высылку королевским правительством?

– Его агитация может вылиться в кровавую драму, – пробормотал Коссиdьер.

– Вероятно, мсье Делессер на твоём месте выдумал бы что-нибудь остроумное,  
Страница 322

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org – смеялся флокон, вытаскивая из кармана сюртука сложенный вчетверо лист. – Собственно говоря, это твоё дело, но оно, к сожалению, сделано без тебя.

Коссидьер развернул лист: «Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись в неё после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в герцогство Познанское, для того, чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов провизорного[236] правительства дать мне 2000 франков не даровую помощь, на которую не имею ни желаний, ни права, но в виде займа, обещая возвратить эту сумму, когда только будет возможно. Михаил Бакунин».

– Ну? – залился смехом флокон. – Революционный префект! Бакунину всего-навсего лишь подтвердили, что если он обратится ко мне, Луи Блану, Альберу[237] и Ледрю-Роллену[238], мы поддержим его планы поднять революцию в Германии или на границах России, где ему там заблагорассудится.

– Он довольно скромнен, дайте ему хоть вместо двух тысяч пять. На две тысячи франков он вряд ли подымет революцию в Германии и России... – идя с Флокном по залу Сен-Жана, говорил Коссидьер.

– О, в этом смысле надо предоставить всё на полную свободу его гения. Я думаю, что люди на «Б» вообще не для Франции, – похохатывал флокон. Коссидьер понял намёк на Бланки и Барбеса[239]. Когда они выходили из ратуши, флокон, похлопывая по плечу старого друга, проговорил:

– И немецкие эмигранты, Коссидьер, похожи на подложенную под республику солому, политую керосином, но вскоре, кажется, удастся и их отправить к себе восвояси.

7

С Бакуниным на тротуаре рю Шампюнет сидел оборванный человек со странно перекошенной щекой и глазом. Он перебивал Бакунина взмахами жилистых рук. В клубе у ворот Сен-Дени Бакунин увлёк человека с перекошенной половиной лица двухчасовой речью. Безработный слесарь с улицы Рике, стоя у трибуны, видел разевающийся, похожий на пасть, громадный рот Бакунина, вокруг головы вилась грива волос от резких движений корпуса, взмахов белых громадных рук. Слесарь бежал за Бакуниным, расталкивая толпу по рю Шампюнет, и нагнал растрёпанного, гигантского человека, шагавшего по камням мостовой быстрой и крепкой походкой. Слесарь схватил его за руку, проговорил всё, что томило и мучило. У слесаря был свой план счастья Парижа и прекращения безработицы.

– Стой! – бормотал слесарь с большим красным бантом на груди и пистолетом за поясом. – Присядем, я расскажу тебе, что нам нужно...

Бакунина не удивили безумные глаза, перекошенный, прищуренный облик. В улице, запруженной возбуждённой толпой и проезжавшими верховыми гвардейцами Коссидьера, они сели на краю тротуара; слесарь заговорил неразборчиво:

– В Париже много стариков, старух и детей...

Бакунин увидал: слесарь бредит.

– ...их помещения будут отдыхом безработным...

Бакунин крепко схватил его за руку: – Нет, этот план не нужен! – проговорил; но слесарь держал Бакунина, не выпуская. За ними остановились щёгольской, полноватый молодой человек и хрупкая дама; оба одетые, как туристы. Молодой человек в модном пальто-макинтоше, круглой шляпе улыбался, то глядя на даму, то вниз на Бакунина. Наконец дотронулся палкой до спины Бакунина.

Вскрикнув: – Герцен! – Бакунин вскочил и бросился, обнимая, целуя в обе щеки элегантного человека. – Да как ты попал? Я думал, ты в Италии?

– А ты, кажется, занят агитацией? – брызжа радостью весёлых карих глаз, смеялся Герцен.

Слесарь шёл понуро в сторону, всё сильнее размахивая руками, разговаривая сам с собой, ускоряя шаг, сплёвывая тонким, длинным плевком на мостовую.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org – Какая к чёрту агитация! – смеялся Бакунин. – Больной, сумасшедший человек, буквально. Твердит дикую идею уничтожения неработоспособных и разрушения дворцов.

– Так чего ж вы так страстно с ним дебатировали? – хохотал звонко Герцен.

– И то верно, да я действительно, кажется, брат, сам тут на радостях с ума спятил; его бы надо попросту послать к чёрту...

Натали Герцен, улыбаясь ласковостью серых глаз, взглянула на Бакунина: всё, мол, тот же.

8

Парижский салон Герцена в эту революцию был самым блестящим. Собирали все светские богемы, мятежников, вагабундов [240], революционеров, весельчаков, страдальцев, съехавшихся со всего света в Париж. Это было «дионисиево ухо» Парижа, где отражался весь его шум, малейшие движения и волнения, пробегавшие по поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. Приходили сюда друзья и незнакомые, завсегдатаи и случайные гости, богатые и нищие, никаких приглашений, даже рекомендаций не требовалось; приходили кто попадало, и две венки-эмигрантки за неимением собственной квартиры разрешились здесь от бремени. По-московски хлебосолен хозяин; завтракали тут, обедали, ужинали – непрерывно; шампанское лилось в ночь до рассвета; за стол меньше 20 человек не садилось – немцы, поляки, итальянцы, румыны, французы, венгры, сербы, русские, – кто не перебивал в доме Герцена! Мишле и Тургенев, Прудон и Гервег с женой Эммой, Ламартин и Маркс, Луи Блан, Энгельс, Гарибальди, Мадзини [241], Флокон, Мюллер-Стрюбинг, Зольгер, фон Борнштедт [242], фон Левенфельс, Ворцель, Сазонов, Бернацкий, Жорж Санд [243], Толстой, Головин [244]. Взрывались тут политические, философские споры, стихи, анекдоты, шутки, смех. Блистал в интернациональном обществе Бакунин диалектической стройностью толкования Гегеля, бешеностью темперамента и невероятным количеством выпитого и съеденного. Историк Мишле умер бы от десятой доли. Собирали дань изумления, смешанного почти со страхом, смелость воззрений Герцена, его непокорный и неуживчивый ум, неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и какая-то безоглядная расточительность ума при парадоксальности энергического характера и детского сердца. Это был пир таланта. Это были ночи пиршественно-скифские.

– Неужто в самом деле уезжаешь? – говорил Герцен озабоченно, когда они с Бакуниным подъезжали в фиакре.

– Да, да, еду, брат, еду, время не терпит, Флокон сообщил, что поддерживают от всей души, дают кой-какие деньжонки, предлагали даже пять тысяч, да я удовольствовался двумя. Не из чистоплюйства, считаю, что с революционного правительства брать деньги, не зная, когда отдашь, неловко.

– Это ж почти безумие; и ты надеешься что-нибудь сделать? Ехать неизвестно куда, одному, кого-то подымать, да кого ты подымешь?

Когда шли анфиладой комнат в кабинет с широкими креслами, кушетками, диванами, Бакунин, улыбаясь, говорил:

– Помни, друг мой, что я русский, да к тому ж ещё и Бакунин, ха-ха-ха! Говоришь, никого и ничего? А мне вот кажется, что я Крез, богач, напал в мире на такую золотую жилу, что только копни, и брызнет золотом. Не сидеть же, Герцен, вечно сложа руки, рефлектируя? Надо делать историю, брат, самому, а не то всякий раз останешься зауряд. Эх, Герцен, Герцен, ты, брат, матадор, но с голубиным сердцем!

– Запил революционный запой! Только не принимаешь ли ты второй месяц беременности за девятый? – И на умном лице, в карих глазах убийственная ирония. – Ты, Бакунин, локомотив слишком натопленный и вне рельсов, несёшься без удержу и несёшь с собой всё на свете. Ну что ж, подавай Бог, давай запьём по-всамделишному, сейчас дадут вина, а скоро соберётся народ; сегодня даже Маркс будет, хоть ты его и не любишь?

– Нет, – качнул гривой Бакунин, – тщеславный, безапелляционный и мелочный еврей, хотя ум, конечно, и воля. Но эгоцентричен до безумия, он говорит не иначе, как мои идеи и не хочет понять, что идеи не принадлежат никому.

Герцен задумался, улыбаясь, проговорил:

– Вы по всей стати, Мишель, очень разные. Ты – прирождённый партизан революции, а Маркс во что бы то ни стало хочет быть революционным главнокомандующим. Впрочем, – засмеялся, – я люблю его столько же, сколько и ты.

9

Дом залит светом, на длинном, раздвинутом столе в столовой готовились вина, закуски, коньяки, шампанское и с трудом испечённые русские пироги во французской плите.

Гостиная шумела пёстрым сборищем, изящный Гервег, стоя у окна с Тургеневым, холёными руками пощипывал шелковистую бороду, говорил об испанской литературе; поодаль с хрупкой хозяйкой, Натали, разговаривал Карл Маркс, крепкий, резкий, с копной чёрных волос, с лицом упрямым и нахмуренным, все движения его были угловаты, но смелы и самонадеянны, и такой же, прочно сшитый, но спокойный, стоял рядом Ледрю-Роллен; невдалеке шумел с Борнштедтом и Левенфельсом краснощёкий Энгельс; в массивном кресле посредине комнаты, как всегда, в синем сюртучке с золотыми пуговицами, вынув фарфоровую трубку изо рта, маленький Луи Блан перед Ворцелем, Прудоном, Бакуниным и Герценом говорил о проекте национальных мастерских. Неизвестный польский полковник беседовал с скептическим Рейнгольдом Зольгером; Мюллер-Стрюбинг, посасывая трубку старался перевести бледному, морщинистому Ламартину стихи Люнига. Вошёл, изящно кланяясь, Флокон; несмотря на занятость, управляющий делами временного правительства, так же, как Ламартин и Ледрю-Роллен, освободил этот вечер. Слушая Луи Блана, сидел, развываясь, обняв за плечо Герцена, Бакунин.

Натали, изящная, извинившись перед Марксом, пошла навстречу Флокону, говоря любезности. Потом задвигались кресла, стулья. Продолжая неоконченные разговоры, переходили в столовую, размещаясь у сервированного стола. За красиво-цветным столом с бутылками и бургундского и бордо не произошло ничего необычного; но вот хозяин, Герцен, встал и, подняв бокал, заговорил о сущности сегодняшнего вечера.

– Друзья! Я предлагаю выпить за успех предприятия нашего общего друга Гервега!

За столом знали, для чего собрались, за что подымает тост Герцен: за военный поход на Баден легиона в четыре тысячи немецких эмигрантов во главе с Гервегом и фон Борнштедтом. За бокалы взялись французы и немцы. Гервег чуть улыбнулся, беря свой бокал; жена, Эмма, большая, словно переодетый в юбку мужчина, взглянула на него умиленно. С угла резко проговорил Маркс:

– У этого предприятия не может быть успеха, оно похоже больше на революционную авантюру, чем на революцию. Я и мои друзья считаем для дела революции гибелью посылать людей на верное поражение.

Произошло замешательство. Флокон отставил поднесённый к губам бокал. Только что осушив бокал бургундского, вспыхнул краской гнева Адальберт фон Борнштедт, проговорил запальчиво:

– Простите, герр доктор, может быть, вашу безапелляционность вы будете любезны подтвердить фактами?

Французы замолчали неловко, как хозяйева при ссоре гостей, Ледрю-Роллен, опустив глаза в тарелку, ел. Флокон и Ламартин переводили глаза с Маркса на Борнштедта, Гервег сидел с вздёрнутым на Маркса, полным пренебрежения, красиво-игрушечным лицом. Бакунин, косо ухмыляясь, взглядывал то на Герцена, то на Маркса.

Отставив бокал несколько в сторону, звякнув им о другой, Маркс заговорил безапелляционно, резко обрывая слова, словно за столом сидели школьники, а не революционеры. Чем больше говорил, сильнее волновался, сжимая поросший чёрным волосом кулак.

Ужин вспыхнул, загорелся; забыли английское пиво, вина, шампанское, русские пироги и закуски; напрасно волновалась Натали на французской кухне. Гервег,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
желавший похода, заговорил страстно и красно о всеобщем восстании Германии, для которого нужна баденская искра, о связи с Геккером и Струве, которые уже раскачивают Баден. Гервега поддержали Левенфельс и Борнштедт. Коротко проговорил страстным басом Бакунин; за ним осторожно начал красивую, тихую речь Ламартин. Молчавший Прудон повернулся к Бакунину, проговорил на ухо:

– Что ты думаешь о Германии?

– Поход на Баден может дать сильный толчок к развитию революционного движения в Германии, – шептал Бакунин, – к тому ж имя Гервега, я сторонник его во что бы то ни стало, – и совсем склонившись, прошептал, тихо рассмеявшись, – я думаю, тут, вероятно, больше зависти, чем логики.

Прудон повёл плечом, вслушиваясь в ответный, метавшийся голос Маркса.

– Вы ведёте работников на верную смерть! Дайте мне цифры! Дайте мне данные, укажите фактические возможности восстания! Германия не Балканы, её не подожжёшь спичкой авантюры!

Почему, признавая волю, преданность революции, эрудицию, ум, не любил Маркса Бакунин? Волосатого крепкого человека, словно не переносил всем нутром и всей кожей. «Нет в нём ни на грош инстинкта свободы», – думал Бакунин, слушая всё более гневно кричавшего Маркса. И, плохо подавляя гнев, резко заговорил, поддерживая поход на Баден. Маркс сидел с сжатым на столе большим кулаком; когда ж метавшийся бакунинский бас оборвался, Маркс отшвырнул тарелку и встал:

– Я считаю бессмысленный поход предательством дела германской революции! – и пошёл прочь из-за стола; за ним поднялся Энгельс.

Произошло новое замешательство: революционного поэта Германии оскорбили, захмелевший от шампанского Гервег вскочил, Бакунин успокаивал, склоняясь, бубня что-то со смехом; флокон был искренно возмущён, и Герцен, что-то говоря о «марксидах», смеётся.

А с Сены уж тянет рассветный ветер, молодая республика просыпается; над крышей дома Герцена, на авеню Мариньи, посерело весеннее, влажное небо. Каменной глыбой очертился в прозрачной мартовской темноте Лувр, и лица гостей зеленеют в рассвете.

10

Когда стол стал похож на оставленное поле сражения, Бакунин, подперев голову широкой ладонью, облокотясь на локоть, сидел задумчиво. Герцен в передней провожал гостей, надевавших пальто и плащи. Бакунин думал о России; в лёгком хмелю на рассвете приходят странные и смешные мысли.

– Что мы как отяжелели, а? – вошёл Герцен.

– Да так, – улыбнулся Бакунин, меняя позу, – эх, тоска, брат, иногда охватывает, а отчего? Странно устроен человек, – заговорил, наливая вина, – вот еду очертя голову, как угорелый брошусь в неизвестность, отдам все силы святому бунту против мещан всех качеств и калибров, а иногда вдруг, знаешь, схватит такая тощица, без причин и без всякого основания. Ходишь как потерянный. На чужбине, без семьи, без родных, вот мы, русские, отрываемся от родины, а ведь немцами, французами никогда вовек так и не станем; и чем больше живу я за границей, всё сильнее чувствую, что я по всем костям не они, а они, брат мой, не я. И никогда мы вплотную не сойдёмся. И вот эта тоска отчего? Чёрт знает, а вяжет, словно живёшь на поднявшемся кладбище. Вчера иду мимо Сены и сам себя спрашиваю: а не лучше ль сейчас за парাপет да в реку и утопить всё своё существование? Кажется иногда мне, что мир заснул и тишина какая-то страшная, мертвецкая. Если б вот не революция, может быть, натурально и прыгнул бы в реку.

Герцен улыбался карими умными глазами.

– Это у вас, герр Бакунин, нервное расстройство и переутомление от Казерн де Турнон.

Бакунин отпил из бокала крупными глотками.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– В общем-то, конечно, ерунда, – сказал, утирая от вина усы, – вот поеду послезавтра, да и попробую силы. Завертим, Герцен, выпустим русского красного петуха, пусть пропляшет мир под нашу музыку!

Но карие глаза Герцена словно потеряли на рассвете иронию.

– Знаешь, Мишель, ну, конечно, упоение революцией, увриерами[245] и восторг, а вдруг иногда подумаешь: да, но стоит ли вообще-то браниться с миром, не начать ли проще самобытную жизнь, которая б нашла себе самой оправдание и спасение, даже тогда, когда весь нас окружающий мир погибал бы? Иногда хочется взглядеться, да идёт ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что идёт? И идти ли нам с нею или же от неё? Знаем ли мы её путь? Почему это мы живём не для себя, а чтоб словно занимать других, ведь практическое большинство людей вовсе не печётся о недостатке исторической деятельности. Что это мы за вечные комедианты, за публичные такие мужчины, Бакунин?

Бакунин молчал, потом проговорил:

– Я человек обстоятельств, Герцен, и рука судьбы начертала в моём сердце священные слова, которые обнимают всё моё существование: он не будет жить для себя. Я хочу осуществить это прекрасное будущее, и я сделаюсь достоин его. Быть в состоянии пожертвовать собой для священной цели – вот моё единственное честолюбие. А жить для себя? Что ж ты думаешь, в этом счастье?

– Не убеждён, но иногда думаю, вот когда один, не на людях, – добавил, улыбнувшись мягко.

– Нет, – качнув лохматой головой, сказал после паузы Бакунин, – для меня это невозможно. Где ж тут жизнь? В тенётах, в цепях, с платком во рту, без свободы твоей и других, нет, мне слишком много свободы надо, Герцен.

– Свободы, свободы, а что такое свобода? Ну хорошо, может быть, в этом и есть твоя жизнь, но ведь ты ж борешься якобы за свободу других, хочешь умереть за неё, а вот Гёте думал: *Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein*[246].

– Гёте, – усмехнулся Бакунин, – да при чём тут Гёте? Разве ты сам не чувствуешь, что кругом тебя всё гниёт, что этот мир стар и требует обновления дикой и свежей кровью? Этот мир должен умереть, никакие лекарства больше не действуют, и чтоб легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Вот эти похороны-то, это буйство похорон и есть моя жизнь, Герцен для этой страсти я и живу.

– Ну да да, Бакунин, но есть ведь разница, – страстно заговорил Герцен, – можно спастись вплавь и можно топиться Ты вот обрекаешь современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу вечности, на которой когда-нибудь будут танцевать другие. Но лучше ли, веселее ли будет их танец? Когда тот же Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом современного и нашёл, что у современного быка кость несколько тоньше, а вместительность больших полушарий мозга несколько просторнее. И только. Три четверти всего, что мы делаем, Бакунин, есть повторение того, что делали другие, и история может продолжаться миллионы лет, и кажется, будет всё то же. Недаром сказано, что история – скучная сказка, рассказанная дураком.

– История! – вставая, сказал Бакунин. – Да я ничего не имею против окончания истории хоть завтра! Ты слишком много философствуешь, Герцен.

– Философствуешь, ах, экс-Гегель, тебе ль это говорить, откуда вдруг такое пренебрежение к «философии»? Аттила, да и только!

– Без живого дела, без действительной жизни философия для меня давно мертва. Чем больше я ей занимался, тем яснее приходил к убеждению, что я ничего не знаю.

– Ну что ж, счастье твоё. Отрезать голову и утверждать, что я от этого стал счастливее, вряд ли сумею. Ты, вероятно, счастливее, а у меня вот нет даже ясного сознания необходимости всеуничтожения. Я вижу гибель Европы, но не знаю ещё, что придёт ей на смену? Современная Европа снится мне гаванью, которой человечество достигло трудным плаванием. Современное состояние не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org представляет стройно выработанный быт, а быт, туго сложившийся по возможностям; оседая, он захватил с собой величайшие противоречия, исторические привычки и теоретические идеалы, обломки античных капителей, церковных утварей, топоры ликторов[247], рыцарские копья, доски временных балаганов, ключья царских одежд и скрижали законов во имя свободы, равенства и братства. – Герцен говорил грустно; таким никогда не бывал на людях, где остроумничал и иронизировал без конца. Не то вплывший в затуманившиеся от утреннего тумана окна парижский рассвет, не то испаряющийся алкоголь оставляли грусть. На столе в беспорядке стояли разноцветные недопитые бокалы, недоеденные креветки, колбасы, устрицы, сыры. Бакунин то ходил, то садился.

– Странная вещь, – машинально поигрывал кистью кресла Герцен, – вот прочёл пустяк, старую газетную телеграмму, а она не даёт мне покоя и мучит именно потому, что в этом пустяке отразилась вся Европа: «Святой отец прислал по электрическому телеграфу своё благословение новорождённому императорскому принцу через два часа после разрешения императрицы французов». Здесь, в телеграмме, есть что-то безумное, и она объясняет лучше всех комментариев то, что я думаю о Западе.

– Святой отец по электрическому телеграфу... – хохотнул Бакунин, махнув рукой, словно от жалости, – ну да, мы присутствуем, брат, при великой драме. Драма ни более ни менее, как разложение христианско-европейского мира. Благодаря Богу мы уже более не христиане. И надо решительно отвергнуть всякую возможность выйти из современного импасса[248] без истребления всего существующего. А тут, в Европе, непременно хотят мертвеца вылечить. Европа не понимает, что она в агонии, а она в агонии, и мне думается, не она, а именно мы, полудикие славяне, сыграем теперь в мире решающую роль. Наша судьба странна, мы видим дальше соседей, мрачней их видим и смелей высказываем. При гибели европейской цивилизации мы скажем своё слово, и, может быть, в момент этой гибели оно и будет услышано. Мы жёстче, свежее, дичее и поэтому мудрее.

– Это, может быть, и верно, – медленно проговорил Герцен, – но ты представляешь себе реально этот «конец Европы», каков он будет? Ведь если в 93-м году, Бакунин, свирепел террор, поднятый мешанами и парижанами, что ж будет теперь, когда весь пролетариат Европы встанет на ноги? О-о-о, брат, да это зарево увидят с других планет. Но дело-то даже не в этом, а в том, чем это разрешится? Вот? По-моему, – задумчиво покачал головой Герцен, – это разрешится, Мишель, всеобщим варварством, в котором люди возобновятся, и тогда лет через пятьсот всё пойдёт как по маслу лет на пятьсот...

Может, отъезд, риск головой, может, рассвет, но настроение Герцена сердило Бакунина; он грузно шагал по комнате, супил широкие брови.

– Ты похож, Герцен, на монаха, который при встрече не находит ничего лучшего, как сказать: *memento mori*[249]. Смотреть на конец – это вообще величайшая ошибка. Что такое будущее? Будущего нет! История импровизируется и редко когда повторяется, она стучится, брат, разом в тысячу ворот, а которые отпрутятся, никто не знает.

– Может быть, балтийские? И Россия хлынет на Европу?

– Может быть. Тебя всё сбивает цель, дурно понятая телеология, а какая, брат, цель в песне, которую поют? Если задуматься о цели, то исчезнет мгновенно и очарование песни. Так и в истории, дальше уходит тот, кто не знает, куда идёт. Лихо – море-океану раскататься да расколыхаться. Разумеется, революция, а тем более мировая, не похожа на игрушки в детской. Да и что ж из того, что мировой переворот не переродит три четверти людей в людей из «орангутангов». По-моему, именно даже в них-то, вот в этих «орангутангах»-то, как раз и больше жизненной красоты. Пусть их завладеют жизнью, пусть принадлежит она им всецело, пусть они будут её господами и наполнят мир дикой свободой, дикими песнями, может быть, зародышами новой культуры? Неужто для этого не стоит жить, Герцен, хоть бы минуту, хоть час, хоть день? Нет, я бросаюсь с головой сейчас в Европу только с этой одной мыслью и жадой – зажечь пламя великой и святой всеокрушающей революции! Мой друг, пусть она переворотит и поставит вверх дном всё, да так, чтобы после неё никто бы не нашёл ни одной вещи на своём месте. Пусть будут разрушены княжеские замки, административные и судебные здания и учреждения, уничтожены процедуры, господские бумаги, документы, ипотеки, банки, одним словом, всё, всё. Пусть эта, замышляемая мной, революция будет ужасна,



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
беспримерна, хоть и обращена больше против вещей, чем против людей. Но только тогда я буду действительно счастливым, Герцен, когда весь мир будет стоять в пламени разрушения! И это будет настоящая революция, которой ещё не было у народов! Вот с чем я бросаюсь сейчас в Германию! Вот с чего начну борьбу, агитацию и пропаганду. Нам нужна даже не словесная агитация, предоставим её Ламартину, этой манной каше, желающей стать лавой, нам нужны действия, должны быть восстания, вспышки, кровавые бунты. Пусть некоторые из них будут обречены на неудачу, пусть гибнут в них люди, но вспышки нужны, как пропаганда действием, этот парлефетизм даст нам опыт для действий широких масс в том месте где будет удача... – Бакунин, стоя, махал вокруг себя дымящейся сигареткой. – Да, да, Герцен, поэтому я и готов на всякое головоломное предприятие, на всякую отчаянную, революционерскую вылазку, потому что я верю, что всеобщее восстание именно сейчас, как никогда, близко! Но в белых перчатках, как хотел бы ты, восстаний не делают напротив, надо развязать во всех этих «орангутангах» самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не стало им на пути, чтоб ничто не сдерживало этих обиженных судьбой в их ненависти и жажде истребления и разрушения. И вот тогда, о, только тогда прозвучит на земле гимн настоящей свободы и настоящего счастья. И самому во главе толп, миллионов нищеты, бедноты участвовать в беспощадной мести и разрушении мира, вот где, брат, наслаждение, которому я не знаю равного! Это Lust der Zerstorung![250]

– А и силищи в тебе, Мишель, какие-то непомерные, право, – рассмеялся и грустно и весело Герцен, – словно Этна Ниагаровна какая-то иль трёхполенная революционная Жанна д'Арк, одна против англичан. С твоей-то бы, брат, силищей да страстью действий тебе бы вместо революций да катнуть в Америку, богачом бы стал!

– Э-э-э, – отмахнулся Бакунин, – в Америку. Там, брат, скука чертовская.

– Ну, стало быть, назовём тебя «колумбом без Америки»!

11

Запряжённый четвёркой дрянной дилижанс, поскрипывая, проехал ровной рысью ворота Клиши; помахивала четвёрка вороных лошадей стриженными хвостами. Когда кругом пошли однообразные поля, над дилижансом пролетела разорванной тучей стая галок. Укачиваемый в старом дилижансе, Бакунин курил, разговаривая сам с собой: «Куда едешь? – Бунтовать. – Против кого? – Против Николая. – Как? – Ещё хорошо не знаю. – Куда ж ты едешь? – В Познанское герцогство. – Почему туда? – Слышал от поляков, теперь там больше жизни, движения, и оттуда легче действовать. – Какие у тебя средства? – Никаких, авось найду. – Есть знакомые и связи? – Исключая некоторых молодых людей, которых встречал в Берлинском университете, никого. – Рекомендательные письма? – Нет. – Как же ты, без средств и один, хочешь бороться с русским царём? – Со мной революция, и в Познани я выйду из одиночества. – Но поляки одни не в состоянии бороться с русской силой. – Одни нет, но в соединении с другими славянами – да, особенно если удастся увлечь русских в Царстве Польском. – На чём же основаны твои надежды, есть у тебя связи с русскими, иль ты идёшь как угорелый на явную гибель? – Связей никаких, надеюсь на могучий дух революции, овладевший всем миром...»

Стался разнобой копыт; лошади везли дилижанс по блёсткой, в колеях, дороге; старик почтальон дремал на козлах, ездил тридцать лет дорогой на Страсбург.

12

Сколько фельдъегерей, гофкурьеров несло по Европе, к границам России, к кабинету императора Николая; из Вены, Дрездена, Берлина, Италии, Богемии, Швейцарии, Венгрии на перекладных шестериках, на ямских тройках мчали изустные доклады, письма королей, бумаги министров. Сколько пало коней в пути, сколько зуботычин надавали пьяным ямщикам станционные смотрители, натерпевшись страху царских приказов. Да и гофкурьеры хватили перелегу, выкатывая с звоном колокольцев на Дворцовую площадь, представляя перед русским императором. Знали: кроме Бога стоит ещё одна только сила, не сломанная европейским неистовством, – царь Николай. Но невероятно раздражителен, гневен, не спит ночей. А ночи в Петербурге белые, как пятичасовые сумерки.

В золотой пустыне дворца, с заложенной за борт рукой, потупив рыжеватую, с

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org лысиной, голову, взволнованными шагами ходил император. Николай переживал самое страшное: воля казалась не всесильной. В Вене – диктаторство каналов, бегство князя Меттерниха, разгром дворца на Баль-пляц, буйства, столкновения с войсками эрцгерцога Альбрехта[251]; бегство слабовольного императора в Инсбрук и полная отдача города в руки взбесившейся черни под главенством попа Фюстера[252]! Бург, где танцевал с эрцгерцогиней Софией, захвачен толпой, и надпись. «Здесь не осталось ни капли вина!», в Шарлоттенбурге, на дворце, где сватал жену, где говорил шефским бранденбургским кирасирам: «Помните, друзья, что я ваш соотечественник и, как вы, вхожу в состав армии вашего короля», – надпись: «Национальная собственность». Хаос и вертеп; бессилие и трусость, волнения в Неаполе; герцоги Пармский и Моденский бежали; Венеция – «Республика Св. Марка». Не чернь – императоры, короли генералы, министры, вот кто вызывал гнев шагов железного человека в военном мундире. Николай бормотал: «Трусость, ни в одном нет силы кровью защищать Богом вручённые страны! Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в неё, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я милостью Божьей император!»

По ночам приходили ощущения, как болезнь, охватывало волнение, разливалась пустота в сердце и немели ноги. Откинув шинель, Николай с трудом поднимался на походной кровати; сидел в темноте, спустив длинные ноги на шкуру медведя. Было жаль, что умер Бенкендорф в своём эстляндском имении. Орлов ленив, проспит; убили же во дворце кулаком деда, удушили шарфом отца...

13

Вместо простудившегося графа Орлова на высочайший доклад прибыл умный генерал тёмного происхождения, Дубельт[253]. Николай читал письмо от Орлова, хмурясь. «Ваше Величество! К сожалению моему, не могу быть с докладом, потому что горло болит и кашель сильный продолжается, но надеюсь завтра или послезавтра поправится. Между тем, слава Богу, всё мирно, и пустых толков никаких нет, как в городе, так и в окрестностях».

Исхудалое, в светлых усах лицо у генерала Дубельта; на лбу, щеках по-бенкендорфовски глубокие рытвины, но лицо много хитрей и уклончивей.

– Докладывай.

Дубельт зачитал певучим упорным баритоном, докладывал сводку заграничных агентов из Франции, цитировал донесения парижского агента Якова Толстого; доложил о Вене; Николай не перебивал, глядел в стену. Но когда в германском докладе Дубельт прочёл, что поступили полицейские сведения о появлении снова в Пруссии отставного прапорщика Бакунина, направившегося на границу с Польшей, откуда доносят о связях его с польскими мятежниками, Николай ударил кулаком по ручке кресла, потемнел и гневно встал в рост. Дубельт остановился.

– Просят помощи, а сами до сих пор не могут схватить этого мошенника!

Тёмен стоял Николай. Дубельт проговорил негромко:

– Если б в Пруссии был покойный король, мы б давно имели преступника.

Дубельт докладывал о Богемии:

«...о средоточии поляков, после поражения восстания в Познани, теперь в Саксонии и в Праге получены данные, что якобы в противовес Франкфуртскому собранию собирается в Богемии славянский конгресс, имеющий на самом деле скрытые революционные цели. Среди съезжающихся есть головы, мечтающие о новом подъёме Польши к повсеместному восстанию. Как доносят, завязаны преступные связи с сербами, черногорцами, хорватами и русинами. Из русских возможно появление на съезде названного преступника, отставного прапорщика Бакунина. От съезда этого ждать во всяком случае надо многих опасностей, хоть и господствует в головах депутатов путаница. Есть донесения, что у некоторых существует даже безумная и преступная идея о том, что якобы можно надеяться при всеобщем славянском восстании на то, что Ваше Величество принуждены будете, подобно другим сдавшимся революции монархам, встать во главе всеобщего славянского движения...»

– Что?! – вскрикнул Николай. Дубельт оборвал. Николай захохотал.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org – я?! В роли славянского Мазаниело?! Так, что ли?!

Дубельт улыбнулся в светлые усы.

– Вот это ловко! Развеселил! Да какой же это дурак прочит меня в голову славянской революции?

Николай гневно смеялся; сидел в мундирном сюртуке нараспашку, без эполет; закидывая большую ногу на ногу, сказал:

– Знаешь, кто Мазаниело был? Один злосчастный неаполитанский рыбак, предводитель восстания в семнадцатом веке, сначала боготворили его бунтовщики, а потом убили, а похоронили снова с исключительными почестями, как героя. Вот и они хотят, чтоб я голову под топор положил, хотя бы и славянский... сволочь! – ненавистно пробормотал Николай. – Медему немедля пошлешь[254], войдя в согласование с Нессельроде, все данные об этих происках, пусть в Инсбруке заранее знают о кознях и гнусностях. Там теперь, поди, такой хаос вокруг Фердинанда, что святых вон выноси, составь подробный доклад, дай назавтра, я посмотрю, пошли с гофкурьером прямо в Инсбрук к эрцгерцогине Софье, она дельная, с волей, да и князь Виндишгрец при ней, чтоб заранее пресекли авантюру в корне. А то, может, и до них дойдёт, что я поддерживаю разбойников. Ма-за-ни-е-ло?! – захохотал в светлые усы Николай, – так, может, это мой прапорщик Бакунин выдумал? Хотя он знает меня. – После мрачной паузы Николай проговорил сквозь зубы: – За сим извергом приказываю следить неотступно, сам напомню Нессельроде, чтоб при первом же случае схватили негодяя и выдали мне. Закую! Его место давно там! – пробормотал и махнул кулаком на Петропавловскую крепость.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

##### 1

Солнце над золотой Прагой так разгорелось, что словно тают в блеске купола церквей в недражащем воздухе. Зелены пражские острова, дремлют в голуби неба краснокаменные мосты, башни Вышеграда и Градчина. Рыбьей чешуёй опоясывает гористость города голубая Молдава. Безветрен палящий день. Но что происходит в золотой, расцветившейся цветной ярмаркой Праге? Не воскрес ли Ян Гус? Не вернулись ли времена жижки?

Смешение чужеземных лиц, пестрота нарядов, беспокойная суета вооружённых течёт по улицам и площадям. Красно-золотые чепраки на конях, вьются ленты, вpletённые в конские гривы. В синих безрукавках с широкой белизной шитых рукавов скачут всадники. Цветут шапочки славянских цветов; перья на шишаках; звенят сабли.

Смоляной старик, владыка Черногории, въехал в Прагу с загорелыми, бронзовыми, чёрно-бородатыми конниками. Прибыл бан хорватов, на горячих конях с ним двести конных в пестроте национальных костюмов. Парами идут сербы-священники. Кольшутся трёхцветные славянские знамёна. Заполнило золотую Прагу славянское беспокойство. От славянских радостных толп боязливо сторонятся немцы и евреи. Ожила славянщина, забила на Молдаве в золоте дней перед праздником Святой Троицы.

На конную площадь, к статуе доброго герцога Вацлава едут конные, идут пешие толпы. Под небом, под солнцем поёт тысячный хор. Расплавленным ароматом ладана льётся благолепие греческого песнопения, прекрасна в живописности славянская толпа.

Зачинщики всеславянского съезда, хозяева, чехи в старине гуситских камзолов, члены «Сворности» в цветных шапочках, гремят саблями на боку, члены «Славии» и «Рипиля»[255], студенческий славянский легион в синих плащах с широкими воротами, в стянутых кушаком мундирах, шляпах с вьющимся в ветре пером. Машут платками женщины, сыплют цветы на чешские камзолы, словацкие безрукавки, черногорские чекмени, белизну сербских рубах, на кунтуши, свитки, чубы, усы и бороды.

В колясках едут европейцы поляки, в цилиндрах. С балконов кричат «Слава! Слава!» Давно исчезли чёрно-жёлтые флаги Австрии. Веют национальные знамёна славян. Польский отряд познанских бойцов выходит строем на площадь, несётся торжественный хорал «С дымом пожаров».

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Течёт по Конной тысячный гул, громогласны дьяконы, в золоте риз возглашая  
славянству многолетие. Ответно гремит площадь «Многая лета!» – словно не  
церковным песнопением, а гимном восстания.

2

Трудно императорско-королевскому командующему войсками  
фельдмаршалу-лейтенанту князю Альфреду фон Виндишгрецу, хоть и чех он родом  
Часто седлают курьеры коней к его апостолическому величеству императору  
Фердинанду. Безволен увезённый из Вены больной монарх, но князь Виндишгрец  
знает волю эрцгерцогини Софии. С Софией иезуиты сутаны, бритые гуменцы,  
нашёптывают в Инсбруке, вьют верёвку. Виндишгрец[256] ждёт, чтобы только по  
телу Австрии пробежали судороги восстаний; он опрокинет, набросит удавку,  
затянет узлом. Поэтому и слушает спокойно «кошачьи концерты» славян,  
окруживших Пражский замок.

В гостинице «Голубая звезда» дым, шум, распахнуты день деньской смежные  
двери номеров 14-го и 15-го, творится странное по пестроте костюмов,  
разнообразию говора, сильнее всех гудит бакунинский бас.

Бакунин окружён вооружёнными: доктор Карл Сладковский[257], русский чех в  
гуситском камзоле, белые спокойные близнецы теологи брата Страка,  
журналисты Арнольд и Сабина, жестяных дел мастер Менцль, купец Прейс, патер  
Андрей Красный, мельник Мушка, много членов «Сворности», с чехами смешались  
кунтуши черногорцев, безрукавки словаков, польское штатское. У стены –  
выпущенный из берлинской тюрьмы повстанец Либельт[258] со словаком  
Туранским мораванином Захом. Шелестит рясой благостный старообрядческий поп  
Олимпии Милорадов.

– Будь мы, славяне-то, посолитарней да не столь падки на чужеземное,  
никогда б и не подпали под власть иностранных династий.

Страстен перед собравшимися бакунинский бас.

– Верно, верно, что мы, славяне, с трудом понимаем друг друга, но и у нас  
есть слово, которое понимают все славянские сердца! Это «Заграбьте нимцив!»  
– Сметайте немцев! – это наше слово знают от Эльбы до Урала, от  
Адриатического моря до Балкан, услышат его и на Неве! – потрясает кулаком  
Бакунин, – прав Коллар[259], что если б славяне были металлами, вылил бы он  
одну статую: голова – Россия! туловище – поляки! плечи и руки – чехи! ноги  
– сербы! а хорватов, словаков, словенцев, лужичан растопил бы в латы и  
оружие! О, перед этим изваянием, восходящим за облака,двигающим Землёю,  
вся Европа падёт ниц! Мы противопоставим Гёте – Пушкина! Мицкевича –  
Шиллеру! Наша болезнь – раздробленность и недостаток единства, но зато у  
нас есть свойство, за которое много бы дали племена старой Европы, –  
свежесть, за нами молодость! Она-то и призывает нас вступить в одряхлевшую  
жизнь мира и перестроить её заново! Может ли старая Европа работать для  
рождения того нового, что есть её проклятие и смерть? Может ли быть она  
союзницей той демонической, мир обновляющей силы, которая нам, братья  
славяне, прокладывает дорогу, чтоб мы могуче перелили нашу полноту крови,  
как свежие, весенние соки, в жилы окоченелой европейской цивилизации? Нет!  
Никогда! Никогда не выйдет правда из лжи! Великое из посредственности!  
Свобода из несвободы! Мы, последние пришельцы в развитии европейского  
общества, чувствуем себя призванными к осуществлению того, что другие  
народы Европы приготовили, что теперь считается за конечную цель  
гуманности, величия, свободы и счастья всего человечества!

Славяне зашумели одобрением захватившему их громадному, похожему на чёрного  
льва человеку; забряцало оружие, крики «Слава! Слава!» наполнили комнаты  
«Голубой звезды».

3

Предгрозовые летние сумерки ложились на древнюю Прагу; померкли купола,  
зашелестели в ветре сады, взволнованней понесла тёмные воды Молдава. Шумной  
толпой из «Голубой звезды» выходили славяне, меж искусственных пальм,  
пыльных зеркал, по коврам.

У Бакунина остались Либельт, мораванин Зах, отец Олимпий. Бакунин  
улавливался с Либельтом, где встретиться для выработки «Манифеста к  
европейским народам», порученного конгрессом. Никто так не кипел в эти

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
пражские дни, как отставной прапорщик артиллерии Михаил Бакунин. Бакунин словно помолодел, был в своём элементе. Любил рёв восстания, шум клубов, площади, баррикады, любил и приготовительную агитацию, возбуждённую и вместе с тем сдержанную жизнь конспирации, консультаций, бессонных ночей, переговоров, договоров, ректификации, шифров, химических чернил и условных знаков.

– Прекрасно, до завтра, – прощались Либельт и Зах.

Когда они вышли, Бакунин размашисто повалился в кресло, растирая лицо руками.

– Устали? – сказал отец Олимпий. У Олимпия бескаблучные татарские сапоги, словно плывёт он по бакунинской комнате.

– Устал, отец, устал. Наболтаешься за день, – потянулся широченным движением рук, зевнул и крякнул Бакунин.

К окну поднималась лиловая сирень; Олимпий вытянулся в окно, и чёрная ряса смешно, как у женщины, обтянулась. Повернувшись, проговорил:

– Хорошо теперь на Днестре у нас в Буковине. Благодать, Михаил Александрович; Днестр-то в жёлтых скатах, сады, вишенье, тишина вечерняя.

– Да, да, – глядя в пространство, в точку, задумался Бакунин, – хорошо, отец, вишенье и тишина. А скажи, почему ж это ваш монастырь-то прихлопнули?

– Да разве ж не знаете, за что император старообрядцев преследует? За то и разогнали, по приказу Николая Павловича, его приказ всему миру закон.

– Толком, батя, не понимаю я, какая разница между православием и старообрядчеством, расскажи-ка вкратце.

– Странно, что не понимаете. – Олимпий помолчал. – Это с патриарха Никона повелось, всё изложено в книжках, в «Истории о древних стригольниках и новых раскольниках» Иоанна Охтенского, в книжке господина Берга «Царствование Алексея Михайловича», в «Истории церкви» Павла Белокриницкого, почитайте.

– Достать бы эти книжки, отец, хоть одну бы какую-нибудь, непременно прочту займусь. Жаль, что вообще мало «фактов» знаю. А понимаешь, что тут может выйти, а? – Бакунин заговорил, откинув белой рукой кудрявые волосы. – На Руси-то ведь старообрядцев и других расколов – пруд пруди, русский народ склонен к фанатизму, и вот, отец, раскачать бы раскольников против Николая-то, а? За ними можно и крестьян поднять, тут, батюшка, если во главе движения встанет новый народный Никита Пустосвят [260] иль протопоп Аввакум, он и Стеньку Разина затмит! – подходя к попу, проговорил Бакунин.

Лицо Олимпия без выражения, чуть скривился левый угол рта.

– Понятно, если с умом к делу подойти.

– Ну да, с умом! Этим должен заняться человек толковый, знающий старообрядчество. Вот, например, ты, батя? – хлопнул по плечу Олимпия Бакунин – А? Как? Иль кишка тонка? А даль-то заманчива, новым Аввакумом будешь.

– На костре-то? – чуть присев в пояснице, тоненько засмеялся Олимпий.

– Зачем на костре, сам говоришь, с умом надо.

– Оно так, Михаил Александрович, да ведь нет у нас с вами того, что нужно. Ну что мы на съезде, всего двое россиян, и те беглые? Нужны многие люди, а главное – средства, без средств что сделаешь? Вот если б со средствами-то, с иностранной державой какой.

«Плут, пройдоха, знает, где жареным пахнет», – прищуренно смеясь, думал Бакунин и внезапно расхохотался грубо, оскорбительно для отца Олимпия.

– Эка, куда хватил, батя! Средства и средства, говоришь?! Как Наполеон – аржан, мол, ха-ха-ха! Правильно, сан заржан [261], ничего, батя, не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
поделаешь, ну я, брат, вечерять-то в ресторацию на низ пошёл.

Приглаживая масляные волосы, бесшумно проплыл сапожками отец Олимпий.

4

Тайное общество «Славянских друзей» ждало глубокой ночи, Бакунин ждал этого часа в первом этаже «Голубой звезды», в ресторане. Вид ресторана необычаен; за столиками – вооружённые, разноцветные славяне, подвыпившие, поют. Никто так и не пьёт и не поёт, как славяне; все веселы, словно перед боем.

В углу боязливо оглядывался заезжий еврей с глазами кролика и двое немцев старались не обращать внимания на славянские песни.

– Лучше бежать в Каир! Тут висит гроза, несколько дней, и она разразится, – понизив голос, говорил лысый немец длинноволосому очкастому человеку, похожему на писателя.

– Неужто так плохо? Мне думается, вы преувеличиваете, славяне любят пошуметь, но что б что-нибудь из всего этого вышло?

– Варфоломеевская ночь, вот что выйдет, – тихо проговорил лысый.

За славянскими столами зазвенели бокалы, сворнисты грянули гуситскую песню.

Мимо немцев, смеясь в сторону песни, прошёл громадный Бакунин, размахивая сигареткой. Остановился, выбирая взглядом место, и, сев, подозвал лакея, долго объясняя, заказывая еду.

Очкастый, сутулящийся, длинноносый человек, только что говоривший с лысым немцем, пристально разглядывал монументальную главу «Славянских друзей»; под очками плавала улыбка, словно человек был и чем-то до крайности удивлён, и весел. Наконец, выпив остаток сельтерской воды, человек встал, направившись к Бакунину.

– Если не ошибаюсь, господин Бакунин? – проговорил по-немецки.

– Ах, Мейсснер[262], – оторвался Бакунин от еды, – не ожидал, какими судьбами?

– Проездом во Франкфурт, – садясь, сказал Мейсснер, знававший Бакунина ещё по Парижу.

Но Бакунин взглянул недружелюбно, сказал зло:

– Во Франкфурт? Что ж, господин немец, едете туда продавать чехов?

После паузы Мейсснер произнёс:

– Если для вас богемский депутат – «продавец» чехов, то я, вероятно, продавец.

Бакунин доедал необычайную, чрезмерную порцию мяса; брови сошлись; прожевав, утираясь салфеткой, сказал:

– Богемия – славянская страна, и всякий немец здесь враг!

Цветную капусту лакей поднёс завернутую, как новорождённого ребёнка, тёплыми салфетками. Бакунин отодвинулся, когда лакей накладывал на тарелку множество капусты, поливая маслом с сухарями; Мейсснер саркастически глядел на гигантские порции.

– Мне кажется, в Париже, Бакунин, вы были иного мнения о чехах, называя их выкидышами славянства, которые благодаря немецкой культуре и немецкой крови так дегенерировали, что истинные славяне не должны признавать их братьями, помните? Отчего ж это всё так сразу переменялось?

Бакунин оторвался от капусты, взглянул в упор вспыхнувшей синевой глаз на худого, желтоватого, немощного Мейсснера.

– Мой господин немец, – сказал, отчеканивая, – я охотно признаю, что два

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
года назад был много мнения о чехах, не зная их близко. Теперь я их знаю!  
Это старые гуситы, это кажется невероятным, но чехи воскресли! Что ж вы не  
видите, как всё здесь одушевлено славянством?

– Для жизни одного одушевления маловато.

– Не говорите старых истин, которые звучат сейчас пошлостью! Здесь, в  
Богемии, как нигде, бьётся единственная в мире свежесть. В славянах  
несравненно больше природного ума и энергии, чем в немцах! А главное – в  
них молодость. Если б вы видели братскую встречу славян, это дети одной  
семьи, в первый раз свидевшиеся после долгой разлуки. Они плакали здесь на  
улицах, обнимались, смеялись, и всё это без лжи, без пошлой фальши, так  
присущей европейцам!

В дверях раздался шум голосов, ударились о косяки настезь отлетевшие двери.  
Гомонной пестротой ворвались члены «Славии», «Сворности» с поляками,  
хорватами, словаками.

– Смотрите! – воскликнул Бакунин. – Смотрите на этих молодцов! Они все  
братья! Вот он, ставший жизнью панславизм!

Мейсснер с болезненным выражением лица отвернулся. Вломившаяся молодёжь,  
крича, мешалась с сидевшими. Бакунин глядел на них радостно, улыбался,  
наливая в два бокала шампанского.

– Простите я не пью, Бакунин, и я не понимаю, как эта странная, дикая  
романтика вяжется у вас с вашими взглядами? Вы же прекрасно знаете, что  
между чешским, сербским и русским народами разница так же велика, как между  
немецким, датским и голландским. Ваш славянский парламент будет конгрессом  
братьев, не понимающих друг друга, – Мейсснер резко расхохотался, – хорошее  
братство! Иль вы надеетесь на повторение в Духов день чуда с языками? Ну  
тогда вы, разумеется, побратаетесь!

Бакунин отшвырнул салфетку, смерил Мейсснера с презрением и высокомерием.

– Господин немец! Всё это верно, мы, славяне, понимаем друг друга с  
большими трудностями, но там, где нам не хватает языка, начинается симпатия  
родственных душ. Не вам, немецкому еврею, смеяться над этим! К тому ж у нас  
есть слова, понятные решительно всем славянам от Эльбы до Урала, от  
Адриатического моря до Балкан и приводящие все славянские сердца в  
одинаковое действие! «Заграбьте нимцив!» Поняли?

5

В полночь номер 14-й «Голубой звезды» дышал дымно, дымили кривыми, прямыми  
трубками, сигаретками, сигарами; на середину был выдвинут стол, за ним,  
распластав громадные руки, сидел великан – Бакунин. Справа секретарствовал  
бледный Адольф Страка, рядом с ним, в национальном костюме, красавец  
студент Иосиф Фрич. Слева, в низком кресле, черноглазый, бойкий товарищ  
председателя, поляк Юлий Анджейкович. Грыз трубку в углу рта словак  
Туранский, грязноватый, тяжёлый; редактор «Общанске Новины» Эммануил  
Арнольд[263], испитой и бесцветный; неопределённых лет редактор «Новины  
Славянской Липы» Карл Сабина; жестяных дел мастер Менцль, патер Андрей  
Красный; сдвинулись кучкой неизвестные лужичане, сербы, хорваты, два  
бородатых бронзовых черногорца. Бакунин говорил пониженно, плавно катился  
раскатистый низкий голос. Разнообразные лица сковывались взглядом его  
синих, выжидающих глаз. Иногда он чуть взмахивал большой белой рукой;  
иногда тихо ударял по столу, и вздрагивал тогда поляк Анджейкович.

– Братья, мы, члены «Славянских друзей», червленнейшие  
республиканцы-демократы, должны превратить себя в одну жажду революции, в  
одну революционную страсть! К будущей весне демократические немцы готовят  
всеобщее восстание Германии, мы, славяне, для нашего дела должны  
соединиться с ними, так же, как с мадьярами. Посредничество между славянами  
и немцами я беру на себя. Посредничество между Кошутом и венгерскими  
славянами должен взять на себя брат Туранский. Богемия должна стать центром  
славянского революционного движения, здесь всё назрело, и если мы не смажем  
ружей, то их смажут другие. Некоторые из нас говорили о Польше, но нам  
нужна свежая почва, Польша истощена и деморализована поражениями; к тому ж  
многие из поляков могут дать начавшейся революции исключительно польский,  
частный характер и тем самым предадут славян западноевропейским демократам.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Это нам не с руки, – Бакунин стукнул по столу, – Прага, вот род Москвы, сердце славян, и если Прага поголовно встанет, она увлечёт и прочих славян, наперекор Палацкому и другим приверженцам австрийцев. Наша главная надежда должна быть – при помощи Праги поднять всю Богемию. Ошибка немецких и французских демократов состояла в том, что их пропаганда ограничивалась городами и не проникала в сёла. Сёла оставались равнодушными зрителями революции. Мы не должны повторять этой ошибки, мы должны в первую голову вместе с Прагой поднять богемских, чешских, а равно и немецких крестьян. Нет ничего легче, как возбудить революционный дух в земледельческом классе, в этих Hausler[264] и даже совсем бездомных деревенских людях! Я утверждаю, что нигде крестьяне не склонны так к революционному движению, как в Богемии. Феодализм, тяготы, притеснения, господские суды, феодальные налоги, наборы в войска, сборы десятины – этого чересчур достаточно для пропаганды и поднятия крестьян, живущих наполовину волками в камышах, наполовину свиньями в хлевах. Кроме того, от безработицы уходящие с фабрик работники судьбой призваны быть рекрутами демократической пропаганды. Кто не слышит в богемском народе всеобщего ропота и неудовольствия, тот слеп. Я убеждён, что нам будет легко двинуть крестьян на восстание! Но это ещё далеко не наша революция. Наше восстание, эта богемская революция, которая станет началом всеобщего европейского восстания, должна быть стремительной, решительной, радикальной, словом, такой, которая, если б даже и была побеждена впоследствии, успела бы, однако, всё так переверотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство даже после победы не нашло бы ни одной вещи на своём месте. Для этого мы должны воспользоваться тем благоприятным обстоятельством, что всё дворянство в Богемии, да и вообще весь класс богатых собственников состоит из немцев. Надо против них поднять славян. Восстанием мы изгоним всех дворян, всё враждебно настроенное духовенство, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделив их между неимущими крестьянами для поощрения их к революции, отчасти превратив в источник для чрезвычайных революционных доходов. Восстание должно разрушить все господские замки, сжечь, уничтожить во всей Богемии решительно все процедуры, все административные, судебные, правительственные, господские бумаги и документы, объявить все ипотеки, а также другие неоплаченные долги, превышающие известную сумму (на лицо Андржековича тут выплыла неприметная посторонним улыбка), наша революция, – раскатывалася бас Бакунина, – должна быть победоносна, а потому ужасна, беспримерна, только такая революция может стать подлинной революцией и рассчитывать на успех. Переверотив всё, она так въестся в кровь и в жизнь народа, что даже если б она была побеждена, то пришедшее правительство не было б никогда в силах искоренить её, не знало б, с чего начать, что делать, не могло б ни собрать, ни даже найти остатков навек разрушенного старого порядка и никогда б не могло помириться с богемским народом. Такая революция, по своей цели не ограничивающаяся одной национальностью, увлечёт червлённо –огненной пропагандой не только Моравию, австрийскую Силезию, но и прусскую Силезию, да и вообще все пограничные немецкие земли, и германская революция, бывшая до сих пор революцией фабричных работников, мещан, литераторов и адвокатов, превратится в огненную общенародную революцию. Её пламя запылает над Европой, сжигая старый, дряхлый, гниющий порядок!

Бакунин вдруг встал во весь рост и заговорил ещё страстней. Все кругом молчали. Некоторые неточно понимали, но точно чувствовали.

– Мы превратим Богемию в лагерь, создав в ней силу, способную не только охранять революцию в самом крае, но и действовать вовне наступательно, возмущая народы к бунту, разрушая всё, что только носит на себе печать австрийской породы! Мы пойдём на помощь мадьярам, полякам, мы, – взмахнул кулаком Бакунин, – двинем беспощадную революцию в Россию! О! – Бакунин словно даже покачнулся. – Во мне есть инстинкт буревестника! Эта революция близка, и она будет беспощадна! Наша обязанность будет громко провозгласить необходимость разрушения России как империи, как государства. Это должно быть первым словом нашей программы! Мы создадим новое, революционное правительство с неограниченной диктаторской властью, будет изгнано дворянство, всё противоборствующее духовенство, уничтожена в прах администрация, изгнаны чиновники. Могут быть сохранены только некоторые из главных, из наиболее знающих, для совета нам и как «библиотека статистических справок», – усмехнулся Бакунин. – Мы уничтожим все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, всё будет покорно одной диктаторской власти! Молодёжь и всех способных людей, разделённых на категории по характеру, способностям и направлению каждого, мы разошлём для того, чтобы дать им провизорную революционную и воинскую подготовку.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org Народные массы должны будут быть разделены на две части; одни, вооружённые, но вооружённые кое-как, останутся дома, для охраны нового порядка и будут употребляться на партизанскую войну, если таковая случилась бы. Все ж неимущие молодые, способные носить оружие, фабричные работники, ремесленники без занятий, а также большая часть образованной мещанской молодёжи составят регулярное войско, не фрайшаррен[265], но войско, которое должно формироваться с помощью старых польских офицеров, отставных австрийских солдат, унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению в разные офицерские чины. У нас будут огромные издержки, но они покроются отчасти конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями! – Бакунин говорил страстно, словно даже не видя окружающих, словно сквозь стены гостиницы «Голубая звезда» говорил в столетия. А когда кончил – Анджейкович заговорил по-русски лёгким польским тенором, путая слова:

– Мне выпали слёзы, брат Михаил, слушая твои планы. Но будет ли у нас какой шанс сделать демократическую революцию, когда у нас нету денег? Богемия бедна, ты сам знаешь, ходят здесь деревянные да кожаные монетки, так есть ли у нас какой шанс? Вот что я хотел спросить. У нас есть отчаянные головы, я могу доставить тебе завтра 1 000 человек, но нам недостаёт денег, а без денег чёрт удастся тебе восстание. Надо обсудить, откуда взять деньги?

В дыму трубок Бакунин стоял задумчивый, собранный внутрь, на широкой груди скрестив руки. Когда плавный, певучий напев Анджейковича кончился, Бакунин не возразил. Заговорил словак Туранский; высказались даже неизвестный лужичанин и два черногорца. Потом в наступившее молчание взял слово Бакунин, бурно подминая под себя всех; эта вторая была не речь, а призыв верить огням восстания. Окончив его, Бакунин перешёл к делу, проверяя у Сабины, установлены ль, крепки ль связи со «Сворностью» и «Рипилем», надёжна ли связь Сладковского со студенческим легионом, можно ль, как думают патер Красный и мельник Мушка, по знаку заговора из «Голубой звезды» поднять окрестных крестьян и работников-ситцепечатников в день Св. Духа, чтобы развернуть восстание в общепольское и пустить по Европе революционной волной.

6

На рассвете «славянские друзья» вышли от Бакунина. Бакунин долго ходил по комнате широким шагом, опустив львиную голову. Бакунин метался; страсти и мысли, охватившие его, были нестерпимы. Словно слышал шумно ходившую кровь. В ушах стоял гул, крушение, разрушение старого мира. Бакунину не хватало дыхания, он распахнул окно. В рассвете тянуло расцветшей сиренью и свежестью утра.

7

Тяжёлый, тёмный словак Туранский, сидя в гостинице «Золотой рог», думал о деньгах, о князе Виндишгреце. Член тайного общества «Славянских друзей», Туранский был послан предупреждать о славянских замыслах и провоцировать славян на крайности.

8

Молдава катила синие воды, день был в разгаре, малооблачный и жаркий. Проходящие мимо здания на Софийском острове пражане, дамы в кринолинах, мужчины в цилиндрах и сюртуках, останавливались, дивясь шедшим депутатам славянского конгресса.

В здание Софийского зала среди пестроты камзолов, кунтушей, чекменей, безрукавок прошёл быстрый, чуть нагнувшийся Бакунин в чёрном плаще, чёрной шляпе. За ним, еле поспевая, подбирая рясу, прошелестел отец Олимпий.

Чуден небывалый в истории съезд славян. Встретились разбросанные по свету братья, свиделись после долгой разлуки. Радостная встреча перешла в крики, в бурю, в восторги. В этом шуме Бакунин чувствовал растроганность и необъяснимое волнение.

Староста съезда, онемеченный сухой франц Палацкий[266], в глухом сюртуке, от имени чехов поднялся на трибуну под богемскими и всеми славянскими знамёнами. Открывая съезд, заговорил профессорски. В зале ж стоял никогда не виданный Прагой радостный хаос: сербы, поляки, мораване, русины, лужичане, хорваты, словенцы плохо понимали язык Палацкого. Его сменил на

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org) родном языке мораванин Дворчачек. По-словенски заговорил Мато Топалович[267]. От сербов Даничич Попович[268], от украинцев по-украински говорил Заклинский. По-словацки страстную речь произнёс пастор Милослав Гурбан[269]. На трибуну во флагах поднялся освобождённый из тюрьмы Карл Либельт, говорил по-польски. И чем странней текли славянские речи, недоумённей становилось замешательство зала, пока на трибуну в знамёнах не взошёл Бакунин, крикнув по-русски:

– Братья!

Бакунин улыбался.

– Я позволю себе, господа, предложить ораторам славянского конгресса, дабы все члены понимали друг друга, говорить, так сказать, на «общеславянском» языке – немецком!

Вместе с хохотом взорвались аплодисменты, прерывая Бакунина. Такой смелости смеялись даже в президиуме маститые учёные-славяне – граф Коловрат-Краковский[270], шафарик[271], престарелый Карадичич[272], Любомирский[273], секретарь съезда Гавличек, улыбался просвещённо и Франц Палацкий.

Бакунин стоял, великолепный своей львиной силой, своей безоглядностью. Не походил ни на сухость Палацкого, ни на горячность Карла Либельта. Бакунин простоял несколько минут безмолвно, по-бычьему опустив голову. Вдруг как бы очнулся, выпрямился и заговорил. Возгласы, удары грома, сверканье молний, рёв бури, что-то стихийное, поражающее, непостижимое. Бакунин кричал. Местами мысли были неясны, неточен язык, но конгресс взят напором захватывающего чувства. Бакунин говорил о мировой роли славянства, определяя путь, силу и значение славян в мире. Эти струны были самыми звонкими, и Бакунин ударял по ним так, что, дрожа, отвечали струны гудом, гулом, всплесками рук.

– Братья славяне! Пробил решительный час! Дело идёт о том, чтобы открыто и отважно решить, чью сторону взять славянам! Сторону ли развалин старого мира, чтоб поддержать его ещё на короткое мгновение, или сторону нового мира, заря которого занимается. От вас, от вашего выбора зависит, удастся ли всем народам, стремящимся к освобождению, достичь цели быстро, или же эта цель, если она и не может никогда исчезнуть, всё ж должна отодвинуться в необозримую даль. На вас обращены полные ожидания глаза человечества. На том, каков будет ваш выбор, покоится и дальнейшая судьба мира!

Грудные, усиливающиеся выкрики могучего голоса возбуждённо затопляли зал.

– Славяне! Братья! Мир разделён на два стана. И между этими станами не проложено средней дороги. Здесь – революция, там – контрреволюция – вот лозунги. На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться. Взгляните твёрдо и пронизительно в искажённое злостью лицо вероломного старого мира, и вы проникнетесь страхом и отвращением от его своднических приманок. Так долой же угнетателей, да здравствуют угнетённые! Самые дерзкие мечты близки к исполнению. Народы видят, как с могилы их независимости сваливается, словно сдвинутый невидимой рукой, тяжёлый камень, тяготевший целые столетия! Волшебная печать сломана, дракон, стороживший болезненное оцепенение стольких заживо погребённых, лежит убитый и хрипящий. Занялась красная, как кровь, заря весны народов. Старая государственность погружается в ничто, конечной целью которой будет – Всеобщая Федерация Европейских Республик!

Аплодисменты понеслись с задних рядов конгресса. За столом президиума руки Палацкого, Любомирского, Шафарика, Гавличека остались недвижны. Но овация россиянину разрасталась. Бакунин стоял, опустив львиную голову.

– Братья! Я славянин, я русский! – встрепенулся он. – И я говорю вам от имени этого народа! Но различайте, братья славяне; если вы ждёте спасения от России, то предметом вашего упования должна быть не порабощённая холопская Россия с притеснителем и тираном Николаем, а возмущённая, восставшая для свободы Россия, сильный русский народ! Верьте мне, братья, что указы деспота не выражают наших чувств, наших желаний и нашей воли. Нет и ещё раз нет! Это искажение того, что живёт в глубине нашего русского сердца! Наше племя глубоко чувствует срам и позор рабства, в котором держит его деспот, оно наибольший враг того, кого многие из вас считают ещё

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org истинным представителем русской народности. Мы – враги этого палача, этого мучителя и посрамителя нашей чести! Кто он? Славянин? Нет! Голштинско-готторпский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхождения! Друг своего народа? Нет! Расчётливый деспот, без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому, без малейшего понятия о том, что скрыто, что кипит и клокочет в русском народе! Но русский народ пресыщен, утомлён порабощением и позором, он устал служить жалким орудием достойной проклятия политики. Братья, не обманывайтесь внешним видом, будто этот народ-великан до сих пор лежит скованный по всем членам железным волшебным сном. Я говорю вам, он спит неглубоко, он только тихо дремлет, он уже начал пробуждаться, его час пробил! Не обманывайтесь уверенностью Николая в верности войск, в подчинённости масс. Я говорю вам: эта вера пошатнулась, а удары кнута – плохое средство, чтобы оживить веру!

Братья славяне! Я зову вас порвать раз навсегда с реакцией, порвите со всякой половинчатой, недостойной вас политикой и бросьтесь отважно, всецело в объятия революции! В ней – всё ваше пробуждение, ваше воскресение, ваша надежда, ваше спасение и ваша будущность! В ней, только в ней! Доверьтесь ей! Вы должны довериться потому, что она неплохой союзник. Вам говорят: она упадёт под ударами контрреволюции. Это ложь! Оглянитесь, посмотрите на её дело! Не изменяется ли всё в европейском мире? Разве он не сделался вдруг хаосом, в котором именно те, кто стараются восстановить порядок старого мира, вносят только ещё большее замешательство своими созывами войск, бомбардировками и осадами, своими громко вопиющими о мести насилиями, боянями и опустошениями! Революция – сила! Революция – правда, революция – спасение этого времени, революция – единственная практика, ведущая к добру и удаче! Вне её нет ума, нет мудрости и политики. Она одна может создать полноту жизни, даровать непоколебимую уверенность, придать силы, творить чудеса, превратить в одну живую жизнь – весь мир! Верьте ж революции! Отдайтесь ей вполне и всецело! Знайте, что без революции нет славянства!

Крики «Слава! Слава! Елей Бакунин! живио!» наполнили зал конгресса; и когда под пёстрыми знамёнами поднялись с мест славяне, грянуло разливающееся «Гей, славяне!».

9

Таяла в солнечном золоте Прага, изнывали от жары поля Богемии; жара не спадала, шёл двенадцатый день конгресса, депутаты казались утомлёнными; часто видели Бакунина в коридорах съезда спорящим с францем Палацким.

В «Голубой звезде» по ночам заседали «Славянские Друзья» с представителями «Сворности», «Рипиля», «Славию», семинаристами из Клементинума, студентами, ткачами, набойщиками ситца. Отчаянные головы южных славян, опьянев от жажды действия, предлагали сигнализировать восстание убийством Виндишгреца на славянском балу.

10

Фельдмаршал-лейтенант князь Альфред Виндишгрец в главном зале Пражского замка принимал депутации. Курьеры из Вены и Инсбрука осведомляли о развивающейся революции. Агенты конгресса доносили: восстание близко. Но Виндишгрец не волновался. Приказывал генералу Шюльте стянуть войска, быть готовым занять господствующие над городом высоты Градчина. Фельдмаршал ждал восстания, любил риск и был игрок беспощадный, если повезёт в игре.

Аристократ до кончиков ногтей, князь верил, что человек начинается только с барона. Ладонь подавал немногим. Лакеев бил серебряной шпорой. Фельдмаршалу хотелось проучить пражскую сволочь. Адъютанты, граф Вильчек и граф Андраши, осведомляли о настроении войск. Виндишгрец приказывал увеличить довольствие, поддать пива. «Войска должны быть сыты до отвала», – говорил он.

11

Ночь накануне Духова дня – душная, мутная, безветренная; тяжесть тянула над Прагой. В «Голубой звезде» толчея; скачут, мчатся верховые в Клементинум, в предместья, на фабрики. Бакунин как в лихорадке, кружится голова, не хватает времени. То требуют появления среди ситцепечатников, то просят распорядиться, куда свозить порох и пули. Как лунатики, ходят Страка, Сабина; Арнольд отговаривается подагрой, уехал Анджейкович, в нетях патер

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Красный. Кругом нерешительность, хорошо ещё крепки застрельщики семинаристы, наэлектризованные Сладковским; меж студентов храбры Фрич и Виллани. Они первыми нападут на цейхгауз, это будет первое сопротивление войскам. Меж ремесленников работает Фастер, но малонадёжен, хоть и доносит, что ремесленники подымутся.

Суета в «Голубой звезде» у Бакунина. Бакунин говорит охрипше, как долго лаявшая собака.

– Если не удалось убийство Виндишгреца на балу, надо одно, чтобы в Духов день на улицы вывести всех наших сторонников. Тогда достаточно выстрела в ненавистные войска, и вы увидите, восстание вспыхнет само собой, как после выстрела на Карузельской площади в Париже.

Нервно у «Славянских друзей»; кажется, волны восстания высоки, вот-вот хлынут. В музей свезено 24 фунта пороху, в распоряжении «Сворности» 2000 пуль; в «Славии» собрали двустольные ружья. Ситцепечатники готовы броситься на военное управление, брать его приступом.

Из деревень доносят, что три села готовы по сигналу двинуться на столицу с вилами, косами, топорами. На окраинах уж начались волнения, разгромили две еврейские лавки; ожидание Духова дня томит низы города.

12

Духов день наступил; уж с ранним рассветом отлетела от Праги прохлада. В десять раскалились камни мостовой, стены домов; в такой жар не выходить бы из дому. По заборам пестрит красная афиша: «Пражане, внимание! Оставайтесь дома!» А Прага с Троицы стоит в зелени берёз, венков, в цветах, полы церкви устланы травой. Марит, дрожит голубой воздух над Прагой, быть грозе.

В этот жар на Конную первыми пошли отряды «Сворности». Князю Лабковичу, командиру национальной гвардии, сообщили: за порядком в Духов день следит «Сворность». Вьются плащи командиров студенческих батальонов, перья на шляпах. На богослужение к статуе доброго герцога Вацлава стекаются славяне. Вышли колонны «Славии», члены «Рипиля». На рассвете Бакунин проехал в Клементинум. Через конные ворота на Конную площадь идут ситцепечатники; заполнили переулки, из толпы несутся угрозы военным патрулям при гауптвахте; началась, льётся ароматным пением православная литургия.

13

В широком светлом зале Клементинума Бакунин застал всех в сборе: пастор Гурбан, крупный, животастый человек; Сладковский, Виллани, Фастер, Густав Страка, хромоногий Арнольд, представители «Сворности» и ситцепечатников.

На столе, где экзаменовали семинаристов по гомилетике[274], – планы Вышеграда и Градчина.

– Говорите, Виндишгрец отведёт войска к Градчину, откроет огонь?

– Ну да, что вы будете делать? – говорит пастор Гурбан.

– Драться! – злобно кричит Бакунин, отрываясь от карты. – Что, сдрейфил, яростный пастор?

Это верно, кругом путаница и паника.

– Сегодня приезжает в Прагу эрцгерцог Карл-Фердинанд, хочет пойти на уступки народу, – говорит Сладковский.

Бакунин не ответил; торопливо вошёл взволнованный Карл Сабина.

– Обедня началась, – задыхнувшись, проговорил, обращаясь к Бакунину, – работники собрались, тысячи две, наши там, все готовы, «Сворность» охраняет порядок.

– А войска?

– Войск один патруль у гауптвахты.

– Но ещё нет никого от деревень.

– А служба уж идёт?

Сабина пожал плечом. Почему Бакунина окружает такая нерешительность и вялость? Вчера готовый биться на улицах, пастор Гурбан сидит в углу, подавленный, безучастный; Арнольд хромает, жалуется, как всегда, на подагру. Бешенство приливает к сердцу Бакунина: бить бы их палкой!

– Арнольд и Страка! – Бакунину сейчас нельзя возражать. – Толпу после службы надо разорвать, двинув демонстрацией; сделать это просто, достаточно крика, и толпа пойдёт. Смотрите сюда, – указывал белым пальцем на карту Бакунин. Встал и пастор Гурбан, все окружили Бакунина. – Пусть студенты и «Сворность» двинутся после литургии с Конной на Новую аллею, отсюда часть свернёт к Грабену, к замку Виндишгреца, хорошо б сюда свернуть работников, пусть они идут ко дворцу. Путь, по Бергманштрассе, через Эйзенгассе, по Рингу Старого города к Цельтнергассе – это одна демонстрация. Другая – двинется через Грабен, мимо Пороховой башни, к главному управлению, у замка Виндишгреца работники устроят ему кошачий концерт Я поеду к дворцу, а вы двигайтесь с другой частью. Штаб перенесём в «Голубую звезду» и там решим сообразно обстоятельствам. – Обращаясь к офицеру из «Сворности», Бакунин проговорил: – Езжайте на окраину, надо с предместий двинуть больше работников и крестьян. Наш успех от первого натиска на главное управление и цейхгауз. – Длинный палец Бакунина на картах Вышеграда и Градчина указывал пункты приступов, наступлений, атак.

14

Дьяконы в золото-розовых, зеленовато-золотых ризах, похожие на тёмно-раззолоченные столбы, торжественно возглашали на Конной площади многолетие славянству, перед алтарём у статуи св. Вацлава, Плыли камилавки протоиереев, скуфейки иереев, колебались в жаре Духова дня хоругви с изображением ангелов и святителей. В недвижимом воздухе замирали расплавленные хоры; и вот на колени опустилась многотысячная толпа, подхватывая «Многая лета!».

Но концы дрогнули, вставая, заколебался и центр; длинным, извилистым рядом толпа тронулась к золотым крестам, что держали четыре усталых протоиерея, благословляя толпу. На Конной обнимались славяне, клялись в верности славянскому делу, если б даже пришлось пролить кровь. Пёстрые члены «Сворности», «Славии» смешались, обходя вокруг старой статуи св. Вацлава. Но раздалось «Вперёд, братья! – и густота тысячной толпы двинулась первыми колоннами с плавно дышащими в воздухе славянскими трёхцветными знамёнами.

– На Новую аллею! – закричал студент в плаще, с перьями на шляпе, взмахивая саблей; голос передался по толпе.

Колонна грянула «Гей, славяне!», заворачивая к Новой аллее.

– Показать Виндишгрецу! – Пройти перед Виндишгрцем! – Вперёд, братья! – Словно случайно разрывалась толпа; часть сворачивала к Грабену. На Бергманштрассе от льющей массы вновь отвалился живой кусок, вея знамёнами, поплыл под песни через Эйзенгассе по Рингу Старого города к Цельтнергассе. Толпы ситцепечатников со студентами лились, как расплавленный свинец, мимо Пороховой башни к Пражскому замку. В духоте летнего воздуха билась песня Кукулевича «Где отечество славян». И чем ближе вырастал замок австрийского главнокомандующего, ожесточённой шла толпа прямо на замок.

15

В сводчатом зале в присутствии свиты князь Виндишгрец принимал депутацию «Союза спокойствия и порядка». Князь стоял в гусарской форме, как будто чуть рассеянный. Толстые депутаты в сюртуках, в руках цилиндры. Пражский городской голова граф Рудольф Стадион, одышливый, быкообразный человек, произносил ветвистую приветственную речь.

Виндишгрецу скучно от длинноты речи штатского человека. Тонкими, как у женщины, пальцами князь трогал то пуговицу мундира, то темляк сабли. Освещённый окнами профиль Виндишгреца сух, в кудрявых бакенах; на мундире

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
поблѣскивала колодка орденов.

Как сердечный больной, тяжело переводя дыхание, Стадион кончил; Виндишгрец сказал холодно, без всякого выражения:

– Я хочу верить чувствам, выраженным мне депутацией славного австрийского города Праги. Смее уверить, что приму все меры к поддержанию спокойствия и порядка в столице Богемии.

До присутствующих донёся свинцовый гул толпы, приближающийся, смелеющий, словно катящееся ядро. Когда ударил набат, городской голова Стадион побледнел и депутаты переглянулись.

– Что это? – сказал тихо, в пространство городской голова. Свита князя метнулась к окнам. Повернув голову вполборота, сведя над ястребиным носом брови, Виндишгрец спросил:

– Что за шум, граф Андраши?

Лейтенант в такой же гусарской, как у князя, форме проговорил от окна:

– От Пороховой башни движется толпа, ваше сиятельство.

Виндишгрец кинул депутации:

– Приём окончен.

Депутация, торопясь, выходила из зала. Славянская толпа залила уж площадь перед замком, наполняя её, как прибоем; кричали по-чешски, катился гул. Виндишгрец хотел услышать, что кричат. Рукой с гербовым княжеским перстнем распахнул окно – ворвался рёв, крик, с отворённым окном внезапно усилившийся:

– На фонарь Виндишгреца!

Виндишгрец закрыл окно и чуть улыбнулся, бледно, с потемневшими глазами.

– лейтенант Яблоновский, – обратился к сильному розовощёкому блондину с разведённым ямочкой подбородком, – с полуротой гренадер Вохера – разогнать толпу, не открывая огня!

Лейтенант Яблоновский отчётливо повернулся, побежал по лестнице. Распахнулись замковые ворота; оцетинившись штыками, полурота гренадер пошла на толпу; впереди, прямо в неё, с обнажённой саблей шёл розовощёкий блондин чех, лейтенант Яблоновский.

Виндишгрец стоял у цветного окна, смотрел злобно, хотелось смять конницей, расстрелять пушками. Яблоновский шёл ускоренным, твёрдым шагом, Яблоновскому идти было не страшно, за собой слышал неотстающий шаг полуроты и чувствовал спиной оцетинившиеся штыки. Но толпа близилась, Яблоновский уж различал незнакомые лица, студенты в шапочках «Сворности», вот в цветах союза «Прага», и когда близился вплотную к чужим, враждебным, нерасходящимся людям, что-то дрогнуло внутри. Но тут же, чтоб побороть себя, Яблоновский повернулся к полуроте, крикнув что есть силы «За мной!» – хотел повернуться к толпе, но студент с вьющейся бородой, в цветах союза «Прага», изо всех сил опустил на голову Яблоновского палку. Лейтенант споткнулся под чужие тысячи сапог. Гренадеры со штыками наперевес рванулись, и чужие ноги отхлынули, побежали.

Заливаясь криками «Предательство! На баррикады!», площадь смешалась. Смешалось всё и на Цельтнергассе, перекинулось в ближайшие улицы. Кто-то кричал, тащил камни, мешки, опрокинули почтовую карету, повалили тумбы, выломали газовые канделябры и подожгли вытекающий оттуда газ. В Старом и Новом городе из земли выросли баррикады. Улицы завалили опрокинутыми будками, перевёрнутыми телегами, старыми колымагами. Кричали об убитых, взятых в плен Виндишгрецем. В окна летела мебель, разворочали мостовые. В зелёной, золотой Праге в день Святого Духа обывателям стало страшно. Рвут ворота у рубах повстанцы, мучит золотое солнце. Бегут к баррикадам. Оцетинился штыками Старый город, полностью в руках восставших; и сам правитель Богемии, граф Лео Тун[275], заперт заложником в Клементинуме.

В «Голубую звезду» вбегали вооружённые. Спрыгивали у гостиницы с коней верховые, докладывали мечущемуся тёмному человеку. Бакунин чувствовал полное отчаяние и одиночество. Где пастор Гурбан, радикал Сладковский, Фастер, Виллани, Сабина, Арнольд? Бакунина окружала никогда не виданная им молодёжь, чехи, словаки, даже немцы. Бакунин шлёт их в музей, в захваченный семинаристами Клементинум. Эти неведомые молодые сейчас самые близкие; а из прежних безотлучны при нём только Иосиф Фрич да близнецы братья Страка.

В музее штаб «Сворности» еле отбивает атаку майоров Ланга и ван-дер-Мюллена. Гренадеры в медвежьих шапках, узких брюках и мундирах, прикрывающих только рёбра, идут сомкнутыми колоннами на баррикады. Гренадеры звереют, как быки. На Вассерштрассе работники держатся, атаку солдат из полка Гогенегга отбили камнями и револьверами. Но туда из переулка, вея на лету султанами, проскакали королевские уланы под командой графа Менсдорфа, саблями врубилась в толпу рабочих. На Обстмаркт двинулся капитан Мюллер с двумя ротами пехоты: рассеять скопища, идти приступом на Каролинум. Полковник Майнон с гренадерами дерётся против баррикад у Трёх Лип. На Эйзенгассе в атаку пошёл генерал Райнер. На Конной, на Бергманштрассе растут баррикады, текут из предместий работники. Пролетарии дважды переходили в контратаку против солдат на Бергманштрассе. В Пражском замке убита жена Виндишгреца. В Тринитарской казарме бьют тревогу. Виндишгрец выслал в атаку гусарские части.

17

Второй день в «Голубой звезде» метался одинокий Бакунин, крича:

– Верховые к крестьянам! Вести всех на город, пусть вооружаются чем попало!

Из «Голубой звезды» выбегали студенты и пролетарии, скакали из Старого города к деревням, в поля, потому что в музее «Сворность» сдалась уже на милость майора Ланга; разбиты три студенческих баррикады. Повстанцы идут на уговоры отцов города; доктор Клауди разъезжает по баррикадам, увещевает опомниться, обещая полное прощение австрийского главнокомандующего.

– Пусть передаст Виндишгрецу, – кричит Бакунин посланцу доктора Клауди, – что если хоть один защитник баррикад будет казнён, то захваченный граф Лео Тун будет повешен!

Но вести мрачны; атаки кавалерии серьёзны; под командой генерала Шюльте войска Виндишгреца заняли высоты Градчина; Виндишгрец грозит открыть бомбардировку.

– Пусть громит, будем биться! Увидим, как осмелится Виндишгрец расстрелять мирное население! – голос Бакунина срывается, еле слышен, хрипит. А кругом только незнакомая молодёжь.

– В город въехал эрцгерцог Карл-Фердинанд! – кричит вбежавший студент, – приближается, его пропускают через баррикады, бургомистр и муниципальные советники выехали навстречу просить о посредничестве, ему прокладывают путь, с ним полковник Майнон!

– Стрелять по нему, стрелять! – бешено кричит Бакунин.

Кавалькада эрцгерцога близка, подъезжают к Пороховой башне. Из «Голубой звезды» загрели выстрелы, и видно, как метнулись, понеслись игрушечным галопом всадники и зашпешила коляска. Но в ответ над Прагой с высот Градчина, со Стрелецкого острова, с Малой стороны свистят первые ядра – Виндишгрец повёл обстрел. Генералу Шюльхе приказано не жалеть снарядов, артиллерия бьёт по баррикадам на Эйзенгассе, рушит соседние дома, из-под ядер летят обломки мебели, камни, розовая пыль кирпичей. По улицам куда попало тащут раненых, у баррикад распротёрлись вывернутые тела убитых. Виндишгрец бьёт Прагу,

В который раз из Старого города скачут верховые подымать крестьян, но из верховых никто не возвращается. Хорошо ещё, что есть день и ночь. Последними ядрами, упавшими в Молдаву, мутится река; и меркнет небо над золотой Прагой.

С близнецами братьями Страка и студентом Фричем ночью Бакунин пробирался к последней, главной баррикаде, заграждавшей Ринг в Старом городе. В подвальной пивной «Белый конь» засел тут штаб. Бакунин, согнувшись, вошёл в низкий подвал. У стен свалены порох, пули, ружья, их теперь слишком много. Спят за дубовыми столами усталые люди, спят на полу, в страшных вывернутых позах, как убитые. Командует баррикадой седой, косматый ситцепечатник.

– Устоим? – здороваясь, проговорил Бакунин.

– Между Грабенем, Новой аллеей и Малой стороной они уж восстановили сообщение, все баррикады взяты, держимся только мы да Цельтнергассе.

– Палацкий и Гавличек выступили с уговорами к примирению, – говорит поляк офицер, член конгресса, сидя у стены, отпивая из бутылки пиво, – они лизут зад Виндишгрецу, пся крев, славяне!

В большой глиняной кружке Густав Страка принёс пиво Бакунину.

– На рассвете Виндишгрец начнёт наступление; если мы не получим крестьянского подкрепления, не выдержим, – проговорил Бакунин, отпивая.

Никто не ответил. Смертная тоска пустым кольцом сжала сердце Бакунина, вместе с ней навалилось безразличие, захотелось лечь спать. Все молчали. Бойцы в пивной распорядились, как дома, словно завтра их не расстреляет Виндишгрец. Кто сидел на полу у раскупоренных пивных бочонков, кто тащил солому, чтоб спать. Входили с баррикад отдыхать у стен в темноте дремали славянские несвёрнутые знамена, такие же реяли в темноте над последней баррикадой.

В подвале горели сальные свечи. Бакунин прилёг в углу, задумываясь, отпивал из глиняной кружки, писал на клочке бумаги воззвание к народу: «Братья, со славой выходим мы из предательской, неравной борьбы, не станем же отступать перед тем, что так славно начали. На нас смотрит вся земля богемцев и моравов, Вена и вся Европа: это богемский лев грозно пробудился от своего двухсотлетнего сна. Не позволим обмануть себя никакими обещаниями, за нами вся нация...» В тусклости колеблемых свечей вбежали вооружённые. Бакунин узнал последнего посланца к крестьянам, вскочил, зашумев упавшим стулом.

– Ну, ну? – повторяли кругом, окружив студента.

Студент задохнулся от бега, от страха, сел на стул, как упал от усталости.

– Кончено, – бормотал, – отрезаны.

– Как?! – вскрикнули голоса.

– Крестьянам и национальной гвардии, шедшим к нам, перерезала путь кавалерия Виндишгреца. А Палацкий и Гавличек уговорили крестьян вернуться, все наши верховые захвачены, к утру всё кончится...

– Чего ты каркаешь! – наступил офицер-поляк.

Но студента бросили, разошлись; он у стола, опустив голову на руки, не то заснул, не то плакал. С Градчина громыхнули первые пушки. Перекатился в рассвете первый треск ружей. Снова ухнули с левого берега Молдавы орудия. Гренадеры в медвежьих шапках, подрагивая от холода, двинулись на приступ Старого города.

Баррикады молчали. В утреннике веяли два ещё не упавших славянских знамени да, странно разведя руки, валялись возле них на мостовой трупы.

19

В затенённом парке варшавском Бельведере, в двусветном зале у амбразуры окна стоял пожилой человек с лохматыми седыми волосами. Человек был одет в мундир с колодкой орденов, стоял в зале один. Хромой фельдмаршал Паскевич смотрел в окно, выходившее на запад.

Паскевич неожиданно повернулся. Прихрамывая раненой под Варшавой ногой,  
Страница 344



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org по-военному неся вперёд грудь, заходил по залу. В голове: расчёт сил, нового блеска, удара, славы, затмевающей Румянцева, Потёмкина, Суворова.

К фельдмаршалу вчера на вспенившихся конях приехал посланник австрийского двора граф Кабога. Австрийский граф умолял Паскевича двинуть войска для спасения Австрии. Граф Кабога был расстроен. В этом самом двусветном зале Бельведера внезапно опустился на колени перед седым фельдмаршалом, еле выговаривая: «Дорога каждая минута, ваша светлость, каждый час, спасите Австрию!» – и, схватив сухую руку Паскевича, граф Кабога поцеловал её.

Паскевич улыбнулся; «Это было, конечно, уж слишком, фельдмаршал Паскевич не женщина». Подняв графа, Паскевич выговорил слова дружбы, успокоил. Звон шпор с хромотцой был неровен. Император в Москве освящает новый дворец. Паскевич не знал подлинных монарших настроений. Прихрамывая, Паскевич прошёл к письменному столу в конце зала; и когда сел, задумавшись, в мундире, орденах, подперев седую, солдатскую, в неопрятно-кудрявых бакенах голову, было странно: словно на громадной сцене сидел фельдмаршал. До того был велик зал и до того мал казался Паскевич за длинным столом.

«Ваше Величество!

Сейчас получил известие, что австрийское правительство намерено просить Ваше Величество занять Трансильванию. Сия неожиданная просьба весьма удивляет меня. Занять – это значило бы войти в такое место, где нет никакого препятствия, а тут до 80 000 вооружённых венгерцев, и весь край в бунте. Итак, они хотят, чтобы Ваше Величество изволили всю тяжесть войны взять на себя. Не зная ещё мнения Вашего Величества в положении сего дела, осмеливаюсь доложить, если согласиться на просьбу Австрии, то будет необходимо для удержания княжеств ещё употребить около 50 тысяч для действия в Трансильвании. Итак, 85 тысяч будут употреблены нами в дело, притом придётся вести войну самую трудную, в горах, населённых воинственными племенами, а тому доказательством то, что эта Трансильвания два века назад во время бунта долго боролась против австрийских сил. По всему этому кажется выгоднее для нас держаться того предположения, которое я имел счастье предложить в последнем письме, с переменой только того, чтобы сверх занятия Восточной Галиции занять также и Буковину и охранять все выходы из Трансильвании. Когда же мы будем на местах, то можно будет дать руку помощи по тогдашним обстоятельствам. Но одно только надобно рекомендовать господам генералам австрийским, чтобы не отдавали проходов Карпатских гор, ибо тогда наша помощь им не будет действительной. Полагаю следующий план кампании российских войск: 1) занять Галицию и Буковину и все проходы гор Карпатских. На сие употребить 4 дивизии пехоты, одну кавалерийскую и 160 орудий. Занявши вершины гор Карпатских, русские этим самым держат в повиновении все долины на 50 вёрст; 2) со стороны Валахии можно тот же манёвр делать, но с осторожностью, ибо собранные там войска не так будут многочисленны, как со стороны Буковины и Галиции. Они должны наблюдать: если неприятель начнёт слабеть против занимаемых нами пунктов или ослабит себя отрядами, то сходить с гор и разбить его. Заняв Галицию и Буковину, в Венгрию надлежит двинуться двумя колоннами. Первой, под начальством генерала Ридигера[276] (три пехотных дивизии и одна кавалерийская), идти долиной рек Арвы и Ваага на город Тренчин по направлению к Пресбургу, второй же, под начальством генерала князя Горчакова[277] (три пехотных дивизии и одна кавалерийская, собравшиеся у г. Дукла), направиться на Бартфельд и Эпериеш, угрожая флангу и тылу неприятеля по направлению к Пресбургу и Коморну. Равномерно испрашиваю, Ваше Величество, разрешение на соглашение с доверенным от Австрии в случае надобности двинуть войска на помощь австрийцам без нового на то повеления вашего. А как я уверен, что Ваше Величество изволите дать им скорую помощь, то я и написал нашему послу в Вене барону Медему...»

Блеснув, дверь белого зала отворилась. На пороге стоял красивый сын фельдмаршала, капитан гвардии Паскевич. Отец отложил остро отточенное перо, проговорил:

– Ну, ты что?

– От австрийского двора, от князя Шварценберга[278], папа, курьер.

Фельдмаршал, оправляя мундир, поднялся.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Николай отвечал фельдмаршалу наспех, из Москвы: «Вчера вечером получил я твоё письмо, любезный отец-командир, с приложениями. Оно весьма важно. Полагаю, что скоро настанет нам время действовать. Не одна помощь Австрии для укрощения внутреннего мятежа и по её призыву меня к тому побуждает, а чувство и долг защиты спокойствия пределов Богом вверенной мне России меня вызывает на бой, ибо в венгерском мятеже явственно видны усилия общего заговора против всего священного, и в особенности против России. Приняв сие за основание и буде австрийцы повторят просьбу, разрешаю тебе вступить, призвав Бога на помощь.

Вступая в дело для подачи настоящей помощи, а не для одной диверсии, должно сие исполнить со всеми на то нужными силами. Надо, чтоб ты сам вёл свои армии на новую славу, на великодушную помощь, да поможет нам Бог, и ты будь его орудием.

Вразуми Ридигера, что нужно ему будет действовать быстро, осторожно и решительно, надо, чтобы с первого удара нашего дело было переломлено в пользу правого дела. Надо, чтобы как громом грянуло и всё было кончено.

Мы видим, что на австрийцев нет никакой надежды. Надо всё твоё знание дела, всё твоё искусство на одоление, но нужна и сила значительная. Полагаю, что тебе должно вступить с 2-м, 3-м корпусами и 1-й пешей (полагаю 12-й) дивизией четвёртого корпуса, оставь 10-ю и 11-ю в Галиции и Буковине, с 4-ю лёгкой и всем драгунским корпусом и не менее, как с 8-ю казачьими полками. Жалею, что казаков не более в армии, ими надо будет истреблять шайки по всем направлениям. Об одном прошу, не увлекайся просьбами австрийцев, дай себе срок собрать все условия успеха и тогда с Богом действуй на наших врагов быстро, по-русски, не щади каналий. Жаль, если уйдут от заслуженной кары. Ежели Вена и потеряна, дело ты исправишь, уничтожив гнездо бунта.

Видишь, любезный отец-командир, что было мне об чём подумать и, признаюсь, была тяжёлая дума! Но слишком верю и уважаю твоё мнение, чтоб с тобой спорить или препятствовать действиям по твоему убеждению: ты варшавский герой, а я твой старый бригадный командир на парадной площади...»

21

Под зелёной, летней Варшавой, у берегов Вислы, где разбились белым летом, словно голуби сели на зелёное поле, палатки войск, на гнедом мохнатом жеребце, в походной форме, усатый, квадратнолобый, сидевший в седле как влитой, ехал генерал Панютин [279]. Генерала окружали командиры полков, адъютанты. Били сбор, скакали ординарцы. Сам хромой старик пролетел в блестящей кавалькаде, подымая пыль, унося за собой громовое «ура» выстроенных панютинских войск. Перед фронтом Панютин приостановил коня, зачитал фельдмаршальский приказ, громко выкрикивая басом:

«Друзья-товарищи!

Доверенность, которой государь император по случаю предстоящих военных действий...» После приказа охрипшим басом Панютин крикнул с прыгнувшего жеребца: «Государю императору и фельдмаршалу князю Паскевичу ура!»

Сведённое в белое каре войско от крика взметнулось, дрогнув взятыми на караул ружьями, немолчным гомоном раскатываясь лесами, полями, заглушая туши ударивших четырёх оркестров. И заиграли хвостами кони, записедали на мохнатых казанках, завертелись, затанцевали под адъютантами, генералами, полковниками, перед белым строем полков, блестящих примкнутыми штыками.

Развёртывалась безбрежным полем пехота. Подымала безветренную пыль. Пошли ротными колоннами брянские и орловские егеря. Выбежали вперёд, торопясь, перед ротами песенники, на всё поле гаркнули:

Тучи тёмны, тучи грозны

По поднебесью идут!

Брянцы уходили в поход первыми. Орловцы пылили в полуверсте. Севцы и черниговцы стояли ещё вольно, докуривая, оправляясь, собираясь кучками. Унтер-офицер, заросший волосом, пахший перегаром, в пропотевшей рубашке, говорил столпившейся плотной куче солдат, пускавших махорочный дым из козьих ножек.

– Государь дал астрийскому королю денег взаймы, наступил срок уплаты, а он не платит, пишет ему государь, пишет, а толку сё нет, вот напоследок он и велел написать всему астрийскому народу, что, дескать, ваш государь занял у меня деньги, срок вышел, а уплаты сё нет...

Крайний солдат выжидательно-весело хохотнул:

– Ну а он?

– Вот тебе и а он! Заставьте, пишет государь, его заплатить. А народ рассудил, что наш государь требует дело, и приступил к своему королю: заплати, мол, да заплати, а король взял да и бежать с деньгами! Вот народ и разъярился, что король его неверный, потолковали промеж себя да и положили распубликовать его по всей своей земле, сделали такую распублику! Но от такой распублики нам тоже толку нет, вот государь и приказал усмирить нам всех их, как ни на есть...

– Становись! – донёлся тенор.

Походным порядком, колоннами двинулись русские войска, развевая воздух песней:

Ох, вы ляхи, вы поляки, покоритесь вы нам,  
Ежли вы не покоритесь, пропадёте, как трава!  
Наша матушка Россия  
Всему свету голова!  
ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дрезден, зелёный, в бело-голубом поясе Эльбы, был прекрасен этой весной. За извилами, изгибами реки в синюю мглу уходили надгорья. Волнуются на волнах Эльбы белые паруса, дымят пароходы. Резиденция саксонского короля зацвела яблоней, вишней, миндалём, как сад, спускающийся террасами.

На Альт-Маркт меж цветных домов, исписанных масляной краской разноцветных вывесок, распрягали окрестные крестьяне затянутые парусиной телеги. Рынок зацвёл капустой, кольраби, свёклой, морковью; цветочницы расставляли высадки кровавых гераней, жёлтых бегоний, пестроту цветов, рыбки раскричались, разложив на блестящем льду в ящиках под пёстрыми навесами разную рыбу.

К мосту, в Нейштадт, мимо брюлевской террасы проходили бездельно два человека. Один, в зелёной лоденовой накидке, серебряных очках, с длинной загнувшейся бородой, размахивал снятой белой демократической шляпой, как человек неистовый. Другой, невысокий, слабого сложения, с горбатым носом и вывернутым подбородком, обросшим кудрявой бородкой, шёл спокойно, изредка отбивая с дороги палкой камешки. Дрезденцы узнавали обоих королевских музыкантов, музидиректора Августа Рекеля и капельмейстера королевской капеллы Вагнера.

– Если Германия даст растоптать свою свободу, как растоптали её у славян в Праге, то право ж, Вагнер, не стоит уважать наш народ! Нужна готовность выступить с оружием в руках, – размахивал белой шляпой длинноволосый Рекель.

Вагнер отбил палкой камешек; на вдавленных меж острым носом и острым подбородком губах выплывала улыбка. Дело революции – это вдохновение и активность, так было в Вене, но венцы – особенные немцы, такой возможности у саксонцев нет. Что у нас? Лежащая коммунальная гвардия и стоящее королевское войско.

Они проходили мимо квадратного серого здания нейштадтских кавалерийских казарм; во дворе резко пел в утреннике генерал-марш. Вагнер улыбнулся, проговорил:

– После «Лоэнгрин» молчу; перестал чувствовать музыку, слишком сейчас её много вокруг. Вчера написал политическое стихотворение с призывом к войне против русской деспотии.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Рекель проговорил задумчиво:

– Я, Рихард, с музыкой давно кончил; «Фаринелли» забыта, – засмеялся, – я прирождённый бунтарь, хотя, чтоб стать дрезденским Маратом, мне не хватит, наверное, хладнокровия и рассудочности.

Эту гористую зелень, голубую Эльбу на окраине нейштадта оба видели каждый день, но всё ж приостановились, оглянувшись. Потом вошли в жёлтый двухэтажный дом, «Гостиницу Трёх Лип», стоявшую в зелени сада. Навстречу поклонился лакей; оба поднимались по винтовой деревянной скрипевшей лестнице. И в крайнюю комнату Рекель постучал.

– Войдите! – крикнул бас изнутри.

Раскинувшись импозантно на диване, обтянутом пёстро-зелёной материей, с сигареткой в руке лежал Бакунин.

– Славно, Август, что зашёл, – поднялся Бакунин, рассматривая незнакомого.

– Познакомьтесь, капельмейстер Вагнер.

– Очень приятно, как же, хорошо знаю вашу «Риенци», – смотрел на Вагнера пристально-смеющимися тёмно-голубыми глазами Бакунин.

У дивана сидели трое; плохой скрипач королевского оркестра, галициец, поляк Геймбергер, здороваясь с композитором, смутился; не называя имени, поздоровались другие, по выправке военные, по звенящему акценту – поляки. Бакунин – во фраке, затягивался сигареткой, продолжая с поляками разговор.

– ...я и говорю, что мы, славяне, должны дать толчок европейскому движению, без нас Европа не увидит революции, а потому смелей вперёд, с нами Бог, а кто против нас, бесы и черти? Но мы их не боимся, – раскатисто захохотал.

Он был в хорошем расположении духа, в воле, в силе.

– Так мы пойдём, Бакунин, – проговорил один из военных, с висячими тёмными усами, Гельтман.

Бакунин, поднявшись, смеясь сказал:

– Стало быть, ни пуха ни пера.

Когда Бакунин вышел с гостями, Рекель с лёгкой полуулыбкой глянул на Вагнера, как бы спрашивая: «Ну как? Понравился?»

Раздались обратные тяжёлые шаги Бакунина по лестнице, словно сейчас он обрушит дряхлые ступени. Бакунин напевал из «Гугенотов»: «В правую руку взял он саблю...» – распахнул дверь, широко и весело.

Полулёжа на диване, Бакунин рассматривал Вагнера чересчур пристально, пожалуй, даже невежливо, не сводя с него пытливых светлых глаз.

– Скоро у вас, герр Вагнер, будет тема для большой патетической музыки, оперы, симфонии, – сказал, смеясь, – разрушение старого мира во имя нового и неведомого, да, да, это не за горами. Нас не пугает выступление русских войск. Россия – это колосс на глиняных ногах, чего в Европе не подозревают. Это обнаружится именно в войнах, когда войска заразятся духом разрушения, бродящим на Западе. Вам, вероятно, странно – это я, коренной русский, открыто желаю, чтобы Россия во всякой войне, которую ни предпримет, терпела бы одни поражения?! Но этого требуют интересы революции и освобождения всех европейских народов. В удобный момент мы, славяне, первыми зажжём пожар, который обновит мир, уничтожив всё старьё изжившей себя цивилизации. Вы удивлены? А может быть, негодуете подобному скифству? – захохотал весело Бакунин, обращаясь к Вагнеру даже как бы с вызовом. – Да, да, я вот, скиф и бродяга по вашей Европе, говорю вам, что несмотря на кажущиеся силы реакции, дни Европы сочтены, и она рухнет под взрывами революции. Первые удары будут славянские, а за ними вспыхнет всё любящее и ценящее страсть разрушения. Европа сгорит дотла, и даже скорей, чем об этом думают.

Вагнером овладело смешение чувств; он сидел, откинувшись в кресле, с лёгкой улыбкой на узких вдавленных губах. Может быть, обаяние было внешнее: в

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
чёрном фраке, силач, с вьющимися по плечи тёмными кудрями, с голубыми глазами, страшно свободный, резкий в движениях, с откинутой рукой, длинными, красивыми пальцами зажавшей сигаретку, смешанный из простоты и барства, Бакунин нравился Вагнеру. Что-то неприятное было, пожалуй, в теме, но чувство очарования всё ж было, и странно-музыкальное пронеслось в облике русского, «сила огня», подумал Вагнер и, щурясь от света, прикрывая большие глаза бледной рукой, проговорил:

– Но разве вы, герр Бакунин, считаете всю европейскую цивилизацию сплошным несчастьем человечества? Мне неясно, какова в вашей концепции грядущего разрушения мира судьба хотя бы искусства, этого хрупкого и драгоценнейшего из достижений человечества? Или вы, человек большой философской культуры, обрекаете и искусство на гибель во имя неизвестного нового?

– Ну да, сегодняшнее искусство, – проговорил Бакунин, отбрасывая докуренную сигаретку, – должно погибнуть, так же, как судебные бумаги, полицейские архивы, купчие крепости. Народу не нужны эти мёртвые и подтасованные фикции, имеющие единственной целью провести в народ систему ложных представлений, заражающих его официально-общественным ядом, чтоб отвлекать от единственно полезного и спасительного ему дела – бунта! Если у нового человечества будет потребность в искусстве, оно родит новое, своё искусство.

– Не слишком ли крупный вексель будущему и неизвестному человечеству? – проговорил, улыбнувшись чуть снисходительно Вагнер. – Вы исключаете всякую преемственность и культурную традицию? Иль так уверены, что будущее человечество оплатит любой вексель?

– Оплатит, оплатит, герр Вагнер, не беспокойтесь, – захохотал Бакунин, поглаживая волосы большой белой рукой. – Впрочем, я об этом мало думаю, это уж не моя тема. Моя тема – революция, которая переворотила бы всё вверх дном. Запад сам не в силах и не способен дать эту новую, ещё неслыханную песнь разрушения. Запад погряз в так называемой цивилизации, эту необходимую человечеству революцию начнём мы, славяне, и в первую очередь, конечно, Россия. В России начнут её связанные с толщей народа подлинные революционеры, а подлинные наши революционеры, вы о них даже не слышали, – улыбнулся Бакунин, – это Степан Разин, Емельян Пугачёв, наши русские разбойники, да, да, милостивый государь, не удивляйтесь, русский разбойник – это вовсе не криминальный тип лондонских переулков, у нас в России, не прерываясь со времён Московского государства, живёт русский разбой, в котором всё предание обид, унижений, всё ожесточение народа против поработившей его власти. Это настоящая, подлинная революция, без книжной риторики, непримиримая, неутомимая и неукротимая на деле. Этого не знают в Европе, но от Петербурга до Нерчинска идёт непрерывное течение разбойничьего подземного потока. Оно легко охватит миллионы крестьян, ибо во всех нас, славянах, с давних пор – не то детская, не то демонская страсть и любовь к огню. В России живёт один нераздельный, крепко связанный мир русской революции. И не думайте, что эта революция далека, о, она близка и беспощадна! Именно она охватит пожаром Россию и перекинется на Запад, произведя наконец настоящую, подлинную революцию, которой европейские народы, отравленные и поработанные цивилизацией, не знают. Да, да, господа, наша цель – полное разрушение всех стесняющих уз и наша борьба холодная и ожесточённая. Лишь после миллионов жертв мы придём к убеждению, что насильственный переворот и борьба на жизнь и смерть между наслаждающимися и угнетёнными обновят искажённый мир. Что будет, герр Вагнер, с искусством? Современное искусство погибнет! Но мы об этом не думаем, мы думаем только о том, как бы отдать все силы подготовке пожара, как бы разрушить всё существующее сплеча, без разбора, с единым соображением – «скорей и побольше». Яд, нож, петля! Революция освещает всё во имя своё! Мы должны образовать ничего не щадящую грубую силу, безостановочно идущую по дороге разрушения. Ведь гораздо человечней резать и душить десятки и сотни ненавистных людей, чем участвовать с этими людьми в систематических законных убийствах миллионов. Разумеется, было б дико надеяться, и я думаю, что из нас никто не безумен и не надеется уцелеть в пожаре всеобщего развала мира. Ведь только стоит себе представить, что весь европейский мир с Парижем, Петербургом, Лондоном сложен в один костёр! И можно ль думать, что люди, поджигающие этот костёр, будут строить потом на его пепелище? Нет, конечно, нет, наше дело беспощадного, жестокого, не останавливающегося ни перед чем разрушения...

Увлечательная речь Бакунина казалась Вагнеру то отвратительной, то

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org прекрасной; она была похожа на взрыв гремящего оркестра, на звуки с грохотом несущегося оползня. Бакунин то обращался к Рекелю, то к Вагнеру, словно приглашая, убеждая безоговорочно, даже приказывая сейчас же следовать за первым полком армии разрушения, с которой Бакунин ринется в водоворот европейской, мировой, всё низвергающей революции.

Весенний день за окном, ветер и смех каких-то игравших под окнами детей казались недоразумением в этой комнате. Бакунин не останавливался, зовя к борьбе, к красоте огня и пожара. Никто не заметил в этот день, как протянулись от дома тени тополей, легли сумерки. Геймбергер зажёл лампу с пышным бумажным абажуром в цветочках. От света лампы Вагнер, ощущая резкую боль глаз, прикрыл глаза ладонью. В свете лампы фигура Бакунина вырисовывалась ещё размашистее.

– Раздадутся вопли страха и отчаяния! Обращать ли на это внимание? Нет! Мы должны оставаться глубоко равнодушными ко всем этим завываниям и не входить ни в какие компромиссы с обречёнными на гибель. Это назовут терроризмом, этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам всё равно. Не нам засыпать овраги и заравнивать выбоины, мы бросим сразу в будущее – чёртов мост. Вам мешает свет, герр Вагнер? – оборвал вдруг Бакунин.

– Болят глаза, ничего.

– Нет, я прикрою, – проговорил он и, застыв свет лампы широченной ладонью продолжал – тряпичные литераторы будут испускать лирические стоны, но не обращать же нам внимания на этих мартовских котов! От лести, от литературы, продающей себя, мы не должны ждать ничего, кроме гадости и сплетен. Современный театр, это бесполезное учреждение, предназначенное для развлечения самой испорченной части населения, будет, конечно, уничтожен...

Бакунин говорил долго; только когда оборвал и лёг на диван, Рекель проговорил:

– А я тебя уверяю, Михаил, если б ты знал замысел оперы Вагнера на сюжет «Нибелунгов», ты б не был так беспардонен к искусству как сегодня; ты не верь ему, Вагнер, что он так недорого ценит искусство, он понимает музыку как настоящий знаток.

Бакунин, лёжа на диване, расхохотался.

– Что музыкант перепугался, не хочется погибать в мировом пожаре на всеобщем костре? А? «Нибелунги»? Это нас не интересует, пусть герр Вагнер напишет лучше нам революционный марш, под который люди смелей пойдут на бой за разрушение.

– Э-э-а марш! Если б ты слышал его первые наброски новой трагедии «Иисус из Назарета»! Нет, мой друг, музыка Вагнера принадлежит не королевскому театру, а человечеству!

– Ладно, ладно, не рекламируй друга! И пощади меня, Рекель, с «Иисусом Христом», – отмахивался, хохоча, Бакунин, – что касается Иисуса, – повернулся он к Вагнеру, – охотно желаю вам успеха, но только прошу, сделайте его, ради Бога, человеком слабым, безвольным и погибающим. Тема музыки тут должна быть самая простая, варьируйте при композиции один текст. Пусть тенор поёт, – запел Бакунин. – Обезглавьте его! – Сопрано – Повесьте его! – А бас – Сожгите его! –хохотал залиvisto на всю комнату.

– Приму к сведению.

– Ну вот и обиделись! Да я говорю ж вам, что я скиф, ничего не понимающий в музыке, ха-ха-ха! Хоть у меня даже вон и инструмент стоит – смеялся Бакунин, – и Геймбергер говорит, что недурная машина.

Когда было не разобрать за окнами ветвей тополей, в комнате от трубок, сигареток стоял плотный дым, тогда бросили политику. Рекель вспомнил о дружбе своего отца, певца, с Бетховеном, о приключениях в Англии; Бакунин, опершись локтем о валик, полулежал на диване, курил и слушал.

– Правда, Вагнер, – проговорил он в паузу, – сыграли бы что-нибудь?

– Инструмент неплохой, – тихо сказал всё время молчавший блондин в зелёных

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
очках, Геймбергер.

Вагнер, походкой, в противоположность тяжёлому Бакунину, лёгкой, даже чуть танцующей, прошёл в глубь комнаты к роялю. Сел, бледный, слабый, поднял крышку; правая рука пробежала стремительным арпеджио.

Рекель опустил бородатую голову; Бакунин лежал на спине; похожий на белого котёнка. Геймбергер сидел необычайно тихо. Вагнеровские пальцы пробегали по клавиатуре, словно ища, потом взметнулись. Вагнер заиграл отрывок из «Летучего голландца», вместе с музыкой вскоре раздался небольшой голос; Вагнер напевал.

Поднявшись с дивана, когда Вагнер кончил, Бакунин проворчал, идя ему навстречу:

– Вагнер, это божественно! – полутёмный, громадный, во фраке, с вьющейся чёрной копной волос, Бакунин стоял, возбуждённый. – Из-за всех моих дел я не слышал музыки, ей-Богу, целую вечность! Играйте, играйте, Вагнер, пожалуйста!

2

Под лёгким, тёплым дождём на дрезденских улицах распускались липы, тополя; скверно, собачьим запахом пахли зацветающие каштаны, в темноте казавшиеся осыпанными снегом. В сумерках на Пирнайскую площадь из Грунауерштрассе, торопясь, вышли двое: один с чёрно-красно-золотой кокардой на шляпе, другой тёмный, громадный, не разобрать. Первый остановил извозчика на рыжей кобыле и, влезая в пролётку, проговорил: – Во Фридрихштадт, к Вейзерицкому мосту!

По улицам, дышавшим газовыми фонарями, пролётка тронулась, исчезнув в длинной полутемноте Острааллее. Дождь, раскатываясь по крышам, учащал; на Фридрихштрассе, у обнесённого решёткой тёмного сада извозчик остановился. Седоки вылезли, пошли в ворота, в глубину, где в темноте, в широком низком доме жил оранжевый свет огня.

3

Комната была похожа на помещичью гостиную, с фотографиями, низкими диванами, кушетками, креслами; горели четыре канделябра; народу много, говорили мало, кого-то ждали.

Вагнер, бледный и рассеянный, сидел у рояля, наигрывая одной рукой. У Рекеля закинута на лоб очки, и неистовый музыкдиректор кажется поэтому сейчас добродушным. Отстранив занавес, глядел в темноту окна ширококостый, низкий, грубоватый адвокат из Бауцена, Чирнер, крайне левый депутат саксонской палаты.

– Ищите наши звёзды на небе, герр Чирнер, а? – засмеялся поразительно худой, белозубый офицер в форме коммунальной гвардии.

– Наши ещё не светятся, Цихлинский, – ответил Чирнер. У коренастого адвоката блёклое, скуластое лицо, голова вросла в плечи; во всём холодность и недоверчивость.

– Смотрите, герр фон Цихлинский, – медленно подходя к офицеру, улыбался бородатый доктор Гауснер, – как бы от наших предприятий не перевернулись в гробу ваши благородные предки.

Офицер спокоен, очень худ, засмеялся весело.

– Мои предки довольно плохо перешли в тот мир, так что за них не беспокойтесь, доктор, они могут меня встретить с распостёртыми объятиями.

– Кто знает, – бормотнул Чирнер.

Черноглазый, густоволосый, юношей ушедший в Грецию и там получивший чин полковника греческой службы Александр Клаус Гейнце сидел молчаливо рядом с безличным герихтсдиректором из Рохлица Грунером, рассматривавшим фотографии. В кресле читал свежий номер рекелевского «Фольксблатта» розовощёкий кандидат теологии и редактор «Дрезденской газеты» Людвиг Виттих; возле него – адвокат Карл Бетхер, офицер коммунальной гвардии

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Маршалль фон Биберштейн.

– Бакунин опаздывает, – поднялся Рекель, подошёл к окну, отдернул занавес. Все слышали, как рассыпается, сияясь, расходясь, дождь.

– Темнота, – пробормотал Рекель, – всё равно как во время факельцуга, который сделали мне с разрешения полиции. – Остроте рассмеялись, знали, по выходе Рекеля из тюрьмы полиция потушила факелы у факельцуга в его честь. В это время раздался звонок

– Наконец-то, – бормотнул Рекель, взяв канделябр, быстро вышел в сени.

4

Кроме улыбнувшегося дружески Вагнера, Бакунин собравшихся почти не знал. Но вошёл свободно, шумно, приветливо, как к хорошим знакомым.

– Посмотрим, кто не опоздает, когда начнётся настоящее дело, – прохохотал на пороге с Рекелем.

Развязность, бесцеремонность этого огромного человека с непомерно громким голосом не понравились Гейнце, Грунеру, Чирнеру; с застывшей усталой гримасой Чирнер даже не поднялся с кресла. Рекель просил перейти в соседнюю, не видную с улицы комнату. Там, когда все расселись вокруг стола, Рекель в наступившую тишину заговорил:

– Присутствующие знают, для чего мы собрались, я предоставляю слово Чирнеру.

Чирнер, опершись локтями о стол, так что мослаки широких плеч выдались и тяжёлая голова вошла в плечи, заговорил ровно, голосом, привыкшим к выступлениям:

– Всем известно, что мы стоим перед роспуском палаты. Реакция, руководимая Бейстом[280] и Рабенхорстом, это уже решила, мы должны встретить удар ответным ударом. Правительство потело кровью и в то же время опасалось предпринять что-нибудь против народных представителей, но сейчас точные сведения говорят, что фон Бейст идёт ва-банк; они считают, что революция устала, а заговор немецких князей созрел. Министерство Брауна растоптано в прах, теперешнее министерство Гельда не лучше; этот выкидыш умрёт не сегодня-завтра, и на его место встанет реакция. Его, как это ни странно, убьёт не мы, а именем короля барон фон Бейст. Он бросит открытый вызов народу, и если мы не поднимем народ на борьбу, то, может быть, не достигнем ничего уж в столетие. Фон Бейст вошёл в согласие с прусским двором, и пруссаки в случае чего окажут соседскую помощь, приведя в порядок Саксонию. Но фон Бейст напрасно думает, у нас есть силы, которые мы противопоставим даже пруссакам. Наша коммунальная гвардия, «отечественные союзы», «гимнастические союзы», мы двинем их в бой с войсками реакции, и Дрезден должен стать вождём немецкой борьбы за требования народа.

Ещё больше вобрав тяжёлую голову в плечи, Чирнер замолчал. Вагнер, подперев тонкой рукой острый подбородок, обвёл собравшихся прозрачными глазами. Отодвинувшись от стола, закинул ногу на ногу Бакунин. Закинутые ноги казались громадными. Бакунин дымил сигареткой, громадный и взволнованный. Так прослушал он энтузиастическую речь Рекеля о подъёме Дрездена и всей Саксонии на бой. Это было «чересчур лирично». Взгляд Бакунина перехватил Вагнер, улыбнулся вдавленными губами. Говорили Бетхер, Грунер, Гауснер, опоздавший глава отечественного союза Минквиц. Бакунин слушал, беспрестанно поднося ко рту сигаретку. «Ах, эти адвокаты, герихтсдиректоры, полковники, судьи, редактора, это даже не композиторы», – думал Бакунин. Седьмым заговорил он.

– Позвольте беглецу, отдавшему жизнь всецело делу свободы, сказать в кратких чертах о пути, которого должна придерживаться демократия, если она хочет не только славно умереть, но и победить. – Бакунин говорил с мягким русским акцентом, ломано, иногда неправильно.

Бакунин встал. Всем, низко сидевшим, он казался нечеловечески громадным и неудобным. Бакунин был в припадке красноречия. Плыл дым сигареток, трубок, сигар. Бакунин заклинал разжечь, распалить страсти народа, требовал клятвы от всех умереть в восстании.



После него, голосом, привыкшим к команде, заговорил Гейнце о надежде, что коммунальная гвардия встанет на сторону народа. Цихлинский говорил о желании нескольких офицеров биться за конституцию. Виттих – о помощи коммунальных гвардейцев из провинции. И снова в дыму, прервав возбуждённый разговор с Вагнером, заговорил Бакунин.

– Господа! Если сведения Чирнера правильны, а в этом сомнения нет, стало быть, мы имеем перед собой врага в лице нескольких тысяч саксонских войск и ежеминутно готовых войти пруссаков. Этот враг силён, дисциплинирован и организован. Что мы противопоставим ему? Незначительную силу коммунальной гвардии и необученную массу работников? Цихлинский говорит о нескольких офицерах, это прекрасно, но если мы хотим успеха восстания, его должны вести военные, знающие технику дела, могущие оказать организованное, прочное сопротивление. Сейчас в Дрездене много польских офицеров, это опытные вожди уличных восстаний и бесстрашные бойцы...

– Ни за что! – крикнул Гейнце, встав в рост, – вы воображаете, что саксонцы, защищая свою свободу, должны сражаться под командой поляков?!

Его прервал крик сплетшихся голосов.

– Нет, этого нельзя, нельзя, ты не понимаешь обстановки, – кричал, успокаивая Бакунина, Рекель, отводя в сторону.

Дрезден предрассветно серел; уходили тени с Эльбы. Рекель с канделябром шёл через гостиную, провожая гостей. В передней, сгрудившись, разбирали одежду.

– Когда ты, Мишель, вылезешь из своего фрака?

– Рад бы, да не во что! И так боюсь попасться на глаза старым кредиторам, ха-ха-ха, кстати, ссуди-ка, брат, талер, говорят, твой «Фольксблатт» теперь здорово идёт.

Поставив канделябр на тумбу, Рекель вынул мягкий кошелёк, развязывая, полез за монетой.

– Завтра Вагнер дирижирует Девятой симфонией, если не боишься кредиторов или полиции, пойдём.

– Пожалуй, ради «Freude, schoner Gotterfunken»[281].

Рассветало тихо, безветренно; в сыроватом от прошедшего дождя воздухе пахло тополями, сыростью; соседняя католическая церковь светлым контуром обозначилась в небе; проводив гостей, Рекель, идя по двору, слышал их далеко замирающие шаги.

5

Опера флотова «Марта» в этот сезон шла без успеха. Утомлённые однообразием её партитуры, отсутствием ясных мелодий, королевские музыканты в Вербное воскресенье давали Девятую симфонию Бетховена. Дирижировал не старик Рейсигер, а молодой Вагнер. И на здании театра висели аншлаги: «Билеты проданы».

У первой скрипки оркестра никогда не было столь благородного звука; никогда так пламенно не вступали виолончели и фаготы, наполняющие зал печалью; после отшумевшей бури скрипок никогда не врывались так мощно контрабасы и гром литавр; никогда не подымалась такой страстной бурей Девятая симфония под словно отрывающимися руками капельмейстера Вагнера. Краска залила бледное лицо; взгляд странен и дик, уже потушив мелькнувшую улыбку полуоткрытого рта, он откидывается назад, брови поднялись, на щеках игра мускулов, глаза блестят, глубокая внутренняя скорбь разрешается в охватывающее наслаждение.

Из золотой королевской ложи, встав, аплодирует король. Ладонь о ладонь бьются руки блистающего моноклем барона фон Бейста, тучного военного министра Рабенхорста, храбрых генералов фон Шульца и фон Ширндинга.

За кулисами, отирая выпукло-округлый лоб, Вагнер стоял, окружённый друзьями.

– Вагнер, Вагнер, – бормотал Бакунин, пожимая его руку, – да если б при ожидаемом пожаре мира предстояло погибнуть всей музыке, мы должны б с опасностью для жизни соединиться, чтоб отстоять эту симфонию!

Вагнер слабо улыбался вдавленными губами, в нём жила ещё Девятая симфония. Сказал тихо:

– Я доволен исполнением, оркестр держал себя превосходно.

6

Стон набата дрезденских церквей начался с Фрауенкирхе, но взвился над прекрасной столицей Саксонии неистовой фугой, гудом, звоном всех набатов. Дрезденцы выбегали, не понимая: с чего бьёт непрекращающийся набат, словно туча плача колоколов налетела, разразилась на колокольнях. Не пожар ли, не горит ли город? Суэта и страх охватывали обывателей. Приказ короля об отставке министерства Гельда? Но ушло ж министерство Брауна? Роспуск палаты? Но королём обещаны новые выборы. Почему бьёт набат? И где раскатываются барабаны?

В этот жар кружат под солнцем в вышине безоблачного неба над Дрезденом ястребы, голубая Эльба трепещет парусами лодок. Лавочники, ремесленники, студенты, обыватели, торопясь, бегут ко дворцу, мешаясь с работниками зеркальной, фарфоровой фабрик, с печатниками, случайными крестьянами. В форму одеваются коммунальные гвардейцы, потому что звонят на Крейцтурм и играет, поёт генерал-марш на Альт-Маркт. На Дворцовой площади уж гудят батальоны коммунальной гвардии. Перед строем волнуется командир, купец Наполеон Ленц, окружённый батальонными командирами адвокатами Беме и фон Бранденштейном. Толпятся возбуждённо депутаты распущенной палаты; прибежал встревоженный глава отечественного союза Минквиц. Но саксонские стрелки преградили ружьями вход, и на конях перед войсками – губернатор генерал фон Шульц и комендант дворца полковник фон Фредерици.

Заливаются толпой Театральная, Дворцовая площади, Ней-Маркт, Юденхоф; уж текут к Цейхгаузу по Рампишегассе, слева с Альт-Маркт бегут через Шлоссгассе. Сквозь бушующие шляпами, непокрытыми головами, цилиндрами толпы горожан к Дворцовой площади протискивается депутация к королю: плотный, лысый заместитель бургомистра Пфотенхауер и городские советники. Толпа ревёт: «Где Бейст?! Министры не выходят к народу!! Разворочать арсенал! Гейбнера! Депутата Гейбнера!» – требуют любимого демократа из Фрейберга. Как волнующееся море, поверхность толпы, стиснутой голова к голове, беспрестанно движется из стороны в сторону, и каждое движение её перекачивается до отдалённых концов. Бьёт набат над старым Дрезденом в жарком воздухе. Из нейштадтских казарм, пришпоривая коней, к Эльбе проскакала кавалерия: губернатор приказал занять мост. Полковник фон Фредерици пехотой занял ворота дворца. Залезши на цоколь, орёт на Дворцовой площади депутат Чирнер, требуя, чтоб коммунальная гвардия шла парадом в честь конституции.

– Против войска не поведём!! – кричит ему Беме, командир 1-го батальона.

А ещё вчера гуляли дрезденцы по Брюлевской террасе, по Гроссер Гартен; никто не знал, что наутро волнение охватит город. За ночь на заборах запестрели красно-чёрные плакаты: «На помощь Вене! – Да здравствует красная республика! – Долой монархию! – На фонарь Бейста!» Кричат со стен прокламации доктора Гауснера, главы отечественного союза Минквица, вождя рабочего союза Фридриха Грилле; разбрасывают мальчишки в толпе листовку – «Огонь!» В сбегавшихся в центр, ко дворцу, толпах качающихся, мнущихся на площадях, видны особые, калабрийские шляпы с чёрно-красно-золотыми лентами, видно, бежавшие из Вены. Нет места на площади, напирают стеной, раздаются крики: «Король вюртембергский расстрелян! – В Берлине восстание!» И шумят, бегут женщины с непоспевающими детьми, студенты, рабочие, члены гимнастических союзов; толпа кричит «Ура!», Минквиц и Захариас [282] ведут колонны с чёрно-красно-золотым знаменем с надписью «Свобода!»

По Острааллее, по мостовой, в толпах народа торопился Бакунин, без шляпы, во фраке, дымя сигарой. Можно поклясться, вспоминал Париж, Карузельский выстрел, в обгоняющих саксонцах искал французов и вырывающуюся стихию бунта, которую раздуть – и она станет святыней.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Из Аугустустрассе сквозь толпы работников зеркальной фабрики на площадь протискивался Вагнер в светло-синем сюртуке, в берете, светлых панталонах. Вагнеру казалась площадь озарённой тёмно-жёлтым, почти коричневым светом, словно наступило затмение солнца, как когда-то в Магдебурге. Прорываясь локтями сквозь толпу, Вагнер чувствовал весёлое, острое возбуждение. У Юденхоф осколком мелькнуло в сознании описание Гёте канонады при Вальми. «То же самое», – бормотнул Вагнер, чувствуя, как его всё сильнее охватывает необыкновенная весёлость. Дрезден, залитые площади – словно изумительная постановка, начало гигантского представления под отчаянные, к небу несущиеся фуги набата. На ступенях дома прижали артистку Шредер-Девриен, развилась голова, она кричит с крыльца. Вагнер разобрал: возмущается стрельбой по народу в Берлине, заклинает от несчастья! Её осыпали неприличным юмором рабочие в широкополых мятых шляпах.

– Депутация к королю!

Бакунин увидел: в блестящих на солнце цилиндрах, глухих сюртуках, белых перчатках, высоко подпёрших шеи воротниках пробивается депутация. За первой вторая, третья, даже депутация правого «Немецкого союза» идёт к королю просить не вызывать несчастий в любимом отечестве. Работники осыпают депутатов смехом, но депутаты движутся к дворцу, охраняемому солдатами полковника фон Фредерици, выкатившего на Дворцовую площадь пушки.

Вагнер втиснулся на крыльцо: женщины в белых платьях, у одной красная роза в волосах, испуганно держит мальчика. Крыльцо густо окружили рабочие, меж ними Вагнер увидел нескольких музыкантов своего оркестра.

Запыхавшийся Ленц, командир коммунальной гвардии, потя, протискивается с двумя гвардейцами к Шлоссгассе.

– Долой Ленца! – кричит толпа. С колокольни св. Анны ударил набат, соединяясь в мажоре с летящими стопами над городом. Ленц толст, душно, чёрт побери. На Ленца наступают депутаты распущенной палаты. Чирнера опять подняли на руках, Чирнер орёт:

– Долой Ленца! Да здравствует коммунальная гвардия!

Разрывает воздух несущийся с Альт-Маркт генерал-марш. Но Наполеон Ленц, владелец дома дамских нарядов и придворный поставщик, не слушает Чирнера, не разрешает гвардии идти вместе с чернью.

– Король хочет бежать! – шумит толпа. У дворцовых ворот рабочие и студенты схватили королевских конюхов с четырьмя бьющимися конями. Народные толпы всё ожесточённой окружают дворец, столпились возле гостиницы «Город Рим» и «Hotel de Saxe». У Цейхгаузпляц особенно силён напор, резки, угрожающе выкрики и лица; тут напирают гимнастические союзы, подмастерья, молодёжь, бушуют, колыхаясь, у цейхгауза. Кто, чего ждёт в солнечном Дрездене? Чего хотят толпы, окружив дворец? За решёткой сада перед цейхгаузом прохаживается взволнованно блондин, чуть косящий глазом, лейтенант Круг фон Нидда, не снимая руки с эфеса сабли, то выйдет, взглянет на толпу, то уйдёт, волнуется лейтенант, не слышит от шума толпы собственных шагов. Охраняют цейхгауз под командой полковника Дитриха две роты пехоты да семьдесят артиллеристов. Но треск, крик, лом. И, прыгнув с лестницы, выбежал чуть косящий глазом лейтенант Круг фон Нидда. Деревянная ограда рухнула, повалившись. Не услышанный толпой, раздался крик лейтенанта, и вместе с криком из цейхгауза ударили смешавшиеся выстрелы в густоте жаркого дня. За ружьями грохнула картечь. И на запруженной тысячами шумящих людей площади стало вдруг необычайно тихо. Но вот раздались стоны, и всё закипело, заварилось котлом: толпы гимнастов, студентов, рабочих ринулись под выстрелы, часть отхлынула назад, давая падающих и бегущих. Побежали по площади, по Зальцгассе, кричат: «Измена! Стреляют в безоружный народ! Нас предали! На баррикады!» Толпа растекается, но разве знает, куда бежать? И странно, что на только что переполненной площади – пустота. За поваленной решёткой видны солдаты, полковник Дитрих, двое лейтенантов; перед решёткой без движения лежат штатские, страшно раскинув руки. Раненный пулей в живот, умирает в цейхгаузе блондин с чуть косящим глазом, лейтенант Круг фон Нидда; и там же застрелился в припадке неврастении лейтенант Криц.

Вагнера обогнали; четверо тащили старика рабочего с закатывшимися глазами, как из стекла. Собственно, нести его незачем, надо положить, оставить, куда несут его незнакомые люди? Кругом бегут; побежал и Вагнер, потому что бежит

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
вся густая толпа. «К Старому ратгаузу! Пусть дают оружие! На баррикады!». На углу Бадергассе торговка, побагровев, стыдит мужчину, кричит – пфуй! пфуй! В Шлоссгассе громят придворный магазин дамских нарядов Ленца, летят из окон корсеты, манекены Из Шефельгассе, разрывая противоположным движением толпу, движется колонна вооружённых. В светлых шляпах с лентами, кокардами, чересчур возбуждены, с криком машут ружьями, палками, железными штангами. На тротуаре остановился горбун, смеясь, потирая руки. «Как гётевский фанзен в «Эгмонте», – промелькнуло у Вагнера.

Возле Старого ратгауза бушевала буря; толпы, залившие площадь, кричат: «Оружия!». Двери ратгауза, куда всегда степенно ходили городские советники, не раскрыты, а словно разорваны настежь. Балкон заполнен, с него охрипше кричит в толпу взлохмаченный, без шляпы, Чирнер:

– ..или полная победа, или гибель в бою за наше дело!

На балконе депутаты Кехли, полковник Гейнце, тайный советник Тодт, доктор Гауснер, Минквиц, Грунер.

На площади в толпе Вагнер увидел прислонившегося к фонарю Бакунина во фраке, с сигарой.

– Ну что? – протиснувшись, проговорил Вагнер, – вы-то во всяком случае должны быть довольны!

– Немецкий народ самый беспомощный, какой я знаю, – словно нехотя ответил Бакунин, – разве вы не видите кругом полную беспомощность, в то время как должна быть проявлена вся сила и ненависть? Первым шагом всякого восстания должно быть уничтожение правительственных зданий, а здесь об этом даже не думают! – Бакунин затянулся сигарой – Такие революции с первой минуты обречены на поражение, у революции должна быть смелость отчаяния и холодно выставленная цель, а тут я стаю в детской комнате, где наказанные дети обдумывают бунт.

– И это вы?! Бакунин?! Это говорите вы, обер-фейерверкер революций и скиф в Европе?! – Вагнер был почти возмущён.

Сквозь набат с Крейцтурм раздавались барабаны, на площадь с Крейцгассе входила коммунальная гвардия; но впереди неё не Беме, не фон Бранденштейн, не Ленц, а неизвестный рыжий малый в белой шляпе, с красным галстуком во всю шею. Гвардия шумно, пёстро встала перед ратгаузом, командиры пошли к Чирнеру за распоряжениями. К Бакунину и Вагнеру подошёл взволнованный придворный архитектор Семпер в форме коммунального гвардейца и в шляпе знаменосца. Сняв шляпу, профессор, отирая пот со лба, с ружьём в руке, заговорил возбуждённо, обращаясь не то к Вагнеру, не то к незнакомому Бакунину:

– На Вильдсруфергассе, у ресторана Энгельса, на Брудергассе, на Постпляц строят баррикады, но помилуйте! – сквозь возбуждение захохотал Семпер. – Это ж игрушки, пустая трата времени! Отсутствуют примитивные знания постройки! Такие баррикады не окажут никакого сопротивления! – и знаменитый архитектор замахал руками. Бакунин засмеялся.

– Милый Семпер, – проговорил Вагнер, – в чём же дело? Ваша художественно-артистическая натура в соединении с добросовестностью, да идёте в ратгауз, я познакомлю вас с Чирнером, они будут в восторге, если вы возьмётесь за постройку баррикад!

По лестнице ратгауза им навстречу разномастные, чем попало вооружённые люди тащили ящики с свинцом, мешки с порохом, четверо рабочих волокли длинную железную штангу; такую ж пилили у ратгауза, готовя куски железа вместо картечи для пушек. Семпер, взяв под руку Вагнера, тихо говорил:

– Часть гвардии, где я, насквозь пропитана крайне демократическим духом, вы понимаете, Вагнер, что мне всё-таки, как королевскому чиновнику, неудобно.

Вагнер хохотал, проталкиваясь:

– Семпер! Да о ваших баррикадах будут писать в истории, как о шедеврах Микеланджело! Что вы! Маршал! – закричал Вагнер обгонявшему их по лестнице офицеру. – Познакомься.

– Мы знакомы.

– Да постой, – схватил его Вагнер, – профессор говорит, что баррикады на Вильдсруфергассе никуда не годятся, а он построит вам настоящие!

– Идёмте, идёмте за мной, – и Маршалль фон Биберштейн, схватив Семпера за локоть, побежал с ним, расталкивая всех, наверх.

Главная зала ратгауза, выходящая окнами на Альт-Маркт, набита людьми; шумели депутаты; многие стояли, словно не понимая, зачем они здесь; в углу толпились возмущённые члены магистрата во главе с полнотелым заместителем бургомистра Ффотенхауером. Вспотевший, растрёпанный, без галстука, без воротника Чирнер с злым лицом кричал в толпу:

– За Гейбнером послано! Послано! Да успокойтесь, к вечеру приедет! Но надо сейчас же выбрать «Комитет общественной безопасности»!

– Сколько убитых? Двадцать?!

Бакунина в зале окружили офицеры-поляки с представителями польской «централизации» Гельтманом и Крыжановским во главе. Бакунин говорил с ними по-русски, маша рукой; польские офицеры перебивали. В комнату совещаний двинулись депутаты; оттуда выбежал Цихлинский, закричал:

– Бакунин! Зовут!

– Мы будем ждать тебя в «Safe Francais», – беря за руку Бакунина, проговорил Гельтман.

– Хорошо, я буду настаивать! – по-русски ответил Бакунин и скрылся за дверью.

В боевой форме, с ружьём за плечом, рыжеволосая художница Паулина Вундерлих, окружённая тремя девицами, одетыми в форму коммунальных гвардейцев, взобравшись на подоконник, говорила в зале взволнованную речь о свободе...

7

Когда заголубела и рассвела Эльба, Вагнер, заснувши час назад, проснулся: набат дрезденских колоколен не прекращался. Минна, жена, не понимала оживления мужа; он торопливо прошёл в рабочую комнату, ходил там, напевая, приостанавливался, отбивая такт. Наконец в комнате Вагнера всё стихло, он сел к столу дописывать вариант «Смерти Зигфрида». В воображении Вагнера металась богатырская фигура Бакунина.

Словно землетрясение за ночь раскачало мостовые Дрездена, вырвало камни, гранитные плиты тротуаров, бесчисленные руки растащили их. Брюдергассе, Шлоссгассе, Вильдсруфергассе, Брейтгассе, сто дрезденских улиц и переулков пересеклось баррикадами, завалась мешками, почтовыми каретами, дрожками, тачками, камнями, плитами, мебелью. Стены угловых домов пробиты; дома заняты поющими «Марсельезу» мятежниками.

8

На Альт-Маркт трудно пробиться; это парижская площадь: ружья, крики, кокарды на шляпах, знамёна, ленты, «Марсельеза», смех, красные галстуки. С Крейцтурм несутся барабанные сигналы сбора коммунальной гвардии. А в зале совещаний, где приходы-расходы вели городские советники, в креслах – охрипший Чирнер, Грунер, Минквиц, Гейнце и тут же, в отчаянии закрыв лицо обеими руками, умеренный депутат Карл Тодт. Кричат – Бакунин, Цихлинский, Маршалль, наборщик Борн[283], секретарь почтового управления Мартин; в стороне представители магистрата с Ффотенхауером во главе. Чирнер кричит им, держа сам себя за охрипшее горло:

– «Комитет общественной безопасности» назначает полковника Гейнце командующим всеми войсками!

От Цвингера – треск ружей; пошли в бой без приказаний командующего. Бакунин, с растерзанной манишкой, без воротника, во фраке, раздражённо

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org перебил охрипшего Чирнера:

– Если будете болтать так же, как в вашей палате, послезавтра вас повесят на этой же площади!

– Так что ж вы предлагаете?

– Прежде всего отдайте общее командование в более твёрдые руки! Люди уже умирают, всё идёт бессмысленно, без плана, неразбериха вселяет в сражающихся панику. Нет ни одной путно построенной баррикады, кроме Семперовых! Прикажите Семперу руководить постройкой всех баррикад и ведите наступление на дворец всеми силами!

– Я не военный, не главнокомандующий! Кроме того, мы ждём Гейбнера!

– Гейбнера! – горько расхохотался Бакунин. – Какое же вы имели право вызвать людей на уличный бой, когда у вас нет смелости без какого-то Гейбнера! Опытные люди, знающие военное дело, хотят отдать вам свои знания и жизни, а вы их отталкиваете потому, что они не подданные саксонского короля! Сражающиеся на баррикадах не знают ни эллинов, ни иудеев!

В окно с площади врывалась «Марсельеза»; ветер рвал жёлтую занавесь; «Марсельеза» близилась; на площадь входили колонны рабочих, окружив гружённые провиантом телеги.

9

Отто Гейбнера знала вся Саксония как честного демократа и основателя гимнастических союзов; мечтательный, с росшей из-под шеи золотистой бородой, увеличивавшей впечатление детскости, если б Гейбнер был сейчас в Дрездене, бросился б к королю умолять не доводить страну до кровавой бойни; а если б король не послушал Гейбнера, Гейбнер умер бы от солдатских пуль.

Но жена, Цецилия, рожала. Гейбнер сидел у её постели. Гейбнер любил жену, семью, друзей, воскресные прогулки в окрестностях горного родного Фрейберга. Цецилия лежала, словно освещённая внутренним светом. Её побледневшую руку Гейбнер держал в своей, тихо называя жену «белой голубкой» и говоря о божественности их любви. Цецилия улыбалась мучительно и светло.

К серому дому, окружённому палисадником, где распустились тюльпаны и зацветала черёмуха, подъехали дрожки. Плотный запылённый человек несколько раз дёрнул звонок.

В фигуре Гейбнера жила лёгкость, спортивность, несмотря на неправильно двигающуюся, повреждённую левую руку. Ясные глаза и необычайная спокойность лица были таковы, что с Гейбнером даже честным людям становилось не по себе от этой его ясности.

Гейбнер знал, что в столице неладно, но роспуск палаты? отставка министерства? огонь по народу? жертвы? прусская помощь?.. Под дагерротипом деда, саксонского священника, комкая письмо, Гейбнер проговорил:

– Если я звал народ на борьбу за демократию, я считаю бесчестным уклониться в тот момент, когда народ доведён до отчаяния.

Гейбнер простился с посланным. Тихо пошёл к спальне, бесшумно, осторожно открыл дверь. Цецилия лежала, утомлённая схватками. Гейбнер нежно проговорил:

– Цили, голубка моя...

10

– Гейбнер приехал, Гейбнер! – грубыми голосами кричали на Альт-Маркт толпящиеся вооружённые. Гейбнер снял широкополую шляпу с золотистых волос, улыбался, приветствуя трясших ружьями, косами, штангами, вилами, топорами, и, входя в двери ратгауза, подумал: «Не дрезденцы, из предместий». Торопливо поднимаясь по лестнице меж тащивших оружие людей, помахивая правой рукой, левая была без движения, Гейбнер думал: «Такого Дрездена не ожидал, это почти катастрофа». В зале Гейбнер шагнул через спящие,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
застлавшие пол тела; первым увидел его Цихлинский.

– Наконец-то, Гейбнер! – жал его руку двумя руками этот худой, белозубый офицер, приветствуя вождя саксонской демократии.

– Кто здесь из депутатов? – спросил Гейбнер.

– Чирнер и Тодт.

– Только? – удивился. – А другие?

Цихлинский развёл руками:

– Ещё Грунер здесь.

Посреди комнаты совещаний Гейбнер стоял озабоченный, взволнованный. Таким увидел его Бакунин. «Это, кажется, лучше Тодта и Чирнера», – подумал, здороваясь с Гейбнером.

11

Прусский гренадерский полк имени императора Александра, укомплектованный однолицыми, похожими на телят бранденбуржцами, одетыми ладно, накормленными до отвала, под командой полковника графа фон Вальдерзее[284] спешил к станции Бургсдорф и маршировал под флейты и барабаны в тумане к Дрездену. Полковник граф фон Вальдерзее ехал впереди полка на гнедой кобыле, помахивавшей стриженным хвостом. Ветер дул с юга, с Дрездена, в лицо. Гренадеры видели уж погасавшие в туманах огни предместий Нейштадта. Вальдерзее позёвывал, поднося руку в перчатке к усатому красивому рту.

12

На рассвете король Фридрих-Август вместе с королевой, стоя на коленях, молился в придворной капелле; свита, тоже на коленях, окружала короля. Вошёл высокий барон фон Бейст, тихо доложил королю, что войска готовы.

Рассветным бивуаком разбили на замковом, стиля французского ренессанса, дворе солдаты саксонского короля. За ночь отбили атаки на Цвингер и арсенал; бои расстраивают дисциплину; саксонские стрелки на дворе стояли нестройной, шумящей толпой, перемешавшись с офицерами. Многие ещё не вытрезвились от пива королевских погребов. В тумане двора, у башен с косыми окнами, пылали дымным огнём непотушенные факелы. Барабан ударил подъём; стали разбирать ружья; перед строем встал полковник фон Фредерици, и наступила тишина.

Раздался шум идущих из дворца многих ног; полетела по двору команда; окружённый министрами, генералами, неровно, быстро, махая толстыми руками, вышел закутанный в синий плащ Фридрих-Август и, выждав паузу, голосом, полным волнения, закричал:

– Солдаты! Мои граждане оставили меня! Призрак республики беснуется в городе! Вы одни являетесь моей защитой! В рядах саксонских солдат нет предателей короля и отечества! Солдаты, я доверяю вам! Солдаты, могу ли я полагаться на вас?!

Замковый двор ожил; понеслось тысячеротое: «Да здравствует король Фридрих-Август! Хох! Хох!», расстроилось каре, перемешался строй, превратясь в толпу, приветствующую короля. Из замковых погребов дворцовая прислуга катила по каменным плитам двора бочки вина и пива; кипела весельем, хохотом крепкая солдатская толпа. Быстро, неровно, маша толстыми руками, неверно ставя ногу на каблук, удалялась во дворец полная фигура в синем плаще. У набережной Эльбы под охраной роты капитана фон Бюнау ждал белый пароход, чтоб спасти короля, увозить в скалистую крепость Кенигштейн; через Зелёные ворота в тумане вышел к Эльбе король.

13

Над Дрезденом поднималась заря. Полковник граф фон Вальдерзее был истый пруссак; Дрездена не любил за кривизну, за изгибы, полукруги, отсутствие прямолинейности. Военное заседание шло в Нейштадте, в здании гауптвахты.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Старик генерал фон Ширндинг, командующий войсками короля, сидел рядом с полковником и его помощником майором фон Редерном. Седой Ширндинг знавал иные времена, делал марш с Наполеоном в Россию, на его глазах под Зальфельде пал принц прусский Луи-Фердинанд. Стар, свиреп был старик, и верный слуга королю.

На заседании присутствовали министры, кроме них – генерал фон Шульц и полковник фон Фредерици. Вальдерзее говорил, обращаясь больше других к старику Ширндингу:

– Найдись среди мятежников военный талант, скажем, гений, – улыбнулся Вальдерзее, – они предпримут, конечно, всё с военной точки зрения возможное, но я не думаю, чтоб в ратгаузе сидел новый Наполеон.

– Портупей-юнкер Гейнце, – с омерзением бормотнул Ширндинг.

– Этот Гейнце, – сказал Фредерици, – у них только в роли паяца, военное командование там в руках русского беглого офицера, он терроризировал так называемое «временное правительство» и вместе с поляками взял командование в свои руки. По его плану они забаррикадировали город, а лозунг этого зверя из Парижа – огонь и грабёж.

Вальдерзее проговорил:

– Бакунин? Слышал о нём ещё в Познани; вместе с Чирнером и поляками эта банда достойна виселицы. Но, кроме Гейнце, там есть немецкие офицеры, полковник?

– Несколько человек, обер-лейтенант фон Мюллер... фон Цихлинский.

Командир гренадерского полка имени императора Александра Вальдерзее заговорил о приёмах гражданской войны в городе и о плане борьбы с повстанцами.

– Существуют четыре способа боя: осада, бомбардировка, общий штурм и медленное, детально разработанное наступление, с взятием отдельных укреплений врага. Я думаю, нам придётся остановиться на последнем. Осада, классический пример чего показал Генрих IV против Парижа, нам мало подходяща, ибо восстание должно быть раздавлено с возможной скоростью, дабы не перебросилось на всю страну и не вызвало поддержки в других немецких государствах. Бомбардировка, что прекрасно применил Виндишгрец к Праге? Я думаю, что орудий и пороху у нас достаточно...

Тучный министр Рабенхорст, волнуясь, перебил:

– Простите, полковник, Его Величество передал мне, что ему было б горько разрушать столицу бомбардировкой.

– Именно. Я понимаю, господин министр, – проговорил Вальдерзее, уставив прозрачные глаза на карту Дрездена, – общий штурм. – Вальдерзее задумался. – Кавеньяк блестяще провёл его в Париже – это было классически, но негодяи засели в домах, к тому ж расположение Дрездена, изогнутые улицы... я думаю, – обратился он к насупленно сидевшему Ширндингу, – надо вести комбинированный способ действий.

– То есть? – низким басом проговорил Ширндинг, не любивший пруссаков.

– Повести частичный штурм, закрепляя взятое «войной домов», то есть во взятых домах сапёры будут пробивать стены, и мы будем проникать в дом за домом, беря всю улицу до конца. Мои гренадеры это знают уже по Берлину, при захвате улиц будем брать левую сторону, тогда солдаты при обстреле спрятаны почти всем корпусом.

Вальдерзее говорил и карандашом показывал по карте:

–...в центре Георгиевские ворота, отсюда поведём картечный огонь против Шлоссгассе, тут в отеле «Город Гота» главная база инсургентов; на левом фланге поведём наступление из Аугустустрассе, из Рампишегассе, с угла Топфенштрассе на Морицгассе, где засели они в отелях «Город Рим» и «Hotel de Sahe», на правом от Цвингера двинем на Вильдсруферпляц, на зеркальную фабрику и Софиенкирхе...



В комнату совещаний смешной кургузый мальчишка, сын швейцара Ницше, улыбаясь, внёс на подносе кофе. За столом сидело временное правительство Саксонии: светловолосый Гейбнер, разбитый, охрипший Чирнер, молчаливо-испуганный Тодт. Рядом с Гейбнером – секретарь правительства Грунер и чахоточный почтовый чиновник Мартин. Странно бездейственный, ходил Гейнце, не снимая серого пыльника и серой острой шляпы. На подоконнике озлобленно попыхивал сигарой Бакунин; возле него члены комиссии обороны Цихлинский и Маршалъ.

Знали о бегстве короля, утяжелившем положение восставших, о том, что пруссаки Вальдерзее уже повели наступление, правым флангом ударив от Цвингера на зеркальную фабрику, а левым упёршись в Неймаркт – на фрауенкирхе. Чирнер, злой, писал воззвание к народу «Граждане! Король и министры бежали. Страна без правительства предоставлена самой себе. Конституция оболгана. Граждане! Отечество в опасности! Поэтому стало необходимым образовать временное правительство...»

В углу лейтенант Мюллер набрасывал воззвание-призыв к солдатам-саксонцам не идти с врагами Саксонии пруссаками. Обращение к Франкфудту написал Тодт. Когда ж Гейнце, остановясь у стола, разложил раскрашенный план Дрездена и заговорил, указывая карандашом позиции войск временного правительства, все обступили стол.

– Нейштадт с вокзалами на правом берегу Эльбы, мост, цейхгауз, брюллевская терраса, дворец, Цвингер, оранжерея заняты пруссаками и войсками короля, – показывал Гейнце отмеченное зелёным карандашом. – Мы держим весь Альтштадт, за исключением дворца и Принценпалэ, все эти улицы и переулки Альтштадта нами забаррикадированы, всего у нас сто восемь баррикад.

– Сколько войск на передовых баррикадах? – перебил тихо Гейбнер.

– Сказать трудно, всего мы располагаем тысячами восемью бойцов, в Альтштадте четыре батальона коммунальной гвардии.

– Скажите, по крайней мере, каковы эти войска, сколько коммунальной гвардии и сколько сбродных частей с вилами и косами, – насмешливо перебил Бакунин, – а также озаботились ли вы, господин полковник, достать снаряды, ведь пока что оправдана только старая немецкая пословица «Not bricht Eisen» [285], бойцы вместо картечи режут железные штанги и начиняют этим пушки!

Гейнце ненавидел Бакунина; указывая карандашом позиции войск временного правительства, заговорил, обращаясь только к Гейбнеру. Бакунин видел густоволосую чёрную голову Гейнце, и эта голова казалась ему не только не революционной, но предательской.

– Герр Гейбнер, во имя защиты революции, спросите полковника, разработан ли план обороны против наступления прусских войск, которое уже началось?

Гейбнер, может быть, не повторил бы вопроса Бакунина главнокомандующему, но с Эльбы свежо ухнуло первое орудие.

– Слыхали? – расхохотался Бакунин. – Пруссаки знают своё дело, этот зверь прыгает быстро, у него хороший берлинский опыт! Это вам не саксонские стрелки!

– Господин полковник, у вас есть детально разработанный план защиты?

– Излишне говорить, герр Гейбнер, если временное правительство дало мне неограниченные полномочия...

Но Бакунин заговорил резче, трясая кудлатой львиной головой, сжимая кулаки. На него глядели, слушали все.

– Именем революции требую представления подробного плана обороны и имею конкретные предложения! Прежде всего, что касается Альтштадта, то на нашем левом фланге мы должны употребить все силы, чтобы провести баррикады от дома Кальберля до театра, Цвингера и конюшен, тогда б мы могли попытаться захватить мост и отрезать Альтштадт. Предупреждаю всех, – кричал Бакунин, –

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
что если сейчас же мы сами не бросимся в бой со всеми нашими силами, очертя голову, то нас пруссаки раздавят, как мышей. Но нам надо действовать не только в Дрездене, надо взорвать железнодорожные пути от Редерау к прусской границе и от Бауцена до Лебау, перерезав этим пруссакам путь и выиграв время! От имени своего и моих друзей поляков, помощь которых господин Гейнце, не имеющий офицеров, тем не менее отклоняет, заявляю, что баррикады временного правительства, за исключением баррикад Семпера на Вильдсруфергассе, Шефельгассе, между «Hotel de Saxe» и «Римом», все построены никуда не годно! Далее – провиантом люди снабжаются плохо, дисциплины, нет, точного плана действий нет, нет и общего командования. Революционеры сражаются как попало, обороняются и наступают, как хотят, всё это чревато роковыми последствиями, если мы не образумимся сейчас же. У нас должна вестись не тактика уличных боёв, а прусская тактика войны домов, мы должны брать отдельные дома, укрепляя их...

– Выгоняя жителей? – перебил Гейбнер. – Мы, провозгласившие священный лозунг собственности, будем выгонять граждан и истреблять их имущество?

– Это разбой, хороший для банд! – закричал Гейнце.

– Но это ж, чёрт возьми, революция или нет?! – громово закричал Бакунин, бешеный, с потемневшими глазами. Он ненавидел сейчас их всех больше, чем самого Вальдерзее. – Во имя революции требую сейчас же принять все меры защиты будущей свободы и жизни тех, кто отдался в ваши руки! Мы должны вырвать инициативу боя из рук Вальдерзее и нанести врагу удар! Я предлагаю взорвать королевский дворец! Да, да, милостивые государи! Здесь у меня есть рабочие, они готовы с баррикады на Шлоссгассе через главный шлюз проникнуть к Георгиевским воротам и подложить мину в четыре центнера пороха, проведя шнур к баррикаде. Это пламя покажет, что народ пришёл в движение. Этого будет достаточно, чтобы вызвать панику и страх у врага, и этим в то же время мы выбьем их из главной цитадели!

На площади шумели, пели, с Зеегассе двигались вооружённые колонны подкреплений из Фрейберга в форме венгерских войск. Эхом раскатывались выстрелы со стороны дворца, треском, перекатами в звучном утреннике. Где-то глухо прорвалось и замерло «ура»; в этот момент в комнату вбежал бородатый, очкастый, задыхающийся Рекель.

– Что ж сидите?! – закричал он, как пьяный. – Пруссаки наступают из Аугустустрассе, и если там не будет подкрепления, наши не выдержат!

Гейбнер встал, побледневший, словно обескровленный.

– Полковник Гейнце, – проговорил он громко, – отправьтесь на баррикады, взяв пришедшие колонны подкреплений.

Гейнце, в сером пыльнике, острой шляпе, вышел. За ним пошли члены комиссии обороны, лейтенанты Маршалль, Цихлинский и Мюллер. Из комнаты совещаний в зал вышли Бакунин и Рекель Гейбнер остался у окна, прислушиваясь к бою.

– Каждый выстрел разрывает мне сердце, – проговорил тихо Гейбнер, глядя на площадь.

– Баррикады и близлежащие дома надо обложить смоляными венками, – возбуждённо говорил Бакунину Рекель, – бойцы у «Hotel de Pologne» требуют венки, если бойцы не выдержат, мы подожжём венки и не допустим солдат!

– Поди предложи, когда они в разгар революции твердят о священной собственности домовладельцев! Что ты сделаешь с этими мещанами, я даже не убеждён, что Гейнце неумышленно бездействует; господин Тодт, по крайней мере, своих чувств не скрывает и беспокоится только, как бы революционеры не совершили какой-нибудь «неправомерный поступок», то есть не подожгли бы дом иль не расстреляли кого-нибудь, а когда расстреливают революционеров, он разводит руками.

– Мещане, мещане, но что ж ты будешь делать, это временное правительство, и народ верит Гейбнеру!

– У Гейбнера жена родила! – засмеялся Бакунин, безнадежно махнув рукой. – Мне кажется, что он больше думает о жене, чем о революции, иль, во всяком случае, уверен, что революция побеждает так же легко, как рождает его

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org супруга.

По лестнице ратгауза продирался сквозь толпу, бежал семнадцатилетний юноша из гимнастического союза, связной 1-го батальона с Фрауенгассе; по запыхавшемуся лицу Бакунин понял, что сведения неблагоприятны.

– Пойдём, – проговорил, идя за юношей в комнату совещаний.

Гейбнер писал воззвание к народу: «Граждане! Рабство или свобода?! Выбирайте! Ваша судьба решается сейчас. Вся судьба немецкого народа здесь. Другого времени у нас нет...»

– Герр доктор, – задохнулся от бега, глотая слова, юноша, – от командира, лейтенанта фон Мюллера с Неймаркт, с Фрауенгассе, бойцы не выдерживают, бросают баррикады, уже бросили «Город Рим», – от страха, от бессонницы слёзы выступили на глазах юноши.

– На Неймаркт?! – Гейбнер встал, схватил шляпу. Хрупкий, голубоглазый Гейбнер сейчас был величествен. – Скажите лейтенанту Мюллеру, что я еду! – сказал опрометью бросившемуся в дверь юноше.

– Чирнер, вы останетесь здесь, подпишите и отдайте в печать приказ по баррикадам, а я еду на Неймаркт, кто со мной? Бакунин, поедemте!

15

От Аугустусштрассе и Цейхгаузпляц, левым крылом опершись на окрестности Фрауенкирхе, пруссаки графа фон Вальдерзее двигались на Семпером укреплённую баррикаду. Зоркоглазые бранденбуржцы утомили баррикады гимнастических союзов метким и непрерывным огнём. Из-за мешков с песком, камней, столов отстреливались гимнасты; но, перебегая игрушечными пешками по Неймаркт, близились бранденбуржцы, и первая баррикада, под командой лейтенанта фон Мюллера, смялась и дрогнула, потому что на бруствере семнадцатилетним юношам не захотелось умирать. Но веснушчатому крепышу, сыну саксонского генерала лейтенанту фон Мюллеру было всё равно. Мюллер даже предпочитал виселице баррикады, хрипло, деревянно крича, он размахивал саблей посреди улицы.

– Куда?! Назад, сволочь! На баррикады! – и обезумевшего желтолицего человека Мюллер, схватив, с размаху ударил эфесом сабли в зубы.

Гейбнер и Бакунин скакали по улице. Бакунин в изорванном, измятом фраке; Гейбнер в распахнувшемся сюртуке; Гейбнер в седле сидел прекрасно, натянутые штрипками брюки обтянули сухие колени. Возле Мюллера Бакунин соскочил с тяжёлого упряжного коня.

– Братья! Граждане! Солдаты революции! – закричал надтреснуто Гейбнер. Гейбнер сейчас силён и смел. Бросив поводья первому подбежавшему, кричал голосом отчаянным, которого не слышал сам.

– Братья! Граждане! Вперёд! – Гейбнер бросился на оставленную баррикаду. Вблизи бегущие остановились, далеко бегущие повернулись. Гейбнер с лейтенантом Мюллером и кучкой молодёжи бежали к брошенной баррикаде.

– За свободу! – машет правой рукой Гейбнер, перекошенным ртом кричит Мюллер. И к баррикаде стали возвращаться гимнасты. Пули свистят, бьются в голубую стену соседней колбасной, отбивают штукатурку; в дома тащат раненых. Гейбнер, не слыша своего голоса, с веющими вокруг головы золотистыми волосами, в разлетающемся сюртуке, кричит:

– Рабство или свобода?! Ваша судьба решается сейчас! Вся судьба немецкого народа здесь, на этой баррикаде!

Бойцы залегли, баррикада открыла огонь, кто-то закричал: «Бегут, бегут». Это юноша, связной лейтенанта фон Мюллера, крича, стреляет, лёжа у самых ног Гейбнера. Выстрелы заварились отчаянной кашей, слышно: «Бегут! Бегут!» – и видно: игрушечными фигурками убегают пруссаки по Неймаркт. Из-за косяка по пруссакам бьёт из штуцера лейтенант фон Мюллер, выкряхтывая площадные ругательства. У противоположной стены скусывает патрон, стреляет по пруссакам Бакунин из одноствольного кухенрейтера[286].

Баррикада замолчала, когда Неймаркт стала пуста. Гейбнер, лёгкий, Бакунин, громадный, поднялись в сёдла. Гимнасты радостными глазами провожали Гейбнера. Гейбнер и Бакунин ехали шагом по Фрауенгассе.

– Гейбнер, – с седла говорил Бакунин, когда в узкой улице ехали, касаясь друг друга коленями, – мы разные люди, ваши взгляды умеренны, но после того, как вы действовали, не щадя жизни, как лучший герой революции, верьте мне, меня не пугает ваша умеренность, и к чему бы ни пришла революция, знайте, моя жизнь в вашем распоряжении. Я понял, что сейчас не о чем спрашивать, а нужно рискнуть головой.

Гейбнер улыбнулся улыбкой, размягчённой мягкостью глаз.

– Бакунин, я не чувствую себя даже политиком, – сказал Гейбнер, – я не наделён сильными страстями, но с пути, на который я встал в защите конституции, я не сойду. *Qui vult quod antecedit, vult etiam quod consequitur*[287].

– Я латыни не знаю, – бормотнул Бакунин.

– По старонемецкой пословице это значит – кто сказал «А», должен сказать и «Б» Если вы поставили на эту же карту жизнь и хотите отдать её на этих же баррикадах, то будем друзьями.

Гейбнер протянул Бакунину руку, и Бакунин крепко её пожал.

– Я поеду на Цангассе, а вы езжайте на Вильдсруфер, – сказал Гейбнер.

Тяжёлый упряжный мохнатый конь не хотел отъезжать от кобылы, Бакунин ударял его каблуками, повернул, тронул рысью. Возле Вильдсруфергассе Бакунину показалось: мелькнула, перебегая улицу, худая фигура Вагнера, в берете, в широких панталонах, синем сюртуке; даже показалось, что фигура композитора выражала веселье.

17

Атаки на баррикады Семпера были отбиты. С рудокопами отстрелялся Бакунин и на Брейтештрассе, но бойцы ждали ночи, как спасения, чтоб, упав темнотой на Дрезден, остановила б набатные колокола и выстрелы, повалив шпили дворцов, колокольни, всё смешав чернотой. Ночь не хотела приходить, но пришла.

В зале ратгауза, поджав ноги, на матрасе в испачканном фраке сидел Бакунин. Рядом полулежал, наливал в жестяную кружку кофе из большого кофейника Рекель; сидели Маршал, Цихлинский, Мартин, группа поляков: в светло-синих широких панталонах, по-турецки поджав ноги, отпивал кофе Вагнер, возбуждённо говоря:

– Это блестящая, блестящая победа! – Вагнер был даже красив, в необычайно радостном возбуждении обращаясь то к Бакунину, то ко всем окружающим. – Такие переживания бывают раз и далеко не во всякой жизни! Я пробрался под обстрелом с вечера на Крейцтурм, но представьте, туда залезло уже несколько человек, и между ними учитель Бертольд, пытавшийся завязать со мной во время боя сложнейший философский спор на самые отвлечённые вопросы религии и права!

Все расхохотались.

– У башенного сторожа я достал тюфяк и устроился почти что с комфортом. И вот, на рассвете, вы подумайте, это была изумительная картина! С одной стороны беспрестанное, жуткое гудение колоколов, с другой – свист прусских пуль, а из сада у Крейцтурм слышу в начавшемся бою самую настоящую песню соловья! Нет, нет, это был удивительнейший рассвет в моей жизни!

– Вагнер, – прожёвывая колбасу, улыбался Бакунин, – если б вас сделать главнокомандующим революцией, она прошла бы у вас поразительно музыкально!

– Я даю слово, слышал самого настоящего соловья! И в полнейшей утренней тишине, когда из-за Эльбы встало, как расплавленный, огненный шар с ярким контуром, алое солнце, ещё не было ни выстрелов, ни колоколов, а с

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Тарандерштрассе уже начала доноситься «Марсельеза». Оттуда шли колонны человек в тысячу отлично вооружённых, в ногу марширующих рудокопов, солнце осветило их необычным светом, о, это была такая незабываемая сцена! Тут присутствовала как раз та самая стихия, которую я так долго отрицал в немецком народе! Тут она встала передо мной с полной ясностью, облечённая в изумительную форму! Рудокопы везли с собой на вороных клячах четыре небольшие пушки. Мне объяснили, что эти пушки принадлежали господину Дате барону фон Бургу, с которым я познакомился на торжестве открытия дрезденского певчего общества. Помню, он тогда ещё произнёс чрезвычайно благожелательную, но до смешного скучную речь. И поверьте, мои друзья, – засмеялся Вагнер, – когда из этих пушечек стали стрелять по солдатам, эта плохенькая канонада, по иронии судьбы, напомнила мне скучную речь господина Дате фон Бурга!

Поперхнувшись куском, Бакунин захохотал. Хохотали и окружившие матрац поляки, Цихлинский, Мартин, Рекель. Из комнаты совещаний вышел Чирнер, приглашая на заседание.

18

Уже шёл рассвет. В комнате необычно суетился тайный советник Тодт, жестикулировал, наседая на Гейбнера.

– Члены магистрата протестуют против того, что по распоряжению Бакунина в нижний этаж свозятся запасы пороха и там же льют пули! Я присоединяюсь! Мы подвергаем здание опасности!

– Одну минуту, – устало говорил Гейбнер, как бы успокаивая Тодта, протянул руку, смыкая светлые, окружившиеся кругами бессонницы глаза, – я переговорю с членами магистрата и с Бакуниным.

Но в этот момент за стеной раздался шум, словно в ратгауз с боем ворвались пруссаки. Посреди зала сгрудилась толпа разъярённых гвардейцев, махавших ружьями. Гейбнер подбежал к двери: в толпе металась громадная фигура Бакунина, Бакунин кричал:

– Граждане! Революция не знает бессудных убийств!

– Судить! Судить!

Гейбнер пробился; в толпе зажали сине-окровавленного человека, по-детски поднявшего к лицу руки.

– Ведите в комнату совещаний! Цихлинский, займите вместе с Бакуниным место судей! – кричал Гейбнер. Комната совещаний наполнилась вооружёнными; толпа напирала; пробившись сквозь неё мощным телом, закричал громово Бакунин, садясь за стол:

– Подсудимый! Назовите ваше имя, фамилию, род занятий!

Окровавленный человек нерешительно качнулся, побледнев под голосом судьи.

– Ганс Фогт, владелец мехового магазина с Брейтештрассе, – побелевший Фогт стоял в отчаявшейся позе. Бакунин еле потушил улыбку, утерев её широкой ладонью.

– В чём вы его обвиняете?

– Когда мы шли по Брейтештрассе, – заговорил ближний рослый гвардеец, – из верхнего этажа выстрелили, мы бросились, во дворе стоял он, – ткнул гвардеец в Фогта, – У него дымилось ружьё, это шпион...

– Пойдите! Герр Фогт, вы действительно стреляли?

– Да, – и бледность лица Фогта стала меловой.

– Стреляли? – переспросил удивлённо Бакунин.

– Да, но я стрелял не в них, – указал на гвардейцев Фогт, – я честный человек, меня тридцать лет знает вся Брейтештрассе...

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Бакунин увидел, как от жалости к Фогту побледнел Гейбнер.

– ...господин судья, – колени Фогта дрожали, язык заплетался, говорил торопясь, спасаясь от смерти, – у меня от покойного отца, седельщика Карла Фогта осталось дробовое ружьё, с которым мой покойный отец ходил на охоту, я не охотник, всю мою жизнь не охотился, но в городе так много выстрелов, и моя жена сказала, что можно испробовать ружьё, я и выстрелил в голубей, – и совершенно неожиданно, сжавшись, Фогт вобрал в плечи голову, заплакав, закрываясь, размазывая по избитому лицу слёзы.

– Какое это ружьё? Вы его взяли? – Бакунин едва сдерживал смех. Гвардеец передал ржавое дробовое ружьё со стёршейся насечкой «Льеж» Удерживая смех, Бакунин насупился сильнее.

– Герр Фогт, ваше ружьё действительно похоже на палку, но зачем же вы в такой серьёзный момент, когда народ в отчаянном напряжении отстаивает свои права, вздумали стрелять по голубям? Ваш поступок неосторожен, вы за него могли поплатиться, но теперь вы свободны.

Бакунин написал на клочке бумаги пропуск.

– Возьмите с собой вашу замечательную флинтку[288] и передайте фрау Фогт, что из неё даже по голубям едва ли можно стрелять с большой пользой.

Смех наполнил комнату совещаний.

19

Ходя из угла в угол, кричал покрасневший тайный советник, член правительства Тодт:

– Чем?! – указывал на окно, откуда виднелись тучи чёрного дыма, – чем вы оправдате это?! Королевский театр, лучший театр Саксонии, пылает подожжённый войсками временною правительства! Там погибли декорации, гардероб! Вместе с театром горит Цвингерпавильон! Гейбнер, вы человек, ценящий национальное достояние, это же вандализм! Страна воспримет нас как правительство ужаса!

Если б вошла сейчас Цецилия, только взглянула б, поняла, как разбит мёртвенно-бледный, охрипший Гейбнер; он заговорил еле слышно, осип, пропал голос.

– Моему личному чувству пожар оперы также ужасен, как вам, но дело дошло до открытого боя, и тут не руководятся ощущениями, ибо борьба идёт за права народа. Если б это было в моих силах, я б не позволил в Дрездене раздаться выстрелу!

О, как зарыдала бы, заметалась раненой птицей Цецилия, услышав этот дрожащий, еле слышный голос.

– Но кто-нибудь да отдал приказ поджечь?! – бешено закричал Тодт.

– Я не отдавал, восставшим пожар не нужен, опера подожжена, вероятно, прусскими снарядами.

– Ну конечно, пруссаками! – захохотал Тодт. – Теперь всё «прусское»! Зачем же музык-директор Рекель во дворе ратгауза готовит смоляные венки?! Я своими ушами слышал, как вчера ещё господин Рекель, так недавно зарабатывавший свой хлеб в этой опере, говорил Бакунину, которому наше дрезденское несчастье кажется чуть ли не удовольствием, о необходимости сжечь театр при защите левого фланга!

– Верно! – крикнул Рекель.

Гейбнер измученно поглядел на Бакунина и Рекеля.

– Такой разговор был, – проговорил Бакунин, – и если б понадобилось для спасения революции сжечь не только оперу, а пол-Дрездена, я думаю, всякий поставивший на карту либо смерть, либо свободу народа, поджёт бы пол-Дрездена.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
В комнате произошло замешательство. Гейбнер останавливал шум, но схватясь за голову, закричал истерическим голосом: «О бедлам преступлений!» – Тодт выбежал из комнаты совещаний. Змеящимися клубами в голубое небо стлался над Дрезденом, уходил дым театра, где недавно гремела Девятая симфония под управлением Вагнера. Дым вырывался гигантскими клубами, оплетая белое барокко Цвингера, изредка показывалось душное пламя с косматым языком.

20

Шёл третий день боя. Время над городом плыло с задыханиями, перебоями, толчками. Дома умерли, окна забиты. Тяжело дышал город восстания. В Дрездене развязался хаос борьбы. Вальдерзее вёл бой, но и он терял терпение, на баррикады Семпера бросил в четвёртый раз в лоб на штурм три роты александровских гренадер, и лейтенант фон Кийленштерна, раненный в атаке на «Английский дом», падая, закричал нечеловеческим голосом: «Kinder! Lasst mich hier nicht liegen!»[289] Вокруг замолкших колоколен метались стрижи; от пушек подымались с площадей звенящей тучей голуби. На носилках таскали закопчённых порохом раненых прусских гренадер, саксонских стрелков и штатских с чёрно-золото-красными лентами и кокардами.

Вагнер с трудом пробирался в зал ратгауза, осторожно шагая меж лежащих спящих. В комнате совещаний на подоконнике сидел Гейбнер, опухший, без голоса; радостно пожав руку Вагнера, проговорил еле слышно:

– Хорошо, что вы пришли, будем считать это добрым предзнаменованием.

– Устали, Гейбнер?

– Ослаб. Три дня не сплю, не ел ничего горячего, не знаю, как двигаюсь, было б легче сейчас умереть, чем нести ответственность за всё дело.

– А Чирнер и Тодт? Что? Неужели скрылись?

– Оба, – улыбнулся мягко Гейбнер, – Тодт заявил, что не несёт ответственности за «безобразия», и уехал во Франкфурт...

– А Бакунин?

– Он тут, заступил их место, мы остались вдвоём, ах, Вагнер, верите ль, что у меня в груди? Я не призван для государственной роли, я рядовой гражданин, и, поверьте, среди этих боёв и крови я ни на минуту не забываю моей жены...

Лицо Гейбнера свела судорога, он отмахнулся, взглянул на стенные часы, сказал:

– Пройдите к Бакунину, он в зале, там, в углу, а мне надо к Гейнце на Вильдсруфергассе, там очень много бестолковости. – Гейбнер надел широкополую шляпу с чёрно-красно-золотой кокардой и, надев, показался ещё бледнее. Взял Вагнера под руку, идя, тихо проговорил: – Вагнер, я знаю, мы проиграли, теперь нужно только одно: честно умереть.

21

В комнате совещаний только Бакунин сохранил перекатывавшийся осипшей октавой голос. Остальные возбуждённо, бешено шептали, стараясь жестами дополнить речь.

– Члены магистрата обратились к правительству, – приложив руку к горлу, шептал Бакунину Цихлинский, – с требованием удалить из ратгауза порох, они протестуют против разрушения трёх домов и пожара оперы, Гейбнер на баррикаде, просил тебя выслушать, выяснить дело.

Бакунин насупился, злоба в потемневшем бакунинском лице, он знал это дело.

В комнату совещаний, где у окна стоял Бакунин, курил сигарету, смотря вдаль на дымы пожаров, вошёл, тяжело задыхаясь, заместитель бургомистра, штадтрат Пфотенхауер. Бакунин обернулся к нему.

– С кем имею честь говорить? – проговорил Пфотенхауер.

Презрительная улыбка пробежала по лицу Бакунина.

Штадтрат Пфотенхауер застёгнут на все пуговицы, стоячий воротник, несмотря на жару, подпёр шею и стянут синим галстуком.

– Вы имеете честь говорить с членом временного правительства Саксонии, – ответил Бакунин.

– Я заместитель бургомистра, штадтрат города Дрездена, – не сдерживая вырвавшегося гнева, проговорил Пфотенхауер, – от имени магистрата заявляю протест лицам, командующим восстанием! Мы приказываем, – закричал вне себя Пфотенхауер, ударив по столу, – немедленно прекратить в ратгаузе литьё пуля и очистить подвалы от пороха!

Усмешка в тёмных усах Бакунина, русские степные глаза насмешливы.

– Чьим именем вы приказываете? Магистрат не имеет никаких прав, его больше не существует! – Бакунин смерил с ног до головы штадтрата.

– Что?! – вскрикнул Пфотенхауер, делая угрожающий шаг, и голос зазвенел, переходя в бешенство тенора. – Вы стащили сюда восемнадцать центнеров пороха! Ваши люди набивают патроны и курят сигареты! Это угрожает зданию! Ратгауз не строился для того, чтоб в нём лили пули и свозили порох!

Улыбаясь гневу, сюртуку, синему галстуку, Бакунин сказал тихо:

– А дальше что, что вы ещё требуете? – и расхохотался. – У городского совета нет сейчас права требовать, он сейчас нуль. Поняли?

Штадтрат будто шатнулся, побледнев, но вдруг, ступив бешеным шагом, крикнул, и от крика задрожали ноздри и щёки:

– Я требую ответа за поджог трёх домов на Брейтештрассе и за поджог театра!! Чем собирается возместить так называемое временное правительство причинённые убытки? Городская касса и депозиты никем не охраняются, тогда как тут всё достояние граждан! Ваши войска по вашему приказанию ворвались к придворному проповеднику фон Аммону и отняли у него ключи от Софиенкирхе! – Штадтрат дышал глубоко, еле успевая под сюртуком переводить дыхание больного, склеротического тела. Бакунин злобно прервал молчание:

– Штадтрат Пфотенхауер! Именем временного революционного правительства, в руках которого сейчас судьба свободы всей страны, я запрещаю вам раз навсегда обращаться с подобными требованиями! – Бакунин уже кричал громовым голосом. – Ваши филистерские слёзы для нас нектар богов! Революции нет дела до вашего ратгауза и благосостояния ваших мещан! Мы разрушим всё, что нам нужно, не обращая внимания на потоки мещанских слёз! Ваше бездарное здание оперы сгорело потому, что мы защищали жизни наших бойцов на левом фланге! Нам удобно свозить порох в ратгауз, и мы будем свозить! Вы протестуете против смоляных венков, но их зажгут при наступлении врага! Мы разрушим всё для победы нашего правого дела! Что ваши дома! Пусть они взлетают на воздух! У меня нет времени с вами разговаривать!

Слишком много бешенства было в бакунинском крике, если б в комнату не вошли Цихлинский и Маршаль, может быть, штадтрат и бросился б на Бакунина. Голосом срывающимся, налившись кровью, Пфотенхауер закричал:

– О каком «правом деле» говорите вы? Иностранец, беглец, у нас в Дрездене разжигающий костёр противозаконных и противобожеских бунтов! Иль вы не видите, сколько жертв вопиют к небу! Вам всё равно, что граждане Дрездена умирают! Вам нужен этот пожар нашего достоинства и нашей крови! Но ошибаетесь, герр!!! Германия не страна рабов!!! И я не увижу вас ранее чем на виселице на этой же площади!! – и схватившись за ручку двери, штадтрат распахнул её так, как никогда не распахивал за шесть лет работы на совещаниях магистрата.

22

Ночью, с свечами, сидели в комнате совещаний измученный, сине-бледный Гейбнер, сосредоточенные, обеспокоенные Цихлинский, Мюллер, Маршаль, и возбуждённо бегал, везя бородой, с поднятыми на лоб очками, Рекель. Рядом с Гейбнером – казавшийся спокойным Гейнце. Раскатывающейся, срывающейся в лай октавой говорил Бакунин о том, что бой в Дрездене безнадежен, что надо



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org отступить. На столе перед комиссией обороны и временным правительством цветилась размеченная пёстрая карта Дрездена.

Гейбнер, грязной рукой откинув назад длинные волосы, просипел:

– Полковник Гейнце, обрисуйте стратегическое положение; важно знать, продержимся ли мы до прибытия подкреплений из Хемница?

Густоволосый, бровастый, с растущими из ушей и ноздрей пучками жёстких волос, из-под серого пыльника блестящий золотым воротником мундира, Гейнце, не меняя позы, проговорил:

– Когда может прибыть подкрепление?

– Мы приняли меры, пошлём уполномоченных, надо рассчитывать – два дня.

– Не продержимся двух дней, – уверенно проговорил Бакунин.

– Можем держаться два дня, – сказал Гейнце.

– Достаточно посмотреть, – показал Бакунин на карту сигарой, – пруссаки сжимают нас всё поспешней, мы скоро очутимся в кольце, и это может произойти даже завтра, если наступление Вальдерзее пойдёт таким же темпом. Оптимизм Гейнце неуместен, мы не можем восстановить положения, нет сил. Пруссаки отказались от боя на улицах, в котором мы могли бы им противостоять. Они применяют излюбленную тактику, берут дом за домом под прикрытием артиллерии, кстати сказать, мало церемонясь со «священной собственностью».

– Пруссаки мне не указ, – просипел Гейбнер.

– Оттого и победят; но сейчас дело не в том, у нас нет достаточного числа военных командиров, после отказа от их услуг поляки уж покинули Дрезден. Наши пушки, подарок герра Дате фон Бурга, никуда не годятся, это старые калоши, пороху и пуль не хватает усталость у людей полная и в подкрепления никто не верит, количество раненых растёт, где ж тут место оптимизму?

– Что же ты предлагаешь? – перебил ходивший взад-вперёд Рекель.

– Мой план: вывод революционных войск за Дрезден, чтоб засесть в рудных горах и там поднять восстание, связавшись с Богемией, Баденом и Пфальцем, это единственное спасение.

Канонада словно сошла с ума, пруссаки ударили обрывающими душу пушечными залпами, что-то страшным грохотом и раскатами обрушилось вблизи. Маршал и Мюллер подошли к тёмным окнам. Навстречу метнулись красные языки и в свете огня тучи ночного, пропадающего дыма.

– Сегодня к рассвету, – лаял бас Бакунина, – принять самые отчаянные меры контратаки со всех баррикад. Это задержит пруссаков, а мы приведём в порядок резервы и приготовимся к выводу войск единственным ещё свободным путём через Дипольдисвальдерпляц по Гроссе Плауеншегассе. Чтоб нас не обошла конница, срубим и завалим деревьями Максимилиановскую аллею, а на Вильдсруфскую баррикаду, на которую пруссаки так точат зубы, предлагаю выставить хотя б все картины галереи с «Мадонной» Рафаэля во главе, оповестив об этом полковника Вальдерзее.

– Что?! – остановился, нервно засмеявшись, Рекель.

Гейнце криво, презрительно усмехнулся.

– У нас нет времени шутить, – прохрипел Гейбнер, – при чём тут картины?

– Я говорю серьёзно, – проговорил Бакунин, – надо задержать пруссаков во что бы то ни стало. О выставке на баррикады «Мадонны» и прочих знаменитостей надо оповестить, и это может на время задержать пруссаков, ибо их офицеры всё ж «zu klassisch gebildet» [290], чтоб открыть огонь по «Мадонне» Рафаэля, а если откроют – тем лучше, на них падёт позор варварства!

– Я считаю это шуткой, а если серьёзно, то подчёркиваю: мы можем погибнуть

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org на баррикадах, но немецкую свободу и конституцию никогда не запятнаем именем вандализма! – резко просипел измученный Гейбнер.

– Очень жаль, в истории, Гейбнер, судят только тех, кто побеждён. Я могу лишь сказать, что даже в такой решительный час, когда тут, на улицах Дрездена, за свободу умирают не картины Рафаэля, а живые люди, когда решается судьба не только немецкой, а, может быть, всей европейской свободы, в вас нет ни должной твёрдости, ни желания победы! Я ж настаиваю именно на принятии самых отчаянных, самых невозможных мер, пусть выйдем все на баррикады, может, это поднимет дух бойцов, пусть бросимся на пруссаков и умрём за спасение революции!

– А если эта «отчаянная атака» по всему фронту потерпит неудачу? – холодно, с расстановкой проговорил Гейнце. – Ведь этим мы обнажим подступы к ратгаузу, и тогда?

– Тогда свезём остатки пороха сюда и, когда пруссаки приблизятся, взорвём всё к чёрту на воздух!

Гейбнер казался обречённым, думал о том, как весть о смерти примет не оправившаяся от родов Цили; на глаза могли навернуться слёзы, но Гейбнер повернулся на фразу Бакунина, проговорил:

– Мы имеем право биться и умереть, но не разрушать город.

Бакунин отшвырнул стул, заходил по комнате тяжёлыми, подминающими половицы шагами. «Полная безнадежность, они ещё хуже Коссидьеров, Флоконов, Ламартинов, у тех был хоть петушиный пафос, а тут ничего, кроме боязни, как бы не разбить чашку или миску какой-нибудь фрау Мюллер. И это революция?»

– Я предлагаю согласиться с планом контратаки, – заговорил Рекель.

Гейнце сидел безучастно, думал, что дело в Дрездене кончено, что, бежав, Тодт и Чирнер поступили правильно, может быть, тут, в ратгаузе, в этой же комнате совещаний схватят его пруссаки и, как командира восстания, поведут к Вальдерзее. Гейнце слушал удары артиллерии, знал, что близятся. Сквозь заставший уши звуковой туман услышал Гейбнера.

– Полковник Гейнце, вы согласны?

Не то от недоедания, не то от переутомления Гейнце показалось, что Гейбнер далеко проплывает в тумане и лицо у него крошечное.

– Согласен, – с напряжением произнёс Гейнце, но присутствующие не почувствовали этого напряжения. И снова лающим басом заметался голос Бакунина, сыплющего пепел на стол, на карту, на фрак. Гейнце машинально встал, пересёк дымную комнату, пошёл в уборную.

– Да как же не рубить Максимилиановскую аллею! Боже ты мой! – убеждая, кричал Бакунин. – Если мы будем думать о каждой чашке фрау Мюллер, нам не сделать самой плёвой революции! Прорвись вдогонку конница, она изрубит нас в котлеты!

– Бакунин прав, – прохрипел Гейбнер, – спасая людей, аллею надо забаррикадировать, хотя б и столетними деревьями.

– Слава Богу хоть это, – бормотнул Бакунин, дымя сигарой.

– Маршаль, вы поедете во Фрейберг за подкреплениями?

– Если временное правительство прикажет...

– Цихлинский отправится в Плауен, я думаю, Гейнце ничего не имеет против? Где Гейнце?

– Он вышел, герр Гейбнер, – прохрипел Цихлинский, – слушаюсь, только я плохо знаю дорогу.

– Тогда, Рекель, поезжай вместе с Цихлинским, ваша задача – скорейший подвод подкреплений, во Фрейберге четыреста резервистов и в Плауене около этого.

Не закрыв за собой дверь, вошёл Гейнце.

– Полковник, вы согласны на поездку Маршала и Цихлинского за подкреплениями?

– Да.

– Маршалъ, послушайте, – кричал Бакунин, – возьмите с собой Вагнера, он спит тут у меня на матраце, он будет вам полезен, а тут ему уже нечего толкаться!

23

Когда спали баррикады, в тусклом рассвете по Пирнаишегассе меж разбитых домов прошёл, как бы спотыкаясь, человек в сером пыльнике, серой остроконечной шляпе. Он шёл вдаль от баррикад, в сторону пруссаков, скрываясь в кривом переулке. Всё ускорял шаги, низко опустив голову, пока навстречу из Клейне Шлоссгассе не показался взвод прусских гренадер. Тут человек замедлил шаг, словно стали у него отниматься ноги.

Из окон двое посторонних видели, как в серости рассвета пруссаки остановили человека в сером пыльнике. И вдруг прусский майор стал срывать с человека пыльник, шляпу, блеснул отделанный золотом мундир. Рослый, ражий майор сорвал у арестованного с портупей саблю. Взвод повернул назад, конвоируя главнокомандующего восстанием, сдавшегося полковника Гейнце.

24

В ратгаузе, в главном зале, сторож Ницше подметал пол, охапками выносил во двор солому. По всем этажам ходили члены магистрата во главе с заместителем бургомистра Пфотенхауером, рассылали уборщиц, приказывали мыть лестницу, посылали сторожей за стекольщиками.

На площади шумно строились, рассчитывались по номерам, взводами уходили на баррикады бойцы. Только в комнате совещаний, откуда только что выбежала вооружённая Паулина Вундерлих, шепча: «Всё погребло, всё погребло», – оставались ещё Гейбнер, Бакунин, Мартин и наборщик Стефан Борн, принявший главное командование войсками. Борн, жилистый, громадный, как столб, прохаживался молча. У окна, скусив патрон, Бакунин шомполом забивал заряд. Гейбнер стоял землисто-серый, как вырытый из земли труп, невооружённый, со шляпой в руках.

– Бакунин, – проговорил Гейбнер, остановившись подле него, – ты единственный близкий человек, прежде чем выводить войска и предпринимать дальнейшую борьбу, скажи прямо: верно ль, что твоя конечная цель – учреждение красной республики?

Бакунин засмеялся:

– О чём ты волнуешься, Гейбнер? – забивал крепче заряд. – Что умрём вместе за разные идеи? Ну, мои цели, – проговорил, подымая штуцер, надевая пистон на капсюль, – не имеют ничего общего с немецкой конституцией, и, если хочешь откровенности, считаю это ваше движение смешным, филистерским и неумным, но беру ружьё и, пожалуй, буду даже рад, если меня, как тряпку, расстреляют пруссаки. Эх, Гейбнер! – вскинул ружьё Бакунин – Всего не перескажешь, друг! Да и времени нет, человек слишком сложен. Пусть мои идеи останутся при мне, верь одному: я начал борьбу вместе с тобой и пойду до конца. На меня можешь положиться, как на преданного друга. К тому ж, дорогой, умирают ведь в тысячу раз скорее, чем об этом думают.

Гейбнер, уставившись в одну точку светлостью глаз, стоял потерянный и грустный. Это уж не пламенный Гейбнер неймарктской баррикады, увлекающий Бакунина, это тонкий плющ, вьющийся по бакунинскому дубу.

– Ну, пойдёмте, – обращаясь ко всем, сказал Бакунин, – войска уж собраны, ты должен их приветствовать, Гейбнер.

Идя по пустому, уже подметённому залу, Гейбнер говорил странно-печально:

– У меня какой-то томительный разрыв сознания, выпали дни, эпизоды, хожу,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org как сомнамбула.

– Это нервная усталость, – спускаясь по лестнице, сказал Бакунин, – нет, надо было видеть, как на Максимилиановской аллее мещане вылезли из домов и оплакивали погубленные деревья, – Бакунин, засмеявшись, потёр лицо большой ладонью снизу вверх. – Не знаю, может, действительно было бы лучше, Гейбнер, если бы дрезденский ратгауз стал нам могилой? Мир так беден, брат, событиями, что следовало бы хоть в Дрездене показать одно, заслуживающее внимания, и поднять вместе с собой на воздух часть Дрездена.

– Сумасшедший, – улыбнувшись, проговорил Гейбнер.

– Да, если бы я верил в возможность найти у немцев творящую душу революции, которая обнажена у нас, славян, и которой если нет, то была по крайней мере у французов, нет, в немцах нет её, с вами я знаю, что иду на верную гибель, но иду потому, что у меня нет другого пути. Я уже вижу лицо ликующего штадтрата, когда сбудутся его пророчества о моей виселице здесь на Альт-Маркт. Ну да ладно, стало быть, я иду на Вильдсруфергассе, – проговорил Бакунин. Он свернул от ратгауза; услышал за собой команду; командовал Стефан Борн войскам, приветствовавшим главу временного правительства. Оглянувшись, Бакунин увидел: стоя перед войсками, подняв вверх правую руку, Гейбнер говорит речь.

25

Держалась ещё только Вильдсруферская баррикада, подступы к которой архитектор Семпер вывел с совершенным искусством строителя. Этой ночью толпились тут рабочие зеркальной фабрики, сбродные толпы косиньеров, звеневших косами, остатки коммунальной гвардии. С телег, стоя, раздавали бойцам провиант женщины, весёлые базарные торговки. Бегали ребятишки, разнося хлеб. Баррикада была обведена камнями, завалена мешками, только сверху живописно перевернулся разбитый рояль да возле дома привалилась перевёрнутая почтовая карета. С баррикады в соседние дома люди проходили сквозь пробитые стены. Крепка ещё баррикада Семпера, упёршаяся в магазин и ресторан Энгельса. На баррикаде в темноте вился чёрно-красно-золотой флаг. Пруссаки ночевали в двухстах шагах, в таких же полуразбитых домах. Оттуда доносилась дробь барабанов.

Ночь была тёмная. Бакунин обходил баррикады; на Максимилиановской аллее лежали, как трупы великанов, ещё недавно в небо уходившие, уж готовые зацвести липы. Мёртвые, убитые, они шумели листвой, заграждая улицу.

– Республика, дьявол рассчитается с нами за твою республику, – услышал Бакунин в темноте. У костров в разбитых домах, сидя, напевали гвардейцы, освещённая кострами и факелами толпа незнакомых вооружённых людей, тихие песни, конец революции создавали у Бакунина ощущение невыразимой тоски.

Бакунин сел на крыльцо, в темноте прислонясь к стене дома под большим тазом – вывеской медника Нушке. Ничем не связанные с баррикадой, проходили мысли, и, как бывает в минуты потрясений, вставляли неожиданные, но совершенно явственные воспоминания. Образ сестры Татьяны; глаза тёмно-голубые, глубокие; бакунинский округлый лоб и общее Бакуниным выражение обречённости. «Умру, – по-русски пробормотал Бакунин, – и никто не узнает». Ни себя, ни немцев не было жаль. Улица чужая и чуждая. Бакунин закрыл глаза, выпрастывая из-под себя онемевшую ногу. Вспомнил, как в Прямухине в конце лета гуляли по любимой лопатинской гати, это было вечером, было уже темно, Татьяна в белом платье встала на забор и представляла привидение, а он, весь в чёрном, в виде чёрта крался к ней.

На Крейцкирхе пробило час. Бакунин встал, тихо прохаживался меж разбитых домов, покуривая в темноте. Вспомнил песенку, сочинённую отцом, когда дети, бывало, уезжали из имения: «Настал уж час, готовы кони, село Прямухино, прости». Кругом во сне стонали, храпели. Бакунин остановился. «А вдруг выдадут?» – пробормотал, и мороз прошёл по спине.

– Снимать! – проговорил кто-то, подбегая. – Гимнастические союзы уж выступают, Гейбнер и Мартин ждут на Дипольдисвальдерпляц.

На Крейцтурм ударили три коротких удара: сигнал к общему отступлению.

26

Карета, запряжённая парой стриженных лошадей, тихой рысью ехала по обсаженному каштанами шоссе из Фрейберга к Таранду. Укутавшись в лоденовый тёмно-зелёный плащ с капюшоном, Вагнер дремал, и в стуке вертящихся по булыжникам колёс Вагнеру грезилась исполняемая на басовых инструментах мелодия из девятой симфонии.

Карета везла музыканта тихой трусцой назад, в столицу Саксонии. Мысли стлались неясно, музыкально, дремотно. Зелень ландшафта, черепичные красные кровли; Вагнер полудремал, вспоминая, как коммунальная гвардия Фрейберга маршировала перед ратгаузом, готовясь на помощь товарищам, и барабанщик выбивал трель не по коже барабана, а по деревянному ободу. Это неожиданно, поразительно напомнило последнюю часть «Симфони фантастик» Берлиоза, где слышится щёлканье костей во время ночного танца. Вагнеру стало смешно, узкогубым ртом он улыбнулся, мысли перелетали в Веймар, где Лист собрался ставить «Лоэнгрин». Колёса, вертясь, томили музыкой, клоня ко сну. Кони, пофыркивая, бежали в ногу. Но внезапно карета остановилась. Что такое? Из сотен глоток неслись ругательства. Вагнер протирал глаза, высовываясь из окна: кругом вооружённые люди. Карета застряла на мосту, меж ругательств, криков, скрипов, лязга, не разъезжаясь с точно такой же каретой, в которой сидело человек шесть вооружённых незнакомых людей в форме дрезденской коммунальной гвардии.

– Куда вы? – закричал Вагнер.

В ответ захохотали.

– В Дрездене всё кончено, герр капельмейстер!

Вагнер выпрыгнул, почтальоны и трое вооружённых оттаскивали карету, подхватив её под заднюю ось.

– Где же временное правительство?

– А вон, спускается с горы.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Фрейберг – горный городок, гнездо Отто Гейбнера. Из Дрездена к Фрейбергу пёстрой лентой движутся революционные войска. На Кениггассе, в небольшом белом особняке главу временного правительства Саксонии ждёт жена, Цецилия. Пёстрой лентой к серебряно-рудному Фрейбергу шли войска, там, в долинах, будет новый бой.

Приближаясь к Фрейбергу, Гейбнер волновался; столько тут пережито, что даже тяжесть управления длинной, пёстро-пыльной лентой вооружённых людей не приглушала волнения.

У старинных городских ворот, потя в сюртуках, коляску встретили: друг детства Гейбнера адвокат Глекнер, члены магистрата, командиры фрейбергской и хемницкой коммунальных гвардий. Бакунин с усмешкой смотрел, как сюртуки, цилиндры, белые перчатки окружали вылезшего из коляски разбитого, изнемогшего Гейбнера. Приветствуя, кто-то закричал «Хох!» но широкоплечий бургомистр заговорил, что Фрейберг просит согражданина Гейбнера не подвергать город бою и уходить дальше.

### 2

В гостинице «Золотой лев», поставив ружьё под портретом Фридриха-Августа, Мартин снимал пыльные, натёршие ноги сапоги; прошлёпал босиком к дивану и лёг в изнеможении.

В дверь постучали. На пороге появилась миловидная женщина в песочной накидке.

– Вам кого сударыня?

– Я жена доктора Гейбнера.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– фрау Гейбнер! – радушно вскрикнул Бакунин. – Пожалуйста, входите! Гейбнер сейчас, он на Марктпляц принимает бесконечность всяческих депутатий!

Цецилия Гейбнер села поодаль, рассеянно, ни на кого не глядя, теребя концы песочной накидки. Бакунину лакей принёс бифштекс и гору картофеля, за едой Бакунин повеселел. Издалека узнав спешащие, лёгкие избегающие шаги, Цецилия побледнела и, как только открылась дверь, вскрикнула.

– Отто!

Цецилия рыдала неприятно, не выпуская Гейбнера из объятий, словно сейчас он уйдёт и навсегда сгинет.

– Цили, голубка, – ласково, еле слышно говорил охрипший Гейбнер, глядя жену по светлой голове. И всем стало неловко. Вагнер и Мартин отвернулись к Бакунину, потупившемуся в тарелку, бормотавшему что-то невнятное. Два резвых молодых лакея в комнату внесли дымящиеся кушанья.

– Ты мне заказал? Вот чудесно, – Гейбнер прошёл к столу, и с ним Цецилия, села рядом, то что-то смахнёт с скюртука мужа, то поднесёт к покрасневшим глазам платок, закусывая губы и морща переносицу, удерживаясь от слёз.

– Надо быть твёрдой, Цили, – тихо говорит Гейбнер.

Шумно вошёл жилистый, длинный, как телеграфный столб, Стефан Борн, громко застучал высокими пыльными сапогами.

– Последняя колонна прибыла в порядке, герр Гейбнер.

Потискивая в грубых руках, рассматривая, как нечто совершенно новое, свою старую с егерским торчащим пером шляпу, Борн сопел. Вероятно, виновата была Цецилия, смущая революционеров.

– А скажите, Борн, – прожёывая, торопился Гейбнер, – как думаете, отстояли б мы наличными силами Фрейберг, если б тут развернулся бой? Доносят, что нас преследуют две колонны – полковника Оппеля через Кессельдорф и другая, полковника Петча, через Таранд.

Борн пожал широким плечом, на бородатое лицо вышла улыбка.

– Я не особенный стратег, герр Гейбнер, – засмеялся очень громко, как смеются добрые люди, – кто знает, каковы силы этих колонн?

– По донесениям, два полка конницы, два орудия и рота пехоты. Но Фрейберг просит пощадить город от уличного боя. Хемницкие командиры предлагают двигаться в Хемниц, там сильная гвардия и местность выгодна для обороны.

– А вы уверены, Гейбнер, в хемницких командирах? – проговорил сидевший поодаль Вагнер. – Я слышал, хемницкие командиры – враги конституции.

– Нет, они зовут и предлагают совместную борьбу.

Бакунин ел очень поспешно, очень много. Цецилия глядела на него с ужасом: громадный, в грязном порванном фраке, длинноволосый, сажённый в плечах, с грудью, как наковальня, – вот такими именно и представлялись ей эти отчаянные отвратительные революционеры, совершенно несхожие с её золотоволосым Отто.

– Что Хемниц, что Фрейберг, один чёрт, – пробормотал, прожёывая последний кусок, Бакунин, – надо скорей уходить в горы. Если вступим в Хемниц со всеми войсками, командиры гвардии никакого вреда не принесут, а на месте выясним, кто во что верует!

Гейбнер, словно не слушая, сказал:

– Я не могу оставаться во Фрейберге.

– Да не будьте, господа, столь пессимистичны! Есть великолепные сведения из Бадена, там у Струве[291] и Геккера[292] оживает революция, – шумно вставая, утирая салфеткой усы, проговорил Бакунин.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org – Рад, что после бифштекса к тебе вернулось хорошее расположение духа, а то когда ты голоден, свирепее самого чёрта, – засмеялся Гейбнер и все вместе с ним: Борн, Вагнер, Мартин.

И верно, после обеда Бакунин повеселел. Лакеи сервировали кофе, Мартин, босой, лежал на кушетке. Вагнеру всё казалось туманом, утерян Дрезден, разбита революция, что ж теперь, спастись к Листу в Веймар? Охрипший голос Гейбнера доносился к нему, как из тумана:

– Будем говорить серьёзно, наши силы незначительны, люди измучены, дух пал, мы не выдержим и первого сильного боя. Ведь дело идёт, господа, уж не о победе, даже не о борьбе а только о чести. И я хочу поставить прежде всего вопрос: можем ли мы вообще из-за этого в бессмысленном бою проливать кровь людей? Не разумней ли просто распустить отряды?

Бакунин заговорил решительно:

– Как член временного правительства, Гейбнер, я считаю – мы должны продолжать борьбу до последней капли крови, и распустать отряды, бившиеся в Дрездене, ты не имеешь права, ибо ты сам их призвал к оружию. Бои на улицах Дрездена ничем не бессмысленней боёв на улицах Хемница, да и неизвестно ещё, как обернутся общегерманские дела с Баденом и Пфальцем! Раз мы вышли на бой, должны идти до конца, каков бы он ни был!

Гейбнер смотрел куда-то мимо Бакунина в пространство.

– Ну что ж, – проговорил после молчания, – пожалуй, ты прав.

Через полчаса с женой, Борном и Мартином Гейбнер выходил из гостиницы «Золотой лев». В номере остались только Вагнер на диване да Бакунин.

– Ну как вас не посетили ещё вдохновения по поводу наших события? А? – посмеиваясь, тяжело, сонно садясь на диван, проговорил Бакунин.

– Ещё нет, – иронически, раздражённо ответил Вагнер.

Бакунин был сонен, даже не ждал ответа, откинулся тёмно-кудрявой большой головой на бархатную спинку дивана. Сон овладевал громадным телом; Бакунин даже чуть сползал, кривилось мощное тело, ища опоры тёмной кудрявой голове. Она скользнула по спинке дивана и упёрлась в плечо Вагнера. Вагнер улыбнулся под свалившейся тяжестью. Прошла минута; Бакунин спал, плыла тишина заснувшего человека. Вагнер тихо высвобождался; тело Бакунина скользнуло вниз, на подушку; но он не проснулся, слышен был лёгкий храп и дыхание. Вагнер на носках вышел из комнаты, в дверях оглянулся: Бакунин спал.

3

Ночь первую за все ночи восстания, спал и Гейбнер на Кениггассе в белом особняке. Когда в сумерках Фрейберга после смотра войск шёл домой, Гейбнер был уже не глава правительства, не известный демократ, борющийся за конституцию, был моложе себя на десяток лет; торопящийся в темноте Гейбнер был почти юношей. Он вспоминал и темноту сада, и запах мокрой листвы, они идут, и все его желания переполнены любовью, но на душу налегла какая-то боязнь, и нет сил в тёмном саду нарушить это молчание, только на повороте его рука коснулась её руки и белое платье полуупало, Гейбнер не забыл это чувство словно мгновенного головокружения и это движение полуупадающего белого платья.

На ходу Гейбнер потёр лицо ладонью, пробормотал: «Какая усталость» – и завернул в палисадник. В темноте к окну прижалась Цецилия. Гейбнер думал прободрствовать с ней всю может быть последнюю в жизни ночь. Но через полчаса впервые за шесть ночей восстания он спал как убитый, и Цецилия сидела возле, плача и держа его руку в своей руке.

4

Закинув за плечо ружьё, Бакунин стоял у подъезда «Золотого льва», окружённый толпой. Казался выходцем с картин древних восстаний, в широком плаще, чёрной шляпе, под плащом открытые концы рубахи обнажали могучую грудь, за поясом воткнут пистолет. Выспавшись, Бакунин был весел.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

– Гейбнер! Послушай, что рассказывает герр Менидорф о Хемнице. Я всерьёз начинаю думать, да не предатели ли они?

Подходившему Гейбнеру поклонился стоявший с Бакуниным человек в очках, бритый скуластый с непокрытой головой.

– Менцдорф моё имя, – проговорил католический проповедник, – я говорю герру Бакунину, что командиры хемницкой гвардии настроены, герр Гейбнер, не в пользу конституции; они выступают под давлением народа, они даже арестовали меня за речь о нарушенной конституции.

– Это мы разберём завтра в Хемнице, герр Менцдорф – проговорил Гейбнер.

5

Ночью из штаба хемницкой гвардии доктор Бекер и майор фон Торклус несколько раз выезжали на площадь, глядеть на окна гостиницы «Голубой ангел», где остановились Гейбнер, Бакунин и Мартин.

Когда Гейбнер потушил свечу в своей комнате, последнее окно в «Голубом ангеле» стало темно, верховые с майором фон Торклусом впереди выехали из ворот штаба, и чёрная карета, запряжённая четвериком сильных коней, выкатилась на площадь с ночным грохотом.

Бренча шпорами, саблями, в касках, в темноте, с коренастым майором фон Торклусом впереди, жандармы шли к дверям. Дверь гостиницы отпер хозяин, со свечой в руке, в помочах, в подштанниках.

– Где? – негромко проговорил доктор Беккер.

– Восьмой номер, я посвечу.

Вооружённые тёмной линией вбегали в сад, во двор, окружая гостиницу; Гейбнер крепко спал; но в дверь застучали, и голос крикнул:

– Донесение герру Гейбнеру!

Босой встал с постели Гейбнер; за дверь слышалось дыхание многих людей; на миг мелькнуло в дыханьях недоброе, но Гейбнер уже распахнул дверь, в военной руке качнулся фонарь, множество людей направили пистолеты. Коренастый майор держал пистолет в упор в лицо Гейбнера.

– Именем королевского правительства вы арестованы!

Гейбнер видел, как с кровати поднялся полуголый Бакунин.

В одевании при многих вплотную окруживших солдатах было что-то унижительное; одни разглядывали Гейбнера, другие монументального русского. Бакунин застёгивал брюки. «Всё на свете оказывается проще, чем думают», – пробормотал, надевая сапоги; овладевало полное, даже как бы наглое безразличие.

– Одну минуту, герр вахмистр, – проговорил, – я не оскорблю вас, если закурю от вашего фонаря?

Бакунин зажал в зубах сигаретку, надевая грязный трёпанный фрак.

Пять жандармов пошли вперёд, за ними Гейбнер, Бакунин, Мартин; лестницу замыкали ещё пять, за ними – коренастый майор фон Торклус лёгкой, военной походкой.

Садясь в карету выронив сигаретку, Бакунин бормотал: «Чёрт побери, это не посадка, а погрузка, будьте повежливей, герр вахмистр, мы не к поезду торопимся!».

Темнота. Гейбнер слышал: окружают всадники, говор, кого-то ждали, долетел звонкий, показывающий волнение голос с седла: «Вперёд!» Карета двинулась; спереди и сзади удары подков, звяк сабель, свет факелов. Рысью вымахнула карета из ворот Хемница, под эскортом двадцати жандармов, в факелах пошла на Альтенбург.



6

Над Дрезденом в ветре празднично вились саксонские королевские флаги. Граф Вальдерзее знал, что сейчас обезумевшие бранденбуржцы через три дня будут снова спокойны и под флейты и барабаны, под егерский марш пойдут за его седлом грузиться для отправки в Берлин. Но в эти три дня солдаты должны узнать, что такое победа.

Солнце над Дрезденом светило сияюще. Ещё не успели убрать мусор и камни разбитых домов у Цвингера, руины театра, остатки баррикад возле Альт-Маркт, унести убитых. Прусские гренадеры врываются в дома; в отеле «Рим», в первом номере, с открытым на улицу балконом, лежал в постели приехавший лечиться принц фон Шварцбург-Рудольштадт, и лакей подавал ему глазные капли. Пруссаки закололи принца в постели, лакея на ковре. Бурей вымахнули пруссаки на Шумахергассе, тут выбрасывали из окон на мостовую жителей дома номер 14, где нашли оружие. Солдатское счастье знают только солдаты; на Фрауенгассе искали лазарет с ранеными, солдат вела толстая косая торговка, кормившая повстанцев. У белого ампириного дома, напрягая горло толстыми жилами, она закричала: «Сюда! Выкидывайте зверей! Колите их!». Торговка была тоже в страсти; и только слышался гул вбегавших солдатских сапог и странные военные ругательства. На Вильдсруфергассе на веранде за кофе перекололи туристов-иностранцев, чашки летели в сад, туристов топтали сапогами, хозяин кафе, прижав к себе двух детей, умолял пощадить его, потому что он – немец.

Граф Вальдерзее знал: это пройдёт; два дня – и гренадеры спокойными телятами пойдут грузиться за его седлом, поедут в родную Пруссию. На третий день офицеры начали уже останавливать солдат, волокших пленных.

– Стой! Это вы должны были делать раньше!

Но всё-таки доктора Гауснера пруссаки поволокли из Альтштадта в Нейштадт, связав ему на спине руки. Солдатам приятно волочь его, в шляпе, с растрёпанными космами, каких не носят солдаты, в очках, которые уже выбили, в воротничке, в валстухе. Доктора били прикладами, очки повисли на ухе, запутавшись в волосах. На мосту пруссакам кричали саксонцы полковника фон Фредерици: «Куда тащите гадину?! Наш транспорт уже пошёл к рыбам!» – хохотали солдаты весело, счастливо, под ярким солнцем, золотившим надраенные пуговицы, оружие, бляхи. Доктора приволокли к парапету, он ещё пытался ухватиться за перила, но солдаты оторвали, подняли и хохотали, когда тело, смешно крутясь, пошло вниз по Эльбе под прусскими и саксонскими выстрелами и смехом.

– Правительство не хочет обременять себя сотнями пленных! – кричит с коня светловолосый обер-лейтенант, с эскадром саксонских драгун ловивший убегающих участников восстания. Драгуны рубят их в полях, на дорогах. Крепки, словно бычьи, солдатские страсти. Солнце плавится над Дрезденом, синеватые, с белой каймой облака. В эти ночи проститутки устают любить широкоспинных, пьяных пруссаков. По бульвару ходят с ними в обнимку.

Непрохмелевшим солдатам граф Вальдерзее на утренней поверке с коня читает приказ прусского короля Фридриха-Вильгельма IV: «Сообщение о чудесном поведении офицеров и гренадер восхищает меня и наполняет глаза мои слезами! Вы командуете действительно одним из восхитительных полков! Я хотел бы расцеловать всех ваших людей! О, если б я мог быть вместе с вами! Передайте офицерам и солдатам мой самый сердечный привет, скажите, что жестокий бой, который они достойно провели именем Пруссии, заключал в себе поворот во всём несчастьи теперешней Германии!»

7

Ночь была непроницаема, может быть, в разрыв и глядела звезда, её не видали едущие. Карета неслась от Альтенбурга к Дрездену сумасшедшим аллюром. Хрипели лошади. Окружённый факелами майор фон Торклус быстро облегался на крупной рыси. Карета окружена конными жандармами, последним на размашистой кобыле скакал старый вахмистр.

Отвалившись в угол, Бакунин старался найти место для головы, где б не било. Темнота, факелы, скок коней, топот отрывистый дробный, когда собьются лошади. «Повесят на Альт-Маркте, перед ратгаузом, как того хотел

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org Пфотенхауер». Но – ничего, пустота, усталость, даже безразличие. Карета музыкой перемахнула, прогрохотав, через мост и снова мягкость полевой дороги. «Немного раньше, немного позже, – думал Бакунин, – всё одно», – но сердце сжалось, вспомнил милую фигуру Адольфа Рейхеля, – «где он? В Лейпциге? Наверное знает, что умру. Адольф, подлинный друг...» Вспомнил Париж, как играл Рейхель по ночам, напевая целые оперы. Близко, напротив Бакунина зажали спящего Мартина двое жандармов с пистолетами. И снова то музыка мостов, то мягкой дороги, факелы, и около сотни копыт шумят по земле.

8

У нейштадтских кавалерийских казарм вокруг кареты шпалерами стояли солдаты. В улицах разгоняли любопытных. На заборах, домах пестреют прокламации короля: «Саксонцы! Тяжёлая опасность угрожала нашему прекрасному отечеству! Люди, частью вредно мыслящие, частью соблазнённые под влиянием чужестранных злодеев, старались порвать связь саксонского народа с его князьями, которая живёт века». Из кареты вылезли Бакунин, Гейбнер, Мартин. Конвоировавшие жандармы с взведёнными пистолетами повели их сквозь шпалеры вооружённых солдат во двор казарм.

Во внутреннем, замкнутом стенами дворе стояли два серо-мрачных здания; от одного шёл запах пищи, у окон толпились шумевшие, кутившие солдаты, это кантина; у второго, немного в глубине, небольшого, просыревшего, пыльные окна были забиты решёткой, у входа часовые.

В коридоре арестного дома зазвенели навстречу кандалы. Меж уходящих солдатских спин Бакунин разглядел полупрофиль и кусок плеча закованного Гейнце. «Да, да, он; плохо ль, хорошо ль дерёшься, конец один», – усмехнулся Бакунин.

В приёмной преступников ждал худой, как некормленная белая лошадь, капитан Нейман. Все трое стояли у стены, под конвоем. Первым солдаты увели Гейбнера; через пять минут в коридоре загремели кандалы. «Гейбнер», – подумал Бакунин, взглянул на Мартина, он стоял усталый, чахоточный. Капитан Нейман дал знак вошедшим солдатам, Мартина увели. Капитан курил, молча, вполборота стоял к Бакунину. Но вдруг он повернулся и оглядел Бакунина с ног до головы с омерзением, как грязное животное. На губах капитана презрительная усмешка. Прямым, военным шагом подойдя, Нейман взмахнул у самого лица Бакунина кулаком, закричав:

– Я тебе покажу, кровавая собака! Не думай, что тебя привезли сюда для шуток!

Бакунин взглянул в его бешеное, рыбье лицо; вспомнил Пфотенхауера, подумав: «Этот капитан в высоких, словно деревянных сапогах, может быть, даже племянник бургомистра».

Вошли солдаты и тюремщик с кандалами.

– Здесь надевать! – крикнул капитан, широко расставив длинные ноги, стоял посреди комнаты.

Бакунин протянул тюремщику правую, большую, с длинными пальцами руку.

– Не ту.

Бакунин протянул левую. Тюремщик наложил кандалы и длинную цепь от поручня, с необыкновенной быстротой замкнул на выставленной правой ноге.

– Н-на! Марш бегом, русская свинья! – захохотал капитан. Бакунин зазвенел кандалами по полутёмному коридору.

К дверям подходили арестованные, прислушиваясь. Бакунин кашлянул. «Может, узнают». В конце вонючего, как немые кишки, коридора тюремщик открыл небольшую дверь.

Пригнувшись, Бакунин шагнул в карцер с крошечным, как щель, окошечком.

9

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Зимний дворец был взволнован, исплакалась царица, когда в кабинете на походной кровати в тяжёлом припадке, с опухшими ногами, лежал больной император. Николая трясли нервные припадки и были неладности с ногами. При императоре безвыходно находились лейб-медики Арндт, Енохин и Мандт.

Но вот уж второй день, как император встал. Император оправился, даже иногда каламбурил. Шутил с доктором Енохиным, любя его за простоту, здоровую внешность и ясные медицинские знания.

– Ты, Енохин, ведь из духовного звания, а? Следственно, должен знать духовное пение? – смеялся Николай, сидя с доктором в кабинете.

– В молодости певал, Ваше Величество.

– По носу вижу! Видишь – угадал? От меня не скроешься, а ну-ка, братец, спой что-нибудь, церковную стихирю какую-нибудь, – смеялся Николай, в распахнутом Преображенском мундире.

Потупив крупную рыжую голову Енохин откашлялся, глядя на улыбавшегося монарха, запел круглым басом.

Разбойника благоразумного

Доктор усиливал баритонные звуки, но вдруг с ними слился слегка подвиравший в мелодии сильный тенор императора. Возле кабинета переглянулся караул дворцовых кавалергардов в касках с золотыми орлами. Как статуи.

– А?! Каково, Енохин, хорошо ведь спели?

– Прекрасно, вам бы хоть самому петь, Ваше Величество.

– Ну да, у меня голос недурён, будь я из духовного звания и попал бы в придворные певчие, и пошла б моя карьера! – засмеялся Николай. – Пел бы, покамест с голоса не спал, а потом, ну что бы потом, Енохин, а? Ну, выпускают меня, скажем, по порядку, с офицерским чином в почтовое ведомство, тут я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору, он назначает меня на тёпленькое местечко, например, скажем, почт-экспедитором в Лугу! – Енохин подхватил залившийся смех императора. – А на мою беду, понимаешь, у лужского городничего прехорошенькая дочка, и я по уши влюбляюсь, но отец никак не хочет её за меня выдать, и отсюда начинаются мои несчастья. В страсти уговариваю девушку и похищаю её; об этом доносят по начальству, отнимают любовницу, место, хлеб и отдают под суд. А что тут делать, Енохин, без связей и без протекции?

Царица сама приняла генерал-лейтенанта Дубельта, торопясь, говорила по-французски: «О, да, да, это очень обрадует его». Они шли из Аванзала, прошли концертный зал, спускались к кабинету. Слышался смех императора. На голос царя Дубельт открыл дверь.

– Дубельт! – закричал, неистово хохоча, император. – Дубельт! Вот кстати, Енохин, а? – Дубельт остановился в некоторой нерешительности. – Ну, теперь я спасён! Я нахожу путь к Дубельту, подаю ему просьбу, и он высвобождает меня из беды!!! – Смех, смех заколебал кабинет императора.

10

Смеялся и Дубельт. Сквозь смех Николай сказал:

– По делу, Леонтий Васильевич?

– Так точно, Ваше Величество.

– Спасибо, Енохин, ещё как-нибудь споём.

Император в кресле молча улыбался в рыжеватые усы.

На лице, всё ещё необычайно красивом, хоть и отягчённом уже обрюзглостью, плавала улыбка удавшегося рассказа.

– Говори, – сказал, указывая на стул.

Дубельт, ещё не раскрыв портфеля, проговорил:

– Не могу вытерпеть, Ваше Величество, Бакунин схвачен.

– Что ты? – серьёзно проговорил Николай, встал.

– Так точно, экстренная депеша.

Дубельт подал, Николай бегло читал, улыбки ушли. Повернул, глянул на резолюцию Дубельта: «Ах, как я рад! Генерал-лейтенант Дубельт». И проговорил медленно, откладывая депешу на стол:

– Это радость, верно, радость, давно жду мошенника. Попался-таки, батенька!  
– Голос стал негнушимся, как на параде. – Снесись с Нессельроде, чтоб немедленно написал представление саксонскому двору о выдаче сего преступника против меня и России. Одновременно пусть пошлёт бумагу прусскому королю. Я присовокуплю личное письмо «мечтателю», а Вальдерзее хочу поздравить.

– Слушаюсь, Ваше Величество.

– Нет, посиди, – задумался Николай, улыбкой изменив точный очерк губ. – Так как же это он, голубчик, а? Говорят, у них всем Дрезденом заворачивал, всё перевернул там, вот так мой прапорщик! Задал немцам перцу! – захохотал Николай. – Мерзавец первостепенный, но отчаянная голова, его надо взять в ежовые рукавицы, Леонтий, да потолковать как следует. Поляков бунтовал. Ведь эдакую кутерьму поднял, и всё против меня хотел, прапорщик артиллерии...  
– презрительно произнёс Николай.

– Судя по газетам и донесениям, Ваше Величество, был у них главнокомандующим, на белом коне разъезжал, уничтожил оперу, людей порасстрелял, неисчислимое количество домов разрушил.

– Ей-Богу? – захохотал Николай. – Вот это я понимаю! Так им и надо, Леонтий, ха-ха-ха! Я знаю Фридриха-Августа, сущая баба, без всякой воли, они ведь все, немецкие короли-то, на баб похожи, кроме покойника Фридриха-Вильгельма III, а если бы бабами не были, не замутили бы страну так, не довели бы до такого несчастья. Слава Богу, что генералы-то хоть нашлись моего прапорщика унять, а то б, чего доброго, и до гильотины доплясались.

Николай неожиданно встал, потянулся, зевнул, чувствовал себя хорошо.

– Ну, это ты меня обрадовал. Незамедлительно снесись с Нессельроде, а я завтра его вызову.

11

Двор кавалерийских казарм вымощен был круглым средневековым булыжником. Окна арестного солдатского дома – во двор. Двор пылен майской серой пылью. Из казармы беспрерывно несётся гул голосов, шум оружия. На расстоянии в двадцать шагов уже полчаса ходили по двору в кандалах Бакунин, Гейбнер, Рекель, Гейнце.

Звенели по круглым камням кандалы. Левую руку, связанную с правой ногой, держали низко. На прогулке разрешалось курить. Бакунин затягивался потихоньку, прогулка была счастьем, почти что свободой. Перекинуться б словом с Рекелем. Его встретил только раз в уборной, Бакунина выводили, вводили Рекеля.

– Ты всё время в кандалах? – спросил Рекель по-французски.

– Не снимают, – по-французски ответил.

– Собаки... – пробормотал по-немецки Рекель.

И разошлись. С Бакунина одного в темноте узкого карцера не снимали кандалов. Газеты писали о нём как о звере, о демоне Дрездена, требовали повешения.

Час звенели кандалы по внутреннему двору кавалерийских казарм. Гейбнер, Рекель и Гейнце гуляли уж месяц, Бакунина вывели первый раз, по предписанию врача. Начались головокружения, и от темноты заболели глаза.

12

Граф Орлов поднимался по сине-ковровой лестнице Третьего отделения, тяжело дыша. Тяжко откинувшись в массивном сафьяновом кресле кабинета, медленно переводя дыхание, проговорил Дубельту:

– Вчера был у государя по делу о Бакуanine. Князь Паскевич предлагает преступника везти в варшавскую цитадель, берёт на себя доставку. Вы кого б рекомендовали, Леонтий Васильевич, из варшавских офицеров?

Дубельт сощурил серые глаза до щелей; голубой лентой пролетали в голове офицеры.

– Поручик Распопов, Алексей Фёдорович.

– Распопов? – макая перо, переспросил Орлов.

– Исполнительный офицер.

– Князь пишет, будет следить за делом лично. Он обратился к Шварценбергу и к саксонскому военному министру Рабенхорсту, у самого-то саксонского короля в голове зайцы прыгают.

Дубельт не любил тестообразного орловского хохота.

– Своими б руками пытал мерзавца, – сказал серьёзно, заходил, зазвенев по кабинету шпорами. – По последним сведениям, у него все польские связи. К тому ж, состоя агентом Ледрю-Роллена, был душой всемирного заговора, связывал немцев с французами и славян с немцами. Недаром вцепились немцы.

– Как же-с, говорят, в восстании-то в Дрездене скакал на коне господин прапорщик! Читали, что пишут про него? Так и называют единственным демоном разрушения, нанёсшим Саксонии неисчислимыя бедствия.

– Мерзавец первостепенный. Если б государь своевременно согласился с моим предложением выкрасть его, многое б выиграли. Написал кучу безбожных в отношении Его Величества статей, за одно «воззвание к славянам» виселицы мало, четвертнуть бы негодяя по старинке. А на польском банкете перед кем, подлец, перед иностранцами, перед полячишками, перед французишками, в каком свете отечество выставлял?

Проворачивая толстую спину в кресле, Орлов сказал:

– Уверен, возьмём.

Дубельт вышел. Орлов большой рукой писал «Его благородию господину поручику Распопову. Предлагаю немедленно с получением сего отправиться железной дорогой на Краков, взяв с собой в сопровождение одного унтер-офицера и двух рядовых. Вручив прилагаемый при сем пакет на имя генерал-лейтенанта Соболева, приказываю ожидать приёмки политического преступника Бакунина, оного заковать со всевозможной осторожностью и доставить в Александровскую цитадель в Варшаве, где сдать под расписку, которую представить мне...»

13

В карцере Бакунина забили окно, потому что у Рекеля нашли кусок исписанной по-французски газеты. В полутемноте на нарах Бакунин лежал, чесался, охватывая спину свободной правой рукой: ели вши. Левую оттянули кандалы. За два месяца мысли спутались, видел, как поведут солдаты на площадь, а там закричат те самые саксонцы, что оплакивали весенние, зацветшие, широкошумные липы Максимилиановской аллеи, порубленные у них Бакуниным. Болела спина, потому что не мог в карцере вытянуться, а если вставал, то даже плечами упирался в потолок. Бакунин лежал на соломенном тюфяке, подворачивая, как мог, громадные ноги. Был одет в чужое старое платье, рукава и брюки были очень коротки.

Допросы шли и ночью, и днём. После четырёхчасового допроса сегодня вели на новый. Двор кавалерийских казарм в сумерках был сер. В сенях главного здания столкнулись с встречными. В темноте узнал бледного Гейбнера.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Фон Хок, следователь из Праги.

И разошлись. В зале, который так хорошо знал, за зелёным сукном спинами к портрету Фридриха-Августа сидели полковник фон Фредерици, генерал фон Шульц, королевский комиссар Швебе, производящий допросы главных обвиняемых, аудитор окружного суда Мориц, заседатели уголовной королевской комиссии, протоколист-ассессор, офицеры, актуарии и новый старик, с синеватой бородой, казавшейся лёгкой и колеблемой в воздухе. Старик в глухом сюртуке, чёрном галстуке – пражский высший чиновник юстиции гехеймрат фон Хок разглядывал Бакунина из-под золотых очков. Но заговорил не он, а комиссар Швебе.

– От имени уголовной королевской комиссии предлагаю вам показывать только правду; на вчерашнем допросе было предъявлено письмо к вам, помеченное «среда вечером», без обозначения месяца и числа, причём подпись неразборчива. Кем написано это письмо, скажите фамилию этого лица.

– Фамилии лица, – заговорил Бакунин, – написавшего письмо, я не назову и не напишу, дабы не замешать его в это дело, – Бакунин говорил твёрдо; заседатели, офицеры, писаря глядели на него множеством глаз.

Швебе пересматривал бумаги; Бакунин стоял вплотную у зелёного стола. Швебе приподнялся, протянул Бакунину четыре письма на русском языке, которые Бакунин узнал сразу, увидев ещё на столе.

– Кем написаны эти письма? Кто такая госпожа Полудина и в каких отношениях вы с нею состояли? Кто такой упомянутый в письме господин Рейхель?

– Все четыре письма написаны мне одной и той же дамой, частью из Брюсселя, частью из Парижа, – проговорил Бакунин, – однако я категорически отказываюсь что-либо сказать об этой даме и даже не скажу, является ли подпись на одном из них – мадам Полудина – её настоящей фамилией. Точно так же не скажу, кто другие упомянутые в письме лица и верно ли написаны их фамилии. Я вообще отказываюсь дать какие-либо показания относительно обстоятельств этих лиц и моих отношений с ними.

Заседатели переглянулись; брови комиссара Швебе сходились круче, недовольней, и голос становился упорней и злей; когда писцы записали слова Бакунина, Швебе, оглядывая Бакунина с ног до головы, проговорил:

– Когда вы познакомились с дрезденским музик-директором Августом Рекелем и какие отношения установились между вами?

– Вскоре после моего прибытия в Дрезден, кажется, в начале марта этого года, я познакомился с Рекелем через Виттиха в каком-то общественном месте, кафе или ресторане. Рекель понравился мне, и я стал поэтому искать его знакомства. Так как Рекель разделял мои политические взгляды, в частности моё мнение о славянском вопросе, то вскоре после знакомства у нас завязались дружеские отношения.

Швебе помолчал, выжидал; никого из участников восстания он не допрашивал с таким омерзением, как этого русского. Швебе был убеждён, что русского повесят, но наглый тон ответов и кажущееся хладнокровие выводили Швебе из себя.

– Оказывается, – проговорил Швебе, – во время восстания в ратгаузе вместе с вами находился молодой человек, занимавшийся писанием под вашу диктовку; он носил очки с тёмными стёклами и боковыми щитками из зелёного шёлка. Знаете ли вы этого человека и как его звали?

– Молодого человека в тёмных очках с зелёными шёлковыми боковыми щитками я вообще в ратгаузе не видал и не знаю, что под моим руководством кто-то занимался писанием; в числе моих знакомых нет никого, кто бы носил тёмные очки.

– Он небольшого роста, худой, можно даже сказать, хрупкий блондин с правильными чертами лица и светлыми глазами; глаза у него большы, и он носит зелёные очки с шёлковыми боковыми щитками.

– Схожего с предъявленными мне приметам человека я не припоминаю.

– Что вы можете сказать о прибывших из Парижа Гельтмане и Крыжановском? И

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
что вас с ними связывало?

– Крыжановский – поляк из Галиции, а Гельтман – из русской Польши, оба польские эмигранты. Я познакомился с ними в Париже. Об их семейных обстоятельствах ничего сообщить не могу; оба они прибыли приблизительно за четырнадцать дней до восстания в Дрезден, с какой целью, мне неизвестно, мне кажется, они были проездом, но куда, не знаю. Мои отношения с ними сводились к простому знакомству.

Швебе резко повернулся, нагнулся к гехеймрату фон Хоку, заговорил вполголоса, и на все его слова гехеймрат, потряхивая синеватой шелковистой бородой, тихо твердил: «Хорошо, прекрасно». Потом Швебе обернулся к протоколисту, и лицо его приняло прежнее насупленное выражение.

– Герр Гаммер, прочтите подсудимому данные сегодня им показания.

Протоколист, получив от писаря бумагу, зачитал громко, полным голосом. «Сегодня в помещении комиссии допрошен был королевским комиссаром Швебе заключённый Михаил Бакунин в присутствии аудитора окружного суда, по предварительном увещании говорить правду подсудимый, как ниже следует показал...»

Потом протокол пошёл к членам комиссии, и наконец ассессор зажёл над ним сургуч, залил и надавил большой красной печатью с королевским гербом Саксонии.

Швебе что-то сказал гехеймрату фон Хоку. Бакунин глядел на старика в глухом сюртуке, чёрном галстуке. Выпрямясь в кресле, фон Хок, оглядывая из-под очков Бакунина, заговорил тихо:

– По уполномочию австрийского императорского и королевского правительства, в согласии с распоряжением саксонского королевского правительства я прибыл произвести дознание о вашем участии в преступном против австрийской императорской власти восстании в Праге в день Святого Духа, закончившем славянский конгресс, членом которого вы состояли. Не пытайтесь что-либо скрывать, это только ухудшило б ваше положение; прошу вас показывать только правду.

Во время речи гехеймрата фон Хока офицеры, заседатели, чиновники рассматривали Бакунина, словно пред ними встал новый и неизвестный им человек.

– По имеющимся в распоряжении императорского министерства юстиции документам, вы являлись одним из организаторов восстания в Праге. Вы признаёте себя в этом виновным?

– Признаю.

– При проезде эрцгерцога Фердинанда, приехавшего усмирить возросшие в городе пагубные страсти, из номера гостиницы «Голубая звезда», занятого вами, раздались выстрелы по кавалькаде эрцгерцога. Это стреляли вы?

– Нет.

– Где вы были при проезде эрцгерцога?

– Вероятно, в Клементинуме.

– Так, – вея шелковистой бородой, сказал фон Хок. – Вы находились в Клементинуме? А известна вам фамилия братьев Страка?

– Известна.

– Укажите, каким образом вы познакомились с Густавом и Адольфом Страка и каков был истинный характер этого знакомства?

– Это знакомство было поверхностное, я ничего о братьях Страка сказать не могу.

– Так-так-так, – тихо проговорил фон Хок, чертя карандашом по полю бумаги.

– Опишите наружность Густава Страка.

– Он невысокого роста, других примет указать не могу.

– Знаете ли вы пражского студента Иосифа Фрича?

– Я познакомился во время моего пребывания в Праге в июне прошлого года с неким Фричем. Этот Фрич, имя которого мне неизвестно и относительно которого я лишь предполагаю, что он был студент, носил славянский национальный костюм и был молодой человек небольшого роста красивой наружности. Не могу точно указать, где я впервые встретился с Фричем и при каких обстоятельствах.

– Фрич сознался, что в апреле 1848 года он был у вас в Дрездене и сговаривался с вами относительно подготовлявшегося в Праге революционного восстания. А потому изложите правдиво все обстоятельства этого дела.

– Мне ничего не известно ни о каком посещении меня Фричем в Дрездене, ни о каком-либо подготовлявшемся в Праге революционном движении, которое будто бы замыслил Фрич.

– Фрич показал, что он приезжал к вам в Дрезден и был здесь несколько дней, неоднократно заходя к вам. По его словам, вы проживали на улице, находившейся вблизи каких-то ворот, в районе Фридрихштадта, дом же, в котором вы жили, был окружён садами и находился напротив необитаемого дворца, в котором некогда жил Наполеон. Итак, расскажите все обстоятельства дела и изложите содержание ваших тогдашних переговоров с Фричем.

– Хотя Фрич, по-видимому, знает дом, в котором я проживал в Дрездене, гораздо лучше, чем я сам, всё же я должен повторить, что о пребывании Фрича в Дрездене я ничего не знал. Я уж раньше точно указал свою квартиру, но не знаю, жил ли в доме, расположенном напротив, Наполеон.

– Иосиф Фрич показал далее, что, придя к вам, он сообщил вам о положении дел в Праге в отношении предполагавшейся там революции, причём он, по его словам, передал вам, что там никаких приготовлений к революции не делается и что вам поэтому нельзя рассчитывать на Богемию. По его словам, вы выразили своё неудовольствие по этому поводу, а затем, сговорившись с ним насчёт встречи на Троицын день и обменявшись воспоминаниями относительно отдельных эпизодов, вы перешли к обсуждению вопроса о предполагавшейся революции в Праге. Вам предлагается подтвердить вышеизложенные обстоятельства и сообщить дальнейшее содержание и ход вашего разговора с Фричем. По словам Фрича, вас привело в особенное негодование вступление в пределы Австрии русских войск, ибо вы усматривали в этом признак поступательного хода деспотизма.

– Обо всём этом мне ровно ничего не известно, так как Фрича в Дрездене я не видел.

– Названный Иосиф Фрич показал, что у вас было тайное общество, и в нём было постановлено, чтобы посвящённые были разделены на секции, притом так, что, например, он, Фрич, должен был подобрать себе трёх товарищей, из которых лишь один состоял бы в непосредственных с ним сношениях; из этих трёх каждый должен был подобрать себе ещё трёх с соблюдением тех же условий, следующие тройки набирают дальнейшие тройки и т. д. Фрич говорит, что инструкцию по этой организации он также получил от вас. Без оснований Фрич не мог бы сообщить такой подробности. Итак, скажите по этому поводу всю правду.

– Я могу лишь подтвердить полное своё неведение всего этого.

– В отобранном письме к вам Людвига Штура[293], между прочим, говорится: «Тебя с нетерпением ожидают в Загребе». Не скажете ли вы, кто и для какой цели ожидал вас в Загребе? А также что значит, – прочёл гехеймрат фон Хок, близко поднеся письмо к золотым очкам: – «Теперь мы уведомляем тебя, что на днях мы отправляемся из Вены для известного дела в Карпаты, куда мы ждём тебя согласно твоему обещанию». Разъясните это место.

– Как из газет известно, в Загребе должно было произойти продолжение пражского конгресса под руководством бана Елачича. Я обещал Штуру приехать в Загреб и вместе с ним отправиться в Карпаты, дабы присутствовать при готовившемся тогда восстании словаков против мадьяр. Но так как я к тому



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
времени уже потерял доверие к Елачичу, под водительством которого должно было произойти восстание, и само восстание утратило свою славянскую тенденцию и должно было преследовать скорее русские реакционные интересы, то я и отказался от своего намерения отправиться в Карпаты и принять деятельное участие в тамошнем восстании, которое и обозначено в письме словами «известное дело».

Короткими шагами солдат внёс поднос с чашками кофе, хлебом, сыром, маслом. Офицеры, заседатели разбирали чашки, намазывали хлеб маслом, резали сыр. Писаря записывали каллиграфически вопросы фон Хока и ответы Бакунина. По одному движению фон Хока понимали, когда будет пауза, и тогда быстро закидывали перья за уши.

14

В ночь Бакунина разбудили шаги многих ног по коридору, звон ключей, шум отпираемых дверей, говор; шумели и на дворе. «Конец», – бормотнул Бакунин и почувствовал, что подрагивает. Шаги замерли. «Всё равно», – подумал, но не шевелился.

В волчке заметался жёлтый огонь; Бакунин увидел: на пороге, в свете фонарей капитан Нейман освещён в полкорпуса, в окружении солдат; за ним седенький актуарий.

– Одевайтесь!

Бакунин одевался с средней скоростью. Нейман стоял спиной. Позвякивая кандалами, в кольце вооружённых солдат впереди с жёлтым фонарём, Бакунин пошёл по коридорам. Замкнутый внутренний двор горел дымными красными пятнами факелов. Во дворе, окружённые солдатами, стояли Гейбнер, Рекель, Мартин, Гейнце. Поодаль две кареты. На козлах каждой сидели солдаты. У карет светились зажжёнными глазами фонари.

– Сажать!

Факелы заколебались, поплыли фантастическими длинными тенями. К одной карете повели Бакунина, Гейбнера, Рекеля, сажали на широкое сиденье; напротив сели жандармы с наставленными на преступников пистолетами. Во вторую посадили Гейнце, Мартина и полез седенький актуарий.

За окном, как из Хемница на Альтенбург, поплыли факелы и фигуры конных. Полосами освещались то лица товарищей, то жандармы с пистолетами. Карета рысью неслась на юг. Мелькнула чешуя Эльбы, тёмный дворец, Цвингер, Постпляд, жёлто-тёмные улицы. Потом пошли факелы, шум вертящихся колёс и топот подков по дороге.

На рассвете карета с эскортом мчалась лесом, вдоль Эльбы. Синими стрелами шёл свет из-за обступивших реку гор. На жёлто-зелёных скалах, как гнёзда, прижались домишки. Бакунин глядел на убегающий, стелющийся вид; когда-то шли здесь с Адольфом Рейхелем долиной Эльбы, неся на палке чемодан. Побывали на горах – Бастае и Пфафеншгейне, в Кенигштейне, где на скале орлиным гнездом прилепилась еле видная крепость внизу, в кабачке АМТсхоф Рейхель играл на рояле. Бакунин толкнул локтем Гейбнера, указывая на окно. В жёлтом освещении дымящаяся, утренняя Эльба словно таяла оранжевым паром.

– Кенигштейн, – бормотнул Гейбнер.

Карета, грохоча, въехала в деревню у подножия горы; перемахнула узкий мост. Посторонились, стуча по круглым камням деревянными башмаками, шедшие к колодцу женщины. Карета мчалась к подъёму на гору. У подъёма стояла рота солдат, и, глядя на Эльбу, курили четыре крепостных офицера.

Вылезших окружило каре пехотинцев. Гейбнер, Бакунин, Рекель поняли: стало быть, слухи, переданные Рекелю караульным о попытке освободить заключённых, – верны. Возле каждого закованного – по два унтер-офицера с пистолетами. Конные, приехавшие с каретой, заперли улицу от любопытных кенигштейнцев. Два офицера впереди каре, два позади, пожилой полковник резко скомандовал. И каре, позвякивая примкнутыми штыками, тронулось на подъём. Гора шумела елями, соснами в подымавшемся ветре. Узкой лесной дорогой, выложенной каменными плитами, шли крутым подъёмом офицеры, арестованные. Вправо виднелась голубая лука Эльбы, сжатая гребнем гор с скалистыми вершинами.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
дорога заворачивала всё круче. Вместо сосен уж шумели берёзы, каштаны, буки. Гейбнер уставал больше других. Дважды останавливался, прикладывая руку к сердцу – «Вперёд!» – Гейбнер трогался. Сколько шли меж гудящих берёз, буков, каштанов? В прорыве поределых деревьев, взвившись, мелькнула серая скала, на ней стены и башни крепости.

У наружных ворот ждали комендант и три крепостных офицера. Первым шёл Рекель. У каменных столбов комендант его остановил. Красивый смуглый брюнет, адъютант подошёл с большим чёрным платком и завязал Рекелю глаза, обмотав всю голову, оставив только рот. Бакунин успел увидеть лишь выбитое на камне; «Основана курфюрстом саксонским Христианом в 1586-1591». Тот же офицер окутывал ему голову. С чёрными платками вместо голов, качаясь неровно и неуверенно Рекель, Гейбнер, Бакунин шли, трудно было идти по средневековому высокому подъёмному мосту. После первого моста прошли ещё по двум, Бакунин наткнулся на плотно окруживших его солдат. Когда скомандовали – «Стойте!» – и размотали чёрные платки, их ослепило нестерпимо яркое солнце на скале и шумящие липы. Они стояли во дворе крепости у белого бюста короля Фридриха-Августа.

15

В 16-оконном цейхгаузе, выстроенном над самым обрывом скалы, Бакунину отвели восточную камеру. Окно в решётке, но не забито, комната светлая, жилая, стол, стул, кровать. Из окна – пестреющий вид на Эльбу, деревни, реки, поля, луга, как рельеф раскрашенной карты.

– Губернатор крепости генерал-майор фон Бирнбаум посетит вас, – проговорил брюнет-адъютант, завязывавший у ворот головы чёрным платком, – перед генералом должны становиться во фронт. Поняли?

– Понял, – сказал Бакунин.

Бакунина радовала комната и в окне вид географической карты. Тюремщик отомкнул кандалы, снял. Левая, привыкшая к несвободе рука свободы не ощутила. Была так же тяжела. Когда тюремщик замкнул камеру, Бакунин левой рукой несколько раз взмахнул круговращательно. Но это было больно, и, придерживая правой рукой предплечье, Бакунин подошёл к окну, вглядываясь в оборвавшийся со скалы вид деревенок, рек, лесов, лугов, в мглисто-синие очертания далёких богемских гор.

16

Крепостная тишина полновластна, слышны лишь шаги коридорного часового да его зевота. Время плывёт на скале Кенигштейн ветровой, звенящей вечностью, и в тишине каждый шаг часового, как гром.

Бакунин считал самым удобным на скале заняться математикой. Склонясь мощным телом к небольшому столу, чертил тонкие касательные, жирные перпендикуляры, катеты и гипотенузы. Если б вошли солдаты, попросил бы повременить, до того стал спокоен в крепости Кенигштейн.

Только иногда, слыша шаги сменяющихся часовых – ах, шаги! ах, ощущение свободы! – хотелось перемахнуть через дымные горы, опять в Богемию. «Что у венгров? Раздавил ли их Паскевич?» Несущееся вихревое, словно даже ощущаемое седым облаком, идёт время на орлиной скале. Рельефом карты внизу голубеют нити рек, зеленеют пятна лугов, краснеют крышами неизвестные деревеньки.

17

Гейбнер изменился, как истомлённый постом монах с впалыми глазами. Гейбнер писал самозащиту суду королевских чиновников, допускающему письменные показания, – цитируя «Братьев-разбойников», ссылаясь на Тита Ливия, Гуго Гроция, Гронова, Монтескье [294], юридическим анализом защищая свою борьбу за немецкую конституцию. Отдыхая от самозащиты, читал Гюго и Беранже, когда ж ходил по камере, мучило чувство любви к жене, вспоминал последнее их свидание, как милая, с глазами голубки, Цецилия шла лёгкой походкой по двору кавалерийских казарм меж лошадей и солдат. Гейбнеру страшна не смерть, страшна неправда немецкого отечества, убивающая Гейбнера, Цецилию и их ребёнка. Но чиновники не поймут, что светлоглазый основатель гимнастических союзов Отто Гейбнер пишет им честным сердцем хорошего

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
гимнаста: «Только любовь к народу и отечеству двинула меня на то, чтобы оборвать жизнь семьи и взять на себя бремя дрезденского кровавого боя».

В сумерках, стоя на табурете, Гейбнер глядел в решётчатое окно во двор; из палисадника вышел брюнет-адъютант, лейтенант барон Пиляр, самый жестокий офицер крепости. По каменным плитам шёл с розой на длинном стебле в руке, то и дело поднося её к лицу. И Гейбнер вечером писал не самозащиту, а стихотворение Цецилии – «Розы в тюрьме»:

Leuchtend kam der Lenz gegangen,  
Mir nur fremd und unbekannt.  
Fenstergitter, Eisenspangen  
Trennen mich von Luft und Land  
Heut' doch seh' ich Rosen prangen  
In den Schlüsselmeisters Hand[295].  
18

В объезд на гору подымалась коляска с тремя человеками в сюртуках. Они были разные возрастом и видом, но на лицах лежало что-то общее. Это ехали адвокаты, Глекнер из Фрейберга, Леопольд из Дрездена и розовощёкий, пушистый молодой человек в золотых очках, доктор Отто, защитник Бакунина.

Вышедшему к крепостным воротам адъютанту барону Пиляру адвокаты предъявили пропуска, паспорта. В его сопровождении поднялись по подъёмному мосту. Адъютант не разговаривал, пристально и часто взглядывая на доктора Отто. Но не только адъютант, коллеги удивлялись, почему семенящий небольшими ножками доктор Франц Отто изъявил желание защищать отказавшегося от защиты иностранца. Против Бакунина выдвинуты тягчайшие обвинения, не только Саксония, Германия, даже за граница требует смерти убийцы. До поимки за его голову газеты объявляли 10 000 талеров.

С нарощим брюшком, светлым ёжиком волос на квадратной голове, доктор Франц Отто был даже немного смешон. Но во всём его облике было что-то чрезвычайно спокойное. Почти у самой камеры Бакунина адъютант проговорил:

– Разрешите удивиться, герр доктор, как вы, саксонец, берётесь за защиту русского разбойника, вмешавшегося в наши дела, сжёгшего театр, дома и причинившего стране такие несчастья?

Доктор Отто чуть улыбнулся и повёл толстым плечом. Адъютант вставил ключ в замок камеры.

Бакунин, громадный, заросший бородой, решал теорему. Чуть наклонившись вперёд, доктор Отто сказал:

– Герр Бакунин? Моя фамилия Отто, я ваш защитник.

Тяжело поднявшись, зашумев стулом, Бакунин проговорил:

– Очень приятно.

Этого нельзя было допускать, доктор Отто протянул преступнику руку, и она скрылась в громадной руке Бакунина.

На стул сел доктор, Бакунин на кровать. Лейтенант прозвенел шпорами по камере и остановился у окна. Лейтенанту было странно слушать перебой распевного саксонского пения доктора Отто и раскатывающегося баса Бакунина.

– На ваше желание ближе ознакомиться с побуждениями, толкнувшими меня на участие в дрезденском восстании и двинувшими вообще в революцию..

Доктор заносил в записную книжку а Бакунин словно хотел выговориться, торопился:

– Я, герр доктор, русский и очень люблю моё отечество, но свободу люблю ещё больше, а любя свободу и ненавидя деспотизм, я ненавижу и наше русское правительство, которое считаю злейшим врагом свободы, благосостояния и чести России. Простите, я выражаюсь несколько сумбурно и неясно, я изложу вам всё это в записке лучше, но я хотел бы только указать, что эта ненависть к русскому деспотизму и борьба с ним послужила исходной точкой моей деятельности в Европе. Передо мной всегда стояла дилемма – или

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
деспотическая Россия задавит Европу, или свободная Европа с освобождёнными и самостоятельными славянами внесёт свободу в Россию. Из любви к моему отечеству я не желаю, чтоб русский кнут одержал победу над европейской свободой. Я чистосердечно желаю Германии свободы, единства и истинно германского могущества. Это и побудило меня принять участие в восстании Дрездене.

Лейтенант презрительно улыбнулся Доктор Отто записывал.

– Вы знаете сами, доктор, что после разразившихся революций в Париже, Вене, Берлине все ожидали общей войны освобождённой Европы против России. Я тоже ждал такой войны, но, разумеется, войны не против русского народа, который я люблю и которого я сын, а против правительства, сидящего на народе. Вот моя *idee fixe*.

Бакунин оживлялся, с губ лейтенанта сошла усмешка, доктор Отто перебил:

– Простите, против вас выдвигается обвинение, что вы приезжали в герцогство Познанское с намерением организовать убийство русского императора.

Закачав кудрявой головой, Бакунин захохотал:

– Милый доктор, я не скрываю ничего, даже говорю много больше, чем следовало, если б я хотел перед судьями спастись свою жизнь. Я этого не хочу и ни на что, кроме смерти, не надеюсь. Жизнь мне не дорога, поверьте, но когда я узнал, какие мещанские бредни распускает обо мне реакционная немецкая и иностранная печать, мне стало, право же, жаль человечество. Верьте, никто в продолжение всей моей жизни не заметил во мне даже малейшей способности к человекоубийству. Во мне нет ни осторожности, ни хладнокровия убийцы. Я гнушаюсь убийством, и революция, проповедуемая мною, не имеет ничего общего с убийством.

Отто чуть потупился, улыбнулся, сказал, словно извиняясь:

– Да, герр Бакунин, но революция тоже, конечно, нечто вроде убийства.

– Это открытый бой, доктор!

Лейтенанту становилось скучно, он дважды вытягивал из реиузу луковицу часов, похлопывал стеком по клеёному тугому голенищу; наконец доктор Отто встал, и брюки у него смешно задрались на икрах.

– Герр Бакунин, всё, что вы говорили, изложите, пожалуйста, письменно, ваше заявление мной при вашей защите будет представлено суду. Я думаю, что мне разрешат с вами ещё свидание, а сейчас я должен идти.

– Очень рад был поговорить доктор, моё заключение столь сухо, что это большая радость, но если позволите и простите за бесцеремонность, я бы обратился к вам с просьбой.

– Пожалуйста, – укладывая в портфель бумаги, сказал Отто.

– Заключение моё тяжко, и мне б хотелось украсить его присутствием граций, – засмеялся Бакунин, – не могли б вы одолжить мне, если имеете, а если это будет недорого, может, купите, – полное издание творений Виланда[296].

– Виланда? – удивлённо переспросил Отто.

– Да, я считаю его одним из прекраснейших немецких сочинителей. И тогда уж, для моих занятий, ещё географию и статистику Германии и Австрии с картами А если б вы приложили к этому ещё десять сигар, – весело засмеялся Бакунин, – моё заключение стало бы похоже на занятие в рабочем кабинете.

– Хорошо, пришлю, – улыбнулся, сконфуженный перед лейтенантом за бакунинский смех, Отто.

Лейтенант распахнул дверь.

– Что? Видали? – сказал он в коридоре. – Это беззастенчивый попрошайка с замашками Марата! Это – разбойник!

19

С утра на скале Кенигштейн, в древнем зале Магдалинабург солдаты обтирали столы, обмахивали портреты королей пуховыми метёлками; взяв за концы, трясли на дворе сукно. Сводчатый древний зал с открытыми в сад окнами был чист и мрачен.

В девять на пороге комендатуры показалась жилистая, статная фигура генерал-майора фон Бирнбаума. Нагоняя, шёл адъютант, крепостные офицеры. Все в парадной форме, в касках, в золоте эполет двинулись к Магдалинабург. По плитам двора звякали шпоры. Молчали, потому что молчал генерал. Генерал выглядел бодро. Морщинистое, розовато-старческой кожи лицо – матовое, словно припудренное – хорошо гармонировало с снегом волос.

У входа в Магдалинабург генерал приостановился.

– Приговор у вас? – Повернул соколиную голову к адъютанту. И, чуть кивнув, вошёл. За генералом, создавая мелодичную музыку шпор, каменной средневековой лестницей поднимались офицеры.

Древен, словно вырублен из камня зал, залу триста лет, его даже трудно наполнить ароматом цветов из обступившего сада. Заняв место за длинным столом, покрытым синим сукном с свисающими серебряными кистями, губернатор крепости проговорил:

– Барон Пиляр, распорядитесь ввести приговорённых.

20

К кругу Бакунин чертил тонкую касательную. Взглянув на гладкую голову барона с блестящим пробором посредине, Бакунин подумал: «Это смерть» – и встал из-за стола.

Вокруг Бакунина стали солдаты. В коридор вывели Гейбнера и Рекеля, выстроили в ряд. Гейбнер улыбнулся Бакунину. На красивого лейтенанта, на тупых солдат в касках Рекель смотрел с ненавистью: «Ещё несколько часов, и уйдёшь чёрт знает куда, а эти останутся тут отпирать и запирать».

Шли двором, мимо цветущего сада. «Как это всё томительно долго», – подумал Бакунин; он шёл, громадный, посредине, слева бородатый, очкастый Рекель, справа золотоволосый Гейбнер идёт лёгкой гимнастической походкой, с неподвижной рукой. Лейтенант впереди. Вошли в Магдалинабург по средневековой лестнице. В зале на сводчатых стенах – короли, в париках, латах, курфюрсты, гросскурфюрсты.

Как седой сокол, генерал-майор Бирнбаум встал с приговором в руках. Поднялись шумно офицеры гарнизона. Старик зачитал ясно, как приказ по полку. «По указу Его величества короля Саксонии Фридриха-Августа образованный королевский суд в городе Дрездене за содеянные преступления против короля и государства...» Бакунин рассматривал старика, почему-то на один момент напомнившего ему отца. Гейбнер следил за формулировками приговора, казавшимися нелепыми – «и это немецкий суд, – думал с грустью, – какая некультурность!» Рекель ненавистно оглядывал офицеров.

«...приговорил, – читал седой фон Бирнбаум, – бывшего члена саксонской палаты доктора Отто Леонарда Гейбнера к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству; бывшего музик-директора королевской оперы Августа Рекеля к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству; русского отставного прапорщика артиллерии Михаила Бакунина к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству. Приговор привести в исполнение в течение 48 часов со времени объявления его вышеназванным государственным преступникам. О приведении в исполнение немедленно донести господину министру внутренних дел саксонского королевского правительства барону фон Бейсту».

От свитка королевской бумаги генерал-майор фон Бирнбаум оторвал седое лицо, взглядом узких глаз скользнул – «спокойны ль?» – и, обращаясь к Пиляру, проговорил:

– Разведите приговорённых по камерам!

Лейтенант двинулся, но его задержали: Бакунин протянул руку Рекелю, Гейбнера Бакунин обнял и поцеловал в небритые щёки.

21

Через час комендант крепости отворил завизжавшую железную дверь в камере Гейбнера. Гейбнер стоял к нему спиной, на табурете, глядел в окно и не обернулся. Комендант окликнул. Гейбнер медленно слез с табурета.

– Герр Гейбнер, вы знаете, как тяжело ваше преступление перед королём и отечеством. Но король великодушен, вручите судьбу милости Его Величества.

Гейбнер опустил голову.

– А как мои товарищи? – проговорил Гейбнер тихо.

– Товарищи, герр Гейбнер, – пожал плечами комендант, – какое вам дело до чужого человека, замешавшегося в саксонские дела и произведшего тяжчайшие преступления?

Гейбнер отрицательно покачал головой.

– Нет-нет, полковник, – сказал тихо, – если те, с кем я связал судьбу, идут на смерть, пойдут и я.

Комендант молчал, молчал и Гейбнер.

22

Приходом коменданта Бакунин был недоволен. Комендант, войдя, проговорил грубо, не глядя на Бакунина:

– Гейбнер согласен подать прошение, только если подадите вы, один он отказывается, стало быть, жизнь вашего товарища в ваших руках. Я даю на размышление час, – и комендант вышел.

23

Генерал Дубельт был в непрерывном волнении, то выезжал к министру внешней политики графу Нессельроде в особняк на Морской, то вызывал во дворец государь, семь раз докладывал Его Величеству. Николай закричал «Негодяй должен быть доставлен!» – И все поняли – баста. Заметался Нессельроде с представлениями саксонскому двору, инструкциями тайным заграничным агентам. Покоритель Венгрии фельдмаршал Паскевич писал письма генералам. Сколько колясок скакало, сколько замелькало людей!

Горбоносый вице-канцлер граф Нессельроде, действительный камергер и кавалер ордена Андрея Первозванного, сидя в большом кабинете, не доставал ногами до земли. Происходил по отцу из древнего рода графов Нессельроде-Эресгофен, по матери из еврейского банкирского дома Гонтаров во Франкфурте. Умное лицо кобчика затуманено высоким постом и великими почестями. Видя графский полукорпус, можно было предположить, что ноги длинные, твёрдые. Граф скрывал неприятность рисунком стола, прикрывавшим канцлера.

Нессельроде сидел в ярко-красном персидском архалуке[297] и туфлях из красного сафьяна с большими помпонами; ждал Дубельта, чтоб обсудить исписанный плохим французским языком лист саксонского юстиц-министра доктора фон Чинского. Щуря выпуклые масляные глаза, пробежал письмо:

«Ваше сиятельство! Вы обращались ко мне уже ранее с вопросом, когда закончится следствие, начатое по делу о майских беспорядках, в особенности интересующая всем касаемая русского Бакунина. По этому поводу могу сообщить вашему сиятельству, что по свидетельству советника суда Швебе, комиссара, которому поручено производство устных допросов, и протоколиста Гаммера, которому поручено главным образом производство следствия, оно могло бы теперь уж быть представлено на утверждение, если б его не задержало вмешательство находящейся в Дрездене австрийской императорской и королевской следственной комиссии во главе с господином тайным советником

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org фон Хоком. Эта комиссия в интересах аналогичного следствия, производящегося в Праге, произвела обширные расследования и частные опросы обвиняемых, каковые лишь отчасти имеют значение для нашего расследования. Тем не менее гг. Швебе и Гаммер надеются довести следствие в течение этой недели до окончательного допроса, если только известия, ожидаемые австрийским следователем из Праги, не вызовут новой отсрочки. Я с своей стороны, ваше сиятельство, как сами можете видеть, могу только тем ускорить производство следствия, что буду понуждать трибунал к неустанной деятельности, и вы, ваше сиятельство, можете быть уверены, что я делаю это, так как для меня самого в высшей степени важно, чтобы это дело закончилось как можно скорее. Впрочем, должен засвидетельствовать, что следственный трибунал работал с неустанной энергией, доказательством чему и служит тот факт, что ему понадобился лишь короткий срок нескольких месяцев, чтобы довести до конца обширное следствие, в котором замешано несколько сот обвиняемых. Примите, ваше сиятельство, уверение в моём глубоком почтении, с которым остаюсь вашего сиятельства покорнейшим слугой.

Юстиц-министр королевского правительства Саксонии, тайный советник доктор фон Чинский».

Нессельроде отложил письмо, взял ещё раз перечитать депешу императорского посланника при саксонском дворе фон Шрейдера.

«Ваше сиятельство! Препровождая при сём копию защитной записки Бакунина к своему защитнику доктору Францу Отто, смею уверить, что содержание оной ещё раз свидетельствует о путанице в его понятиях и о той непреодолимой ненависти, какую он испытывает по отношению к русскому правительству. Барон фон Бейст сообщил мне, что сейчас же вслед за перерывом саксонского парламента будет вынесен приговор высшего военного суда и что тогда последует выдача Бакунина Австрии. Смею думать, что это будет важно узнать вашему сиятельству, и прошу, приняв сказанное бароном Бейстом к сведению, ваших распоряжений и указаний. Должен сказать вашему сиятельству, что я всецело занят этим делом, не пропуская ни одного сведения относительно него, ибо имею честь знать, как заинтересован сим делом Его Величество. Австрийский посол граф Куфштейн уверял меня, что Бакунин останется в Праге недолго, так как его немедленно отправят в Краков, где он и будет передан следственной комиссии. По всей вероятности, там он не будет придерживаться своего метода отрицания.

Покорный слуга вашего сиятельства фон Шрейдер».

Дубельт вошёл, шумный, вихревой. Карлик навстречу озабоченно развёл маленькими жёлтыми ладошками:

– Садитесь, батюшка, Леонтий Васильевич, дело-то с преступником осложняется, саксонцы с одного боку, австрийцы с другого.

Беря из рук канцлера бумаги, Дубельт негромко проговорил в усы:

– Предлагал своевременно схватить в Европе негодяя, могли б послать верных людей, теперь станется, что вовсе не получим.

Карлик дружески захохотал:

– Эх, батюшка, Леонтий Васильевич, что значит различные-то департаменты! И методы разные. Покойник Бенкендорф – как две капли воды! Тоже был любитель решительных мер, ну а мы-с думаем по-иному, надобно лишь координировать действия. Срочную депешу шлю Медему в Вену, чтоб вступил в переговоры, можно будет на эрцгерцогиню Софию оказать влияние, Паскевич отписал Шварценбергу лично, да и граф Кабога обещал фельдмаршалу.

Дубельт пробежал письма умными серыми глазами. Через час шестерик вороных рысаков рванулся с Морской, понёсся к Зимнему. Нессельроде и Дубельт ехали с докладом к царю.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Виландовский «Оберон» не читался; Бакунин повернул кудрявую голову к решётчатому окну, откуда сноп света играл переливающейся в нём пылью. Развёрнутая ширина плеч; руки длинные, сильные, с белыми пальцами, вытянуты на столе. Русские, сине-степные глаза глядели сквозь решётку. Что-то от запертого в клетку великана было в бакунинской грандиозной фигуре.

Только от двух лет заключения сошёл со щёк смуглый румянец. Глядя за решётку, где клубилась, рябилась саксонская игрушечная даль, думал о Прямухине, о сестре Татьяне, не было сейчас человека более дорогого и нужного сердцу; вздохнул, оторвавшись. Походил по камере, потом, раздвинув на столе лежавшие горкой зелёно-кожаные томики Виланда, сел за письмо к другу Рейхелю:

«Дорогой друг! Я спокоен и здоров, читаю сейчас Виланда и занимаюсь математикой. Математика особенно хорошее средство отвлечения, а ты знаешь, у меня всегда был большой талант к отвлечённости; теперь же я *volens nolens*[298] переведён в абстрактное положение. С тех пор как меня перевезли в Кенигштейн, которым много лет тому назад мы так любовались снаружи, я чувствую себя совсем хорошо, конечно, насколько это возможно в тюрьме. Что касается моей здешней жизни, то она очень проста и может быть изображена в немногих словах: у меня очень чистая, тёплая, уютная комната, много света, и я вижу в окно кусок неба. В 7 утра я встаю и пью кофе, потом сажусь за стол и до 12 занимаюсь математикой. В 12 мне приносят еду; после обеда я бросаюсь на кровать и читаю Виланда или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу В 2 за мной приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно, чтобы я не убежал, что, впрочем, и без того невозможно, так как я гуляю между двумя штыками и бежать из Кенигштейна немислимо. Как бы то ни было, но, украшенный сими предметами роскоши, я гуляю и издали люблюсь красотами саксонской Швейцарии. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, башенные часы отмечают здесь каждые четверть часа, а в половине 10-го раздаётся меланхолическая труба, что значит – надо тушить свет и ложиться спать.

Если я не прямо весел, то и несчастным себя вовсе не чувствую. Теперь мой внутренний мир – книга за семью печатями, о нём я не смею и не хочу говорить. Я совершенно спокоен и готов ко всему. Ещё не знаю, что со мной сделают: я готов как снова вступить в жизнь, так и расстаться с нею. Теперь я ничто, то есть только думающее, а значит, не живущее существо, ибо, как это недавно узнала Германия, между думать и существовать всё же огромная разница.

Вот и всё, друг, что я сейчас могу тебе сказать; когда мне приходится плохо, я вспоминаю своё любимое изречение: «Перед вечностью всё ничто», а затем... точка...

Чтобы хорошенько оценить свободу, надо посидеть в тюрьме.

Сейчас я обращаюсь к тебе с большой просьбой: денег, денег, дорогой мой! я живу щедротами г-на Отто, я должен это тебе сказать, чтобы ты понял всю щекотливость моего положения. Разве не бессмыслица – клиент, оплачиваемый своим адвокатом? Где и как найдёшь ты деньги – твоё дело, но найти деньги ты должен.

Будь здоров, старый, дорогой друг!

Твой Бакунин».

Ночью не спалось; кружение сердца, тошнота. Память выбрасывала осколки мыслей, воспоминаний, лиц: то Казерн де Турнон, то славянская слава, тогдашний пражский святодуховский день, то жаркие бои Дрездена. Всё прошло, как вчерашняя ночь, и далеко! Смешной доктор Отто с задравшейся на икре штаниной, вагнеровская симфония в в сожжённом королевском театре, любовь Полудинской... Бакунин слышал, как перекликаются на кенигштейнской скале часовые, чувствовал, что проваливается в темноту бессознания.

Над скалой неслась ночь, тёмная, высокая, прижатая к небу. До того ярки и выпуклы были звёзды и ясны в жёлто-лунье и золоте соседние горы Лилиенштейн и Пфафенштейн. Эльба дрожит в лунной мгле серебряной ниткой. Часовые идут медленно по стене над скалистым обрывом. Летят по скалам их голоса, а снизу подымается медленный бой часов из древней деревни.

По двору от комендатуры на носках под луной пробежал адъютант, барон Пиляр, крикнув:

– Готово?

Голос ответил:

– Готово, ваше сиятельство!

Бакунин спал, как ребёнок, закинув за голову руки. У наружных ворот встала телега, затянутая парусиной. Спешившиеся возле коней кавалеристы в лунной темноте курили, и кто-то напевал, выбивая трубку об оглоблю.



К камере Бакунина подошли тюремщик с связкой ключей и барон Пиляр в плаще, походной форме, с двумя пистолетами за поясом, позвякивая саблей. Бакунин не услышал, как отперли, только когда солдат осветил его уродливым фонарём в лицо, Бакунин вскочил, и Пиляр увидел, как Бакунин побледнел, и эта внезапная бледность была приятна Пиляру.

– Одевайтесь! – сказал он.

Бакунин спустил ноги, громадный, в свете фонарей взял с табурета кальсоны, натягивал на ноги. Солдат, выпустив ружьё, стукнул прикладом об пол. Тюремщик зевнул, закрываясь ладонью, дожидаясь скорее запереть камеру, идти спать. Бакунин застёгивал брюки, уж овладел собой, старался только понять: куда?

– Готовы?

– Книги...

– Останутся здесь, – сказал Пиляр, кладя руку на зелёные томики Виланда, и махнул тюремщику: – Кандалы!

Бакунин знал уже, вытянул левую руку, правую ногу и, окружённый солдатами, двинулся. Впереди танцующим шагом пошёл лейтенант барон Пиляр, придерживая ножны.

Звёзды, темень, в саду тишина; прошли подъёмными мостами. Верховые на конях показались огненными от света факелов. Бакунина втащили в телегу, звенели кандалы. Пиляр осадил метнувшегося, присевшего коня, прокричал на всю ночь:

– В случае неповиновения стрелять без предупреждения! В случае приближения к телеге постороннего – стрелять! Вперёд! – скомандовал, дав шенкеля прыгнувшему коню.

Топот коней, факелы, чёрно-лунные тени леса, два наведённых пистолета, седенький актуарий в смешном капюшоне. Вдоль Эльбы кони пошли резвой рысью. С телегой, облегчаясь на рыси, поравнялся Пиляр.

– В Австрию, господин лейтенант? – спросил в темноте Бакунин.

– Австрия вам не Саксония! – крикнул с седла Пиляр, обгоняя телегу.

2

«Да, да, – думал Бакунин, – конечно, та ж самая дорога, где два года назад, но в обратном направлении ехал с поляками после разбитого Виндишгрецем святодуховского восстания». Жандарм устал от бессонной ночи, издаёт носом свист. Сизоватое лицо осоловело. Дважды менялся конвой. Сейчас нежным ранним утром скакали австрийские жандармы. Смуглый мадьяр на сером коне нёсся порывистой, широкой рысью. Конь бочил, норовил подхватить в карьер, обскатить телегу. Мадьяр играл сам с собой, с конём, горяча его и осаживая.

Вместо барона Пиляра на поджарой рыжей кобыле, с белыми отметинами на ногах ехал офицер его императорского, королевского и апостолического величества, на пограничной приёмке с любопытством рассматривавший Бакунина. Кавалькада подымала пыль, выезжая на изволок, с изволока в раннем утре вот она – древнее славянское сердце, золотая Прага! Также блещет острыми башнями Градчин, раскинулся по голубой Молдаве город; захолонуло бакунинское сердце на изволоке, отсюда разливом должна была идти, звоня набатом, беспощадная революция.

На выбоине дрогнул сонный жандарм, подбросило склонённую на грудь голову, проснувшись, взглянул сердито. Под парусиной в щель смотрит Бакунин: обогнали мирным шагом едущий крестьянский воз, в широкополой шляпе, жуёт краюху хлеба мужик-чех. Полным аллюром кавалькада вымчала в гору. Телега зашумела по камням мостовой, иногда глухо вмахивая, катясь по пыли. Бакунин понимал: везут в самое сердце Славии, в древний славянский кремль – Градчин.

3

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Коридором градчинской крепости шёл сумрачный майор и аудитор императорского и королевского суда в Градчине Иосиф Франц, человек крепкий, шатен, в мундире. За майором поспевали молоденький лейтенант и три солдата-письмоводителя. Впереди – тюремщик с фонарём. Над Прагой стлалась полная ночь, люди спали, спала весёлая веснушчатая блондинка, жена майора франца, спали его дети.

Пражское восстание выдвинуло майора. Составлял суду в Градчине многотомный доклад, допрашивал заключённых, захваченных участников восстания, в крепостях Ольмюц, Смечна, в Праге. Лейпцигских теологов Густава и Адольфа Страка, литератора Арнольда, редактора «Новины Славянской Липы» Карла Сабину, купца Карла Прейса, Иосифа Фрича, жестяных дел мастера Иосифа Менцля, доктора Карла Сладковского, патера Андрея Красного, мельника Франца Мушку – многих передопросил майор. Это была кропотливая работа, хоть все заключённые и винулись полностью перед майором, и майору становилось ясно: показания сходятся в центр, в непонятную фигуру неистового демагога и разрушителя, схваченного саксонцами русского, Михаила Бакунина.

«Какая сырость», – бормотал Бакунин, лёжа на тюфяке на боку, не спал, чувствуя сосущую тошноту от голода и скверный вкус моркови во рту. На шум неурочно отпираемой двери Бакунин приподнялся. Свет фонарей сильно осветил камеру и темноватого входящего майора франца. Майор Франц сказал сухо:

– Я майор и аудитор императорского и королевского суда в Градчине, потрудитесь подняться, давать показания.

Писаря внесли два стола, стулья, камера осветилась фонарями. Майор Франц сел за стол, разложив бумаги. Рядом – молоденький, как мальчик, лейтенант. За другим столом писаря заложили гусиные перья за уши. Стоявшего перед столом Бакунина с пристальным испугом, почти с ужасом, разглядывал аквамариновыми, детскими глазами мальчик-лейтенант, князь Вреде. Бакунин стоял, опустив голову.

Майор читал, никуда не торопясь; да и куда торопиться?

«На допросе, произведённом гехеймратом фон Хоком в Дрездене, вы показали, что родились в России, в Торжке Тверской губернии, в 1814 году, вероисповедания христианского, греческой церкви, холосты, 14-летним мальчиком поступили в артиллерийскую школу в Санкт-Петербурге, где оставались до 1831 года, выйдя оттуда прапорщиком артиллерии, и служили таковым 2 года, затем вышли в отставку, посвятив себя литературной деятельности. В 1840 году вы отправились из России в Берлин...»

Майор читал о Берлине, Швейцарии, Бельгии, Франции, снова о Берлине, Познани, о Бреславле. Писаря, как зайцы, сидели тихо, с заложенными за уши перьями. Князь Вреде разглядывал большие, в скверных, разорванных башмаках ноги Бакунина.

Наконец, оторвавшись от бумаги, майор Франц произнёс:

– Вы показали, что в мае 1848 года отправились в Прагу на славянский конгресс, членом которого и состояли, числясь по польской секции.

Писаря необычайно быстро вынули из-за ушей перья, под каллиграфически, заранее выведенным заглавием записали. В фонаре что-то треснуло в пламени, пламя заколебалось. Майор Франц поглядел на пламя.

– Как можете характеризовать вашу деятельность на славянском конгрессе? Чего вы добивались?

Бакунин заговорил медленным басом; чувствовал голод, слабость, усталость.

– Добивался на славянском конгрессе соглашения и единения славян, моё личное стремление клонилось к объединению австрийских славян с поляками для освобождения Польши как первой ближайшей цели, а посредством её и освобождения России.

Вреде, вертя бледными пальцами пуговицу узкогрудого мундира, взглянул в лицо Бакунина и почему-то улыбнулся, хотя и не слышал сказанного. Писарь в руку приглушённо кашлянул.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Признаёте ли, что ваша деятельность была направлена к распаду австрийской монархии?

– Да, – сказал Бакунин, – ибо, по моим убеждениям, австрийская монархия несовместима с понятием человеческой свободы.

– Какую форму государственной жизни предполагали вы проводить после желаемого вами распада австрийской монархии?

– Желал самостоятельной организации всех народностей, населяющих Австрию. Форма этой организации, именно государственное устройство отдельных народностей, должна была зависеть от потребностей и их собственного желания, и не могла быть предreshена заранее.

Майор выжидал, пока запишут писцы. И лейтенантик сделал вид, что записал что-то, черкнув последние слова преступника и перечеркнув их дважды фамилией «князь Вреде, князь Вреде».

– Вы искали в Лейпциге знакомства с молодыми людьми славянского происхождения и знакомили их с людьми немецкого происхождения? Зачем вы это делали?

– С целью положить начало связи между славянами и немецкой демократией.

Писцы писали борзо.

– С каким поручением вы послали в Прагу Густава Страка в конце января 1849 года?

– В конце января? – Бакунин приложил свободную от кандалов руку ко лбу. – Да, в конце января я отправил Густава Страка в Прагу, дав ему поручение к редактору листка «Новины Славянской Липы» Карлу Сабине. Письмо являлось дальнейшим развитием изложенных в «Воззвании к славянам» идей и содержало призыв к соединению с демократией Германии и с мадьярами для совместных действий против реакции.

– Вы получили ответ от редактора Карла Сабины? – мутноватые глаза майора франца не отрывались от лица Бакунина.

– Нет, ответа не получил, только узнал от Густава Страка, что Сабина не считает возможным передать моё письмо «Славянской Липе».

– Вы посылали в это же время письмо пивовару францу Банку? Что это за письмо?

– Я просил у Ванка денег.

– Лично для себя или на цели агитации?

– Мне нужны были деньги и лично, ибо я нуждался, и для агитации.

– Стало быть, франц Банк знал, что даёт вам деньги на агитацию?

– Нет, я просил для себя, он мог предположить, что я употреблю часть денег для агитации в России, но что я употреблю их для агитации в Богемии, этого он не знал.

– Но вы употребили эти деньги на агитацию в Богемии?

– Не знаю, как употребил бы, если б получил. Ванк денег мне не прислал и не прислал даже ответа на моё письмо.

– А не обсуждали ли вы с Арнольдом в то же время в Лейпциге организацию демократической пропаганды в «Славянской Липе»?

– Обсуждал, Арнольд обещал мне оказать помощь и связи, но это было только на словах, он ничего не исполнил.

– Вы говорили Арнольду, что вашим желанием и задачей является, чтоб вспыхнувшая германская революция перебралась в Богемию?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Вероятно. По крайней мере действовал в этом направлении.

– Приехав в Прагу, вы жили тайно сначала у Прейса, потом у жестяных дел мастера Менцля в Каролиентале, а потом у заготовщика красок Пауля?

– Да.

– С кем вы имели на этих квартирах свидания?

– На этот вопрос я отказываюсь отвечать.

– Ваши квартирохозяйева словоохотливей вас, – майор Франц, заложив руки в карманы брюк и вытянув ноги, в первый раз улыбнулся, – вы имели свидания на квартире заготовщика красок Пауля с Францем Гавличеком, бывшим депутатом рейхстага, и с секретарём магистрата Руппертом.

– Может быть.

– Не помните ли вы одного собрания на квартире Прейса, на котором присутствовали вы, Сабина, Арнольд, Рупперт, Гавличек и несколько членов «Сворности», где вы выступали перед собранием с большой программной речью?

– Помню.

– Что вы говорили?

– То же, что и в других. – Лейтенантику казалось, что Бакунин устаёт. Бакунин несколько раз провёл рукой по вспотевшему холодноватой испариной лбу. – На этом собрании, – шурясь, сказал Бакунин, – я говорил в трёх направлениях: во-первых, хотел узнать, чего желает каждый в отдельности из присутствующих, во-вторых, хотел убедить всех присутствующих, насколько необходимо отложить одностороннюю чешскую политику и присоединиться к общему движению европейской демократии, в частности, к немцам, мадьярам и полякам. Наконец говорил с целью убедить присутствующих в необходимости оставить чистую теорию и воспользоваться затруднениями австрийского правительства, чтобы выступить практически.

– Что значит «практически»?

– То есть организовать восстание.

– Вооружённое?

– Вооружённое.

– И что же вам помешало?

– Что помешало? – Бакунин, улыбнувшись, скривил губы, проговорил громко: – Во-первых, герр майор, я заметил, что все эти бывшие на собрании люди склонны очень много говорить и хвастать и никуда не годятся для практических действий. Они все держали себя нерешительно, боязливо и мне говорили, что народ в Богемии в настоящую минуту недостаточно подготовлен для подобных выступлений. Мне казалось, что, с одной стороны, у присутствовавших ко мне есть доверие как к личности, но в то же время мне не удастся привлечь их на свою сторону.

– Так, – туманно сказал майор, видел, что показания верны. «Скрывает мало», – думал, сжав на животе руки. Краем глаза увидел: лейтенант Вреде еле сдерживает зевок, опасно взглянул на майора, закрыв рот тонкой рукой.

– Но ведь Арнольд поддерживал ваши планы?

– Арнольд на все мои уговоры отвечал одно и то же: «Ах, если б у меня не было подагры!»

И вдруг в ночной градчинской камере приснул со смеху лейтенант князь Вреде. И майор Франц еле сдержал выплывшую на губы улыбку.

4

Долго сидел в Градчине Бакунин без прогулок и света. Ослаб, зарос грязной  
Страница 396

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
бородой, от прежнего Бакунина осталась тень. Чувствовал тошно разливающуюся слабость, непрерывный шум в ушах, головные боли разламывали череп.

Ночью вывели во двор Градчина, в кандалах, и снова посадили в чёрную большую карету. Бакунин не спрашивал: куда? Поехали, кажется, на восток, но темна карета и темно славянское сердце, золотая Прага. Тут куют не по-саксонски, Бакунин не мог двинуть ни рукой, ни ногой, скованный в железа. Много офицеров в походном снаряжении провожали ночами Бакунина. Но только этот жгучий мадьяр с тонкой проволокой усов и горячими, словно пьяными, глазами тут же, в карете, заряжал пистолет.

– Неужто думаете, ротмистр, что убегу? – сказал Бакунин, устало усмехаясь, и со звоном тряхнул руками и ногами.

Надеяв пистон, ротмистр проговорил с горловым, горячим акцентом:

– Правительство имело слухи, вас могут отбить, в таком случае приказано всадить вам пулю, – и венгр засмеялся в темноте.

Полузвучно сыпался топот подков. Молчали в карете. Гривы коней вились в огне, вероятно, дул навстречу ветер.

На перепряжке с трудом выволокли скованного Бакунина за нуждой. Штаны расстёгивал вахмистр и смеялся вместе с окружившими Бакунина драгунами.

5

Дунайская крепость Ольмюц на Мораве под Краковом глуше и древнее Кенигштейна. Стены толсты, казематы глубоки. Сколько сгнило тут преступников, позабыл двадцать лет командующий крепостью губернатор, генерал от кавалерии барон Бем. Бем стар, сед, суров.

Бакунина генерал приказал в «глухой» камере приковать к стене. Два года пустовала «глухая», освещавшаяся светом в четыре просверленных сквозь стену дыры. Сидевшим там казалось, что на воле всегда солнце.

– Сюда! – крикнул, злобнея, тюремщик, привлекая к стене. Бакунин ощутил сырую слизь и холод камней; по громыхнувшем, ввинченном в камни кольцам догадался, что сейчас прикуют, как приковывали здесь триста лет назад.

Ножные и ручные кандалы тюремщик снял. В сидячем положении, за руку и за ногу приковали цепями к двум кольцам. Можно даже лечь, но не встанешь, да и куда вставать? Темнота, сырость, в четыре просверленных на волю дыры ползёт узкими стрелами свет. «О, проклятая страна, то-то я их так ненавидел», – пробормотал Бакунин, звеня тяжестью цепей.

6

На границе Российской империи командированный по приказу царя фельдмаршалом князем Варшавским графом Паскевичем–Эриванским крепко сшитый жандармский поручик Распопов занял в богатом селе Михаловицы хату с палисадником, цветущим белыми, розовыми, жёлтыми мальвами.

По деревенской пыльной улице клохтали, летали куры; подымала, словно взрывала, пыль столбом мужичья телега. Поручик жил с двенадцатью жандармами больше месяца, и делать было решительно нечего, как только выпить да закусить. Грузновато звякая шпорами, после обеда ходил Распопов по хате, повеселев, напевая в жёлтые от курева концы усов:

Солдат стелит епанчу.

Услыжав за стеной, в сенях, голос денщика, поручик остановился, прислушиваясь. Слышно было – денщик читает окружившим его солдатам по складам: «...милорд, лёжа в постели, находился о красоте королевской в различных размышлениях, но вдруг, увидя отворившуюся дверь и идущую к себе даму, очень удивился; а как она подошла к его кровати и мог он её узнать, то говорил он ей: ах! ваше высочество ли это, зачем вы в такое необыкновенное время придти сюда изволили?! К тебе, любезный милорд, отвечала она ему, и в самое лучшее время для доказательства непреодолимой моей любви. О боже, сказал милорд, какое это похабство! – Солдаты заржали в десять голосов.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org – Васька! – гаркнул Распопов со смехом.

Влетел вертлявый денщик.

– Чего там читаешь? – ухмыляясь, пробормотал Распопов и сел на скамью, подав толстую ногу в лакированном ботфорте. Денщик повернулся задом, левой ногой Распопов упёрся в квадратную задницу ухватившегося за правый ботфорт денщика и что есть мочи толкнул отлетевшего Ваську вместе с слетевшим сапогом. Так же отлетел Васька с левым и выбежал в сени.

Покряхтывая, сняв мундир, Распопов лёг на лавку под образами, в голубых рейтузах и снеговой белизны рубахе. Прикрылся дорожным пледом. Долетал голос читавшего денщика: «а меня оставь в покое – и, оборотясь на другую сторону, милорд окутался в одеяло...» Распопов засыпал, видел во сне себя мальчиком, играющим с братом на лугу в лапту, и до тех пор смотрел сон, пока экстренный ординарец князя Паскевича не поднял. Встрёпанному поручику привезли длинейшее предписание фельдмаршала. Протирая глаза, ероша волосы, Распопов с трудом соображал, в чём тут дело: «...многочисленные соучастники сего преступника за границей и даже в России намерены освободить его, а в случае неудачи отравить, ибо опасаются, чтобы он при допросе не открыл, если будет передан русскому правительству, преступные замыслы как своих соотечественников, так и заграничных злоумышленников, а потому предписываю немедленно по принятии важного государственного преступника: 1) наложить на него ручные и ножные железа, 2) усилить охрану с 12 до 20 человек нижних чинов, выбранных вами, 3) везти преступника, никому не открывая его имени, без остановок, пересаживая на заранее высланные на все почтовые станции подставы, 4) запрещая произносить хотя бы слово кому из везущих его военных чинов, а также встречным штатским, 5) везти безостановочно прямым трактом Варшава – Петербург...»

Распопов оторвался, толстым пальцем почесал переносицу, внутренне пустил солёное, многоэтажное ругательство, относившееся к тем, кто назначил его в эту командировку.

7

В этот день вместо котелка супа Бакунину дали большой кусок мяса и кружку настоящего кофе. Было двенадцать часов дня, но крепостной зал был тёмн и потому освещён канделябрами и люстрами. У Бакунина зарябило в глазах, он еле устоял. За сине-суконным столом увидел генерала Бема, захватившего подрагивающей рукой плотный седой подусник; посреди множества незнакомых крепостных офицеров в парадной форме увидел и невыразительного майора франца.

За офицерами, как в партере театра, ряды зала были заполнены солдатами по чинам: фельдфебели, капралы, ефрейторы, рядовые. Было много блеску и света. Покручивая ус, старик Бем произнёс гулко и отрывисто:

– Заседание военного суда, созванного по предписанию господина генерал-майора императорской и королевской армии Эдлер фон Клейнберга, ad latus des Landes Militarkomandanten, объявляю открытым.

Рыжий, некрасивый, широкоплечий полковник, председатель суда Шульц фон Штернвальд встал, отставил стул, чтоб не мешал, заговорил ясно:

– Подсудимый! Имеете ли вы какие-нибудь обоснованные возражения против кого-либо из собравшихся судей?

– Нет, не имею, – в тишине проговорил Бакунин.

Шульц фон Штернвальд повернулся к заполнившему зал офицерам и солдатам, заговорил сипловато, отрывисто о военном долге, присяге и чести. Кончив, повернулся к замершему в высоком срединном кресле генералу Бему.

– Прикажете приводить к присяге?

По очереди выстроились в соседнюю комнату полковники, ротные командиры, лейтенанты, фельдфебели, капралы, ефрейторы, рядовые. Когда снова заняли места, Шульц фон Штернвальд обратился к майору францу, и майор поднялся.

– Показания подсудимого Михаила Бакунина, обвиняемого в государственной

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
измене... – зачитал майор и аудитор франц. Бакунин переминался с ноги на ногу. Когда майор франц сел, полковник Шульц фон Штернвальд проговорил:

– Подсудимый! Подтверждаете ли прочитанные вам показания и не желаете ли что-нибудь к ним добавить?

Бакунин чуть выставил вперёд правую ногу, хотелось сказать так же отчётливо, как этот неизвестный полковник, но голос раздался глухой, срывающийся:

– Данные мною показания подтверждаю и добавить ничего к ним не могу, но вынужден повторить свой протест, заявленный в начале допроса, против вторичного вынесения приговора по моему делу. Делаю это формально, знаю, что протест недействителен или, вернее, останется здесь без последствий.

«Нагл», – пожевав подусник, подумал генерал Бем. Председатель суда ждал окончания скрипа перьев писарей, потом, просмотрев запись, быстро звеня шпорами, подошёл к Бакунину.

– Подпишите, – указал белым сморщенным пальцем внизу бумаги. Непривычные к свободе бакунинские ноги споткнулись. Стоя у стола, подписал и отошёл снова к ефрейторам с саблями наголо.

– Уведите подсудимого, – сказал председатель.

В открывшихся дверях Бакунина встретили ещё четверо солдат. Но в камере не приковывали, он первый раз ходил по «глухой».

8

В зале на заросшем волосом лице Бакунина снова остановились карие глаза генерала барона Бема. За окнами качалась бузина, было слышно, как на деревья налетал солнечный ветер. Полковник Шульц фон Штернвальд зачитал, закашлялся, поправив что-то пальцем за воротом мундира:

«Протокол военного суда в полном составе, созданного по предписанию его превосходительства господина генерал-майора императорской и королевской армии Иоганна Эдлер фон Клейнберга, военного коменданта в Богемии, по соглашению с его высокопревосходительством господином генералом от кавалерии и губернатором крепости в Ольмюце бароном Бемом, над подсудимым Михаилом Бакуниным, родившимся в России, в Торжке Тверской губернии, в 1814 году, холостым, вероисповедания православного. Расследованием, произведённым военно-судебным порядком вследствие объявленного от 10 мая сего года в Праге и окрестностях осадного положения, на основании законом установленных фактов и признания подсудимого, удовлетворяющего всем требованиям закона, Михаил Бакунин уличён в государственной измене против Австрийской империи и за это преступление...»

В мертвящей тишине никто не скрипнул, не кашлянул, Бакунин пропуская приговор, не дослушивая, но вот началось главное:

«Рядовые приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иоганн Тишлер,  
рядовой.

Антон Гоблер,  
рядовой».

«Немцы», – подумал Бакунин.

«Ефрейторы приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Винцент Клука,  
ефрейтор.

Демут Венделин,  
ефрейтор».

«Чехи», – подумал Бакунин, его охватывало отяжеляющее безразличие, даже словно не слышал голоса председателя суда:

«Капралы приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Теодор Ноппес,

капрал.

Людвиг Никсцайер,

капрал.

фельдфебели приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иоганн Шмидт,

фельдфебель.

Эдуард Рейниш,

фельдфебель».

Бакунин переминался с ноги на ногу.

«Господа поручики приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Оттомар граф Меравиглия,

поручик.

Генрих Росси,

поручик.

Господа ротные командиры приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Владислав фон Бранни,

ротный командир.

Альфред фон Дюрие,

ротный командир.

Господин полковник и председатель приговорил:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Франц Шульц фон Штернвальд,

полковник, в качестве председателя.

Нижеподписавшийся приговорил:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иосиф Франц,

майор и аудитор императорского

и королевского военного суда в Градчине».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Все, император Франц-Иосиф, эрцгерцогиня София, фельдмаршал князь Шварценберг, фельдмаршал князь Виндишгрец, военный начальник Богемии генерал-майор Клейнберг, губернатор крепости Ольмюц генерал от кавалерии барон Бем, председатель суда полковник Шульц фон Штернвальд и даже майор и аудитор военного суда в Градчине Франц, знали, кто требует к себе государственного преступника Михаила Бакунина.

Государственного преступника против империи и королевства Австрии, против королевства Саксонии, отставного беглого прапорщика российской 3-й артиллерийской бригады требовал к себе император и самодержец всероссийский, он, Николай I, ждал Бакунина, приказав в ручных и ножных железках везти в свою столицу.

2

Ясное сознание скорой смерти как бы опустошило сердце и голову Бакунина. Всё уже слилось в бесцветную линию времени, не вспоминалось, не ощущалось. Вот он на прямухинском балконе. И померкло. Как бред: Прямухино. Представил



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
себе: отомкнут от стены, раскуют, и он свободными ногами встанет на табуретку на дворе под виселицей.

Бакунин хотел потрогать шею рукой, не дотянулся, не пустила цепь. И всё ж сердце захолонуло, завертелось, ударилось и упало глубоко в тело, когда увидел на пороге лейтенанта графа Меравиглия, безжизненного и вялого, с вооружёнными солдатами.

Бакунина подняли. В свете фонарей, прямыми шагами, пригнув под косяком голову, вошёл полковник Шульц фон Штернвальд. В глухих сводах ещё отрывистой стали выкрики полковника: «Приговор в судебном порядке утверждён, в порядке помилования смертная казнь заменена пожизненным, тяжким тюремным заключением!»

Бакунину показалось, камера танцует и фонари у солдат уплывают вдаль, наплыла темнота, и когда тюремщик запер замками железом кованную дверь, первый раз за всё заключение Бакунин, падая на тюфяк, застонал.

3

О, и адова темнота! Ни зги. Тиха дунайская крепость Ольмюц, у ворот зевает наружный часовой, и летит зевота далеко в ночь.

В крепостном каретнике зашумели конюхи, вывели тюремную карету. Вывели из денников подрагивающих, пофыркивающих, прожёвывающих овёс коней. Один заржал пронзительно в тишине крепости, и солдат ударил его наотмашь кулаком по губам.

Невыспавшийся лейтенант Меравиглия шёл по сереющим, темнеющим, росным плитам двора. На небе остались бледно-зелёные звёзды, но мало в факелах, с зажжёнными фонарями виднелась карета, помахивали в огнях лошади головами и хвостами. Бакунина вели к карете скованного. Лейтенант граф Меравиглия полез за Бакуниным в карету.

– Далеко едем? – тихо спросил Бакунин.

– В Прагу, – позёывая, проговорил Меравиглия.

Карета рысью перемахнула мост через Дунай. Бакунин разглядел зевавшее в темноте худое, даже милое лицо графа Меравиглия.

– Было б любезно, если б вы дали мне папиросу.

Граф Меравиглия протянул массивный портсигар в монограммах, открывая. Папиросу было неудобно брать рукой, скованной с ногой. Чувствовалось, что карета едет в гору.

По камням загрохотали колёса, мелькнули огни. Карета встала, и дверцу раскрыл солдат.

Лейтенант вылез, Бакунина вытащили в круг вооружённых солдат, он увидел рельсы, шлагбаум и тёмную станцию. Но от небольшой станции они уходили вдоль рельсов в сторону и подошли к тюремному вагону с зарешечёнными окнами. Бакунину помогли влезть. На лавках размещался конвой. Пахший портянками солдат повесил на гвоздь фонарь, солдаты переговаривались о пустяках. Где-то совсем под боком шипел паровоз, толкнул и потащил. Кричали в ночи незнакомые люди, ругались совсем близко у вагона, потом паровоз засвистел, вагон поплыл; блеснул свет больших, газовых фонарей, и, пристукивая на стыке рельсов, поезд пошёл мерным ходом в темноте.

– Ложись, спи, – бормотнул широконосый солдат.

«Спросить бы, – подумал Бакунин, – да не знает, наверное».

– Доложи лейтенанту, что хочу есть.

Солдат вышел. Но не вывели, как думал Бакунин. Принесли колбасы и хлеба, Бакунин съел нехотя, лёг, думал всё, как бы выйти, взглянуть на путь, но, спустив с лавки закованную большую руку, заснул. Не проснулся даже, когда безжизненный, бледный граф Меравиглия взял его за плечо. В окошечки вагона шёл яркий солнечный свет.

– Вставайте, – проговорил Меравиглия.

Бакунин поднялся шумно, попросил вывести в уборную, его повели, скованного за руку и за ногу. Потом помогли слезть со ступенек. Перед Бакуниным был залитый ярким утренним солнцем дебаркадер, и на нём строем стояли двадцать вооружённых голубых жандармов, крепко сшитый поручик прохаживался впереди. Бакунин приостановился: ведь это ж не Прага? И широкое голубое небо, и волнующиеся кривые берёзы в серёжках, и круглые рожи? В один миг понял, где он и кому выдан.

4

На дебаркадере кольцом вокруг Бакунина стояли ещё австрийцы. Лейтенант граф Меравиглия, под козырёк, рапортовал мягким венским говором тучному красному Распопову. Поручик так же, под козырёк, держал руку в белой перчатке. За Распоповым голубой лентой вытянулись в две шеренги двадцать скуластых, усатых, лихих русских жандармов.

Бакунин, стоя в кругу австрийцев, улыбнулся. Воспоминаниям ли? Встрече ли с родиной, с русскими весёлыми скулами? Распопов грузно скомандовал: «Напра-во! Шагом марш!» – и русские жандармы быстрым поворотом пошли, обступая Бакунина. Под конвоем, с поручиком впереди Бакунина повели через вокзал; вокзал оцеплен. У двери отдельной комнаты на часах унтер-офицер.

Распопов пробегал у стола мутным, плохо соображавшим глазом немецкие бумаги. Граф Меравиглия сидел рядом. Распопов расписался, по-русски расчеркнувшись. Жандармы оглядывали Бакунина любопытно, беззлобно, таким он и должен быть, преступник против царя и России: косая сажень в плечах, в высоту верстовой столб, зарос волосом, с скованной рукой и ногой, как Емельян Пугачёв, Степан Разин.

– Das ist alles[299], – вставая, сказал граф Меравиглия.

– Sehr angenehm[300].

– Мне приказано взять наши кандалы, – проговорил граф Меравиглия.

– Сейчас перекуют, – сказал Распопов.

Молодой, лёгкий ефрейтор побежал за кузнецом. С чёрной цыганской бородой кузнец, приземистый и коренастый мужик, вошёл с железам, с порога поклонился. С Бакунина, побряхтывая, снял австрийские кандалы; звякая ими, Распопов передал их графу Меравиглия, ещё раз взявшему под козырёк, прощаясь с поручиком.

А когда он вышел, Бакунина раздели донага, как приказал фельдмаршал князь Паскевич, обыскали одежду, потом одели в своё: арестантская шапка набекрень на длинных волосах и серый, с бубновым тузом, халат.

– Ковать! – крикнул Распопов.

Сидя на стуле, Бакунин выставил большие ноги в рваных котках. Солдаты глядели с любопытством.

– Эх, ребята, на свою сторону, знать, умирать-то пришёл! – проговорил Бакунин.

– Не разговаривать! – крикнул Распопов, ступив к Бакунину.

Бакунин взглянул в опухшее, красноватое лицо поручика.

«Пьёт, видно, шибко», – подумал. Кузнец ударял молотком, заковывал в железа ноги. Но всё, чего боялся, стало вдруг нестрашным. Даже легче, пожалуй, умереть вместо австрийцев с родными этими мордами, у себя, под русскими ветрами.

– Жжешь, братец! – вскрикнул Бакунин.

– Потерпишь, – бормотнул кузнец, в глаза взглянул жёстким, цыганским глазом. Закреплял заклёпки, надел наручники, встал, переведя дыхание,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org сказал:

– Готово, ваше высокоблагородие.

Железные уборы больно ударили узкими звеньями цепи по ногам. В станционном немощёном дворе шарахнулись с клохтанием куры, разлетясь по палисаднику, перелетая городьбу. У подъезда ждала тройка с виду плохоньких длинногривых степняков в бубенцах. У белой расписной дуги позвякивали колокола, когда от оводов коренник мотал мохнатой головой. Поверх чёрной, блёсткой, ловкой поддёвки подпоясанный слинялым красным кушаком ямщик, усмехнувшись, когда втаскивали Бакунина в карету, почесался, качнул головой.

Но это даже не карета, скорей как курятник с зарешечёнными окнами. Влезая рядом с Бакуниным, Распопов дышал телятиной и вином. Жандармы влетали в сёдла, осаживая, рвали губы запылившим по двору коням. Распопов высунулся из дверцы:

– Трогай! – крикнул.

Подоткнувшись, разбирая ремённые вожжи, ямщик зыкнул – ах, переах! – что-то дикое и запорол витым кнутом. Замершие мохнатые степняки рванулись, как птицы под выстрелом. И с станционного двора вмиг скрылась, улетела карета. Остались только столб пыли, станционный смотритель на крыльце, да подоткнутая девка в ситцевом переднике и панёве выглянула из кухни, разинув рот.

5

Головой отвечали станционные смотрители, если не вовремя подстава ждала б эту тройку. От стана до стана безостановочно скачут по бокам двадцать верховых с ружьями, саблями, пистолетами. Ох, ох и ямщики в России царя Николая! Много троечной езды знавал Бакунин, а такой не видал. Смотрители выбирали лучших русских ямщиков да отчаянных азиатских коней. Нёсся по России курятник птицей. Это не битые мелким камушком шоссе да расчищенные европейские леса, это – Россия, Азия, дичь, мощь, разлетается на выбоинах, поворотах карета, крикает Распопов, «все кишки растеряешь». Орёт, гикает ямщик: «По всем по трём, коренной не тронь!» – знает, подлец, что получит на водку за царский лёт, за сумасшедшинку, и несут буланные мохнатые кони, трясая, звеня дугой, гремя бубенцами, хоть загнать приказано, а домчать в срок до подставы. Под водкой орёт ямщик, в гору навывнос мчат, звонят ошейниками мохрявые, запотелые степняки, вьются пыльные, потные гривы от Горелого кабака до Ухорского яму. Царь ждёт карету, прут её в Петербург. Эх, если б посмотреть в окошко на тёмно-синие, десять лет не виданные русские, стонущие под ветром леса, на берёзы, обступившие большой тракт. Увидать, как прыгает по корням карета, когда мчат её медноствольным, красным бором. Вырваться б глазу в голубую бескрайность, от которой зарежет насмерть глаз: поля ржи ушли чёрт знает куда, и замер на голубом горизонте колышайщийся её океан. Крутится пыль из-под колёс. Летит карета; в сумерках длинные тени лошадей видны на дороге: заводят в оглобли свежих, перепрягают. Звонят, гудут в ушах валдайские колокольцы. «Может, и вправду умирать-то на своей стороне легче? Пусть убьют, сошлют на каторгу, – думал Бакунин, – только б не мешок Алексеевскую равелина, куда опускает людей император заживо в каменный погреб».

6

В Большом фельдмаршальском зале прохаживался император, только что приехав с Марсова поля, с парада. Голубая лента, тёмно-зелёный мундир с красно-золотыми обшлагами, клапаны, золото воротника, прохаживался один, задумчив, поседелый. Шаги императора ясны. Остановясь в амбразуре, глядел на Неву водяным, задумчивым взглядом: волновали происки Англии в Турции и дела на Кавказе, волновали польские заговоры, от Бакунина хотел знать о поляках.

Состоящий при особе Его Величества генерал Яков Гилленшмидт[301] доложил о приезде Дубельта. Пробормотав в усы, сам не зная кому, угрозы, Николай пересёк зал и спускался по лестнице мимо караулов. В кабинете вошедшему Дубельту не дал сказать, шагнув, проговорил:

– Ну?

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– Привезли, Ваше Величество, заготовил рапорт, да не выдержал, – чуть улыбнулся Дубельт, – сам приехал.

– Дай, – сказал Николай, улыбнулся туманно, непонятно.

Николай сел за карельский стол, опершись локтем на том «Свода законов Российской империи». Пробежал рапорт Дубельта: «Честь имею донести Вашему Величеству, что 11 мая в полчетвёртого часа пополудни государственный преступник Михаил Бакунин, закованный в ручные и ножные железа, провезён через Красное Село в Санкт-Петербургскую крепость и заключён в Алексеевский рavelин, в номер 5».

Рука Николая в тёмно-зелёном, бутылочном рукаве с золотом шитья протянулась, для порядку написал: «Наконец-то! Держать строго. С допросом обождать».

7

Родной каземат, да полно, лучше ль он чужестранного? Покой номер 5 тёмн, на австрийский манер; не больше квадратной сажени, вдоль стен нары, лёжа на которых Бакунин упирался ногами в стену; у изголовья стол, на нём кружка воды, у ног в закрывающемся ящичке жестяное ведро и жестяной таз; для спанья дали кусок войлока, обшитого дерюгой. На север, во внутренний двор, окно забито снаружи в три четверти; сыро, холодно, и никто не входит в покой вот уж с месяц. Только мыши пробегают в полутемноте.

Продержат год, двадцать лет, жизнь в мёртвой тишине. Бакунина расковали, может ходить. Так ходил из угла в угол, когда в ночь, внезапно заскрипев, открылась дверь. На пороге покоя номер 5 в керосиновом свете тюремного коридора, в мундире, стоял генерал. Толст, мясист; мог не называть себя, Бакунин знал по портретам заместителя покойника Бенкендорфа генерала графа Алексея Фёдоровича Орлова.

Орлов смотрел в полутемноту на Бакунина. Бакунин остановился у стены Генерал крикнул из покоя:

– Дай фонарь!

Часовой подал графу фонарь.

– Запри, – сказал Орлов и с фонарём в руке вошёл в покой, прошёл к столу, поставил фонарь на стол, камера причудливо осветилась. Грузно опускаясь на табуретку, Орлов указал Бакунину на нары. Оглядывая оплывшим, а в молодости свежим и красивым, взглядом Бакунина, граф Орлов проговорил с расстановкой:

– Государь прислал меня к вам сказать: скажи ему, чтобы написал мне всё, как духовный сын пишет духовному отцу.

В свете жёлтого фонаря прошло молчание. Бакунин сидел на нарах без движения.

– Хотите писать? – медленно сказал Орлов и улыбнулся отвисшей губой.

Бакунин молчал.

– Так что ж, – повторил Орлов, улыбаясь явственной, – как я должен передать Его Величеству, хотите чистосердечно покаяться или нет?

Бакунин поднял большую, заросшую голову на Орлова.

– Ваше сиятельство, – проговорил тихо, – я не знаю, чего хочет от меня государь? – Голос глухой. Орлов видел: преступник в волнении, даже в необычайном волнении. Граф пробарабанил по дубовому столу полными пальцами. Помолчал. И вдруг беззвучно рассмеялся.

– Мы о вас лучшего мнения; государь хочет, чтоб вы написали ему полную и откровенную исповедь всех ваших преступлений и помыслов против него.

Полутёмный, в тених от фонаря, Бакунин молчал.

– Чем исповедь будет полней и искренней, – продолжал Орлов, – чем она будет

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org более похожа на исповедь сына своему духовному отцу, тем сильнее это отразится на вашей судьбе, которая всецело зависит от милости государя.

– Я, граф, судьбы не боюсь, – проговорил по-французски Бакунин и усмехнулся горько, взглянув на Орлова.

– Знаю, что видали виды, – ухмыльнулся Орлов, – всё ж полагаю, что ваш долг покаяться перед Его Величеством, сердце государя и его великодушие, прощающее даже злейших противу него преступников, вы знаете.

– Ваше сиятельство, – сказал Бакунин снова по-французски, – повеление государя...

– Это не повеление.

– Понимаю, – оборвался Бакунин и потупился; потом вдруг, встав с нар, сказал: – Ваше сиятельство, дайте мне срок обдумать.

Орлов оставался сидеть.

– Какой? – сказал, не глядя на Бакунина.

– Двадцать четыре часа.

Орлов поднялся, взял со стола фонарь, пошёл к двери, проговорил:

– Хорошо.

Бакунин остановил Орлова.

– У меня к вам просьба, граф.

Орлов повернулся, и фонарь осветил Бакунина.

– Я просил бы вашего распоряжения, – показал на окно Бакунин, – чтоб отбили и разрешили открывать хотя б часа на два в сутки, от темноты болят глаза и от плохого воздуха становится дурно. Я болен, ваше сиятельство...

Орлов сощурил брови и смял углы губ.

– На два часа? – пробормотал словно про себя. – Доложу государю – и двинулся.

Покой номер 5 крепко заперли.

8

Утром у стены Алексеевского рavelина, у покоя номер 5 отбивали от окна доски, стало светлей. Коридорный часовой слышал: в покое номер 5 заключённый всё ходит.

«Вырваться, вырваться, вымахнуть», – бормотал внутренно, лихорадочно, поспешно Бакунин, быстро поворачиваясь в узкой камере. «Только б не резинироваться[302], не унизиться, не упасть в подлеца». Откинул большой рукой с квадратного лба космы волос, остановился у посветлевшего, отбитого окна, глядел в решётчатый квадрат петербургского неба. «Черновиков не оставишь, написанного не замараешь, бумагу пронумеруют. Знаю Николая, ему надо писать безоглядно, нараспашку, а то пожизненный каземат».

Бакунин встал на заскрипевший под тяжестью табурет. Свет на дворе, хоть серый, хоть и петербургский, а свет...

День и ночь коридорный часовой слышал: заключённый в покое номер 5 ходит. «Погребут, сгноят заживо», – шептал, бормотал Бакунин, возбуждённый, большой, грязнобородый, в арестантском халате...

9

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!  
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная  
Страница 405

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
ВАШУ непреодолимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уж о явном бунте против воли ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остаётся только одно: терпеть до конца, и просил у Бога силы для того, чтоб выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишённый дворянства тому назад несколько лет приговором Правительствующего Сената и Указом ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, ГОСУДАРЬ, как я был поражён, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моём въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, всё, что испытал в продолжение целой дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал, и говорил, и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усомнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

Не подумайте, впрочем, ГОСУДАРЬ, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия, точно так же, как и обратно, что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь, и, сказать ли ВАМ правду, ГОСУДАРЬ, так постарел и отяжелел душой в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что Вы желаете, ГОСУДАРЬ, чтоб я ВАМ написал полную исповедь всех своих прегрешений. ГОСУДАРЬ! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив всё, что я дерзал говорить и писать о неумолимой строгости ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному РУССКОМУ ЦАРЮ, грозному Блюстителю и Ревнителю законов? Исповедь моя ВАМ, как моему государю, заключалась бы в следующих немногих словах: ГОСУДАРЬ! Я кругом виноват перед вашим ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ и перед законами Отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что ВАМ известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против ВАС, ГОСУДАРЬ, и против ВАШЕГО правительства, дерзал противостать ВАМ, как враг, писал, говорил, возмущал умы против ВАС где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, ГОСУДАРЬ; и суд ВАШ и казнь ВАША будут законны и справедливы. Что ж более мог бы я написать своему ГОСУДАРЮ?

Но граф Орлов сказал мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА слово, которое потрясло меня до глубины души и перевернуло всё сердце моё: «Пишите, сказал он мне, пишите к ГОСУДАРЮ, как бы вы говорили с своим духовным отцом».

Да, ГОСУДАРЬ, буду исповедоваться ВАМ, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения, и прошу Бога, чтоб он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Молю ВАС только о двух вещах, ГОСУДАРЬ! Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих, клянусь ВАМ, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых, молю ВАС, ГОСУДАРЬ, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что я для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенёс слово, сказанное при мне по неосторожности, было бы для меня мучительней самой пытки. И в ВАШИХ собственных глазах, ГОСУДАРЬ, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом...»

Бакунин снял с пера прилипшую волосинку, но не продолжал писать, а задумался; взглянул на свой почерк, и почерк не понравился, – «пишу, как кошка», – подумал. Тёмно-голубые глаза уставились в пространство, в одну пространственную точку. Бородатый, разбитый, грустный сидел Бакунин; потом, медленно отведя голову к рукописи, написал с красной строки:

«Итак, я начну свою исповедь.

Для того, чтоб она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости...» Но снова шумно встал, заходил по камере. Тучей, клубами бились в черепе, в сердце, заполняли грудь воспоминания, ощущения, откидывал ненужное, искал главное – тон – для Николая, Дубельта, Орлова. Хорошо знал партнёров, знал, что саксонцы и австрийцу передали материалы. «Поляки, – внутренне бормотал Бакунин, – поляки», – знал, чего хочет, чего добивается Николай: чтоб отдал всю опору, всю мечту славянской революции в Польше, в России, в мире.

Мелким, слепленным, скорей женским почерком, не вязавшимся с мужественной рукой, писал Бакунин, отбрасывая нумерованные Дубельтом листы, о молодости, Берлине, о Вейтлинге, Швейцарии, Гервеге, Париже, благородных увриерах, упомянул о друге Рейхеле, мельком описал поляков, обругал болтуном графа Ледуховского, изругал немцев, рассмеялся и от души, и для Николая над европейской демократией, не утаил ничего, что без того знали Орлов и царь, описал восстание в Дрездене, баррикады, своё желание зажечь мировую, всесокрушающую революцию с богемским началом, много писал, перечёркивая лишь так, чтоб могли разобрать Орлов и Дубельт.

Дважды заходил сухонький комендант крепости Набоков, улучшил пищу, увеличил порции, разрешил сигары. Хитрый пёс посмеивался, уходя из покоя номер 5: «Многие мил-голубчики становились тут шёлковыми!»

10

Светло в покое номер 5. Волнуясь, Бакунин курил без счёту, отхлёбывал с лимоном чай. То казалось, доступ в сердце Николая приоткрывается, то мучили сомнения. «Лучше смерть, каторга, Сибирь, палочные удары, лишь бы не в каземате сойти с ума. Эх, воля, воля!» – уронил волосатую голову на руки, на рукопись и долго так сидел Бакунин. «Пусть разрешат сестре Татьяне иль брату Павлу приехать, через них свяжусь, дам им понять, как хлопотать и действовать». Поднявшись, шумно ходил по каземату, мысли бурны, мучительны, невыносимы. И снова расправил лист, записал почерком, не вязавшимся с мощной, большой рукой:

«Таким образом, окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остаётся только благодарить Бога, что он остановил меня ещё вовремя на широкой дороге ко всем преступлениям. Исповедь моя кончена, ГОСУДАРЬ! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в неё все грехи и не позабыть ничего существенного; если ж что позабыл, так не нарочно. Всё же, что в показаниях, обвинениях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному, решительно ложно, или ошибочно, или клеветливо. Теперь же обращаюсь к своему ГОСУДАРЮ и, припадая к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, молю ВАС: – ГОСУДАРЬ! Я преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, и если б мне была суждена смертная казнь, я принял бы её как наказание достойное, принял бы почти с радостью, она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что смертная казнь не существует в России. Молю же ВАС, ГОСУДАРЬ! Если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму её с благодарностью, как милость; чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединённом же заключении всё помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становится невыразимым мучением и живёт долго, живёт против воли и, никогда не умирая, всякий день умирает в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн, ни в Австрии, как здесь, в Петропавловской крепости, и дай Бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашёл здесь, к своему величайшему счастью! И несмотря на то, если б мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочёл бы не только смерть, но даже телесное наказание.

Другая же просьба, ГОСУДАРЬ! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством; если не со всем, то по крайней мере с старым отцом, с матерью и с одной любимой сестрой, про которую я даже не знаю жива ли она?

Окажите мне сии две величайшие милости, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! И я

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org благословлю провидение, освободившее меня из рук немцев, для того, чтоб предать меня в отеческие руки ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.» Бакунин перечитал, оторвался, как кончить, подписать, не знал. Густые, характерно разлетевшиеся над голубыми глазами брови сдвинуты, глаза задумчивы, изломаны, темны. Не тот уж красавец скиф Бакунин, изъездили, истомили, надорвали трёхлетние казематы. Поймав наконец желаемое, Бакунин подписал:

«Потеряв право называть себя верноподданным ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, подписываюсь от искреннего сердца кающийся грешник Михаил Бакунин.»

11

Ефрейтор Алексей Ерошин, каллиграф-писарь Третьего отделения, с «Исповеди» списывал две красивые копии. Одну для фельдмаршала князя Паскевича, другую для графа Орлова. Оригинал Бакунина в четыре часа пополудни повёз государю в Зимний дворец сам шеф жандармов.

Николай был занят, принимал посла в Турции Меншикова в присутствии военного министра князя Чернышёва и вице-канцлера Нессельроде. Обсуждался вопрос отношений с Турцией и в случае надобности занятия Константинополя. Орлов прошёл в Петровский зал, говорил с императрицей о пустом, вспоминали, как в Царском в старинных доспехах на эспланаде Александровского дворца царь, царица, 16 дам и 16 рыцарей исполнили кадрили с эволюциями.

Только отпустив Нессельроде с Меншиковым, Николай вышел к Орлову, ласково потрепал графа по крутой, жирной лопатке даже обнял, смеясь, проговорил:

– Нет Фёдорыч, турку с англичанкой не поддадимся, нет!

Но зная, с чем приехал Орлов, сказал:

– Пройдём ко мне.

Откланявшись императрице, Орлов пошёл за быстро идущим императором по переходам, гостиным, залам, лестницам. У стола с разноцветными фигурками солдат Орлов вынул из потёртого портфеля рукопись в четыреста страниц.

Николай улыбнулся туманно.

– Много понаписал. А как, ты читал? Садись.

– Читал, государь, – Орлов, в светло-голубом, перетянтом серебряным шарфом мундире, опустил тучное тело в сафьяновое кресло, – и скажу, Ваше Величество, произвело на меня писанное впечатление тягостное. – Орлов крутил толстыми пальцами, оборвал, замолчал, как бы задумываясь. – Раз уж заговорили, Ваше Величество, самолюбие, то ни ум, ни способности не в состоянии удержать от самых беспорядочных и преступных увлечений воображения. Нахожу полное сходство с показаниями печальной памяти казнённого Пестеля.

Николай почернел мгновенно, самого имени полковника Пестеля, назвавшего царя в лицо сыном выблядка, не мог слышать.

– В чём? – сказал односложно.

– Да то же, Ваше Величество, самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых тёмных планов и проектов, но ни тени серьёзного возврата к принципам верноподданного.

Ледяные глаза царя дрогнули, как бы усмехнулись.

– Что ж, обмануть меня, стало быть, хочет?

– Раскаяния, приличествующего его положению, не замечаю в «Исповеди», государь, – произнёс Орлов, – а что смел он и ловок, отнять нельзя, только смелости этой даёт ложное применение.

Николай взглянул на первый лист: «Ваше Императорское Величество!



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Всемилоостивейший государь!»

– Ну, иди, – сказал туго, – почитаю.

12

Николай сидел у блестящего длинного стола карельской берёзы; под стеклом стояли крашенные восковые фигурки солдат, лежали аккуратно, в папках, доклады Орлова о польских происках и доклады вице-канцлера Нессельроде об антирусских интригах Англии. Подперев рыже-седой висок белым кулаком, Николай читал «Исповедь».

В первый раз разжался белый кулак у виска, когда прочёл: «Молю вас, государь, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои». Из золочёного бокала Николай взял карандаш, черкнул на поле: «Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью».

Сумерки падали, плыли, поплыли над Петербургом; окутали, скрыли шпиль Петропавловской крепости. Посерела окованная гранитом Нева. В бельэтаже, на Неву, кабинет царя оставался тёмным. Николай не замечал павших на его город сумерек. Потом зажёл десятисвечный канделябр, принёс, поставил на стол и сел, вытянув ноги, расстегнув мундир, блеснув ластиком.

«В Западной Европе, куда ни обернёшься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, происходящий от безверия», – Николай черкнул на поле: «Разительная истина!»

«Видел я иногда русских, приезжавших в Париж. Но молю вас, государь, не требуйте от меня имён». – Николай поставил «NB». И тут же против слов: «раскаяние в моём положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти – я буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного», – написал гневно, с сердцем. «Неправда! Всякого грешника раскаяние, но чистосердечное, может спасти!»

Обгорали, отекали, таяли десять свечей золочёного канделябра. Плыла ночь над миром, над Петербургом. Бакунин ворочался, кашлял, кричал, с ольмюцкой камеры начались кровеприливы, разламывающие череп головные боли. Слово потоком бросалась кровь в голову и грудь, так, что поднимался на нарах, задыхаясь, Бакунин. В ушах шум кипящей воды и отвратительно-невыносимые геморроидальные боли.

Царская койка стояла давно откинутой, прикрыта военной шинелью. В летящем ветре с Невы дворец был слепым, красивейшим в ночи камнем. Стёкла кабинета императора отливали отблеском канделябров на Неву. Николай сидел, захваченный «Исповедью».

«...тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что вы, государь, говорите: мальчишка, болтает о том, чего не знает! А более всего тяжело моему сердцу потому, что стою перед вами, как блудный, отчуждившийся, развратившийся сын перед оскорблённым и гневным отцом» – Николай провёл на поле вертикальную линию, черкнул: «Напрасно боялся, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца».

«...оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые был осуждён сначала на смерть, а потом на вечное заключение, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего преступник против вас, государь, преступник против России и что преступления мои заслуживают казни жесточайшей». – Снова провёл черту Николай, написал: «Повинную голову меч не сечёт, прости ему Бог!»

Потом вдруг разомкнул сведённые брови и скулы и в кудревато-рыжие усы улыбнулся, «Das heilige Vaterland[303], существовавший доселе только в их песнях да ещё в разговорах за табаком и за пивом, должен был сделаться отечеством половины Европы!» – Черкнул: «Прекрасно!» – и не угонял Николай с красивого лица плававшей улыбки.

«...немцы мне вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса и помню, что когда ко мне раз подошёл немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтоб его не поколотить!»

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
– В свете канделябра Николай смеялся: «Пора было!» – черкнул на поле.

«...что делает французских демократов опасными и сильными, это чрезвычайный дух дисциплины. В немцах, напротив, преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума, анархия в каждом немце, взятом отдельно, между его мыслью, сердцем и волей. «Jeder darf und soll seine Meinung haben!»[304] – Николай отчеркнул, с тремя восклицаниями написал: «Разительная истина!!! Неоспоримая истина!!!»

13

К кофе в кабинет императора, как было приказано, вошёл граф Орлов. Николай шутил с лейб-медиками Арндтом и Енохиным. Поздоровавшись с Орловым весело, отпустил врачей. Не прожевав ещё сухарь, поэтому чуть нагнув голову, вынул из письменного стола «Исповедь» и остановился перед Орловым, усмехаясь в усы.

– Много любопытного. Но это, брат, как какой-то немец сказал, «Wahrheit und Dichtung»[305], – потряхивал разлетающимися, трепыхавшимися, живыми листами рукописи. – Он хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти.

Орлов наклонил кудлатую, с проседью голову, словно сказав: «Так я ж вам сам говорил, государь», и, взяв из рук императора рукопись, под словами «Ваше Императорское Величество! Всемилостивейший государь!» увидел почерк царя: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Орлов понял, что это обращено к наследнику. А едучи в карете по Невскому проспекту, на последней странице, у слов «кающийся грешник Михаил Бакунин», прочёл: «На свидание с отцом и сестрой согласен в присутствии Набокова».

14

Две тысячи дней, солнечных, туманных, морозных, ветреных, дождливых, две тысячи ночей проходили над землёй. Цвела земля вёснами, облетала осенями, засыпалась снегами, сугробами. Любили, рожали, умирали люди. Бакунин сидел в беззвучной тишине. Одну милость разрешил царь: у решётчатого окна повесить клетку с канарейкой. Прыгала жёлтенькая птица у Бакунина, но не пела.

Прежнего Бакунина уже не было на пятом году заключения. Николай знал, что узники его вечного заключения кончают помешательством. Обрюзглый, толстый, облысевший, беззубый от цинги, Бакунин лежал на тюремной койке. Непрестанные боли в голове и заднем проходе довели до отчаяния, мучили припадками удушья, а страх помешательства поднимал ночью с нар. Чувствовал, что мозг немеет, что становится глупее день ото дня. Мысль об идиотизме не уходила от беззубого, толстого, шепелявого человека, лежавшего в покое номер 5.

15

Но на шестом году заключения Бакунина Николай I потерпел тяжкое военное поражение в войне с Европой. И в этом же году под балдахином в ароматных розах в фельдмаршальском зале Зимнего дворца утонул громадный гроб Николая I. У тела безмолвно дежурили высшие сановники и чины двора, часовыми стояли гвардии полковники с обнажёнными саблями и дворцовые гренадеры. Дважды бальзамировал труп доктор Енохин, и всё ж тело разлагалось; то и дело к гробу подходили дворцовые чины, выливая флаконы ароматной жидкости.

Молчаливой, блестящей толпой теснились в зале придворные вокруг нового всероссийского императора Александра Николаевича; рыдала старая императрица; плакала, стоя на коленях, любовница царя, Варвара Нелидова. Придворные тихо переговаривались о том, что государь умер от паралича лёгких, вследствие запущенной простуды; но многие предполагали, что Николай отравился; знали и последние слова Николая сыну: «Сдаю тебе команду, но не в полном порядке».

На десятые сутки из фельдмаршальского зала гроб торжественно вынесли, и шествие двинулось к Петропавловской крепости.

16

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,  
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

Многие милости, оказанные мне незабвенным и великодушным РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ и ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ, Вам угодно ныне довершить новою милостью, мною не заслуженной, но принимаемой с глубокой благодарностью: позволением писать к Вам. Но о чём может преступник писать к своему государю, если не просить о милосердии? – Итак, ГОСУДАРЬ, мне дозволено прибегнуть к ВАШЕМУ МИЛОСЕРДИЮ, дозволено надеяться. Пред правосудием всякая надежда с моей стороны была бы безумием: но пред МИЛОСЕРДИЕМ ВАШИМ, ГОСУДАРЬ, надежда есть ли безумие? Измученное, слабое сердце готово верить, что настоящая милость есть уже половина прощения; и я должен призвать на помощь всю твёрдость духа, чтобы не увлечься обольстительною, но преждевременною и, может быть, напрасною надеждой.

Что бы, впрочем, меня ни ожидало в будущем, молю теперь о позволении излить пред ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ своё сердце, – чтобы я мог говорить перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, так же откровенно, как говорил перед ПОКОЙНЫМ РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ, когда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было выслушать полную исповедь моей жизни и моих действий.

Привезённый из Австрии в Россию в 1851 году и забыв благость отечественных законов, я ожидал смерти, понимая, что заслужил её вполне. Ожидание это не сильно огорчало меня; я даже желал скорее расстаться с жизнью, не представлявшей мне ничего отрадного в будущем. Мысль, что я жизнью заплачу за свои ошибки, мирила меня с прошедшим; и ожидая смерти – я почти считал себя правым.

Но великодушию ПОКОЙНОГО ГОСУДАРЯ угодно было продлить мою жизнь и облегчить мою судьбу в самом заключении. Это была великая милость, и однако же милость ЦАРСКАЯ обратилась для меня в самое тяжёлое наказание.

ГОСУДАРЬ! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти; это смерть при жизни – сознательное медленное и ежечасно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревенеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть как спасение. Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собой. В шуме света, в чаду проществий легко поддаёшься обаянию и призракам самолюбия; но в принуждённом бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине непрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно; если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в её настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом; и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собою о самом себе, сколь ни мучительны мысли, ею порождаемые, – раз начавши её, её уже прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

ГОСУДАРЬ! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением...

ГОСУДАРЬ! Что скажу ещё? Если бы мог я сызнова начать жизнь, то повёл бы её иначе; но увы! прошедшего не воротишь! Если б я мог загладить своё прошедшее делом, то умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не утратился бы спасительных тягостей очищающей службы; я рад бы был омыть потом и кровью свои преступления. Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний; болезнь сделала меня никуда и ни на что не годным. Хотя я ещё не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заключения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую что жить мне остаётся недолго. Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание ещё живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе – взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца моего, поклониться его гробу и, посвятив остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти.

Перед Вами, ГОСУДАРЬ, мне не стыдно признаться в слабости; и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня – пугает гораздо более, чем самая смерть; и я из глубины души и сердца молю Ваше Величество избавить меня, если возможно, от этого последнего, самого тяжкого наказания.

Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покоряюсь как вполне справедливому и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед Вами, государь, чувство глубокой благодарности и к Вашему незабвенному родителю, и к Вашему Величеству за все оказанные милости.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Молящий преступник  
Михаил Бакунин  
14 февраля 1857 года.».  
17

Ранней северной весной вывели заключённого Бакунина из ворот «Государевой Шлиссельбургской крепости». У ворот остался стоять комендант Троицкий. На день разрешили заехать в родное Прямухино. Там у обветшалого за долгие десятилетия балкона гудели те же родные липы, берёзы, вязы – ночь и день.

Бакунин взошёл по скрипящим половицам балкона в старый барский дом, неузнаваемый и чужой. Сёстры Татьяна, Варвара, братья Павел, Алексей, Александр, Илья, Николай съехались, чтоб обнять и выговорить свои чувства Мишелю. Но Бакунин молчал. И все молчали. Только с своей старой, выжившей из ума нянькой Ульяной играл весь день в дураки на ветвистом, от весенних лип ароматном балконе. Наутро жандармская телега помчала обрюзгшего, беззубого Бакунина столбовой берёзовой дорогой в Омск, в Сибирь, и там фельдъегерь под квитанцию, при отношении за номером 539 сдал преступника омскому генерал-губернатору Гасфорду.

18

Тридцать тысяч вёрст бежал Михаил Бакунин из России назад в Европу. Сошёл на английский берег, приплыв из Америки, увидел вновь любимый и ненавистный ему Запад. Оба за 11 лет изменились. Опухшего, безобразного, похожего на лавину, на налившегося кровью быка Бакунина друзья узнали лишь по юношескому звуку пришепётывавшего, беззубого голоса да по энергии. Бакунин встретил врага – уже всемирно известного революционера Карла Маркса. Встретил друга – всемирно известного публициста Герцена. Обнял любимого, никому не известного музыканта Адольфа Рейхеля. И встал за прежнюю работу – за страсть революционного разрушения Европы.

Он поднимал против Александра II поляков. Плавал с вооружённой экспедицией к берегам Балтики. Возглавлял «Альянс», мировое тайное общество заговорщиков. Поднимал восстание в Лионе, увлекая французов. Еле бежал из Болоньи, где подымал итальянцев. Но к старости становился груб, раздражителен и словно разочарован во всём.

Горным швейцарским утром нищий, больной шестидесятитрёхлетний Бакунин медленно пришёл в бернскую бесплатную больницу. И вскоре здесь на койке для чернорабочих умер...

Нью-Йорк, 1957 г.

В. А. Соснора НИКОЛАЙ ПОВЕСТЬ

Он будет, будет славен,  
Душой Екатерине равен!

(Г. Державин. На рождение николая)

Историк пишет: 25 июня 1796 года в среду в 3 часа 45 минут в Царском Селе родился Николай с пушечной пальбой и звоном, Екатерина II выразилась (Гримму): сегодня муттер родила большущего Николая, голос у него бас, длинный телом, а руки не менее моих и кричит он; в жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря; рыцарь Николай уже три дня кушает кашку и беспрестанно ест, я полагаю, что никогда осьмидневный принц не лопал кашу, это неслыханно, он смотрит на всех во все глаза, голову поворачивает не хуже моего. Историк добавляет: этот Николай сделался 14 декабря 1825 года императором и оправдал предсказание – он жил и умер рыцарем. 6 ноября 1796 года скончалась Екатерина II и над Россиею пронёсся грозный метеор, – пишет Карамзин. Но императрица успела выбрать Николаю няню Лайон, шотландку, и он пламенно привязался к своей няне-львице (Лайон-леон, каламбур Николая), 7 марта 1801 года Павел I сказал графу кутайсову[306]: подожди ещё пять дней, и ты увидишь великие дела. Через пять дней его убили. За четыре часа до смерти Николай спросил: почему тебя зовут Павел Первый? – Потому что я первый из императоров, кого зовут Павел. – Тогда меня будут называть Николай Первый. – Если ты вступишь на престол. Павел ушёл спать и был задушен, уничтожен.

Императором теперь Александр, старший брат. Николая учат, он пишет; два, Болугьянский[307] и Кукольник[308], один толковал о римских, немецких и Бог

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org знает каких законах, другой что-то о мнимом естественном праве, в прибавку к ним ещё Шторх[309] с лекциями по политэкономии. И что же выходит? Что вышло, мы увидим, продолжая листать книги. О религиозно-нравственном воспитании: учили креститься да говорить наизусть молитвы, бедное образование, – пишет Николай. Первые книги: «Индостанские виды» и «Рисунки Чесменского сражения», «Сцены храбрости австрийских солдат во время войны 1799 г.», а вообще-то оловянные и фарфоровые солдатки, гренадерские шапки, трубы, зарядные ящики, вырезывание из бумаги крепостей, пушек и кораблей; иногда, подражая часовым, Николай вскакивал с постели, чтоб хоть немножко постоять на часах с алебардой или с ружьём у плеча; но днём боялся выстрелов и плакал, и прятался в беседке, вид пушек страшил его, ещё боялся грозы и фейерверков и просил закрывать печные трубы и окна; однажды от стрельбы, грозы и т. д. Николай спрятался за альковом, и товарищ игр Эдуард[310] стал стыдить его; Николай ударил друга прикладом ружья с такой силою, что шрам у того остался на всю жизнь. В воспитательном журнале запись: в играх Николай кончает тем, что причиняет боль себе и другим, у него страсть кривляться и гримасничать, он груб, заносчив и самонадеян, – падал ли, ушибался – тотчас же говорил брань, рубил топором барабан, ломал игрушки, бил палкой товарищей. В 8 лет он говорил в резком тоне о политических делах (за столом), в 9 лет за ужином доказывает возвышенным голосом о диктате, что никто не имеет права что бы то ни было ему диктовать; в ошибках сознаётся только под нажимом (розог!), спорит с учителем об орфографии русских слов, неприлежен, в играх берёт на себя первую роль, любит церковное пение, уже будучи императором и потом он пел с певчими, его учат: французскому, русскому и немецкому языкам, дают уроки греческого и латыни, географии и истории, Николай неплохо рисовал; арифметика, геометрия и алгебра не дались, физика интересовала в 11 лет, но лучше шли уроки верховой езды. На коне, над людьми он был бесстрашен.

Расписание Николая по дням (школьным): 7–8 часов – вставание, одевание, пьёт чай, за обедом ест немного, а в ужин кусок чёрного хлеба с солью, спать ложился после 21 часа, а до сна обязанность – записать в журнал, что делал днём, что думал, – это страшно не нравилось; здоровье отменное, лишь беспокоит печень и глисты, его закаляли, чтоб играл в саду при дожде. Николай любит театр, играет роли в операх, балетах, комедиях, к 12 годам у него 8 учителей; особенно ненавидел Николай латинский язык. В 15 лет Николай не читит учителей и науки, в журнале 1810 года запись: ласкаясь к Аделунгу, Николай вздумал укусить его в плечо, а потом наступает ему на ноги, и так не раз. Аделунг – учитель логики и морали; пригласили новых учителей, генерала и полковника, те в один голос пишут: когда с ним говорят о том, что он должен дать государству, чего от него ждут, он предлагает посмотреть в окно, а там – дым, выходящий из трубы; в эти же годы он пристрастился острить, он хочет блистать острыми словцами, – пишут, – и сам первый во всё горло хохочет.

В начале войны 1812 года Николаю 16 лет, его сверстники уже гремят саблями по врагу, а он? Когда получили известие о вступлении французов в Москву, Николай держит пари на 1 рубль с сестрой Анной, что к 1 января 1813 года в России не останется ни одного француза; он выиграл, и 1 января Анна вручает 1 рубль (серебряный), Николай спрятал монету себе за галстук. Но в 1814 году император Александр призвал брата на войну, а императрица-мать напутствует сына: опасность не должна и не может удивить Вас, Вы не должны избегать её, когда честь и долг требуют от Вас рисковать собою. Николай рискнул: он ехал на штурм Парижа из Петербурга, но в Германии свернул и посетил сестру, переодетый курьером, и только по носу сестра узнала Николая и обняла его; за эти объятия Александр приказал задержать Николая в Базеле, чем и лишил возможности пожать лавры за штурм пустого Парижа.

В Париже он обозревал различные учреждения Франции: Политехническую школу, Дом инвалидов, госпиталь, казармы. Больше ничего. В Доме инвалидов сержант-француз, с лицом в рубцах, на двух костылях. В каком деле вы ранены? – спросил Николай. – При Березине. Казаки меня порубили, да мы упали вместе, они и не поднялись, а я тут с обмороженными ногами. Что нам нужно в вашей России? Дьявольская страна, в неё легко входить, а если и выйдешь, то в инвалидный дом.

В 1815 году Наполеон играет свои сто дней, союзные войска вновь во Франции. Николай в свите Александра, но союзники обошли русских. Тогда Александр демонстрирует пред Европой силы: 26 августа в годовщину Бородина при Вертю Александр производит примерный, а 29 августа парадный смотр в присутствии всех королей Европы, в строю идут 150 000 русских войск при 540 орудиях,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Александр лично командует и салютует монархам. Николай ведёт вторую бригаду третьей гренадерской дивизии и в первый раз обнажил шпагу – перед фанагорийским гренадерским полком. Отметим: в 19 лет Николай обнажил шпагу мирно, в кровь её не макнул.

Из Парижа Николай едет в путешествие по России, из Петербурга маршрут – Луга, Порхов, Великие Луки, Витебск, Смоленск, Могилёв, Бобруйск, Чернигов, Киев, Полтава, Харьков, Екатеринослав, Елизаветград, Николаев, Одесса, Херсон, Перекоп, Симферополь, Севастополь, Южный берег Крыма, Керчь, Таганрог, Новочеркасск, Воронеж, Курск, Орёл и Тула. Из дневника Николая: в Белоруссии дворяне из богатых поляков не показали преданности России и присягнули Наполеону, крестьяне их бедны, притом наблюдается общая гибель крестьянств провинций, жида здесь вторые владельцы, они изнуряют до крайности несчастный народ, они здесь все – купцы, подрядчики, шинкари, мельники, перевозчики, ремесленники и пр., они настоящие пиявицы, истощающие губернии; удивительный факт, что в 1812 году они отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни. В Порхове арестантский острог в жалком положении: деревянная изба без окон и отдушин и 22 инвалида на 66 арестантов, без одежды, без лекарств, без суммы на содержание; караульные собирают милостыню; в острогах надобно б строить окна. Воронежский острог обнесён порядочной каменной стеной. Я спросил список арестантов и получил ответ от прокурора, что у него списка нет, а есть у караульного офицера, я послал за тем, и он отозвался, что и у него нет списка, а должен быть у прокурора; я спросил, как же он делает переключку, ежели не имеет списка, он ответил, что переключки не делает.

Интересны также впечатления, навеянные на Николая поездкой по южному берегу Крыма, – пишет историк. Николай пишет: Крым – места любопытные, нет беднее и ленивее южных татар. Одно и то же фруктовое дерево, которое кормило деда, кормит и внука, а этот редко посадит молодое дерево, они живут на произвол природы – оливы, фиго, капорцы, груши, яблоки, вишни, орешники, всё растёт дико и без присмотра, всё удаётся – померанцы, лимоны и прочее. Если б Крым был не в татарских руках, то был бы совсем другим, прекрасным краем, там, где переселенцы русские. О прекрасном крае, где переселенцы русские, Николай пишет: поселение Елецкого полка. Теперь строится по плану магазин и 12 изб с офицерским домом. Госпиталь отменно дурён. 1 800 русских крестьян при перевозе их в Крым так худо содержали, что половина их пропала, не дойдя до места.

Вот и всё, что увидел двадцатилетний Николай, а ездил он два с половиной месяца, на конях. Через семнадцать дней Николай едет в Англию. Императрица-мать и Александр беспокоены, как бы он не увлёкся английским. Он не увлёкся. Он пробыл в Англии четыре месяца и получил полное понятие о жизни англичан, беседуя с представителями британской армии. Лейб-медик принца Леопольда Штокман пишет о Николае в Англии: это необыкновенно красивый, пленительный молодой человек, прямой, как сосна, с открытым лбом, маленьким ртом, тонкой чертой подбородка и прочими красотами, его манера держать себя полна недурными жестами, когда в разговоре он хочет оттенить что-либо, то поднимает плечи кверху и несколько возводит глаза к небу; он ест умеренно и пьёт одну воду. Мистрисс Кембел, статс-дама, отличавшаяся строгостью суждений о мужчинах, сказала: он дьявольски красив. Это будет самый красивый мужчина в Европе. На ночь солдаты приносили Николаю мешок из кожи, набитый сеном, и он спал на этом.

Затем Николай едет в Брюссель, оттуда в Берлин, где будущий тесть, король Пруссии Фридрих-Вильгельм III, подарит ему 3-й Бранденбургский кирасирский полк. Обнажив палаш, Николай принял подарок. 31 мая 1817 года помолвленная невеста Николая Шарлотта [311] выехала из Берлина в Петербург. Королева Луиза сказала о ней: наши дети – наше сокровище. Переезд через русскую границу 9 июля (Шарлоттой). Вдоль пограничной полосы выстроились отряды русских и прусских войск. В 7 часов утра Николай в форме подаренного Бранденбургского полка сказал солдатам: друзья, помните, что я наполовину ваш соотечественник (немец). В 9 часов подъехала придворная карета и Шарлотта, обойдя прусские ряды, направилась шатко к русской границе. Николай, протягивая руку, как бы желая помочь ей переступить пограничную черту, шепчет: «Наконец-то вы у нас, дорогая!» и потом, чтоб слышали все: «Добро пожаловать в Россию!» Он ведёт Шарлотту по рядам русских войск и говорит офицерам: это не чужая, господа, это дочь союзника и друга нашего.

На пути к Петербургу на каждой станции Николай показывает Шарлотте войска и тут же производит им учения. Нацмер отметил в дневнике: невозможно

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
поверить, чем только этот господин способен заниматься по целым дням. Этот господин Николай шагал, кричал и делал ружьём повороты. А Нацмер – прусский дипломат, сопровождающий Шарлотту (шпион). 16 июня Шарлотта в Дерпте, у неё на глазах слёзы, она страшится России, русских, её страх усиливается в Гатчине, в Царском Селе, на дворцы ей тяжело смотреть. Но обе императрицы пришли в восторг от Шарлотты, обнимают. 20 июня торжественный въезд Шарлотты в Петербург. Мы пишем подробно каждую дату Шарлотты, потому что историк и мемуаристы подчёркивают важность жизни жены Николая, имея в виду века. Вигель пишет о Николае тех дней: он необщителен и холоден, в чертах его белого лица суровость, тучи в первой молодости облегли чело его, многие в неблагоприятных взорах его уже читали историю.

Сие чувство не могло привлекать к нему сердца. Скажем всю правду: он совсем не был любим. Принцесса ездит по Петербургу в золочёном ландо с двумя императрицами, прибывает в Зимний дворец, тут в первый раз Шарлотта приложилась к русскому кресту, войска идут церемониальным маршем, впереди Николай, женщины смотрят с балкона, «с этого балкона меня показали народу», – вспоминает Шарлотта. Ночью, оставшись одна в комнате, Шарлотта сказала себе: я нахожусь в мировом царстве и всё видится мне в исполинских формах.

24 июня – миропомазание Шарлотты, наречённой Александрой Фёдоровной, но лучше нам называть её Шарлоттой во избежание путаницы. Её приобщили Святому Таинству. 25 июня – обручение с Николаем. 1 июля, в день рождения Шарлотты, обряд бракосочетания. Шарлотта пишет: я очень счастлива, что наши руки соединились, с доверием отдаю я свою жизнь в руки моего Николая. Венцы во время венчания держали принцы. Николай получил награды: назначили инспектором по инженерной части и шефом лейб-гвардии сапёрного батальона. Николай с Шарлоттой в Павловском дворце, веселятся два медовых месяца в комнатах. Шарлотта первая женщина у Николая.

Беззаботное течение жизни при Павловском дворце нарушено лишь таким прискорбным случаем, пишет историк. 7 июня принц Вильгельм, брат Шарлотты, отправился осматривать лошадей и перед конюшней был укушен в ногу собакою. Николай собаку убил. Это первая убитая им собака. Однажды Шарлотта лишилась чувств, Николай принёс её во флигель, там дежурный камер-паж Дараган. Николай спросил: сколько тебе лет? – Семнадцать. – Я старше тебя на четыре года, а уже женат и скоро буду отец. Николай поцеловал Дарагана. Как пишет Дараган, Николай часто его целовал. Маркиз де Кюстин[312], француз, пишет: можно подумать, что Николай держит юнкерский полк для поцелуев; так часто он поднимал мальчиков в военной форме над землёю и целовал их. Но это позднее, и не нам вмешиваться в эту окраску Николая, а истории.

В то время, пока Шарлотта беременела, на манёврах 1817 года главнокомандующий русской армией фельдмаршал светлейший князь Михаил Богданович Барклай де Толли, громаден ростом, по приказу Аракчеева нагибался к самым носкам солдат, сгибаясь втрое, ровняя шеренги. Над ним шёл на коне Николай. Геройский опыт войны 1812 – 1815 годов забыт, начался гул шагистики. Барклай недолго смешил солдат, отправлен в Эстляндию наместником, а его георгиевские кавалеры ушли в отставку продавцами вин.

17 апреля 1818 года в Светлую неделю около 11 часов утра родился будущий царь-освободитель Александр II. Шарлотта вспоминает: в 11 часов я услышала первый крик моего первого ребёнка, я почувствовала что-то внушительное, тут же русские поэты стали говорить, что ребёнку делать дальше.

Жуковский:

Жить для веков в величии народном,  
Для блага всех своё позабывать,  
Лишь в голосе отечества свободном  
С смирением дела свои читать, –  
да, действительно занятие для царя.

Рылеев:

Старайся дух постигнуть века,  
Узнать потребность русских стран,  
Будь человек для человека,  
Будь гражданин для сограждан...  
Советы наперебой. Поэт Жуковский учит Шарлотту русской речи. После первого ребёнка Шарлотта пишет: помню, я испугалась, смотря на себя в зеркало,  
Страница 415

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
волосы мои, завитые, распустились, я бледная как мертвец и неинтересная в  
глазетовом[313] платье, с кокошником, шитом серебром, на голове. Потом у  
неё будет столько детей, что Шарлотта запутается в именах и напишет  
человечней: я имела в течение двух лет трёх детей.

13 июля 1819 года Александр сказал, что хочет передать престол Николаю и  
удалиться. Этот факт, правда, описан лишь двумя – Шарлоттой и Николаем,  
дуэт, пристрастный к венцу.

15 января 1821 года в Пруссии в королевском дворце – представление поэмы  
Томаса Мура «Лалла Рук». Живые картины, пение, музыкальные номера,  
сочинённые капельмейстером короля Фридриха – Спонтини. Эмира Бухарского  
Алариса играл Николай, а Лаллу Рук – Шарлотта. Принц Вильгельм (укушенный  
собакой) изображал собою Джегандер-шаха. Дараган, камер-паж, целованный,  
пишет: в то время император Александр в апогее своей красоты, сутуловатость  
и держание плеч вперёд, мерно-твёрдый шаг, картинное отставление правой  
ноги, держание шляпы так, что всегда между двумя раздвинутыми пальцами  
приходилась пуговица от галуна кокарды, кокетливая манера подносить к глазу  
лорнетку, – им любовались! В юности Александр пишет Лагарпу-учителю: я  
жажду лишь мира и охотно уступлю своё звание за ферму возле вашей. Через  
три месяца он же пишет В. П. Кочубею: я вовсе не гожусь для звания,  
предназначенного мне в будущем, от которого дал клятву отказаться, мой план  
в том, чтобы по отречении от этого неприглядного звания (императора)  
поселиться где-нибудь с женою на берегах Рейна, где буду жить частным  
человеком. Первое письмо – февраль, второе – май 1796 года, Екатерина  
умерла в ноябре, это она его провоцировала на корону, мальчик мог лишь  
отказываться, ведь папа-Павел мог бы его высечь или сдать в Сибирь.  
Папа-Павел – единственный законный престолонаследник, и Александр показывал  
отцу, что он пишет; мы к тому, что версия о нелюбви Александра к власти  
слащава. О его отношении к убийству отца известно, но не в этом главное, а  
в пустяке: взойдя на престол, Александр 16 лет молчит и властвует. И только  
7 сентября за обедом в Киеве говорит; когда кто-нибудь находится во главе  
такого народа, как наш, он должен оставаться на своём месте до тех пор,  
пока в состоянии садиться на лошадь, после этого он должен удалиться. Да и  
то это слова со слов Михайловского-Данилевского, флигель-адъютанта. Больше  
Александр не говорил об отречении ни разу, а то, что он ушёл не в гроб, а в  
скит – это народы говорят, сибирские тракты.

19 сентября 1823 года на брехт-литовских манёврах лошадь полковника М.  
лягнула копытом ногу императора, он скрыл страдания и вышел к обеденному  
столу. После крещенского парада Александр заболел горячкой и рожистым  
воспалением на той ноге. Он тяжело перенёс вторичные боли, и с этого  
времени, как пишет Меттерних, в уме Александра усилилось утомление жизнью.  
Александр сказал генерал-адъютанту Васильчикову: в сущности, я не был бы  
недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня. Но он  
не сбросил бремя. События вокруг говорят: рок идёт. 7 ноября 1825 года в  
Петербурге наводнение такое же, как перед рождением царя в 1777 году, вода  
прибывала, юго-западный ветер стал бурей, Александр смотрит на это бедствие  
как на наказание за свои грехи. Император на лодке поехал в Галерную и  
спасал тонущих (ни одного, кстати, не спас), заболела жена, императрица  
Елизавета Алексеевна, и император уединился, умер друг – командующий  
гвардейским корпусом генерал-адъютант Уваров, а в кабинет Александру  
доносят: есть по разным местам тайные общества, имеют секретных  
миссионеров. Александр не снял венец, а ввёл тройную полицию и стал  
следить... за графом Аракчеевым! Ближайший сотрудник Аракчеева Гавриил  
Батенков пишет: квартальные следили за каждым шагом всемогущего графа, и  
указал на одного из них – тот, будучи переодетым в партикулярное платье,  
спрятался торопливо за молочную лавчонку, когда увидел нас на набережной  
Фонтанки. Я знаю, что я окружён убийцами, которые злоумышляют на мою жизнь,  
– сказал Александр одному генералу в Польше, в июне. Мании маниями, но он  
знал и фамилии, не все, но те. Любимая поговорка Александра: десять раз  
отмерь, а один отрежь; вот он и мерил, не резал.

30 августа 1825 года, в день своего тезоименитства, Александр слушал в  
последний раз Божественную литургию. 1 сентября он уехал в Таганрог, 12  
сентября в Таганроге он получает ещё одно трагическое известие:  
домоправительница графа Аракчеева Настасья Фёдоровна Минкина зарезана  
дворовыми людьми. Ещё удар, сокрушительный. 20 октября Александр едет в  
Крым и 5 ноября возвращается больной, гастрически-жёлчная лихорадка. 19  
ноября в 10 часов 50 минут Александр скончался.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org Перебирая диагнозы 14 врачей (противоположные), а также легенды о старце Фёдоре Кузьмиче, распространённые фантазией старца Льва Николаевича, будем придерживаться физиологии: Александр скончался. Подтвердим тезу антизагадочной заметкой в газете «Русский инвалид, или Военные ведомости», воскресенье, ноября 29 дня, 1825 года, внутренние известия, С.-Петербург: 27 ноября Божественное Провидение по неисповедимым судьбам своим поразило Российскую империю таким несчастьем, которого нельзя выразить. Фельдъегерь, прибывший сюда из Таганрога 27 сего месяца, принёс горестное известие о кончине Его Величества Императора Александра.

Узнав о сём неожиданном бедствии, высочайшие члены императорской фамилии, Государственный совет, министры собрались в Зимнем дворце, где первый Николай, а за ним чиновники и полки императорской гвардии присягнули в верности и подданстве его величеству императору Константину. Оленин пишет: Николай, остановясь между нами и держа правую руку и указательный палец простёртыми над своею головою, призывая сими движениями Всевышнего, произнёс: господа, я вас прошу по примеру моему немедленно принять присягу на верное подданство Константину, – тут Николай был прерван рыданиями Государственного совета, и некоторые голоса произнесли: какой великодушный подвиг. В чём подвиг? Сейчас. Стали целоваться. Князя Александра Николаевича Голицына Николай, обхватив обеими руками за голову, целовал в уста, в очи, в лоб. Почему? Подвиг Николая считают в том, что он добровольно отрёкся от престола в пользу старшего брата Константина, потому что много лет назад Константин письменно отрёкся от престола в случае смерти Александра, а Александр говорил о венце Николаю, а Николай ни с того ни с сего отдаёт трон опять же Константину. Подвиг. Послали за Константином в Варшаву, тот отказался ехать, но формально не отказался от престола, он не прислал манифеста об отказе. Он отнекивался непонятно от чего, он предпочёл бросить тень на Николая, ну, что ж, пусть та тень и штрихует те дни, но Николай вынужден объявить себя императором. Так что распри братьев самодурны, за ними ничего нет, они келейны, вне политеса.

Николай надел корону, но это не подвиг, а разноречия у историков по поводу тех дней. Одну неточность мы оспорим. Жуковский писал, что ангел Николай добровольно отдал трон Константину, хоть мог бы сесть сам (см. выше). Это поэтизмы. Не ангел, не мог, накануне пресловутого «жертвенного» выступления Николая (см. выше, где пальцем вверх!) Николай ринулся как гром на престол. Дежурный штаб-офицер, полковник лейб-гвардии Сергей Трубецкой пишет, что Николай ломился в двери и лез на трон, а граф Милорадович отвечал, что Николай не может и не должен наследовать Александру, что законы империи не позволяют наследовать по завещанию, что отречение Константина не явное, а давнее и ни народ, ни войско не поймут отречение Константина и припишут всё измене. Сопещение длилось до 2 часов ночи, Николай доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказал наотрез в содействии. На том и разошлись. А остальное, самоотверженный жест с пальцем в сторону Бога, поцелуй губ Голицына, и слёзы, и позы... братья ж внуки Екатерины, они это умеют. Другое: тут нет нарушений законов, нет интриг, нет и недостойности. А вот 13 декабря 1825 года в 23 часа, когда Николай вышел на Государственный совет, он был в свой рост, он пишет: я начал читать манифест о моём восшествии на престол, все встали, и я тоже, был час ночи и понедельник, что многие считали дурным началом.

Роковой день – по словам Николая – 14 декабря. Сумрак, утро, –8°, отдаём слово Николаю: сегодня вечером нас не будет на свете, но мы умрём, исполнив свой долг. Снегу мало, весьма скользко, начинало смеркаться, ибо уже три часа пополудни, Николай приводит к присяге войска, Главный штаб, Сенат, Синод. Николай: шум и крики делались настойчивей, и частые ружейные выстрелы перелетали через войска, выехали на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить её к сдаче без кровопролития, в это время сделан по мне залп, пули просвистали мне через голову, рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в нас поленами, я послал генерал-майора Сухозанета объявить им, что ежели сейчас не положат оружия (полен!), велю стрелять, – «ура» и прежние восклицания были ответом и вслед за этим залп; тогда, не видя иного способа, я скомандовал «пли». Первый выстрел ударил высоко в сенатское здание, и мятежники ответили неистовым криком и беглым огнём, второй и третий выстрелы ударили в самую гущу толпы, и мгновенно всё рассыпалось, – первый бой Николая (и последний), ему 29 лет.

В разгар мятежа генерал Головин, командир 2-й гвардейской дивизии, спросил принца Евгения Вюртембергского: да что такое происходит? да какого мы ждём

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org неприятеля? А генерал Бистром, командир всей гвардейской пехоты, в ответ: будь я проклят, если знаю, о чём спор. Николай сказал Лаферроне, как ему нелегко кровь лить у солдат. Слезы в изобилии текли из глаз Николая, – пишет Лаферроне. Я буду непреклонен, – сказал Николай, помолчав, – я обязан дать этот урок России и Европе. Бисмарк пишет о Николае: это идеальная натура, закалившаяся под влиянием изолированности русского самодержавия. Карамзин, историограф, о причинах николаевских выстрелов пишет по-другому: видел императора на коне среди войска и камней пять, шесть упало к моим ногам. Когда грянула первая пушка, Шарлотта упала на колени и подняла руки к небу. Почему я женщина в эту минуту! – это крик Шарлотты. А императрица Мария Фёдоровна сказала: что скажет Европа! После дня 14 декабря у Шарлотты начались нервные припадки и трясение головы. Но голова у неё, кстати, тряслась и до 14 декабря, не наше дело.

15 декабря 1825 года за победу над революцией всем нижним чинам в награду Николай дал по 2 рубля, по 2 фунта говядины и по 2 чарки вина. Он уволил ненавистного графа Аракчеева от дел, роздал в знак поощрения мундиры императора Александра полкам лейб-гвардии, этой милости он лишил только гренадерский и Московский полки, мятежные. Николай похоронил императора Александра и умерших вслед за ним историографа Карамзина и императрицу Елизавету Алексеевну, вдову Александра, если учесть ещё наводнение, смерть друга Александра Уварова, казнь жены Аракчеева Минкиной, – прямо шекспировские трупы.

По делу декабристов доносы шли со всей России, одни обвиняли в мятеже Царскосельский лицей, другие Харьковский и Казанский университеты, а князь Максудов, к примеру, донёс, что виноваты Невский проспект и Красный мост и посоветовал Николаю запереть в Петербурге все колокольни, чтоб не было сигнала к революции. Верховному уголовному суду преданы дела 121 декабриста. Первое заседание суда 3 июля, последнее 11 июля 1826 года. Сенатор Павлов предложил четвертовать шестьдесят трёх, подвергнуть постыдной смерти ещё трёх и одного простой смерти, но получалась картина неполная, шестьдесят семь штук, некуда деть пятьдесят четыре. Суд решил четвертовать четырёх, отсечь голову тридцати одному, а прочих сослать в вечную каторгу. Николай смягчил дело. Пятерых он повесил, а остальным дал жизнь в тюрьме. О пятерых: офицеров не вешают, а расстреливают, ну, это воров вешают, – вот и повесил их Николай, как воров из шайки. Он их вешал 13 июля 1826 года на Кронверкском валу Петропавловской крепости, Пестель и Каховский повисли сразу же, а Рылеев, Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин сорвались с петель, с грохотом упали. Николай их вешал во второй раз. Историк пишет: ходили слухи, что Николай сказал – по приговору не будет пролито крови, он удивит всех своим милосердием. И вдруг случилось обратное. Не случилось обратное. С повешенных разве льётся кровь? – ни капли, Николай не соврал, он же отменил указ Верховного суда об отсечении 31 головы, вот тогда было б крови, кровеизобилие. Николай удивил, он удавил, – словоигра, острога.

После повешения Николай бледнел, мрачнел, ходил в церковь, заперся в кабинете. Генерал-адъютант Дибич пишет: войско держало себя с достоинством, а злодеи с тою же низостью. Это во время повешения, отклик, то есть злодеи падали вниз, всё ниже и ниже с виселиц. Потом увезли их в ночное время на устроенное для животных кладбище Голодай и там неизвестно где закопали.

О Сенатской площади, о декабристах – пишут, присоединимся, но не забудем, что: 1) самому старшему из мятежников Тизенгаузену 47 лет, Лунину 38, Краснокутскому [314] 38, очень немногим 36, остальным же, более 100 арестантов – до 30 лет, мичману Мише Бестужеву 17; 2) Поджио [315] в крепости, самописание: сторож! – крикнул я. Молчанье. – Часовой! – вдруг ключ заскрипел в замке, входит сторож и расставляет на столе миску оловянную со щами – одну, другую с гречневой кашей и тарелку, на которой разложены четыре кусочка телятины. – Это обед? – спросил я. Молчанье. – Дай же, – я сам себе отвечал, – произведу эту стряпню! Щи – что за капуста! Что за жир, вдобавок подгорелый! Посмотрим телятину, на воде жаренную. На каше должен был остановиться, сливочное масло до того меня покривило, что сторож счёл меня за бунтовщика и вынес почти нетронутый обед. – Авось не будет ли другое? – крикнул я, и при этом желании явился плац-адъютант – что вам угодно? – Прикажете внести мой чемодан, также и трубки и табак. – Здесь этого не полагается. – Я солдатского чёрного хлеба не могу есть, а в белом мне отказали. – Булка положена за чаем. – А табак? – Сердце царёво в руке Божией, пожалуйста, потише. Под вечер принёс мне сторож кружку чаю, четыре кусочка сахара и ломоть булки. Мучения, которые я испытывал ночью на ложе,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org давали мне понятия о прокрустовом одре (блохи). Но у меня была медвежья шуба с собою и я её употребил... 3) На личных допросах Николай сказал Николаю Бестужеву вы знаете, что всё в моих руках, и если бы мог довериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вам. Бестужев: Николай! В том-то и несчастье, что вы всё можете сделать, что вы выше закона, желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности. 4) 14 декабря полковник Булатов отказался начальствовать над войсками на Сенатской. При личном допросе Николай: я удивлён, видя вас в числе мятежников, полковник! Булатов: это я удивлён, что вижу вас пред собою. – Что это значит?! – Вчера два часа стоял я в двадцати шагах от вас с двумя заряженными пистолетами и с твёрдым намерением убить вас, но возьмусь за курок, и сердце мне отказывает. Николаю понравилось. Полковник Булатов умер 19 января 1826 года в каземате Петропавловской крепости, после очередного сеанса с Николаем он бился головой о стену и раздробил себе череп. 5) Правитель дел следственной комиссии Боровков[316] пишет о Якубовиче: он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностью, так, стоя посреди залы в драгунском мундире, с чёрною повязкой на лбу, огромные чёрные усы, он сказал: цель наша – счастье отечества; нам не удалось – мы пали; но для утешения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, извештен в армии храбростью, так пусть меня расстреляют на площади подле памятника Петра Великого. 6) Николай Муравьев сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства и 18 апреля 1827 года уже пошёл в службу городничим города Иркутска. 7) Николай говорил на допросе князю Граббе-Горскому[317] и остальным: вы должны сознаться во всём, сказать истинную правду и тогда надеяться на моё милосердие. 8) На личном допросе Рылеев признался в конце: свою судьбу вручаю тебе, Николай. Николай откликнулся, послал жене Рылеева 2 000 рублей, через несколько дней она получила ещё 1 000 рублей от императрицы, и Рылеев пишет жене: молись за императорский дом, милости, оказанные нам Николаем и Шарлоттой, глубоко врезались в сердце моё (деньги врезались), что бы со мной ни было, буду жить и умру за них. Но жить ему не пришлось, он умер за них, дважды повешенный. 9) И. Ростовцев[318] донёс на декабристов и пишет: я не воображал, что Николай до такой чрезмерной степени велик душою!

Щёголев пишет: Николай выдавал себя не за того, он играл, в дни и месяцы сыска над декабристами Николай показал своё лицо в неожиданно зловещем освещении, царь-актёр, искусно меняющий личины. Не актёр Николай, хоть и пел арии, он – всем неожиданность – царь-лжец, да никому и в голову не пришло, что царь будет лгать малым сим, и не прекословили, веря в помазанность: царь – высшее, его слово правдиво. Николай – первый человек престол, то есть он играл всё же, но играл не царя, а оказался человеком, с тех пор на царя стали смотреть как на генерала, злого и логичного, от Богоносца не осталось и следа на земле. Нужно сказать, при Александре не было тайной канцелярии, шеф жандармов генерал-адъютант Бенкендорф, ещё его звания – командующий николаевской главной квартирой (с девами), а директором канцелярии III отделения назначил Николай ещё одного. Бенкендорф пишет; под моим начальством средоточие высшей секретной полиции, которая в лице тайных агентов должна способствовать действиям жандармов. Николай пишет: лучше предупреждать зло, чем преследовать его наказанием, когда оно уже возникло (это о доносах). Бенкендорф спросил: каковы руководящие инструкции? Николай как раз держал в руках носовой платок, он протянул его генералу и сказал: вот тебе вся инструкция, чем больше отрешь этим платком слёз, тем вернее будешь служить моим целям.

22 августа 1826 года коронация Николая. Ясно, без облаков, климат у солнца блестящий, обряд венчания совершён Новгородским митрополитом Серафимом, ему содействует Киевский митрополит Евгений и московский архиепископ Филарет, во время обряда ассистенты Николай братья Константин и Михаил. После речи Филарета Николай залился слезами, тот говорил о героизме в душе Николая. На другой день после коронации Константин уехал из Москвы в Варшаву, сказав другу Ф. П. Опочинину[319]: теперь я отпет. Стали праздновать, Бенкендорф пишет: молодёжь снова принимается за танцы и уже значительно менее занимается устройством государства, политикой обоих полушарий и мистическими бреднями. Среди торжеств Николай урвал день, чтоб ускакать в Тулу, и он осматривал там ружейный завод. Праздник окончен 23 сентября фейерверком, только заключительный, финальный букет состоял из 140 000 ракет и грохотали 100 пушек. Из декораций фейерверка обратили на себя внимание Триумфальные ворота с надписью: УСПОКОИТЕЛЮ ОТЕЧЕСТВА НИКОЛАЮ.

Отставленный от дел Аракчеев получает впервые в жизни взятку: он просился

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org за границу, едет, и Николай даёт ему на дорожные расходы 50 000 рублей. Но граф Аракчеев не принимает наград, чем и прославлен. Историк пишет: он не замедлил дать пожалованным ему деньгам такое назначение, которое едва ли найдёт себе в служебном мире много подражателей. 17 апреля граф обратился к императрице Марии Фёдоровне с просьбой принять от него 50 000 рублей для составления капитала, на проценты от которого воспитают в императорском военно-сиротском доме пять девиц сверх штата. Но граф Аракчеев не довольствовался сим поступком и довершил оказанное им благодеяние тем, что пожертвовал вдобавок к николаевским 50 000 рублей ещё свои 2 500 рублей, дабы бедные девицы, – как писал он, – в сем году ещё воспользовались дарованной мне от Николая и государей императоров милостию. Нужно прибавить, что всё имущество графа Аракчеева оценено в 38 890 рублей. (В том же году (1826) [320] закончен «Борис Годунов» Пушкина, поэт получил за драму от Николая 40 000 рублей.)

Вскоре скончалась мать Николая, императрица Мария Фёдоровна, 24 октября 1828 года. Императрица оставила многотомные записки, целый ящик! Это восходило к 70-м годам XVIII века и заканчивалось вот-вот, Мария Фёдоровна писала дневники изо дня в день. 14 января 1829 года, прочитав, Николай записки собственноручно сжёг. Это первое уничтожение государственных бумаг Николаем.

В то время [321] маркиз де Кюстин пишет: Шарлотта, несмотря на слабое здоровье, танцевала полонезы на сельском балу с открытой головою и обнажённой шеей. Уж лучше б пожалел француз голову и шею своей императрицы – на эшафоте, было б национальней. Чем прославился этот в России вне пасквильанства? – тем, что засматривался на миндальные глаза молодых ямщиков и торговцев пряностями, он талантлив, литератор, и мы охотно срисуем у него про бал: полные народом залы старого дворца, это море лоснящихся от масла голов, а над ними господствует благородная голова Николая; бал считается маскарадом, потому что мужчины носят кусок шёлка, именуемого венецианским плащом, этот плащ комично болтается поверх мундиров; Россия – котёл с кипящей водой, крепко закрытый, но поставленный на огонь. Я боюсь взрыва, – пишет Кюстин. Это неплохая метафора, хотя слово в слово он писал то же и об Италии, и об Испании, дежурный котёл с кипятком. Но выходы француз на счёт русских балов требуют ответа. Пропишем.

Не буду я списывать с Бальзака, влюблённого в польку (он считал её русской, раболепство), а Бальзак в истории дендизма. Не хочу брать оружие у Стендаля, куда более осведомлённого о России, он шёл в поход 1812 года, его герои списывают письма любви к дамам с русских денди, но я не могу умолчать о гении дендизма тех лет, перед кем падают мировые масштабы – скажем о Бреммеле из Барбе д'Орвильи: как-то, можно ль поверить? у денди явилась причуда носить потёртое платье (это от русских!), они преступили все пределы дерзости, вздумали, прежде чем надеть фрак, протирать на всём протяжении, пока он не станет своего рода кружевом, или облаком, они хотели ходить в облаке, эти боги; работа эта очень тонкая, долгая, и для выполнения её служил кусок отточенного стекла; а вот другой пример: Бреммель носил перчатки, которые облевали руки, как мокрая кисея, перчатки были изготовлены четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти рук и одним для большого пальца. Русские и погубили эту грозу английской скуки, Моцарта праздной элегантности, они вместе выкабливали фрак стёклами, но не вынесли яд стрел, которые он метал своим изысканным ртом в них, обыграли в карты дотла, хоть Бреммеля и предупреждали: не садись в карты с русскими. Николай же всю жизнь ходил в мундире, не снимая ни с кем (мундир!), он спал, не расстёгиваясь, перед сном снимал только шинель и клал её на себя, оставляя девиц открытыми.

Внешность Николая, маркиз де Кюстин: на полголовы выше человеческого роста, он усвоил себе французскую привычку стягиваться корсетом, чтобы оттянуть живот, но от этого расширяются бока и выпуклость их грозит красоте организма, греческий профиль, вдавленный лоб, прямой нос, красивый рот, овальное лицо, он не забывает, что все на него смотрят, Николай актёр, но без живого лица. О внешности Николая пишет ещё И. П. Дубенский [322]: Николай высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки длинноватые, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, ближе к тенору, но говорил скороговоркой. Баронесса М. П. Фридерикс [323] пишет: известно, что он имел любовные связи на стороне, какой мужчина их не имеет; хотя предмет его и жил во дворце (Фрейлина В. А. Нелидова), но это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно, так он себя держал осторожно перед женой,

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
детьми, бесспорно, это великое в таком, как Николай; после Николая эта особа (Нелидова) приходила читать Шарлотте, когда та отдыхала после обеда. Трудовой день Николая: раннее утро, смотр, парады, затем приёмы, двухчасовая прогулка в экипаже – вместе с Шарлоттой, днём они не разлучались, он отпускал её только поездить верхом и принять ванну от конского пота, – затем опять приёмы, посещают ряд заведений, состоящих в ведении Николая и Шарлотты, потом Шарлотта сопровождает Николая в один из лагерей и оттуда оба спешат на бал. Ел Николай мало, овощи, не пил вина, одну дождевую воду, за ужином ел тарелку одного и того же супа из протёртого картофеля, не курил и не любил, чтоб другие при нём курили. Всегда одет. Спал на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла в спальне Шарлотты, покрытая шалью (прижизненный музей). Стены в кабинете Николая оклеены простыми обоями, на камине часы в деревянной отделке, над часами большой бюст графа Бенкендорфа, когда Николай ложился, то брал бюст себе в ноги. Вольтеровское кресло, диван, письменный стол, несколько простых стульев, большое трюмо, у трюмо стояли сабли, шпаги, ружьё, а на полочке, специально сделанной, склянка духов, он всегда употреблял, щётка и гребёнка.

Петербург встаёт не рано, в 9–10 часов на улицах пусто. Костюм извозчиков такой же, как у большинства рабочих, мелких торговцев и т. д.: на голове суконная дынеобразная шапка либо шляпа с маленькими полями и плоской головкой, этот головной убор похож на женский тюрбан или берет басков; и молодые, и старые носят бороды, тщательно расчёсываемые, взгляд их лукав, так что когда видишь этих людей, кажется, что попал в Персию, длинные волосы падают с обеих сторон, закрывая уши, сзади же острижены под скобку, бороды достигают груди; кафтан из синего, зелёного или серого сукна, без воротника, опоясан ярким шёлковым кушаком; высокие кожаные сапоги.

Николай вставал раньше всех в России, в зимние дни в 7 часов утра проходившие по набережной Невы у Зимнего дворца могли видеть Николая сидящим в кабинете за письменным столом при свете четырёх свечей, покрытых абажуром, и подписывающим вороха бумаг. Он знал поимённо всех офицеров и нижних чинов Петербурга и окрестностей, в 8 утра он являлся на линейное и ружейное учение сапёров, уезжал в 12 (с ним Шарлотта) в Петергоф, а затем четыре часа скакал двенадцать вёрст до лагеря и оставался там до вечерней зари, лично руководя прокладкой траншей, заложением мин и фугасов. В гвардейском корпусе, состоящем из 24 пехотных и кавалерийских полков и 6 отдельных батальонов и дивизионов, он знал по фамилиям всех офицеров и фельдфебелей, всех пажей Пажеского корпуса, всех воспитанников школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров из кадетских корпусов.

Ни один частный дом в Петербурге и общественное здание в России не возводились и не перестраивались без его ведома, все проекты он рассматривал сам. Войска в строю, мундиры и воротники, застёгнутые на пуговицы, руки по швам тешили его глаз, военных отличали усы, усы их привилегия, никто кроме них не смел растить усы, права на усы лишены даже военные медики и капельмейстеры.

У Николая 13 сподвижников, министры, князе-графы: Волконский, Чернышёв, Канкрин, Бенкендорф, Перовский, Уваров, Протасов[324], Толь, Клейнмихель, Нессельроде, Панин, Киселёв, Адлерберг, Меншиков, – из знакомых здесь один Эдуард, друг детских игр, получивший от Николая шрам ружьём, он стал главнокомандующим над почтовым департаментом. В своём роде Канкрин, единственный неноситель формы в России, нарушитель, министр финансов. Идя на прогулку по Зеркальной линии Гостиного двора, он одевался в военный генеральский костюм, на ногах тёплые полуботфорты с кисточками (запрещёнными), тёплая шинель с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, лишь на голове форменная штука – треуголка с султаном из белых перьев, а на глазах зелёный шёлковый зонтик. Николай выговаривал ему, но не переубедил и сказал в сердцах: старик, старик!

О том, как работали 13 министерств, пишет барон М. А. Корф: денежная отчётность в таком порядке, что о находящейся в суде частной сумме 650 000 рублей потерян всякий след, кому она принадлежит, никто не знал, и её хранили под названием «сумма неизвестных лиц». Наконец члены 3-го департамента преданы суду – три, а члены 4-го – двадцать четыре раза! Картина тем ужаснее, что место действия в столице, окно в окно с кабинетом Николая. Сколько долговременный опыт ни закалил членов Государственного совета, однако и они при докладе этого дела были вне себя.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
С годами Николай занимается государственными делами единовластно. Н. М. Колмаков [325] пишет со слов генерал-губернатора Москвы светлейшего князя Д. В. Голицына [326]: вскоре после моего назначения в Москву ко мне принесли массу протоколов, где определялась торговая казнь через палачей на площадях. Не моё дело, а суда. Я подписывать отказался. Вызвали в Петербург, Николай: в чём дело? – Ввиду отсутствия защиты о вине подсудимого мне невозможно подписывать. – У тебя есть прокуроры и стряпчие, чтобы судить. – Нет, Николай, – позволил я себе сказать, – прокуроры и стряпчие не защитники, а преследователи, тут нужны адвокаты. Николай при слове «адвокаты» нахмурился и сказал: – А кто погубил Францию, как не адвокаты? Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер? Нет, князь, – заключил Николай, – пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживём.

На преступников налагались клейма – в XVII веке калёным железом, а со времён Петра I особыми штемпелями с наложенными на них стальными иглами, образовывавшими буквы. Иглы эти вонзались в тело, от них раны, которые «для неизгладимости» затирались порохом. Вместо пороха (он ценился!) Николай открыл смесь индиго и туши. По высочайше утверждённому 10 мая 1839 года положению комитета министров заготовлены образцы орудий для телесного наказания преступников, как-то: кнут, притяжные ремни и штемпеля. Л. А. Серяков пишет: я живо помню: кобыла – доска длиннее человеческого роста, дюйма 3 толщиной и пол-аршина ширина, на одном конце вырез для шеи, а по бокам вырезы для рук, так что, когда клали на кобылу, преступник обхватывал её руками и уже на другой стороне руки скручивались ремнём, шея притягивалась также ремнём, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискосок, под углом. Далее. Кнут состоял из довольно толстой и длинной рукоятки, к которой прикреплялся толстенный кнут длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался шести-или восьмивершковый, в карандаш толщиной, четырёхгранный сыромятный ремень. Шпицрутен – палка, в диаметре несколько менее вершка, в длину сажень, это гибкий, гладкий лозовый прут. Таких прутьев для предстоящей казни нарублено множество, многие десятки возов.

Наступило время на второй неделе Великого поста. Морозы в те дни лютые. На плацу врыта кобыла, близ неё два палача, парни лет 25, широкие в плечах, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Около 9 утра прибыли осуждённые к кнуту, их клали на кобылу по очереди, так что одного били, а другие стояли и ждали. Первого положили из тех, кому 101 кнут. Палач отошёл шагов на пятнадцать, потом медленно – тихим шагом пошёл, кнут тащился меж ног по снегу, когда палач подходил близко к кобыле, то высоко взмахивал правой рукой с кнутом, раздавался свист, а затем удар; опять отходил и опять приближался и т. д. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по рёбрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперёк спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубил кожу, смахивая с кнута полную горсть крови. Казнимых рубили как мясо. После 20–30 ударов подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался. Всё это делалось очень, очень медленно. Когда наказуемый не издавал уж ни стоны, ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Если находили, что тот ещё жив, опять привязывали к кобыле и наказывали далее.

Под кнутом не один умер, помирили и на второй и на третий день. Но кнутом казнь не оканчивалась, отбив число, снимали с кобылы и сажали на барабан, спина походила на высоко вздутое рубленое мясо, на неё накидывали тулуп, палач брал коробочку, вынимал рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек по 1/2 дюйма длины, держа рукоятку в левой руке, палач приставлял штемпель ко лбу несчастного и правой рукой со всего размаху ударял по концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб, и так получалось требуемое клеймо, так же высекали буквы на обеих щеках. Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и всё это время бил барабан.

Николай любил наблюдать, как мучат мужчин, и часто смотрел казни. Наказания же шпицрутенами на другом плацу, за оврагом. Музыка, видите ли, там играет целый день – барабан да флейта! Много народу бежало! бегут! Два батальона солдат, тысячи полторы построены в две шеренги параллельно, лицом к лицу, каждый держит в левой руке ружьё у ноги, а в правой шпицрутен. Вызывали штук по пятнадцать осуждённых, спускали с них рубахи до пояса, голову оставляли открытой, руки привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, вперёд бежать невозможно, напорешься, а спереди тебя тянут за приклад два унтер-офицера. Ни остановиться, ни попятиться.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Твёрдая инструкция. Вот всех установили, и под звуки барабана и флейты они начинают идти друг за другом. Каждый солдат делает из шеренги (правой ногой!) шаг вперёд, бьёт шпирцутеном и встаёт на место. Наказуемый получает удары справа и слева, и голова его дёргается то в ту, то в другую сторону. Во время шествия по этой зелёной улице слышим одни крики несчастных: братцы, помилосердствуйте! Если кто-то падал и не мог идти, подъезжают сани-розвальни, в них кладут обессилевшего и везут вдоль шеренг, удары притом продолжались до тех пор, пока тот дохнуть не мог. В таком случае подходит доктор и даёт нюхать спирт. Мёртвых выволакивают вон, за фронт. Ни одному из наказанных не было менее тысячи ударов, большей же частью давали по две и три тысячи.

Перемерло много. Вот как дословно пишет Л. А. Серяков: перемерло, впрочем, много казнённых. Этому способствовало: недостаток докторов, отсутствие медикаментов, плохой уход за больными. Тут же в рапорте от 11 октября граф Пален донёс Николаю о тайном переходе двух людей (евреев) через реку Прут и прибавил, что только смертная казнь способна покончить с нарушителями карантина (гетто). Николай пишет на этом рапорте резолюцию: виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне её вводить. Он острит. Комитетом министров возбуждён вопрос о даровании крепостным «права на собственность», на что Николай отвечает: пока человек есть вещь, другому принадлежащая, нельзя движимость его признавать собственностью. Много таких фраз от Николая осталось.

Историк пишет: законы наши восходят к Уложению царя Алексея Михайловича (1649 г.). Николай обратил заботливое внимание на отечественное законодательство. С 1754 года одни издержки на содержание комиссий по законам составляют сумму до полутора миллионов рублей серебром. Плодом же усилий этих было несколько проектов и глав, не получивших силы закона. А число актов возрастало. Существова в своей необъятной массе без правильного разбора, законы представляли изумительное противоречие между собою. В делах судебных, правовых и уголовных старое сливалось с новым. Законодательство наше представляло нестройную громаду, где терялся ум самого опытного правоведа. Усмотрел я, – пишет Николай, – что все труды (по законам) не достигли цели, и я признал нужным принять их в моё ведение. Опростим: Николай стал Закон. Николай издаёт полное собрание законов в 45 томах, объемлющее 176 лет и заключающее в себе 30 000 актов. Это для Истории. Через двадцать лет Николай издал ещё 20 томов уже своих личных законов, заключающих 20 000 актов, историк пишет: и вся эта громада представляется в стройном виде делом одного художника, светлым умом своим объемлющего все условия общественного здания. Всё основано на мысли, что народ благоденствует.

А. Ф. Львов, композитор, пишет: были сочиняемы инструментальные пьесы нарочно для царственного персонала. Николаю назначена партия на трубе, то есть корнет-а-пистоне, на котором он любил играть. Во время репетиции Николай обыкновенно вводил меня в кабинет и там я должен был сыграть на скрипке его партию. Внимательно прослушав два или три раза, Николай возвращался к Шарлотте и играл в назначенной пьесе без ошибок. Не ошибался он ни в ритмах, ни в нотах. Один французский дипломат пишет: у Николая нет любимой лошади, собаки, птицы, женщины, всего этого у него в избытке, но не любил он никого, у него не было любимой еды, своего стула, посуды, одежды, безделушки даже. Человек без всяких примет.

Николай говорит: деспотизм ещё существует в России, ибо он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением народа. Речь Николая к депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года: Николай, изволив обнять их, целовал за службу и сказал: господа! внешние враги нам не опасны, одушевлённые войска готовы с восторгом встретить мечом нарушителей наших границ. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Но в теперешних обстоятельствах (Французская революция) я вас прошу, господа, действовать. Подайте между собою руку дружбы, как дети, так чтоб последняя рука дошла до меня, и тогда под мою главою (руководством) никакая сила земная нас не потревожит. Я прошу вас наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Ваш долг, господа, следить за ними. Господа! у меня полиции нет, я не люблю её: вы моя полиция. Каждый должен доводить до моего сведения действия и поступки, какие он заметит. Будем идти дружною стопою, и мы будем непобедимы.

Чтоб не очернить и не высветлить образ, не будем комментировать цитаты, а лишь приводить их. Царь, возомнивший себя царём в безвременье, отсюда

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
обилие бед, которых могло не быть, они плод самодурной фантазии. Военное дело, садизм, законы – всё это было для него искусство для искусства. Николай – персонаж, играющий навязанную ему рождением роль. Он жил на людях: что скажет Европа? Единственные люди ему – Европа. Николай не понимал, что император – это административная должность, думая, что он Провидение, и так держал руль. Отсюда вытекает, что Николай нереален, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия, вытекающие из тела государства – кровь, заключим мы.

Как-то на учении Николай до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Тот ответил: Николай, у меня шпага в руке. Николай отступил назад. С. Соловьёв, историк, пишет: Николай страшный нивелировщик: все люди перед ним равны. Как мы видим, получается многословная формула Николая. Надеждин [327], писатель, издатель Чаадаева, пишет: у нас одна вечная, неизменная стихия: Николай! Народ русский существует только в своём Николае, без него это ряд нулей. С этой же державной единицей нули превращаются в миллиард. Вот мой символ веры.

Замкнутая художественная вещь не означает прорыв безвременья, бриллиант замкнут в оправе, принадлежит всем, неподвижен, недвижим, безымянен, как Гоголь, николаевский. Безвременье – это когда идеи превращены в чтиво, в газеты. Это когда мы не знаем, с чего начать, в юности и плохо кончаем, смертью, бесповоротной. Это когда царь в каске. Это когда женщины, как цепные собаки, отдаются без воя вора. Это когда за спиной сплет пустыня, а в ней смокинг, без человека. Это когда время тускло, неустойчиво, ждёшь лета, а влажная зима мозолит глаз. Когда огни стоят в стёклах и лампочки не перечесть. Когда красный карандаш и нож теряют разницу и равновесие. Когда не живёт душа. Когда дует и некому накормить. Когда ласточки, как львы, взлетающие на треугольниках. Когда дети скворчат. Когда бездна без ремня. А вишни краугольны. Когда временам подходит слово «грязнословие». Когда сидишь и понимаешь, что одиночество не худший вид движения, а через зарю придёт и человек с кувшинами на ногах. Когда никто никому не нужен, как в мирное время (надмирное). Когда ястреб строгаёт жизнь больше, чем плотник. Когда зверей уничтожили на корнях. Когда ругается горе. Когда плачут финны. Когда жёлтые маковки лука принимают за церковь греческого вероисповедания. Когда я, закинув голову, лежу на спинке кровати и никто меня не рубит (и голову, и спинку). Когда звёзды сверкают холодным лбом.

Историк пишет: ни одно счастливое усилие ума в области искусства не остаётся без николаевского привета. Без Пушкина нет нас, и мы пишем о нём, но то, что опущено перьями авторов: гроб. О гробовых досках Пушкина пишут не так пылко, как о ямбах и о вольности. Мы напишем про гроб. Гроб – это последнее здание (дом), в котором живёт тело (остатки живут!). Но прежде вспомним, что пишет Николай Пушкину в пересказе уст Бенкендорфа: Николай надеется, что вы хорошо испытали себя, прежде чем сделать этот шаг (жениться!), и нашли в себе необходимые качества сердца и характера для составления счастья женщины, в особенности такой милой и интересной, как госпожа Гончарова. Пушкин знал, что Гончарова кандидатка Николая.

О Николае Пушкин пишет:

Тебя мы долго ожидали,  
И светел ты сошёл с таинственных вершин  
И вынес нам свои скрижали.  
После женитьбы, с 1 января 1832 года Пушкин стал получать жалованье в министерстве иностранных дел, без должности, по приказу Николая, ему дали деньги на жизнь, в карман. 31 декабря 1833 года Пушкин пожалован в камер-юнкеры, водить жену на глаза Николая. Затем Пушкину дают должность читателя архивов с громадным окладом. 26 февраля 1834 года Пушкин просит у Бенкендорфа ссуду из казны 20 000 рублей. Дают, и он пишет: теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно поступать как им угодно. Они смотрят, он пишет 26 июля 1835 года – Бенкендорфу: из 60 000 моего долга половина – долги чести (карточные!). Я умоляю Николая оказать мне милость дать возможность заплатить деньги. Дали. Деньги дали, как и молил.

Лемке пишет: когда Пушкин умер, толпы народа пошли отдать долг гробу. Похороны назначены в Исаакиевском соборе, об этом напечатано в извещении, вынос тела (в гробе!) торжественный, днём. Но Николай уносит гроб ночью, в присутствии вдовы, друзей Пушкина, Дубельта и двадцати жандармов. Гроб несут не в Исаакиевский собор, а в Конюшни. После отпевания в Конюшенной церковке гроб скрывают в подвал. На следующую ночь ящик с гробом ставят на



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org телегу, и Николай садит на гроб четырёх жандармов и одного А И Тургенева, и везут эту компанию в с. Михайловское. На станции П. жена писателя Никитенко[328] видит телегу, на ней солому, под соломой гроб, обёрнутый в рогожу четыре жандарма и один А. И. Тургенев носятся по двору, перепрыгая курьерских лошадей. И крестьяне тут. Что это? – спрашивает жена Никитенко. – А Бог его знает что. Вишь, какой-то Пушкин убит, и его мчат на почтовых в рогоже и в соломе, прости Господи, как собаку! – это крестьяне в ответ.

19 февраля 1837 года Паскевич – Николаю: жизнь Пушкина как литератора, талант его созрел, но человек он дурной. Николай – Паскевичу: мнение твоё о Пушкине я разделяю, и про него можно сказать, что в нём оплакивается будущее, но не прошедшее. Храните гордое терпенье, – писал Антон Дельвиг, барон (прощальная песнь воспитанников Царскосельского лицея, 1817 г.). Храните гордое терпенье, – пишет Пушкин в послании в Сибирь, 1826 г. Союз поэтов, любимцы муз, святое братство.

В 1830 году Дельвиг начинает выпускать «Литературную газету». В 1830 году выпуск её заканчивается, запрет. Мотив – переход литературной борьбы в политическую. Вот что писал Дельвиг о гг. Полевом, Грече и Булгарине: эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приуточили крики «аристократов к фонарю» и ничуть не забавные куплеты «повесим их, повесим!» Барон Антон Дельвиг намекал, что господа, объявившие себя демократами (Полевой, Греч и Булгарин), пишут слогом топора и являются провокаторами революции в России. В черновиках Дельвига, партия Булгарин-Белинский, ещё не объединённая... потом, правда, он это вычеркнул. Дельвиг знал, что Николай демократ. Началась буря с рыбой. Кит Бенкендорф напал на Дельвига, сокрушая этого юношу в круглых очках, но барон был толст и стоек. Дельвиг: есть закон, и он запрещает преследовать редактора за статьи, пропущенные цензурой. Бенкендорф: закон есть для подчинённых, но не для начальства. Тогда Дельвиг поместил в печати четверостишие памяти жертв Июльской революции. Бенкендорф озверел и грозил сослать всех князей в Сибирь. Вмешался граф Блудов[329], управляющий министерством юстиции, он твёрдо обещал Бенкендорфу формальный арест, Бенкендорф принёс извинения и разрешил газету. Но Дельвиг слёг и умер.

Никто не был при его смерти, его нашли завёрнутым в шелка, с кровью во рту, больничный столик был полон бокалов, Софья Михайловна (жена) не ночевала дома, гуляла с кем-то и в ту ночь. Зеркало было разбито в дым. Это от этой сцены пошло у Есенина: я один и разбитое зеркало. Что же с Дельвигом? Конечно, не Бенкендорф убил. В 32 года бойцу, умнейшему, поэту, Бенкендорф не мешает. Но наступает момент, когда жизнь ведёт черту над головою, а под чертой – ты, тварь, и более никого нет; дружбы вырваны, любовь – беда, а «творчество» у натур гениальных выносятся за скобки жизни, всегда, это у графоманов стоят «проблемы творчества». Так умер Дельвиг, поэт гениальной чистоты, первый, объявивший Пушкина над литературой, великий друг, Дух Второй. Распад Дельвига – это падение золота пушкинской поры, смерть союза поэтов, он один мешал им разойтись: Пушкину к прозе, Жуковскому к воспитанию чужих детей (николаевских), князю Вяземскому к карьере по просвещению, князю Баратынскому[330] в никуда, в бесполезную жизнь, бестворческую. Время эстетики миновало. Эти поэты не столько родовиты, как аристократы речи. Лучший стилист из них, безусловно, Дельвиг. А мало листов от него осталось, что ж, ищут и никак не найдут архив (не ищут, потому и не находят!).

Жихарев[331] пишет: Чаадаев владел прекрасно четырьмя языками: русский, французский, английский, немецкий, легко справлялся с греческим и латинским. Всеобщая история и богословие, в этом Чаадаев был выше специалистов, но и в остальных науках солидно, это последний русский энциклопедист. Щеголеватость была потребностью его натуры. Дома и в одиночестве Чаадаев всегда безукоризненно одет, выбрит, причёсан, граф Поццо ди Борго заметил, что будь на то власть, он заставил бы Чаадаева беспрепятственно разъезжать по Европе, чтобы показывать европейцам ун русс парфатеммент комильфо[332]. В Москве он пользовался репутацией лучшего танцовщика вообще. Никогда не писал по-русски. С Чаадаевым дружили: Александр I, Пушкин, Баратынский, Хомяков, Герцен; князь Голицын и Орлов – министры двора, граф Закревский – люди противоположных положений и убеждений. Один называет себя его учеником, другой просит разрешения видеть комнаты гениального человека и т.д. Чаадаев живёт во флигеле, дом Левашовых на Басманной. О комнатах гениального человека Жуковский говорил, что флигель держался уже не на столбах, а одним только духом. Хомяков пишет: чем объяснить его известность, он не был ни деятелем-литератором, ни

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
двигателем политической жизни, ни финансовою силою, а между тем имя Чаадаева известно всем русским людям, оно состояло в самой личности Чаадаева, в той выпуклости, с которой фигура вырисовывалась на фоне николаевского общества.

Рассказ Тютчева в пересказе Феоктистова: задумал Чаадаев подарить друзьям свой портрет масляными красками, найден живописец. Чаадаев заставил его переделывать портрет не менее пятнадцати раз, и несчастный художник воскликнул: откровенно говоря, я не могу смотреть равнодушно на вас, писать два или три месяца одно и то же лицо – это ужасно! Мне остаётся только пожалеть, – возразил ему с невозмутимым спокойствием Чаадаев, – что вы, молодые художники, не подражаете вашим предшественникам, великим мастерам XV и XVI веков, они не тяготились воспроизводить постоянно один и тот же тип. – Какой же это? – Тип Мадонны.

1 июля 1833 года Чаадаев пишет Бенкендорфу: я вряд ли могу надеяться, что взоры Николая падут на меня. Взоры пали. Философическое письмо Чаадаева опубликовано в № 15 журнала «Телескоп», он пишет: мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежали ни к одному из великих семейств человечества, ни к западу, ни к востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, мы живём в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего, мы явились в мир как незаконнорождённые дети, без связи с людьми. Нам нужно молотом вбивать в голову то, что у других инстинкт, наши воспоминания не дальше вчерашнего дня, мы чужды самим себе, мы идём по пути времён так странно, что каждый сделанный шаг исчезает безвозвратно, мы идём вперёд, но по какому-то косвенному направлению.

Через два дня после выхода философического письма Николай читает и налагает резолюцию: нахожу, что содержание есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишённого. В тот же день Бенкендорф составил отношение московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну, а Николай пишет на проекте: очень хорошо. Из текста проекта: жители столицы, будучи преисполнены достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому изъявляют они искреннее сожаление о постигшем его расстройстве ума. Здесь получены сведения, что мнение о несчастном положении г. Чаадаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие чего Николаю угодно, чтобы приняли надлежащие меры к оказанию г. Чаадаеву всевозможных медицинских пособий. Николай повелевает, чтобы поручили лечение его искусному медику.

Николай наказал Чаадаева сумасшествием на один год, Бенкендорф сделал приписку (в руки Чаадаеву): прошедшее России удивительно, её настоящее великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Прочтя предписание о собственном безумии и о светлом будущем России, Чаадаев смутился чрезвычайно, – пишет княгиня Щербатова, – побледнел, слёзы брызнули из глаз, он не мог выговорить ни одного слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: справедливо, совершенно справедливо. Кстати, в той же книжке «Телескопа» статья Раумера, он пишет: у нас в России один центр всего и этот центр есть наш Николай, в священной особе которого соединены все великие государственные способности. Герцен пишет о Чаадаеве: стройный стан, одевался очень тщательно, бледное лицо его совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или мрамора «чело как череп голый», серо-голубые глаза, печальные тонкие губы. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах, в театрах, в Английском клубе и воплощённым вето, живым протестом смотрел на вихрь и капризничал, делался странным. Было нелегко с ним, стыдился неподвижного лица его, язвительного снисхождения, прямо смотрящего взгляда.

Чаадаев получил в наследство 4 556 душ и удобной земли 3 000 десятин, свыше 1 000 десятин леса, а брат выплачивал ему периодически по 70 000 рублей золотом. Пока Чаадаев отбывал срок сумасшествия, его посетили: маркиз де Кюстин, граф Сиркур[333], Мериме[334], Лист, Гакстгаузен[335], 14 апреля 1856 года он умер, пережив Николая на свой срок, на один год.

Гоголь вне опасности в Риме, пишет гениально, просит у друга Ж. денег, но это он просит у Николая, ведь письма идут на стол нашему герою. Николай от души хохочет и шлёт деньги на «Мёртвые души», на чернила, это мысль Николая, что Гоголь обличает мелкочеловеческое дворянство, от этой Густопсовой

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
идеи Гоголь и бежал в Рим через Академию художеств. К слову, непонятно, как Гоголь перемалывал сверхсуммы, щёголь, едок, но это тогда ничего не стоило, и как Гоголя убили по возвращении в Россию, мучили, сливая кровь, били лёд на висках, пиявки уши объели ему до корней, Гоголя убивали вне пуль и Кавказов, его и захоронили в живом теле, оно ещё долго крутилось в гробу, как сверло, волосы рвались, зубы искусаны и сломаны, это при вскрытии земли нашли такие картинки.

Гоголь завещал не хоронить его, не слагать в могилу без трупного запаха, сложили. Николай ни при чём, это люди Николая хоронят, их вдоволь. Гоголь – вопрос русский, святой, он жил без людей, без портрета, боялся женских ню, а разобрали его на косточки, чистая, медали, мужланы. Шарлотта любила Гоголя, по линиям сестринским. Гоголь – дух изысканный, звонкий, кровавый, равновеликий Высшему Духу, он один в империи взмахнул пером и, очертив вокруг себя мелом круг, сражался с нечистой силой, пока не пал как в песне, и долго его закладывали в землю, а он возвращался и ходил по Риму с Ивановым[336], с Соболевским[337], а у нас его нет.

Он очень загадочен, безвозрастной, в 22 года он писал как Гомер. Гоголь сделал русский рисунок речи, раскрасил его мазками и вместо страниц ввёл в переплёт картины. Этого не умел Пушкин в прозе и не умел никто после Гоголя.

Рядом с ним, но обняком стоит только одна книга – у нас – «Герой нашего времени». Шарлотта читает Героя, запершись на ключ, Николай ломает спальню и выхватывает книгу. Тут странный нюанс: Николай кричит, как туча – как она смела читать, и что – Лермонтова! и где – в супружеской постели! Вообще-то Шарлотта и Лермонтов – человечнейшая и симпатичнейшая история, они могли быть большими друзьями, да и были б, ведь высшая знать и кандидат Шарлотты А. В. Трубецкой[338] родственники Лермонтова, уж не говоря о прямой родне, надмиллионерах Арсеньевых. Ведь младший Трубецкой, Сергей[339], дрался с Лермонтовым плечом к плечу при реке Валерик и принимал после дуэли его последние вздохи, ведь Сергей пошёл на слом судьбы (своей), будучи негласным секундантом поэта. А Столыпины, ведь Столыпин Алексей, Монго, двоюродный дядя и друг Лермонтова, внук министра Мордвинова, однопольчанин, секундант тоже. Их было много тогда, этих чистых ребят, денди, жадные люди до боя, рано погибли, ни один не умер в мирной раме.

В 20 лет Лермонтов корнет лейб-гвардии гусарского полка, лейб-гусары носят алые доломаны и ментики, белая масть лошадей, присвоенная полку, любимейшая масть Лермонтова. Юноша пишет Лопухиной: если будет война, клянусь Богом, буду всегда впереди. Он и был. Мы любим детали, Лермонтов блестящий шахматист, и как он пел у Шарлотты голосом, играл на фортепьяно и скрипке, танцор, живописец и дуэлянт, к слову, в записках Мартынова любопытнейшая деталь: в Петербурге только двое, кто мог завязать печную кочергу двойным узлом, князь Вельский и Лермонтов, но, – добавляет Мартынов, – у Лермонтова слишком длинные руки, ниже колен, нечеловеческие, поэтому он и связывался с кочергой.

Согласимся: да, поэтому. Отметим: Мартынов ревнив, и пойдём дальше, поедем на Кавказ. В бою на реке Валерик Лермонтов действует в составе штурмовой колонны, он адъютант, в том бою потери в офицерах 2 процента, в адъютантах 20 процентов. За храбрость и мужество в бою 11 июля генерал-адъютант Галафеев представил Лермонтова к ордену Святого Владимира с бантом, а Николай не дал. В бою 10 октября ранен Руфин Дорохов[340], командовавший сотней отборных конных бойцов, казаки-охотники из кавалерии левого фланга кавказской линии. Дорохов передаёт команду Лермонтову, а отряд с тех дней называется Лермонтовским. Н. А. Султанов, служивший в отряде, пишет: поступить в команду мог кто угодно, ему брили голову, приказывали отпустить бороду и вооружали двустволкой со штыком. Кавалеристов отряда отличала отчаянная отвага, преданность командиру и презрение к огнестрельному оружию. Лермонтов как командир вёл общий бойцам «образ жизни», спал на голой земле, ел из котла, небрежно относился к форме, к внешности. К. Х. Мамаев пишет: даже в этом походе он не подчинялся никакому режиму и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, являясь там, где ей вздумается, в бою они искали самых опасных мест.

Нужно знать того, кто отдал свой отряд поэту. Руфин Дорохов, сын героя-генерала 1812 года, дуэлянт, буйно-поведенческая личность, разжаловался в солдаты много раз, воспет Д. Давыдовым. Лев Толстой, любивший салонное и жеманное, в романе «Война и мир» изменил в фамилии

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org Дорохов «р» на «л», и вышел из-под пера Толстого некий Долохов, сильно изменённый, офранцузенный, сентиментальный граф дал ему нищую маму-старуху, которую тот Долохов кормит с ладони. Истинный Дорохов никого не кормил, а только воевал и дрался. В письме к М. Ю. Юзефовичу[341] Дорохов пишет: славный малый, честная, прямая душа, не сносить ему головы, мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах, какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что он будет убит, жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, не сносить ему головы (письмо за полгода до смерти, до дуэли). Дорохов пишет стихи и пьесы, знаком с Пушкиным.

Мартынов Николай, убийца, жил 60 лет, сын пензенского помещика, сверстник, соученик, корнет кавалергардского полка, на Кавказе он не в ссылке, а в командировке, уже ротмистр, тоже участник экспедиции Галафеева, но в отряде Дорохова не был, вышел в отставку в чине майора и стал жить в Пятигорске; красивый, носит маленькую бородку и усы, выбритый подбородок, склонен к холе, волосы, расчёсанные на пробор, локон к левому уху, с него снимал акварель Т. Райт[342], профиль. Мартынов писал стихи, поэмы и прозу, но современникам в этом виде незнаком, его опубликовал Н. Нарцов в 1904 году в Тамбове. Что б ни произошло между ним и Лермонтовым, вскрытие письма, ревность к сестре, несосчитанные деньги, лермонтовские насмешки и прочее – это было всегда, с детства их дружбы, это повод для дуэли, но не причина. Причина глубока. Нам её не вскрыть, чтоб не бросить чёрный луч на и так бесцветную муть Мартынова.

Пожалуй, тут связь со стихами. Я приведу ещё друзей Лермонтова, ведь и Дмитриевский, секундانت, тифлисский чиновник – поэт, Лермонтов ценил его, тот печатался в «Сыне Отечества», у него хранилось бандо Екатерины Быховец, забрызганное кровью Лермонтова. Ещё один, доктор Мейер («прототип» Вернера) знал философию, литературу, историю, писал стихи и новеллы, после выхода Героя говорит Сатину (в письме): ничтожен Лермонтов, ничтожен талант его. Не правда ли, странно дымный список пишущих возле поэта, и один из них убийца, а остальные исчезли, как огонь. Не стоит описывать лишнее, но обратим глаз на один факт: перед дуэлью друзья (и Лермонтов) отправились в Шотландку, место увеселений, и пили там, пикник. Не забудем о трёх алкоголиках-профессионалах Льве Пушкине[343] (пишет стихи!), Екатерине Быховец, «кузине» Лермонтова, устроившей эту пирушку накануне смерти (и она пишет!), и Оммер де Гелль, француженке, поэтессе и резидентке французских шпионов в Крыму.

Мартынова среди них не было, он перед стрельбой не пил. Отбросим стихи, этот хлам Божий, но когда героя убивает майор в отставке, пишущий поэму «Герзельяул» – ужасная смерть без боя, не состязаясь, берёт дуло, и пуля бьёт незащищённое тело, пронзая от пятого ребра снизу до лопатки (мы и мишени жалели, стреляя, рвутся, не видать кругов!). Вот что пишет о пирушке в Шотландке Оммер де Гелль, обо всех до дуэли: молодые люди, в числе их и Лермонтов, стояли на балконе у окна, стараясь установить свои головы так, чтобы была пирамида, а как Лермонтов по росту был ниже всей компании, то голова его пришлась в первом ряду, совсем на подоконнике, и его большие выразительные глаза выглядывали так насмешливо, это забавляло, и знакомые подходили с ним разговаривать.

Через 2 часа 15 минут он был убит. Забавно, на дуэль ехал и А. П. Бенкендорф[344], родственник того, шефа, и он – поэт!

Лермонтов известен при дворце не понаслышке, со дня свадьбы А. Г. Столыпина с любимейшей фрейлиной М. В. Трубецкой, сестрой кандидата Шарлотты, вход во дворец – знак плюс, поэт знаком с Шарлоттой прямее, чем пишут. Шарлотта видит Лермонтова, увидев, просит достать стихи, и по её желанию во дворце читают вслух «Демона», и «Демон» нравится Шарлотте. В том же году Лермонтов сталкивается на маскараде с двумя масками, в голубом домино и розовом, голубое – цвет Шарлотты, розовое – её дочери Марии, Лермонтов пишет им: «Как часто пёстрою толпою окружён...» Шеф Бенкендорф негодует. Дуэль Лермонтова с Барантом на женской линии и плоскости, и Шарлотта взволнована, всюду твердит строки Лермонтова: «В минуту жизни трудную...» В июне Шарлотта даёт «Героя нашего времени» Николаю, Шарлотта в восхищенье, Николай резко отзывается о Печорине и ссылает Лермонтова на Кавказ, где тот уже был более года, опять. Николай пишет Шарлотте 14 июля 1840 года, счастливого пути, господин Лермонтов, пусть он прочистит себе голову. Под пулями.

Через 11 месяцев и 1 день Лермонтов убит выстрелом в грудь навывлет. Сейчас скажем условия дуэли: 1. барьер в 10 шагов; 2. встают на крайних точках, 3.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org) каждый стреляет когда хочет; 4. осечки считаются за выстрелы, 5. после первого промаха противник имеет право вызвать выстрелившего на барьер. Право каждого на три выстрела с десяти шагов с вызовом отстрелявшегося опять нажимать курок. Ничего, кроме смерти, тут быть не могло. Не было ни врача, ни экипажа. Пишут: что секунданы надеялись на мирный исход, но за кого они принимали стрелявшихся? – вопрос, и ответ: они принимали и того и другого за Лермонтова. Напомним – смотри выше – у Лермонтова кодекс чести, штыковой бой и ножи, на знамени его отряда презрение к огнестрельному оружию, дуэль с Мартыновым шестая из дуэлей Лермонтова, и никому он не тянул руку с миром, но и не стрелял ни разу. Это знали обе кавказские линии, Петербург, Москва, Николай, секунданы, знал и Мартынов. И, зная, выстрелил и убил, прострелил насквозь всего, виртуоз.

Вблизи дуэли замешаны 6 женщин Лермонтова: Реброва, Быховец, сестра Мартынова, французская поэтесса-шпионка, княгиня Щербатова и некая петербургская франтиха. И французенка Оммер де Гелль пишет то же, что и знаменитый боец, денди и бретёр Дорохов: мне жаль Лермонтова, он дурно кончит, он не для России рождён, Лермонтов сидит у меня в комнате, как я к нему привязалась, мы так могли бы быть счастливы вместе, ведь мы оба поэты.

Мы оба! Нужно отметить, что к дуэли с Лермонтовым готовился в те дни брат Баранта Проспер и французский полковник Тэт Бу плыл на шлюпе к поэту, чтобы стреляться. В том-то и щёгольство этого Лермонтова – он не имел права стрелять, поэтому и шёл на дуэли на пистолетах охотно. Зная это, не один пытался всадить пулю в блистательное тело, и посчастливилось Мартынову, тому, с кем Лермонтов десять лет жил бок о бок, дружа семьями, ценя его красоту и в общем-то данность. За этими красивыми глазами билось сердце майора, женское.

Источники упоминают, что 15 июля то начинались, то прекращались ливневые дожди, офицеры стрелялись под дождём и сильная гроза и после дуэли. Труп лежал. Васильчиков поскакал в город за врачом, – нет врача. Глебов и Столыпин уехали в Пятигорск, наняли телегу и отправили с нею кучера Лермонтова Ивана Вертюкова и человека Мартынова Илью Козлова, те и привезли тело на квартиру. 6 августа в «Одесском вестнике» № 63 сообщение А. С. Андреевского: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молнией и громом: в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. Не некролог, а новелла, космично. Белинский: –этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором и оставить после себя длинную струю благоухания. Вот и Белинский пустил длинную струю благоухания.

Лермонтов очень много знал и в чём-то проговорился, поэтому Бог его и забрал к себе, быстренько, не дав развиться... этим разговорам, – пишет Джеймс Джойс. Узнав, Шарлотта пишет в дневнике 7 августа 1841 года: гром среди ясного неба! Почти целое утро с Машей (дочерью), стихи Лермонтова. 12 августа Шарлотта пишет С. А. Бобринской: вздох о Лермонтове, о его разбитой лире, о русской литературе, он мог бы быть выдающейся звездой. В этот же день Шарлотта дарит Марии обе книги Лермонтова. Николай, узнав о смерти Лермонтова, говорит: собаке – собачья смерть! Опять собака! (смотри выше).

Даты жизни Лермонтова. 1814 – 1841. Уже в числах-перевёртышах скрыт фатум. Прибавим к исследованиям роковых дат: все крупные правительственные заговоры в России после 1841 года имели честь быть в лермонтовские дни. Две мировые войны для России 1914, 1941 годы. О поэзии: в 1941 году покончили с собою Вирджиния Вульф[345] и Марина Цветаева, обе поклонницы Лермонтова. В 1941 году умер Джеймс Джойс, считающий в жизнь свою главным в себе влияние Лермонтова.

Достоевский называл прозу Лермонтова единственной в русской литературе, да она и одна у нас в бриллиантовой чистоте (голубого бриллианта!), в антисоциальности. Достоевский не литература, а гениальная импровизация, он – Инквизитор-Импровизатор, без искусств, над культурой. Это от юношеских ран о Петрашевском, казнь, ссылкой, от пускания благоуханных струй Белинского – Достоевский несвободен. Петрашевский утопист, читал книжные новинки из Европы кому попало, а приверженец Петрашевского студент Филиппов основал в Петербургском университете общество по искоренению грубости нравов у студентов. Чтоб распространить шире вежливость и деликатность, они ввели дуэли: если студент оскорбит товарища, он должен драться с ним на дуэли. Студенческий суд рассматривает проступок и присуждает виновного к поединку: если обиженный слабосильный и не умеет защищаться, суд назначал

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
лицо, с которым обидчик должен драться на пулях. Для этого в складчину нанимали учителей фехтования и стрельбы и занимались, а сам Филиппов стал знаменитым рубакой и грозой тех, кто оскорблял слабых. За это Николай арестовал кружок. Петрашевского он обвинил, что тот сумел распространить эти шпаги и револьверы по всей России, где петрашевцы излагали пламенным языком идеи братства и спорили о труде для всех и о безоблачной любви.

В. Берви-Флеровский[346] пишет: 22 декабря 1849 года нас привезли на Семёновскую площадь. Свежевыпавший снег, окружение войск, на валу толпы народа; и солнце, только что взошедшее красным шаром, блистало, облака сгущённые. Солнца не видел я восемь месяцев, – пишет Д. Д. Ахшарумов, – кто-то взял меня за локоть и сказал: вон туда ступайте. Направившись, я увидел среди площади подмостки квадратной формы, со входною лестницею, и всё обтянуто чёрным трауром – наш эшафот. Там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев, кареты всё подъезжали, и оттуда один за другим выходят заключённые: Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус, а вот и мой милый Ипполит Дебу. Все прощались. Теперь нечего прощаться, становите их, – закричал генерал. Всех нас было 21 человек. Явился какой-то чиновник со списком в руках и стал, читая, вызывать нас по фамилии. После него подошёл священник с крестом в руке и сказал: сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела, последуйте за мной. Нас повели на эшафот.

Нас интересовало, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота. Для чего столбы у эшафота? – Привязывать будут военный суд, казнь расстрелянием. Войдя на него (эшафот), мы столпились, нас поставили двумя рядами один меньший, наиболее суровых преступников: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев, Толль, Ястржембский, Достоевский, другой ряд – Филиппов, Дебу Старший и Ипполит, Плещеев, Тимковский, Ханыков, Головинский, Кашкин, Европеус, Пальм. Расставлены. Войскам скомандовано: на караул! и этот ружейный приём, исполненный вмиг несколькими полками, раздался ударным звуком. Затем скомандовано (нам) шапки долой! Холодно, а шапки всё ж прикрывают голову. Чиновник в мундире читает изложенные вины каждого в отдельности, мы содрогались, дело закончилось словами: полевой уголовный суд приговаривает всех к смертной казни расстрелом, и 19 сего декабря Николай собственноручно написал: быть по сему. Мы стояли в изумлении. Затем нам поданы белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади, одевали нас в предсмертное одеяние. Кто-то сказал: каковы мы в саванах! Взошёл (на эшафот) священник, тот же, что вёл нас, с Евангелием и крестом, и поставлен аналой (столик для икон и книг). Священник: братья, пред смертью надо покаяться, кающемуся Спаситель прощает грехи, я зову вас к исповеди. Никто не отозвался. Тогда подошли к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли и стали привязывать их к серым столбам верёвками, по одному на столб. Приказ, надвинуть колпаки на глаза. Раздалась команда, «кляц», и группа солдат – шестнадцать стоящих у эшафота направили ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли. Момент ужасен, страшно. Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг подняты стволами вверх, от сердца отлетело, отвязывают привязанных, приехал какой-то экипаж, флигель-адъютант читает бумагу, и в ней извещалось о даровании нам Николаем жизни и – всем каторгу. По окончании чтения с нас сняли саваны и колпаки, взошли на эшафот люди, вроде палачей одетые в старые цветные кафтаны, и, став позади ряда Петрашевского-Достоевского, стали ломать шпаги над головами доставленных на колени, ссылаемых в Сибирь. После нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти тулупы и такие же сапоги, на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжёлую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского и, выведя на середину, двое, по-видимому кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклёпывать гвозди.

Бело-туманно, идут поезда живых уток, тонут волны – холодно, лодки стоят на цепи, похожие на котлы, ему снились горы (Николаю!) и реки, леса, озёра и равнины, грудная клетка России, и что в ней маятник лежит. Николай берёт рукой пустую клетку, сердце капает, толкнёт – идёт, и ходит, если из руки в руку бросать, а так стоит, лежит, и Россия лежит географически, орлы над нею летят, медведи под Петербургом стройные, как сосны, на Невском волки помои едят, кости собак едят; то сердце России, что Николай толкал сонный, стучит, его Николай рисует в альбомы, без подписи, нарисует собя, а поверх мундира сердце, а в центре букву Р: Россия, или две Р: Россия – родина, или три Р: Россия – родина русских. Русских Николай очень любил.

Николаю снилась бочка капусты, а в ней Бенкендорф квасится, граф, в мундире, без шляпы, и большой палец вверх показывает, что хорошо ему, перед

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
кончиной они обсуждали, как быть, Николай хотел сохранить тело друга, оказывается, годен капустный рассол в стеклянной бочке, Бенкендорф согласился сразу ж: хорошо, да, но Николай квасить не хотел, а облили (мастера) гроб капустой. Николаю снились китайцы, и он волновался. Снились старые руки любовниц, снились ему собаки, катушки, наполеон в сапогах в дырочках, пулями пронзённый, в животе дыра, и там пуговиц полный живот набито.

Снилось, что в ночном горшке варят двух цыплят, ошипанного и неошипанного с вишнями. Николаю снилась Европа и каждая страна, будто ребёнок, тянет ручки к Николаю. Австрия, Пруссия, Франция, Испания, Италия – как девочки, а Англия – как мальчик, толстолицый, вынут из смокинга, курит, рыдая; Индия снилась, как девочка, как Пушкин, Лермонтов ему снился из ночи в ночь, Николай бегал к Шарлотте, старый, и жаловался: Лермонтов снится, будто он руку рубит себе и складывает. И Шарлотта записывает в дневнике, опять Лермонтов снился и Николай вне себя, пытается, не снится ли и мне Лермонтов, на мои уверения, что не снится, не верит, даёт мне в кровать верёвку, чтоб Лермонтов не снился, хорошо, что Бенкендорф в бочке ему снится отдельно, а Лермонтов, будто тот стоит на скале с надписью «Дарьял» и Николая длиннющей своей рукою щечочет, пуп ищет. Так называемые декабристы не снились, а привидится две-три жены, он их и шлёт в Сибирь, стары, толку нет, одни лодки слёз от них. Ему снился костюм князя Меттерниха, толстого хлопка (материя), белый, золотая на миллион распластано в виде лавров. Николай такой себе шил бы на бал, на красной подкладке. Снилась ему бутылка литра, он видел, как пил Веллингтон. Снились ему волки и львы, кошки и мячи, и всё это прыгало. Спал Николай в шинели, в карманах по револьверу, под подушкой кинжалы, на одеяле хлысты. Снился ему шоколад, он любил его. Снилась ему луна, ана ней архитектурный чертёж отца, а ещё жуки, воздушный дом и паровая дорога, Николаевский вокзал и Польша, дышащая огнями. Ему снились солдаты ровными рядами от Архангельска до Астрахани.

Николай мечтал о винчестерах. И ещё о мягком кресле в кабинете, которое выглядело б как твёрдое. Снились ему в супе (диетическом) куски куриного мяса и шварки, мелкокрошенные, так, чтоб выглядели издали ломтиками картофельными. И ещё Николай мечтал и снились ему портянки к сапогам из тончайшего батиста и байки, чтоб обязательно свежие, ежедневно в год 365 пар портянок, ну и что, недорогие. Он пробовал закручивать ноги в шёлк, как Людовик XV и маркиза Помпадур, но от шёлка пот. Ему снились флаконы духов и что он спит надушенный в женском белье к мужскому телу, однажды он проснулся в чепце, это его изумило, только потом дошло, что он лыс наголо и чепец от утреннего солнца и чтоб не простудить голову. Николай любил, чтоб его мыли руками греки и турки, их держали на особом окладе, без знания русского языка. Шарлотта и кандидатка Николая Россет-Смирнова пишут слово в дневнике: Николаю часто снилось яичко, свежеччищенное, он его и сосал, высасывал яйцо до отворотов, проснувшись, он в поту пил морс подолгу. Николаю снился таз, полный воды, и плывут юноши со штыками, окрашенные под маникюр, а он их ложкой черпает. Николаю снилась табуретка с разбитым сиденьем, и он низ лица мажет помадой. И ещё: как идёт он в лес в мундире и снимает малиновые ягоды, и кладёт руку в рот, откинувшись. И из ночи в ночь ему снились русские, сытые, со щеками из свёклы. Севастополь сдан. Ещё ему снился Ниагарский водопад здесь, в России, на Волге, если её завернуть за Урал, то вполне можно сделать водопад, ничуть не хуже. Ещё, сидя ночами и чертя по бумаге (он же инженер!), Николай придумал дамбу, чтоб не заливало Петербург, а заливало всё прибалтийские страны, чтоб оказать им помощь и, войдя в них, остаться с русским народом, населив его вдоль морей мира, этот план радовал Николая, и ему снилось, что государства рушатся под напором контрольной воды, а то, наоборот тонет Исаакий, и на нём сотни тысяч сидят, ждут, кто спасёт, ими набивают лодки и отправляют реставрировать город на Неве.

Ему снились дети в солдатских шинелях, стрелявшие в Англию. Ему снились коровы, слоноподобные, вымя как гамак и кормят русских, и гуси, сало их для смазки сапог целых армий, ему снились русские войска с моноклями и бьют беспощадно из всех дул, стреляя в рост по крымской воде. Ему снился свой портрет в Турции, Египте, в Аравии и в Персии, в Китае и в Индии. Несут ему выюки жемчужин, цинк, бром, никель, хром, медь, уголь и рис индийский, без англичан, рис русский – как звучно. Ему снилась машина по Гумбольдту, чтоб выходили оттуда железные люди, с понятием, ему снились двуглавые орлы, море и волны бьются ему о бока, в вышине висит розовый шар, он страдал от кандидаток, от их детей (его), у него был план вывезти детей в Польшу, не по праву рождённых (своих!), и составить из них там сейм, да поляки не

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org захотели.

Николаю хотелось спать, снов, что он послан со звезды, страдать, он сравнивал себя с Петром Великим и видел, что он больше, ему снилось много голых женщин, мужчин, особенно выбритые животные – козы, а также голые части у дочерей. Ему снились шляпы, высокие, предметы зла, французского. Ему снилось Рождество: цветные свечи с блюдечками, ему снились ружья, вынимаемые из моря, с английскими замками. Николай читал, что одним ружьём издали англичанин убивает в день 20–30 русских людей, которые сидят на бастионах, болтая ногами, у нас таких ружей нет.

Духовное завещание Николай написал ещё в 1844 году, 4 мая, в день Вознесения. Это черновик, в тот день закат был прозрачный. Первыми шли статьи, как распределить личное, собственность между членами царской семьи: кому дворец, кому дачу, кому деревни и кому дать разных вещей – сапог, шинелей, табакерок, столов, кому кровать и прочее. Весь карманный капитал денег, к примеру, он делит между тремя дочерьми: Марией, Ольгой и Александрой. Ещё он подчёркивает, чтоб выплачивали пенсию кучеру его Якову; комнатной прислуге, рейткнехтству, старикам инвалидам он завещает тоже платить пенсию, государственную. Николай пишет: с моего детства два лица были мне друзьями и товарищами, дружба их ко мне никогда не изменялась, генерал-адъютанта Эдуарда я любил как родного брата, сестра его Юлия добрая, обоим им прошу назначить в мою память пенсию сверх получаемых ещё по 15 000 рублей серебром. Николай благодарит лейб-медиков Арндта, Маркуса, Мандта, Рейнгольда за то, что имели счастье служить ему. Благодарю графа Чернышёва, князя Меншикова, графа Нессельроде, графа Канкрин, графа Блудова, господина Киселёва, тех, кого мог неумышленно огорчить, меня прошу простить.

29 июля 1844 года дочь Александра умирает и Николай приписывает в завещании: вещи, предназначенные дочери моей Александре, оставляю сыну Александру, медальон и печать, которые покойная дочь моя подарила мне на одре – завещаю жене мой Шарлотте, а после её смерти сыну Александру. Историк пишет: читая сие трогательное приложение к завещанию, мы вспоминаем, как пишет Карамзин о древности: без этого завещания мы не знали бы всей прекрасной души Мономаха. Так и теперь: его (Николая) назидательная семейная жизнь может научить ценить прекрасные качества души его.

27 января Николай заболел гриппом, 9 февраля вопреки советам врачей он выехал в экзерциргауз для осмотра маршевых батальонов Измайловского и егерского полков. Мороз –22°. Осмотрев, зашёл к сестре Елене, от неё к военному министру Возвратясь, чувствует себя хуже, кашель и одышка. Ночь Николай провёл без сна. Но на другой день опять выехал и осматривал батальоны Семёновского и лейб-гвардии сапёрный резервный полубатальон. С этого дня болезнь усилилась, Николай уже не выходил, 11-го числа он не смог быть у Преждеосвящённой обедни, слёг. Несмотря на болезнь, Николай говорил о государстве. 17-го числа опасность велика, и медики решились сказать наследнику престола. К вечеру того же дня исчез последний луч (надежды). Николай спросил Шарлотту: где лекарства? Друг мой, – сказала Шарлотта, – для христианина лучшее лекарство и облегчение от принятия Святого Таинства. – Как, в постели? – закричал Николай, – я рад причаститься, но когда буду на ногах, когда Бог даст мне облегчение, а лежачий, а не одетый могу ли я? разве я в такой опасности? Видя слёзы на лице Шарлотты, Николай спросил: ты плачешь? – Нет, – ответила Шарлотта, плача.

В 2 часа ночи медик (пишет): в эту минуту Николай вдруг понял, устремил на медика выразительный взор и сказал просто: скажите – что же? – умираю ли я? Говоря «умираю ли я», он возвысил голос. Медик сказал: да, он держал Николая за руку, она не дрогнула, Николай поднял глаза и спросил: что вы нашли во мне своим стетоскопом? каверны? – Нет, – сказал медик, – но начало паралича в лёгких. – И у вас достало духу объявить мне мой смертный приговор? – О да, – сказал медик. Николай подал ему руку и сказал: благодарю.

Вошла Шарлотта. Николай приказал дать телеграммы в Варшаву и Париж и что он прощается с Москвой. – А со мной? – спросила Шарлотта. – И с тобою.

К одру стеклись находившиеся в Петербурге члены царственного дома, дети детей его, – пишет граф Блудов. Наследнику он сказал: служи России. Он шутил с детьми дочери Марии, но и им внушал службу России. Главнейшее внимание его к Шарлотте, она сказала: зачем я не могу умереть с тобою? – и



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org он ответил: ты должна жить для них, – указывая на целые лестницы детей, ещё Николай сказал: живите в тесном союзе любви семейной. Николай продолжал жить ещё несколько часов и благословил генерал-адъютанта графа Орлова и министров, гвардию, армию, флот, геройских защитников Севастополя. Удивив своей памятью, он не забыл и прислугу, и дворцовых grenадеров, потом спросил медика: скоро ли вы дадите мне отставку? скоро ли всё будет кончено? – Не так ещё скоро. – Не лишусь ли я памяти? – О нет, – сказал медик и добавил: пока вы здесь. Николай пожал ему руку. Последняя речь его к окружению: после России я вас любил больше всего на свете. До последних минут Николай жал руки Шарлотте и наследнику. Однажды он вострепнулся и сказал: я хочу пожать руки русскому народу. – Но их 70 миллионов, столько рук не нажмешься, – возразил граф Киселёв. – Ну что ж, ради этого я готов, – сказал Николай. – Что? – спросил граф Киселёв, – жать? жить? Но час вошёл и 18 февраля в 20 минут пополудни не стало Николая.

Шествие с останками Николая в соборную церковь святых апостолов Петра и Павла, небо чисто и обито светом, на площади народ, спокойный, колокола церковью оглашают воздух рокотом. Когда колесница с трупом тронулась, народ быстрым движением пал на колени. Шествие: знамена, обвитые крепом, с опущенным оружием, глухими барабанами, смущённая толпа. И колесница с ящиком. Если правда и прямодушие будут изгнаны с земли, то они найдут себе убежище в сердцах государей, – это речь Людовика XI[347].

Историк пишет: печальное шествие напоминало самые лучшие страницы из жизни Николая. Ещё один, князь Чернышёв: могила Николая – колыбель человечества. Ещё один: на неостывшем ещё теле (он лежал 9 дней) наброшена шинель, обычный наряд его и единственная роскошь. Впереди кортежа едет верхом церемониймейстер и даёт направление шествию, идут хоры музык, эскадроны кавалерии, роты гвардии, конюшенные офицеры, придворные лакеи, скороходы, камер-пажи с их офицерами, вот знамя императорской фамилии, военное, знамена опущены, лошадь под богатою попоной, ведомая двумя штаб-офицерами, бьёт ногой и будто бы спрашивает, почему на ней нет сегодня её обычного всадника, Николая, за нею едут гербовые знамена областей, составляющих Русскую Империю: Ростовское знамя, Казанское, Астраханское, Новгородское, Московское, их более 40, потом другие знамена, вот чёрное знамя с русским государственным гербом и за ним лошадь, покрытая чёрным сукном, ведомая двумя чиновниками, вот рыцарь в золотых латах с обнажённым мечом, верхом на лошади, покрытой роскошным чепраком, за ними пеший латник в чёрных латах с обнажённым мечом, опущенным вниз, ритуальная символика, это жизнь и смерть, едут, идут.

Несут гербы: Сибирский, Финляндский, Польский, Астраханский, Казанский, Новгородский, Владимирский, Киевский и Московский, потом Государственный большой герб, предшествуемый и несомый генерал-майорами, далее следуют государственные сословия в виде депутатов от них, цехи, учебные заведения, министерства, Сенат, Государственный совет. Проходят мимо два взвода кавалергардского полка в золотых касках. Несут иностранные ордена Николая на глазетовых подушках, их 34 штуки. Несут русские ордена (Николая). Несут короны царств и областей, присоединённых к России: царства Казанского сквозная, в драгоценностях, Астраханского с изумрудом (огромным) наверху, в алмазах, жемчугах и яхонтах, Сибирская из золотой парчи. Кавказских корон ещё нет ни одной. За ними следуют регалии государственные: держава, скипетр и императорская корона. А за этим и тем катится колесница с ящиком Николая.

Торжественное шествие духовников, певчие, дьяконы, протодьяконы, священники, архимандриты, архиереи и преосвященный митрополит Новгородский и Петербургский, священники со святыми иконами и духовник Николая. За духовной процессией едет колесница, обитая серебряной парчой, с высоким балдахинном, широкий гробовой покров из золотой парчи усеян русскими орлами, а по краям обшит горностаем, четыре генерал-адъютанта окружают гроб, стоя на ступеньках колесницы, в неё впряжены восемь лошадей под богатыми попонами, генерал-адъютанты и генерал-майоры свиты поддерживают кисти покрыва, 60 пажей несут зажжённые факелы с красным пламенем. За колесницей идёт новый император – сын Николая, он подавляет рыдания (в себе). Ряды траурных карет императорской семьи, отряды пешей и конной гвардии с крепом, развешивающимся на касках и рукоятках сабель. Николая положат в Петропавловский собор, к останкам Петра I, по завещанию.

Панихида окончилась. Ночью пойдёт народ, он был царь народа. Историк пишет: народ допущен в собор облобызать его оледенелую руку. Я умираю, – произнёс он в роковую минуту, – но пусть узнают верноподанные мои, что я

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org благословил их заочно. Вот заочки и целовали его кожу на костях. Ещё один историк пишет; он хотел пожать руку каждому из 70 миллионов жителей России, но отговорили. Ещё один историк о Николае: народолюбивая душа твоя. И ещё один: настанет время, когда беспристрастная летопись впишет в скрижали все деяния Николая, очертит личность Великого и скажет: он соединил в себе блеск и твёрдость чистейшего алмаза. Правдивый и верный своему слову, он свято хранил общенациональное и ненавидел ложь и притворство. Долг, строгий долг был для него закон, Отечество – алтарь!

ИЗ ДЕЛ ВЕРХОВНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Дело №03–1826

Г.

Ваше Императорское Величество,

Если моления кающегося молодого человека, ежечасно оплакивающего свою вину, могут дойти до подножия престола Вашего Императорского Величества, то умоляю обратить весь Ваш правый гнев на одного меня и помиловать глубоко кающегося брата моего.

Отдать любимейшего сына неутешной матери, мужа нежной супруге, отца несчастным сиротам есть достойно великодушия Вашего Императорского Величества. А я в заключении, или в низкой моей доле, с горячими слезами благодарности буду молить всевышнего, да благословит он царство великодушнейшего монарха.

Вашего Императорского Величества  
верноподданный Александр Муравьёв,  
Кавалергардского полка корнет  
Мая, 15 дня, 1826 года.

Дело №33– 1826

Г. (л. 1-2)

Ваше Императорское Величество  
Государь Всемиловитивейший,

Чем я более прихожу в память и рассудок, тем живее чувствую свою вину, тем более и более раскаиваюсь! Но как я глубоко и ни вникаю в свою душу, не нахожу, кроме безумия, причины своему поступку! нет другой! Я не постигаю, как я мог замешаться в столь презренную толпу злодеев и убийц. Князь Одоевский, всегда прежде благородный по душе и уважаемый, как редко кто из молодых людей одинаких лет. Удостоите, всемиловитивейший государь, вопроса Вашего генерала Орлова. Я очень его огорчил; и потому отзвывы сперва обо мне не могли быть благоприятны; но вот что он сказал мне, когда я пришёл к нему за пять дней до происшествия: «У тебя душа славная; я не могу не любить тебя; очень уважаю, но у тебя такой нрав, что ты готов жертвовать собою первому, кто назовётся твоим приятелем: мнимые друзья воспользуются этим, завлекут тебя и выставят». Сбылись слова сего прекрасного человека, к которому привязан я всей душой, но сбылись гораздо скорее и ужаснейшим образом, нежели он мог полагать.

Теперь остаётся мне одно только, государь всемиловитивейший! Упасть к Вашим ногам, обнять Ваши колена и просить прощения. У Вас пятьдесят миллионов подданных, но вы дорожите жизнью и честью каждого, и если есть малейший способ возвратит их кому, то верно сами в душе радуетесь, ибо все, все почтенные особы и люди, которых я имел и имею случай видеть, все одно говорят; это общий глас, что Вы ангел кротости и милосердия. О, дайте и мне испытать Вашего милосердия!

Припадаю к стопам Вашего Императорского Величества! Умилосердитесь, государь! Никогда никто так сильно не раскаивался, как я, но хотя бы я испил всю чашу несчастий самых ужасных, одному и теперь всем сердцем радуюсь, что безумие сих изуверов не имело никакого успеха и что оно обратилось на собственную их голову, ибо я ничем иным не был, как – к стыду моему – их куклою; никакого их злодейства не был свидетелем, но свидетелем и, к поношению моему, участником их безумия.

Но милосердный государь, Вам известно моё чистосердечнейшее раскаяние. Вам первый всю правду открыл, скрылся от совершенного безумия, но через два дня возвратился, и сам немедленно к Вам явился, первое потому, чтобы не навлечь лишнего на себя подозрения и совершенно очернить в Ваших глазах и себя, и всю мою фамилию; второе, чтобы искренно во всём признаться; и с первого слова всё сказал.

Но Вы сами видели меня, государь. Я узрел Вас и стоял пред Вами лишённый

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org чувств и ума. Одно только помню, что несмотря на моё преступление и Ваш гнев, Вы изволили говорить со мною с такою императорскою снисходительною вежливостью, что это тронуло меня до глубины сердца и лишило последних средств отвечать Вашему Императорскому Величеству! Единый снисходительный взгляд Ваш лучше, лучше жизни для меня, в моём положении! О Боже мой! Я никогда никому зла не делал; зачем теперь Господь Бог так жестоко испытует меня и послал на меня такое ослепление и безумие! Что я сделал? И зачем я потом скрылся? Я хотел избежать первого Вашего гнева и скрылся от первых Ваших благодеяний! Я тотчас раскаялся, ведь искреннее раскаяние никогда не поздно ни перед Богом, ни перед Вами, так и Ваша кротость, Ваше мягкосердие всегда верно одинаковы. По рассудку, который возвращён мне, я чувствую, что это мой долг и сам Бог внушает мне это желание припасть к Вашим священным стопам и у ног Ваших покаяться во всём, что я знаю, у Ваших ног, государь! О, не лишите единственной меня надежды и не откажите мне в единственной радости, в единственном счастье взглянуть на единую минуту на моего кроткого и милосердного императора и у его ног покаяться во всём, что знаю, и испросить прощения. Прошу с слезами на глазах, умоляю Вас: позвольте мне явиться и воззреть на моего императора!  
Вашего Императорского Величества  
верноподданный князь Александр Одоевский  
Сего 15 января 1826 г.

(Резолюция: «к сведению».)

#### КОММЕНТАРИИ

##### Об авторах

МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1866 – 1941), писатель, литературовед, философ. Родился в семье дворцового служащего – столоначальника придворной конторы. Воспитывался в классической гимназии. В 1880 году познакомился с Ф. М. Достоевским и С. Я. Надсоном. Первое стихотворение напечатал в 1881 году в сборнике «Отклик». В 1884 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, увлекался позитивной философией – Спенсером, Кантом и т.д. В 90-е годы Мережковский начал писать самое значительное своё прозаическое произведение – трилогию «Христос и Антихрист», в которой выражал философские взгляды на историю. После первой революции пишет пьесы «Павел I» (1908), «Царевич Алексей» (1920), а также романы «Александр I» и «14 декабря» (1918). В 1920 году Мережковский эмигрировал. В Париже им был создан литературный салон, но радикальные политические взгляды Мережковского отталкивали интеллигенцию. Скончался в Париже в 1941 году.

Роман «Четырнадцатое декабря» печатается по изданию: Мережковский Д. С. Четырнадцатое декабря. Париж, 1921.

БОЛЬШАКОВ КОНСТАНТИН АРИСТАРХОВИЧ (1895 – 1938), поэт, прозаик. Сын аптекаря. Ещё гимназистом опубликовал сборник стихов и прозы «Мозаика». По окончании гимназии поступил на юридический факультет Московского университета. В 1913 году в издательстве «Мезонин поэзии» вышел сборник Большакова «Сердце в перчатке». Большаков примыкал к некоторым футуристическим группировкам. Осенью 1914 года бросает университет и поступает в военное училище. После февральской революции 1917 года работает секретарём журнала «Путь освобождения», издававшегося Московским советом солдатских депутатов. Воевал на фронтах гражданской войны. Опубликовал романы «Царь и поручик» («Бегство пленных»), «Путь прокажённых». Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Роман «Царь и поручик» печатается по изданию: Большаков К. А. Царь и поручик. Рига, 1930.

ГУЛЬ РОМАН БОРИСОВИЧ (1896 – 1986), прозаик, мемуарист, издатель. Потомок обрусевших шведов по отцу и старинного дворянского рода по матери, сын присяжного поверенного, богатого помещика. Детство и юность прошли в Пензе. Учёба на юридическом факультете в Москве была прервана войной. Был на фронте. Революцию 1917 года не принял. Участвовал в «белом сопротивлении», после его разгрома оказался в эмиграции. Собственный опыт Гуля и рассказы других эмигрантов стали основой его книг «Жизнь на фукса» (1923), «В

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org) рассеянии сущие» (1923). Писателя привлекали яркие исторические личности – он пишет романы «Азеф» (1929), «Скиф в Европе» (1933). В 1978 году Гуль начал публиковать трёхтомный труд «Я унёс Россию. Апология эмиграции», вышедший в нью-йоркском издательстве «Мост». Гуль также автор многих литературоведческих работ и эссе. Издательскую деятельность начал в Берлине в 1920 году в журнале «Жизнь».

Роман «Скиф в Европе» печатается по изданию: Гуль Р. Б. Скиф в Европе. Нью-Йорк: «Мост», 1958.

СОСНОРА ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1936 году в г. Алупка. Участник ленинградской блокады. В 1955 – 1958 годах служил в армии вычислителем артиллерийских и миномётных частей. В 1958 – 1963 годах учился в Ленинградском университете. Член Союза писателей с 1963 года. Первая книга стихотворений вышла в 1962 году. Читал лекции в Венсенском университете (Париж, 1970, 1979), в разных университетах США в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы, переведённых на большинство европейских языков. Живёт в С.-Петербурге.

Повесть «Николай» печатается по изданию: Соснора В. А. Николай. Приложение к альманаху «Петрополь», вып. 1, 1992.

#### ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1796 год

25 июня – рождение великого князя Николая Павловича.

1817 год

1 июля – бракосочетание в церкви Зимнего Дворца с дочерью прусского короля Шарлоттой (Александрой Фёдоровной).

3 июля – назначение на должность генерал-инспектора по инженерной части.

1823 год

16 августа – тайный манифест императора Александра о передаче права на престол Николаю.

1825 год

27 ноября – известие о кончине в Таганроге Александра I. Николай и гвардия присягают «новому императору Константину».

12 декабря – подтверждение отречения Константина. Манифест о восшествии на престол Николая I.

14 декабря – восстание на Сенатской площади.

1826 год

Апрель – окончательное удаление Аракчеева. Закрытие Библейского общества.

12 мая – манифест, рассеявший слухи об освобождении крестьян.

Июль – начало войны с Персией.

13 июля – казнь пятерых декабристов.

22 августа – коронация Николая I.

13 сентября – победа над персами при Елизаветополе.

1827 год

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

1 сентября – введение питейных откупов.

8 октября – Наваринское сражение.

8 декабря – Турция заявляет о «священной войне» с Россией.

1828 год

10 февраля – Туркманчайский мирный договор с Персией.

25 апреля – русская армия перешла Прут.

1829 год

30 января – убийство членов русской миссии в Тегеране.

30 мая – победа над турками при Кулевче.

2 сентября – Адрианопольский мирный договор с Турцией.

1830 год

17 ноября – восстание в Варшаве.

1831 год

14 мая – победа над поляками при Остроленке.

4 июня – назначение главнокомандующим антипольскими силами И. Ф. Паскевича (вместо умершего И. И. Дибича).

Июнь-июль – холерные бунты в Петербурге и новгородских военных поселениях.

25 августа – взятие Варшавы.

1832 год

10 февраля – манифест о почётном гражданстве.

1833 год

31 января – манифест о принятии «Свода законов Российской империи».

Январь-февраль – военная демонстрация России против египетского паши Мегмета-Али.

1835 год

Март – учреждение «Секретного комитета для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий».

26 июля – принятие «Общего устава Императорских Российских университетов».

1837 год

3 июля – наказ о губернаторском единоначалии.

30 октября – открыто движение по железной дороге Петербург – Царское Село.

1838 год

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
17-18 декабря – пожар в Зимнем Дворце.

1839 год

12 февраля – Полоцкий соборный акт о воссоединении православной и униатской церквей.

Лето – взятие столицы Шамиля Ахульго.

1 июля – манифест об устройстве денежной системы.

1845 год

Ноябрь – записка министра Л. А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России».

1848 год

3 марта – закон о недвижимой собственности крепостных.

1849 год

23 апреля – вступление русских войск в Венгрию.

1850 год

1 августа – экспедиция Невельского поднимает русский флаг в устье Амура.

1851 год

1 ноября – открытие железной дороги Петербург – Москва.

1853 год

14 июня – манифест о занятии Дунайских княжеств.

18 ноября – Синопская битва.

1854 год

6 сентября – высадка англо-французского десанта в Крыму.

7 сентября – битва на реке Альме.

1855 год

18 февраля – смерть Николая I.

Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям

РАЗРЯДЫ НАКАЗАНИЯ (29/VI.1826)

– "вне разрядов" – четвертование

– I разряд – смертная казнь (отсечение головы)

– II разряд – политическая смерть, т.е. положить голову на плаху, затем ссылка на вечную каторгу

– III разряд – вечная каторга

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– IV разряд – каторга на 15 лет, поселение

– V разряд – каторга на 10 лет, поселение

– VI разряд – каторга на 6 лет, поселение

– VII разряд – каторга на 4 года, поселение

– VIII разряд – ссылка на поселение

– IX разряд – ссылка в Сибирь

– X разряд – лишение чинов, дворянства и запись в солдаты с выслугою

– XI разряд – лишение чинов и запись в солдаты с выслугою

"I. Государственные преступники, осуждаемые к смертной казни четвертованием"

#### 1. Полковник Пестель.

Имел умысел на Цареубийство; изыскивал к тому средства, избирал и назначал лица к совершению оногo; умышлял на истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии и с хладнокровием исчислял всех её членов, на жертву обречённых, и возбуждал к тому других; учреждал и с неограниченной властью управлял Южным тайным обществом, имевшим целию бунт и введение республиканского правления; составлял планы, уставы, конституцию; возбуждал и приготавливал к бунту; участвовал в умысле отторжения Областей от Империи и принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других.

#### 2. Подпоручик Рылеев.

Умышлял на Цареубийство; назначал к совершению оногo лица; умышлял на лишение свободы, на изгнание и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии и приготавливал к тому средства; усилил деятельность Северного общества; управлял оным, приготавливал способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинить Манифест о разрушении Правительства; сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал членов; приготавливал главные средства к мятежу и начальствовал в оных; возбуждал к мятежу нижних чинов через их Начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь.

#### 3. Подполковник Сергей Муравьёв-Апостол.

Имел умысел на Цареубийство; изыскивал средства, избирал и назначал к тому других; соглашаясь на изгнание ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии, требовал в особенности убийства ЦЕСАРЕВИЧА и возбуждал к тому других; имел умысел и на лишение свободы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; участвовал в управлении Южным тайным обществом во всём пространстве возмутительных его замыслов; составлял прокламации и возбуждал других к достижению цели сего общества, к бунту; участвовал в умысле отторжения Областей от Империи; принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других; лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови; возбуждал солдат; освобождал колодников; подкупил даже священника к чтению пред рядами бунтующих лжекатехизиса, им составленного и взят с оружием в руках.

#### 4. Подпоручик Бестужев-Рюмин.

Имел умысел на Цареубийство; изыскивал к тому средства; сам вызывался на убийство блаженной памяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ныне Царствующего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; избирал и назначал лица к совершению оногo; имел умысел на истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии, изъявлял оный в самых жестоких выражениях рассеяния праха; имел умысел на изгнание ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии и лишения свободы блаженной памяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и сам вызывался на совершение сего последнего злодеяния; участвовал в управлении Южного общества; присоединил к оному Славянское; составлял прокламации и произносил возмутительные речи; участвовал в сочинении лжекатехизиса; возбуждал и приготавливал к бунту, требуя даже клятвенных обещаний

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org) целованием образа; составлял умысел на отторжение Областей от Империи и действовал в исполнении оногo; принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других; лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови; возбуждал Офицеров и солдат к бунту и взят с оружием в руках.

#### 5. Поручик Каховский.

Умышлял на Цареубийство и истребление всей ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии, и, быв назначен посягнуть на жизнь ныне Царствующего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, не отрёкся от сего избрания и даже изъявил на то согласие, хотя уверяет, что впоследствии поколебался; участвовал в распространении бунта привлечением многих членов; лично действовал в мятеже; возбуждал нижних чинов и сам нанёс смертельный удар Графу Милорадовичу и Полковнику Стюрлеру и ранил Свитского Офицера.

"II. Государственные преступники первого разряда, осуждаемые к смертной казни отсечением головы"

#### 1. Полковник князь Трубецкой.

В 1820 году умышлял на Цареубийство и соглашался с предложением других; предлагал лишение свободы ИМПЕРАТОРА и ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии при занятии Дворца; управлял Северным тайным обществом, имевшим целью бунт, и согласился именоваться главою и предводителем воинского мятежа, хотя в нём лично и не действовал.

#### 2. Поручик князь Оболенский.

Участвовал в умысле на Цареубийство одобрением выбора лица, к тому назначенного; по разрушению союза благоденствия установил вместе с другими тайное Северное общество; управлял оным и принял на себя приуготовлять сочинения для содействия цели общества; приготавливал главные средства к мятежу; лично действовал в оных оружием с пролитием крови, ранив штыком Графа Милорадовича; возбуждал других и принял на себя в мятеже начальство.

#### 3. Подполковник Матвей Муравьёв-Апостол.

Имел умысел на Цареубийство и готовился сам к совершению оногo; участвовал в восстановлении деятельности Северного общества и знал умыслы Южного во всём их пространстве; действовал в мятеже и взят с оружием в руках.

#### 4. Подпоручик Борисов 2-й.

Умышлял на Цареубийство, вызывался сам, дал клятву на совершение оногo и умышлял на лишение свободы ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ЦЕСАРЕВИЧА; учредил и управлял тайным обществом, имевшим целью бунт; приготавливал способы к оному; составлял катехизис и клятвенное обещание; действовал возбуждением нижних чинов к мятежу.

#### 5. Подпоручик Борисов 1-й.

Умышлял на Цареубийство принятием назначения на совершение оногo; учреждал и управлял тайным обществом вместе братом своим и содействовал в составлении устава; действовал возбуждением нижних чинов к мятежу.

#### 6. Подпоручик Горбачевский.

Умышлял на Цареубийство; обещался с клятвою произвести сие злодеяние и назначал других; участвовал в управлении тайным обществом; возбуждал и подговаривал к бунту нижних чинов; в произведении бунта дал клятву; старался распространить общество принятием членов и возбуждал нижних чинов к мятежу.



7. Майор Спиридов.

Умышлял на Цареубийство; вызывался сам, дав клятву на образ, совершить оное и назначал к тому других; участвовал в управлении Славянским обществом; старался о распространении его принятием членов и возбуждал нижних чинов.

8. Штабс-Ротмистр Князь Барятинский.

Умышлял на Цареубийство с назначением лица к совершению оного; участвовал в управлении тайного общества и старался распространить оное принятием членов и поручений; знал о приготовлении к мятежу.

9. Коллежский Ассессор Кюхельбекер.

Покушался на жизнь ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА во время мятежа на площади; принадлежал к тайному обществу с знанием цели; лично действовал в мятеже с пролитием крови; сам стрелял в Генерала Воинова и рассеянными выстрелами мятежников старался поставить в строй.

10. Капитан Якубович.

Умышлял на Цареубийство с вызовом на лишение жизни покойного ГОСУДАРЯ и сверх того предложил бросить жребий на убиение ныне Царствующего ИМПЕРАТОРА; был на совещаниях общества и знал его тайны относительно бунта, хотя и не был принят в оное; лично действовал в мятеже; участвовал в приготовлении оного; помогал советами, предлагал разбить питейные дома, позволить грабёж и, взяв хоругви из Церкви, идти ко Дворцу; во время самого мятежа, присоединясь к мятежникам, одобрял и поощрял их и пришёл с ними на площадь.

11. Подполковник Поджио.

Умышлял на Цареубийство собственным вызовом к совершению оного, также изысканием к тому средств, избиранием и назначением лиц; умышлял на истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; участвовал в восстановлении деятельности Северного общества с предложением составленных им правил, советовал и убеждал Князя Волконского возмутить вверенное ему войско.

12. Полковник Артамон Муравьёв.

Умышлял на Цареубийство собственным тоекратным вызовом на совершение оного; участвовал в умысле произвести бунт; привлекал в тайное общество других и приуготовлял товарищей к мятежу.

13. Прапорщик Вадковский.

Умышлял на Цареубийство и истребление всей ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии, возбуждая к оному и других; участвовал в умысле произвести бунт и в распространении тайного общества принятием в оное товарищей.

14. Прапорщик Бечаснов.

Соглашался в умысле на Цареубийство принятием с клятвою назначения к совершению оного; участвовал в умысле бунта возбуждением и подговором нижних чинов и принял в общество одного товарища.

15. Полковник Давыдов.

Имел умысел на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии, о чём и совещания происходили в его доме; участвовал в управлении тайного общества и старался распространить оное принятием членов и поручений; участвовал согласием в предложениях об отторжении Областей от Империи и приуготовлял к

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
мятежу предложением одной Артиллерийской роте быть готовою к действиям.

16. 4-го класса Юшневский.

Участвовал в умысле на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии с согласием на все жестокие меры Южного общества; управлял тем обществом вместе с Пестелем; с неограниченною властью участвовал в сочинении конституции и произнесении речей; участвовал также в умысле на отторжение областей от Империи.

17. Штабс-Капитан Александр Бестужев.

Умышлял на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; возбуждал к тому других; соглашался также и на лишение свободы ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; участвовал в умысле бунта с привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен; лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов.

18. Подпоручик Андреевич 2-й.

Участвовал в умысле на Цареубийство с согласием; первый умышлял на лишение свободы ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ЦЕСАРЕВИЧА; участвовал в умысле бунта возбуждением и подговором нижних чинов и приуготовлял товарищей к воинскому мятежу.

19. Капитан Никита Муравьев.

Участвовал в умысле на Цареубийство изъявлением согласия в двух особенных случаях в 1817 и в 1820 году; и хотя впоследствии изменил в сём отношении свой образ мыслей, однако ж предполагал изгнание ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; участвовал вместе с другими в учреждении и управлении тайного общества и в составлении планов и конституции.

20. Коллежский Ассессор Пущин.

Участвовал в умысле на Цареубийство одобрением выбора лица к тому предназначенного; участвовал в управлении общества; принимал членов и давал поручения; лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов.

21. Генерал-Майор князь Волконский.

Участвовал с согласием в умысле на Цареубийство и истребление всей ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; имел умысел на заточение ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении оною с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от Империи и употреблял поддельную печать Полевого Аудиториата.

22. Капитан Якушкин.

Умышлял на Цареубийство собственным вызовом в 1817 году и участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество товарищей.

23. Подпоручик Пестов.

Участвовал в умысле на Цареубийство принятием с клятвою назначения к совершению оною и соглашался в умысле на бунт.

24. лейтенант Арбузов.

Умышлял на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии; участвовал в умысле бунта с привлечением товарищей; лично действовал в мятеже; возбуждал нижних чинов и товарищей.

25. лейтенант Завалишин.

Умышлял на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии, возбуждая к тому словами и сочинениями и принадлежал к тайному обществу с знанием сокровенной цели.

26. Полковник Повало-Швейковский.

Участвовал в умысле на лишение свободы покойного ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА в Бобруйске и при Белой Церкви, а ныне царствующего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА – в Бобруйске и знал об умысле на Цареубийство; участвовал в умысле произвести бунт и в распространении тайного общества принятием от него поручений и привлечением одного товарища.

27. Поручик Панов 2-й.

Принадлежал к тайному обществу и по учинении уже присяги лично действовал в мятеже, возмутил несколько рот, вступил с ними на двор Зимнего Дворца и потом присоединился к другим мятежникам на площади, команда его производила стрельбу.

28. Поручик Сутгоф.

Принадлежал к тайному обществу и по учинении присяги лично действовал в мятеже; возмутил свою роту и присоединил её на площади к мятежникам, команда его производила стрельбу.

29. Штабс-Капитан князь Щепин-Ростовский.

Лично действовал в мятеже возбуждением нижних чинов, коими предводительствовал на площади с пролитием крови и с нанесением тяжких ран Генералам Шеншину, Фридрихсу, Полковнику Хвоцинскому, одному унтер-офицеру и гренадеру.

30. Мичман Дивов.

Умышлял на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии с возбуждением других словами и лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

31. действительный Статский Советник Тургенев.

По показаниям 24 соучастников, он был деятельным членом тайного общества; участвовал в учреждении, восстановлении, совещаниях и распространении оною привлечением других, равно участвовал в умысле ввести республиканское правление; и удаляясь за границу, он по призыву правительства к оправданию не являлся, чем и подтвердил сделанные на него показания.

"III. Государственные преступники второго разряда, осуждаемые к политической смерти по силе указа 1753-го года апреля 29-го числа, т.е. положить голову на плаху, а потом сослать вечно в каторжную работу"

1. Капитан Тютчев.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём; участвовал в умысле бунта возбуждением и подговором нижних чинов и знал о приуготовлении к мятежу.

2. Поручик Громницкий.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём; участвовал в умысле бунта распространением тайного общества принятием его поручений и привлечением товарищей и знал о приуготовлении к мятежу.

3. Прапорщик Киреев.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём; также соглашался в умысле бунта и приуговаривал товарищей к военному мятежу.

4. Поручик Крюков 2-й.

Участвовал в умысле на Цареубийство и истребление ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии согласиём; участвовал в умысле произвести бунт и в распространении тайного общества принятием поручений и привлечением товарищей.

5. Подполковник Лунин.

Участвовал в умысле Цареубийства согласиём; в умысле бунта принятием в тайное общество членов и заведением литографии для издания сочинений общества.

6. Корнет Свистунов.

Участвовал в умысле Цареубийства и истреблении ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии согласиём, а в умысле бунта принятием в общество товарищей.

7. Поручик Крюков 1-й

Участвовал в умысле на Цареубийство и истреблении ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии согласиём, а в умысле бунта распространением тайного общества и привлечением товарищей.

8. Поручик Басаргин.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём и в распространении тайного общества принятием одного члена.

9. Полковник Митьков.

Участвовал в умысле Цареубийства согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием сокровенной цели.

10. Поручик Анненков.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

11. Штаб-лекарь Вольф.

Участвовал в умысле на Цареубийство и истреблении ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

12. Ротмистр Ивашов.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

13. Подпоручик Фролов 2-й.

Участвовал в умысле на Цареубийство согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели бунта.

14. Подполковник Норов.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

Участвовал согласием в умысле на лишение в Бобруйске свободы блаженной памяти ИМПЕРАТОРА и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

15. Капитан-лейтенант Торсон.

Знал умысел на Цареубийство и участвовал в умысле бунта принятием одного члена.

16. Капитан-лейтенант Николай Бестужев 1-й.

Участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество членов; лично действовал в мятеже; возбуждал нижних чинов и сам был на площади.

17. Штабс-Капитан Михайло Бестужев.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оного; лично действовал в мятеже; возбуждал нижних чинов и привёл на площадь роту.

"IV. Государственные преступники третьего разряда, осуждаемые к ссылке вечно в каторжную работу"

1. Подполковник Барон Штейнгель.

Знал об умысле на Цареубийство и лишение свободы с согласием на последнее; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и участвовал в приуготовлении к мятежу планами, советами, сочинением манифеста и приказа войскам.

2. Подполковник Батеньков.

Знал об умысле на Цареубийство; соглашался на умысел бунта и приуготовлял товарищей к мятежу планами и советами.

"V. Государственные преступники четвёртого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 15 лет, а потом на поселение"

1. Штабс-Капитан Муханов.

Произносил дерзостные слова в частном разговоре, означающие мгновенный порыв на Цареубийство, и принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели относительно бунта.

2. Генерал-Майор фон-Визин.

Умышлял на Цареубийство согласием, в 1817 году изъявленным, хотя впоследствии времени изменившимся с отступлением от оного; участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество членов.

3. Штабс-Капитан Поджио.

Участвовал в умысле Цареубийства согласием и даже вызовом, сперва изъявленным, но потом изменившимся и с отступлением от оного; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлении к мятежу.

4. Подполковник Фаленберг.

По принятии в 1822 или 1823 году князем Барятинским в тайное общество соглашался произвести Цареубийство и хотя впоследствии и начал от общества уклоняться, но сокровенную цель его знал.

5. 10-го класса Иванов.

Участвовал в умысле бунта принятием членов и приуготовлял товарищей к

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org мятежу.

6. Подпоручик Мозган.

Знал об умысле Цареубийства, участвовал в умысле бунта принятием одного члена и возбуждал нижних чинов не противиться мятежу, когда он откроется.

7. Штабс-Капитан Корнилович.

Знал об умысле на Цареубийство; участвовал в умысле бунта принятием поручения с известиями от Южного общества к Северному и в приготовлении к мятежу.

8. Майор Лорер.

Знал об умысле на Цареубийство; участвовал в умысле тайного общества принятием от него поручений и привлечением товарища.

9. Полковник Аврамов.

Знал об умысле на Цареубийство и участвовал в умысле бунта распространением общества и принятием одного члена.

10. Поручик Бобрищев-Пушкин 2-й.

Знал об умысле на Цареубийство и участвовал в умысле бунта принятием на сохранение бумаг Пестеля и привлечением в тайное общество одного члена.

11. Прапорщик Шимков.

Знал об умысле Цареубийства и участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного члена.

12. Корнет Александр Муравьев.

Знал об умысле на Цареубийство и участвовал в умысле бунта принятием поручений и привлечением товарищей.

13. Мичман Беляев 1-й.

Знал об умысле на Цареубийство и лично действовал в мятеже с возбуждением чинов.

14. Мичман Беляев 2-й.

Знал об умысле на Цареубийство и лично действовал в мятеже с возбуждением чинов.

15. Полковник Нарышкин 2-й.

Знал об умысле на Цареубийство и участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество членов.

16. Корнет князь Одоевский.

Участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного члена и лично действовал в мятеже с пистолетом в руках.

"VI. Государственные преступники пятого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 10 лет, а потом на поселение"

1. Штабс-Капитан Репин.

Принадлежал к тайному обществу с знанием сокровенной цели и приготавливал товарищей к мятежу.

2. Коллежский Секретарь Глебов.

Знал о цели тайного общества, хотя не вполне, и лично действовал в мятеже, дававши деньги солдатам для покупки вина.

3. Поручик Барон Розен.

Лично действовал в мятеже, остановив свой взвод, посланный для усмирения мятежников.

4. лейтенант Кюхельбекер.

Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

5. Мичман Бодиско 2-й.

Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

"VII. Государственные преступники шестого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 6-ть лет, а потом на поселение"

1. Полковник Александр Муравьев.

Участвовал в умысле Цареубийства согласием, в 1817 году изъявленном, равно как участвовал в учреждении тайного общества, хотя потом от оногo совершенно удалился, но о цели его правительству не донёс.

2. Дворянин Люблинский.

Знал об умысле на Цареубийство и участвовал в учреждении с Борисовым Славянского тайного общества с составлением и переводом планов, хотя после из оногo и выбыл.

"VIII. Государственные преступники седьмого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 4 года, а потом на поселение"

1. Подпоручик Лихарев.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлениях к мятежу.

2. Подполковник Ентальцов.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлениях к мятежу.

3. Поручик Лисовский.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлениях к мятежу.

4. Полковник Тизенгаузен.

Знал об умысле на Цареубийство и лишение свободы всей ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии и участвовал в умысле бунта.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

5. Подпоручик Кривцов.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

6. Прапорщик Толстой.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

7. Ротмистр Граф Чернышёв.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

8. Поручик Аврамов.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

9. Поручик Загорецкий.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

10. Полковник Поливанов.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

11. Поручик Барон Черкасов.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

12. Поручик Граф Булгари.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

13. Канцелярист Выгодковский.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

14. Подполковник Берстель.

Знал об умысле на лишение свободы ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

15. Полковник фон-дёр Бригген.

Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели оного.

"IX. Государственные преступники осьмого разряда, осуждаемые к лишению чинов, дворянства и к ссылке на поселение"

1. Подпоручик Андреев 2-й.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оного и возбуждал к мятежу.



2. Подпоручик Веденяпин 1-й.

Соглашался на умысел бунта и знал о приуготовлении к военному мятежу.

3. Действительный Статский Советник Краснокутский.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели в ограничении Самодержавной власти посредством Сената и знал о приуготовлении к мятежу 14 декабря 1825 года.

4. Лейтенант Чижов.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оною и соглашался на мятеж.

5. Камер-Юнкер Князь Голицын.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оною.

6. Штабс-Капитан Назимов.

Участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного товарища.

7. Поручик Бобрищев-Пушкин 1-й.

Участвовал в умысле бунта принятием на сохранение бумаг Пестеля.

8. Подпоручик Заикин.

Участвовал в умысле с принятием поручений от общества и привлечением одного товарища.

9. Капитан Фурман.

Соглашался в умысле бунта.

10. Майор Князь Шаховский.

По улике 4-х сообщников, участвовал в умысле на Цареубийство, и по собственному признанию принадлежал к тайному обществу.

11. Штабс-Капитан Фохт.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

12. Подпоручик Мозгалевский.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

13. Поручик Шахирев.

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

14. Полковник Враницкий.

Принадлежал к тайному обществу и знал цель его, т.е. изменение государственного порядка.

15. Лейтенант Бодиско 1-й.

Лично действовал в мятеже бытностью на площади.

"X. Государственные преступники девятого разряда, осуждаемые к лишению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь"

1. Подпоручик Граф Коновницын.

Принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной его цели относительно бунта и соглашался на мятеж.

2. Штабс-Ротмистр Оржицкий.

Хотя не вполне, но знал сокровенную цель тайного общества относительно бунта, равно как знал и о предстоящем мятеже.

3. Подпоручик Кожевников.

Принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели и возбуждал нижних чинов к мятежу.

"XI. Государственный преступник десятого разряда, осуждаемый к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги"

Капитан Пущин.

Знал о приготовлении к мятежу, но не донёс.

"XII. Государственные преступники одиннадцатого разряда, осуждаемые к лишению токмо чинов с написанием в солдаты с выслугою"

1. Мичман Пётр Бестужев.

Принадлежал к тайному обществу и лично действовал в мятеже.

2. Прапорщик Веденяпин 2-й.

Соглашался на умысел бунта.

3. Лейтенант Вишневский.

Был увлечён обманом; лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

4. Лейтенант Мусин-Пушкин.

Был увлечён обманом; лично действовал в мятеже.

5. Лейтенант Акулов.

Был увлечён обманом; лично действовал в мятеже.

6. Поручик Фок.

Был увлечён обманом; возбуждал нижних чинов в мятеже.

7. Поручик Цебриков.

По показанию свидетелей, в день мятежа 14 декабря произносил возмутительные слова морскому экипажу, когда он шёл на Петровскую площадь; сам подходил к толпе мятежников и в вечеру дал пристанище одному из первейших бунтовщиков

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
– Князю Оболенскому.

#### 8. Подпоручик Лаппа.

Принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели одного относительно бунта.

Подлинная роспись

за подписанием председателя и членов

Верховного уголовного суда

1

Для военного ведомства такая же работа выполнена изданием в 1838 г. Свода военных постановлений.

2

Палантин (франц. palantine), меховая или отделанная мехом женская накидка прямоугольной формы и различной длины – от размеров воротника до очень большого шарфа. В Зап. Европе эта одежда появилась после 1676, когда пфальцграфиня (княгиня) Палатинская первой продемонстрировала элегантный способ защищаться от холода с помощью небольшого покрывала из соболиных шкурок. В России увлечение палантинами началось в 19 в.

3

Гродетур – старинная плотная шёлковая ткань.

4

фармазон (устар.) – здесь: то же, что: масон, франкмасон.

5

Самая приятная любовь – это любовь, которая начинается и заканчивается в один день (фр.).

6

Мария, где же ты, моё дитя? (фр.)

7

Осёл Константин.

8

Ламсдорф Матвей Иванович (Густав Матиас) (1745 – 1828) – генерал-адъютант, воспитатель великих князей Николая и Михаила.

9

Скорее всего имеется в виду Нарышкин Александр Львович (1760 – 1826) – обер-камергер, канцлер орденов.

10

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
Это первый долг, который я плачу природе (фр.).

11

Лопухин Иван Владимирович (1756 – 1826) – князь, председатель  
Государственного совета.

12

«Вот уже две недели, как российской короной играют как в мячик, посылая её  
друг другу» (фр.)

13

ла Фероннэ Пьер-Луи-Август (1777 – 1842) – граф, французский посол в С.  
–Петербурге в 1817 – 1828 гг.

14

Тысячелистник.

15

Бедный мальй! Я стал похож на привидение! (фр.)

16

Адлерберг Владимир Фёдорович (Элуард Фердинанд Вольдемар) (1791 – 1884) –  
граф, генерал-адъютант, позже министр двора.

17

«Аромат двора» – название духов (фр.).

18

В нём много от прапорщика и немного от Петра Великого» (фр.).

19

Ростовцев Яков Иванович (1803 – 1860) – поручик лейб-гвардии егерского  
полка, по некоторым показаниям декабристов, член Северного общества. 12  
декабря 1825 г. написал письмо Николаю, в котором призывал его не вступать  
на престол ввиду возможного «смятения» (имён, однако, не назвал).

20

Милорадович Михаил Андреевич (1771 – 1825) – граф, генерал от инфантерии,  
петербургский военный губернатор с 1818 г.

21

Амарантовый цвет – красно-розовый оттенок, которым описывается цвет цветков  
амаранта.

22

Смелее, сир, смелее! (фр.)

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

23

Оболенский Евгений Петрович (1796 – 1865) – поручик лейб-гвардии Финляндского полка, один из директоров Северного общества, осуждён по 1-му разряду к каторге, с 1839 г. на поселении в Сибири, с 1856 г. в Европейской России, принял участие в крестьянской реформе.

24

жаба – здесь: острая инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением зева и нёбных миндалин; ангина.

25

Мур Томас (1779 – 1852) – англо-ирландский поэт, биограф и издатель Байрона.

26

Бистром Карл Иванович (1770 – 1838) – участник войн с Турцией, Францией, Швецией и Польшей, командующий гвардейской пехотой.

27

имеется в виду Кашкин Евгений Петрович (1737 – 1796) – генерал-губернатор тобольский и пермский, наместник в Туле, генерал-аншеф.

28

Лаваль де Лубрери Жан-Франсуа (1761 – 1846) – французский эмигрант на русской службе, тайный советник, управляющий 3-й экспедицией Министерства иностранных дел. Его дочь, Екатерина Ивановна (1800 – 1854), – жена Трубецкого, последовала за мужем в Сибирь.

29

Сафьян – тонкая мягкая окрашенная кожа, выделяваемая обычно из козьих или овечьих шкур.

30

имеется в виду конституция Н. Муравьёва, найденная затем при обыске в бумагах Трубецкого.

31

Ржавого оттенка.

32

Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1799 – 1859) – князь, штабс-капитан Московского полка. 14 декабря ранил в казармах генерал-майора Фридерикса, полковника Хвоцинского и нескольких нижних чинов, осуждён по 1-му разряду к вечной каторге, с 1839 г. на поселении, в 1856 г. вернулся в Ростовский уезд.

33

Демутов трактир или гостиница (наб. р. Мойки, д. 40) названа по владельцу Филиппу-Якову Демуту (1750 – 1802), директору Заёмного банка.

34

Боскет – группа ровно подстриженных в виде стенок деревьев или кустарников, высаживаемых в парке, саду или по их границам в декоративных целях.

35

Как гроздь винограда (фр.).

36

«Этот очаровательный негодяй» (фр.).

37

Шешковский Степан Иванович (1727 – 1793) – обер-секретарь Тайной экспедиции, известный своими допросами «с пристрастием», сочетавший любовь к своему ремеслу с большой набожностью. Производил, в частности, допросы Новикова и его «подельщиков».

38

Фонтенель Бернар ле Бовье де (1657 – 1757) – французский писатель, поэт, учёный.

39

«Вы совершенно очаровательны, сударыня» (фр.).

40

Общества.

41

К вашим услугам, сударыня (фр.).

42

Штейнгель Владимир Иванович (1783 – 1862) – отставной подполковник, член Северного общества, осуждён по 3-му разряду.

43

Кюхельбекер Михаил Карлович (ум. 1859 г.) – лейтенант гвардейского экипажа, осуждён по 5-му разряду по делу о декабристах.

44

Жамка – мятный пряник.

45

Салопница (разг. устар.): 1. женщина, ходящая в изношенном салопе, просящая на бедность. 2. перен. Мелкая мещанка, вульгарная, склонная к сплетням женщина.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
46

Тютюн (устар.) – табак (обычно низкого сорта).

47

Сбитень – горячий напиток, приготовлявшийся из воды, мёда и пряностей.

48

Фриз – здесь: толстая, весьма ворсистая байка.

49

Баярд (Пьер дю Терайль) (1476 – 1524) – французский воин и полководец, прозванный «рыцарем без страха и упрёка».

50

Комаровский Евграф Федотович (1789 – 1843) – граф, генерал-адъютант.

51

Хвоцинский Павел Ксаверьевич (1792 – 1852) – участник войны 1812 г., с 1823 г. полковник, позже генерал-майор, флигель-адъютант.

52

Левашов Василий Васильевич (1783 – 1848) – генерал-адъютант, член следственной комиссии по делу 14 декабря, впоследствии граф, председатель Государственного совета.

53

Плохи дела, сир (фр.).

54

Воинов Александр Львович (ум. 1832 г.) – начальник гвардейского корпуса.

55

Бестужев Николай Александрович (1791 – 1853) – капитан-лейтенант, осуждён по 2-му разряду к каторге, с 1839 г. на поселении. Художник-любитель, автор записок.

56

Панов Николай Алексеевич (1803 – 1850) – член Северного общества, по делу о 14 декабря осуждён по 1-му разряду, по конфирмации к каторге, с 1839 г. на поселении.

57

Хотите снять Михаила? (фр.)

58

Охотно, только где он? (фр.)

59

Евфимий Алексеевич Болховитинов (1767 – 1837) – митрополит Киевский и Галицкий, писатель, член Российской Академии.

60

Палица – здесь: ромбовидный парчовый платок, носимый на груди, часть одежды архимандритов и заслуженных священников.

61

Толь Карл Фёдорович (1777 – 1842) – барон, позже граф, начальник штаба 1-й армии, затем главноуправляющий путями сообщения.

62

Башуцкий Павел Яковлевич (1771 – 1836) – генерал-адъютант, позже генерал от инфантерии, сенатор.

63

Имеется в виду Анненков Иван Александрович (1802 – 1878) – поручик кавалергардского полка, осуждённый после 14 декабря по 2-му разряду, позже, с 1861г., – нижегородский предводитель дворянства.

64

«Посмотри, посмотри же на него! Какой он хорошенький, просто ангелочек! (фр.).»

65

Тик (нидерл. tijk), плотная льняная или хлопчатобумажная ткань с рисунком в виде продольных полос. Употребляется как обивочный материал, для изготовления матрацев и т. п.

66

Как много в нём сразу появилось апломба (фр.).

67

Пифон, или дельфиний, – мифический чудовищный змей, рождённый богиней земли Геей, убитый богом Аполлоном.

68

Ваш бедный малый, ваш каторжный Зимнего дворца (фр.).

69

Какой позор!

70

Вероятно, имеется в виду Бибииков Илларион Михайлович (1790 – 1861), старший адъютант Главного штаба, муж Е. И. Муравьёвой-Апостол.



71

Шульгин Александр Сергеевич (1777? – 1841) – московский, а в 1825-1826 гг. – петербургский обер-полицмейстер.

72

Гроденабль – старинная шёлковая ткань

73

Блонды – старинные шёлковые кружева с желтоватым отливом.

74

Кушанье.

75

Ни минуты передышки! (фр.).

76

Нет более русскою сердцем человека, чем я (фр.).

77

Карсель – старинная лампа, снабжённая особым механизмом для подъёма масла.

78

На этот раз я говорю с вами не как ваш судья, но как дворянин, как ваша ровня (фр.).

79

Из Зимнего дворца.

80

Мать дала мне превосходное воспитание (фр.).

81

Жандр Андрей Андреевич (1789 – 1873) – поэт, драматург, впоследствии сенатор.

82

Над миром царит всемудрое добро (нем.).

83

Пестрядь – ткань из остатков пряжи различного рода (шерсть, лён, хлопок) и цвета, нередко в полоску. Название от «пёстрый», относившегося в древности к ткани из пеньки. У пестряди нет характерных признаков (стандартной ширины, плотности, определённых сочетаний цветов). Поэтому название

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«пестрядь» применялось очень широко по отношению к домотканой материи.

84

У него и руки и ноги в оковах (фр.).

85

Мысловский Пётр Николаевич (1777 – 1846) – протоиерей казанского собора. Присутствуя в июле 1826 г. на казни декабристов, противился вторичному повешению трёх сорвавшихся. Позже писатель, член Российской Академии.

86

Мурава – здесь: (устар.) глазурь; полива.

87

Миткаль (от перс. меткал), суровая тонкая хлопчатобумажная ткань. Полуфабрикат в производстве клеёнки, дерматина и т. п. Из миткаля в результате красильно-отделочных операций получают ситец и бельевые ткани – мадаполам, муслин.

88

Голенищев-кутузов Павел Васильевич (1772 – 1843) – граф, член Государственного совета.

89

Потапов Алексей Николаевич (1772 – 1847) – с 14 декабря 1825 г. генерал-адъютант, позже генерал от кавалерии, член Государственного совета.

90

Вот что, князь, сделали много зла России, вы её отбросили лет на пятьдесят назад (фр.).

91

Послушайте, Чернышёв, очень может быть, что князь ни о чём не рассказал жене и она ничего не знает. (фр.).

92

Он прав, господа, нужно быть справедливым, пусть скажет своё последнее слово. (фр.).

93

Заикин Николай Фёдорович (1801 – 1833) – подпоручик квартирмейстерской части, член Южного общества.

94

Фаленберг Пётр Иванович (1791 – 1873) – подполковник квартирмейстерской части, член Южного общества, осуждён по 4-му разряду.

95

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

...девятнадцатилетний мичман Дивов... – не совсем точно. Дивов Василий Абрамович (1803 – 1842) – мичман Морского экипажа.

96

Свистунов Пётр Николаевич (1803 – 1889) – корнет кавалергардского полка, член Северного и Южного обществ, приговорённый к каторге по 2-му разряду, с 1835 г. на поселении, затем вернулся в Калужскую губернию, где участвовал в крестьянской реформе. Называл себя «последним декабристом», отказываясь признавать Завалишина.

97

Булатов Александр Михайлович (1793 – 1826) – полковник, командир егерского полка, умер 19 января 1826 г., разбив голову о тюремную стену.

98

«К чёрту ваше большинство» (англ.).

99

Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775 – 1843) – участник войн со Швецией и Францией, генерал от кавалерии.

100

Тараканова, она же девица Франк, она же г-жа Тремуль (1745 – 1775) – авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы и А. Г. Разумовского и объявившая себя в Париже наследницей русского престола. Будучи арестована в Италии графом А. Г. Орловым и привезена в Петербург, умерла в Петропавловской крепости, хотя ходили легенды о её пострижении в монахини.

101

К стыду своему, я должен признаться, что я чаще говорю по-французски, чем по-русски (фр.).

102

Террор (фр.).

103

Всегда одинокий мечтатель,  
Я пройду по этой земле.  
И никто обо мне не узнает;  
И лишь в конце моего жизненного пути  
По яркому лучу света  
Поймут, что во мне потеряли (фр.).

104

«Ваш брат слишком чист» (фр.).

105

Божество любит себя, глядя на мир. Божественная сущность может реализоваться лишь в бесконечности конечных форм. Проявление вечного в конечной форме не может быть совершенным: форма лишь указывает на его присутствие. (фр.).

106

Кузьмин Анастасий Дмитриевич – поручик Черниговского полка, член Общества соединённых славян и Южного общества. Участвовал в восстании полка, после разгрома которого 3 января 1826 г. был взят в плен и застрелился.

107

Соловьёв Вениамин Николаевич (1798 – 1871) – барон, штабс-капитан Черниговского полка, член Общества соединённых славян, приговорён после разгрома восстания к смертной казни, после изменённой на 15 лет каторги, с 1840 г. на поселении.

108

Сальванди Нарцисс-Ахилл (1795 – 1856) – французский граф, министр просвещения, дипломат, публицист, историк.

109

«Дон Алонзо или Испания» (фр.).

110

Ну, мой друг, вы потеряли замки, построенные на песке (фр.).

111

Шлафрок (шлафор) (нем. Schlafrock), длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями.

112

Гейсмар Фёдор Климентьевич (1783 – 1848) – прусский барон на русской службе с 1805 г., участник Отечественной войны, будучи командиром бригады, разбил восставшие части Черниговского полка. Затем в чине генерал-адъютанта оставил службу вследствие доноса о несоблюдении им русских интересов.

113

Я лишь бедный малый (фр.).

114

Кто сей великий (фр.).

115

Рамен, ед. нет (церк-слав. мн. ч. от рамо) (церк-книжн., поэт. устар.). Плечи.

116

У меня сердце материалиста, но разум противится этому (фр.).

117

Ужасно! Ужасно! (нем.).

118

Однако, мой дорогой господин Рейнбот, давайте-ка лучше поговорим о политике (нем.).

119

Гласис (франц. glacis – скат, откос), пологая земляная насыпь впереди наружного рва крепости, долговременного сооружения или полевого укрепления. Возводится для улучшения обстрела местности, маскировки и защиты укрепления.

120

Слишком (фр.).

121

Ну что же, не так уж её и много, этой нашей публики (фр.).

122

Это в национальном вкусе (фр.).

123

Браницкий-Корчак Ксаверий Владиславович (1814? – 1879) – поручик лейб-гвардии гусарского полка, писатель.

124

Вяземский Николай Сергеевич (1814 – 1881) – князь, товарищ Лермонтова по школе юнкеров и гусарскому полку.

125

Мой дорогой (фр ).

126

Выговор(фр.).

127

Вероятно, имеется в виду Долгоруков Владимир Андреевич (1810 – 1891), князь, в описываемое время флигель-адъютант, позже генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор.

128

Фонтан в Петергофском парке.

129

Кстати (фр.).

130

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
К большей славе Бога (лат.).

131

Ключарёв Фёдор Петрович (1754 – 1821) – член новиковского кружка «мартинистов», писатель, до 1812 г. занимал должность московского почт-директора, от которой отстранён губернатором Ростопчиным по подозрению в шпионаже, после войны «реабилитирован» и сделан сенатором.

132

Генрих Тюдор (1491 – 1547) – английский король с 1509 г., прославился бракоразводным процессом с Екатериной Арагонской, результатом чего стал церковный разрыв с римским папой. Царь Иван Грозный (1530 – 1584) известен конфликтами с многочисленными жёнами.

133

Гланда Камбила – один из легендарных предков Голштейн-Готторпского дома.

134

Полсть (а также полость): 1) кусок толстой и плотной ткани, войлока, меха и т.п., служащий подстилкой или покрывкой. 2) Покрывало для ног в экипаже.

135

Бурнашёв Владимир Петрович (1812 – 1888) – начинал как журналист, позже писатель, автор воспоминаний о Пушкине.

136

«Гаджи Абрек» («Хаджи Абрек») – первая из опубликованных поэм Лермонтова (написана в 1833 г.).

137

Львов Фёдор Петрович (1766 – 1836) – директор певческой капеллы, поэт, певец-любитель, отец композитора, автора национального гимна.

138

Арсеньева (урожд. Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773 – 1845) – бабушка Лермонтова со стороны матери, сестра деда реформатора Петра Аркадьевича Столыпина – Дмитрия Алексеевича.

139

Лопухина Варвара Александровна (1815 – 1851) – предмет увлечения Лермонтова с 1831 г., в 1835 г. вышла замуж за чиновника Бахметева.

140

Шан-Гирей Аким Павлович (1818 – 1833) – троюродный брат Лермонтова, артиллерийский офицер.

141

Раевский Святослав Афанасьевич (1808 – 1876) – чиновник министерства

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
финансов, литератор, этнограф, друг Лермонтова. За распространение  
стихотворения «На смерть поэта» сослан в Олонецкую губернию.

142

Пошевни – широкие сани.

143

Смирдин Александр Филиппович (1795 – 1857) – петербургский книгопродавец,  
издатель сочинений Пушкина.

144

Кабинет для чтения (фр.).

145

Траурные нашивки.

146

Душистой подушечки (фр.).

147

«Королева Мария Луиза» (фр.).

148

Только если воспитано в Польше (лат.).

149

Я принимаю воздушную ванну (фр.).

150

«Евгений Онегин», гл. VI, строфа 32.

151

Беклемишев Николай Петрович – штабс-ротмистр Харьковского уланского полка.

152

Это отрывка печальной памяти декабризма (фр.).

153

Гвардейский Гродненский полк стоял в Селишенских казармах, в Новгородском  
округе Военных поселений.

154

Перовский Василий Алексеевич (1795 – 1857) – генерал-адъютант, начальник  
Хивинских походов 1839–1840 гг.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

155

Барант Эрнест (1818 – 1859) – атташе французского посольства, сын посла А. Г. П. Баранта. Имел дуэль с Лермонтовым 18 февраля 1840 г. после ссоры на балу у графини Лаваль.

156

Данзас Константин Карлович (1801 – 1870) – лицейский товарищ Пушкина, впоследствии генерал-майор.

157

Фендрик (польск. fendrik от нем. Fahnrich). 1. молодой офицер, прапорщик (воен. арг. дореволюц.). 2. Фатоватый молодой человек (разг. фам. пренебр.).

158

Завтра в это время мы будем уже в Кисловодске (фр.).

159

О, это более чем смело, – это рискованно (фр.).

160

Чихирь – разновидность кавказского виноградного вина домашнего приготовления.

161

Купер Джеймс Фенимор (1789 – 1851) – американский романист, переводы сочинений которого появились в России с середины 1820-х гг. Ими увлекался Лермонтов.

162

Знаменитый в 1830 – 1840-х годах тифлисский оружейник.

163

Мюссе Альфред де (1810 – 1857) – французский поэт и писатель-романтик.

164

Нанка – сорт грубой хлопчатобумажной ткани из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета. (По имени города Нанкина в Китае.)

165

Преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов и начальника Третьего отделения собственной его величества канцелярии.

166

Васильчиков Александр Илларионович (1818 – 1881) – князь, член административной комиссии на Кавказе, мемуарист.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

167

Канаус – шёлковая ткань невысокого сорта.

168

Послушайте, император сердится на вас, не отвечайте ему ни слова, иначе вы погибший человек (фр.).

169

Государь, никогда, сколько бы я ни жил, этот акт внимания и доброты, который вы удостоили оказать мне, не уйдёт ни из моего сердца, ни из моей памяти (фр.).

170

Ильяшенко (Ильяшенков) Василий Иванович – полковник, комендант Пятигорска. Пытался предотвратить дуэль Лермонтова с Мартыновым.

171

Нессельроде Карл-Роберт (Карл Васильевич) (1780 – 1862) – в течение сорока лет управляющий коллегией министерства иностранных дел, министр.

172

Ольденбургский Пётр Григорьевич (1812 – 1881) – принц, генерал от инфантерии, член Государственного совета, управляющий 4-м отделением е.и.в. канцелярии.

173

Скорее всего, речь идёт о принце Христиане-Людвиге-Фридрихе-Генрихе Гогенлоэ-Лангенбурге-Кирхберге (1788 – 1859), в 1825 – 1848 гг. вюртембергском после в С.-Петербурге.

174

Берг Фёдор Фёдорович (1793 – 1874) – граф, генерал от инфантерии, позже генерал-фельдмаршал, главный военный топограф, при Александре II финляндский генерал-губернатор.

175

Беллингсгаузен Фаддей Фаддеевич (1779 – 1852) – знаменитый мореплавателю, военный губернатор Кронштадта.

176

Паскевич Эриванский Иван Фёдорович (1782 – 1856) – светлейший князь, выдающийся русский полководец.

177

Чернышёв Александр Иванович (1786 – 1857) – военный министр, позже председатель Государственного совета.

178

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org

Фикельмон Шарль-Луи Карл-Людвиг (1777 – 1857) – австрийский посол в Петербурге в 1829–1839 гг., позже министр иностранных дел, писатель.

179

Крюгер – из семьи художников Крюгеров, скорее всего, имеется в виду Франц Крюгер (1797 – 1857) – член Берлинской академии художеств, автор ряда парадно-военных картин, выполненных по заказу Николая I.

180

Гесс Петер фон (1792 – 1871) – немецкий баталист, автор ряда картин о войне 1812 г., выполненных по заказу Николая I.

181

Коцебу Александр Евстафиевич (1815 – 1889) – сын убитого в 1819 г. немецкого писателя Августа Коцебу. Русский живописец-баталист.

182

Плаутин Николай Фёдорович (1794 – 1867) – генерал-адъютант, позже генерал от кавалерии и член Государственного совета.

183

Господин из библиотеки (фр.).

184

Но я осмелюсь так полагать, государь (фр.).

185

Святополк-Четвертинский Борис Антонович (1781 – 1865) – брат фаворитки Александра I, шталмейстер.

186

Катакази Гавриил Антонович (1794 – 1867) – грек по происхождению, русский посол в Греции в 1833–1843 гг.

187

Бруннов Филипп Иванович (1797 – 1875) – с 1840г. почти до самой смерти, с небольшим перерывом, посланник, посол в Англии.

188

Мейендорф Пётр Казимирович (1796 – 1863) – барон, русский посланник в Берлине.

189

Военный вещевого склад.

190

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
Ратуше.

191

Гервег Георг (1817 – 1875) – поэт, организатор Немецкого демократического общества в Париже.

192

Рейхель, точнее, Реккель Август (ум. 1876 г.) – участник революции 1848 г., после которой приговорён к пожизненной каторге, помилован в 1862 г. Как редактор газеты «Франкфуртер реформ», выступал против объединения Германии под рукой Пруссии.

193

Нищенскую.

194

Вейтлинг Вильгельм (1808 – 1871) – деятель рабочего движения.

195

Склонность к разрушению всегда дремлет в нас (нем.).

196

Петуния (а также петунья) – декоративное садовое растение семейства паслёновых с крупными яркими красивыми цветками.

197

Канкрин Егор Францевич (1774 – 1845) – министр финансов, член Государственного совета, экономист, писатель.

198

Друзьями Четырнадцатого.

199

Вероятно, Илья Модестович Бакунин (1800 – 1841), впоследствии генерал-майор.

200

Панин Виктор Никитич (1801 – 1874) – граф, в течение 30 лет министр юстиции.

201

То есть сделанные из мягкой тонкой кожи.

202

Омойся, ученик, зарёю утренней! (нем.).

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
203

Сазонов Николай Иванович (1815 – 1862) – русский журналист, эмигрант с начала 1840-х гг.

204

Руководящий орган польского эмигрантского Демократического общества.

205

Ворцель Станислав (1799 – 1857) – польский граф, друг Герцена, социалист.

206

Высоцкий Иосиф (Юзеф) (1809 – 1873) – польский политический деятель, генерал, участник восстаний 1830-1831 и 1863-1864 гг.

207

Сейма.

208

Я не могу этого понять! (нем.).

209

Балы достояний (фр.).

210

Короткие рукава (фр.).

211

Казармы (фр.).

212

Седлайте коней, господа! Во Франции – республика! (фр.).

213

Комедия окончена, долой актёров! (фр.).

214

какое ужасное несчастье! (фр.).

215

Клиши – ворота на севере Парижа.

216

Да здравствует республика! (фр.).

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
217

Товарищ! Товарищ! Да здравствует республика! Да здравствует революция!  
(фр.).

218

Да здравствует революция! Да здравствует республика! Смерть (тиранам)!  
Смерть! (фр.).

219

Коссидьер Марк (1808 – 1861) – французский революционер, организатор тайных обществ в период июльской монархии, после февраля 1848 г. префект парижской полиции, затем эмигрировал в Англию.

220

Монтаньяры – здесь: группа мелкобуржуазных демократов во французском Национальном собрании (в период революции 1848 г.).

221

Мой отец в Версале, Моя мать в Париже (фр.).

222

Старина! (фр.).

223

Да здравствует всемирная социальная революция! (фр.).

224

де Ламартин Альфонс (1790 – 1869) – французский поэт, политический деятель, в 1848 г. министр иностранных дел и фактический глава правительства.

225

флокон Фердинан (1800 – 1866) – один из редакторов газеты «Реформ», член французского Временного правительства в 1848 г.

226

Сражение в Берлине, король спасся бегством после произнесения речи! (фр.).

227

В Вене восстание, Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия поднялась! (фр.).

228

Итальянцы победили в Милане и Венеции! Австрийцы потерпели неслыханное поражение! (фр.).

229

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Боже, провозгласи республику и на небесах! (фр.).

230

Делессер Габриэль (1786 – 1858) – префект парижской полиции в 1836–1848 гг.

231

Блан Луи (1811 – 1882) – французский социалист, историк, член Временного правительства, затем эмигрант в Англии.

232

Как дела? (фр.).

233

Так себе (фр.).

234

Прудон Пьер-Жозеф (1809 – 1865) – французский публицист, экономист, социолог, философ.

235

Он чудовищен своей строгой диалектикой и ясным восприятием глубины идей.  
(фр.).

236

Временного

237

Альбер Александр-Мартен (1815 – 1895) – французский революционер, член Временного правительства.

238

Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807 – 1874) – французский революционер, член Временного правительства, позже эмигрант в Англии.

239

Бланки Луи-Огюст (1805 – 1881) и Барбес Арман (1809 – 1870) – французские революционеры, организаторы тайных обществ и заговоров.

240

Бродяг (фр.).

241

Мадзини Джузеппе (1805 – 1872) – итальянский революционер, в 1849 г. глава Временного правительства Римской республики.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
242

фон Борнштет Адальберт (1808 – 1851) – немецкий публицист, редактор газеты «Дойче Брюсселер цайтунг», некоторое время член Союза коммунистов.

243

Жорж Санд (Аврора Дюпен) (1804 – 1876) – французская писательница романтического направления.

244

Головин Иван Гаврилович (1816 – 1886) – русский либеральный помещик, эмигрант в Англии, был близок к Герцену и Бакунину

245

Рабочими.

246

Человек не рождён быть свободным (нем.).

247

Ликтор – лицо, сопровождавшее представителя высшей администрации и носившее пучок прутьев с секирой как символ власти и наказуемости преступления (в Древнем Риме).

248

Тупика.

249

Помни о смерти (лат.).

250

Переход от снов к делу (нем.).

251

Альбрехт (1809 – 1872) – австрийский принц, генерал, командующий кавалерийской дивизией.

252

Фюстер Антон (1808 – 1881) – австрийский теолог, профессор Венского университета, депутат рейхстага, позже эмигрант в Англии и США.

253

Дубельт Леонтий Васильевич (1792 – 1862) – начальник штаба корпуса жандармов, управляющий III отделением.

254

Медем Павел Иванович (1800 – 1854) – граф, посланник в Вене.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

255

...члены «Сворности»... «Славии» и «Рипиля»... – имеются в виду чешские тайные общества 1840-х гг.

256

Виндишгрец Альфред фон (1787 – 1862) – австрийский фельдмаршал, в 1848-1849 гг. руководивший подавлением восстаний в Вене, Праге и Венгрии.

257

Сладковский Карел (1823 – 1880) – выпускник Пражского университета, чешский радикал, позже лидер движения младочехов, выступавших за триединую австро-венгро-чешскую монархию.

258

Либельт Карл – участник познаньского восстания 1848 г., председатель польско-украинской секции Славянского съезда.

259

Коллар Ян (1793 – 1852) – чешский поэт и филолог (словак по происхождению), деятель национального движения.

260

Пустосвят, он же Добрынин Никита Константинович, – суздальский священник, идеолог раскола, почитавшийся староверами как «столп правоверия», казнён на лобном месте в 1682 г. по приказу царевны Софьи.

261

Без денег (фр.).

262

Мейсснер Отто Карл (1819 – 1902) – гамбургский книгоиздатель, издававший между прочим и сочинения Карла Маркса.

263

Речь идёт об основателе (в 1845 г.) и руководителе тайного общества «Рипил».

264

Домовитых (нем.).

265

Ополчение.

266

Палацкий Франц (Франтишек) (1798 – 1876) – чешский историк, либерал.



Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

267

Топалович Мато (ум. 1861 г.) – католический священник, поэт и участник так называемого иллирийского движения, стремившегося к объединению южных славян.

268

Даничич Джура (1825 – 1882) – сербский филолог. Попович Иован Стерия (1806–1856) – писатель.

269

Гурбан Осип-Людовит-Милослав (1817 – 1888) – священник, писатель, в 1848–1849 гг. организатор словацкого ополчения, выступившего против венгров на стороне австрийской монархии.

270

Коловрат Краковский Франц-Антон (1778 – после 1848) – чешский граф, австрийский министр, библиофил.

271

Шафарик Павел Иозеф (1795 – 1851) – крупнейший деятель славянского возрождения, историк, филолог.

272

Карадичич... – точнее, Караджич, Вук Стефанович (1787 – 1864), – филолог, создатель сербского литературного языка.

273

Любомирский Ежи (1817 – 1872) – польский князь, депутат австрийского рейхстага.

274

Гомилетика 1) Раздел богословия, в котором изучаются теоретические и практические вопросы церковной проповеди. 2) Учебный предмет, содержащий основы данного раздела богословия.

275

Тун лео (1811 – 1888) – чешский граф, с 1849 г. австрийский министр просвещения.

276

Ридигер Фёдор Васильевич (1784 – 1856) – граф, генерал-лейтенант.

277

Горчаков Михаил Дмитриевич (1793 – 1861) – князь, генерал-лейтенант, позже, в Крымскую войну, главнокомандующий Крымской армией.

278

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
имеется в виду один из братьев Шварценбергов, австрийских князей: Феликс (1800 – 1852) или Фридрих (1800 – 1870).

279

Панютин Фёдор Сергеевич (1790 – 1865) – русский генерал, командующий корпусом.

280

Бейст Фридрих (1809 – 1886) – граф, саксонский, позже австрийский государственный деятель, министр иностранных дел и канцлер.

281

Друзей, прекрасных искр Божьих (нем.).

282

Захариас Генрих-Альберт (1806 – 1875) – прусский судебный чиновник, центристский депутат Национального собрания.

283

Борн Стефан (наст. фам. Буттермильх Симон) (1824 – 1898) – немецкий революционер.

284

Вальдерзее Фридрих-Густав (1795 – 1864) – прусский полковник.

285

Железо не ломится (нем.).

286

Берданки (нем.).

287

Предшествуя одному, последуешь другому

288

Ружьё.

289

Ребята! Не дайте мне здесь лечь костями (нем.).

290

В классической манере воспитаны (нем.).

291

Струве Густав (1805 – 1870) – журналист, один из руководителей баденского  
Страница 474

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
восстания, позже участник гражданской войны в США на стороне северян.

292

Геккер Фридрих-Карл (1811 – 1881) – также участник баденского (апрель 1848 г.) восстания, а затем участник войны в Америке.

293

Штур Людовит (1815 – 1856) – словацкий национальный идеолог, поэт.

294

Ливий Тит (59 г. до Р.Х. – 17 г. после Р.Х.) – римский историк. Гроций Гуго (де Гроот) (1583 – 1645) – голландский юрист и писатель. Гронов Иоганн-Фридрих (1611 – 1671) – немецкий философ и переводчик. Монтескье Шарль-Луи де Секонда (1685 – 1755) – французский писатель и философ-просветитель.

295

В сиянье уходит весна, мой друг незнакомый.  
Решётки с засовами с землёю и небом меня разделяют.  
Я вижу лишь розы цветущие в руках у тюремщика (нем.).

296

Виланд Кристоф Мартин (1733 – 1813) – немецкий философ и писатель.

297

Архалук – старинная верхняя мужская одежда, кроем напоминающая короткий кафтан, поддёвку.

298

Волей-неволей (лат.).

299

Ну, вот и всё (нем.).

300

Очень приятно (нем.).

301

Гилленшмидт... – Гилленшмидт Яков Яковлевич (1782 – 1852) – генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.

302

Покориться.

303

Святая родина (нем.).

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosoff.org  
304

Каждый должен и обязан иметь своё мнение (нем.).

305

Правда и поэзия (нем.).

306

Кутайсов Иван Павлович (1759 – 1834) – происходил из числа пленных турок, будучи с молодости взят в услужение к цесаревичу Павлу, в дальнейшем сделался его фаворитом, в 1799 г. возведён в графское достоинство, с 1800 г. обер-шталмейстер. После 1801 г. его карьера оборвалась.

307

Болугьянский Михаил Андреевич (1769 – 1847) – профессор политической экономии, первый ректор Петербургского университета (1819 – 1821).

308

Кукольник Нестор Васильевич (1809 – 1868) – поэт и драматург.

309

Шторх Андрей Карлович (1766 – 1835) – академик, экономист, статистик.

310

Адлерберг.

311

Фридерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина (по-русски Александра Фёдоровна) (1798 – 1860) – жена цесаревича Николая, позже императрица.

312

Кюстин Астольф де (1790 – 1857) – французский литератор. Под впечатлением путешествия в Россию написал весьма критическую о ней книгу «Россия в 1839».

313

Глазет – ткань с шёлковой основой и вытканым на ней золотым или серебряным узором.

314

Краснокутский Семён Григорьевич (1788 – 1840) – чиновник 4-го департамента сената, член Северного и Южного обществ.

315

Поджио Александр Викторович (1798 – 1873) – член Южного и Северного обществ, или его брат Иосиф (1792 – 1848).

316

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org

Боровков Александр Дмитриевич (1788 – 1856) – чиновник 8-го класса, писатель.

317

Граббе-Горский Осип-Ульян Викентьевич (1766 – 1849) – князь, участник Отечественной войны, кавказский вице-губернатор, уволенный в 1822 г. за злоупотребления. Проходил по делу декабристов.

318

И. Ростовцев донёс на декабристов... – имеется в виду брат упомянутого Я. И. Ростовцева Илья Иванович (1797 – 1828), полковник, одно время бывший членом Союза благоденствия.

319

Опочинин Фёдор Петрович (1779 – 1852) – директор департамента разных податей и сборов, шталмейстер.

320

Авторская неточность: «Борис Годунов» был закончен в ноябре 1825 г.

321

Авторская неточность: маркиз де Кюстин был в России в 1839 г.

322

Дубенский Павел Иванович (ум. 1871 г.) – действительный статский советник, директор – после Опочинина – департамента податей и сборов.

323

Фридерикс (Фредерикс) Мария Петровна (ум. после 1897 г.) – баронесса, дочь генерал-адъютанта П. А. Фредерикса, мемуаристка.

324

Протасов Николай Александрович (1798 – 1855) – граф, генерал от кавалерии, обер-прокурор Св. Синода.

325

Колмаков Николай Маркович (1816 – после 1886) – тайный советник, мемуарист.

326

Голицын Дмитрий Владимирович (1771 – 1844) – светлейший князь с 1841 г., генерал от кавалерии, московский военный генерал-губернатор.

327

Надеждин Николай Иванович (1804 – 1856) – журналист, критик, редактор и издатель журнала «Телескоп», опубликовавшего «Философическое письмо» Чаадаева. Журнал был закрыт, а его издатель сослан в Усть-Сысольск.

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) filosofff.org  
328

Никитенко Александр Васильевич (1805 – 1877) – литературный критик, профессор Петербургского университета, затем цензор (в частности, сочинений Пушкина).

329

Блудов Дмитрий Николаевич (1785 – 1864) – дипломат, министр внутренних дел в 1830-е гг.

330

Баратынский Евгений Абрамович (1800 – 1844) – знаменитый русский поэт.

331

Жихарев Степан Петрович (1788 – 1860) – переводчик, театрал.

332

Совершеннейшего русского.

333

Сиркур Адольф-Мария-Пьер де (1801 – 1879) – французский граф, неоднократно бывавший в России (женат на русской – А. С. Хлюстиной), публицист, историк.

334

Мериме Проспер (1803 – 1870) – французский писатель.

335

Гакстгаузен Август (1792 – 1866) – прусский барон, путешественник, прославившийся исследованием русской общины.

336

Иванов Александр Андреевич (1806 – 1858) – знаменитый русский живописец, учившийся в Римской академии художеств.

337

Соболевский Сергей Александрович (1803 – 1870) – писатель, известный библиофил, путешественник.

338

Трубецкой Александр Васильевич (1813 – 1889) – князь, впоследствии генерал-майор.

339

Имеется в виду Трубецкой Сергей Васильевич (1814 – 188?) – князь, участник Кавказской войны.

340

Мережковский Д. Николай I (Романовы. Династия в романах – 17) [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Дорохов Руфин Иванович (1801 – 1852) – прапорщик драгунского полка,  
известный дуэлянт.

341

Имеется в виду Юзефович Михаил Владимирович (1802 – 1889) – уланский  
штабс-ротмистр, поэт.

342

Райт Томас (1792 – 1849) – английский гравёр и живописец, проживавший, по  
вызову Дж. Доу, в 1820-1840-е гг. в России, автор портретов многих русских  
писателей.

343

Пушкин Лев Сергеевич (1805 – 1852) – младший брат поэта, штабс-капитан,  
участник войн с Турцией и Персией, поэт. По свидетельству П. А. Вяземского,  
А. С. Пушкин «иногда сердился на брата за его... мотовство, некоторую  
невоздержанность и распущенность в поведении».

344

Бенкендорф Александр Павлович (1812 – ?) – сын эстляндского губернатора.

345

Вульф Вирджиния (1882 – 1941) – английская писательница.

346

Берви Вильгельм Вильгельмович (Василий Васильевич) (1829 – 1918) – русский  
социолог, экономист, публицист, писавший под псевдонимом Н. Флеровский. В  
молодости член кружка Петрашевского.

347

Людовик XI (1423 – 1483) – французский король (с 1461 г.) из династии  
Валуа, прославившийся своей хитростью и изворотливостью.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, хостинг.  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!